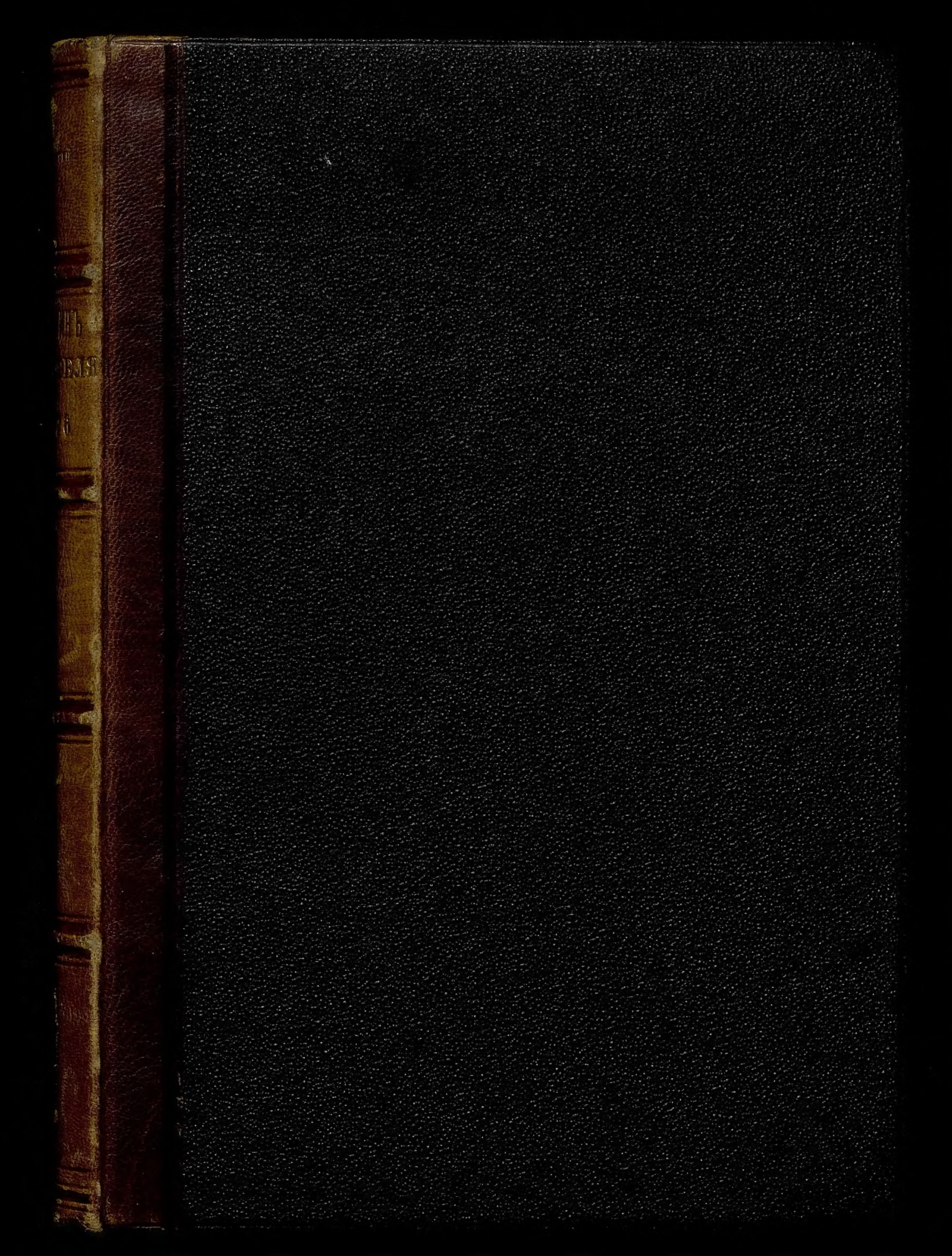
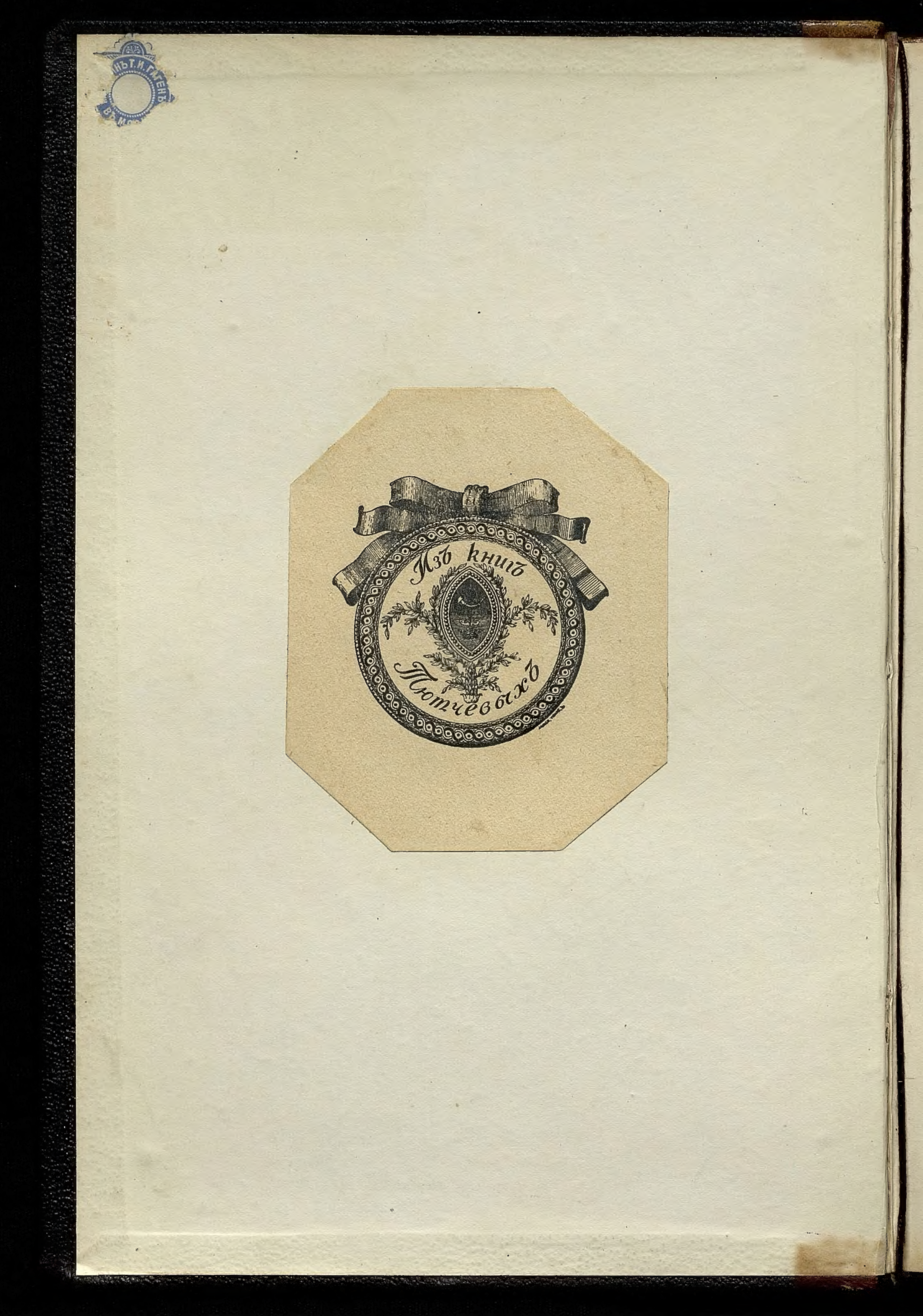



Изъ книгъ
Тютчевыхъ

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ

ЗА

1876 Г.

Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Штауфа (И. Фишона), Кузнечный переулокъ, № 20.
1879.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ЯНВАРЬ.

СТРАНИЦЫ.

Глава первяя I. Вмѣсто предисловія о Большой и Малой Медвѣдицахъ, о молитвѣ великаго Гете и вообще о дурныхъ привычкахъ. II. Будущій романъ. Опять «Случайное Семейство». III. Елка въ клубѣ художниковъ. Дѣти мыслящія и дѣти облегчаемыя. «Обжорливая младость». Вуйки. Толкающіеся подростки. Поторопившійся московскій капитанъ. IV. Золотой вѣкъ въ карманѣ . . . . 1—8

Глава вторая. I. Мальчикъ съ ручкой. II. Мальчикъ у Христа на елкѣ. III. Колонія малолѣтнихъ преступниковъ. Мрачныя особи людей. Передѣлка порочныхъ душъ въ непорочныя. Средства къ тому признанныя наилучшими. Маленькіе и дерзкіе друзья человѣчества . . . . 8—20

Глава третья. I. Россійское общество покровительства животнымъ. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зудъ разврата и Воробьевъ. Съ конца или съ начала? II. Спиритизмъ. Нѣчто о чертяхъ. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти. III. Одно слово по поводу моей біографіи . . . . . . 20—32

ФЕВРАЛЬ.

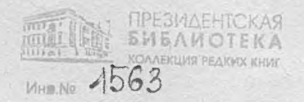
Глава первая. I. О томъ, что всѣ мы хорошіе люди. Сходство русскаго общества съ маршаломъ Макъ-Магономъ. II. О любви къ народу. Необходимый контрактъ съ народомъ. III. Мужикъ Марей . . . . 32—43

Глава вторая. I. По поводу дѣла Кронеберга. II. Нѣчто объ адвокатахъ вообще. Мои наивныя и необразованныя предположенія. Нѣчто о талантахъ вообще и въ особенности. III. Рѣчь г. Спасовича. Ловкіе пріемы. IV. Ягодки. V. Геркулесовы столпы . . . . 43—64

МАРТЪ.

Глава первая. I. Вѣрна-ли мысль, что «пусть лучше идеалы будутъ дурны, да дѣйствительность хороша»? II. Столѣтняя. III. «Обособленіе». IV. Мечты о Европѣ. V. Сила мертвая и силы грядущія . . . . 64—81

Глава вторая. I. Донъ-Карлосъ и сэръ Уаткинъ. Опять признаки «начала конца». II. Лордъ Редстокъ. III. Словцо объ отчетѣ ученой коммиссіи о спиритическихъ явленіяхъ. IV. Единичныя явленія. V. О Юріѣ Самаринѣ. . 81—92



АПРѢЛЬ.

СТРАНИЦЫ.

Глава первая. I. Идеалисты растительной стоячей жизни. Кулаки и міроѣды. Высшіе господа подгоняющіе Россію. II. Культурные типики. Повредившіеся люди. III. Сбивчивость и неточность спорныхъ пунктовъ. IV. Благодѣтельный швейцаръ освобождающій русскаго мужика . . . . 92—108

Глава вторая. I. Нѣчто о политическихъ вопросахъ. II. Парадоксалистъ. III. Опять только одно словцо о спиритизмѣ. IV. За умершаго. . . . 108—124

МАЙ.

Глава первая. I. Изъ частнаго письма. II. Областное новое слово. III. Судъ и г-жа Каирова. IV. Г-нъ защитникъ и Каирова. V. Г-нъ защитникъ и Великанова . . . . 125—140

Глава вторая. I. Нѣчто объ одномъ зданіи. Соотвѣтственныя мысли. II. Одна несоотвѣтственная идея. III. Несомнѣнный демократизмъ. Женщины. 140—148

ІЮНЬ.

Глава первая. I. Смерть Жоржъ-Занда. Нѣсколько словъ о Жоржъ-Зандѣ. 149—156

Глава вторая. I. Мой парадоксъ. II. Выводъ изъ парадокса. III. Восточный вопросъ. IV. Утопическое пониманіе исторіи. V. Опять о женщинахъ . . 156—172

ІЮЛЬ — АВГУСТЪ.

Глава первая. I. Выѣздъ за границу. Нѣчто о русскихъ въ вагонахъ. II. О воинственности нѣмцевъ. III. Самое послѣднее слово цивилизаціи . . . 173—181

Глава вторая. I. Идеалисты-циники. II. Постыдно-ли быть идеалистомъ? Нѣмцы и трудъ. Непостижимые фокусы. Объ остроуміи . . . . . . 181—194

Глава третья. I. Русскій или французскій языкъ? II. На какомъ языкѣ говорить будущему столпу своей родины? . . . . 194—201

Глава четвертая. I. Что на водахъ помогаетъ: воды или хорошій тонъ? II. Одинъ изъ облагодѣтельствованныхъ современной женщиной. III. Дѣтскіе секреты. IV. Земля и дѣти. V. Оригинальное для Россіи лѣто. . . . . 201—215

Post-Scriptum. . . . . 215—219

СЕНТЯБРЬ.

Глава первая. I. Picolla bestia. II. Слова, слова, слова! III. Комбинаціи и комбинаціи. IV. Халаты и мыло . . . . 221—233

Глава вторая. I. Застарѣлые люди. II. Кифо-Мокіевщина. II. Продолженіе предъидущаго. IV. Страхи и опасенія. V. Post-Scriptum . . . . . . 234—247

ОКТЯБРЬ.

Глава первая. I. Простое, но мудреное дѣло. II. Нѣсколько замѣтокъ о простотѣ и упрощенности. III. Два самоубійства. IV. Приговоръ . . . 250—261

Глава вторая. I. Новый фазисъ Восточнаго вопроса. II. Черняевъ. III. Лучшіе люди. IV. О томъ-же . . . . 262—275

НОЯБРЬ.

СТРАНИЦЫ.

Глава первая. КРОТКАЯ. Фантастическій разсказъ. Отъ автора. I. Кто былъ я и кто была она. II. Брачное предложеніе. III. Благороднѣйшій изъ людей, но самъ-же и не вѣрю. IV. Все планы и планы. V. Кроткая бунтуетъ. VI. Страшное воспоминаніе . . . . 278—294

Глава вторая. I. Сонъ гордости. II. Пелена вдругъ упала. III. Слишкомъ понимаю. IV. Всего только пять минутъ опоздалъ! . . . . . . 294—305

ДЕКАБРЬ.

Глава первая. I. Опять о простомъ но мудреномъ дѣлѣ. II. Запоздавшее нравоученіе. III. Голословныя утвержденія. IV. Кое что о молодежи. V. О самоубійствѣ и о высокомѣріи . . . . 310—326

Глава вторая. I. Анекдотъ изъ дѣтской жизни. II. Разъясненіе объ участіи моемъ въ изданіи будущаго журнала «Свѣтъ». III. На какой теперь точкѣ дѣло. IV. Словечко объ «ободнявшемъ Петрѣ» . . . . 326—335

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 28-го Декабря 1878 года.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

1876.

ЯНВАРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Вмѣсто предисловія о Большой и Малой Медвѣдицахъ, о Молитвѣ великаго Гёте и вообще о дурныхъ привычкахъ.

... Хлестаковъ, по крайней мѣрѣ, вралъ — вралъ у городничаго, но все же капельку боялся, что вотъ его возьмутъ, да и вытолкають изъ гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врутъ съ полнымъ спокойствіемъ.

Нынче всѣ съ полнымъ спокойствіемъ. Спокойны и, можетъ быть, даже счастливы. Врядъ ли кто даетъ себѣ отчетъ, всякій дѣйствуетъ „просто“, а это уже полное счастье. Нынче, какъ и прежде, всѣ проѣдены самолюбіемъ, но прежнее самолюбіе входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось въ физіономіи. „Такъ-ли я вошелъ? Такъ-ли я сказалъ?“ Нынче же всякій и прежде всего увѣренъ, входя куда нибудь, что все принадлежитъ ему одному. Если же не ему, то онъ даже и не сердится, а мигомъ рѣшаетъ дѣло; не слыхали-ли вы про такія записочки:

„Милый папаша, мнѣ двадцать три года, а я еще ничего не сдѣлалъ; убѣжденный, что изъ меня ничего не выйдетъ, я рѣшился покончить съ жизнью“...

И застрѣливается. Но тутъ хоть что нибудь да понятно: „для чего-де и жить какъ не для гордости?“ А другой посмотритъ, походитъ и застрѣлится молча, единственно изъ-за того, что у него нѣтъ денегъ, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Увѣряютъ печатно, что это у нихъ отъ того, что они много думаютъ. “Думаетъ — думаетъ про себя, да вдругъ гдѣ нибудь и вынырнетъ, и именно тамъ, гдѣ намѣтилъ“. Я убѣжденъ, напротивъ, что онъ вовсе ничего не ду-

маетъ, что онъ рѣшительно не въ силахъ составить понятіе, до дикости неразвитъ, и если чего захочетъ, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство и вовсе тутъ нѣтъ ничего либеральнаго.

И при этомъ ни одного Гамлетовскаго вопроса:

„Но страхъ что будетъ тамъ..“

И въ этомъ ужасно много страннаго. Неужели это безмысліе въ русской природѣ? Я говорю безмысліе, а не безсмысліе. Ну, не вѣрь, но хоть помысли. Въ нашемъ самоубійцѣ даже и тѣни подозрѣнія не бываетъ о томъ, что онъ называется *я* и есть существо безсмертное. Онъ даже какъ будто никогда не слыхалъ о томъ ровно ничего. И однако онъ вовсе и не атеистъ. Вспомните прежнихъ атеистовъ: утративъ вѣру въ одно, они тотчасъ же начинали страшно вѣровать въ другое. Вспомните страстную вѣру Дидро, Вольтера... У нашихъ—полное tabula rasa, да и какой тутъ Вольтеръ: просто нѣтъ денегъ, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

Самоубійца Вертеръ, кончая съ жизнью, въ послѣднихъ строкахъ имъ оставленныхъ, жалѣетъ, что не увидитъ болѣе „прекраснаго созвѣздія Большой Медвѣдицы“ и прощается съ нимъ. О, какъ сказался въ этой черточкѣ только что начинавшійся тогда Гёте! Чѣмъ же такъ дороги были молодому Вертеру эти созвѣздія? Тѣмъ, что онъ сознавалъ, каждый разъ созерцая ихъ, что онъ вовсе не атомъ и не ничто передъ ними, что вся эта бездна таинственныхъ чудесъ Божіихъ вовсе не выше его мысли, не выше его сознанія, не выше идеала красоты заключеннаго въ душѣ его, а, стало быть, равна ему и роднитъ его съ безконечностью бытія... и что за все счастіе чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто онъ? — онъ обязанъ лишь *своему лику человѣческому.*

„Великій Духъ, благодарю тебя за ликъ человѣческій, Тобою данный мнѣ“.

Вотъ какова должна была быть молитва великаго Гёте во всю жизнь его. У насъ разбиваютъ этотъ данный человѣку ликъ совершенно просто и безъ всякихъ этихъ нѣмецкихъ фокусовъ, а съ Медвѣдицами, не только съ Большой, да и съ Малой-то никто не вздумаетъ попрощаться, а и вздумаетъ, такъ не станетъ: очень ужь это ему стыдно будетъ.

— О чемъ это вы заговорили? спроситъ меня удивленный читатель.

— Я хотѣлъ было написать предисловіе, потому что нельзя же совсѣмъ безъ предисловія.

— Въ такомъ случаѣ лучше объясните ваше направленіе, ваши убѣжденія, объясните: что вы за человѣкъ и какъ осмѣлились объявить „Дневникъ Писателя?“

Но это очень трудно и я вижу, что я не мастеръ писать предисловія. Предисловіе, можетъ быть, также трудно написать, какъ и письмо. Что же до либерализма (вмѣсто слова „направленіе“ я уже прямо буду употреблять слово: „либерализмъ“), что до либерализма, то всѣмъ извѣстный Незнакомецъ, въ одномъ изъ недавнихъ фельетоновъ своихъ, говоря о томъ, какъ встрѣтила пресса наша новый 1876 годъ, упоминаетъ, между прочимъ, не безъ ѣдкости, что все обошлось достаточно либерально. Я радъ, что онъ проявилъ тутъ ѣдкость. Дѣйствительно, либерализмъ нашъ обратился въ послѣднее время повсемѣстно — или въ ремесло или въ дурную привычку. То-есть, сама по себѣ это была бы вовсе

недурная привычка, но у насъ все это какъ-то такъ устроилось. И даже странно: либерализмъ нашъ, казалось бы, принадлежитъ къ разряду успокоенныхъ либерализмовъ; успокоенныхъ и успокоившихся, что по моему очень ужь скверно, ибо квіетизмъ всего бы меньше, кажется, могъ ладить съ либерализмомъ. И что же, не смотря на такой покой, повсемѣстно являются несомнѣнные признаки, что въ обществѣ нашемъ, мало по малу, совершенно исчезаетъ пониманіе о томъ: что либерально, а что вовсе нѣтъ, и въ этомъ смыслѣ начинаютъ сильно сбиваться; есть примѣры даже чрезвычайныхъ случаевъ сбивчивости. Короче, либералы наши, вмѣсто того, чтобъ стать свободнѣе, связали себя либерализмомъ какъ веревками, а потому и я, пользуясь симъ любопытнымъ случаемъ, о подробностяхъ либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всѣхъ либеральнѣе, хотя бы по тому одному, что совсѣмъ не желаю успокоиваться. Ну вотъ и довольно объ этомъ. Что же касается до того, какой я человѣкъ, то я бы такъ о себѣ выразился: "Je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content", то-есть, по-русски: „Я человѣкъ счастливый, но—кое чѣмъ недовольный"...

На этомъ и кончаю предисловіе. Да и написалъ-то его лишь для формы.

II.

Будущій романъ. Опять „Случайное семейство".

Въ клубѣ художниковъ была елка и дѣтскій балъ и я отправился посмотрѣть на дѣтей. Я и прежде всегда смотрѣлъ на дѣтей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставилъ себѣ идеаломъ написать романъ о русскихъ теперешнихъ дѣтяхъ, ну и конечно о теперешнихъ ихъ отцахъ, въ теперешнемъ взаимномъ ихъ соотношеніи. Поэма готова и создалась прежде всего, какъ и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцовъ и дѣтей по возможности изъ всѣхъ слоевъ общества и прослѣжу за дѣтьми съ ихъ самаго перваго дѣтства.

Когда полтора года назадъ, Николай Алексѣевичъ Некрасовъ приглашалъ меня написать романъ для „Отечественныхъ Записокъ", я чуть было не началъ тогда моихъ „Отцовъ и дѣтей", но удержался и слава Богу: я былъ не готовъ. А пока я написалъ лишь „Подростка",—эту первую пробу моей мысли. Но тутъ дитя уже вышло изъ дѣтства и появилось лишь неготовымъ человѣкомъ, робко и дерзко желающимъ поскорѣе ступить свой первый шагъ въ жизни. Я взялъ душу безгрѣшную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и „случайность" свою и тою широкостью, съ которою еще цѣломудренная душа уже допускаетъ сознательно порокъ въ свои мысли, уже лелѣетъ его въ сердцѣ своемъ, любуется имъ еще въ стыдливыхъ, но уже дерзкихъ и бурныхъ мечтахъ своихъ — все это, оставленное единственно на свои силы и на свое разумѣніе, да еще, правда, на Бога. Все это выкидыши общества, „случайные" члены „случайныхъ" семей.

Въ газетахъ всѣ недавно прочли объ убійствѣ мѣщанки Перовой и объ самоубійствѣ ея убійцы. Она съ нимъ жила, онъ былъ работникомъ въ типографіи, но потерялъ мѣсто, она же

снимала квартиру и пускала жильцовъ. Началось несогласіе. Перова просила его ее оставить. Характеръ убійцы былъ изъ новѣйшихъ: „не мнѣ, такъ никому". Онъ далъ ей слово, что „оставитъ ее", и варварски зарѣзалъ ее ночью, обдуманно и преднамѣренно, а затѣмъ зарѣзался самъ. Перова оставила двухъ дѣтей, мальчиковъ, 12 и 9 лѣтъ, прижитыхъ ею незаконно, но не отъ убійцы, а еще прежде знакомства съ нимъ. Она ихъ любила. Оба они были свидѣтелями какъ съ вечера онъ, въ страшной сценѣ, измучилъ ихъ мать попреками и довелъ до обморока и просили ее не ходить къ нему въ комнату, но она пошла.

Газета „Голосъ" взываетъ къ публикѣ о помощи „несчастнымъ сиротамъ", изъ коихъ одинъ, старшій, воспитывался въ 5-й гимназіи, а другой пока жилъ дома. Вотъ опять „случайное семейство", опять дѣти съ мрачнымъ впечатлѣніемъ въ юной душѣ. Мрачная картина останется въ ихъ душахъ на вѣки и можетъ болѣзненно надорвать юную гордость еще съ тѣхъ дней

> ...когда намъ новы
> Всѣ впечатлѣнья бытія

а изъ того не по силамъ задачи, раннее страданіе самолюбія, краска ложнаго стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся въ себѣ ненависть къ людямъ, и это, можетъ быть, во весь вѣкъ. Да благословитъ Господь будущее этихъ неповинныхъ дѣтей и пусть не перестаютъ они любить во всю жизнь свою ихъ бѣдную мать, безъ упрека и безъ стыда за любовь свою. А помочь имъ надо непремѣнно. На этотъ счетъ общество наше отзывчиво и благородно. Неужели имъ оставить гимназію, если ужь они начали съ гимназіи? Старшій, говорятъ, не оставитъ и его судьба будто ужь устроена, а младшій? Неужто соберутъ рублей семьдесятъ или сто, а тамъ и забудутъ про нихъ? Спасибо и „Голосу", что напоминаетъ намъ о несчастныхъ.

III.

Елка въ клубѣ художниковъ. Дѣти мыслящія и дѣти облегчаемыя. „Обжорливая младость". Вуйки. Толкающіеся подростки. Поторопившійся московскій капитанъ.

Елку и танцы въ клубѣ художниковъ я, конечно, не стану подробно описывать; все это было уже давно и въ свое время описано, такъ что я самъ прочелъ съ большимъ удовольствіемъ въ другихъ фельетонахъ. Скажу лишь, что слишкомъ давно передъ тѣмъ нигдѣ не былъ, ни въ одномъ собраніи, и долго жилъ уединенно.

Сначала танцовали дѣти, всѣ въ прелестныхъ костюмахъ. Любопытно прослѣдить какъ самыя сложныя понятія прививаются къ ребенку совсѣмъ незамѣтно и онъ, еще не умѣя связать двухъ мыслей, великолѣпно иногда понимаетъ самыя глубокія жизненныя вещи. Одинъ ученый нѣмецъ сказалъ, что всякій ребенокъ, достигая первыхъ трехъ лѣтъ своей жизни, уже пріобрѣтаетъ цѣлую треть тѣхъ идей и познаній, съ которыми ляжетъ старикомъ въ могилу. Тутъ были даже шестилѣтнія дѣти: но я навѣрно знаю, что они уже въ совершенствѣ понимали: почему и зачѣмъ они пріѣхали сюда, разряженныя въ такія дорогія платьица, а дома ходятъ замарашками (при теперешнихъ средствахъ средняго общества— непремѣнно замарашками). Мало того,

они навѣрно уже понимають, что такъ именно и надо, что это вовсе не уклоненіе, а нормальный законъ природы. Конечно, на словахъ не выразятъ: но внутренно знаютъ, а это однако же чрезвычайно сложная мысль.

Изъ дѣтей мнѣ больше понравились самые маленькіе; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны съ нѣкоторою дерзостью. Разумѣется всѣхъ развязнѣе и веселѣе была будущая средина и бездарность, это уже общій законъ: средина всегда развязна, какъ въ дѣтяхъ, такъ и въ родителяхъ. Болѣе даровитые и обособленные изъ дѣтей всегда сдержаннѣе, или если ужь веселы, то съ непремѣнной повадкой вести за собою другихъ и командовать. Жаль еще тоже, что дѣтямъ теперь такъ все облегчаютъ, — не только всякое изученіе, всякое пріобрѣтеніе знаній, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенокъ станетъ лепетать первыя слова и уже тотчасъ же начинаютъ его облегчать. Вся педагогика ушла теперь въ заботу объ облегченіи. Иногда облегченіе вовсе не есть развитіе, а, даже напротивъ, есть отупленіе. Двѣ-три мысли, два-три впечатлѣнія поглубже выжитыя въ дѣтствѣ, собственнымъ усиліемъ (а если хотите, такъ и страданіемъ), проведутъ ребенка гораздо глубже въ жизнь, чѣмъ самая облегченная школа, изъ которой сплошь да рядомъ выходитъ ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и въ развратѣ не развратное, и въ добродѣтели не добродѣтельное.

„Что устрицы, пришли? О радость!
„Летитъ обжорливая младость
„Глотать.....

Вотъ эта-то „обжорливая младость“ (единственный дрянной стихъ у Пушкина потому, что высказанъ совсѣмъ безъ ироніи, а почти съ похвалой)— вотъ эта-то обжорливая младость изъ чего нибудь да дѣлается же? Скверная младость и нежелательная, и я увѣренъ, что слишкомъ облегченное воспитаніе чрезвычайно способствуетъ ея выдѣлкѣ; а у насъ ужь какъ этого добра много!

Дѣвочки все-таки понятнѣе мальчиковъ. Почему это дѣвочки, и почти вплоть до совершеннолѣтія (но не далѣе), всегда развитѣе или кажутся развитѣе однолѣтнихъ съ ними мальчиковъ? Дѣвочки особенно понятны въ танцахъ: такъ и прозрѣваешь въ иной будущую „Вуйку“, которая ни за что не съумѣетъ выйти замужъ, не смотря на все желаніе. Вуйками я называю тѣхъ дѣвицъ, которыя до тридцати почти лѣтъ отвѣчаютъ вамъ: вуй да нонъ. За то есть и такія, которыя, о сю пору видно, весьма скоро выйдутъ замужъ, тотчасъ какъ пожелаютъ.

Но еще циничнѣе, по моему, одѣвать на танцы чуть не взрослую дѣвочку все еще въ дѣтскій костюмъ; право нехорошо. Иныя изъ этихъ дѣвочекъ такъ и остались танцовать съ большими, въ коротенькихъ платьицахъ и съ открытыми ножками, когда въ полночь кончился дѣтскій балъ и пустились въ плясъ родители.

Но мнѣ все чрезвычайно нравилось и еслибы только не толкались подростки, то все обошлось бы къ полному удовольствію. Въ самомъ дѣлѣ, взрослые всѣ празднично и изящно вѣжливы, а подростки, (не дѣти, а подростки, будущіе молодые люди, въ разныхъ мундирчикахъ и которыхъ была тьма)—толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо съ полнымъ правомъ. Меня толкнули разъ пятьдесятъ; можетъ быть ихъ такъ тому и учатъ для развитія въ нихъ развяз-

ности. Тѣмъ не менѣе, мнѣ все нравилось, съ долгой отвычки, не смотря даже на страшную духоту, на электрическія солнца и на неистовые командные крики балетнаго распорядителя танцевъ.

Я взялъ надняхъ одинъ номеръ „Петербургской Газеты“ и въ немъ прочелъ корреспонденцію изъ Москвы о скандалахъ на праздникахъ въ дворянскомъ собраніи, въ артистическомъ кружкѣ, въ театрѣ, въ маскарадѣ и проч. Если только вѣрить корреспонденту (ибо корреспондентъ, возвѣщая о порокѣ, могъ съ намѣреніемъ умолчать о добродѣтели); то общество наше никогда еще не было ближе къ скандалу, какъ теперь. И странно: отчего это, еще съ самаго моего дѣтства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадалъ въ большое праздничное собраніе русскихъ людей, тотчасъ всегда мнѣ начинало казаться, что это они только такъ, а вдругъ возьмутъ, встанутъ и сдѣлаютъ дебошъ, совсѣмъ какъ у себя дома. Мысль нелѣпая и фантастическая, — и какъ я стыдился и упрекалъ себя за эту мысль еще въ дѣтствѣ! Мысль невыдерживающая ни малѣйшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которыхъ разсказываетъ правдивый корреспондентъ (я ему вполнѣ вѣрю) и прежде были и всегда были, это типъ неумирающій; но все же они болѣе боялись и скрывали чувства, а теперь, нѣтъ — нѣтъ, и вдругъ прорвется, на самую середину, такой господинъ, который считаетъ себя совсѣмъ уже въ новомъ правѣ. И безспорно, что въ послѣднія двадцать лѣтъ, даже ужасно много русскихъ людей вдругъ вообразили себѣ почему то, что они получили полное право на безчестье и что это теперь уже хорошо, и что ихъ за это теперь уже похвалятъ, а не выведутъ. Съ другой стороны я понимаю и то, что чрезвычайно пріятно (о, многимъ, многимъ!) встать посреди собранія, гдѣ все кругомъ, дамы, кавалеры и даже начальство такъ сладки въ рѣчахъ, такъ учтивы и равны со всѣми, что какъ будто и въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ,—встать посреди этихъ европейцевъ, и вдругъ что нибудь гаркнуть на чистѣйшемъ національномъ нарѣчіи, — свиснуть кому нибудь оплеуху, отмочить пакость дѣвушкѣ и вообще тутъ же среди залы нагадить: „Вотъ дескать вамъ за двухсотлѣтній европеизмъ, а мы вотъ они, всѣ какъ были, никуда не исчезли“! Это пріятно. Но все же дикарь ошибется: его не признаютъ и выведутъ. Кто выведетъ? Полицейская сила? Нѣтъ-съ, совсѣмъ не полицейская сила, а вотъ именно, такіе же самые дикари какъ и этотъ дикарь! Вотъ она гдѣ сила. Объяснюсь.

Знаете ли кому, можетъ быть, всѣхъ пріятнѣе и драгоцѣннѣе этотъ европейскій и праздничный видъ, собирающагося по европейски русскаго общества? А вотъ именно Сквозникамъ-Днухановскимъ, Чичиковымъ и даже, можетъ быть, Держимордѣ, то есть, именно такимъ лицамъ, которыя у себя дома, въ частной жизни своей—въ высшей степени національны. О, у нихъ есть и свои собранія и танцы, тамъ, у себя дома, но они ихъ не цѣнятъ и не уважаютъ, а цѣнятъ балъ губернаторскій, балъ высшаго общества, объ которомъ слыхали отъ Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. Вотъ почему ему и дороги европейскія формы, хотя онъ твердо знаетъ, что самъ, лично, онъ не раскается и вернется съ европейскаго бала домой все тѣмъ же самымъ кулачникомъ; но онъ утѣшенъ,

ибо хоть въ идеалѣ да почтилъ добродѣтель. О, онъ совершенно знаетъ, что все это миражъ; но все же онъ, побывавъ на балѣ, удостовѣрился, что этотъ миражъ продолжается, чѣмъ-то все еще держится, какою-то невидимою но чрезвычайною силою, и что вотъ онъ самъ даже не посмѣлъ выйти на средину и что нибудь гаркнуть на національномъ нарѣчіи, — и мысль о томъ, что ему этого не позволили, да и впредь не позволятъ, чрезвычайно ему пріятна. Вы не повѣрите до какой степени можетъ варваръ полюбить Европу; все же онъ тѣмъ какъ бы тоже участвуетъ въ культѣ. Безъ сомнѣнія, онъ часто и опредѣлить не въ силахъ въ чемъ состоитъ этотъ культъ. Хлестаковъ, напримѣръ, полагалъ, что этотъ культъ заключается въ томъ арбузѣ въ сто рублей, который подаютъ на балахъ высшаго общества. Можетъ быть Сквозникъ-Дмухановскій такъ и остался до сихъ поръ въ той же самой увѣренности про арбузъ, хотя Хлестакова и раскусилъ, и презираетъ его, но онъ радъ хоть и въ арбузѣ почтить добродѣтель. И тутъ вовсе не лицемѣріе, а самая полная искренность, мало того — потребность. Да и лицемѣріе тутъ даже хорошо дѣйствуетъ, ибо что такое лицемѣріе? Лицемѣріе есть та самая дань, которую порокъ обязанъ платить добродѣтели - мысль безмѣрно утѣшительная для человѣка, желающаго оставаться порочнымъ практически, а между тѣмъ не разрывать, хоть въ душѣ, съ добродѣтелью. О, порокъ ужасно любитъ платить дань добродѣтели и это очень хорошо: пока вѣдь для насъ и того достаточно, не правда ли? А потому, и гаркнувшій среди залы въ Москвѣ капитанъ продолжаетъ быть лишь исключеніемъ и поторопившимся человѣкомъ, ну, по крайней мѣрѣ, пока; но вѣдь и „пока“ даже утѣшительно въ наше зыбучее время.

Такимъ образомъ балъ есть рѣшительно консервативная вещь, въ лучшемъ смыслѣ слова и я совсѣмъ не шучу говоря это.

IV.

Золотой вѣкъ въ карманѣ.

А впрочемъ мнѣ было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился дѣтскій балъ и начался балъ отцовъ, и Боже, какая однако бездарность! Всѣ въ новыхъ костюмахъ и никто не умѣетъ носить костюмъ; всѣ веселятся и никто не веселъ; всѣ самолюбивы и никто не умѣетъ себя показать; всѣ завистливы и всѣ молчатъ и сторонятся. Даже танцовать не умѣютъ. Взгляните на этого вертящагося офицера очень маленькаго роста (такого, очень маленькаго ростомъ и звѣрски вертящагося офицера, вы встрѣтите непремѣнно на всѣхъ балахъ средняго общества). Весь танецъ его, весь пріемъ его состоитъ лишь въ томъ, что онъ съ какимъ-то почти звѣрствомъ, какими-то саккадами, вертитъ свою даму и въ состояніи перевертѣть тридцать — сорокъ дамъ сряду и гордится этимъ; но какая же тутъ красота! Танецъ — это вѣдь почти объясненіе въ любви (вспомните менуэтъ), а онъ точно дерется. И пришла мнѣ въ голову одна фантастическая и до-нельзя дикая мысль: „Ну что, подумалъ я, еслибъ всѣ эти милые и почтенные гости захотѣли, хоть на мигъ одинъ, стать искренними и простодушными, — во что бы обратилась тогда вдругъ эта душная зала? Ну что, еслибъ каждый изъ нихъ вдругъ узналъ весь секретъ? Что еслибъ каждый изъ нихъ вдругъ узналъ

сколько заключено въ немъ прямодушія, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушныхъ чувствъ, добрыхъ желаній, ума, — куда ума! — остроумія самаго тонкаго, самаго сообщительнаго и это въ каждомъ, рѣшительно въ каждомъ изъ нихъ! Да, господа, въ каждомъ изъ васъ все это есть и заключено и никто-то, никто-то изъ васъ про это ничего не знаетъ! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая изъ васъ умнѣе Вольтера, чувствительнѣе Руссо, несравненно обольстительнѣе Алкивіада, Донъ-Жуана, Лукрецій, Джульетъ и Беатричей! Вы не вѣрите, что вы такъ прекрасны? А я объявляю вамъ честнымъ словомъ, что не у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, еслибъ и всѣхъ-то ихъ сложить вмѣстѣ, не найдется ничего столь прелестнаго, какъ сейчасъ, сію минуту, могло бы найтись между вами, въ этой же бальной залѣ. Да что Шекспиръ! тутъ явилось бы такое, что и не снилось нашимъ мудрецамъ. Но бѣда ваша въ томъ, что вы сами не знаете, какъ вы прекрасны! Знаете-ли, что даже каждый изъ васъ, еслибъ только захотѣлъ, то сейчасъ бы могъ осчастливить всѣхъ въ этой залѣ и всѣхъ увлечь за собой? И эта мощь есть въ каждомъ изъ васъ, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невѣроятною. И неужели, неужели золотой вѣкъ существуетъ лишь на однѣхъ фарфоровыхъ чашкахъ?

Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при словѣ *золотой вѣкъ*: честное слово даю, что васъ не заставятъ ходить въ костюмѣ золотаго вѣка, съ листкомъ стыдливости, а оставятъ вамъ весь вашъ генеральскій костюмъ вполнѣ. Увѣряю васъ, что въ золотой вѣкъ могутъ попасть люди даже въ генеральскихъ чинахъ. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчасъ,—вы же старшій по чину, вамъ инниціатива,— и вотъ увидите сами, какое пироновское, такъ сказать, остроуміе могли бы вы вдругъ проявить, совсѣмъ для васъ неожиданно. Вы смѣетесь, вамъ невѣроятно? Радъ, что васъ разсмѣшилъ и однако же все, что я сейчасъ навосклицалъ, не парадоксъ, а совершенная правда... А бѣда ваша вся въ томъ, что вамъ это невѣроятно.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Мальчикъ съ ручкой.

Дѣти странный народъ, они снятся и мерещатся. Передъ елкой и въ самую елку передъ Рождествомъ, я все встрѣчалъ на улицѣ, на извѣстномъ углу, одного мальчишку, никакъ не болѣе какъ лѣтъ семи. Въ страшный морозъ онъ былъ одѣтъ почти по лѣтнему, но шея у него была обвязана какимъ-то старьемъ,—значитъ его все же кто-то снаряжалъ, посылая. Онъ ходилъ „съ ручкой"; это техническій терминъ, значитъ просить милостыню. Терминъ выдумали сами эти мальчики. Такихъ, какъ онъ, множество, они вер-

тятся на вашей дорогѣ и завываютъ что-то заученное; но этотъ не завывалъ и говорилъ какъ-то невинно и непривычно и довѣрчиво смотрѣлъ мнѣ въ глаза,—стало быть лишь начиналъ профессію. На разспросы мои онъ сообщилъ, что у него сестра, сидитъ безъ работы, больная; можетъ и правда, но только я узналъ потомъ, что этихъ мальчишекъ тьма тьмущая: ихъ высылаютъ съ „ручкой" хотя бы въ самый страшный морозъ, и если ничего не наберутъ, то навѣрно ихъ ждутъ побои. Набравъ копѣекъ, мальчикъ возвращается, съ красными, окоченѣвшими руками, въ какой нибудь подвалъ, гдѣ пьянствуетъ какая нибудь шайка халатниковъ, изъ тѣхъ самыхъ, которые, „забастовавъ на фабрикѣ подъ воскресенье въ субботу, возвращаются вновь на работу не ранѣе, какъ въ среду вечеромъ". Тамъ въ подвалахъ, пьянствуютъ съ ними ихъ голодныя и битыя жены, тутъ же пищатъ голодныя грудныя ихъ дѣти. Водка и грязь и развратъ, а главное водка. Съ набранными копѣйками мальчишку тотчасъ же посылаютъ въ кабакъ и онъ приноситъ еще вина. Въ забаву и ему иногда нальютъ въ ротъ косушку и хохочутъ, когда онъ, съ пресѣкшимся дыханіемъ, упадетъ чуть не безъ памяти на полъ,

„...и въ ротъ мнѣ водку скверную
Безжалостно вливалъ"...

Когда онъ подростетъ, его поскорѣе сбываютъ куда-нибудь на фабрику, но все, что онъ заработаетъ, онъ опять обязанъ приносить къ халатникамъ, а тѣ опять пропиваютъ. Но ужь и до фабрики эти дѣти становятся совершенными преступниками. Они бродяжутъ по городу и знаютъ такія мѣ-
ъ разныхъ подвалахъ, въ которыя можно пролѣзть и гдѣ можно переночевать незамѣтно. Одинъ изъ нихъ ночевалъ нѣсколько ночей сряду у одного дворника въ какой-то корзинѣ и тотъ его такъ и не замѣчалъ. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается въ страсть даже у восьмилѣтнихъ дѣтей, иногда даже безъ всякаго сознанія о преступности дѣйствія. Подъ конецъ переносятъ все—голодъ, холодъ, побои,—только за одно, за свободу, и убѣгаютъ отъ своихъ халатниковъ бродяжить уже отъ себя. Это дикое существо не понимаетъ иногда ничего, ни гдѣ онъ живетъ, ни какой онъ націи, есть-ли Богъ, есть-ли Государь; даже такія передаютъ объ нихъ вещи, что невѣроятно слышать, и однакоже все факты.

II.

Мальчикъ у Христа на елкѣ.

Но я романистъ и, кажется, одну „исторію" самъ сочинилъ. Почему я пишу: „кажется", вѣдь я самъ знаю навѣрно, что сочинилъ, но мнѣ все мерещится, что это гдѣ-то и когда-то случилось, именно, это случилось какъ разъ наканунѣ Рождества, въ *какомъ-то* огромномъ городѣ и въ ужасный морозъ.

Мерещится мнѣ, былъ въ подвалѣ мальчикъ, но еще очень маленькій, лѣтъ шести или даже менѣе. Этотъ мальчикъ проснулся утромъ въ сыромъ и холодномъ подвалѣ. Одѣтъ онъ былъ въ какой-то халатикъ и дрожалъ. Дыханіе его вылетало бѣлымъ паромъ и онъ, сидя въ углу на сундукѣ, отъ скуки нарочно пускалъ этотъ паръ изо рта и забавлялся, смотря какъ онъ вылетаетъ. Но ему очень хотѣлось кушать. Онъ нѣсколько разъ съ утра

подходилъ къ нарамъ, гдѣ на тонкой, какъ блинъ, подстилкѣ и на какомъ-то узлѣ подъ головой вмѣсто подушки, лежала больная мать его. Какъ она здѣсь очутилась? Должно быть пріѣхала съ своимъ мальчикомъ изъ чужаго города и вдругъ захворала. Хозяйку угловъ захватили еще два дня тому въ полицію; жильцы разбрелись, дѣло праздничное, а оставшійся одинъ халатникъ уже цѣлыя сутки лежалъ мертво-пьяный, не дождавшись и праздника. Въ другомъ углу комнаты стонала отъ ревматизма какая-то восьмидесятилѣтняя старушонка, жившая когда-то и гдѣ-то въ нянькахъ, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, такъ что онъ уже сталъ бояться подходить къ ея углу близко. Напиться-то онъ гдѣ-то досталъ въ сѣняхъ, но корочки нигдѣ не нашелъ и разъ въ десятый уже подходилъ разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконецъ, въ темнотѣ; давно уже начался вечеръ, а огня не зажигали. Ощупавъ лицо мамы, онъ подивился, что она совсѣмъ не двигается и стала такая же холодная какъ стѣна. „Очень ужь здѣсь холодно“, подумалъ онъ, постоялъ немного, безсознательно забывъ свою руку на плечѣ покойницы, потомъ дохнулъ на свои пальчики, чтобъ отогрѣть ихъ, и вдругъ, нашаривъ на нарахъ свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошелъ изъ подвала. Онъ еще бы и раньше пошелъ, да все боялся вверху, на лѣстницѣ, большой собаки, которая выла весь день у сосѣдскихъ дверей. Но собаки уже не было и онъ вдругъ вышелъ на улицу.

Господи, какой городъ! Никогда еще онъ не видалъ ничего такого. Тамъ, откудова онъ пріѣхалъ, по ночамъ, такой черный мракъ, одинъ фонарь на всю улицу. Деревянные низенькіе домишки запираются ставнями; на улицѣ, чуть смеркнется — никого, всѣ затворяются по домамъ и только завываютъ цѣлыя стаи собакъ, сотни и тысячи ихъ, воютъ и лаютъ всю ночь. Но тамъ было за то такъ тепло и ему давали кушать, а здѣсь— Господи, кабы покушать! И какой здѣсь стукъ и громъ, какой свѣтъ и люди, лошади и кареты, и морозъ, морозъ! Мерзлый паръ валитъ отъ загнанныхъ лошадей, изъ жарко-дышащихъ мордъ ихъ; сквозь рыхлый снѣгъ звенятъ объ камни подковы, и всѣ такъ толкаются, и Господи, такъ хочется поѣсть, хоть бы кусочекъ какой нибудь, и такъ больно стало вдругъ пальчикамъ. Мимо прошелъ блюститель порядка и отвернулся, чтобъ не замѣтить мальчика.

Вотъ и опять улица,—охъ какая широкая! Вотъ здѣсь такъ раздавятъ навѣрно; какъ они всѣ кричатъ, бѣгутъ и ѣдутъ, а свѣту-то, свѣту-то! А это что? Ухъ, какое большое стекло, а за стекломъ комната, а въ комнатѣ дерево до потолка; это елка, а на елкѣ сколько огней, сколько золотыхъ бумажекъ и яблоковъ, а кругомъ тутъ же куколки, маленькія лошадки; а по комнатѣ бѣгаютъ дѣти, нарядныя, чистенькія, смѣются и играютъ, и ѣдятъ и пьютъ что-то. Вотъ эта дѣвочка начала съ мальчикомъ танцовать, какая хорошенькая дѣвочка! Вотъ и музыка, сквозь стекло слышно. Глядитъ мальчикъ, дивится, ужь и смѣется, а у него болятъ уже пальчики и на ножкахъ, а на рукахъ стали совсѣмъ красные, ужь не сгибаются и больно пошевелить. И вдругъ вспомнилъ мальчикъ про то, что у него такъ болятъ пальчики, заплакалъ и побѣжалъ дальше, и вотъ опять видитъ онъ сквозь

другое стекло комнату, опять тамъ деревья, но на столахъ пироги, всякіе—миндальные, красные, желтые, и сидятъ тамъ четыре богатыя барыни, а кто придетъ, онѣ тому даютъ пироги, а отворяется дверь поминутно, входитъ къ нимъ съ улицы много господъ. Подкрался мальчикъ, отворилъ вдругъ дверь и вошелъ. Ухъ, какъ на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорѣе и сунула ему въ руку копѣечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Какъ онъ испугался! А копѣечка тутъ же выкатилась и зазвенѣла по ступенькамъ: не могъ онъ согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбѣжалъ мальчикъ и пошелъ поскорѣй — поскорѣй, а куда, самъ не знаетъ. Хочется ему опять заплакать, да ужь боится, и бѣжитъ, бѣжитъ и на ручки дуетъ. И тоска беретъ его потому, что стало ему вдругъ такъ одиноко и жутко, и вдругъ, Господи! Да что-жь это опять такое? Стоятъ люди толпой и дивятся: на окнѣ за стекломъ три куклы, маленькія, разодѣтыя въ красныя и зеленыя платьица и совсѣмъ — совсѣмъ какъ живыя! Какой-то старичокъ сидитъ и будто бы играетъ на большой скрипкѣ, два другихъ стоятъ тутъ же и играютъ на маленькихъ скрипочкахъ, и въ тактъ качаютъ головками, и другъ на друга смотрятъ, и губы у нихъ шевелятся, говорятъ, совсѣмъ говорятъ,— только вотъ изъ за стекла не слышно. И подумалъ сперва мальчикъ, что онѣ живыя, а какъ догадался совсѣмъ, что это куколки—вдругъ разсмѣялся. Никогда онъ не видалъ такихъ куколокъ и не зналъ, что такія есть! И плакать-то ему хочется, но такъ смѣшно—смѣшно на куколокъ. Вдругъ ему почудилось, что сзади его кто-то схватилъ за халатикъ: большой злой мальчикъ стоялъ подлѣ и вдругъ треснулъ его по головѣ, сорвалъ картузъ, а самъ снизу поддалъ ему ножкой. Покатился мальчикъ на земь, тутъ закричали, обомлѣлъ онъ, вскочилъ и бѣжать — бѣжать, и вдругъ забѣжалъ самъ не знаетъ куда, въ подворотню, на чужой дворъ,—и присѣлъ за дровами: „тутъ не сыщутъ, да и темно".

Присѣлъ онъ и скорчился, а самъ отдышаться не можетъ отъ страху и вдругъ, совсѣмъ вдругъ, стало такъ ему хорошо: ручки и ножки вдругъ перестали болѣть и стало такъ тепло, такъ тепло, какъ на печкѣ; вотъ онъ весь вздрогнулъ: ахъ, да вѣдь онъ было заснулъ! Какъ хорошо тутъ заснуть: „Посижу здѣсь и пойду опять посмотрѣть на куколокъ", подумалъ мальчикъ и усмѣхнулся, вспомнивъ про нихъ: „совсѣмъ какъ живыя"!... И вдругъ ему послышалось, что надъ нимъ запѣла его мама пѣсеньку. „Мама, я сплю, ахъ какъ тутъ спать хорошо"!

— Пойдемъ ко мнѣ на елку мальчикъ,—прошепталъ надъ нимъ вдругъ тихій голосъ.

Онъ подумалъ было, что это все его мама, но нѣтъ не она; кто же это его позвалъ, онъ не видитъ, но кто-то нагнулся надъ нимъ и обнялъ его въ темнотѣ; а онъ протянулъ ему руку и... и вдругъ,—о какой свѣтъ! О, какая елка! Да и не елка это, онъ и не видалъ еще такихъ деревьевъ! Гдѣ это онъ теперь: все блеститъ, все сіяетъ и кругомъ все куколки,—но нѣтъ, это все мальчики и дѣвочки, только такіе свѣтлые, всѣ они кружатся около него, летаютъ, всѣ они цѣлуютъ его, берутъ его, несутъ съ собою, да и самъ онъ летитъ, и видитъ онъ: смотритъ его мама и смѣется на него радостно.

— Мама! Мама! Ахъ какъ хорошо тутъ мама! кричитъ ей мальчикъ, и опять цѣлуется съ дѣтьми, и хочется ему разсказать имъ поскорѣе про тѣхъ куколокъ за стекломъ. „Кто вы мальчики? Кто вы дѣвочки?“ спрашиваетъ онъ, смѣясь и любя ихъ.

— Это „Христова елка“, отвѣчаютъ они ему. „У Христа всегда въ этотъ день елка для маленькихъ дѣточекъ, у которыхъ тамъ нѣтъ своей елки“... И узналъ онъ, что мальчики эти и дѣвочки всѣ были все такіе же какъ онъ дѣти, но одни замерзли еще въ своихъ корзинахъ, въ которыхъ ихъ подкинули на лѣстницы къ дверямъ петербургскихъ чиновниковъ, другіе задохлись у чухонокъ, отъ воспитательнаго дома на прокормленіи, третьи умерли у изсохшей груди своихъ матерей (во время самарскаго голода), четвертые задохлись въ вагонахъ третьяго класса отъ смраду, и всѣ-то они теперь здѣсь, всѣ они теперь какъ ангелы, всѣ у Христа, и Онъ самъ посреди ихъ, и простираетъ къ нимъ руки, и благословляетъ ихъ и ихъ грѣшныхъ матерей... А матери этихъ дѣтей всѣ стоятъ тутъ же, въ сторонкѣ, и плачутъ; каждая узнаетъ своего мальчика или дѣвочку, а они подлетаютъ къ нимъ и цѣлуютъ ихъ, утираютъ имъ слезы своими ручками и упрашиваютъ ихъ не плакать, потому что имъ здѣсь такъ хорошо...

А внизу, на утро, дворники нашли маленькій трупикъ забѣжавшаго и замерзшаго за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свидѣлись у Господа Бога въ небѣ. И зачѣмъ же я сочинилъ такую исторію, такъ не идущую въ обыкновенный разумный дневникъ, да еще писателя? А еще обѣщалъ разсказы преимущественно о событіяхъ дѣйствительныхъ! Но вотъ въ томъ то и дѣло, мнѣ все кажется и мерещится, что все это могло случиться дѣйствительно, — то есть то, что происходило въ подвалѣ и за дровами, а тамъ объ елкѣ у Христа—ужь и не знаю какъ вамъ сказать, могло ли оно случиться или нѣтъ? На то я и романистъ, чтобъ выдумывать.

III.

Колонія малолѣтнихъ преступниковъ. Мрачныя особи людей. Передѣлка порочныхъ душъ въ непорочныя. Средства къ тому, признанныя наилучшими. Маленькіе и дерзкіе друзья человѣчества.

На третій день праздника я видѣлъ всѣхъ этихъ „падшихъ“ ангеловъ, цѣлыхъ пятьдесятъ вмѣстѣ. Не подумайте, что я смѣюсь, называя ихъ такъ, но что это „оскорбленные“ дѣти—въ томъ нѣтъ сомнѣнія, Кѣмъ оскорбленные? Какъ и чѣмъ, и кто виноватъ?—все это пока праздные вопросы, на которые нечего отвѣчать, а лучше къ дѣлу.

Я былъ въ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ, что за Пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не удавалось, а тутъ вдругъ и свободное время, и добрые люди, которые мнѣ вызвались все показать. Мы отправились въ теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въѣхали въ лѣсъ; въ этомъ лѣсу и колонія. Что за прелесть лѣсъ зимой, засыпанный снѣгомъ; какъ свѣжо, какой чистый воздухъ и какъ здѣсь уединенно. Тутъ до пятисотъ десятинъ лѣсу пожертвовано колоніи и вся она состоитъ изъ нѣсколькихъ деревянныхъ, красиво выстроенныхъ домовъ, отстоящихъ другъ отъ друга на нѣкоторомъ разстояніи. Все это выстроено на по-

жертвованныя деньги, каждый домъ обошелся тысячи въ три, въ каждомъ домѣ живетъ „семья“. Семья — это группа мальчиковъ отъ двѣнадцати до семнадцати человѣкъ, и въ каждой семьѣ по воспитателю. Мальчиковъ положено пока имѣть до семидесяти, судя по размѣрамъ колоніи, но въ настоящее время, почему-то, всего лишь до пятидесяти воспитанниковъ. Надобно сознаться, что средства употреблены широкія и каждый маленькій преступникъ обходится въ годъ недешево. Странно и то, что санитарное состояніе колоніи, какъ извѣщали еще недавно въ газетахъ, несовсѣмъ удовлетворительно: въ послѣднее время было много больныхъ, а ужь какъ кажется хороши бы и воздухъ и содержаніе дѣтей! Мы провели въ колоніи нѣсколько часовъ, съ одиннадцати утра до полныхъ сумерекъ, но я убѣдился, что въ одно посѣщеніе во все не вникнешь и всего не поймешь. Директоръ заведенія приглашалъ меня пріѣхать пожить дня два съ ними; это очень заманчиво.

Директоръ П. А—чъ Р—скій извѣстенъ въ литературѣ; его статьи появляются иногда въ „Вѣстникѣ Европы“. Я встрѣтилъ отъ него самый привѣтливый пріемъ, полный предупредительности. Въ конторѣ заведена книга, въ которую посѣтители, если хотятъ, вписываютъ свои имена. Между записавшимися я замѣтилъ много извѣстныхъ именъ; значитъ колонія извѣстна, и ею интересуются. Но при всей предупредительности, почтенный директоръ, кажется, человѣкъ очень сдержанный, хотя онъ почти съ восторгомъ выставлялъ передъ нами отрадныя черты колоніи, въ то же время, однако, нѣсколько смягчая все непріятное и еще неналаженное. Спѣшу прибавить, что сдержанность эта, какъ мнѣ показалось, происходитъ отъ самой ревнивой любви къ колоніи и къ начатому дѣлу.

Всѣ четыре воспитателя (кажется ихъ четверо, по числу семей) — все люди нестарые, даже молодые, получаютъ по триста рублей жалованья и почти всѣ вышли изъ семинаріи. Они живутъ съ воспитанниками совсѣмъ вмѣстѣ, даже носятъ съ ними почти одинаковый костюмъ,—нѣчто въ родѣ блузы, подпоясанной ремнемъ. Когда мы обходили камеры, онѣ были пусты; дѣло праздничное и дѣти гдѣ-то играли, но тѣмъ удобнѣе было осмотрѣть помѣщенія. Никакой ненужной роскоши, ничего слишкомъ излишняго, навѣяннаго излишнею добротою или гуманностью жертвователей и учредителей заведенія,—а это очень могло бы случиться и вышла бы значительная ошибка. Койки, напримѣръ, самыя простыя, желѣзныя, складныя, бѣлье на нихъ изъ довольно грубаго холста, одѣяла тоже весьма нещегольскія, но теплыя. Воспитанники встаютъ рано и сами, всѣ вмѣстѣ, убираются, чистятъ камеры и, когда надо, моютъ полы. Близь иныхъ коекъ слышался нѣкоторый запахъ и я узналъ почти невѣроятную вещь, что иные изъ воспитанниковъ (немногіе, но однако человѣкъ восемь или девять) и не очень маленькіе, лѣтъ даже двѣнадцати и тринадцати, — такъ и дѣлаютъ свою нужду во снѣ, не вставая съ койки. На вопросъ мой: не особая-ли тутъ какая болѣзнь—мнѣ отвѣтили, что совсѣмъ нѣтъ, а просто отъ того, что они дикіе,—до того приходятъ дикими, что даже и понять не могутъ, что можно и надо вести себя иначе. Но гдѣ же они были въ такомъ случаѣ до того, въ какихъ трущобахъ выросли и кого видѣли! Нѣтъ почти такой самой

бѣдной мужицкой семьи, гдѣ бы ребенка не научили въ этомъ случаѣ, какъ надо держать себя, и гдѣ бы даже самый маленькій мальчикъ не зналъ того. Значитъ каковы же люди, съ которыми онъ сталкивался и до чего звѣрски равнодушно относились они къ существованію его! Этотъ фактъ однако же точный и я считаю его большой важности; пусть не смѣются, что я этотъ грязненькій фактикъ „вздуваю" до такихъ размѣровъ: онъ гораздо серьознѣе, чѣмъ можетъ показаться. Онъ свидѣтельствуетъ, что есть же, стало быть, до того мрачныя и страшныя особи людей, въ которыхъ исчезаютъ даже всякіе слѣды человѣчности и гражданственности. Понятно также послѣ того, во что обращается наконецъ эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности изъ людей. Да, эти дѣтскія души видѣли мрачныя картины и привыкли къ сильнымъ впечатлѣніямъ, которыя и останутся при нихъ, конечно, на вѣки и будутъ сниться имъ всю жизнь въ страшныхъ снахъ. Итакъ съ этими ужасными впечатлѣніями надобно войти въ борьбу исправителямъ и воспитателямъ этихъ дѣтей, искоренить эти впечатлѣнія и насадить новыя; задача большая.

— Вы не повѣрите какими сюда являются дикими иные изъ нихъ, сказалъ мнѣ П. А—чъ: ничего иной не знаетъ ни о себѣ, ни о соціальномъ своемъ положеніи. Онъ бродяжилъ почти безсознательно и единственное, что онъ знаетъ на свѣтѣ и что онъ могъ осмыслить — это его свобода, свобода бродяжить, умирать съ холоду и съ голоду, но только бродяжить. Здѣсь есть одинъ маленькій мальчикъ, лѣтъ десяти не больше, и онъ до сихъ поръ никакъ, ни за что не можетъ пробыть чтобы не украсть. Онъ воруетъ даже безо всякой цѣли и выгоды, единственно чтобы украсть, машинально.

— Какъ же вы надѣетесь перевоспитать такихъ дѣтей?

— Трудъ, совершенно иной образъ жизни, и справедливость въ обращеніи съ ними; наконецъ и надежда, что въ три года, сами собою, временемъ, забудутся ими старыя ихъ пристрастія и привычки.

Я освѣдомился: нѣтъ-ли между мальчиками еще и другихъ, извѣстныхъ дѣтскихъ порочныхъ привычекъ? Кстати напомню, что мальчики здѣсь отъ десяти и даже до семнадцатилѣтняго возраста, хотя принимаются на исправленіе никакъ не старше четырнадцати лѣтъ.

— О, нѣтъ, этихъ скверныхъ привычекъ не можетъ и быть, поспѣшилъ отвѣтить П. А—чъ, воспитатели при нихъ неотлучно и безпрестанно наблюдаютъ за этимъ.

Но мнѣ показалось это невѣроятнымъ. Въ колоніи есть нѣкоторые изъ бывшаго отдѣленія малолѣтнихъ преступниковъ еще въ Литовскомъ замкѣ, теперь тамъ уничтоженнаго. Я былъ въ этой тюрьмѣ еще третьяго года и видѣлъ этихъ мальчиковъ. Потомъ я узналъ съ совершенною достовѣрностью, что развратъ между ними въ замкѣ былъ необычайный, что тѣ изъ поступившихъ въ замокъ бродягъ, которые еще не заражены были этимъ развратомъ и сначала гнушались имъ, подчинялись ему потомъ почти поневолѣ, изъ за насмѣшекъ товарищей надъ ихъ цѣломудріемъ.

— А много-ли было рецедивистовъ? освѣдомился я.

— Не такъ много; изъ всѣхъ выпущенныхъ изъ колоніи было всего до

восьми человѣкъ (цифра однако не маленькая).

Замѣчу, что воспитанники выпускаются по преимуществу ремесленниками и имъ пріискивается „предварительно" помѣщеніе. Прежде паспорты, выдаваемые отъ колоніи имъ очень вредили. Теперь же нашли средство выдавать имъ такіе паспорты, изъ которыхъ нельзя, съ перваго взгляда по крайней мѣрѣ, увидѣть, что предъявитель его изъ колоніи преступниковъ.

— Зато, прибавилъ поспѣшно П. А—чъ, — у насъ есть и такіе выпущенные, которые до сихъ поръ не могутъ забыть о колоніи и чуть праздникъ—непремѣнно приходятъ къ намъ побывать и погостить съ нами.

Итакъ самое сильное средство перевоспитанія, передѣлки оскорбленной и опороченной души въ ясную и честную, есть трудъ. Трудомъ начинается день въ камерѣ, а затѣмъ воспитанники идутъ въ мастерскія. Въ мастерскихъ: въ слесарной, въ столярной, мнѣ показывали ихъ издѣлія. Подѣлки по возможности, хороши, но конечно будутъ и гораздо лучше, когда болѣе наладится дѣло. Онѣ продаются въ пользу воспитанниковъ и у каждаго, такимъ образомъ, скопляется что-нибудь къ выходу изъ колоніи. Работою дѣти заняты и утромъ и послѣ обѣда, — но безъ утомленія и, кажется, трудъ дѣйствительно оказываетъ довольно сильное впечатлѣніе на ихъ нравственную сторону: они стараются сдѣлать лучше одинъ передъ другимъ и гордятся успѣхами.

Другое средство ихъ духовнаго развитія — это, конечно, самосудъ, введенный между ними. Всякій провинившійся изъ нихъ поступаетъ на судъ всей „семьи", къ которой принадлежитъ, и мальчики или оправдываютъ его или присуждаютъ къ наказанію. Единственное наказаніе—отлученіе отъ игръ. Не подчиняющихся суду товарищей наказываютъ уже совершеннымъ отлученіемъ отъ всей колоніи. На то есть у нихъ Петропавловка,—такъ прозвана мальчиками особая, болѣе удаленная изба, въ которой имѣются каморки для временно удаленныхъ. Впрочемъ заключеніе въ Петропавловку зависитъ, кажется, единственно отъ директора. Мы ходили въ эту Петропавловку; тамъ было тогда всего двое заключенныхъ, и замѣчу, что заключаютъ осторожно и осмотрительно, за что-нибудь слишкомъ ужь важное и закоренѣлое. Эти двое заключенныхъ помѣщались каждый въ особой маленькой комнаткѣ и взаперти, но намъ ихъ лично не показали.

Этотъ самосудъ, въ сущности, конечно, дѣло хорошее, но отзывается какъ бы чѣмъ-то книжнымъ. Есть много гордыхъ дѣтей и гордыхъ въ хорошую сторону, которые могутъ быть оскорблены этою вѣчевою властью такихъ же какъ они мальчиковъ и преступниковъ, такъ что могутъ и не понять эту власть настоящимъ образомъ. Могутъ случиться личности гораздо талантливѣе и умнѣе всѣхъ прочихъ въ „семьѣ" и ихъ можетъ укусить самолюбіе и ненависть къ рѣшенію среды; а среда почти и всегда середина. Да и судящіе мальчики понимаютъ-ли и сами-то хорошо свое дѣло? Не явятся-ли, напротивъ, и между ними ихъ дѣтскія партіи, какихъ нибудь тоже соперничествующихъ мальчиковъ, посильнѣе и побойчѣе прочихъ, которые всегда и непремѣнно являются между дѣтьми во всѣхъ школахъ, даютъ тонъ и ведутъ за собою остальныхъ какъ на веревкѣ? Все же вѣдь это дѣти, а не взрослые. Наконецъ осужденные и

потерпѣвшіе наказаніе будутъ-ли смотрѣть потомъ также просто и братски на своихъ бывшихъ судей и не нарушается-ли этимъ самосудомъ товарищество? Конечно, это развивающее воспитательное средство основано и придумано въ той идеѣ, что эти, прежде-преступныя дѣти такимъ правомъ самосуда какъ бы пріучаются къ закону, къ самосдержанію, къ правдѣ, о которой прежде вовсе не вѣдали, разовьютъ, наконецъ, въ себѣ чувство долга. Все это мысли прекрасныя и тонкія, но нѣсколько какъ бы обоюдоострыя. На счетъ же наказанія, конечно, выбрано самое дѣйствительное изъ самыхъ сдерживающихъ наказаній, то-есть лишеніе свободы.

Кстати ввернy сюда одно странное нотабене. Мнѣ нечаянно удалось услышать надняхъ одно весьма неожиданное замѣчаніе на счетъ отмѣненнаго у насъ повсемѣстно въ школахъ тѣлеснаго наказанія: „отмѣнили вездѣ въ школахъ тѣлесное наказаніе и прекрасно сдѣлали; но чего же, *между прочимъ*, достигли? Того, что въ нашемъ юношествѣ явилось чрезвычайно много трусовъ, сравнительно съ прежнимъ. Они стали бояться малѣйшей физической боли, всякаго страданія, лишенія, всякой даже обиды, всякаго уязвленія ихъ самолюбія, и до того, что нѣкоторые изъ нихъ, какъ показываютъ примѣры, при весьма незначительной даже угрозѣ, даже отъ какихъ нибудь трудныхъ уроковъ или экзаменовъ, — вѣшаются или застрѣливаются“. Дѣйствительно, всего вѣрнѣе объяснить нѣсколько подобныхъ и въ самомъ дѣлѣ происшедшихъ случаевъ, единственно трусостью юношей передъ чѣмъ-нибудь грозящимъ или непріятнымъ; но странная, однако, точка зрѣнія на предметъ и *наблюденіе* это по меньшей мѣрѣ оригинально. Вношу его для памяти.

Я видѣлъ ихъ всѣхъ за обѣдомъ: обѣдъ самый простой, но здоровый, сытный и превосходно приготовленный. Мы его съ большимъ удовольствіемъ попробовали еще до прихода воспитанниковъ; и однако, ѣда каждаго мальчика обходится ежедневно всего лишь въ пятнадцать копѣекъ. Подаютъ супъ или щи съ говядиной и второе блюдо—каша или картофель. По утру, вставши, чай съ хлѣбомъ, а между обѣдомъ и ужиномъ хлѣбъ съ квасомъ. Мальчики очень сыты; за столомъ прислуживаютъ очередные дежурные. Садясь за столъ, всѣ превосходно пропѣли молитву „Рождество твое Христе Боже нашъ“. Пѣть молитвы обучаетъ одинъ изъ воспитателей.

Тутъ, за обѣдомъ, въ сборѣ, мнѣ всего интереснѣе было всмотрѣться въ ихъ лица. Лица не то чтобы слишкомъ смѣлыя или дерзкія, но лишь ничего не конфузящіяся. Почти ни одного лица глупаго (хотя глупые, говорили мнѣ, между ними водятся; всего болѣе отличаются этимъ бывшіе питомцы воспитательнаго дома); напротивъ, есть даже очень интеллегентныя лица. Дурныхъ лицъ довольно, но не физически; чертами лица всѣ почти недурны, но что-то въ иныхъ лицахъ есть какъ бы ужь слишкомъ сокрытое про себя. Смѣющихся лицъ тоже мало, а между тѣмъ воспитанники очень развязны передъ начальствомъ и передъ кѣмъ бы то ни было, хотя нѣсколько и не въ томъ родѣ, какъ бываютъ развязны другія дѣти съ болѣе открытымъ сердцемъ. И должно быть ужасно многимъ изъ нихъ хотѣлось бы сейчасъ улизнуть изъ колоніи. Многіе изъ нихъ очевидно желаютъ не проговариваться, это по лицамъ видно.

Гуманное и до тонкости предупредительное обращенiе съ мальчиками воспитателей (хотя, впрочемъ, они и умѣютъ быть строгими, когда надо)— мнѣ кажется несовсѣмъ достигаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ до сердца этихъ мальчиковъ, и ужь, конечно, и до ихъ понятія. Имъ говорятъ *вы*, даже самымъ маленькимъ. Это *вы* показалось мнѣ здѣсь нѣсколько какъ бы натянутымъ, немного какъ бы чѣмъ-то излишнимъ. Можетъ быть мальчики, попавъ сюда, сочтутъ это лишь за господскую затѣю. Однимъ словомъ, это *вы* можетъ быть ошибка и даже нѣсколько серьезная. Мнѣ кажется, что оно какъ бы отдаляетъ отъ дѣтей воспитателя; въ *вы* заключается какъ бы нѣчто формальное и казенное и нехорошо если иной мальчикъ приметъ его за нѣчто какъ бы къ нему презрительное. Вѣдь не повѣритъ же онъ въ самомъ дѣлѣ, что онъ, видавшій такіе непомѣрные виды и выслушивавшій самую неестественную брань, наконецъ, проворовавшійся до потери удержу, такъ вдругъ заслужилъ такое господское обращеніе. Однимъ словомъ, *ты*, по моему, было бы болѣе похожимъ на реальную правду въ настоящемъ случаѣ, а тутъ какъ бы всѣ немного притворяются. Вѣдь гораздо же лучше, если дѣти наконецъ осмыслятъ, что воспитатели ихъ не гувернеры, а отцы ихъ, а что сами они— всего только лишь дурные дѣти, которыхъ надобно исправлять. Впрочемъ, можетъ быть это *вы* и не испортитъ мальчика; а если его и скорчитъ потомъ отъ *ты*, или даже отъ брани, которую онъ услышитъ опять неминуемо, въ тотъ же самый день, какъ его выпустятъ изъ заведенія, то еще съ большимъ умиленіемъ вздохнетъ по своей колоніи.

Изъ неналаженныхъ вещей особенно замѣчается чтеніе. Мнѣ говорили, что дѣти очень любятъ читать, то есть слушать, когда имъ читаютъ, по праздникамъ или когда есть время, и что между ними есть хорошіе чтецы; я слышалъ лишь одного изъ чтецовъ, онъ читалъ хорошо и, говорятъ, очень любитъ читать всѣмъ вслухъ и чтобъ всѣ его слушали; но есть между ними и совсѣмъ малограмотные, есть и совсѣмъ неграмотные. Но что, однако, у нихъ читаютъ! лежитъ на столѣ—я видѣлъ это въ одной семьѣ послѣ обѣда—какой-то томъ, какого-то автора, и они читаютъ, какъ Владиміръ разговаривалъ съ какой-то Ольгой объ разныхъ глубокихъ и странныхъ вещахъ и какъ потомъ неизбѣжная среда „разбила ихъ существованіе". Я видѣлъ ихъ „библіотеку"—это шкапъ,въ которомъ естьТургеневъ, Островскій, Лермонтовъ, Пушкинъ и т. д., есть нѣсколько полезныхъ путешествій и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтеніе, если ужь допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что еслибъ и всѣ наши просвѣтительныя силы въ Россіи, со всѣми педагогическими совѣтами во главѣ, захотѣли установить или указать: что именно принять къ чтенію такимъ дѣтямъ и при такихъ обстоятельствахъ, то разумѣется, разошлись бы ничего не выдумавъ, ибо дѣло это очень трудное и рѣшается окончательно не въ засѣданіи только. Съ другой стороны, въ нашей литературѣ совершенно нѣтъ никакихъ книгъ понятныхъ народу. Ни Пушкинъ, ни севастопольскіе разсказы, ни „Вечера на хуторѣ", ни сказка про Калашникова, ни Кольцовъ (Кольцовъ даже особенно), непонятны совсѣмъ народу. Конечно, эти мальчики не народъ, а так-

сказать, Богъ знаетъ кто, такая особь человѣческихъ существъ, что и опредѣлить трудно: къ какому разряду и типу они принадлежатъ? Но еслибъ они даже нѣчто и поняли, то ужь, конечно, совсѣмъ не цѣня, потому, что все это богатство имъ упало бы какъ съ неба; они же прежнимъ развитіемъ совсѣмъ къ нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириковъ, то такія-ли впечатлѣнія духовныя нужны этимъ бѣднымъ дѣтямъ, видѣвшимъ и безъ того столько грязи? Можетъ быть этимъ маленькимъ людямъ вовсе не хочется надъ людьми смѣяться. Можетъ быть эти покрытыя мракомъ души съ радостію и умиленіемъ открылись бы самымъ наивнымъ, самымъ первоначально-простодушнымъ впечатлѣніямъ, совершенно дѣтскимъ и простымъ, такимъ, надъ которыми свысока усмѣхнулся бы, ломаясь современный гимназистъ или лицеистъ, сверстникъ лѣтами этихъ преступныхъ дѣтей.

Школа тоже находится въ совершенномъ младенчествѣ, но ее тоже собираются наладить въ самомъ ближайшемъ будущемъ. Черченію и рисованію почти совсѣмъ не учатъ. Закона Божія вовсе нѣтъ: нѣтъ священника. Но онъ будетъ у нихъ свой, когда у нихъ выстроится церковь. Церковь эта деревянная, теперь строится. Начальство и строители гордятся ею. Архитектура дѣйствительно недурна, въ нѣсколько впрочемъ казенномъ, усиленно русскомъ стилѣ, очень пріѣвшемся. Кстати, замѣчу; безъ сомнѣнія преподаваніе Закона Божія въ школахъ, — преступниковъ или въ другихъ нашихъ первоначальныхъ школахъ — не можетъ быть поручено никому другому кромѣ священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя разсказывать простые разсказы изъ священной исторіи? Безспорно, изъ великаго множества народныхъ учителей могутъ встрѣтиться дѣйствительно дурные люди; но вѣдь если онъ захочетъ учить мальчика атеизму, то можетъ сдѣлать это и не уча священной исторіи, а просто разсказывая лишь объ уткѣ и „чѣмъ она покрыта“. Съ другой стороны, что слышно о духовенствѣ нашемъ? О! я вовсе не хочу никого обижать и увѣренъ, что въ школѣ преступниковъ будетъ превосходнѣйшій изъ „батюшекъ“, но однако же, что сообщали въ послѣднее время, съ особенною ревностью, почти всѣ наши газеты? Публиковались пренепріятные факты о томъ, что находились законоучители, которые, цѣлыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотѣли въ нихъ учить безъ прибавки жалованья. Безспорно — „трудящійся достоинъ платы“, но этотъ вѣчный вой о прибавкѣ жалованья рѣжетъ, наконецъ, ухо и мучаетъ сердце. Газеты наши берутъ сторону ноющихъ, да и я конечно тоже; но какъ-то все мечтается при томъ о тѣхъ древнихъ подвижникахъ и проповѣдникахъ Евангелія, которые ходили наги и босы, претерпѣвали побои и страданія и проповѣдовали Христа безъ прибавки жалованья. О, я не идеалистъ, я слишкомъ понимаю, что нынѣ времена наступили не тѣ; но не отрадно-ли было бы услыхать, что духовнымъ просвѣтителямъ нашимъ прибавилось хоть капельку добраго духу еще и до прибавки жалованья? Повторяю пусть не обижаются; всѣ отлично знаютъ, что, въ средѣ нашего священства, не изсякаетъ духъ и есть горячіе дѣятели. И я заранѣ увѣренъ, что такой именно и будетъ въ колоніи; но всего бы лучше, еслибъ имъ —

просто разсказывали священныя исторіи, безъ особой казенной морали и тѣмъ ограничили бы пока законоученіе. Рядъ чистыхъ, святыхъ, прекрасныхъ картинъ сильно подѣйствовалъ бы на ихъ жаждущія прекрасныхъ впечатлѣній души...

Впрочемъ, я простился съ колоніей съ отраднымъ впечатлѣніемъ въ душѣ. Если что и не „налажено", то есть однако же факты самаго серьезнаго достиженія цѣли. Разскажу изъ нихъ два, чтобъ закончить ими. Въ Петропавловкѣ, въ заключеніи, въ наше время, сидѣлъ одинъ изъ воспитанниковъ, лѣтъ уже пятнадцати; прежде онъ содержался нѣкоторое время въ тюрьмѣ Литовскаго замка, когда тамъ еще было отдѣленіе малолѣтнихъ преступниковъ. Присужденный поступить въ колонію, онъ изъ нея бѣжалъ, бѣжалъ кажется дважды; оба раза его изловили, одинъ разъ уже внѣ заведенія. Наконецъ, онъ прямо объявилъ, что не хочетъ повиноваться, за это его и удалили въ одиночное заключеніе. Къ Рождеству родственники принесли ему гостинцевъ, но гостинцевъ къ нему не допустили, какъ къ заключенному, и ихъ конфисковалъ воспитатель. Это страшно обидѣло и поразило мальчика и, въ посѣщеніе директора, онъ сталъ ему горько жаловаться, ожесточенно обвиняя воспитателя въ томъ, что тотъ посылки и гостинцы конфисковалъ себѣ, въ свою пользу; тутъ же со злобой и насмѣшкой выражался объ колоніи и объ товарищахъ; онъ всѣхъ винилъ. „Я съ нимъ сѣлъ и серьезно поговорилъ", разсказывалъ мнѣ П. А—чъ. „Онъ все время мрачно молчалъ. Черезъ два часа онъ вдругъ посылаетъ за мною опять, умоляетъ придти къ нему и что же: бросился ко мнѣ со слезами, весь потрясенный и преобразившійся, сталъ каяться, упрекать себя, сталъ мнѣ разсказывать такія вещи, которыя отъ всѣхъ доселѣ таилъ, случившіяся съ нимъ прежде, разсказалъ за тайну, что онъ давно уже преданъ одной постыднѣйшей привычкѣ, отъ которой не можетъ отвязаться и что это его мучитъ,—однимъ словомъ, это была полная исповѣдь. Я съ нимъ провелъ часа два, прибавилъ П. А—чъ. Мы поговорили; я посовѣтовалъ нѣкоторыя средства, чтобъ побороть привычку, ну тамъ и проч. и проч."

П. А—чъ, передавая это, усиленно умолчалъ объ чемъ они тамъ между собою переговорили; но, согласитесь, есть же умѣнье проникнуть въ болѣзненную душу глубоко ожесточившагося и совершенно незнавшаго доселѣ правды, молодого преступника. Признаюсь, я бы очень желалъ узнать въ подробности этотъ разговоръ. Вотъ другой фактъ: каждый воспитатель, въ каждой семьѣ, не только наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы воспитанники убирали камеру, мыли и чистили ее, но и участвуетъ вмѣстѣ съ ними въ работѣ. Тамъ моютъ полы по субботамъ; воспитатель не только показываетъ какъ надо мыть, но самъ вмѣстѣ съ ними принимается мыть и вымываетъ полъ. Это уже самое полное пониманіе своего призванія и своего человѣческаго достоинства. Гдѣ вы въ чиновничествѣ напримѣръ, встрѣтите такое отношеніе къ дѣлу? И если въ самомъ дѣлѣ вправду, эти люди рѣшились соединить задачи колоніи съ своею собственною цѣлью жизни, то дѣло, конечно, будетъ „налажено", не смотря даже ни на какія теоретическія ошибки, еслибъ таковыя и случились въ началѣ.

— „Герои,—вы господа романисты

все ищете героевъ“, сказалъ мнѣ на дняхъ одинъ видавшій виды человѣкъ, „и не находя у насъ героевъ, сердитесь и брюзжите на всю Россію, а вотъ я вамъ разскажу одинъ анекдотъ: жилъ былъ одинъ чиновникъ, давно уже, въ царствованіе покойнаго Государя, сперва служилъ въ Петербургѣ, а потомъ, кажется въ Кіевѣ, тамъ и умеръ, — вотъ повидимому и вся его біографія. А между тѣмъ, что бы вы думали: этотъ скромный и молчаливый человѣчекъ до того страдалъ душой всю жизнь свою, о крѣпостномъ состояніи людей, о томъ, что у насъ человѣкъ, образъ и подобіе Божіе, такъ рабски зависитъ отъ такого же какъ самъ человѣка, что сталъ копить изъ скромнѣйшаго своего жалованья, отказывая себѣ, женѣ, и дѣтямъ, почти въ необходимомъ, и, по мѣрѣ накопленія, выкупалъ на волю какого нибудь крѣпостнаго у помѣщика,—въ десять лѣтъ по одному, разумѣется. Во всю жизнь свою онъ выкупилъ, такимъ образомъ, трехъ-четырехъ человѣкъ и, когда померъ, семьѣ ничего не оставилъ. Все это произошло безвѣстно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это „идеалистъ сороковыхъ годовъ“ и только, даже можетъ быть смѣшной, неумѣлый, ибо думалъ, что одинмъ мельчайшимъ частнымъ случаемъ можетъ побороть всю бѣду; но все-таки можно бы, кажется, нашимъ Потугинымъ быть подобрѣе къ Россіи и не бросать въ нее за все про все грязью“.

Я помѣщаю здѣсь этотъ анекдотъ (кажется совсѣмъ неидущій къ дѣлу) лишь потому только, что не имѣю поводовъ сомнѣваться въ его достовѣрности.

И, однако, вотъ бы намъ какихъ людей! Я ужасно люблю этотъ комическій типъ маленькихъ человѣчковъ, серьезно воображающихъ, что они своимъ микроскопическимъ дѣйствіемъ и упорствомъ въ состояніи помочь общему дѣлу, не дожидаясь общаго подъема и почина. Вотъ такого типа человѣчекъ пригодился бы, можетъ быть, и въ колоніи малолѣтнихъ преступниковъ... о, разумѣется, подъ руководствомъ болѣе просвѣщенныхъ и, такъ сказать, высшихъ руководителей...

Впрочемъ, я въ колоніи провелъ всего лишь нѣсколько часовъ и могъ многое напредставить себѣ, не доглядѣть и ошибиться. Во всякомъ случаѣ, средства къ передѣлкѣ порочныхъ душъ въ непорочныя нахожу пока недостаточными.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Россійское общество покровительства животнымъ. Фельдъегерь. Зелено-вино. Зудъ разврата и Воробьевъ. Съ конца или съ начала.

Въ № 359 „Голоса“ мнѣ случилось прочесть о праздновании торжественнаго юбилея перваго десятилѣтія Россійскаго Общества покровительства животнымъ. Какое пріятное и гуманное общество! Сколько я понялъ, главная мысль его заключается почти вся въ слѣдующихъ словахъ изъ рѣчи князя А. А. Суворова, предсѣдателя Общества:

„И на самомъ дѣлѣ, задача нашего новаго благотворительнаго учрежденія казалась тѣмъ труднѣе, что въ покровительствѣ животнымъ большинство не желало видѣть тѣхъ моральныхъ и матеріальныхъ выгодъ для человѣка, какія проистекаютъ изъ снисходительнаго и разумнаго съ его стороны обращенія съ домашними животными“.

И дѣйствительно, не однѣ же вѣдь собачки и лошадки такъ дороги „Обществу“, а и человѣкъ, русскій человѣкъ, котораго надо *образить* *) и очеловѣчить, чему Общество покровительства животнымъ, безъ сомнѣнія, можетъ способствовать. Научившись жалѣть скотину, мужикъ станетъ жалѣть и жену свою. А потому, хоть я и очень люблю животныхъ, но я слишкомъ радъ, что высокоуважаемому „Обществу“ дороги нестолько скоты, сколько люди, огрубѣвшіе, негуманные, полуварвары, ждущіе свѣта! Всякое просвѣтительное средство дорого, и желательно лишь, чтобы идея Общества стала и въ самомъ дѣлѣ однимъ изъ просвѣтительныхъ средствъ. Наши дѣти воспитываются и взростаютъ, встрѣчая отвратительныя картины. Они видятъ, какъ мужикъ, наложивъ непомѣрно возъ, сѣчетъ свою завязшую въ грязи клячу, его кормилицу, кнутомъ по глазамъ, или, какъ я видѣлъ самъ, напримѣръ, да еще и недавно, какъ мужикъ, везшій на бойню въ большой телѣгѣ телятъ, въ которой уложилъ ихъ штукъ десять, самъ преспокойно сѣлъ тутъ же въ телѣгу на теленка. Ему сидѣть было мягко, точно на диванѣ съ пружинами, но теленокъ, высунувъ языкъ и вылупивъ глаза, можетъ издохъ еще не доѣхавъ до бойни. Эта картинка, я увѣренъ, никого даже и не возмутила на улицѣ: „все-де равно ихъ рѣзать везутъ“; но такія картинки, несомнѣнно, звѣрятъ человѣка и дѣйствуютъ развратительно, особенно на дѣтей. Правда на почтенное „Общество“ были и нападки; я слышалъ не разъ и насмѣшки. Упоминалось, напримѣръ, что когда-то, лѣтъ пять тому, одного извощика Общество привлекло къ отвѣтственности за дурное обращеніе съ лошадью и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это-то ужь, конечно, было неловкостью, потому что, дѣйствительно, послѣ такого приговора многіе не знали кого пожалѣть: извощика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону не болѣе десяти рублей. Потомъ я слышалъ, будто бы о слишкомъ излишнихъ хлопотахъ Общества, чтобы бродячихъ и, стало быть, вредныхъ собакъ, потерявшихъ хозяевъ, умерщвлять хлороформомъ. Замѣчали на это, что пока у насъ люди мрутъ съ голоду по голоднымъ губерніямъ, такія нѣжныя заботы о собачкахъ нѣсколько какъ бы рѣжутъ ухо. Но всѣ подобныя возраженія не выдерживаютъ никакой критики. Цѣль Общества вѣковѣчнѣе временной случайности. Это идея свѣтлая и вѣрная, и которая, рано-ли, поздно-ли, а должна привиться и восторжествовать. Тѣмъ не менѣе, смотря и съ другой точки, чрезвычайно бы желательно, чтобы дѣйствія Общества и вышесказанныя „временныя случайности“ вошли, такъ сказать, во взаимное равновѣсіе; тогда, конечно, яснѣе бы опредѣлился тотъ спасительный и благодѣтельный путь, которымъ Общество можетъ придти къ обильнымъ и глав-

*) Образить — словцо народное, дать образъ, возстановить въ человѣкѣ образъ человѣческій. Долго пьянствующему говорятъ, укоряя: „Ты хошь бы образилъ себя“. Слышалъ отъ каторжныхъ.

ное, къ практическимъ уже результатамъ, къ результатамъ дѣйствительнаго достиженія цѣли... Можетъ быть я неясно выражаюсь; разскажу одинъ анекдотъ, одно дѣйствительное происшествіе, и надѣюсь, что нагляднымъ изложеніемъ его яснѣе передамъ то, что мнѣ хотѣлось выразить.

Анекдотъ этотъ случился со мной уже слишкомъ давно, въ мое доисторическое, такъ сказать, время, а именно, въ тридцать седьмомъ году, когда мнѣ было всего лишь около пятнадцати лѣтъ отъ роду, по дорогѣ изъ Москвы въ Петербургъ. Я и старшій братъ мой ѣхали, съ покойнымъ отцомъ нашимъ, въ Петербургъ, опредѣляться въ Главное инженерное училище. Былъ май мѣсяцъ, было жарко. Мы ѣхали на долгихъ, почти шагомъ, и стояли на станціяхъ часа по два и по три. Помню, какъ надоѣло намъ, подконецъ, это путешествіе, продолжавшееся почти недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали объ чемъ-то ужасно, обо всемъ „прекрасномъ и высокомъ“, — тогда это словечко было еще свѣжо и выговаривалось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ прекрасныхъ словечекъ! Мы вѣрили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзіи и о поэтахъ. Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по три, и даже дорогой, а я безпрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ Венеціанской жизни. Тогда, всего два мѣсяца передъ тѣмъ, скончался Пушкинъ и мы, дорогой, сговаривались съ братомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, тотчасъ же сходить на мѣсто поединка и пробраться въ бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидѣть ту комнату, въ которой онъ испустилъ духъ. И вотъ разъ, передъ вечеромъ, мы стояли на станціи, на постояломъ дворѣ, въ какомъ селѣ не помню, кажется въ Тверской губерніи; село было большое и богатое. Черезъ полчаса готовились тронуться, а пока я смотрѣлъ въ окно и увидѣлъ слѣдующую вещь.

Прямо противъ постоялаго двора черезъ улицу, приходился станціонный домъ. Вдругъ къ крыльцу его подлетѣла курьерская тройка и выскочилъ фельдъегерь въ полномъ мундирѣ, съ узенькими тогдашними фалдочками назади, въ большой трехъ-угольной шляпѣ съ бѣлыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забылъ эту подробность и могъ бы справиться, но мнѣ помнится, что мелькали и зеленыя перья). Фельдъегерь былъ высокій, чрезвычайно плотный и сильный дѣтина съ багровымъ лицомъ. Онъ пробѣжалъ въ станціонный домъ и ужь навѣрно „хлопнулъ“ тамъ рюмку водки. Помню, мнѣ тогда сказалъ нашъ извощикъ, что такой фельдъегерь всегда на каждой станціи выпиваетъ по рюмкѣ, безъ того не выдержалъ бы „такой муки“. Между тѣмъ, къ почтовой станціи подкатила новая перемѣнная лихая тройка и ямщикъ, молодой парень лѣтъ двадцати, держа на рукѣ армякъ, самъ въ красной рубахѣ, вскочилъ на облучекъ. Тотчасъ же выскочилъ и фельдъегерь, сбѣжалъ съ ступенекъ и сѣлъ въ тележку. Ямщикъ тронулъ, но не успѣлъ онъ и тронуть, какъ фельдъегерь приподнялся и молча, безо всякихъ какихъ нибудь словъ, поднялъ свой здоровенный правый кулакъ и, сверху, больно опустилъ его въ самый затылокъ ямщика. Тотъ весь тряхнулся впередъ, поднялъ кнутъ и изо всей силы охлестнулъ коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не

укротило фельдъегеря. Тутъ былъ методъ а не раздраженіе, нѣчто предвзятое и испытанное многолѣтнимъ опытомъ, и страшный кулакъ взвился снова и снова ударилъ въ затылокъ. Затѣмъ снова и снова, и такъ продолжалось пока тройка не скрылась изъ виду. Разумѣется, ямщикъ, едва державшійся отъ ударовъ, безпрерывно и каждую секунду хлесталъ лошадей, какъ бы выбитый изъ ума, и наконецъ нахлесталъ ихъ до того, что онѣ неслись какъ угорѣлыя. Нашъ извощикъ объяснилъ мнѣ, что и всѣ фельдъегеря почти также ѣздятъ, а что этотъ особенно и его всѣ уже знаютъ; что онъ, выпивъ водки и вскочивъ въ тележку, начинаетъ всегда съ битья и бьетъ „все на этотъ самый манеръ", безо всякой вины, бьетъ ровно, подымаетъ и опускаетъ и „продержитъ такъ ямщика съ версту на кулакахъ, а затѣмъ ужъ перестанетъ. Коли соскучится, можетъ опять примется середи пути, а можетъ Богъ пронесетъ; зато ужъ всегда подымается опять, какъ подъѣзжать опять къ станціи: начнетъ примѣрно, за версту и пойдетъ подымать и опускать, такимъ манеромъ и подъѣдетъ къ станціи; чтобы всѣ въ селѣ на него удивлялись; шея-то потомъ съ мѣсяцъ болитъ". Парень воротится, смѣются надъ нимъ: „Ишь тебѣ фельдъегерь шею накостылялъ", а парень можетъ въ тотъ же день прибьетъ молоду-жену: „Хоть съ тебя сорву"; а можетъ и за то, что „смотрѣла и видѣла"...

Безъ сомнѣнія безчеловѣчно со стороны ямщика такъ хлестать и нахлестать лошадей: къ слѣдующей станціи онѣ прибѣжали, разумѣется, едва дыша и измученныя. Но кто же бы изъ Общества покровительства животнымъ рѣшился привлечь этого мужичка къ отвѣтственности за безчеловѣчное обращеніе съ своими лошадками, вѣдь не правда-ли?

Эта отвратительная картинка осталась въ воспоминаніяхъ моихъ на всю жизнь. Я никогда не могъ забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое въ русскомъ народѣ, какъ-то поневолѣ и долго потомъ наклоненъ былъ объяснять ужъ конечно слишкомъ односторонне. Вы поймете, что дѣло идетъ лишь о давно минувшемъ. Картинка эта являлась, такъ сказать, какъ эмблема, какъ нѣчто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины съ ея послѣдствіемъ. Тутъ каждый ударъ по скоту, такъ сказать, самъ собою выскакивалъ изъ каждаго удара по человѣку. Въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ эпоху моихъ самыхъ беззавѣтныхъ и страстныхъ мечтаній, мнѣ пришла вдругъ однажды въ голову мысль, что еслибъ случилось мнѣ когда основать филантропическое общество, то я непремѣнно далъ бы вырѣзать эту курьерскую тройку на печати общества, какъ эмблему и указаніе.

О, безъ сомнѣнія, теперь не сорокъ лѣтъ назадъ и курьеры не бьютъ народъ, а народъ уже самъ себя бьетъ, удержавъ розги на своемъ судѣ. Не въ этомъ и дѣло, а въ причинахъ ведущихъ за собою слѣдствія. Нѣтъ фельдъегеря, за то есть „зелено-вино". Какимъ образомъ зелено-вино можетъ походить на фельдъегеря? — Очень можетъ,—тѣмъ, что оно также скотинитъ и звѣритъ человѣка, ожесточаетъ его и отвлекаетъ отъ свѣтлыхъ мыслей, тупитъ его передъ всякой доброй пропагандой. Пьяному не до состраданія къ животнымъ, пьяный бросаетъ жену и дѣтей своихъ. Пьяный мужъ пришелъ къ женѣ, которую бросилъ и не кормилъ съ дѣтьми много

мѣсяцевъ, и потребовалъ водки, и сталъ бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женскій трудъ и во что онъ у насъ пока цѣнится), не знавшая чѣмъ дѣтей прокормить, схватила ножъ и пырнула его ножомъ. Это случилось недавно и ее будутъ судить. И напрасно я разсказалъ объ ней, ибо такихъ случаевъ сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнѣйшее сходство зелена-вина съ фельдъегеремъ безспорно въ томъ, что оно такъ же неминуемо и также неотразимо стоитъ надъ человѣческой волей.

Почтенное Общество покровительства животнымъ состоитъ изъ семисотъ пятидесяти членовъ, людей могущихъ имѣть вліяніе. Ну что, еслибъ оно захотѣло поспособствовать хоть немного уменьшенію въ народѣ пьянства и отравленія цѣлаго поколѣнія виномъ! Вѣдь изсякаетъ народная сила, глохнетъ источникъ будущихъ богатствъ, бѣднѣетъ умъ и развитіе,—и что вынесутъ въ умѣ и сердцѣ своемъ современные дѣти народа, взросшіе въ скверпѣ отцовъ своихъ? Загорѣлось село и въ селѣ церковь, вышелъ цѣловальникъ и крикнулъ народу, что если бросятъ отстаивать церковь, а отстоятъ кабакъ, то выкатитъ народу бочку. Церковь сгорѣла, а кабакъ отстояли. Примѣры эти еще пока ничтожные, въ виду неисчисленныхъ будущихъ ужасовъ. Почтенное Общество, еслибъ захотѣло хоть немного поспособствовать устраненію первоначальныхъ причинъ, тѣмъ самымъ навѣрно облегчило бы себѣ и свою прекрасную пропаганду. А то какъ заставить сострадать, когда вещи сложились именно какъ бы съ цѣлью искоренить въ человѣкѣ всякую человѣчность? Да и одно ли вино свирѣпствуетъ и развращаетъ народъ въ наше удивительное время? Носится какъ бы какой-то дурманъ повсемѣстно, какой-то зудъ разврата. Въ народѣ началось какое-то неслыханное извращеніе идей съ повсемѣстнымъ поклоненіемъ матеріализму. Матеріализмомъ я называю, въ данномъ случаѣ, преклоненіе народа передъ деньгами, предъ властью золотаго мѣшка. Въ народъ какъ бы вдругъ прорвалась мысль, что мѣшокъ теперь все, заключаетъ въ себѣ всякую силу, а что все о чемъ говорили ему и чему учили его доселѣ отцы — все вздоръ. Бѣда, если онъ укрѣпится въ такихъ мысляхъ; какъ ему и не мыслить такъ? Неужели, напримѣръ, это недавнее крушеніе поѣзда на одесской желѣзной дорогѣ съ царскими новобранцами, гдѣ убили ихъ болѣе ста человѣкъ — неужели, вы думаете, что на народъ не подѣйствуетъ такая власть развратительно? Народъ видитъ и дивится такому могуществу: „что хотятъ то и дѣлаютъ“ — и поневолѣ начинаетъ сомнѣваться: вотъ она гдѣ значитъ настоящая сила, вотъ она гдѣ всегда сидѣла; стань богатъ и все твое, и все можешь“. Развратительнѣе этой мысли не можетъ быть никакой другой. А она носится и проницаетъ все мало по малу. Народъ же ничѣмъ не защищенъ отъ такихъ идей, никакимъ просвѣщеніемъ, ни малѣйшей проповѣдью другихъ противоположныхъ идей. По всей Россіи протянулось теперь почти двадцать тысячъ верстъ желѣзныхъ дорогъ и вездѣ, даже самый послѣдній чиновникъ на нихъ, стоитъ пропагаторомъ этой идеи, смотритъ такъ, какъ бы имѣющій беззавѣтную власть надъ вами и надъ судьбой вашей, надъ семьей вашей и надъ честью вашей, только бы вы попались къ не-

му на желѣзную дорогу. Недавно одинъ начальникъ станціи вытащилъ, собственною властью и рукой, изъ вагона, ѣхавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится отъ него въ бѣгахъ,—и это безъ суда, безъ всякаго подозрѣнія, что онъ сдѣлать это не вправѣ: ясно, что этотъ начальникъ, если былъ и не въ бреду, то все же какъ бы опалѣлъ отъ собственнаго могущества. Всѣ эти случаи и примѣры прорываются въ народъ безпрерывнымъ соблазномъ, онъ видитъ ихъ каждый день и выводитъ неотразимыя заключенія. Я прежде осуждалъ было г. Суворина за случай его съ г. Голубевымъ. Мнѣ казалось, что нельзя же такъ вывести совсѣмъ неповиннаго человѣка на позоръ, да еще съ описаніемъ всѣхъ душевныхъ его движеній. Но теперь я нѣсколько измѣнилъ свой взглядъ даже и на этотъ случай. И какое мнѣ дѣло, что г. Голубевъ не виноватъ! Г. Голубевъ можетъ быть чистъ какъ слеза, но за то Воробьевъ виноватъ. Кто такой Воробьевъ? Совершенно не знаю; да и увѣренъ что его нѣтъ вовсе, но это тотъ самый Воробьевъ, который свирѣпствуетъ на всѣхъ линіяхъ, который налагаетъ произвольныя таксы, который силой выноситъ пассажировъ изъ вагона, который крушитъ поѣзды, который гноитъ по цѣлымъ мѣсяцамъ товары на станціяхъ, который безпардонно вредитъ цѣлымъ городамъ, губерніямъ, царству, и только кричитъ дикимъ голосомъ: „Прочь съ дороги, я иду“! Но главная вина этого пагубнаго пришельца въ томъ, что онъ сталъ надъ народомъ, какъ соблазнъ и развратительная идея. А впрочемъ, чтожь я такъ на Воробьева, одинъ ли онъ сталъ какъ развратительная идея? Повторяю что-то носится въ воздухѣ полное матеріализма и скептицизма; началось обожаніе даровой наживы, наслажденія безъ труда; всякій обманъ, всякое злодѣйство совершаются хладнокровно; убиваютъ, чтобы вынуть хоть рубль изъ кармана. Я вѣдь знаю, что и прежде было много сквернаго, но нынѣ безспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое какъ бы ученіе, или вѣрованіе. Въ Петербургѣ, двѣ-три недѣли тому, молоденькій парепекъ, извощикъ, врядъ ли даже совершеннолѣтній, везъ ночью старика и старуху и замѣтивъ, что старикъ безъ сознанія пьянъ, вынулъ *перочинный ножичекъ* и сталъ рѣзать старуху. Ихъ захватили и дурачокъ тутъ же повинился; „не знаю, какъ и случилось, и какъ ножичекъ очутился въ рукахъ“. И вправду, дѣйствительно, не зналъ. Вотъ тутъ такъ именно среда. Его захватило и затянуло, какъ въ машину, въ современный зудъ разврата, въ современное направленіе народное;— даровая нажива, ну какъ не попробовать, хоть перочиннымъ ножичкомъ.

„Нѣтъ, въ наше время не до пропаганды покровительства животнымъ: это барская затѣя“,—вотъ эту самую фразу я слышалъ, но глубоко ее отвергаю. Не будучи самъ членомъ Общества, я готовъ, однако, служить ему и, кажется, уже служу. Не знаю, выразилъ ли я, хоть сколько нибудь ясно желаніе мое о томъ „равновѣсіи дѣйствій Общества съ временными случайностями“, о которыхъ написалъ выше; но, понимая человѣческую и очеловѣчивающую цѣль Обществу, все же ему глубоко преданъ. Я никогда не могъ понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитіе, а остальныя девять десятыхъ

должны лишь послужить къ тому матеріаломъ и средствомъ, а сами оставаться во мракѣ. Я не хочу мыслить и жить иначе, какъ съ вѣрой, что всѣ наши девяносто милліоновъ русскихъ (или тамъ сколько ихъ тамъ народится) будутъ всѣ, когда нибудь, образованы, очеловѣчены и счастливы. Я знаю и вѣрую твердо, что всеобщее просвѣщеніе никому у насъ повредить не можетъ. Вѣрую даже, что царство мысли и свѣта способно водвориться у насъ, въ нашей Россіи, еще скорѣе, можетъ быть, чѣмъ гдѣ бы то ни было, ибо у насъ и теперь никто не захочетъ стать за идею о необходимости озвѣренія одной части людей для благосостоянія другой части, изображающей собою цивилизацію, какъ это вездѣ во всей Европѣ. У насъ же, добровольно, самимъ верхнимъ сословіемъ, съ царскою волею во главѣ, разрушено крѣпостное право! И потому, еще разъ, привѣтствую Общество покровительства животнымъ отъ горячаго сердца; а хотѣлъ я лишь только высказать мысль, что желалось бы дѣйствовать не все съ конца, а хоть отчасти бы и съ начала.

II.

Спиритизмъ. Нѣчто о чертяхъ. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти.

Но вотъ однакоже я исписалъ всю бумагу и нѣтъ мѣста, а я хотѣлъ было поговорить о войнѣ, о нашихъ окраинахъ; хотѣлось поговорить о литературѣ, о декабристахъ и еще на пятнадцать темъ, по крайней мѣрѣ. Вижу, что надобно писать тѣснѣе и сжиматься,—указаніе впредь. Кстати, словечко о декабристахъ, чтобы не забыть: извѣщая о недавней смерти одного изъ нихъ, въ нашихъ журналахъ отозвались, что это, кажется, одинъ изъ самыхъ послѣднихъ декабристовъ; — это несовсѣмъ точно. Изъ декабристовъ живы еще Иванъ Александровичъ Анненковъ, тотъ самый, первоначальную исторію котораго перековеркалъ покойный Александръ Дюма отецъ, въ извѣстномъ романѣ своемъ: „Les Memoires d'un maitre d'armes“. Живъ Матвѣй Ивановичъ Муравьевъ—Апостолъ, родной братъ казненнаго. Живы Свистуновъ и Назимовъ; можетъ быть есть и еще въ живыхъ.

Однимъ словомъ—многое приходится отложить до февральскаго номера. Но заключить настоящій январскій дневникъ мнѣ хотѣлось бы чѣмъ нибудь повеселѣе. Есть одна такая смѣшная тема и, главное, она въ модѣ: это—черти, тема о чертяхъ, о спиритизмѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что-то происходитъ удивительное: пишутъ мнѣ, напримѣръ, что молодой человѣкъ садится на кресло, поджавъ ноги, и кресло начинаетъ скакать по комнатѣ, — и это въ Петербургѣ, въ столицѣ! Да почему же прежде никто не скакалъ поджавъ ноги въ креслахъ, а всѣ служили и скромно получали чины свои? Увѣряютъ, что у одной дамы, гдѣ-то въ губерніи, въ ея домѣ столько чертей, что и половины ихъ нѣтъ столько даже въ хижинѣ дядей Эдди. Да у насъ ли не найдется чертей! Гоголь пишетъ въ Москву съ того свѣта утвердительно, что это черти. Я читалъ письмо, слогъ его. Убѣждаетъ не вызывать чертей, не вертѣть столовъ, не связываться: „Не дразните чертей, не якшайтесь, грѣхъ дразнить чертей“... „Если ночью тебя начнетъ мучить нервическая безсонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку,

твори молитву“. Подымаются голоса пастырей и тѣ даже самой наукѣ совѣтуютъ не связываться съ волшебствомъ, не изслѣдовать „волшебство сіе“. Коли заговорили даже пастыри, значитъ дѣло разростается не въ шутку. Но вся бѣда въ томъ, черти-ли это? Вотъ бы составившейся въ Петербургѣ ревизіонной надъ спиритизмомъ коммиссіи рѣшить этотъ вопросъ! Потому что если рѣшатъ окончательно, что это не черти, а такъ какое нибудь тамъ электричество, какой нибудь новый видъ міровой силы, — то мигомъ наступитъ полное разочарованіе: „Вотъ, скажутъ, невидальщина; какая скука!“ — и тотчасъ же всѣ забросятъ и забудутъ спиритизмъ, а займутся, попрежнему, дѣломъ. Но чтобы изслѣдовать: черти-ли это? нужно чтобы хоть кто нибудь изъ ученыхъ составившейся коммиссіи былъ въ силахъ и имѣлъ возможность допустить существованіе чертей, хотя бы только въ предположеніи. Но врядъ-ли между ними найдется хоть одинъ въ чорта вѣрующій, не смотря даже на то, что ужасно много людей, невѣрующихъ въ Бога, вѣрятъ однако же чорту съ удовольствіемъ и готовностью. А потому коммиссія въ этомъ вопросѣ не компетентна. Вся бѣда моя въ томъ, что я и самъ никакъ не могу повѣрить въ чертей, такъ что даже и жаль, потому что я выдумалъ одну самую ясную и удивительную теорію спиритизма, но основанную единственно на существованіи чертей; безъ нихъ вся теорія моя уничтожается сама собой. Вотъ эту-то теорію я и намѣренъ, въ завершеніе, сообщить читателю. Дѣло въ томъ, что я защищаю чертей: на этотъ разъ на нихъ нападаютъ безвинно и считаютъ ихъ дураками. Не безпокойтесь, они свое дѣло знаютъ; это-то я и хочу доказать.

Во-первыхъ, пишутъ, что духи глупы (т. е. черти, нечистая сила: какіе же тутъ могутъ быть другіе духи, кромѣ чертей?),—что когда ихъ зовутъ и спрашиваютъ (столоверченіемъ), то они отвѣчаютъ все пустячки, не знаютъ грамматики, не сообщили ни одной новой мысли, ни одного открытія. Такъ судить—чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, напримѣръ, еслибъ черти сразу показали свое могущество и подавили бы человѣка открытіями? Вдругъ бы, напримѣръ, открыли электрическій телеграфъ (т. е. въ случаѣ, еслибъ онъ еще не былъ открытъ), сообщили бы человѣку разные секреты: „Рой тамъ-то—найдешь кладъ, или найдешь залежи каменнаго угля (а кстати, дрова такъ дороги), — да что, это еще все пустяки!—Вы, конечно, понимаете, что наука человѣческая еще въ младенчествѣ, почти только что начинаетъ дѣло и если есть за ней что-либо обезпеченное, такъ это покамѣстъ лишь то, что она твердо стала на ноги; и вотъ вдругъ посыпался бы рядъ открытій въ родѣ такихъ, что солнце стоитъ, а земля вокругъ него обращается (потому что навѣрно есть еще много такихъ же точно, по размѣрамъ, открытій, которыя теперь еще не открыты, да и не снятся мудрецамъ нашимъ); вдругъ бы всѣ знанія такъ и свалились на человѣчество, и, главное, совершенно даромъ, въ видѣ подарка? Я спрашиваю: чтобы тогда сталось съ людьми? О, конечно, сперва всѣ бы пришли въ восторгъ. Люди обнимали бы другъ друга въ упоеніи, они бросились бы изучать открытія (а это взяло бы время); они вдругъ почувствовали бы, такъ сказать, себя осыпанными счастьемъ, зарытыми въ

матеріальныхъ благахъ; они, можетъ быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайныя пространства въ десять разъ скорѣй, чѣмъ теперь по желѣзной дорогѣ; извлекали бы изъ земли баснословные урожаи, можетъ быть создали бы химіей организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человѣка, какъ мечтаютъ наши русскіе соціалисты, — словомъ, ѣшь, пей и наслаждайся. „Вотъ, закричали бы всѣ филантропы, теперь, когда человѣкъ обезпеченъ, вотъ теперь только онъ проявитъ себя! Нѣтъ ужь болѣе матеріальныхъ лишеній, нѣтъ болѣе заѣдающей „среды", бывшей причиною всѣхъ пороковъ, и теперь человѣкъ станетъ прекраснымъ и праведнымъ! Нѣтъ уже болѣе безпрерывнаго труда, чтобы какъ-нибудь прокормиться, и теперь всѣ займутся высшимъ, глубокими мыслями, всеобщими явленіями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!" И какіе можетъ умные и хорошіе люди это закричали бы въ одинъ голосъ и, можетъ быть, всѣхъ увлекли бы за собою съ новинки, и завопили бы, наконецъ, въ общемъ гимнѣ: „Кто подобенъ звѣрю сему? Хвала ему, онъ сводитъ намъ огонь съ небеси"!

Но врядъ-ли и на одно поколѣніе людей хватило бы этихъ восторговъ! Люди вдругъ увидѣли бы, что жизни уже болѣе нѣтъ у нихъ, нѣтъ свободы духа, нѣтъ воли и личности, что кто-то у нихъ все укралъ разомъ; что исчезъ человѣческій ликъ, и настапъ скотскій образъ раба, образъ скотины, съ тою разницею, что скотина не знаетъ, что она скотина, а человѣкъ узналъ бы, что онъ сталъ скотиной. И загнило бы человѣчество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои въ мукахъ, увидя, что жизнь у нихъ взята за хлѣбъ, за „камни, обращенные въ хлѣбы". Поняли бы люди, что нѣтъ счастья въ бездѣйствіи, что погаснетъ мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближняго, не жертвуя ему отъ труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не въ счастьи, а лишь въ его достиженіи.* Настанетъ скука и тоска: все сдѣлано и нечего болѣе дѣлать, все извѣстно и нечего болѣе узнавать. Самоубійцы явятся толпами, а не такъ, какъ теперь по угламъ; люди будутъ сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя всѣ вдругъ, тысячами, какимъ нибудь новымъ способомъ, открытымъ имъ вмѣстѣ со всѣми открытіями. И тогда, можетъ быть, и возопіютъ остальные къ Богу: „Правъ Ты, Господи, не единымъ хлѣбомъ живъ человѣкъ!" Тогда возстанутъ на чертей и бросятъ волхованіе... О, никогда Богъ не послалъ бы такой муки человѣчеству! И провалится царство чертей! Нѣтъ, черти такой важной политической ошибки не сдѣлаютъ. Политики они глубокіе и идутъ къ цѣли самымъ тонкимъ и здравымъ путемъ (опять таки если въ самомъ дѣлѣ тутъ черти!).

Идея ихъ царства—раздоръ, т. е. на раздорѣ они хотятъ основать его. Для чего же имъ раздоръ именно тутъ понадобился? А какже: взять уже то, что раздоръ страшная сила и самъ по себѣ; раздоръ, послѣ долгой усобицы, доводитъ людей до нелѣпости, до затмѣнія и извращенія ума и чувствъ. Въ раздорѣ обидчикъ, сознавъ что онъ обидѣлъ, не идетъ мириться съ обиженнымъ, а говоритъ: „я обидѣлъ его, стало быть, я долженъ ему отомстить". Но главное въ томъ, что черти превосходно знаютъ всемірную исторію и особенно помнятъ про все, что на

раздорѣ было основано. Имъ извѣстно, напримѣръ, что если стоятъ секты Европы, оторвавшіяся отъ католичества, и держатся до сихъ поръ какъ религіи, то единственно потому, что изъ-за нихъ пролита была въ свое время кровь. Кончилось бы, напримѣръ, католичество и непремѣнно затѣмъ разрушились бы и протестанскія секты: противъ чего же бы имъ осталось тогда протестовать? Онѣ ужъ и теперь почти всѣ наклонны перейти въ какую нибудь тамъ „гуманность", или даже просто въ атеизмъ, что въ нихъ впрочемъ уже давно замѣчалось, и если все еще лѣпятся какъ религіи, то потому, что еще до сихъ поръ протестуютъ. Онѣ еще прошлаго года протестовали, да еще какъ: до самого папы добирались.

О, разумѣется, черти, въ концѣ концевъ, возьмутъ свое и раздавятъ человѣка „камнями обращенными въ хлѣбы", какъ муку: это ихъ главнѣйшая цѣль; но они рѣшатся на это не иначе какъ обезпечивъ заранѣе будущее царство свое отъ бунта человѣческаго и тѣмъ придавъ ему долговѣчность. Но какъ же усмирить человѣка? Разумѣется; „divide et impera" (разъедини противника и восторжествуешь). А для того надобенъ раздоръ. Съ другой стороны, люди соскучатся отъ камней обращенныхъ въ хлѣбы, а потому надо пріискать имъ занятіе, чтобъ не скучали. А раздоръ-ли не занятіе для людей!

Теперь прослѣдите, какъ черти у насъ вводятъ раздоръ и, такъ сказать, съ перваго шагу начинаютъ у насъ спиритизмъ съ раздора. Какъ разъ этому способствуетъ наше мечущееся время. Вотъ уже сколько у насъ обидѣли людей, изъ повѣрившихъ спиритизму. На нихъ кричатъ и надъ ними смѣются за то, что они вѣрятъ столамъ, какъ будто они сдѣлали, или замыслили что либо безчестное, но тѣ продолжаютъ упорно изслѣдовать свое дѣло, не смотря на раздоръ. Да и какъ имъ перестать изслѣдовать: черти начинаютъ съ краю, возбуждаютъ любопытство, но сбиваютъ, а не разъясняютъ, путаютъ и явно смѣются въ глаза. Умный и достойный всякаго постороннягo уваженія человѣкъ, стоитъ, хмуритъ лобъ и долго добивается: „Что же это такое"? Наконецъ махаетъ рукой и уже готовъ отойти, но въ публикѣ хохотъ пуще и дѣло расширяется такъ, что адептъ поневолѣ остается изъ самолюбія.

Передъ нами ревизіонная надъ спиритизмомъ коммиссія во всеоружіи науки. Ожиданіе въ публикѣ, и что же: черти и не думаютъ сопротивляться, напротивъ, какъ разъ постыднѣйшимъ образомъ пассуютъ: сеансы не удаются, обманъ и фокусы явно выходятъ наружу. Раздается злобный хохотъ со всѣхъ сторонъ; коммиссія удаляется съ презрительными взглядами, адепты спиритизма погружаются въ стыдъ, чувство мести закрадывается въ сердца обѣихъ сторонъ. И вотъ, кажется бы погибать чертямъ, такъ вотъ нѣтъ же. Чуть отвернутся ученые и строгіе люди, они мигомъ и покажутъ опять какую-нибудь штучку по сверхъестественнѣе своимъ прежнимъ адептамъ, и вотъ тѣ опять увѣрены пуще прежняго. Опять соблазнъ, опять раздоръ! Въ Парижѣ, прошлымъ лѣтомъ, судили одного фотографа за спиритскія плутни, онъ вызывалъ покойниковъ и снималъ съ нихъ фотографіи; заказовъ получалъ пропасть. Но его накрыли и на судѣ онъ во всемъ сознался, даже представилъ и ту даму, которая помогала ему и представляла

вызванныя тѣни. Чтожь вы думаете, тѣ, которыхъ обманулъ фотографъ, повѣрили? Ничуть; одинъ изъ нихъ, говорятъ, сказалъ такъ: у меня умерло трое дѣтей, а портретовъ ихъ не осталось; и вотъ фотографъ мнѣ снялъ съ нихъ карточки, всѣ похожи, я всѣхъ узналъ. Какое мнѣ теперь дѣло, что онъ сознался вамъ въ плутовствѣ? На то у него свой разсчетъ, а у меня въ рукахъ фактъ и оставьте меня въ покоѣ". Это было въ газетахъ; не знаю такъ ли я передалъ подробности, но сущность вѣрна. Ну что, напримѣръ, если у насъ произойдетъ такое событіе: только что ученая коммиссія, кончивъ дѣло и обличивъ жалкіе фокусы, отвернется, какъ черти схватятъ кого нибудь изъ упорнѣйшихъ членовъ ея, ну хоть самого г. Менделѣева, обличившаго спиритизмъ на публичныхъ лекціяхъ и вдругъ, разомъ уловятъ его въ свои сѣти, какъ уловили въ свое время Крукса и Олькота, — отведутъ его въ сторонку, подымутъ его на пять минутъ на воздухъ, оматерьялизуютъ ему знакомыхъ покойниковъ, и все въ такомъ видѣ, что уже нельзя усумниться — ну, что тогда произойдетъ? Какъ истинный ученый онъ долженъ будетъ признать совершившійся фактъ — и это онъ, читавшій лекціи! Какая картина, какой стыдъ, скандалъ, какіе крики и вопли негодованія! Это конечно лишь шутка, и я увѣренъ, что съ г. Менделѣевымъ ничего подобнаго не случится, хотя въ Англіи и въ Америкѣ черти поступали, кажется, точь въ точь по этому плану. Ну, а что если черти, приготовивъ поле и уже достаточно насадивъ раздоръ, вдругъ захотятъ безмѣрно расширить дѣйствіе и перейдутъ уже къ настоящему, къ серьезному? Это народъ насмѣшливый и неожиданный, и отъ нихъ станется. Ну что, напримѣръ, если они вдругъ прорвутся въ народъ, ну хоть вмѣстѣ съ грамотностью? А народъ нашъ такъ незащищенъ, такъ преданъ мраку и разврату и такъ мало, кажется, у него въ этомъ смыслѣ руководителей! Онъ можетъ повѣрить новымъ явленіямъ съ страстью (вѣритъ же онъ Иванамъ Филипповичамъ) и тогда — какая остановка въ духовномъ развитіи его, какая порча и какъ надолго! Какое идольское поклоненіе матеріализму и какой раздоръ, раздоръ: въ сто, въ тысячу разъ больше прежняго, а того-то и надо чертямъ. А раздоръ несомнѣнно начнется, особенно если спиритизмъ добьется стѣсненія, преслѣдованія — (а оно можетъ даже неминуемо послѣдовать отъ остальнаго же народа, не увѣровавшаго спиритизму) — тогда онъ мигомъ разольется, какъ зажженный керосинъ, и все запылаетъ. Мистическія идеи любятъ преслѣдованіе, онѣ имъ созидаются. Каждая такая преслѣдуемая мысль подобна тому самому петролею, которымъ обливали полы и стѣны Тюльери зажигатели передъ пожаромъ, и который, въ свое время, лишь усилитъ пожаръ въ охраняемомъ зданіи. О, черти знаютъ силу запрещеннаго вѣрованія, и можетъ быть они уже много вѣковъ ждали человѣчество, когда оно споткнется о столы! Ими, конечно, управляетъ какой-нибудь огромный нечистый духъ, страшной силы и поумнѣе Мефистофеля, прославившаго Гёте, по увѣренію Якова Петровича Полонскаго.

Безъ всякаго сомнѣнія, я шутилъ и смѣялся съ перваго до послѣдняго слова, но вотъ что, однако, хотѣлось бы мнѣ выразить въ заключеніе: если взглянуть на спиритизмъ, какъ на нѣ-

что, несущее въ себѣ какъ бы новую вѣру (а почти всѣ, даже самые трезвые изъ спиритовъ, наклонны капельку къ такому взгляду), то кое-что изъ вышеизложеннаго могло бы быть принято и не въ шутку. А потому, дай Богъ поскорѣй успѣха свободному изслѣдованію съ обѣихъ сторонъ; только это одно и поможетъ какъ можно скорѣе искоренить распространяющійся скверный духъ, а можетъ быть и обогатитъ науку новымъ открытіемъ. А кричать другъ на друга, позорить и изгонять другъ друга, за спиритизмъ, изъ общества,—это, по моему, значитъ лишь укрѣплять и распространять идею спиритизма въ самомъ дурномъ ея смыслѣ. Это начало нетерпимости и преслѣдованія. Чертямъ того и надо!

III.

Одно слово по поводу моей біографіи.

На дняхъ мнѣ показали мою біографію, помѣщенную въ „Русскомъ Энциклопедическомъ словарѣ", издаваемомъ профессоромъ С.-Петербургскаго Университета И. Н. Березинымъ (годъ второй, выпускъ V, тетрадь 2-я. 1875 г.) и составленную г. В. З. Трудно представить, чтобъ на одной полстраницѣ можно было надѣлать столько ошибокъ. Я родился не въ 1818-мъ году, а въ 1822-мъ. Покойный братъ мой, Михаилъ Михайловичъ, издатель журналовъ „Время" и „Эпоха", былъ моимъ старшимъ братомъ, а не младшимъ четырьмя годами. Послѣ срока моей каторги, въ которую я сосланъ былъ въ 1849-мъ году *какъ государственный преступникъ* (о характерѣ преступленія ни слова не упомянуто у г. В. З., а сказано лишь, что „замѣшанъ былъ въ дѣло Петрашевскаго", т. е. въ Богъ знаетъ какое, потому что никто не обязанъ знать и помнить про дѣло Петрашевскаго, а Энциклопедическій словарь назначается для всеобщихъ справокъ и могутъ подумать, что я сосланъ былъ за грабежъ) послѣ каторги, я прямо, по волѣ покойнаго государя, поступилъ въ рядовые и черезъ три года службы былъ произведенъ въ офицеры; водворенъ же на поселеніи (поселенъ) въ Сибири, какъ разсказываетъ г. В. З., я никогда не былъ.—Порядокъ сочиненій моихъ перемѣшанъ: повѣсти, принадлежащія къ самому первому періоду моей литературной дѣятельности, отнесены въ біографіи какъ къ послѣднему. Такихъ ошибокъ множество и я ихъ не перечисляю, чтобъ не утомить читателя, въ случаѣ же вызова всѣ укажу. Но есть уже чистыя выдумки. Г. В. З. увѣряетъ, что я былъ редакторомъ газеты „Русскій Міръ"; объявляю на это, что редакторомъ газеты „Русскій Міръ" я никогда не бывалъ, мало того, не напечаталъ въ этомъ уважаемомъ изданіи никогда ни единой строки. Безспорно г. В. З. (г. Владиміръ Зотовъ?) можетъ имѣть свою точку зрѣнія и считать самымъ послѣднимъ дѣломъ, въ біографическомъ свѣдѣніи о писателѣ, вѣрное указаніе на то, когда онъ родился, какія именно испыталъ приключенія, гдѣ, когда и въ какомъ порядкѣ печаталъ свои произведенія, какіе труды его считать первоначальными, а какіе заключительными, какія изданія издавалъ, какія редактировалъ и въ какихъ былъ только сотрудникомъ; тѣмъ не менѣе, хоть для акуратности, желалось бы побольше толку. Не то, пожалуй, читатели подумаютъ, что и

всѣ статьи въ словарѣ г-на Березина составлены также неряшливо.

IV.

Одна турецкая пословица.

Кстати и на всякій случай, вверну здѣсь одну турецкую пословицу (настоящую турецкую, не сочиненную):

„Если ты направился къ цѣли и станешь дорогою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цѣли“.

По возможности буду слѣдовать въ „Дневникѣ“ моемъ этой премудрой пословицѣ, хотя, впрочемъ, и не желалъ бы связывать себя заранѣе обѣщаніями.

Ѳ. Достоевскій.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 5 Октября 1879 года.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Казанская ул., д. № 33.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

ФЕВРАЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

О томъ, что всѣ мы хорошіе люди. Сходство русскаго общества съ маршаломъ Макъ-Магономъ.

Первый № „Дневника Писателя“ былъ принятъ привѣтливо; почти никто не бранилъ, то есть въ литературѣ, а тамъ дальше я не знаю. Если и была литературная брань, то незамѣтная. „Петербургская газета“ поспѣшила напомнить публикѣ въ передовой статьѣ, что я не люблю дѣтей, подростковъ и молодое поколѣніе, и въ томъ же № внизу, въ своемъ фельетонѣ, перепечатала изъ моего „Дневника“ цѣлый разсказъ: „Мальчикъ у Христа на елкѣ“, по крайней мѣрѣ свидѣтельствующій о томъ, что я несовсѣмъ ненавижу дѣтей. Впрочемъ это все пустяки, а занимателенъ для меня лишь вопросъ: хорошо или не хорошо, что я всѣмъ угодилъ? Дурной или хорошій это признакъ? Можетъ быть вѣдь и дурной? А впрочемъ нѣтъ, зачѣмъ же, пусть лучше это будетъ хорошій а не дурной признакъ, на томъ и остановлюсь.

Да и въ самомъ дѣлѣ: вѣдь мы всѣ хорошіе люди, ну, разумѣется, кромѣ дурныхъ. Но вотъ что замѣчу къ слову: у насъ можетъ быть дурныхъ то людей и совсѣмъ нѣтъ, а есть развѣ только дрянные. До дурныхъ мы не доросли. Не смѣйтесь надо мной, а подумайте: мы вѣдь до того доходили, что за неимѣніемъ своихъ дурныхъ людей (опять таки при обиліи всякихъ дрянныхъ) готовы были, напримѣръ, чрезвычайно цѣнить, въ свое время, разныхъ дурныхъ человѣчковъ, появлявшихся въ литературныхъ нашихъ типахъ и заимствованныхъ большею частію съ иностраннаго. Мало того, что цѣнили, — рабски старались подражать имъ въ дѣйствительной жизни, копировали ихъ и въ этомъ смыс-

лѣ даже изъ кожи лѣзли. Вспомните: мало-ли у насъ было Печориныхъ, дѣйствительно и въ самомъ дѣлѣ надѣлавшихъ много скверностей по прочтеніи „Героя нашего времени“. Родоначальникомъ этихъ дурныхъ человѣчковъ былъ у насъ въ литературѣ Сильвіо, въ повѣсти „Выстрѣлъ“, взятый простодушнымъ и прекраснымъ Пушкинымъ у Байрона. Да и самъ-то Печоринъ убилъ Грушницкаго потому только, что былъ несовсѣмъ казистъ собой въ своемъ мундирѣ, и на балахъ высшаго общества, въ Петербургѣ, мало походилъ на молодца въ глазахъ дамскаго пола. Если же мы такъ въ свое время цѣнили и уважали этихъ злыхъ человѣчковъ, то единственно потому, что они являлись какъ люди, будто-бы, *прочной* ненависти, въ противоположность намъ русскимъ, какъ извѣстно, людямъ весьма непрочной ненависти, а эту черту мы всегда и особенно презирали въ себѣ. Русскіе люди долго и серьозно ненавидѣть не умѣютъ, и не только людей, но даже пороки, мракъ невѣжества, деспотизмъ, обскурантизмъ, ну и всѣ эти прочія ретроградныя вещи. У насъ сейчасъ готовы помириться, даже при первомъ случаѣ, вѣдь не правда-ли? Въ самомъ дѣлѣ, подумайте: за что намъ ненавидѣть другъ друга? За дурные поступки? Но вѣдь это тема прескользская, прещекотливая и препесправедливая,—однимъ словомъ: обоюдуострая; по крайней мѣрѣ въ настоящее время за нее лучше не приниматься. Остается ненависть изъ за убѣжденій; но тутъ-то ужь я въ высшей степени не вѣрю въ серьозность нашихъ ненавистей. Были, напримѣръ, у насъ когда-то славянофилы и западники и очень воевали. Но теперь, съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, закончилась реформа Петра и наступилъ всеобщій sauve qui peut. И вотъ, славянофилы и западники вдругъ сходятся въ одной и той же мысли, что теперь нужно всего ожидать отъ народа, что онъ всталъ, идетъ, и что онъ, и только онъ одинъ, скажетъ у насъ послѣднее слово. На этомъ, казалось бы, славянофиламъ и западникамъ можно было и примириться; но случилось не такъ: Славянофилы вѣрятъ въ народъ, потому что допускаютъ въ немъ свои собственныя, ему свойственныя начала, а западники соглашаются вѣрить въ народъ, единственно подъ тѣмъ условіемъ, чтобы у него не было никакихъ своихъ собственныхъ началъ. Ну вотъ драка и продолжается; что же бы вы думали? Я даже и въ самую драку не вѣрю: драка дракой, а любовь любовью. И почему дерущіеся не могли бы въ то же время любить другъ друга? Напротивъ это даже очень часто у насъ случается, въ тѣхъ случаяхъ, когда подерутся ужь слишкомъ хорошіе люди. А почему мы не хорошіе люди (опять таки кромѣ дрянныхъ)? Вѣдь деремся-то мы главное и единственно изъ-за того, что теперь вдругъ настало время уже не теорій, не журнальныхъ сшибокъ, а дѣла и практическаго рѣшенія. Вдругъ потребовалось высказать слово положительное—по воспитанію, по педагогикѣ, по желѣзнымъ дорогамъ, по земству, по медицинской части и т. д., и т. д., на сотни темъ и, главное, все это сейчасъ и какъ можно скорѣе, чтобы не задерживать дѣла; а такъ какъ всѣ мы, за двухсотлѣтней отвычкой отъ всякаго дѣла, оказались совершенно неспособными даже на малѣйшее дѣло, то естественно, что всѣ вдругъ и вцѣпились другъ другу въ волосы, и даже такъ, что

чѣмъ болѣе кто почувствовалъ себя неспособнымъ, тѣмъ пуще и полѣзъ въ драку. Что-же тутъ нехорошаго, я спрошу васъ. Это только трогательно и болѣе ничего. Взгляните на дѣтей: дѣти дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать свои мысли, ну вотъ точь въ точь такъ и мы. Ну и что же, тутъ вовсе нѣтъ ничего безотраднаго; напротивъ, это отчасти доказываетъ лишь нашу свѣжесть и, такъ сказать, непочатость. Положимъ у насъ, въ литературѣ напримѣръ, за неимѣніемъ мыслей, бранятся всѣми словами разомъ: пріемъ невозможный, наивный, у первобытныхъ народовъ лишь замѣчающійся, но вѣдь, ей Богу, даже и въ этомъ есть опять нѣчто почти трогательное: именно эта неопытность, эта дѣтская неумѣлость даже и выбраниться какъ слѣдуетъ. Я вовсе не смѣюсь и не глумлюсь: есть у насъ повсемѣстное честное и свѣтлое ожиданіе добра (это ужь какъ хотите, а это такъ), желаніе общаго дѣла и общаго блага и это прежде всякаго эгоизма, желаніе самое наивное и полное вѣры и при этомъ ничего обособленнаго, кастоваго, а если и встрѣчается въ маленькихъ и рѣдкихъ явленіяхъ, то какъ нѣчто непримѣтное и всѣми презираемое. Это очень важно, знаете чѣмъ: тѣмъ, что это не только не мало, но даже и очень много. Ну вотъ и довольно бы съ насъ: зачѣмъ намъ еще какой-то тамъ „прочной ненависти". Честность, искренность нашего общества не только не подвержены сомнѣнію, но даже бьютъ въ глаза. Вглядитесь и увидите, что у насъ прежде всего вѣра въ идею, въ идеалъ, а личныя, земныя блага лишь потомъ. О, дурные людишки успѣваютъ и у насъ обдѣлывать свои дѣла, даже въ самомъ противоположномъ смыслѣ, и, кажется, въ наше время даже несравненно больше чѣмъ когда либо прежде; но за то эти дрянные людишки никогда у насъ не владѣютъ мнѣніемъ и не предводительствуютъ, а, напротивъ, даже будучи на верху честей, бывали не разъ принуждаемы рабски подлаживаться подъ тонъ людей идеальныхъ, молодыхъ, отвлеченныхъ, смѣшныхъ для нихъ и бѣдныхъ. Въ этомъ смыслѣ наше общество сходно съ народомъ, тоже цѣнящимъ свою вѣру и свой идеалъ выше всего мірскаго и текущаго, и въ этомъ даже его главный пунктъ соединенія, съ народомъ. Идеализмъ-то этотъ пріятенъ и тамъ и тутъ: утрать его, вѣдь никакими деньгами потомъ не купишь. Нашъ народъ, хоть и объятъ развратомъ, а теперь даже больше чѣмъ когда либо, но никогда еще въ немъ не было безначалія, и никогда даже самый подлецъ въ народѣ не говорилъ: „Такъ и надо дѣлать, какъ я дѣлаю", а, напротивъ, всегда вѣрилъ и воздыхалъ, что дѣлаетъ онъ скверно, а что есть нѣчто гораздо лучшее, чѣмъ онъ и дѣла его. А идеалы въ народѣ есть и сильные, а вѣдь это главное: перемѣнятся обстоятельства, улучшится дѣло и развратъ можетъ быть и соскочитъ съ народа, а свѣтлыя-то начала все-таки въ немъ останутся незыблемѣе и святѣе чѣмъ когда либо прежде. Юношество наше ищетъ подвиговъ и жертвъ. Современный юноша, о которомъ такъ много говорятъ въ разномъ смыслѣ, часто обожаетъ самый простодушный парадоксъ и жертвуетъ для него всѣмъ на свѣтѣ, судьбою и жизнью; но вѣдь все это единственно потому, что считаетъ свой парадоксъ за истину. Тутъ лишь непросвѣщеніе: подоспѣетъ свѣтъ и сами собою явятся другія точки зрѣнія,

а парадоксы исчезнутъ, но за то не исчезнетъ въ немъ чистота сердца, жажда жертвъ и подвиговъ, которая въ немъ такъ свѣтится теперь—а вотъ это-то и всего лучше. О, другое дѣло и другой вопросъ: въ чемъ именно мы всѣ, ищущіе общаго блага и сходящіеся повсемѣстно въ желаніи успѣха общему дѣлу,—въ чемъ именно мы полагаемъ средства къ тому? Надо признаться, что у насъ въ этомъ отношеніи совсѣмъ не спѣлись, и даже такъ, что наше современное общество весьма похоже въ этомъ смыслѣ на маршала Макъ-Магона. Въ одну изъ поѣздокъ своихъ, весьма недавнихъ, по Франціи, почтенный маршалъ, въ одной изъ торжественныхъ отвѣтныхъ рѣчей своихъ какому-то меру (а французы такіе любители всякихъ встрѣчныхъ и отвѣтныхъ рѣчей) объявилъ, что, по его мнѣнію, вся политика заключается для него лишь въ словѣ: „Любовь къ отечеству". Мнѣніе это было изрѣчено, когда вся Франція, такъ сказать, напрягалась въ ожиданіи того, что онъ скажетъ. Мнѣніе странное, безспорно похвальное, но удивительно неопредѣленное, ибо тотъ же меръ могъ бы возразить его превосходительству, что иною любовью можно и утопить отечество. Но меръ не возразилъ ничего, конечно, испугавшись получить въ отвѣтъ: J'y suis et j'y reste!"—фразу, дальше которой почтенный маршалъ кажется не пойдетъ. Но хотя бы и такъ, а все-таки это точь въ точь какъ и въ нашемъ обществѣ: всѣ мы сходимся въ любви, если не къ отечеству, то къ общему дѣлу (слова ничего не значатъ),—но въ чемъ мы понимаемъ средства къ тому, и не только средства, но и самое-то общее дѣло,—вотъ въ этомъ у насъ такая же неясность, какъ и у маршала Макъ-Магона. И потому, хоть я и угодилъ инымъ, и цѣню что мнѣ протянули руку, цѣню очень, но все-таки предчувствую чрезвычайныя размолвки въ дальнѣйшихъ подробностяхъ, ибо не могу же я во всемъ и со всѣми быть согласнымъ, какимъ бы складнымъ человѣкомъ я ни былъ.

II.

О любви къ народу. Необходимый контрактъ съ народомъ.

Я вотъ, напримѣръ, написалъ въ январскомъ номерѣ „Дневника", что народъ нашъ грубъ и невѣжественъ, преданъ мраку и разврату, „варваръ ждущій свѣта". А между тѣмъ я только что прочелъ въ „Братской Помочи" (Сборникъ, изданный Славянскимъ Комитетомъ въ пользу дерущихся за свою свободу Славянъ),—въ статьѣ незабвеннаго и дорогаго всѣмъ русскимъ покойнаго Константина Аксакова, что русскій народъ—давно уже просвѣщенъ и „образованъ". Что-же? Смутился-ли я отъ такого, повидимому, разногласія моего съ мнѣніемъ Константина Аксакова? Нисколько, я вполнѣ раздѣляю это же самое мнѣніе, горячо и давно ему сочувствую. Какъ-же я соглашаю такое противорѣчіе? Но въ томъ и дѣло, что, по моему, это очень легко согласить, а по другимъ, къ удивленію моему, до сихъ поръ эти обѣ темы несогласимы. Въ русскомъ человѣкѣ изъ простонародья нужно умѣть отвлекать красоту его отъ наноснаго варварства. Обстоятельствами всей почти русской исторіи народъ нашъ до того былъ преданъ разврату, и до того былъ развращаемъ, соблазняемъ и постоянно мучимъ, что еще удивительно какъ онъ дожилъ, сохранивъ чело-

вѣческій образъ, а не то, что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ и красоту своего образа. Кто истинный другъ человѣчества, у кого хоть разъ билось сердце по страданіямъ народа, тотъ пойметъ и извинитъ всю непроходимую наносную грязь, въ которую погруженъ народъ нашъ, и сумѣетъ отыскать въ этой грязи бриліанты. Повторяю: судите русскій народъ не по тѣмъ мерзостямъ, которыя онъ такъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и святымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно воздыхаетъ. А вѣдь не всѣ же и въ народѣ—мерзавцы, есть прямо святые, да еще какіе: Сами свѣтятъ и всѣмъ намъ путь освѣщаютъ! Я какъ-то слѣпо убѣжденъ, что нѣтъ такого подлеца и мерзавца въ русскомъ народѣ, который бы не зналъ, что онъ подлъ и мерзокъ, тогда какъ у другихъ бываетъ такъ, что дѣлаетъ мерзость, да еще самъ себя за нее похваливаетъ, въ принципъ свою мерзость возводитъ, утверждаетъ, что въ ней-то и заключается l'Ordre и свѣтъ цивилизаціи и, несчастный, кончаетъ тѣмъ, что вѣритъ тому искренно, слѣпо и даже честно. Нѣтъ, судите нашъ народъ не по тому, чѣмъ онъ есть, а по тому чѣмъ желалъ бы стать. А идеалы его сильны и святы и они-то и спасли его въ вѣка мученій; они срослись съ душой его искони и наградили ее на вѣки простодушіемъ и честностью, искренностію и широкимъ всеоткрытымъ умомъ, и все это въ самомъ привлекательномъ гармоническомъ соединеніи. А если при томъ и такъ много грязи, то русскій человѣкъ и тоскуетъ отъ нея всего болѣе самъ, и вѣритъ, что все это—лишь наносное и временное, навожденіе діавольское, что кончится тьма и что непремѣнно возсіяетъ когда нибудь вѣчный свѣтъ. Я не буду вспоминать про его историческіе идеалы, про его Сергіевъ, Ѳеодосіевъ Печерскихъ и даже про Тихона Задонскаго. А кстати: многіе-ли знаютъ про Тихона Задонскаго? Зачѣмъ это такъ совсѣмъ не знать и совсѣмъ дать себѣ слово не читать? Некогда, что-ли? Повѣрьте, господа, что вы, къ удивленію вашему, узнали бы прекрасныя вещи. Но обращусь лучше къ нашей литературѣ: все что есть въ ней истинно прекраснаго, то все взято изъ народа, начиная съ смиреннаго, простодушнаго типа Бѣлкина, созданнаго Пушкинымъ. У насъ все вѣдь отъ Пушкина. Поворотъ его къ народу въ столь раннюю пору эго дѣятельности, до того былъ безпримѣренъ и удивителенъ, представлялъ для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь, если не чудомъ, то необычайною великостью генія, котораго мы, прибавлю къ слову, до сихъ поръ еще оцѣнить не въ силахъ. Не буду упоминать о чисто народныхъ типахъ, появившихся въ наше время, но вспомните Обломова, вспомните „Дворянское Гнѣздо“ Тургенева. Тутъ, конечно, не народъ, но все что въ этихъ типахъ Гончарова и Тургенева вѣковѣчнаго и прекраснаго,—все это отъ того, что они въ нихъ соприкоснулись съ народомъ; это соприкосновеніе съ народомъ придало имъ необычайныя силы. Они заимствовали у него его простодушіе, чистоту, кротость, широкость ума и незлобіе, въ противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорилъ вдругъ объ русской литературѣ. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся цѣликомъ, въ лучшихъ представителяхъ

своихъ и прежде всей нашей интеллигенціи, замѣтьте себѣ это, преклонилась передъ правдой народной, признала идеалы народные за дѣйствительно прекрасные. Впрочемъ она принуждена была взять ихъ себѣ въ образецъ отчасти даже невольно. Право тутъ, кажется, дѣйствовало скорѣе художественное чутье, чѣмъ добрая воля. Но объ литературѣ пока довольно, да и заговорилъ я объ ней по поводу лишь народа.

Вопросъ о народѣ и о взглядѣ на него, о пониманіи его, теперь у насъ самый важный вопросъ, въ которомъ заключается все наше будущее, даже, такъ сказать, самый практическій вопросъ нашъ теперь. И однако же, народъ для насъ всѣхъ — все еще теорія и продолжаетъ стоять загадкой. Всѣ мы, любители народа, смотримъ на него, какъ на теорію и, кажется, ровно никто изъ насъ не любитъ его такимъ, какимъ онъ есть въ самомъ дѣлѣ, а лишь такимъ, какимъ мы его каждый себѣ представили. И даже такъ, что еслибъ народъ русскій оказался впослѣдствіи не такимъ, какимъ мы каждый его представили, то, кажется, всѣ мы, не смотря на всю любовь нашу къ нему, тотчасъ бы отступились отъ него безъ всякаго сожалѣнія. Я говорю про всѣхъ, не исключая и славянофиловъ; тѣ то даже, можетъ быть, пуще всѣхъ. Что до меня, то я не потаю моихъ убѣжденій, именно, чтобы опредѣлить яснѣе дальнѣйшее направленіе, въ которомъ пойдетъ мой „Дневникъ", во избѣжаніе недоумѣній, такъ что всякій уже будетъ знать заранѣе: стоитъ ли мнѣ протягивать литературную руку, иль нѣтъ? Я думаю такъ: врядъ ли мы столь хороши и прекрасны, чтобъ могли поставить самихъ себя въ идеалъ народу и потребовать отъ него, чтобъ онъ сталъ непремѣнно такимъ же, какъ мы. Не дивитесь вопросу, поставленному такимъ нелѣпымъ угломъ. Но вопросъ этотъ у насъ никогда иначе и не ставился: „Что лучше — мы или народъ? Народу ли за нами или намъ за народомъ?"—вотъ, что теперь всѣ говорятъ, изъ тѣхъ кто хоть капельку не лишенъ мысли въ головѣ и заботы по общему дѣлу въ сердцѣ. А потому и я отвѣчу искренно: напротивъ, это мы должны преклониться передъ народомъ и ждать отъ него всего, и мысли и образа; преклониться предъ правдой народной и признать ее за правду, даже и въ томъ ужасномъ случаѣ, если она вышла бы отчасти и изъ Четьи-Минеи. Однимъ словомъ, мы должны склониться, какъ блудные дѣти, двѣсти лѣтъ не бывшіе дома, но воротившіеся однако же все-таки русскими, въ чемъ, впрочемъ, великая наша заслуга. Но, съ другой стороны, преклониться мы должны подъ однимъ лишь условіемъ и это sine qua non: чтобъ народъ и отъ насъ принялъ многое изъ того, что мы принесли съ собой. Не можемъ же мы совсѣмъ передъ нимъ уничтожиться, и даже передъ какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при насъ и мы не отдадимъ его ни за что на свѣтѣ, даже, въ крайнемъ случаѣ, и за счастье соединенія съ народомъ. Въ противномъ случаѣ, пусть ужь мы оба погибаемъ врозь. Да противнаго случая и не будетъ вовсе; я же совершенно убѣжденъ, что это *нѣчто*, что мы принесли съ собой, существуетъ дѣйствительно,—не миражъ, а имѣетъ и образъ, и форму, и вѣсъ. Тѣмъ не менѣе, опять повторяю, многое впереди загадка и до того, что даже страшно и ждать. Предсказываютъ, напримѣръ,

что цивилизація испортитъ народъ: это будто бы такой ходъ дѣла, при которомъ, рядомъ съ спасеніемъ и свѣтомъ, вторгается столько ложнаго и фальшиваго, столько тревоги и сквернѣйшихъ привычекъ, что развѣ лишь въ поколѣніяхъ впереди, опять-таки, пожалуй, черезъ двѣсти лѣтъ, взростутъ добрыя сѣмена, а дѣтей нашихъ и насъ можетъ быть ожидаетъ что нибудь ужасное. Такъ ли это по вашему, господа? Назначено ли нашему народу непремѣнно пройти еще новый фазисъ разврата и лжи, какъ прошли и мы его съ прививкой цивилизаціи? (Я думаю, никто вѣдь не заспоритъ, что мы начали нашу цивилизацію прямо съ разврата?) Я бы желалъ услышать на этотъ счетъ что нибудь утѣшительнѣе. Я очень наклоненъ увѣровать, что нашъ народъ такая огромность, что въ ней уничтожатся, сами собой, всѣ новые мутные потоки, если только они откуда нибудь выскочатъ и потекутъ. Вотъ на это давайте руку; давайте способствовать вмѣстѣ, каждый „микроскопическимъ" своимъ дѣйствіемъ, чтобъ дѣло обошлось прямѣе и безошибочнѣе. Правда, мы сами-то не умѣемъ тутъ ничего, а только „любимъ отечество", въ средствахъ не согласимся и еще много разъ поссоримся; но вѣдь, если ужь рѣшено, что мы люди хорошіе, то чтобы тамъ ни вышло, а вѣдь дѣло-то, подконецъ, наладится. Вотъ моя вѣра. Повторяю: тутъ двухсотлѣтняя отвычка отъ всякаго дѣла и болѣе ничего. Вотъ черезъ эту-то отвычку мы и покончили нашъ „культурный періодъ" тѣмъ, что повсемѣстно перестали понимать другъ друга. Конечно, я говорю лишь о серьезныхъ и искреннихъ людяхъ,—это они только не понимаютъ другъ друга; а спекулянты дѣло другое: тѣ другъ друга всегда понимали...

III.

Мужикъ Марей.

Но всѣ эти professions de foi, я думаю, очень скучно читать, а потому разскажу одинъ анекдотъ впрочемъ даже и не анекдотъ; такъ, одно лишь далекое воспоминаніе, которое мнѣ, почему-то, очень хочется разсказать именно здѣсь и теперь, въ заключеніе нашего трактата о народѣ. Мнѣ было тогда всего лишь девять лѣтъ отъ роду... но нѣтъ, лучше я начну съ того, когда мнѣ было двадцать девять лѣтъ отъ роду.

Былъ второй день Свѣтлаго праздника. Въ воздухѣ было тепло, небо голубое, солнце высокое, „теплое", яркое, но въ душѣ моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрѣлъ, отсчитывая ихъ, на пали крѣпкаго острожнаго тына, но и считать мнѣ ихъ не хотѣлось, хотя было въ привычку. Другой уже день по острогу „шелъ праздникъ"; каторжныхъ на работу не выводили, пьяныхъ было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всѣхъ углахъ. Безобразныя, гадкія пѣсни, майданы съ картежной игрой подъ нарами, нѣсколько уже избитыхъ до полусмерти каторжныхъ, за особое буйство, собственнымъ судомъ товарищей и прикрытыхъ на нарахъ тулупами, пока оживутъ и очнутся; нѣсколько разъ уже обнажавшіеся ножи, — все это, въ два дня праздника, до болѣзни истерзало меня. Да и никогда не могъ я вынести безъ отвращенія пьянаго народнаго разгула, а тутъ въ

этомъ мѣстѣ особенно. Въ эти дни даже начальство въ острогъ не заглядывало, не дѣлало обысковъ, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, разъ въ годъ, даже и этимъ отверженцамъ, и что иначе было бы хуже. Наконецъ, въ сердцѣ моемъ загорѣлась злоба. Мнѣ встрѣтился полякъ М—цкій, изъ политическихъ; онъ мрачно посмотрѣлъ на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: „Je hais ces brigands"! проскрежеталъ онъ мнѣ вполголоса и прошелъ мимо. Я воротился въ казарму, не смотря на то, что четверть часа тому выбѣжалъ изъ нея какъ полоумный, когда шесть человѣкъ здоровыхъ мужиковъ бросились, всѣ разомъ, на пьянаго татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелѣпо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били безъ опаски. Теперь, воротясь, я примѣтилъ въ концѣ казармы, на нарахъ въ углу, безчувственнаго уже Газина почти безъ признаковъ жизни; онъ лежалъ прикрытый тулупомъ и его всѣ обходили молча: хоть и твердо надѣялись, что завтра къ утру очнется, „но съ такихъ побоевъ, не ровенъ часъ, пожалуй, что и помретъ человѣкъ". Я пробрался на свое мѣсто, противъ окна съ желѣзной рѣшеткой, и легъ навзничь, закинувъ руки за голову и закрывъ глаза. Я любилъ такъ лежать: къ спящему не пристанутъ, а межъ тѣмъ можно мечтать и думать. Но мнѣ не мечталось; сердце билось неспокойно, а въ ушахъ звучали слова М—цкаго: „Je hais ces brigands!" Впрочемъ, что же описывать впечатлѣнія; мнѣ и теперь иногда снится это время по ночамъ и у меня нѣтъ сновъ мучительнѣе. Можетъ быть замѣтятъ и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривалъ печатно о моей жизни въ каторгѣ; „Записки же изъ Мертваго Дома" написалъ, пятнадцать лѣтъ назадъ, отъ лица вымышленнаго, отъ преступника будто бы убившаго свою жену. Кстати прибавлю, какъ подробность, что съ тѣхъ поръ про меня очень многіе думаютъ, и утверждаютъ даже и теперь, что я сосланъ былъ за убійство жены моей.

Мало по малу я и впрямь забылся и непримѣтно погрузился въ воспоминанія. Во всѣ мои четыре года каторги, я вспоминалъ безпрерывно все мое прошедшее и, кажется, въ воспоминаніяхъ пережилъ всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминанія вставали сами, я рѣдко вызывалъ ихъ по своей волѣ. Начиналось съ какой нибудь точки, черты, иногда непримѣтной, и потомъ, мало по малу, выростало въ цѣльную картину, въ какое нибудь сильное и цѣльное впечатлѣніе. Я анализировалъ эти впечатлѣнія, придавалъ новыя черты уже давно прожитому и, главное, поправлялъ его, поправлялъ безпрерывно, въ этомъ состояла вся забава моя. На этотъ разъ мнѣ вдругъ припомнилось почему-то одно незамѣтное мгновеніе изъ моего перваго дѣтства, когда мнѣ было всего девять лѣтъ отъ роду,—мгновенье казалось бы мною совершенно забытое; но я особенно любилъ тогда воспоминанія изъ самаго перваго моего дѣтства. Мнѣ припомнился августъ мѣсяцъ въ нашей деревнѣ: день сухой и ясный, но нѣсколько холодный и вѣтренный; лѣто на исходѣ и скоро надо ѣхать въ Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мнѣ такъ жалко покидать деревню. Я прошелъ за гумна и, спустившись въ оврагъ, поднялся въ *Лоскъ*,—такъ назывался у насъ густой кустарникъ

по ту сторону оврага до самой рощи. И вотъ я забился гуще въ кусты и слышу какъ недалеко, шагахъ въ тридцати, на полянѣ, одиноко пашетъ мужикъ. Я знаю, что онъ пашетъ круто въ гору и лошадь идетъ трудно и до меня изрѣдка долетаетъ его окрикъ: „Ну-ну"! Я почти всѣхъ нашихъ мужиковъ знаю, но не знаю который это теперь пашетъ, да мнѣ и все равно, я весь погруженъ въ мое дѣло, я тоже занятъ: я выламываю себѣ орѣховый хлыстъ, чтобъ стегать имъ лягушекъ; хлысты изъ орѣшника такъ красивы и такъ непрочны, куда противъ березовыхъ. Занимаютъ меня тоже букашки и жучки, я ихъ сбираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленькихъ, проворныхъ, красно-желтыхъ ящерицъ, съ черными пятнышками, но змѣекъ боюсь. Впрочемъ змѣйки попадаются гораздо рѣже ящерицъ. Грибовъ тутъ мало; за грибами надо идти въ березнякъ и я собираюсь отправиться. И ничего въ жизни я такъ не любилъ, какъ лѣсъ съ его грибами и дикими ягодами, съ его букашками и птичками, ежиками и бѣлками, съ его столь любимымъ мною сырымъ запахомъ перетлѣвшихъ листьевъ. И теперь даже, когда я пишу это, мнѣ такъ и послышался запахъ нашего деревенскаго березника: впечатлѣнія эти остаются на всю жизнь. Вдругъ, среди глубокой тишины я ясно и отчетливо услышалъ крикъ: „Волкъ бѣжитъ"! Я вскрикнулъ и внѣ себя отъ испуга, крича въ голосъ, выбѣжалъ на поляну, прямо на пашущаго мужика.

Это былъ нашъ мужикъ Марей. Не знаю есть ли такое имя, но его всѣ звали Мареемъ,—мужикъ лѣтъ пятидесяти, плотный, довольно рослый, съ сильною просѣдью въ темнорусой окладистой бородѣ. Я зналъ его, но до того никогда почти не случалось мнѣ заговорить съ нимъ. Онъ даже остановилъ кобыленку, заслышавъ крикъ мой, и, когда я, разбѣжавшись, уцѣпился одной рукой за его соху, а другою за его рукавъ, то онъ разглядѣлъ мой испугъ.

— Волкъ бѣжитъ! прокричалъ я задыхаясь.

— Онъ вскинулъ голову и невольно оглядѣлся кругомъ, на мгновенье почти мнѣ повѣривъ.

— Гдѣ волкъ?

— Закричалъ... Кто-то закричалъ сейчасъ: „волкъ бѣжитъ"... пролепеталъ я.

— Что ты, что ты, какой волкъ, померещилось; вишь! Какому тутъ волку быть! бормоталъ онъ, ободряя меня. Но я весь трясся и еще крѣпче уцѣпился за его зипунъ и должно быть былъ очень блѣденъ. Онъ смотрѣлъ на меня съ безпокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь вѣдь испужался, ай-ай! качалъ онъ головой.—Полно, рòдный. Ишь малецъ, ай!

Онъ протянулъ руку и вдругъ погладилъ меня по щекѣ.

— Ну, полно же, ну, Христосъ съ тобой, окстись. Но я не крестился; углы губъ моихъ вздрагивали и кажется это особенно его поразило. Онъ протянулъ тихонько свой толстый, съ чернымъ ногтемъ, запачканный въ землѣ палецъ и тихонько дотронулся до вспрыгивавшихъ моихъ губъ.

— Ишь вѣдь, ай, улыбнулся онъ мнѣ какою-то материнскою и длинною улыбкой, Господи, да что это ишь, вѣдь, ай, ай!

Я понялъ, наконецъ, что волка нѣтъ и что мнѣ крикъ: „волкъ бѣжитъ", померещился. Крикъ былъ впрочемъ

такой ясный и отчетливый, но такіе крики (не объ однихъ волкахъ) мнѣ уже разъ или два и прежде мерещились и я зналъ про то. (Потомъ, съ дѣтствомъ, эти галюсинаціи прошли).

— Ну, я пойду, сказалъ я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я-те вослѣдъ посмотрю. Ужь я тебя волку не дамъ! прибавилъ онъ, все также матерински мнѣ улыбаясь,—ну, Христосъ съ тобой, ну ступай, и онъ перекрестилъ меня рукой и самъ перекрестился. Я пошелъ, оглядываясь назадъ почти каждые десять шаговъ. Марей, пока я шелъ, все стоялъ съ своей кобыленкой и смотрѣлъ мнѣ вслѣдъ, каждый разъ кивая мнѣ головой, когда я оглядывался. Мнѣ признаться было немножко передъ нимъ стыдно, что я такъ испугался, но шелъ я все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогоръ оврага, до первой риги; тутъ испугъ соскочилъ совсѣмъ и вдругъ, откуда ни возьмись, бросилась ко мнѣ наша дворовая собака Волчокъ. Съ Волчкомъ-то я ужь вполнѣ ободрился и обернулся въ послѣдній разъ къ Марею; лица его я уже не могъ разглядѣть ясно, но чувствовалъ, что онъ все точно также мнѣ ласково улыбается и киваетъ головой. Я махнулъ ему рукой, онъ махнулъ мнѣ тоже и тронулъ кобыленку.

— Ну-ну! послышался опять отдаленный окрикъ его и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мнѣ разомъ припомнилось, не знаю почему, но съ удивительною точностью въ подробностяхъ. Я вдругъ очнулся и присѣлъ на нарахъ и, помню, еще засталъ на лицѣ моемъ тихую улыбку воспоминанія. Съ минуту еще я продолжалъ припоминать.

Я тогда, придя домой отъ Марея, никому не разсказалъ о моемъ „приключеніи“. Да и какое это было приключеніе? Да и объ Мареѣ я тогда очень скоро забылъ. Встрѣчаясь съ нимъ потомъ изрѣдка, я никогда даже съ нимъ не заговаривалъ, не только про волка, да и ни объ чемъ, и вдругъ теперь, двадцать лѣтъ спустя, въ Сибири, припомнилъ всю эту встрѣчу съ такою ясностью, до самой послѣдней черты. Значитъ, залегла же она въ душѣ моей непримѣтно, сама собой и безъ воли моей, и вдругъ припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нѣжная, материнская улыбка бѣднаго крѣпостнаго мужика, его кресты, его покачиванье головой: „Ишь вѣдь, испужался, малецъ!“ И особенно этотъ толстый его, запачканный въ землѣ палецъ, которымъ онъ тихо и съ робкою нѣжностью прикоснулся къ вздрагивавшимъ губамъ моимъ. Конечно, всякій бы ободрилъ ребенка, но тутъ въ этой уединенной встрѣчѣ случилось какъ бы что-то совсѣмъ другое, и еслибъ я былъ собственнымъ его сыномъ, онъ не могъ бы посмотрѣть на меня сіяющимъ болѣе свѣтлою любовью взглядомъ, а кто его заставлялъ? Былъ онъ собственный крѣпостной нашъ мужикъ, а я все же его барченокъ; никто бы не узналъ, какъ онъ ласкалъ меня и не наградилъ за то. Любилъ онъ, что ли, такъ ужь очень маленькихъ дѣтей? Такіе бываютъ. Встрѣча была уединенная, въ пустомъ полѣ и только Богъ, можетъ, видѣлъ сверху какимъ глубокимъ и просвѣщеннымъ человѣческимъ чувствомъ и какою тонкою почти женственною нѣжностью можетъ быть наполнено сердце инаго грубаго, звѣрски невѣжественнаго крѣпостнаго русскаго мужика, еще и не ждавшаго—негадавшаго тогда о своей свобо-

дѣ. Скажите, не это ли разумѣлъ Константинъ Аксаковъ, говоря про высокое образованіе народа нашего?

И вотъ, когда я сошелъ съ наръ и оглядѣлся кругомъ, помню, я вдругъ почувствовалъ, что могу смотрѣть на этихъ несчастныхъ совсѣмъ другимъ взглядомъ, и что вдругъ, какимъ-то чудомъ, изчезла совсѣмъ всякая ненависть и злоба въ сердцѣ моемъ. Я пошелъ, вглядываясь въ встрѣчавшіяся лица. Этотъ обритый и шельмованный мужикъ, съ клеймами на лицѣ и хмѣльной, орущій свою пьяную сиплую пѣсню, вѣдь это тоже можетъ быть тотъ же самый Марей: вѣдь я же не могу заглянуть въ его сердце. Встрѣтилъ я въ тотъ же вечеръ еще разъ и М—цкаго. Несчастный! У него то ужь не могло быть воспоминаній ни объ какихъ Мареяхъ и никакого другаго взгляда на этихъ людей кромѣ: „Je hais ces brigands"! Нѣтъ, эти поляки вынесли тогда болѣе нашего!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

По поводу дѣла Кронеберга.

Я думаю, всѣ знаютъ о дѣлѣ Кронеберга, производившемся съ мѣсяцъ назадъ въ с.-петербургскомъ окружномъ судѣ, и всѣ читали отчеты и сужденія въ газетахъ. Дѣло слишкомъ любопытное и отчеты о немъ были замѣчательно горячіе. Опоздавъ мѣсяцъ, я не буду подымать его въ подробности, но чувствую потребность сказать и мое слово по поводу. Я совсѣмъ не юристъ, но тутъ столько оказалось фальши со всѣхъ сторонъ, что она и не юристу очевидна. Подобныя дѣла выпрыгиваютъ какъ-то нечаянно и только смущаютъ общество и, кажется, даже судей. А такъ какъ касаются при томъ всеобщаго и самаго драгоцѣннаго интереса, то понятно, что затрогиваютъ за живое и объ нихъ иной разъ нельзя не заговорить, хотя бы прошелъ тому уже мѣсяцъ, то есть цѣлая вѣчность.

Напомню дѣло: отецъ высѣкъ ребенка, семилѣтнюю дочь, слишкомъ жестоко; по обвиненію обходился съ нею жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, изъ простаго званія, не стерпѣла криковъ истязаемой дѣвочки, четверть часа (по обвиненію) кричавшей подъ розгами: „папа! папа!" Розги же, по свидѣтельству одного эксперта, оказались не розгами, а „шпицрутенами", т. е. невозможными для семилѣтняго возраста. Впрочемъ они лежали на судѣ въ числѣ вещественныхъ доказательствъ и ихъ всѣ могли видѣть, даже самъ г. Спасовичъ. Обвиненіе, между прочимъ, упоминало и о томъ, что отецъ, передъ сѣченіемъ, когда ему замѣтили, что вотъ хоть этотъ сучокъ надо бы отломить, отвѣтилъ: „нѣтъ, это придаетъ еще силы". Извѣстно тоже, что отецъ послѣ наказанія самъ почти упалъ въ обморокъ.

Помню, какое первое впечатлѣніе произвелъ на меня номеръ „Голоса", въ которомъ я прочелъ начало дѣла, первое изложеніе его. Это случилось со мной въ десятомъ часу вечера, со-

всѣмъ нечаянно. Я весь день просидѣлъ въ типографіи и не могъ проглядѣть „Голосъ“ раньше и объ возникшемъ дѣлѣ ничего не зналъ. Прочитавъ, я рѣшился во чтобы ни стало, не смотря на поздній часъ, узнать въ тотъ же вечеръ о дальнѣйшемъ ходѣ дѣла, предполагая, что оно могло уже пожалуй и кончиться въ судѣ, можетъ быть даже въ тотъ же самый день, въ субботу, и зная, что отчеты въ газетахъ всегда опаздываютъ. Я вздумалъ тотчасъ же съѣздить къ одному слишкомъ мнѣ извѣстному, хотя и очень мало знакомому человѣку, разсчитывая, по нѣкоторымъ соображеніямъ, что ему, въ данную минуту, скорѣе всѣхъ моихъ знакомыхъ, можетъ быть извѣстно окончаніе дѣла, и что даже навѣрно можетъ быть онъ и самъ былъ въ судѣ. Я не ошибся, онъ былъ въ судѣ и только что воротился; я засталъ его, въ одинадцатомъ часу, уже дома и онъ сообщилъ мнѣ объ оправданіи подсудимаго. Я былъ въ негодованіи на судъ, на присяжныхъ, на адвоката. Теперь этому дѣлу уже три недѣли и я во многомъ перемѣнилъ мнѣніе, прочтя самъ отчеты газетъ и выслушавъ нѣсколько вѣскихъ постороннихъ сужденій. Я очень радъ, что судившагося отца могу уже не принимать за злодѣя, за любителя дѣтскихъ мученій (такіе типы бываютъ) и что тутъ всего только „нервы“ и что онъ только „худой педагогъ“, по выраженію его же защитника. Я, главное, желаю теперь лишь указать въ нѣкоторой подробности на рѣчь адвоката-защитника въ судѣ, чтобы яснѣе обозначить—въ какое фальшивое и нелѣпое положеніе можетъ быть поставленъ иной извѣстный, талантливый и честный человѣкъ, единственно лишь фальшью первоначальной постановки самого дѣла.

Въ чемъ же фальшь? Во первыхъ, вотъ дѣвочка, ребенокъ; ее „мучили, истязали“ и судьи хотятъ ее защитить,—и вотъ какое бы ужь кажется святое дѣло, но чтожь выходитъ: вѣдь чуть не сдѣлали ее на вѣки несчастною; даже можетъ быть ужь сдѣлали! Въ самомъ дѣлѣ, что еслибъ отца осудили? Дѣло было поставлено обвиненіемъ такъ, что въ случаѣ обвинительнаго приговора присяжныхъ отецъ могъ быть сосланъ въ Сибирь. Спрашивается, что осталось бы у этой дочери, теперь ничего не смыслящаго ребенка, потомъ въ душѣ, на всю жизнь, и даже въ случаѣ, еслибъ она была потомъ всю жизнь богатою, „счастливою?“ Не разрушено-ли бъ было семейство самимъ судомъ, охраняющимъ, какъ извѣстно, святыню семьи? Теперь возьмите еще черту: дѣвочкѣ семь лѣтъ,—каково впечатлѣніе въ такихъ лѣтахъ? Отца ея не сослали и оправдали, хорошо сдѣлали (хотя аплодировать рѣшенію присяжныхъ, по-моему, публикѣ бы и не слѣдовало, а аплодисментъ говорятъ раздался); но все же дѣвочку притянули въ судъ, она фигурировала; она все видѣла, все слышала, сама отвѣчала за себя: „Je suis voleuse, menteuse“. Открыты были взрослыми и серьозными людьми, гуманными даже людьми, вслухъ передъ всей публикой—секретные пороки ребеночка (это семилѣтняго-то!)—какая чудовищность! Mais il en reste toujours quelque chose, на всю жизнь, поймите вы это! И не только въ душѣ ея останется, но можетъ быть отразится и въ судьбѣ ея. Что-то ужь прикоснулось къ ней теперь, на этомъ судѣ, гадкое, нехорошее, на вѣки и остави-

ло слѣдъ. И, кто знаетъ, можетъ быть черезъ двадцать лѣтъ ей кто-нибудь скажетъ: „Ты еще ребенкомъ въ уголовномъ судѣ фигурировала“. Впрочемъ опять-таки я вижу, что я не юристъ и всего этого не сумѣю выразить, а потому лучше обращусь прямо къ рѣчи защитника: въ ней всѣ эти недоразумѣнія чрезвычайно ярко и сами собой выставились. Защитникомъ подсудимаго былъ г. Спасовичъ; это талантъ. Гдѣ не заговорятъ о г. Спасовичѣ, всѣ, повсемѣстно, отзываются о немъ: „это талантъ“. Я очень радъ тому. Замѣчу, что г. Спасовичъ былъ назначенъ къ защитѣ судомъ и, стало быть, защищалъ, такъ сказать, вслѣдствіе нѣкотораго понужденія... Впрочемъ, тутъ я опять не компетентенъ и умолкаю. Но прежде, чѣмъ коснусь вышеупомянутой и замѣчательной рѣчи, мнѣ хочется включить нѣсколько словъ объ адвокатахъ вообще и о талантахъ въ особенности, такъ сказать, сообщить читателю нѣсколько впечатлѣній и недоумѣній моихъ, конечно, можетъ быть, крайне не серьозныхъ въ глазахъ людей компетентныхъ, но вѣдь я пишу мой „Дневникъ“ для себя, а мысли эти крѣпко у меня засѣли. Впрочемъ, сознаюсь, это даже и не мысли, а такъ все какія-то чувства...

II.

Нѣчто объ адвокатахъ вообще. Мои наивныя и необразованныя предположенія. Нѣчто о талантахъ вообще и въ особенности.

Впрочемъ собственно объ адвокатахъ лишь два слова. Только лишь взялъ перо и ужь боюсь. Заранѣе краснѣю за наивность моихъ вопросовъ и предположеній. Вѣдь слишкомъ ужь было бы наивно и невинно съ моей стороны распространяться, напримѣръ, о томъ, какое полезное и пріятное учрежденіе адвокатура. Вотъ человѣкъ совершилъ преступленіе, а законовъ не знаетъ; онъ готовъ сознаться, но является адвокатъ и доказываетъ ему что онъ не только правъ, но и святъ. Онъ подводитъ ему законы, онъ подыскиваетъ ему такое руководящее рѣшеніе кассаціоннаго департамента сената, которое вдругъ даетъ дѣлу совсѣмъ иной видъ и кончаетъ тѣмъ, что вытягиваетъ изъ ямы несчастнаго. Препріятная вещь! Положимъ, тутъ могутъ поспорить и возразить, что это отчасти безнравственно. Но вотъ передъ вами невинный, совсѣмъ ужь невинный, простячокъ, а улики однако такія и прокуроръ ихъ такъ сгруппировалъ, что совсѣмъ бы кажется погибать человѣку за чужую вину. Человѣкъ притомъ темный, законовъ ни въ зубъ и только знаетъ бормочетъ: „Знать не знаю, вѣдать не вѣдаю“,— чѣмъ подконецъ раздражаетъ и присяжныхъ и судей. Но является адвокатъ, съѣвшій зубы на законахъ, подводитъ статью, подводитъ руководящее рѣшеніе кассаціоннаго департамента сената, сбиваетъ съ толку прокурора и вотъ — невинный оправданъ. Нѣтъ, это полезно. Что бы сталъ дѣлать у насъ невинный безъ адвоката?

Все это, повторяю, разсужденія наивныя и всѣмъ извѣстныя. Но всетаки чрезвычайно пріятно имѣть адвоката. Я самъ испыталъ это ощущеніе, когда однажды, редактируя одну газету, вдругъ нечаянно, по недосмотру (что со всѣми случается) пропустилъ одно извѣстіе, которое не могъ напечатать иначе, какъ съ разрѣшенія г. министра Двора. И вотъ мнѣ вдругъ объявили, что я подъ судомъ. Я и защищаться-то не хотѣлъ;

„вина“ моя была даже и мнѣ очевидна: я преступилъ ясно начертанный законъ и *юридическаго* спору быть не могло. Но судъ мнѣ назначилъ адвоката (человѣка нѣсколько мнѣ знакомаго и съ которымъ мы засѣдали прежде въ одномъ „Обществѣ“). Онъ мнѣ вдругъ объявилъ, что я не только не виноватъ, но и совершенно правъ и что онъ твердо намѣренъ отстоять меня изо всѣхъ силъ. Я выслушалъ это, разумѣется, съ удовольствіемъ; когда же насталъ судъ, то, признаюсь, я вынесъ совершенно неожиданное впечатлѣніе: я видѣлъ и слушалъ, какъ говорилъ мой адвокатъ и мысль о томъ, что я, совершенно виноватый, вдругъ выхожу совсѣмъ правымъ, была такъ забавна и въ то же время такъ почему-то привлекательна, что, признаюсь, эти полчаса въ судѣ я отношу къ самымъ веселымъ въ моей жизни; но вѣдь я былъ не юристъ и потому не понималъ, что совершенно правъ. Меня конечно осудили: литераторовъ судятъ строго; я заплатилъ двадцать пять рублей и, сверхъ того, отсидѣлъ два дня на Сѣнной, на абвахтѣ, гдѣ провелъ время премило, даже съ нѣкоторою пользою и кое съ кѣмъ и съ чѣмъ познакомился. А впрочемъ я чувствую, что сильно соскочилъ въ сторону; перейду опять къ серьозному.

Въ высшей степени нравственно и умилительно, когда адвокатъ употребляетъ свой трудъ и талантъ на защиту несчастныхъ; это другъ человѣчества. Но вотъ у васъ является мысль, что онъ завѣдомо защищаетъ и оправдываетъ виновнаго, мало того, что онъ иначе и сдѣлать не можетъ, еслибъ и хотѣлъ. Мнѣ отвѣтятъ, что судъ не можетъ лишить помощи адвокатской никакого преступника, и что честный адвокатъ всегда въ этомъ случаѣ останется честнымъ, ибо всегда найдетъ и опредѣлитъ настоящую степень виновности своего клієнта, но лишь не дастъ его наказать сверхъ мѣры и т. д., и т. д. Это такъ, хотя это предположеніе и похоже на самый безграничный идеализмъ. Мнѣ кажется, что избѣжать фальши и сохранить честность и совѣсть адвокату также трудно, вообще говоря, какъ и всякому человѣку достигнуть райскаго состоянія. Вѣдь ужь случалось намъ слышать, какъ адвокаты почти клянутся въ судѣ, вслухъ, обращаясь къ присяжнымъ, что они — единственно потому только взялись защищать своихъ клієнтовъ, что вполнѣ убѣдились въ ихъ невинности. Когда вы выслушиваете эти клятвы, въ васъ тотчасъ же и неотразимо вселяется самое скверное подозрѣніе: „А ну, если лжетъ и только деньги взялъ?“ И, дѣйствительно, очень часто выходило потомъ, что эти, съ такимъ жаромъ защищаемые клієнты, оказывались вполнѣ и безспорно виновными. Я не знаю бывали-ли у насъ случаи, что адвокаты, желая до конца выдержать свой характеръ вполнѣ убѣжденныхъ въ невинности своихъ клієнтовъ людей, падали въ обморокъ, когда присяжные выносили обвинительный приговоръ? Но что проливали слезы, то это кажется уже случалось въ нашемъ столь молодомъ еще судѣ. Какъ хотите, а тутъ, во всемъ этомъ установленіи, сверхъ всего безспорно прекраснаго, заключается какъ бы нѣчто грустное. Право: мерещатся „Подковырники—Клещи“, слышится народное словцо: „адвокатъ—нанятая совѣсть“; но главное, кромѣ всего этого, мерещится нелѣпѣйшій парадоксъ, что адвокатъ и никогда не можетъ дѣйствовать по совѣсти, не можетъ не играть своею

совѣстью, еслибъ даже и хотѣлъ не играть, что это уже такой обреченный на безсовѣстность человѣкъ, и что, наконецъ, самое главное и серьезное во всемъ этомъ то, что такое грустное положеніе дѣла какъ бы даже узаконено кѣмъ-то и чѣмъ-то, такъ что считается уже вовсе не уклоненіемъ, а, напротивъ, даже самымъ нормальнымъ порядкомъ...

Впрочемъ оставимъ; чувствую изъ всѣхъ силъ, что заговорилъ не на свою тему. И даже увѣренъ, что юридической наукой всѣ эти недоразумѣнія давнымъ давно уже разрѣшены, къ полному спокойствію всѣхъ и каждаго, а только я одинъ изъ всѣхъ про это ничего не знаю. Поговорю лучше о талантѣ; все же я тутъ хоть капельку да компетентнѣе.

Что такое талантъ? Талантъ есть, во первыхъ, преполезная вещь. Литературный талантъ, напримѣръ, есть способность сказать или выразить хорошо тамъ, гдѣ бездарность скажетъ и выразитъ дурно. Вы скажете, что прежде всего нужно направленіе и уже послѣ талантъ. Пусть, согласенъ, я не о художественности собрался говорить, а лишь о нѣкоторыхъ свойствахъ таланта, говоря вообщев. Свойства таланта, говоря вообще, чрезвычайно разнообразны и иногда просто несносны. Во первыхъ talent oblige, „талантъ обязываетъ“,—къ чему напримѣръ? Иногда къ самымъ дурнымъ вещамъ. Представляется неразрѣшимый вопросъ: талантъ ли обладаетъ человѣкомъ, или человѣкъ своимъ талантомъ? Мнѣ кажется, сколько я не слѣдилъ и не наблюдалъ за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно рѣдко человѣкъ способенъ совладать съ своимъ дарованіемъ, и что, напротивъ, почти всегда талантъ порабощаетъ себѣ своего обладателя, такъ сказать какъ бы схватывая его за шиворотъ (да, именно въ такомъ унизительномъ нерѣдко видѣ) и унося его на весьма далекія разстоянія отъ настоящей дороги. У Гоголя, гдѣ-то, (забылъ гдѣ) одинъ враль началъ объ чемъ-то разсказывать и можетъ быть сказалъ-бы правду, „но сами собою представились такія подробности“ въ разсказѣ, что ужь никакъ нельзя было сказать правду. Это я конечно лишь для сравненія, хотя дѣйствительно есть таланты собственно вралей или вранья. Романистъ Теккерей, рисуя одного такого свѣтскаго враля и забавника, порядочнаго впрочемъ общества, и шатавшагося по лордамъ, разсказываетъ, что онъ, уходя откуда нибудь, любилъ оставлять послѣ себя взрывъ смѣха, т. е. приберегалъ самую лучшую выходку или остроту къ концу. Знаете что: мнѣ кажется очень трудно оставаться и, такъ сказать, уберечь себя честнымъ человѣкомъ, когда такъ заботишься приберечь самое мѣткое словцо къ концу, чтобы оставить по себѣ взрывъ смѣха. Самая забота эта такъ мелочна, что подконецъ должна выгнать изъ человѣка все серьезное. И къ тому же если мѣткое словцо къ концу не припасено, то его надо вѣдь выдумать, а для краснаго словца

не пожалѣешь матери и отца.

Скажутъ мнѣ, что если такія требованія, то и жить нельзя. Это правда. Но во всякомъ талантѣ, согласитесь сами, есть всегда эта нѣкоторая почти неблагородная, излишняя „отзывчивость“, которая всегда тянетъ увлечь самаго трезваго человѣка въ сторону,

Реветъ-ли звѣрь въ лѣсу глухомъ...

или тамъ чтобы не случилось, тотчасъ

же и пошелъ, и пошелъ человѣкъ, и взыгралъ, и размазался и увлекся. Эту излишнюю „отзывчивость“ Бѣлинскій, въ одномъ разговорѣ со мной, сравнилъ, такъ сказать, съ „блудодѣйствіемъ таланта“ и презиралъ ее очень, подразумѣвая конечно, въ антитезѣ, нѣкоторую крѣпость души, которая бы могла всегда совладать съ отзывчивостію, даже и при самомъ крѣпкомъ поэтическомъ настроеніи. Бѣлинскій говорилъ это про поэтовъ, но вѣдь и всѣ почти таланты хоть капельку да поэты, даже столяры если они талантливы. Поэзія есть, такъ сказать, внутренній огонь всякаго таланта. А если ужь столяръ бываетъ поэтомъ, то навѣрно и адвокатъ, въ случаѣ если тоже талантливъ. Я нисколько не спорю, что при суровой честности правилъ и при твердости духа даже и адвокатъ можетъ справиться съ своею „отзывчивостью“; но есть случаи и обстоятельства, когда человѣкъ и не выдержитъ: „представятся само собою, такія подробности“ и—увлечется человѣкъ. Господа, все что я здѣсь говорю объ этой отзчывчивости, почти вовсе не пустяки; какъ это ни просто повидимому, но это чрезвычайно важное дѣло, даже въ каждой жизни, даже у насъ съ вами: вникните глубже и дайте отчетъ и вы увидите, что чрезвычайно трудно остаться честнымъ человѣкомъ иногда именно черезъ эту самую излишнюю и разбалованную „отзывчивость“, принуждающую насъ лгать безпрерывно. Впрочемъ слово честный человѣкъ я разумѣю здѣсь лишь въ „высшемъ смыслѣ“, такъ что можно оставаться вполнѣ спокойнымъ и не тревожиться. Да и увѣренъ, что съ моихъ словъ никто и не затревожится. Продолжаю. Помнитъ-ли кто изъ васъ, господа, про Альфонса Ламартина, бывшаго такъ сказать, предводителя временнаго правительства въ февральскую революцію сорокъ восьмаго года? Говорятъ, ничего не было для него пріятнѣе и прелестнѣе, какъ говорить безконечныя рѣчи къ народу и къ разнымъ депутаціямъ, приходившимъ тогда со всей Франціи, изъ всѣхъ городовъ и городишекъ, чтобъ представиться временному правительству, въ первые два мѣсяца по провозглашеніи республики. Рѣчей этихъ произнесъ онъ тогда можетъ быть нѣсколько тысячъ. Это былъ поэтъ и талантъ. Вся жизнь его была невинна и полна невинности, и все это при прекрасной и самой внушительной наружности, созданной, такъ сказать для кипсековъ. Я вовсе не приравниваю этого историческаго человѣка къ тѣмъ типамъ отзывчиво-поэтическихъ людей, которые, такъ сказать, такъ и рождаются съ соплей на носу, хотя впрочемъ онъ и написалъ Harmonies poetiques et religieuses,—необыкновенный томъ безконечно долговязыхъ стиховъ, въ которыхъ увязло три поколѣнія барышень, выходившихъ изъ институтовъ. Но зато онъ написалъ потомъ чрезвычайно талантливую вещь: „Исторію Жирондистовъ“, доставившую ему популярность и наконецъ мѣсто какъ бы шефа временнаго революціоннаго правительства, — вотъ именно когда онъ и насказалъ столько безконечныхъ рѣчей, такъ сказать, упиваясь ими первый и плавая въ какомъ-то вѣчномъ восторгѣ. Одинъ талантливый острякъ, указывая разъ тогда на него, вскричалъ:

„Ce n'est pas l'homme, c'est une lyre!“ (Это не человѣкъ: это лира!).

Это была похвала, но высказана она была съ глубокимъ плутовствомъ, ибо что, скажите, можетъ быть смѣшнѣе, какъ приравнять человѣка къ лирѣ?

Только прикоснуться—и сейчасъ завенѣла! Само собою, что невозможно приравнять Ламартина, этого вѣчно говорившаго стихами человѣка, этого оратора—лиру, къ кому нибудь изъ нашихъ шустрыхъ адвокатовъ, плутоватыхъ даже въ своей невинности, всегда собою владѣющихъ, всегда изворотливыхъ, всегда наживающихся? Имъ-ли не совладать съ своими лирами? Но такъ-ли это? Истинно ли это такъ, господа? Слабъ человѣкъ къ похвалѣ и „отзывчивъ“, даже плутоватый! Съ инымъ нашимъ адвокатскимъ талантомъ, въ замѣнъ „лиры“, можетъ случиться въ иносказательномъ родѣ то же самое, что случилось съ однимъ московскимъ купчикомъ. Померъ его папаша и оставилъ ему капиталъ (читайте капиталъ, удареніе на *и*). Но мамаша его тоже вела какую-то коммерцію на свое имя и запуталась. Надо было выручить мамашу, т. е. заплатить много денегъ. Купчикъ очень любилъ маменьку, но пріостановился: „Все же намъ никакъ нельзя безъ капиталу. Это чтобъ капиталу нашего рѣшиться—это намъ никоимъ образомъ невозможно, потому какъ намъ никакъ невозможно чтобы самимъ безъ капиталу“. Такъ и не далъ ничего и маменьку потянули въ яму. Примите за аллегорію и приравняйте талантъ къ капиталу, что даже и похоже, и выйдетъ такая рѣчь: „это чтобъ намъ безъ блеску и еффекту, это намъ никоимъ образомъ невозможно, потому какъ намъ никакъ невозможно, чтобы намъ совсѣмъ безъ блеску и еффекту“. И это можетъ случиться даже съ серьезнѣйшимъ и честнѣйшимъ изъ адвокатскихъ талантовъ даже въ ту самую минуту, когда онъ примется защищать дѣло, хотя бы претящее его совѣсти. Я читалъ когда-то, что во Франціи, давно уже, одинъ адвокатъ, убѣдясь по ходу дѣла въ виновности своего кліента, когда пришло время его защитительной рѣчи, всталъ, поклонился суду и молча сѣлъ на свое мѣсто. У насъ, я думаю, этого не можетъ случиться:

„Какже я могу не выиграть, если я талантъ; и неужели же я самъ буду губить мою репутацію?“ Такимъ образомъ *не одни деньги страшны* адвокату, какъ соблазнъ (тѣмъ болѣе, что и не боится онъ ихъ никогда), а и собственная сила таланта.

Однако раскаяваюсь, что написалъ все это: вѣдь извѣстно, что г. Спасовичъ тоже замѣчательно талантливый адвокатъ. Рѣчь его въ этомъ дѣлѣ по моему верхъ искусства; тѣмъ не менѣе она оставила въ душѣ моей почти отвратительное впечатлѣніе. Видите, я начинаю съ самыхъ искреннихъ словъ. Но виною всему та фальшь всѣхъ сгруппировавшихся въ этомъ дѣлѣ около г. Спасовича обстоятельствъ, изъ которой онъ никакъ не могъ выбраться по самой силѣ вещей; вотъ мое мнѣніе, а потому все натянутое и вымученное въ его положеніи, какъ защитника, само собою отразилось и въ рѣчи его. Дѣло было поставлено такъ, что въ случаѣ обвиненія, кліентъ его могъ потерпѣть чрезвычайное и несоразмѣрное наказаніе. И вышла бы бѣда: разрушенное семейство, никто не защищенъ и всѣ несчастны. Кліентъ обвинялся въ „истязаніи“ — эта-то постановка и была страшна. Г. Спасовичъ прямо началъ съ того, что отвергъ всякую мысль объ истязаніи. „Не было истязанія, не было никакой обиды ребенку!“ Онъ отрицаетъ все: шпицрутены, синяки, удары, кровь, честность свидѣтелей противной стороны, все, все—пріемъ чрезвычайно смѣлый, такъ сказать наскокъ на совѣсть присяж-

ныхъ; но г. Спасовичъ знаетъ свои силы. Онъ отвергъ даже ребенка, младенчество его, онъ уничтожилъ и вырвалъ съ корнемъ изъ сердецъ своихъ слушателей даже самую жалость къ нему. Крики, „продолжавшиеся четверть часа подъ розгами (да хотя бы и пять минутъ): „папа! папа!"—все это исчезло, а на первомъ планѣ явилась „шустрая дѣвочка, съ розовымъ лицомъ, смѣющаяся, хитрая, испорченная и съ затаенными пороками. Слушатели почти забыли, что она семилѣтняя; г. Спасовичъ ловко конфисковалъ лѣта, какъ опаснѣйшую для себя вещь. Разрушивъ все это, онъ естественно добился оправдательнаго приговора; но что же было ему и дѣлать: „а ну, если присяжные обвинили бы его кліента?" Такъ что, само собою, ему уже нельзя было останавливаться передъ средствами, бѣлоручничать. „Всякія средства хороши, если ведутъ къ прекрасной цѣли". Но разсмотримъ эту замѣчательную рѣчь въ подробности, это слишкомъ стоитъ того, вы увидите.

III.

Рѣчь г. Спасовича. Ловкіе пріемы.

Уже съ первыхъ словъ рѣчи вы чувствуете, что имѣете дѣло съ талантомъ изъ ряда вонъ, съ силой. Г. Спасовичъ сразу раскрывается весь и самъ же первый указываетъ присяжнымъ слабую сторону предпринятой имъ защиты, обнаруживаетъ свое самое слабое мѣсто, то чего онъ всего больше боится. (Кстати, я выписываю эту рѣчь изъ „Голоса". „Голосъ" такое богатое средствами изданіе, что вѣроятно имѣетъ возможность содержать хорошаго стенографа).

Я боюсь, гг. присяжные засѣдатели, говоритъ г. Спасовичъ, не опредѣленія судебной палаты, не обвиненія прокурора... я боюсь отвлеченной идеи, призрака, боюсь, что преступленіе, какъ оно озаглавлено, имѣетъ своимъ предметомъ слабое беззащитное существо. Самое слово „истязаніе ребенка", во-первыхъ, возбуждаетъ чувство большаго сострадания къ ребенку, а во-вторыхъ, чувство такого же сильнаго негодованія къ тому, кто былъ его мучителемъ.

Очень ловко. Искренность необыкновенная. Нахохлившійся слушатель, заранѣе приготовившійся выслушать непремѣнно что нибудь очень хитрое, изворотливое, надувательное, и только что сказавшій себѣ: „А ну, братъ, посмотримъ, какъ-то ты меня теперь надуешь,—вдругъ пораженъ почти беззащитностью человѣка. Предполагаемый хитрецъ самъ ищетъ защиты, да еще у васъ же, у тѣхъ, которыхъ собрался надувать! Такимъ пріемомъ г. Спасовичъ сразу разбиваетъ ледъ недовѣрчивости и хоть одной капелькой, а ужъ профильтровывается въ ваше сердце. Правда, онъ говоритъ про *призракъ*, говоритъ, что боится лишь „призрака", т. е. почти предразсудка; вы еще ничего не слыхали далѣе, но вамъ уже стыдно, что васъ неравно сочтутъ за человѣка съ предразсудками, не правда ли? Очень ловко.

Я, гг. присяжные, не сторонникъ розги, продолжаетъ г. Спасовичъ. Я вполнѣ понимаю, что можетъ быть *проведена система воспитанія* (не безпокойтесь, это все такія новыя выраженія и взяты цѣликомъ изъ разныхъ педагогическихъ рефератовъ), изъ которой розга будетъ исключена; тѣмъ не менѣе я также мало ожидаю совершеннаго и безусловнаго искорененія тѣлеснаго наказанія, какъ мало ожидаю, чтобъ вы перестали въ судѣ дѣйствовать за прекращеніемъ уголовныхъ преступленій и нарушеніемъ той правды, которая должна существовать, какъ въ семьѣ, такъ и въ государствѣ.

Такъ все дѣло стало быть идетъ все-

го только о розгѣ, а не о пучкѣ розогъ, не о „шпицрутенахъ“. Вы вглядываетесь, вы слушаете, — нѣтъ, человѣкъ говоритъ серьезно, не шутитъ. Весь содомъ-то стало быть подняли изъ-за розочки въ дѣтскомъ возрастѣ и о томъ: употреблять ее или не употреблять. Стоило изъ-за этого собираться. Правда, онъ-то самъ не сторонникъ розги; самъ объявляетъ, но вѣдь —

Въ нормальномъ порядкѣ вещей употребляются нормальныя мѣры. Въ настоящемъ случаѣ, была употреблена мѣра несомнѣнно ненормальная. Но если вы вникните въ обстоятельства, вызвавшія эту мѣру, если вы примете въ соображеніе натуру дитяти, темпераментъ отца, тѣ цѣли, которыя имъ руководили при наказаніи, то вы многое въ этомъ случаѣ поймете, а разъ вы поймете — вы оправдаете, потому что *глубокое* пониманіе дѣла непремѣнно ведетъ къ тому, что тогда многое объяснится и покажется естественнымъ, не требующимъ уголовнаго противодѣйствія. Такова моя задача; — объяснить случай:

То есть, видите ли: „наказаніе“, а не „истязаніе“, самъ говоритъ, значитъ всего только роднаго отца судятъ за то, что ребенка побольнѣе посѣкъ. Экъ вѣдь время-то пришло! Но вѣдь если глубже вникнуть... вотъ то то вотъ и есть, что поглубже не умѣли вникнуть ни судебная палата, ни прокуроръ. А разъ мы, присяжные засѣдатели, вникнемъ, такъ и оправдаемъ, потому что *„глубокое* пониманіе ведетъ къ оправданію“, самъ говоритъ, а *глубокое-то пониманіе* значитъ только у насъ и есть, на нашей скамьѣ!“ Ждалъ-то насъ должно быть сколько, голубчикъ, умаялся по судамъ-то, да по прокурорамъ!“ Однимъ словомъ: „польсти, польсти!“ старый, рутинный пріемъ, а вѣдь преблагонадежный.

За симъ г. Спасовичъ прямо переходитъ къ изложенію исторической части дѣла и начинаетъ ab ovo. Мы, конечно, не будемъ передавать дословно. Онъ разсказываетъ всю исторію своего кліента. Г. Кронебергъ, видите ли, кончилъ курсъ наукъ, учился сначала въ Варшавѣ въ университетѣ, потомъ въ Брюсселѣ, гдѣ полюбилъ французовъ, потомъ опять въ Варшавѣ, гдѣ въ 1867 году кончилъ курсъ въ главной школѣ со степенью магистра правъ. Въ Варшавѣ онъ познакомился съ одной дамой, старше его лѣтами и имѣлъ съ нею связь, разстался же за невозможностью брака, но разставаясь и не зналъ, что она отъ него осталась беременною. Г. Кронебергъ былъ огорченъ и искалъ развлеченія. Въ франко-прусскую войну онъ вступилъ въ ряды французской арміи и участвовалъ въ 23-хъ сраженіяхъ, получилъ орденъ Почетнаго Легіона и вышелъ въ отставку подпоручикомъ. Мы, русскіе, тогда, конечно, тоже желали, всѣ сплошь, удачи французамъ; не любимъ мы какъ-то нѣмцевъ сердечно, хотя умственно готовы ихъ уважать. Возвратясь въ Варшаву, онъ встрѣтился опять съ той дамой, которую такъ любилъ; она была уже замужемъ и сообщила ему, въ первый разъ въ жизни, что у него есть ребенокъ и находится теперь въ Женевѣ. Мать тогда нарочно съѣздила въ Женеву, чтобы разрѣшиться тамъ отъ бремени, а ребенка оставила у крестьянъ за денежное вознагражденіе. Узнавъ о ребенкѣ, г. Кронебергъ тотчасъ же пожелалъ его обезпечить. Тутъ г. Спасовичъ произноситъ нѣсколько строгихъ и либеральныхъ словъ о нашемъ законодательствѣ за строгость его къ незаконнорожденнымъ, но тотчасъ же и утѣшаетъ насъ тѣмъ, что „въ предѣлахъ имперіи есть страна, Царство Польское, имѣющая свои осо-

бые законы". Однимъ словомъ, въ этой странѣ можно легче и удобнѣе усыновить незаконнаго ребенка. Г. Кронебергъ „пожелалъ сдѣлать для ребенка самое большее, что только можно сдѣлать по закону, хотя у него тогда еще не было своего собственнаго состоянія. Но онъ былъ увѣренъ, что его родные, въ случаѣ его смерти, позаботятся о дѣвочкѣ, носящей имя Кронебергъ, и что въ крайнемъ случаѣ она можетъ быть принята въ одно изъ правительственныхъ воспитательныхъ заведеній Франціи, какъ дочь кавалера Почетнаго Легіона". Затѣмъ, г. Кронебергъ взялъ дѣвочку у женевскихъ крестьянъ и помѣстилъ ее въ домъ къ пастору де-Комба, въ Женевѣ же, на воспитаніе; жена пастора была крестною матерью дѣвочки. Такъ прошли годы 72, 73 и 74 до начала 1875 года, когда, вслѣдствіе измѣнившихся обстоятельствъ, г. Кронебергъ съѣздилъ опять въ Женеву и взялъ свою дѣвочку уже къ себѣ въ Петербургъ.

Г. Спасовичъ открываетъ намъ, между прочимъ, что кліентъ его есть человѣкъ, жаждущій семейной жизни. Онъ было и хотѣлъ разъ жениться, но бракъ разстроился и притомъ однимъ изъ сильнѣйшихъ препятствій оказалось именно то, что онъ не скрылъ, что у него есть „натуральная дочь". Это только первая капелька, г. Спасовичъ не прибавляетъ ничего, но вамъ понятно, что г. Кронебергъ уже отчасти пострадалъ за свое доброе дѣло, за то, что призналъ дочь свою, которую могъ не признать и забросить у крестьянъ навсегда. Стало быть, могъ уже, такъ сказать, роптать на это невинное созданіе; по крайней мѣрѣ, вамъ это такъ представляется. Но въ этихъ маленькихъ, тонкихъ, какъ бы мимолетныхъ, но безпрерывныхъ намекахъ г. Спасовичъ величайшій мастеръ и не имѣетъ соперника, въ чемъ и увѣритесь далѣе.

Далѣе, г. Спасовичъ начинаетъ вдругъ говорить о дѣвицѣ Жезингъ. Въ Парижѣ, видите ли, г. Кронебергъ познакомился съ дѣвицею Жезингъ и въ 1874 году привезъ ее съ собою въ Петербургъ.

Вы могли оцѣнить (вдругъ возвѣщаетъ намъ г. Спасовичъ), насколько г. Жезингъ походитъ или не походитъ на женщинъ полусвѣта, съ которыми завязываются только летучія связи. Конечно, она не жена Кронеберга, но ихъ отношенія не исключаютъ ни любви, ни уваженія.

Ну, это дѣло субъективное, ихнее, а намъ бы и все равно. Но г. Спасовичу надо непремѣнно выхлопотать уваженіе.

Вы видѣли, безсердечна ли эта женщина къ ребенку и любитъ ее или нѣтъ ребенокъ? Она желала бы сдѣлать ребенку всякое добро...

Все дѣло въ томъ, что ребенокъ звалъ эту даму maman, и въ ея же сундукѣ взялъ черносливъ, за который его такъ высѣкли. Такъ вотъ, чтобы не подумали, что Жезингъ врагъ ребенку, что напрасно на него наговаривала и тѣмъ возбуждала противъ него Кронеберга. Что же, мы и не думаемъ; намъ даже кажется, что этой дамѣ не съ чего ненавидѣть ребенка: ребенокъ пріученъ цѣловать у ней ручку и называть ее maman. Изъ дѣла видно, что эта дама, испугавшись „шпицрутеновъ", даже попросила (хотя и не успѣшно) передъ самымъ сѣченіемъ, отломить одинъ опасный сучекъ. По свидѣтельству г. Спасовича, Жезингъ-то и подала мысль Кронебергу взять ребенка изъ Женевы отъ де-Комба.

Кронебергъ не имѣлъ еще въ то время

опредѣленнаго намѣренія взять ребенка, но рѣшился заѣхать въ Женеву посмотрѣть...

Извѣстіе весьма характерное, его надо запомнить. Выходитъ, что г. Кронебергъ въ то время еще не очень-то думалъ о ребенкѣ и вовсе не имѣлъ собственной сердечной потребности держать его при себѣ.

„Въ Женевѣ онъ былъ пораженъ: ребенокъ, котораго онъ посѣтилъ неожиданно, въ неузаконенное время, былъ найденъ одичалымъ, *не узналъ отца*“.

Особенно замѣтьте это словечко: „не узналъ отца“. Я сказалъ уже, что г. Спасовичъ великій мастеръ закидывать такія словечки; казалось бы онъ просто обронилъ его, а въ концѣ рѣчи оно откликается результатомъ и даетъ плодъ. Коли „не узналъ отца“, значитъ ребенокъ не только одичалый, но ужь и испорченный. Все это нужно впереди; далѣе мы увидимъ, что г. Спасовичъ, закидывая то тамъ, то тутъ по словечку, рѣшительно разочаруетъ васъ подконецъ на счетъ ребенка. Вмѣсто дитяти семи лѣтъ, вмѣсто ангела,—передъ вами явится дѣвочка „шустрая“, дѣвочка хитрая, крикса, съ дурнымъ характеромъ, которая кричитъ, когда ее только поставятъ въ уголъ, которая „горазда кричать“ (какіе руссизмы!), лгунья, воровка, неопрятная и съ сквернымъ затаеннымъ порокомъ. Вся штука въ томъ, чтобы какъ-нибудь уничтожить вашу къ ней симпатію. Ужь такова человѣческая природа: кого вы не взлюбите, къ кому почувствуете отвращеніе, того и не пожалѣете; а состраданія-то вашего г. Спасовичъ и боится пуще всего: не то вы, можетъ быть, пожалѣвъ ее, обвините отца. Вотъ вѣдь фальшь то положенія! Конечно, вся группировка эта, всѣ эти факты, собранные имъ надъ головой ребенка, не стоятъ, каждое, выѣденнаго яйца и дальше вы это непремѣнно замѣтите сами. Нѣтъ, напримѣръ, человѣка, который бы не зналъ, что трехлѣтній, даже четырехлѣтній ребенокъ, оставленный кѣмъ бы то ни было на три года, непремѣнно забудетъ того въ лицо, забудетъ даже до малѣйшихъ обстоятельствъ все объ томъ лицѣ и объ томъ времени и что память дѣтей не можетъ, въ эти лѣта, простираться далѣе года, или даже девяти мѣсяцевъ. Это всякій отецъ и всякій врачъ подтвердитъ вамъ. Тутъ виноваты скорѣе тѣ, которые оставили ребенка на столько лѣтъ, а не испорченная натура ребенка и ужь, конечно, присяжный засѣдатель это тоже пойметъ, если найдетъ время и охоту подумать и разсудить; но разсудить ему некогда, онъ подъ впечатлѣніемъ неотразимаго давленія таланта; надъ нимъ группировка: дѣло не въ каждомъ фактѣ отдѣльно, а въ цѣломъ, такъ сказать въ пучкѣ фактовъ, — и какъ хотите, но всѣ эти ничтожные факты, всѣ вмѣстѣ, въ пучкѣ, дѣйствительно производятъ подконецъ какъ бы враждебное къ ребенку чувство. Il en reste toujours quelque chose,—дѣло старинное, дѣло извѣстное, особенно при группировкѣ искусной, изученной.

Зайду впередъ и выставлю еще одинъ такой примѣръ искусства г. Спасовича. Онъ, напримѣръ, подобнымъ же пріемомъ, совершенно и разомъ уничтожаетъ въ концѣ рѣчи самую тяжкую противъ его кліента свидѣтельницу, Аграфену Титову. Тутъ даже и не группировка, тутъ онъ подхватилъ всего только одно словечко, ну и воспользовался имъ. Аграфена Титова—бывшая горничная г. Кронеберга. Это она-то первая, вмѣстѣ съ Ульяной Бибиной, дворничихой на дачѣ въ Лѣсномъ, гдѣ квартировалъ г. Кронебергъ,

возбудила дѣло объ истязаніи ребенка. Скажу отъ себя, къ слову, что, по моему мнѣнію, эта Титова и въ особенности Бибина,—чуть-ли не два наиболѣе симпатичныя лица во всемъ этомъ дѣлѣ. Онѣ обѣ любятъ ребенка. Ребенку было скучно. Только что привезенный изъ Швейцаріи, онъ почти не видѣлъ отца. Отецъ занимался дѣлами одной желѣзной дороги и уѣзжалъ изъ дому съ утра, а возвращался поздно вечеромъ. Когда же, пріѣхавъ вечеромъ, узнавалъ о какой-нибудь дѣтской шалости ребенка, то сѣкъ и билъ его по лицу (факты подтвердившіеся и не отрицаемые самимъ г. Спасовичемъ); бѣдная дѣвочка, вслѣдствіе этой безотрадной жизни, дичала и тосковала все больше и больше. „Теперь дѣвочка все сидитъ одна и ни съ кѣмъ не говоритъ", показала этими самыми словами Титова, когда приносила жалобу. Въ этихъ словахъ не только слышится глубокая симпатія, но и виденъ тонкій взглядъ наблюдательницы, взглядъ съ внутреннимъ мученіемъ на страданія оскорбляемаго крошечнаго созданія Божія. Естественно послѣ того, что дѣвочка любила прислугу, отъ которой одной только и видѣла любовь и ласку, бѣгала иногда внизъ къ дворничихѣ. Г. Спасовичъ обвиняетъ за это ребенка, приписываетъ его пороки „развращающему вліянію прислуги". Замѣтьте, что дѣвочка говорила только по-французски, и что Ульяна Бибина, дворничиха, не могла хорошо понимать ее, стало быть полюбила ее просто изъ жалости, изъ симпатіи къ дитяти, которая такъ свойственна нашему простому народу.

„Однажды вечеромъ (какъ говорится въ обвиненіи), въ іюлѣ, Кроненбергъ опять сталъ сѣчь дѣвочку и на этотъ разъ сѣкъ такъ долго, она такъ страшно кричала, что Бибина испугалась, опасаясь, что дѣвочку засѣкутъ, а потому, вскочивъ съ постели, какъ была въ рубашкѣ, подбѣжала къ окну Кроненберга и закричала, чтобъ ребенка перестали сѣчь, а не то она пошлетъ за полиціей; *тогда сѣченье и крики прекратились*"...

Видна-ли вамъ эта курица, эта наседка, ставшая передъ своими цыплятами и растопырившая крылья, чтобъ ихъ защитить? Эти жалкія курицы, защищая своихъ цыплятъ, становятся иногда почти страшными. Въ дѣтствѣ моемъ, въ деревнѣ, я зналъ одного двороваго мальчишку, который ужасно любилъ мучить животныхъ и особенно любилъ самъ рѣзать куръ, когда ихъ надо было готовить господамъ къ обѣду. Помню онъ лазилъ въ ригѣ по соломенной крышѣ и очень любилъ отыскивать въ ней воробьиныя гнѣзда: отыщетъ гнѣздо и тотчасъ начнетъ отрывать воробьямъ головы. Представьте же себѣ, этотъ мучитель ужасно боялся курицы, когда та, разсвирѣпѣвъ и распустивъ крылья, становилась передъ нимъ защищая цыплятъ своихъ; онъ всегда тогда прятался за меня. Ну такъ вотъ, эта бѣдная курица чрезъ три дня опять не выдержала и пошла таки жаловаться начальству, захвативъ съ собой пукъ розогъ, которыми сѣкли дѣвочку и окровавленное бѣлье. Вспомните при этомъ отвращеніе нашего простонародья отъ судовъ и боязнь связаться съ ними, если только прямо самого въ судъ не тянутъ. Но она пошла, пошла тягаться, жаловаться, за чужаго, за ребенка, зная, что во всякомъ случаѣ получитъ лишь непріятности и никакой выгоды, кромѣ хлопотъ. И вотъ про этихъ-то двухъ женщинъ г. Спасовичъ свидѣтельствуетъ, какъ о „развращающемъ вліяніи на ребенка прислуги". Мало того, подхватываетъ вотъ

какой фактикъ: на ребенка, какъ увидять дальше, взведено было обвиненіе въ воровствѣ. (Вы увидите потомъ, какъ ловко г. Спасовичъ обратилъ взятую ребенкомъ безъ спросу ягодку чернослива въ кражу банковыхъ билетовъ). Но дѣвочка *въ кражѣ* сначала не сознавалась, даже говорила, что „она у нихъ ничего не взяла“.

„Дѣвочка отвѣчала упорнымъ молчаніемъ (говоритъ г. Спасовичъ); потомъ, уже нѣсколько мѣсяцевъ спустя, она разсказала, что *хотѣла взять деньги для Аграфены*. Еслибъ онъ (т. е. отецъ дѣвочки) разслѣдовалъ болѣе подробно обстоятельства кражи, онъ, быть можетъ, пришелъ бы къ тому заключенію, что ту порчу, которая вкралась въ дѣвочку, надо отнести на счетъ людей, къ ней приближенныхъ. Самое молчаніе дѣвочки свидѣтельствовало, что ребенокъ не хотѣлъ выдавать тѣхъ, съ которыми былъ въ хорошихъ отношеніяхъ“.

,,Хотѣла взять деньги для Аграфены'',—вотъ это словечко! ,,Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ'' дѣвочка, разумѣется, *выдумала*, что хотѣла взять деньги для Аграфены, выдумала изъ фантазіи или потому, что ей было такъ внушено. Вѣдь говорила же она въ судѣ: ,,Je suis voleuse, menteuse'', тогда какъ никогда ничего она не украла, кромѣ ягодки черносливу, а безотвѣтственнаго ребенка просто увѣрили въ эти мѣсяцы, что онъ кралъ, даже совсѣмъ и не увѣряя увѣрили, и единственно тѣмъ, что она безпрерывно выслушивала какъ ежедневно всѣ кругомъ нея говорятъ про нее, что она воровка. Но еслибъ даже была и правда, что дѣвочка хотѣла взять деньги для Аграфены Титовой, то изъ того вовсе не слѣдуетъ еще, что Титова сама учила и сама склоняла ее стащить для нея деньги. Г. Спасовичъ искусенъ, онъ прямо этого ни за что не скажетъ; такую обиду Титовой онъ сдѣлать не можетъ, не имѣя никакихъ прямыхъ и твердыхъ доказательствъ, но за то онъ тотчасъ же, тутъ же послѣ словъ дѣвочки, что та ,,хотѣла взять деньги для Аграфены'', запускаетъ и свое словцо, что ,,ту порчу, которая вкралась въ дѣвочку, надо отнести на счетъ людей, къ ней приближенныхъ''. И ужь конечно этого довольно. Въ сердце присяжнаго естественно просачивается мысль: ,,такъ вотъ каковы эти обѣ главныя свидѣтельницы; для нихъ значитъ она и крала, сами же онѣ и учили ребенка красть, чего же стоитъ послѣ того ихъ свидѣтельство?'' Эта мысль даже и не можетъ никакъ миновать вашъ умъ, разъ вы ее услышали при такихъ обстоятельствахъ. И вотъ опасное свидѣтельство уничтожено, раздавлено, и именно когда надо г. Спасовичу, какъ разъ въ концѣ рѣчи, для послѣдняго вліянія и эффекта. Нѣтъ, это искусно. Да, тяжела обязанность адвоката, поставленнаго въ такіе тиски, а чтожь было ему дѣлать иначе: надо было спасать кліента. Но все это только цвѣточки, ягодки дальше.

IV.

Ягодки.

Я сказалъ уже, что г. Спасовичъ отрицаетъ всякое мученіе, всякое истязаніе, причиненное дѣвочкѣ и даже смѣется надъ этимъ предположеніемъ. Перейдя къ „катастрофѣ 25-го іюля“, онъ прямо начинаетъ считать рубцы, спняки, всякій шрамикъ, всякій струпикъ, кусочки отвалившейся кожицы, все это кладетъ потомъ на вѣсы: „столько-то золотниковъ, не было истязанія!“—вотъ его взглядъ и пріемъ. Г. Спасовичу уже замѣтили въ печати,

что эти счеты рубчиковъ и шрамиковъ не идутъ къ дѣлу и даже смѣшны. Но, по моему, на публику и присяжныхъ вся эта бухгалтерія должна была непремѣнно подѣйствовать внушительно: „экая дескать точность, экая добросовѣстность!“ Я убѣжденъ что непремѣнно нашлись такіе слушатели, которые съ особеннымъ удовольствіемъ узнали, что за справкой о какомъ-то рубчикѣ, нарочно посылали въ Женеву, къ де-Комба. Г. Спасовичъ побѣдоносно указываетъ, что не было никакихъ разсѣченій кожи:

„При всей неблагопріятности для Кронеберга мнѣнія г. Лансберга (N, докторъ, свидѣтельствовавшій наказанную 29-го іюля и надъ мнѣніемъ котораго чрезвычайно ѣдко подсмѣивается г. Спасовичъ)—я для защиты заимствую многія данныя изъ его акта отъ 29 іюля. Г. Лансбергъ положительно удостовѣрилъ, что на заднихъ частяхъ тѣла дѣвочки не было никакихъ разсѣченій кожи, а *только* темнобагровыя подкожныя пятна и таковыя же красныя полосы“...

Только! Замѣтьте это словцо. И главное, пять дней спустя послѣ истязанія! Я-бы могъ засвидѣтельствовать г. Спасовичу, что эти темнобагровыя подкожныя пятна проходятъ очень скоро, безъ малѣйшей опасности для жизни, тѣмъ не менѣе, неужели же они не составляютъ мученія, страданія, истязанія?

„Пятенъ этихъ всего болѣе было на лѣвой сѣдалищной области съ переходомъ на лѣвое же бедро. Не найдя травматическихъ знаковъ, никакихъ даже царапинъ, г. Лансбергъ засвидѣтельствовалъ, что полосы и пятна не представляютъ *никакой опасности* для жизни. Черезъ шесть дней потомъ, 5-го августа, при осматриваніи дѣвочки профессоромъ Флоринскимъ, онъ замѣтилъ не пятна, а только полосы—однѣ поменьше, другія побольше; но онъ вовсе не призналъ, чтобъ эти полосы составляли поврежденіе сколько нибудь значительное, хотя и призналъ, что наказаніе было сильное, особенно въ виду того орудія, которымъ наказали дитя“.

Я сообщу г. Спасовичу, что въ Сибири, въ госпиталѣ, въ арестантскихъ палатахъ мнѣ случалось видѣть спины только что приходившихъ сейчасъ послѣ наказанія шпицрутенами (сквозь строй) арестантовъ, послѣ пятисотъ, тысячи и двухъ тысячъ палокъ разомъ. Видѣлъ я это нѣсколько десятковъ разъ. Иная спина, вѣрите-ли мнѣ, г. Спасовичъ, распухала въ вершокъ толщины (буквально), а кажется много-ли на спинѣ мяса? Онѣ были именно этого темнобагроваго цвѣта съ рѣдкими разсѣченіями, изъ которыхъ сочилась кровь. Будьте увѣрены, что ни одинъ изъ теперешнихъ экспертовъ-медиковъ не видывалъ ничего подобнаго (да и гдѣ намъ въ наше время увидѣть?). Эти наказанные, если только получали не свыше тысячи палокъ, приходили, сохраняя всегда весьма бодрый видъ, хотя бывали въ видимо сильномъ нервномъ возбужденіи, и. то только въ первые два часа. Никто изъ нихъ, сколько ни запомню, въ эти первые два часа не ложился и не садился, а лишь все ходилъ по палатѣ, вздрагивая иногда всѣмъ тѣломъ, съ мокрой простыней на плечахъ. Все леченіе состояло въ томъ, что приносили ему ведро съ водой, въ которое онъ изрѣдка обмакивалъ простыню, когда та обсыхала на его спинѣ. Всѣмъ имъ, сколько ни запомню, ужасно хотѣлось поскорѣе выписаться изъ палаты (потому что предварительно долго подъ судомъ сидѣли взаперти, а другимъ просто хотѣлось поскорѣе опять учинить побѣгъ). И вотъ вамъ фактъ: такіе наказанные на шестой, много на седьмой день послѣ наказанія почти всегда выписывались, потому что въ этотъ срокъ спина *успѣвала почти всегда зажить вся*, кромѣ нѣкоторыхъ лишь самыхъ слабыхъ, сравнительно

говоря остатковъ; но черезъ десять, напримѣръ, дней всегда уже все проходило безслѣдно. Наказаніе шпицрутенами (т. е. на дѣлѣ всегда палками), если не въ очень большомъ количествѣ, то есть не болѣе двухъ тысячъ разомъ, никогда не представляло ни малѣйшей опасности для жизни. Напротивъ, всѣ, каторжные и военные арестанты (видавшіе эти виды), постоянно и много разъ при мнѣ утверждали, что розги мучительнѣе, „садче" и несравненно опаснѣе, потому что палокъ можно выдержать даже и болѣе двухъ тысячъ безъ опасности для жизни, а съ четырехсотъ только розогъ можно померѣть подъ розгами, а съ пятисотъ или шестисотъ *заразъ*—почти навѣрная смерть, никто не выдержитъ. Спрашиваю васъ послѣ того, г. защитникъ: хоть палки эти и не грозили опасностью для жизни и не причиняли ни малѣйшаго поврежденія, но неужели же такое наказаніе не было мучительно, неужели тутъ не было истязанія? Неужели же и дѣвочка не мучилась четверть часа подъ ужасными розгами, лежавшими въ судѣ на столѣ, и крича: „папа! папа!" Зачѣмъ же вы отрицаете ея страданіе, ея истязаніе?

Но я уже сказалъ выше почему тутъ такая путаница; повторю еще: дѣло въ томъ, что у насъ въ „Уложеніи о наказаніяхъ", по показанію г. Спасовича, на счетъ понятія и опредѣленія: что именно подразумѣвать подъ истязаніемъ?—существуетъ неясность, неполнота, пробѣлъ".

... „Поэтому правительственный сенатъ, въ тѣхъ же рѣшеніяхъ, на которыя ссылается обвинительная власть, опредѣлилъ, такимъ образомъ, съ другой стороны, что подъ истязаніями и мученіями слѣдуетъ разумѣть такое посягательство на личность или личную неприкосновенность человѣка, которое сопровождалось мученіемъ и жестокостью. При истязаніяхъ и мученіяхъ, по мнѣнію сената, физическія страданія должны непремѣнно представлять высшую, болѣе продолжительную степень страданія, чѣмъ при обыкновенныхъ побояхъ, хотя бы и тяжкихъ. Если побои нельзя назвать тяжкими, а истязанія должны быть тяжеле тяжкихъ побоевъ, если ни одинъ экспертъ не назвалъ ихъ тяжкими, кромѣ г. Ландсберга, который самъ отказался отъ своего вывода, то, *спрашивается, какимъ образомъ можно подвести это дѣяніе подъ понятіе истязанія и мученія? Я полагаю, что это немыслимо*".

Ну, вотъ въ томъ то и дѣло: въ уложеніи о наказаніяхъ неясность и кліентъ г. Спасовича могъ подпасть, въ обвиненіи по истязанію, подъ одну изъ самыхъ строгихъ, и неприложимыхъ во всякомъ случаѣ къ размѣрамъ его преступленія, статей закона, а по этимъ статьямъ ждетъ весьма уже тяжелое, совершенно не соразмѣрное съ его „дѣяніемъ" наказаніе. Ну, казалось, такъ бы прямо и разъяснить намъ это недоумѣніе: „было дескать истязаніе, да все-же не такое какъ опредѣляетъ законъ, т. е. *не тяжеле всякихъ тяжкихъ побоевъ*, а потому и нельзя обвинить моего кліента въ истязаніи". Но нѣтъ; г. Спасовичъ уступить ничего не хочетъ, онъ хочетъ доказать, что не было совсѣмъ никакого истязанія, ни законнаго, ни беззаконнаго, и никакого страданія, совсѣмъ! Но скажите, что намъ-то за дѣло, что мученія и истязанія этой дѣвочки не подходятъ буква въ букву подъ опредѣленіе истязанія закономъ? Вѣдь въ законахъ пробѣлъ, сами же вы сказали. Вѣдь все же равно ребенокъ страдалъ: неужто же не страдалъ, неужто же не истязали его на самомъ-то дѣлѣ, взаправду-то, неужто же можно намъ такъ отводить глаза? Да, г. Спасовичъ именно это и предпринялъ, онъ рѣшительно хочетъ

отвести намъ глаза: ребенокъ, говоритъ онъ, на другой же день „игралъ“, она „отбывала урокъ“. Не думаю чтобъ игралъ. Вибина напротивъ свидѣтельствуетъ, что когда она осматривала дѣвочку, передъ тѣмъ какъ идти жаловаться, „то дѣвочка горько плакала и приговаривала: „Папа! Папа!„ Ахъ Боже мой, да вѣдь такія маленькія дѣти бываютъ такъ скоро—впечатлительны и воспріимчивы! Ну чтожь изъ того, что она можетъ быть даже и поиграла на другой день, еще съ сине багровыми пятнами на тѣлѣ. Я видѣлъ пятилѣтняго мальчика, почти умиравшаго отъ скарлатины, въ полномъ безсиліи и изнеможеніи, а между тѣмъ онъ лепеталъ о томъ, что ему купятъ обѣщанную собачку и попросилъ принести ему всѣ его игрушки и поставить у постельки: „хоть погляжу на нихъ“. Но верхъ искуства въ томъ, что г. Спасовичъ совершенно конфисковалъ лѣта ребенка! Онъ все толкуетъ намъ о какой-то дѣвочкѣ, испорченной и порочной, пойманной неоднократно въ кражѣ и съ потаеннымъ развратнымъ порокомъ въ душѣ своей, и совершенно какъ бы забылъ самъ, (а мы вмѣстѣ съ нимъ), что дѣло идетъ всего только объ семилѣтнемъ младенцѣ, и что это самое *дрансъ*, цѣлую четверть часа, этими девятью рябиновыми „шпицрутенами“,—не только для взрослаго, но и для четырнадцати-лѣтняго было бы навѣрно въ десять разъ легче, чѣмъ для этой жалкой крошки! Спрашиваешь себя невольно: къ чему все это г. Спасовичу? Къ чему ему такъ упорно отрицать страданія дѣвочки, тратить на это почти все свое искусство, такъ изворачиваться, чтобъ намъ глаза отвести? Неужели всего только изъ одного адвокатскаго самолюбія: „вотъ, дескать, не только выручу кліента, но и докажу, что все дѣло— полный вздоръ и смѣхъ, и что судятъ отца за то только, что разъ посѣкъ скверную дѣвчонку розгой“? Но вѣдь сказано уже, что ему надо истребить къ ней всякую вашу симпатію. И хоть у него для этого запасены богатыя впереди средства, но все же онъ боится, что страданія ребенка вызовутъ въ васъ, неровенъ часъ, человѣческія чувства. А человѣческія-то чувства ваши ему и опасны: пожалуй вы разсердитесь на его кліента; ихъ надо ему подавить заблаговременно, извратить ихъ, осмѣять,—однимъ словомъ предпринять, казалось бы, невозможное дѣло, невозможное уже по тому одному, что передъ нами совершенно ясное, точное, вполнѣ откровенное показаніе отца, твердо и правдиво подтвердившаго истязаніе ребенка:

„25 іюля, раздраженный дочерью (показываетъ отецъ), высѣкъ ее этимъ пучкомъ, высѣкъ сильно и, въ этотъ разъ, *сѣкъ долго, внѣ себя, безсознательно, какъ попало.* Сломались ли розги при этомъ послѣднемъ сѣченіи—онъ не знаетъ, но помнитъ, что, когда онъ началъ сѣчь дѣвочку, онѣ были длиннѣе“.

Правда, не смотря на это показаніе, отецъ все-таки не призналъ себя на слѣдствіи виновнымъ въ истязаніи своей дочери и заявилъ, что до 25 іюля наказывалъ ее всегда легко. Замѣчу мимоходомъ, что воззрѣніе на легкость и тягость и тутъ дѣло личное: удары по лицу семилѣтнему младенцу, съ брызнувшей кровью изъ носу, которые не отрицаетъ ни Кроненбергъ, ни защитникъ его, очевидно и тѣмъ и другимъ считаются наказаніемъ легкимъ. У г. Спасовича на этотъ счетъ есть и другія драгоцѣнныя выходки и ихъ много; напримѣръ:

„Вы слышали, что знаки на локтяхъ обра-

зовались почти несомнѣнно только отъ того, *что держали за руки* при наказаніи".

Слышите: *только отъ того!* „Хорошо же держали, коли додержали до синяковъ! О, вѣдь и г. Спасовичъ не утверждаетъ вполнѣ, что все это прекрасно и благоуханно; вотъ, напримѣръ еще разсужденьице:

„Они говорятъ, что это наказаніе выходитъ изъ ряда обыкновенныхъ. Это опредѣленіе было бы прекрасно, еслибъ мы опредѣлили, что такое обыкновенное наказаніе; *но коль скоро этого опредѣленія нѣтъ*, то всякій затруднится сказать выходило ли оно изъ ряда обыкновенныхъ (это послѣ-то показанія отца, что сѣкъ *долго, безсознательно и внѣ себя!!!)*. Допустимъ, что это такъ; чтожъ это значитъ? Что наказаніе это, въ большинствѣ случаевъ,есть наказаніе неприменимое къ дѣтямъ. Но и съ дѣтьми могутъ быть чрезвычайные случаи. Развѣ вы не допускаете, что власть отеческая, можетъ быть, въ исключительныхъ случаяхъ, въ такомъ положеніи, что отецъ долженъ употребить болѣе строгую мѣру, чѣмъ обыкновенно, которая непохожа на тѣ обыкновенныя мѣры, которыя употребляются ежедневно".

Но вотъ и все, что соглашается уступить г. Спасовичъ. Все это истязаніе онъ сталъ быть сводитъ лишь „на болѣе строгую мѣру, чѣмъ обыкновенно", — но раскаявается даже и въ этой уступкѣ: въ концѣ своей защитительной рѣчи онъ беретъ все это назадъ и говоритъ:

„Отецъ судится; за что же? За злоупотребленіе властью; спрашивается, гдѣ же предѣлъ этой власти? Кто опредѣлитъ сколько можетъ ударовъ и въ какихъ случаяхъ нанести отецъ, не повреждая при этомъ наказаніи организма дитяти?"

То есть не ломающій ему ногу, что ли? А если не ломаетъ ноги, то ужь можно все? Серьезно вы говорите это, г. Спасовичъ? Серьезно вы не знаете гдѣ предѣлъ этой власти и „сколько можетъ ударовъ и въ какихъ случаяхъ нанести отецъ?" Если вы не знаете, то я вамъ скажу, гдѣ этотъ предѣлъ! Предѣлъ этой власти въ томъ, что нельзя семилѣтнюю крошку, безотвѣтственную вполнѣ, во всѣхъ своихъ „порокахъ" (которые должны быть исправляемы совсѣмъ другимъ способомъ), — нельзя, говорю я, это созданіе, имѣющее ангельскій ликъ, несравненно чистѣйшее и безгрѣшнѣйшее, чѣмъ мы съ вами г. Спасовичъ, чѣмъ мы съ вами и чѣмъ всѣ бывшіе въ залѣ суда, судившіе и осуждавшіе эту дѣвочку,—нельзя, говорю я, *драть* ее девятью рябиновыми „шпицрутенами", и драть четверть часа не слушая ея криковъ: „папа, папа!" отъ которыхъ почти обезумѣла и пришла въ изступленіе простая, деревенская баба, дворничиха,— нельзя, наконецъ, по собственному сознанію говорить, что „сѣкъ долго, внѣ себя, безсознательно, какъ попало!"— нельзя быть *внѣ себя*, потому что есть предѣлъ всякому гнѣву и даже на семилѣтняго безотвѣтственнаго младенца за ягодку чернослива и за сломанную вязальную иголку! Да, искусный защитникъ, есть предѣлъ всему, и еслибъ только я не зналъ, что вы говорите все это нарочно, лишь притворяетесь изъ всѣхъ силъ, чтобъ спасти вашего кліента, то прибавилъ бы и еще, собственно для васъ самихъ, что есть предѣлъ даже всякимъ „лирамъ" и адвокатскимъ „отзывчивостямъ", и предѣлъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобъ не договариваться до такихъ столповъ, до которыхъ договорились вы, г. защитникъ! Но увы, вы только пожертвовали собою для кліента вашего, и я уже не вправѣ вамъ говорить про предѣлы, а лишь удивляюсь великости вашей жертвы!

—

V.

Геркулесовы столпы.

Но столпы, настоящіе геркулесовы столпы, вполнѣ начинаются тамъ, гдѣ г. Спасовичъ договаривается до „справедливаго гнѣва отца".

„Когда обнаружилась въ дѣвочкѣ эта дурная привычка, говоритъ г. Спасовичъ (т. е. привычка лгать), присоединившаяся ко всѣмъ другимъ недостаткамъ дѣвочки, когда отецъ узналъ, что она *воруетъ*, то дѣйствительно пришелъ въ большой гнѣвъ. Я думаю, *что каждый изъ васъ пришелъ бы въ такой же гнѣвъ* и я думаю, что преслѣдовать отца за то, что онъ наказалъ больно, но *по дѣломъ*, свое дитя—это плохая услуга семьѣ, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и крѣпко, когда оно держится на крѣпкой семьѣ... Если отецъ вознегодовалъ, онъ былъ совершенно въ своемъ правѣ"...

Постойте, г. защитникъ, я пока не останавливаю васъ на словѣ: „воруетъ", употребленномъ вами, но поговоримте немного про эту „справедливость гнѣва отца". А воспитаніе съ трехлѣтняго возраста въ Швейцаріи у де Комба, у которыхъ, сами же вы свидѣтельствуете, дѣвочка испортилась и пріобрѣла дурныя наклонности? Въ такихъ лѣтахъ, чѣмъ же она сама-то могла быть виновною въ своихъ дурныхъ привычкахъ и, въ такомъ случаѣ, гдѣ тутъ справедливость гнѣва отца? Я поддерживаю полную безотвѣтственность дѣвочки въ этомъ дѣлѣ, если даже и допустить, что у ней были дурныя привычки, и, что-бы вы ни говорили, вы не можете оспорить этой безотвѣтственности семилѣтняго ребенка. У ней нѣтъ еще и не можетъ быть столько ума, чтобъ замѣтить въ себѣ худое. Вѣдь вотъ мы всѣ, а можетъ быть и вы тоже, г. Спасовичъ, — вѣдь не святые же мы, несмотря на то, что у насъ ума больше чѣмъ у семилѣтняго ребенка. Какъ-же вы налагаете на такую крошку такое бремя отвѣтственности, которое можетъ и сами-то снести не въ силахъ? „Налагаютъ бремена тяжкія и неудобоносимыя", вспомните эти слова. Вы скажете, что мы должны же исправлять дѣтей. Слушайте: мы не должны превозноситься надъ дѣтьми, мы ихъ хуже. И если мы учимъ ихъ чему нибудь, чтобъ сдѣлать ихъ лучшими, то и они насъ учатъ многому и тоже дѣлаютъ насъ лучшими уже одпимъ только нашимъ соприкосновеніемъ съ ними. Они очеловѣчиваютъ нашу душу однимъ только своимъ появленіемъ между нами. А потому мы ихъ должны уважать и подходить къ нимъ съ уваженіемъ къ ихъ лику ангельскому (хотя бы и имѣли ихъ научить чему), къ ихъ невинности, даже и при порочной какой нибудь въ нихъ привычкѣ,—къ ихъ безотвѣтственности и къ трогательной ихъ беззащитности. Вы же утверждаете, напротивъ, что битье по лицу, въ кровь, отъ отца—и справедливо и не обидно. У ребенка былъ какой-то струпъ въ носу и вы говорите:

„Быть можетъ пощечины ускорили изліяніе этой крови изъ струпа золотушнаго въ ноздрѣ, но это вовсе не поврежденіе: *кровь безъ раны и ушиба вытекла бы немного позже*. Такимъ образомъ кровь эта не заключаетъ въ себѣ ничего такого, что могло бы расположить противъ Кронеберга. Въ ту минуту, когда онъ нанесъ ударъ, онъ *могъ не помнить, могъ даже не знать, что у ребенка бываетъ кровотеченіе изъ носу*".

„Могъ не помнить, не знать!" Да неужто-жь вы можете допустить про г. Кронеберга, что онъ ударилъ по больному мѣсту зазнамо? Разумѣется не зналъ. И такъ вы сами свидѣтельствуете, что отецъ не зналъ о болѣзни своего ребенка, а между тѣмъ поддерживаете право его на битье ребенка. Вы утверждаете, что удары по лицу отъ отца не обидны. Да, для семилѣтней крошки пожалуй и безобидны,

а оскорбленіе? Объ оскорбленіи нравственномъ, сердечномъ вы ничего во всей вашей рѣчи не упомянули, г. защитникъ; вы все время говорили только объ одной физической боли. Да и за что били ее по лицу? Гдѣ поводы къ такому ужасному гнѣву? Развѣ это серьозный преступникъ? Эта дѣвочка, эта преступница, сейчасъ же побѣжитъ играть съ мальчиками въ разбойники. Вѣдь тутъ семь лѣтъ, всего только семь лѣтъ, вѣдь надобно же это помнить безпрестанно въ этомъ дѣлѣ, вѣдь это все миражъ, что вы говорите! А знаете-ли вы, что такое оскорбить ребенка? Сердца ихъ полны любовью невинною, почти безсознательною, а такіе удары вызываютъ въ нихъ горестное удивленіе и слезы, которыя видитъ и сочтетъ Богъ. Вѣдь ихъ разсудокъ никогда не въ силахъ понять всей вины ихъ. Видали ли вы, или слыхали ли о мучимыхъ маленькихъ дѣтяхъ, ну хоть о сиротках въ иныхъ чужихъ злыхъ семьяхъ? Видали ли вы когда ребенокъ забьется въ уголъ, чтобъ его не видали, и плачетъ тамъ, ломая ручки (да, ломая руки, я это самъ видѣлъ)—и *ударяя себя крошечнымъ кулачонкомъ въ грудь*, не зная самъ, что онъ дѣлаетъ, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучаютъ, но слишкомъ чувствуя, что его не любятъ. Я ничего не знаю лично о г. Кронебергѣ, я не хочу и не могу вторгаться въ душу и въ сердце его, его и семьи его, потому что я могу сдѣлать большую несправедливость, не зная его вовсе, и потому сужу единственно лишь по вашимъ словамъ и указаніямъ, г. защитникъ. Вы сказали о немъ въ вашей рѣчи, что онъ „плохой педагогъ"; это все то же по моему, что и неопытный отецъ, или лучше сказать непривычный отецъ. Я поясню это: эти созданія тогда только вторгаются въ душу нашу и прирастаютъ къ нашему сердцу, когда мы, родивъ ихъ, слѣдимъ за ними съ дѣтства, не разлучаясь, съ первой улыбки ихъ, и затѣмъ продолжаемъ родниться взаимно душою каждый день, каждый часъ въ продолженіи всей жизни нашей. Вотъ это семья, вотъ это святыня! Семья вѣдь тоже *созидается*, а не дается готовою, и никакихъ правъ, и никакихъ обязанностей не дается тутъ готовыми, а все они сами собою, одно изъ другаго вытекаютъ. Тогда только это и крѣпко, тогда только это и свято. Созидается же семья неустаннымъ трудомъ любви. Вы сознаетесь, впрочемъ, г. защитникъ, что вашъ кліентъ сдѣлалъ двѣ *логическія* ошибки (только логическія?) и что одна изъ нихъ, между прочимъ, въ томъ, что онъ—

...„поступилъ слишкомъ рьяно, онъ предполагалъ, что можно однимъ разомъ, однимъ ударомъ искоренить все зло, которое посѣяно годами въ душу ребенка и годами взрощено. Но этого сдѣлать нельзя, надо дѣйствовать медленно, имѣть терпѣніе".

Клянусь, немного бы его потребовалось, этого терпѣнья, потому что эта крошка—всего семилѣтняя! Опять-таки эти семь лѣтъ, которыя изчезаютъ вездѣ въ вашей рѣчи и въ вашихъ соображеніяхъ, г. защитникъ! „Она воровала, восклицаете вы, она крала!"

„25 іюля пріѣзжаетъ отецъ на дачу и въ первый разъ узнаетъ сюрпризомъ, что ребенокъ шарилъ въ сундукѣ Жезингъ, сломалъ крючекъ (т. е. вязальный крючекъ, а не замокъ какой нибудь) и *добирался* до денегъ. Я не знаю, господа, можно ли равнодушно относиться къ такимъ поступкамъ дочери? Говорятъ: „за что же? Развѣ можно такъ строго взыскивать за нѣсколько штукъ черносливу, сахару?" Я полагаю, что отъ чернослива до сахара, отъ сахара до денегъ, отъ денегъ до банковыхъ билетовъ путь прямой, открытая дорога!"

Я вамъ разскажу маленькій анек-

дотъ, г. защитникъ. Сидитъ за столомъ отецъ, добывающій деньги тяжелымъ трудомъ. Онъ сочинитель, также какъ и я, онъ пишетъ. Вотъ онъ положилъ перо и къ нему подходитъ его дѣвочка, дочка, шести лѣтъ отъ роду и начинаетъ говорить ему, чтобъ онъ ей купилъ новую куклу, а потомъ коляску, настоящую коляску съ лошадьми; она сядетъ съ куколкой и съ няней въ коляску и поѣдетъ къ Дашѣ, няниной внучкѣ. „Потомъ ты вотъ что купи мнѣ еще папа"... и т. д. и т. д. счету не было покупкамъ. Все она только что навыдумала и нафантазировала у себя въ уголкѣ, играя съ куклой. Фантазія у этихъ шестилѣтнихъ малютокъ безпримѣрная, и это превосходно, въ этомъ ихъ развитіе. Отецъ слушалъ съ улыбкой:

— Ахъ Соня, Соня, сказалъ онъ вдругъ полушутливо, полугрустно, — накупилъ бы тебѣ всего, да негдѣ денегъ взять; не знаешь ты, какъ трудно они достаются!

— А ты вотъ что, папа, сдѣлай, подхватила Соня съ весьма серьезнымъ и конфиденціальнымъ видомъ, ты возьми горшечекъ и возьми лопаточку и пойди въ лѣсъ, и тамъ покопай подъ кустикомъ, вотъ и накопаешь денегъ; положи ихъ въ горшечекъ и принеси домой.

Увѣряю же васъ, что эта дѣвочка весьма и весьма неглупая, но такое понятіе она составила себѣ о томъ, какъ добываются деньги. Неужели вы думаете, что семилѣтняя далеко ушла отъ этой шестилѣтней въ понятіи о деньгахъ? Конечно, можетъ быть уже узнала, что денегъ нельзя накопить изъ-подъ кустика, но откуда они въ самомъ дѣлѣ достаются, по какимъ законамъ, что такое банковые билеты, акціи, концессіи — врядъ ли знаетъ. Помилосердуйте, г. Спасовичъ, про такую развѣ можно говорить, что она *добиралась* до денегъ? Это выраженіе и понятіе съ нимъ сопряженное примѣнимо лишь къ взрослому вору, понимающему, что такое деньги и употребленіе ихъ. Да такая еслибъ и взяла деньги, такъ это еще не кража вовсе, а лишь дѣтская шалость, тоже самое, что ягодка черносливу, потому что она совсѣмъ не знаетъ, что такое деньги. А вы намъ наставили, что ей уже недалеко до банковыхъ билетовъ и кричите, что „это угрожаетъ государству!" Развѣ можно, развѣ позволительно послѣ этого допустить мысль, что за такую шалость *справедливо* и *оправдываемо* такое драньё, которому подверглась эта дѣвочка. Но она и не шарила въ деньгахъ, она ихъ не брала вовсе. Она только пошарила въ сундукѣ, гдѣ лежали деньги и сломала вязальный крючекъ, а больше ничего не взяла. Да и незачѣмъ ей денегъ, помилуйте: убѣжать съ ними въ Америку, что ли, или снять концессію на желѣзную дорогу? Вѣдь говорите же вы про банковые билеты: „отъ сахара недалеко до банковыхъ билетовъ", почему же останавливаться передъ концессіями?

Ну не столпы это, г. защитникъ?

— Она съ порокомъ, она съ затаеннымъ сквернымъ порокомъ...

Подождите, подождите, обвинители! И неужели не нашлось никого, чтобъ почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную дѣвочку выводятъ передъ людей и серьезные, гуманные люди — позорятъ ребенка и говорятъ вслухъ о его „затаенныхъ порокахъ"!.. Да что въ томъ, что она еще не понимаетъ своего позора и сама говоритъ: „Je suis voleuse, menteuse"? Воля ваша, это не-

возможно и невыносимо, это фальшь нестерпимая. И кто могъ, кто рѣшился выговорить про нее, что она „крала“, что она „добиралась“ до денегъ. Развѣ можно говорить такія слова о такомъ младенцѣ! Зачѣмъ сквернятъ ее „затаенными пороками“ вслухъ на всю залу? Къ чему брызнуло на нее столько грязи и оставило слѣдъ свой на вѣки? О, оправдайте поскорѣе вашего кліента, г. защитникъ, хотя бы для того только, чтобъ поскорѣе опустить занавѣсъ и избавить насъ отъ этого зрѣлища. Но оставьте намъ, по крайней мѣрѣ, хоть жалость нашу къ этому младенцу; не судите его съ такимъ серьезнымъ видомъ, какъ будто сами вѣрите въ его виновность. Эта жалость,—драгоцѣнность наша и искоренять ее изъ общества страшно. Когда общество перестанетъ жалѣть слабыхъ и угнетенныхъ, тогда ему же самому станетъ плохо: оно очерствѣетъ и засохнетъ, станетъ развратно и безплодно...

— Да, оставь я вамъ жалость, а ну какъ вы, съ большой-то жалости, да осудите моего кліета.

Вотъ оно положеніе-то!

VI.

Семья и наши святыни. Заключительное словцо объ одной юной школѣ.

Въ заключеніе г. Спасовичъ говоритъ одно мѣткое слово:

„Въ заключеніе я позволю себѣ сказать что, по моему мнѣнію, все обвиненіе Кронеберга поставлено совершенно неправильно, т. е. такъ, что вопросовъ, которые вамъ будутъ предложены, совсѣмъ рѣшать нельзя“.

Вотъ это умно; въ этомъ вся суть дѣла и отъ этого вся фальшь дѣла; но г. Спасовичъ прибавляетъ и еще нѣсколько довольно торжественныхъ словъ на тему: „я полагаю вы всѣ признаете, что есть семья, есть власть отеческая“... Выше онъ восклицалъ, что „государство только тогда и крѣпко, когда оно держится на крѣпкой семьѣ“.

На это и я позволю себѣ включить одно лишь маленькое словечко, и то лишь мимоходомъ.

Мы, русскіе—народъ молодой; мы только что начинаемъ жить, хотя и прожили уже тысячу лѣтъ; но большому кораблю большое и плаваніе. Мы народъ свѣжій и у насъ нѣтъ святынь quand même. Мы любимъ наши святыни, но потому лишь, что онѣ въ самомъ дѣлѣ святы. Мы не потому только стоимъ за нихъ, чтобъ отстоять ими l'Ordre. Святыни наши не изъ полезности нхъ стоятъ, а по вѣрѣ нашей. Мы не станемъ и отстаивать такихъ святынь, въ которыя перестанемъ вѣрить сами, какъ древніе жрецы, отстаивавшіе, въ концѣ язычества, своихъ идоловъ, которыхъ давно уже сами перестали считать за боговъ. Ни одна святыня наша не побоится свободнаго изслѣдованія, но это именно потому, что она крѣпка въ самомъ дѣлѣ. Мы любимъ святыню семьи, когда она въ самомъ дѣлѣ свята, а не потому только, что на ней крѣпко стоитъ государство. А вѣря въ крѣпость нашей семьи, мы не побоимся если, временами, будутъ исторгаемы плевелы и не испугаемся, если будетъ изобличено и преслѣдуемо даже злоупотребленіе родительской власти. Не станемъ мы защищать эту власть quand même. Святыня воистину святой семьи такъ крѣпка, что никогда не пошатнется отъ этого, а только станетъ еще святѣе. Но во всякомъ дѣлѣ есть предѣлъ и мѣра и это мы тоже готовы понять. Я не юристъ, но въ дѣлѣ Кронеберга я не могу не признать ка-

кой-то глубокой фальши. Тутъ что-то не такъ, тутъ что-то было не то, несмотря на дѣйствительную виновность. Г. Спасовичъ глубоко правъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ о постановкѣ вопроса; но однако это ничего не разрѣшаетъ. Можетъ быть необходимъ глубокій и *самостоятельный* пересмотръ законовъ нашихъ въ этомъ пунктѣ, чтобъ восполнить пробѣлы и стать въ мѣру съ характеромъ нашего общества. Я не могу рѣшить, что тутъ нужно, я не юристъ...

Но я все-таки восклицаю невольно: да, блестящее установленіе адвокатура, но почему-то и грустное. Это я сказалъ вначалѣ и повторяю опять. Такъ мнѣ кажется, и навѣрно отъ того только, что я не юристъ; въ томъ вся бѣда моя. Мнѣ все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушенія сердца, школа извращенія всякаго здороваго чувства по мѣрѣ надобности, школа всевозможныхъ посягновеній, безстрашныхъ и безнаказанныхъ, постоянная и неустанная, по мѣрѣ спроса и требованія и возведенная въ какой-то принципъ, а съ нашей непривычки и въ какую-то доблесть, которой всѣ аплодируютъ. Что-жь, неужто я посягаю на адвокатуру, на новый судъ? Сохрани меня Боже, я всего только хотѣлъ бы, чтобъ всѣ мы стали немного получше. Желаніе самое скромное, но увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалистъ; я ищу святынь, я люблю ихъ, мое сердце ихъ жаждетъ, потому что я такъ созданъ, что не могу жить безъ святынь, но все же я хотѣлъ бы святынь хоть капельку посвятѣе; не то стоитъ-ли имъ покланяться? Такъ или этакъ, а я испортилъ мой февральскій „Дневникъ", неумѣренно распространившись въ немъ на грустную тему, потому только что она слишкомъ поразила меня. Но—il faut avoir le courage de son opinion, и кажется эта умная французская поговорка могла бы послужить руководствомъ для многихъ, ищущихъ отвѣтовъ на свои вопросы въ сбивчивое время наше.

Ѳ. Достоевскій.

Дозволено цензурою. Спб. 28 февр. 1876. Типогр. кн. Вл. Оболенскаго Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

МАРТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Вѣрна ли мысль, что „пусть лучше идеалы будутъ дурны, да дѣйствительность хороша?“

Въ „Листкѣ“ Г. Гаммы („Голосъ“ № 67) я прочелъ такой отзывъ на мои слова, въ февральскомъ Дневникѣ, о народѣ:

„Какъ бы то ни было, у одного и того же писателя, на разстояніи одного мѣсяца, мы встрѣчаемся съ двумя, рѣзко противуположными другъ другу мнѣніями по поводу народа. А вѣдь это не водевиль, не картинка передвижной выставки: вѣдь это приговоръ надъ живымъ организмомъ; это все равно, что вертѣть ножомъ въ тѣлѣ человѣка. Изъ своего дѣйствительнаго или мнимаго противорѣчія г. Достоевскій выгораживается тѣмъ, что приглашаетъ насъ судить народъ „не по тому, чѣмъ онъ есть, а по тому чѣмъ желалъ бы стать“. Народъ, видите-ли, ужаснѣйшая дрянь на дѣлѣ, но за то идеалы у него хороши. Идеалы эти „сильны и святы“, и они то „спасали его въ вѣка мученій“. Не поздоровится отъ такихъ выгораживаній! Вѣдь и самъ адъ вымощенъ добрыми намѣреніями, и г. Достоевскому извѣстно, что „вѣра безъ дѣлъ мертва“. Да откуда же стали извѣстны эти идеалы? Какой пророкъ или сердцевѣдъ въ состояніи проникнуть или разгадать ихъ, если вся дѣйствительность противорѣчитъ имъ и недостойна этихъ идеаловъ? Г. Достоевскій оправдываетъ нашъ народъ въ томъ смыслѣ, что „они немножечко дерутъ, за то ужь въ ротъ хмѣльнаго не берутъ“. Но, вѣдь, отсюда недалеко и до нравоученія: „пусть лучше идеалы будутъ дурны, да дѣйствительность хороша“.

Въ этой выпискѣ всего важнѣе вопросъ г. Гаммы: „Да откуда же стали извѣстны эти идеалы“? (т. е. народные). Положительно отказываюсь отвѣчать на такой вопросъ, ибо, сколько бы мы ни проговорили на эту тему съ г. Гаммой, мы никогда ни до чего не договоримся. Это споръ длиннѣйшій, а для насъ важнѣйшій. Есть у народа идеалы или совсѣмъ ихъ нѣтъ— вотъ вопросъ нашей жизни или смерти. Споръ этотъ ведется слишкомъ уже давно и остановился на томъ, что од-

нимъ эти идеалы выяснились какъ солнце, другіе же совсѣмъ ихъ не замѣчаютъ и окончательно отказались замѣчать. Кто правъ—рѣшимъ не мы, но рѣшится это можетъ быть довольно скоро. Въ послѣднее время раздалось нѣсколько голосовъ въ томъ смыслѣ, что у насъ не можетъ быть ничего охранительнаго, потому что у насъ „нечего охранять". Въ самомъ дѣлѣ, если нѣтъ своихъ идеаловъ, то стоитъ ли тутъ заботиться и что нибудь охранять? Что-жь, если эта мысль приноситъ такое спокойствіе, то и на здоровье.

„Народъ, видите ли, ужаснѣйшая дрянь, но только идеалы у него хороши". Эту фразу или эту мысль я никогда не высказывалъ. Единственно, чтобъ оговориться въ этомъ, я и отвѣчаю г. Гаммѣ. Напротивъ, я именно замѣтилъ, что и въ народѣ—„есть прямо святые, да еще какіе: сами свѣтятъ и всѣмъ намъ путь освѣщаютъ". Они есть, почтенный публицистъ, есть въ самомъ дѣлѣ и блаженъ—кто можетъ ихъ разглядѣть. Думаю, что у меня тутъ, т. е. собственно въ этихъ словахъ, нѣтъ ни малѣйшей неясности. Къ тому же неясность не всегда происходитъ отъ того, что писатель неясенъ, а иногда и совсѣмъ отъ противуположныхъ причинъ...

Что же касается до нравоученія, которымъ вы кончаете вашу замѣтку: „Пусть лучше идеалы будутъ дурны, да дѣйствительность хороша",—то замѣчу вамъ, что это желаніе совершенно невозможное: безъ идеаловъ, то есть, безъ опредѣленныхъ хоть сколько нибудь желаній лучшаго, никогда не можетъ получиться никакой хорошей дѣйствительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будетъ кромѣ еще пущей мерзости. У меня же по крайней мѣрѣ хоть шансъ оставленъ: если теперь неприглядно, то, при ясно сознаваемомъ желаніи стать лучшими (то есть при идеалахъ лучшаго), можно дѣйствительно когда-нибудь собраться и стать лучшими. По крайней мѣрѣ это вовсе не столь невозможно какъ ваше предположеніе стать лучшими при „дурныхъ" идеалахъ, то есть, при дурныхъ желаніяхъ.

Надѣюсь, что на мои нѣсколько словъ вы не разсердитесь, г. Гамма. Останемся каждый при нашемъ мнѣніи и будемъ ждать развязки; увѣряю васъ, что развязка можетъ быть вовсе не такъ отдаленна.

II.

Столѣтняя.

„Въ это утро я слишкомъ запоздала,—разсказывала мнѣ на дняхъ одна дама,—и вышла изъ дому почти уже въ полдень, а у меня, какъ нарочно, скопилось много дѣла. Какъ разъ въ Николаевской улицѣ надо было зайти въ два мѣста, одно отъ другаго недалеко. Во-первыхъ, въ контору, и у самыхъ воротъ дома встрѣчаю эту самую старушку, и такая она мнѣ показалась старенькая, согнутая, съ палочкой, только все же я не угадала ея лѣтъ; дошла она до воротъ и тутъ въ уголку у воротъ присѣла на дворницкую скамеечку отдохнуть. Впрочемъ, я прошла мимо, а она мнѣ только такъ мелькнула.

Минутъ черезъ десять я изъ конторы выхожу, а тутъ черезъ два дома магазинъ и въ немъ у меня еще съ прошлой недѣли заказаны для Сони ботинки, я и пошла ихъ захватить кстати, только смотрю, а та старушка теперь ужь у этого дома сидитъ,

и опять на скамеечкѣ у воротъ, сидитъ, да на меня и смотритъ; я на нее улыбнулась, зашла, взяла ботинки. Ну, пока минуты три-четыре прошло—пошла дальше къ Невскому, анъ смотрю—моя старушка уже у третьяго дома, тоже у воротъ, только не на скамеечкѣ, а на выступѣ пріютилась, а скамейки въ этихъ воротахъ не было. Я вдругъ передъ ней остановилась невольно: что это, думаю, она у всякаго дома садится?

— Устала, говорю, старушка?

— Устаю, родненькая, все устаю. Думаю: тепло, солнышко свѣтитъ, дай пойду къ внучкамъ пообѣдать.

— Это ты, бабушка, пообѣдать идешь?

— Пообѣдать, милая, пообѣдать.

— Да ты этакъ не дойдешь.

— Нѣтъ, дойду, вотъ пройду сколь и отдохну, а тамъ опять встану да пойду.

Смотрю я на нее и ужасно мнѣ стало любопытно. Старушка маленькая, чистенькая, одежда ветхая, должно быть изъ мѣщанства, съ палочкой, лицо блѣдное, желтое, къ костямъ присохшее; губы безцвѣтныя,—мумія какая-то, а сидитъ—улыбается, солнышко прямо на нее свѣтитъ.

— Ты, должно быть, бабушка, очень стара, спрашиваю я, шутя разумѣется.

— Сто четыре года, милая, сто четыре мнѣ годика, *только всего*, (это она пошутила)... А ты-то сама куда идешь?

И глядитъ на меня—смѣется, обрадовалась она что-ли поговорить съ кѣмъ, только странною мнѣ показалась у столѣтней такая забота—куда я иду, точно ей это такъ ужь надо.

— Да вотъ, бабушка, смѣюсь и я, ботиночки дѣвочкѣ моей въ магазинѣ взяла, домой несу.

— Ишь махонькіе, башмачки-то, маленькая дѣвочка-то у тебя? Это хорошо у тебя. И другія дѣтки есть?

И опять все смѣется, глядитъ. Глаза тусклые, почти мертвые, а какъ будто лучъ какой-то изъ нихъ свѣтитъ теплый.

— Бабушка, хочешь, возьми у меня пятачокъ, купи себѣ булочку, и подаю я ей этотъ пятачокъ.

— Чтой-то, ты мнѣ пятачокъ? Что-жь, спасибо, я и возьму твой пятачокъ.

— Такъ на, бабушка, не взыщи. Она взяла. Видно, что не проситъ, не доведена до того, но взяла она у меня такъ хорошо, совсѣмъ не какъ милостыню, а такъ, какъ будто изъ вѣжливости, или изъ доброты своего сердца. А впрочемъ, можетъ ей и очень понравилось это, потому что, кто-же съ ней, съ старушкой, заговоритъ, а тутъ еще съ ней не только говорятъ, да еще объ ней съ любовью заботятся.

Ну, прощай, говорю, бабушка. Дойди на здоровье.

— Дойду, родненькая, дойду. Я дойду. А ты къ своей внучкѣ ступай, сбилась старушка, забывъ что у меня дочка, а не внучка, думала видно, что ужь и у всѣхъ внучки. Пошла я и оглянулась на нее въ послѣдній разъ, вижу она поднялась, медленно, съ трудомъ, стукнула палочкой и поплелась по улицѣ. Можетъ еще разъ десять отдохнетъ дорогой, пока дойдетъ къ своимъ „пообѣдать“. И куда это она ходитъ обѣдать? Странная такая старушка.

Выслушалъ я въ то же утро этотъ разсказъ,—да правда и не разсказъ, а такъ какое-то впечатлѣніе при встрѣчѣ съ столѣтней. (Въ самомъ дѣлѣ, когда встрѣтишь столѣтнюю, да еще такую полную душевной жизни?)—и

позабылъ объ немъ совсѣмъ, и уже поздно ночью, прочтя одну статью въ журналѣ и отложивъ журналъ, вдругъ вспомнилъ про эту старушку, и почему-то мигомъ дорисовалъ себѣ продолженіе о томъ, какъ она дошла къ своимъ пообѣдать: вышла другая, можетъ быть, очень правдоподобная маленькая картинка.

Внучки ея, а можетъ и правнучки, да ужь такъ зоветъ ихъ она за одно внучками, вѣроятно какіе-нибудь цѣховые, семейные, разумѣется, люди, не то она не ходила бы къ нимъ обѣдать, живутъ въ подвалѣ, а можетъ и цирюльню какую-нибудь снимаютъ, люди, конечно, бѣдные, но все же можетъ питаются и наблюдаютъ порядокъ. Добрела она къ нимъ вѣроятно уже часу во второмъ. Ее и не ждали, но встрѣтили можетъ быть довольно привѣтливо.

— А вотъ и она, Марья Максимовна, входи, входи, милости просимъ, раба Божія!

Старушка входитъ, посмѣиваясь, колокольчикъ у входа еще долго, рѣзко и тонко звенитъ. Внучка-то ея должно быть жена этого цирюльника, а самъ онъ еще человѣкъ нестарый, лѣтъ этакъ тридцати пяти, по ремеслу своему степененъ, хотя ремесло и легкомысленное, и ужь разумѣется въ засаленномъ, какъ блинъ, сюртукѣ, отъ помады что-ль не знаю, но иначе я никогда не видалъ „ци-ольниковъ", равно какъ воротникъ сюртукѣ всегда у нихъ точно въ вываленъ. Трое маленькихъ дѣ- —мальчикъ и двѣ дѣвочки ми- бѣжали къ прабабушкѣ. Обык- акія ужь слишкомъ старень- ки всегда какъ-то очень ѣтьми: сами-то ужь очень ъ дѣтей становятся душевно, иногда даже точь—въ—точь. Сѣла старушка; у хозяина не то гость, не то по дѣлу, одинъ тоже, лѣтъ сорока, знакомый его уже уходить собирался. Да племянникъ къ тому же гоститъ, сынъ сестры его, парень лѣтъ семнадцати, въ типографію хочетъ опредѣлиться. Старушка перекрестилась и садится, глядитъ на гостя:

— Охъ, устала! Это кто же такой у васъ?

— Это я-то? отвѣчаетъ гость, посмѣиваясь,—что-жь, Марья Максимовна, неужто насъ не признали? Третьяго то года по опенки въ лѣсъ все собирались вмѣстѣ съ вами сходить.

— Охъ ужь ты, знаю тебя, надсмѣшникъ. Помню тебя, вотъ только назвать какъ тебя не припомню, кто ты таковъ, а помню. Охъ, устала я чтой-то.

— Да чтожь вы, Марья Максимовна, старушка почтенная, не ростете ни мало, вотъ что я тебя спросить хотѣлъ, шутитъ гость.

— И, ну тебя, смѣется бабушка, видимо впрочемъ довольная.

— Я, Марья Максимовна, человѣкъ добрый.

— А съ добрымъ и поговорить любопытно. Охъ, все то я задыхаюсь, мать. Пальтецо-то Сереженькѣ видно ужь состроили?

Она указываетъ на племянника.

Племянникъ, бутузоватый и здоровый паренекъ, улыбается во весь ротъ и надвигается ближе; на немъ новенькое сѣрое пальтецо и онъ еще не можетъ равнодушно надѣвать его. Равнодушіе придетъ развѣ только еще черезъ недѣлю, а теперь онъ поминутно смотритъ себѣ на обшлага, на лацканы и, вообще, на всего себя въ зеркало и чувствуетъ къ себѣ особенное уваженіе.

— Да ты поди, повернись, стрекочетъ жена цирюльника. Смотри-ка, Максимовна, какое построили; вѣдь шесть рублей какъ одна копѣечка, дешевле, говорятъ намъ у Прохорыча, теперь и начинать не стоитъ, сами, говорятъ, потомъ слезьми заплачете, а ужь эдакому износу нѣтъ. Вишь матерія то! Да ты повернись! Подкладка-то какая, крѣпость-то, крѣпость-то, да ты повернись! Такъ-то вотъ и уходятъ денежки, Максимовна, умылась наша копѣечка.

— Ахъ, мать, ужь такъ теперь дорого стало на свѣтѣ, что и ни съ чѣмъ не совмѣстно, лучше бъ и не говорила ты мнѣ и не разстроивала меня, съ чувствомъ замѣчаетъ Максимовна, а все еще духъ не можетъ перевести.

— Ну да и довольно, замѣчаетъ хозяинъ, закусить бы надо. Что это, ты должно быть ужь очень, вижу я это, пристала, Марья Максимовна?

— Охъ, умникъ, устала, денекъ-то теплый, солнышко;—дай, думаю, ихъ провѣдаю... что лежать-то. Охъ! А дорогой барыньку встрѣтила, молодую, башмачки дѣткамъ купила: „Что это ты, старушка, говоритъ, устала? на ка тебѣ пятачекъ: купи себѣ булочку“... А я, знаешь, и взяла пятачокъ-то...

— Да ты, бабушка, все же отдохни маленечко сперва на перво, что это сегодня такъ задыхаешься? — какъ-то вдругъ особенно заботливо проговорилъ хозяинъ.

Всѣ на нее смотрятъ; ужь очень блѣдна она вдругъ стала, губы совсѣмъ побѣлѣли. Она тоже всѣхъ оглядываетъ, но какъ-то тускло.

— Вотъ, думаю... пряничковъ дѣткамъ... пятачокъ-то...

И опять остановилась, опять переводитъ духъ. Всѣ вдругъ примолкли, секундъ этакъ на пять.

— Что, бабушка? Наклонился къ ней хозяинъ.

Но бабушка не отвѣтила; опять молчаніе и опять секундъ на пять. Старушка еще какъ-бы бѣлѣе стала, а лицо какъ-бы вдругъ все осунулось. Глаза остановились, улыбка застыла на губахъ; смотритъ прямо, а какъ будто ужь и не видитъ.

— За попомъ бы!.. какъ-то вдругъ и торопливо проговорилъ сзади вполголоса гость.

— Да... не... поздно-ли... бормочетъ хозяинъ.

— Бабушка, а бабушка? окликаетъ старушку жена цирюльника, вдругъ вся всполохнувшись; но бабушка неподвижна, только голова клонится на бокъ; въ правой рукѣ, что на столѣ лежитъ, держитъ свой пятачокъ, а лѣвая такъ и осталась на плечѣ старшаго правнучка Миши, мальчика лѣтъ шести. Онъ стоитъ не шелохнется и большими удивленными глазами разглядываетъ прабабушку.

— Отошла! мѣрно и важно произноситъ восклонившись хозяинъ и слегка крестится.

— Вѣдь вотъ оно! То-то я вижу вся клонится, умиленно и отрывисто произноситъ гость; онъ ужасно пораженъ и на всѣхъ оглядывается.

— Ахъ, Господи! Вотъ вѣдь! Какъ же теперь быть-то, Макарычъ? Туда что-ль ее? щебечетъ хозяйка торопливо и вся растерявшись.

— Куда туды? степенно откликается хозяинъ,—сами здѣсь справимъ; родная ты ей аль нѣтъ? А пойтить дать знать надо.

— Сто четыре годика, а!—толчется на мѣстѣ гость, умиляясь все больше

и больше. Онъ даже весь покраснѣлъ какъ-то.

— Да, забывать стала жисть-то въ послѣдніе годы, еще важнѣе и степеннѣе замѣчаетъ хозяинъ, ища фуражку и снимая шинель.

— А вѣдь за минутку смѣялась, какъ веселилась! Ишь пятачокъ-то въ рукѣ! Пряничковъ, говоритъ, о-охъ, жисть-то наша!

— Ну пойдемъ, что-ли, Петръ Степанычъ, прерываетъ гостя хозяинъ и оба выходятъ. По такой, конечно, не плачутъ. Сто четыре года,—„отошла безъ болѣзни и непостыдно". Хозяйка послала къ сосѣдкамъ за подмогой. Тѣ прибѣжали мигомъ, почти съ удовольствіемъ выслушавъ вѣсть, охая и вскрикивая. Первымъ дѣломъ поставили, разумѣется, самоварчикъ. Дѣти съ удивленнымъ видомъ забились въ уголъ и издали смотрятъ на мертвую бабушку. Миша, сколько ни проживетъ, все запомнитъ старушку, какъ умерла, забывъ руку у него на плечѣ, ну а когда онъ умретъ, никто-то на всей землѣ не вспомнитъ и не узнаетъ, что жила-была когда-то такая старушка и прожила сто четыре года, для чего и какъ—неизвѣстно. Да и зачѣмъ помнить: вѣдь все равно. Такъ отходятъ милліоны людей: живутъ незамѣтно и умираютъ незамѣтно. Только развѣ въ самой минутѣ смерти этихъ столѣтнихъ стариковъ и старухъ заключается какъ бы нѣчто умилительное и тихое, какъ бы нѣчто даже важное и миротворное: сто лѣтъ какъ-то странно дѣйствуютъ до сихъ поръ на человѣка. Благослови Богъ жизнь и смерть простыхъ добрыхъ людей!

А впрочемъ, такъ легкая и безсюжетная картинка. Право, намѣтишь пересказать изъ слышаннаго за мѣсяцъ что-нибудь позанимательнѣе, а какъ приступишь, то какъ разъ или нельзя, или нейдетъ къ дѣлу, или „не все то говори, что знаешь", а въ концѣ концовъ остаются все только самыя безсюжетныя вещи...

III.

„Обособленіе".

А между тѣмъ я пишу „о видѣнномъ, слышанномъ и прочитанномъ". Хорошо еще, что не стѣснилъ себя обѣщаніемъ писать *обо всемъ* „видѣнномъ, слышанномъ и прочитанномъ". Да и слышишь-то все больше странности. Какъ передавать ихъ, когда все это само собою лѣзетъ врозь и ни за что не хочетъ сложиться въ одинъ пучокъ! Право, мнѣ все кажется, что у насъ наступила какая-то эпоха всеобщаго „обособленія". Всѣ обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякій откладываетъ все, что прежде было общаго въ мысляхъ и чувствахъ, и начинаетъ съ своихъ собственныхъ мыслей и чувствъ. Всякому хочется начать съ начала. Разрываютъ прежнія связи безъ сожалѣнія и каждый дѣйствуетъ самъ по себѣ и тѣмъ только и утѣшается. Если не дѣйствуетъ, то хотѣлъ бы дѣйствовать. Положимъ, ужасно многіе ничего не начинаютъ и никогда не начнутъ, но все же они оторвались, стоятъ въ сторонкѣ, глядятъ на оторванное мѣсто и, сложивъ руки, чего-то ждутъ. У насъ всѣ чего-то ждутъ. Между тѣмъ, ни въ чемъ почти нѣтъ нравственнаго соглашенія; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а ужь на единицы. И главное, иногда даже съ самымъ легкимъ и довольнымъ видомъ. Вотъ вамъ

нашъ современный литераторъ-художникъ, т. е., изъ новыхъ людей. Онъ вступаетъ на поприще и знать не хочетъ ничего предъидущаго; онъ отъ себя и самъ по себѣ. Онъ проповѣдуетъ новое, онъ прямо ставитъ идеалъ новаго слова и новаго человѣка. Онъ не знаетъ ни европейской литературы, ни своей; онъ ничего не читалъ, да и не станетъ читать. Онъ не только не читалъ Пушкина и Тургенева, но, право, врядъли читалъ и своихъ, т. е., Бѣлинскаго и Добролюбова. Онъ выводитъ новыхъ героевъ и новыхъ женщинъ, и вся новость ихъ заключается въ томъ, что они прямо дѣлаютъ свой десятый шагъ, забывъ о девяти первыхъ, а потому вдругъ очутываются въ фальшивѣйшемъ положеніи, въ какомъ только можно представить, и гибнутъ въ назиданіе и въ соблазнъ читателю. Эта фальшь положенія и составляетъ все назиданіе. Во всемъ этомъ весьма мало новаго, а, напротивъ, чрезвычайно много самаго истрепаннаго старья; но не въ томъ совсѣмъ дѣло, а въ томъ, что авторъ совершенно убѣжденъ, что сказалъ новое слово, что онъ самъ по себѣ и обособился и, разумѣется, этимъ очень доволенъ. Этотъ примѣрчикъ впрочемъ старый и маленькій, но слышалъ я и еще надняхъ разсказъ объ одномъ новомъ словѣ: Былъ нѣкто „нигилистомъ", отрицалъ, пострадалъ, и, послѣ долгихъ передрягъ и даже заточеній, обрѣлъ въ сердцѣ своемъ вдругъ религіозное чувство. Что-жь, вы думаете, онъ тотчасъ сдѣлалъ? Онъ мигомъ „уединился и обособился", нашу христіанскую вѣру тотчасъ же и тщательно обошелъ, все это прежнее устранилъ и немедленно выдумалъ свою вѣру, тоже христіанскую, но за то „свою собственную". У него жена и дѣти. Съ женой онъ не живетъ, а дѣти въ чужихъ рукахъ. Онъ надняхъ бѣжалъ въ Америку, очень можетъ быть, чтобъ проповѣдывать тамъ новую вѣру. Однимъ словомъ, каждый самъ по себѣ и каждый по своему, и неужто они только оригинальничаютъ, представляются? Вовсе нѣтъ. Нынче у насъ моментъ скорѣе правдивый, чѣмъ рефлекторный. Многіе, и можетъ быть очень многіе, дѣйствительно тоскуютъ и страдаютъ; они въ самомъ дѣлѣ и серьезнѣйшимъ образомъ порвали всѣ прежнія связи и *принуждены* начинать сначала, ибо свѣту имъ никто не даетъ. А мудрецы и руководители только имъ поддакиваютъ, иные страха ради іудейскаго (какъ де не пустить его въ Америку: въ Америку бѣжать все таки либерально), а иные такъ просто наживаются на ихъ счетъ. Такъ и гибнутъ свѣжія силы. Мнѣ скажутъ, что это всего два-три факта, которые ничего не означаютъ, что, напротивъ, все несомнѣнно тверже прежняго обобщается и соединяется, что являются банки, общества, ассоціаціи. Но неужели вы и вправду укажете мнѣ на эту толпу бросившихся на Россію восторжествовавшихъ жидовъ и жидишекъ? Восторжествовавшихъ и восторженныхъ, потому что появились теперь даже и восторженные жиды, іудейскаго и православнаго исповѣданія. И что-же, даже и объ нихъ теперь пишутъ въ нашихъ газетахъ, что они уединяются и что, напримѣръ, надъ съѣздами представителей нашихъ русскихъ поземельныхъ банковъ смѣется вдоволь заграничная пресса по поводу

..... „тайныхъ засѣданій первыхъ двухъ съѣздовъ, не безъ ироніи спрашивая: какимъ образомъ и по какому праву русскія поземельно-кредитныя учрежденія имѣютъ смѣ

лость претендовать на довѣріе публики, когда они своими тайными засѣданіями, происходящими за тщательно охраняющими ихъ китайскими стѣнами, скрываютъ все отъ публики, давая этимъ ей даже понять, что у нихъ дѣйствительно творится что-то недоброе"...

Вотъ, стало быть, даже и эти господа обособляются и затворяются, и замышляютъ что-то свое и посвоему, а не такъ, какъ во всемъ свѣтѣ это дѣлается. Впрочемъ, я о банкахъ вдвинулъ шутя: не мое пока дѣло, а я только объ обособленіи. Какъ бы мнѣ объяснить эту мысль получше? Кстати, приведу нѣсколько мыслей о нашихъ корпораціяхъ и ассосіаціяхъ изъ одной рукописи, не моей, а мнѣ присланной и нигдѣ не напечатанной. Авторъ обращается къ своимъ оппонентамъ въ провинціи:

Вы говорите, что артели, ассоціаціи, корпораціи, коопераціи, торговыя и другія всякія товарищества основаны на врожденномъ человѣку чувствѣ общительности? Выгораживая русскую артель, которая еще слишкомъ мало изслѣдована, чтобы говорить о ней что-либо положительное, мы думаемъ, что всѣ эти ассоціаціи, корпораціи и проч., все это лишь союзы однихъ противъ другихъ, союзы, основанные на чувствѣ самоохраненія, вызванные борьбою за существованіе; и это мнѣніе наше подтверждается исторіею возникновенія этихъ союзовъ, которые заключались сначала бѣдными и слабыми противъ богатыхъ и сильныхъ, а потомъ и эти послѣдніе стали пользоваться оружіемъ своихъ противниковъ. Да, исторія несомнѣнно свидѣтельствуетъ, что всѣ эти союзы возникли изъ братской вражды, основаны не на потребности общенія, какъ вы полагаете, а на чувствѣ страха за свое существованіе или же на желаніи получить барышъ, выгоду, пользу, хотя бы и насчетъ ближняго. Всматриваясь же въ устройство всѣхъ этихъ дѣтищъ утилитаризма мы видимъ, что главная ихъ забота, это—устройство надежнаго контроля каждаго за всѣми и всѣхъ за каждымъ,—попросту, поголовнаго шпіонства изъ боязни, какъ бы кто не надулъ кого. Всѣ эти ассоціаціи съ ихъ контролемъ внутри и завистливою ко всему постороннему внѣшнею дѣятельностію представляютъ поразительную паралель съ тѣмъ, что творится въ политическомъ мірѣ, гдѣ взаимныя отношенія народовъ характеризуются вооруженнымъ миромъ, прерываемымъ кровопролитными схватками, внутренняя же ихъ жизнь—безконечною борьбою партій. О какомъ же общеніи, о какой любви тутъ можетъ быть рѣчь! Не потому ли всѣ эти учрежденія такъ плохо и прививаются у насъ, что мы еще слишкомъ просторно живемъ, что намъ нѣтъ еще основанія слишкомъ вооружаться другъ противъ друга, что въ насъ слишкомъ еще много расположенія, вѣры другъ къ другу, и эти чувства мѣшаютъ намъ устроить такой контроль, такое шпіонство другъ за другомъ, какъ это необходимо при устройствѣ всѣхъ этихъ ассоціацій, коопераций, торговыхъ и другихъ товариществъ, при недостаточности же контроля они идти не могутъ, они непремѣнно лопаются.

Ужь не будемъ-ли мы сокрушаться о такихъ нашихъ недостаткахъ, сравнительно съ нашими болѣе образованными западными сосѣдями?! Нѣтъ, мы, по крайней мѣрѣ, въ этихъ нашихъ недостаткахъ, видимъ наше богатство, видимъ, что въ насъ еще дѣйствуетъ съ нѣкоторой силой то чувство единенія, безъ котораго человѣческія общества существовать не могутъ; хотя оно, дѣйствуя въ людяхъ безсознательно, приводитъ ихъ, какъ къ великимъ подвигамъ, такъ, весьма часто, и къ великимъ порокамъ. Но въ комъ это чувство еще не убито, для того все возможно, лишь бы оно, это чувство, изъ безсознательнаго, изъ инстинкта, обратилось въ силу сознанную, въ такую, которая не бросала бы насъ въ ту или другую сторону, по слѣпому капризу случая, а направлялась бы нами къ достиженію разумныхъ цѣлей; безъ этого же чувства единенія, взаимной любви, общенія людей между собою, немыслимо ничто великое, потому что немыслимо и само общество.

То есть, авторъ, видите-ли, можетъ быть и не совсѣмъ ужь такъ проклинаетъ ассоціаціи и корпораціи, а онъ только утверждаетъ, что ихъ *теперешній* главный принципъ состоитъ всего лишь только въ утилитаризмѣ да еще въ шпіонствѣ, и что это вовсе не есть

единеніе людей. Все это молодо, свѣжо, теоретично, непрактично, но въ принципѣ совершенно вѣрно и написано не только искренно, но съ страданіемъ и болѣніемъ. И замѣтьте всеобщую черту: все дѣло у насъ теперь въ первомъ шагѣ, въ практикѣ, а всѣ, всѣ до единаго, кричатъ и заботятся лишь о принципахъ, такъ что практика поневолѣ попалась въ руки однимъ іудеямъ. Исторія рукописи, изъ которой взялъ я вышеприведенную выдержку, слѣдующая. Почтенный авторъ ея (не знаю только молодой-ли человѣкъ или изъ молодыхъ стариковъ) напечаталъ одну небольшую замѣтку въ одномъ губернскомъ изданіи, а редакція губернскаго изданія, помѣстивъ его замѣтку, сдѣлала рядомъ и свою оговорку, отчасти съ нимъ несогласную. Затѣмъ, когда авторъ замѣтки написалъ въ опроверженіе этой, съ нимъ несогласной, оговорки уже цѣлую статью, (впрочемъ, не очень большую), то редакція губернскаго изданія отказалась помѣстить у себя эту статью подъ предлогомъ, что это „скорѣе проповѣдь, чѣмъ статья“? Тогда авторъ обратился ко мнѣ письмомъ, и, посылая мнѣ эту отказанную статью, просилъ меня, чтобъ я ее прочелъ, вникнулъ и сказалъ объ ней, въ „Дневникѣ“, мое мнѣніе. Вопервыхъ, я благодарю за довѣріе къ моему мнѣнію, а вовторыхъ—благодарю за статью, потому что она доставила мнѣ чрезвычайное удовольствіе: я рѣдко читалъ что-нибудь *логичнѣе*, и хоть я всю статью помѣстить не могу, но предъидущую выдержку сдѣлалъ съ намѣреніемъ, котораго и не потаю: дѣло въ томъ, что у автора ея, хлопочущаго объ истинномъ единеніи людей, я нашелъ чрезвычайно тоже „обособленный“ въ своемъ родѣ розмахъ, и именно въ тѣхъ частяхъ рукописи, которыя я не рискну приводить, до того обособленный, что даже рѣдко и встрѣчается; такъ что не статья одна, а и самъ уже авторъ ея какъ бы подтверждаетъ мою мысль объ „обособленіи“ единицъ и чрезвычайномъ, такъ сказать, химическомъ разложеніи нашего общества на составныя его начала, наступившемъ вдругъ въ наше время.

Прибавлю, однако, что если всѣ теперь „сами отъ себя и сами по себѣ“, то не безъ связи же, однако, и съ предъидущимъ. Напротивъ, связь эта должна существовать непремѣнно, хотя бы и все казалось разрозненнымъ и другъ друга не понимающимъ, и прослѣдить эту связь всего бы любопытнѣе. Однимъ словомъ, хоть и старо сравненіе, но наше русское интелигентное общество всего болѣе напоминаетъ собою тотъ древній пучокъ прутьевъ, который только и крѣпокъ, пока прутья связаны вмѣстѣ, но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучокъ разлетится на множество чрезвычайно слабыхъ былинокъ, которыя разнесетъ первый вѣтеръ. Такъ вотъ этотъ-то пукъ у насъ теперь и разсыпался. Что-жь, неужели не правда, что правительство наше, за все время двадцатилѣтнихъ реформъ своихъ, не нашло у насъ *всей* поддержки интелигентныхъ силъ нашихъ? Напротивъ, не ушла-ли огромная часть молодыхъ, свѣжихъ и драгоцѣнныхъ силъ въ какую-то странную сторону, въ обособленіе съ глумленіемъ и угрозой, и именно опять таки изъ за того, чтобъ, вмѣсто первыхъ девяти шаговъ, ступить прямо десятый, забывая при томъ, что десятый-то шагъ, безъ предшествовавшихъ девяти, ужь *во всякомъ случаѣ* обратится въ фантазію, даже если-бъ онъ и значилъ что нибудь самъ

по себѣ. Всего обиднѣе, что понимаетъ что нибудь въ этомъ десятомъ шагѣ, можетъ быть, всего только одинъ изъ тысячи отщепенцевъ, а остальные слышали, какъ въ колокола звонятъ. Въ результатѣ пусто: курица болтуна снесла. Видали-ль вы въ знойное лѣто лѣсной пожаръ? Какъ жалко смотрѣть и какая тоска! сколько напрасно гибнетъ цѣннаго матеріала, сколько силъ, огня и тепла уходитъ даромъ, безслѣдно и безполезно.

IV.

Мечты о Европѣ.

„А въ Европѣ, а вездѣ, развѣ не то же, развѣ не обратились въ грустный миражъ всѣ соединяющія тамошнія силы, на которыя и мы такъ надѣялись; развѣ не хуже еще нашего тамошнее разложеніе и обособленіе“? Вотъ вопросъ, который не можетъ миновать русскаго человѣка. Да и какой истинный рускій не думаетъ прежде всего о Европѣ?

Да, на видъ тамъ, пожалуй, еще хуже нашего; развѣ только историческая причинность обособленій виднѣе; но тѣмъ, пожалуй, тамъ и безотраднѣе. Именно въ томъ, что у насъ труднѣе всего добраться до какой-нибудь толковой причины и выслѣдить всѣ концы нашихъ порванныхъ нитей,—именно въ этомъ и заключается для насъ какъ-бы нѣкоторое утѣшеніе: разберутъ подъ конецъ, что растрата силъ незрѣлая и ни съ чѣмъ несообразная, на половину искуственная и вызванная и, въ концѣ концовъ, можетъ быть и захотятъ согласиться. Такъ что, все же есть надежда, что пучокъ опять соберется. Тамъ же, въ Европѣ, уже никакой пучокъ не свяжется болѣе; тамъ все обособилось не по нашему, а зрѣло, ясно и отчетливо, тамъ группы и единицы доживаютъ послѣдніе сроки и сами знаютъ про то; уступить же другъ другу не хотятъ ничего и скорѣе умрутъ, чѣмъ уступятъ.

Кстати, у насъ всѣ теперь говорятъ о мирѣ. Всѣ предрекаютъ миръ долгій, всюду видятъ горизонтъ ясный, союзы и новыя силы. Даже въ томъ, что установилась въ Парижѣ республика видятъ миръ; даже въ томъ, что республику эту устанавливалъ Бисмаркъ,—и въ томъ видятъ миръ. Въ согласіи великихъ восточныхъ державъ безспорно видятъ великіе залоги мира, а иныя изъ газетъ нашихъ, такъ даже и въ герцеговинской теперешней смутѣ, вдругъ, вмѣсто недавнихъ своихъ же тревогъ, стали замѣчать несомнѣнные признаки прочности европейскаго мира, (ужь не потому ли, кстати, что ключъ и къ герцеговинскому вопросу очутился тоже въ Берлинѣ и тоже въ шкатулкѣ у князя Бисмарка?). Но больше всего у насъ рады французской республикѣ. Кстати, почему Франція все еще продолжаетъ стоять на первомъ планѣ въ Европѣ, несмотря на побѣдившій ее Берлинъ? Самое малѣйшее событіе во Франціи возбуждаетъ въ Европѣ до сихъ поръ болѣе симпатіи и вниманія, чѣмъ иногда даже крупное берлинское. Безспорно потому, что страна эта—есть страна всегдашняго перваго шага, первой пробы и перваго почина идей. Вотъ почему всѣ оттуда ждутъ несомнѣнно и „начала конца“: кто же прежде всѣхъ шагнетъ этотъ роковый и конечный шагъ, какъ не Франція?

Вотъ почему, можетъ быть, тамъ, въ этой „передовой“ странѣ и опредѣлилось всего болѣе самыхъ непри-

миримыхъ „обособленій“. Миръ тамъ совсѣмъ невозможенъ, до самаго „конца“. Привѣтствуя республику, всѣ въ Европѣ утверждали, что она уже тѣмъ однимъ необходима для Франціи и для Европы, что только при ней не возможна будетъ „война возмездія“ съ Германіей, и что только одна республика, изъ всѣхъ еще недавно претендовавшихъ на Францію правительствъ, не рискнетъ и не захочетъ предпринять его. А между тѣмъ, это все миражъ—и республика провозглашена именно для войны, если не съ Германіей, то съ еще болѣе опаснымъ соперникомъ,—соперникомъ и врагомъ всей Европы,—комунизмомъ, и этотъ соперникъ теперь, при республикѣ, возстанетъ гораздо раньше, чѣмъ было бы при всякомъ другомъ правительствѣ! Всякое другое правительство вошло бы съ нимъ въ соглашеніе и тѣмъ отдалило бы развязку, а республика ничего не уступитъ ему и даже сама вызоветъ и принудитъ его на бой первая. И такъ, пусть не утверждаютъ, что „республика—это миръ“. Въ самомъ дѣлѣ, кто провозгласилъ въ этотъ разъ республику? Все буржуа и мелкіе собственники. Давно-ль они сдѣлались такими республиканцами и не они-ль доселѣ болѣе всего боялись республики, видя въ ней лишь одну неурядицу и одинъ шагъ къ страшному для нихъ комунизму? Конвентъ, въ первую революцію, раздробилъ во Франціи крупную собственность эмигрантовъ и церкви на мелкіе участки и сталъ продавать ихъ, въ виду безпрерывнаго тогдашняго финансоваго кризиса. Эта мѣра обогатила огромную часть французовъ и дала ей возможность уплатить, черезъ восемьдесятъ лѣтъ, пять милліардовъ контрибуціи, почти не поморщившись. Но, способствовавъ временному благосостоянію, мѣра эта на страшно долгое время парализовала стремленія демократическія, безмѣрно умноживъ армію собственниковъ и предавъ Францію безграничному владычеству буржуазіи, — перваго врага демоса. Безъ этой мѣры не удержалась бы ни за что буржуазія столь долго во главѣ Франціи, замѣстивъ собою прежнихъ повелителей Франціи—дворянъ. Но вслѣдствіе того ожесточился и демосъ уже непримиримо; сама же буржуазія извратила естественный ходъ стремленій демократическихъ и обратила ихъ въ жажду мести и ненависти. Обособленіе партій дошло до такой степени, что весь организмъ страны разрушился окончательно, даже до устраненія всякой возможности возстановить его. Если еще держится до сихъ поръ Франція какъ бы въ цѣломъ видѣ, то единственно по тому закону природы, по которому даже и горсть снѣга не можетъ растаять раньше опредѣленнаго на то срока. Вотъ этотъ-то призракъ цѣлости несчастные буржуа, а съ ними и множество простодушныхъ людей въ Европѣ, продолжаютъ еще принимать за живую силу организма, обманывая себя надеждой и въ то же время трепеща отъ страха и ненависти. Но въ сущности единеніе исчезло окончательно. Олигархи имѣютъ въ виду лишь пользу богатыхъ, демократія лишь пользу бѣдныхъ, а объ общественной пользѣ, пользѣ всѣхъ и о будущемъ всей Франціи тамъ ужь никто теперь не заботится, кромѣ мечтателей соціалистовъ и мечтателей позитивистовъ, выставляющихъ впередъ науку и ждущихъ отъ нея всего, т. е. новаго единенія людей и новыхъ началъ общественнаго организма, уже математически твердыхъ и незыблемыхъ. Но наука, на

которую столь надѣются, врядъ-ли въ состояніи взяться за это дѣло сейчасъ. Трудно представить, чтобъ она уже настолько знала природу человѣческую, чтобъ безошибочно установить новые законы общественнаго организма; а такъ какъ это дѣло не можетъ колебаться и ждать, то представляется самъ собою вопросъ: готова-ли наука къ такой задачѣ *сейчасъ*, если-бъ даже эта задача и не превышала силъ ея въ дальнѣйшемъ будущемъ ея развитіи? (О томъ, что задача эта несомнѣнно превышаетъ силы науки человѣческой, даже и во всемъ будущемъ ея развитіи,—мы пока утверждать уклонимся). Такъ какъ наука сама навѣрно отвѣчать на такой призывъ откажется, то отсюда ясно, что всѣмъ движеніемъ демоса управляютъ во Франціи (да и вездѣ во всемъ мірѣ) пока лишь мечтатели, а мечтателями—всевозможные спекулянты. Да и въ самой наукѣ развѣ нѣтъ мечтателей? Правда, мечтатели овладѣли движеніемъ даже по праву, ибо они одни во всей Франціи заботятся объ единеніи всѣхъ и о будущемъ, а стало быть къ нимъ какъ бы нравственно и переходитъ преемство во Франціи, несмотря на всю ихъ видимую слабость и фантастичность и это всѣ чувствуютъ. Но ужаснѣе всего то, что тутъ, помимо всего фантастичнаго, явилось рядомъ и стремленіе самое жестокое и безчеловѣчное и уже не фантастическое, а реальное и исторически неминуемое. Все оно выражается въ поговоркѣ: „Ote toi de là, que je m'y mette“. (Прочь съ мѣста, я стану вмѣсто тебя!). У милліоновъ демоса (кромѣ слишкомъ немногихъ исключеній) на первомъ мѣстѣ, во главѣ всѣхъ желаній, стоитъ грабежъ собственниковъ. Но нельзя винить нищихъ: Олигархи сами держали ихъ въ этой тьмѣ и до такой степени, что, кромѣ самыхъ ничтожныхъ исключеній, всѣ эти милліоны несчастныхъ и слѣпыхъ людей, безъ сомнѣнія, въ самомъ дѣлѣ и наивнѣйшимъ образомъ думаютъ, что именно черезъ этотъ-то грабежъ они и разбогатѣютъ, и что въ томъ-то и состоитъ вся соціальная идея, объ которой имъ толкуютъ ихъ вожаки. Да и гдѣ имъ понять ихъ предводителей мечтателей или какія-либо тамъ пророчества о наукѣ? Тѣмъ не менѣе они побѣдятъ несомнѣнно и если богатые не уступятъ вовремя, то выйдутъ страшныя дѣла. Но никто не уступитъ вовремя, — можетъ быть и отъ того, впрочемъ, что уже прошло время уступокъ. Да нищіе и не захотятъ ихъ сами, не пойдутъ ни на какое теперь соглашеніе, даже если-бъ имъ все отдавали: они все будутъ думать, что ихъ обманываютъ и обсчитываютъ. Они хотятъ расправиться сами.

Бонапарты тѣмъ и держались, что обѣщали возможность соглашенія съ ними и дѣлали даже микроскопическія къ тому попытки, всегда однако коварныя и неискреннія. Но олигархи въ нихъ разувѣрились, да и демосъ имъ не вѣритъ ни капли. Что же до правительства королей (старшей линіи), то тѣ могутъ выставить пролетаріямъ, какъ спасеніе, въ сущности лишь одну римско-католическую вѣру, которую не только демосъ, но и огромное большинство Франціи давно уже не знаетъ, да и знать не хочетъ. Говорятъ даже, что между пролетаріями съ чрезвычайною силою развивается въ послѣднее время спиритизмъ, по крайней мѣрѣ въ Парижѣ. Младшая же линія королей (орлеанская) стала ненавистна даже самой буржуазіи, хотя нѣкоторое время эту фамилію и счи-

тали какъ бы естественною предводительницею французскихъ собственниковъ. Но неспособность ихъ стала для всѣхъ очевидною. Тѣмъ не менѣе, собственникамъ надо было спасать себя, имъ надо было непремѣнно и какъ можно скорѣе пріискать себѣ предводителя для великой и послѣдней битвы съ страшнымъ грядущимъ врагомъ. Сознаніе и инстинктъ шепнули имъ на этотъ разъ вѣрный секретъ и они выбрали республику.

Есть такой политическій, а пожалуй и естественный, законъ природы, который состоитъ въ томъ, что два сильные и ближайшіе другъ къ другу сосѣда, какъ бы ни были дружны, всегда кончатъ желаніемъ истребить одинъ другаго и, рано ли, поздно-ли, приведутъ это желаніе въ дѣйствіе. (Объ этомъ правилѣ сильнаго сосѣдства можно бы было и намъ русскимъ поболѣе подумать). „Отъ красной республики прямой переходъ къ комунизму", — вотъ эта-то мысль и устрашала до сихъ поръ французовъ-собственниковъ и столько времени должно было пройти, пока они вдругъ, въ огромномъ большинствѣ, теперь догадались, что ближайшіе-то сосѣди и будутъ самыми ожесточенными врагами, уже изъ одного только принципа самосохраненія. Въ самомъ дѣлѣ, несмотря на столь близкое сосѣдство красной республики съ комунизмомъ, — что, на дѣлѣ, можетъ быть враждебнѣе и радикально-противуположнѣе комунизму, какъ не республика, даже хотя-бы кровавая республика 93 года? Въ республикѣ прежде всего республиканская форма и „la republique avant tout, avant la France". Въ республикѣ вся надежда лишь на форму: пусть будетъ „Макъ-Магонія" вмѣсто Франціи, но пусть только она называется республикой,— вотъ характеристика теперешней „побѣды" республиканцевъ во Франціи. Итакъ, въ формѣ ищутъ спасенія. Съ другой стороны, какое дѣло комунизму до республиканской формы, когда онъ въ основѣ своей отрицаетъ не только всякую форму правленія, но и само государство, но и все современное общество? Эту прямую противоположность, этотъ взаимный антитезъ двухъ силъ нужно было восемьдесятъ лѣтъ сознавать массѣ французовъ, но наконецъ-то она сознала его и—утвердила республику: врагу выставила наконецъ самаго опаснѣйшаго и самаго естественнаго ему соперника. Не захочетъ ни за что республика, перейдя въ комунизмъ, уничтожиться. Въ сущности республика есть самое естественное выраженіе и форма буржуазной идеи, да и вся буржуазія—то французская есть дитя республики, создалась и организовалась лишь республикой, въ первую революцію. Такимъ образомъ, обособленіе совершилось окончательно. Скажутъ, что война еще далеко. Врядъ-ли такъ далеко. Можетъ быть даже и лучше не желать отдаленія развязки. Ужь и теперь соціализмъ проѣлъ Европу, а къ тому времени уже подточитъ все окончательно. Князь Бисмаркъ про это знаетъ, но слишкомъ по нѣмецки надѣется на кровь и желѣзо. Но что тутъ сдѣлаешь кровью и желѣзомъ?

V.

Сила мертвая и силы грядущія.

Скажутъ: но все-таки теперь, сейчасъ, нѣтъ ни малѣйшей причины тревожиться, все ясно, все свѣтло: во Франціи „Макъ-Магонія", на Востокѣ великое соглашеніе державъ, военные бюджеты увеличиваются непомѣрно и повсемѣстно,—какъ же не миръ?

А Папа? Вѣдь онъ сегодня-завтра умретъ и—что тогда будетъ? Неужели римское католичество согласится умереть съ нимъ вмѣстѣ для компаніи? О, никогда оно такъ не жаждало жить какъ теперь! Впрочемъ, наши пророки развѣ могутъ не смѣяться надъ Папой? Вопросъ о Папѣ у насъ даже и не ставится вовсе, и обращенъ ни во что. А между тѣмъ это „обособленіе“ слишкомъ огромное и слишкомъ полное самыхъ необъятныхъ и невмѣстимыхъ желаній, чтобъ согласиться отказаться отъ нихъ ради мира всего міра. Да и для чего, въ угоду чему отказаться? Ради человѣчества, что-ли? Оно давно уже считаетъ себя выше всего человѣчества. До сихъ поръ оно блудодѣйствовало лишь съ сильными земли и надѣялось на нихъ до послѣдняго срока. Но срокъ этотъ пришелъ теперь, кажется, окончательно и римское католичество несомнѣнно броситъ властителей земныхъ, которые впрочемъ сами ему измѣнили и давно уже въ Европѣ затѣяли на него всеобщую травлю, а теперь, въ наши дни, уже окончательно организовавшуюся. Чтожь, римское католичество и не такіе повороты продѣлывало: разъ, когда надо было, оно за недумавшись, продало Христа за земное владѣніе. Провозгласивъ, какъ догматъ, „что христіанство на землѣ удержаться не можетъ безъ земнаго владѣнія Папы“. оно тѣмъ самымъ провозгласило Христа новаго, на прежняго не похожаго, прельстившагося на третье дьяволово искушеніе, на царства земныя: „Все сіе отдамъ тебѣ, поклонися мнѣ“! О, я слышалъ горячія возраженія на эту мысль; мнѣ возражали, что вѣра и образъ Христовъ и понынѣ продолжаютъ еще жить въ сердцахъ множества католиковъ во всей прежней истинѣ и во всей чистотѣ. Это несомнѣнно такъ, но главный источникъ замутился и отравленъ безвозвратно. Къ тому же Римъ слишкомъ еще недавно провозгласилъ свое согласіе на третье дьяволово искушеніе въ видѣ твердаго догмата, а потому всѣхъ прямыхъ послѣдствій этого огромнаго рѣшенія намъ еще замѣтить нельзя было. Замѣчательно, что провозглашеніе этого догмата, это открытіе „всего секрета“, произошло именно въ то самое мгновеніе, когда объединенная Италія стучалась уже въ ворота Рима. У насъ многіе тогда надъ этимъ смѣялись: „сердитъ да не силенъ“... Только на врядъ ли не силенъ. Нѣтъ, такіе люди, способные на такія рѣшенія и повороты, не могутъ умереть безъ боя. Возразятъ, что это и всегда такъ было въ католичествѣ, по крайней мѣрѣ подразумѣвалось, и что стало быть вовсе не было никакого переворота. Да, но всегда былъ секретъ: Папа много вѣковъ дѣлалъ видъ, что доволенъ крошечнымъ владѣньицемъ своимъ, Папскою Областью, но все это лишь единственно для аллегоріи; главное же въ томъ, что въ этой аллегоріи неизмѣнно таилось зерно главной мысли, съ несомнѣнной и всегдашней надеждой Папства, что зерно это разовьется въ будущемъ въ пышное древо и осѣнитъ имъ всю землю. И вотъ, въ самое послѣднее мгновеніе, когда отнимали отъ него послѣднюю десятину его земнаго владѣнія, владыка католичества, видя смерть свою, вдругъ возстаетъ и изрекаетъ всю правду о себѣ всему міру: „Это вы думали, что я только титуломъ государя папской области удовольствуюсь? Знайте же, что я всегда считалъ себя владыкой всего міра и всѣхъ царей земныхъ, и не духовнымъ только, а земнымъ, настоящимъ ихъ господиномъ, властителемъ

и императоромъ. Это я—царь надъ царями и господинъ надъ господствующими, и мнѣ одному принадлежатъ на землѣ судьбы, времена и сроки; и вотъ я всемірно объявляю это теперь въ догматѣ моей непогрѣшимости". Нѣтъ, тутъ сила; это величаво, а не смѣшно; это — воскрешеніе древней римской идеи всемірнаго владычества и единенія, которая никогда и не умирала въ римскомъ католичествѣ; это Римъ Юліана-Отступника, но не побѣжденнаго, а какъ бы побѣдившаго Христа въ новой и послѣдней битвѣ. Такимъ образомъ продажа истиннаго Христа за царства земныя совершилась.

И въ Римскомъ католичествѣ она совершится и закончится и на дѣлѣ. Повторяю, у этой страшной арміи слишкомъ вострые глаза, чтобы не разглядѣть, наконецъ, гдѣ теперь настоящая сила, на которую-бы ей опереться. Потерявъ союзниковъ царей, католичество несомнѣнно бросится къ демосу. У него десятки тысячъ соблазнителей, премудрыхъ, ловкихъ, сердцевѣдовъ и психологовъ, діалектиковъ и исповѣдниковъ, а народъ всегда и вездѣ былъ прямодушенъ и добръ. Къ тому же во Франціи, а теперь такъ даже и во многихъ мѣстахъ Европы, народъ хоть и ненавидитъ вѣру, и презираетъ ее, но все же Евангелія не знаетъ совсѣмъ, по крайней мѣрѣ во Франціи. Всѣ эти сердцевѣды и психологи бросятся въ народъ и понесутъ ему Христа новаго, уже на все согласившагося, Христа объявленнаго на послѣднемъ римскомъ нечестивомъ соборѣ. „Да, друзья и братья наши, скажутъ они, все объ чемъ вы хлопочете,—все это есть у насъ для васъ въ этой книгѣ давно уже, и ваши предводители все это украли у насъ. Если же до сихъ поръ мы говорили вамъ немного не такъ, то это потому лишь, что до сихъ поръ вы были еще какъ малыя дѣти и вамъ рано было узнавать истину, но теперь пришло время и вашей правды. Знайте-же, что у Папы есть ключи Святаго Петра и что вѣра въ Бога есть лишь вѣра въ Папу, который на землѣ самимъ Богомъ поставленъ вамъ вмѣсто Бога. Онъ непогрѣшимъ и дана ему власть божеская и онъ владыка временъ и сроковъ; онъ рѣшилъ теперь, что насталъ и вашъ срокъ. Прежде главная сила вѣры состояла въ смиреніи, но теперь пришелъ срокъ смиренію, и Папа имѣетъ власть отмѣнить его, ибо ему дана всякая власть. Да, вы всѣ братья и самъ Христосъ повелѣлъ быть всѣмъ братьями; если же старшіе братья ваши не хотятъ васъ принять къ себѣ какъ братьевъ, то возьмите палки и сами войдите въ ихъ домъ и заставьте ихъ быть вашими братьями силой. Христосъ долго ждалъ, что развратные старшіе братья ваши покаются, а теперь онъ самъ разрѣшаетъ вамъ провозгласить: „Fraternité ou la mort", (Будь мнѣ братомъ или голову долой)! Если братъ твой не хочетъ раздѣлить съ тобой пополамъ свое имѣніе, то возьми у него все, ибо Христосъ долго ждалъ его покаянія, а теперь пришелъ срокъ гнѣва и мщенія. Знайте тоже, что вы безвинны во всѣхъ бывшихъ и будущихъ грѣхахъ вашихъ, ибо всѣ грѣхи ваши происходили лишь отъ вашей бѣдности. И если вамъ уже возвѣщали про это, еще прежде, ваши бывшіе предводители и учители, то знайте, что хоть они и правду вамъ говорили, но власти не имѣли вамъ возвѣщать ее раньше срока, ибо власть эту имѣетъ одинъ только Папа отъ самого Бога, а доказа-

тельство въ томъ, что эти учители ваши ни до чего васъ путнаго не довели, кромѣ казней и пущихъ бѣдствій, и что всякое начинаніе ихъ погибало само собой; да къ тому же они всѣ мошенничали, чтобъ, опираясь на васъ, показаться сильными и потомъ продать себя подороже врагамъ вашимъ. А Папа васъ не продастъ, потому что надъ нимъ нѣтъ сильнѣйшаго, и самъ онъ первый изъ первыхъ, только вѣруйте, да и не въ Бога, а только въ Папу и въ то, что лишь онъ одинъ есть царь земной, а прочіе должны исчезнуть, ибо и имъ срокъ пришелъ. Радуйтесь-же теперь и веселитесь, ибо теперь наступилъ рай земной, всѣ вы станете богаты, а черезъ богатство и праведны, потому что всѣ ваши желанія будутъ исполнены и у васъ будетъ отнята всякая причина ко злу". Слова эти льстивыя, но безъ сомнѣнія демосъ приметъ предложеніе: онъ разглядитъ въ неожиданномъ союзникѣ объединяющую великую силу, на все соглашающуюся и ни чему не мѣшающую, силу дѣйствительную и историческую, вмѣсто предводителей мечтателей и спекулянтовъ, въ практическія способности которыхъ, а иногда и въ честность, онъ и теперь сплошь да рядомъ не вѣруетъ. Тутъ же вдругъ и точка приложенія силы готова и рычагъ даютъ въ руки, стоитъ лишь налечь всей массой и повернуть. А народъ-ли не повернетъ, онъ-ли не масса? А въ довершеніе ему даютъ опять вѣру и успокоиваютъ тѣмъ сердца слишкомъ многихъ, ибо слишкомъ многіе изъ нихъ давно уже чувствовали тоску безъ Бога...

Я уже разъ говорилъ обо всемъ этомъ, но говорилъ мелькомъ въ романѣ. Пусть мнѣ простятъ мою самонадѣянность, но я увѣренъ, что все это несомнѣнно осуществится въ западной Европѣ, въ той или другой формѣ, т. е., католичество бросится въ демократію, въ народъ и оставитъ царей земныхъ за то, что тѣ сами его оставили. Всѣ власти въ Европѣ тоже его презираютъ, потому что оно на видъ теперь слишкомъ бѣдно и слишкомъ побѣждено, но все же не представляютъ его себѣ въ такомъ комическомъ видѣ и положеніи, въ какомъ, столь простодушно, представляется оно нашимъ политическимъ публицистамъ. А однако, не сталъ бы, напримѣръ, Бисмаркъ такъ преслѣдовать его, если-бъ не почувствовалъ въ немъ страшнаго, ближайшаго и скораго врага въ будущемъ. Князь Бисмаркъ человѣкъ слишкомъ гордый, чтобъ напрасно тратить столько силы съ комически безсильнымъ врагомъ. Но папа сильнѣе его. Повторяю: теперь папство есть, можетъ быть, самое страшное „обособленіе" изъ всѣхъ грозящихъ миру всего міра. А грозитъ миру многое. И никогда еще Европа не была начинена такими элементами вражды, какъ въ наше время. Точно все подкопано и начинено порохомъ и ждетъ только первой искры...

„Да намъ-то что? Это все тамъ въ Европѣ, а не у насъ?" А намъ то, что къ намъ же вѣдь и застучится Европа и закричитъ, чтобъ мы шли спасать ее, когда пробьетъ послѣдній часъ ея „теперешнему порядку вещей". И она потребуетъ нашей помощи какъ бы по праву, потребуетъ съ вызовомъ и приказаніемъ; она скажетъ намъ, что и мы Европа, что и у насъ стало быть такой же точно „порядокъ вещей", какъ и у нихъ, что не даромъ же мы подражали имъ двѣсти лѣтъ и хвастались, что мы европейцы,

и что, спасая ее, мы, стало быть, спасемъ и себя. Конечно, мы можетъ быть и не расположены-бы были рѣшить дѣло единственно въ пользу одной стороны, но подъ силу-ли намъ будетъ такая задача и не отвыкли-ль мы давно отъ всякой мысли о томъ, въ чемъ заключается наше настоящее „обособленіе", какъ націи, и въ чемъ настоящая наша роль въ Европѣ? Мы не только не понимаемъ теперь подобныхъ вещей, но и вопросовъ такихъ не допускаемъ, и слушать объ нихъ считаемъ за глупость и за отсталость нашу. И если дѣйствительно Европа постучится къ намъ за тѣмъ, чтобъ мы вставали и шли спасать ея l'Ordre, то можетъ быть тогда-то лишь въ первый разъ мы и поймемъ, всѣ вдругъ разомъ, до какой степени мы все время не похожи были на Европу, не смотря на все двухсотлѣтнее желаніе и мечты наши стать Европой, доходившія у насъ до такихъ страстныхъ порывовъ. А пожалуй не поймемъ и тогда, ибо будетъ поздно. А если такъ, то ужь, конечно, не поймемъ и того, чего Европѣ отъ насъ надо, чего она у насъ проситъ и чѣмъ дѣйствительно мы могли бы помочь ей? И не пойдемъ-ли мы напротивъ усмирять врага Европы и ея порядка тѣмъ же самымъ желѣзомъ и кровью, какъ и князь Бисмаркъ? О, тогда, въ случаѣ такого подвига, мы уже смѣло могли бы поздравить себя *вполнѣ европейцами*.

Но все это впереди, все это такія фантазіи, а теперь все такъ ясно, ясно!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Донъ-Карлосъ и серъ Уаткинъ. Опять признаки „начала конца".

Я съ большимъ любопытствомъ прочелъ о въѣздѣ Донъ-Карлоса въ Англію. Всегда говорятъ, что дѣйствительность скучна, однообразна; чтобы развлечь себя прибѣгаютъ къ искусству, къ фантазіи, читаютъ романы. Для меня, напротивъ: что можетъ быть фантастичнѣе и неожиданнѣе дѣйствительности? Что может быть даже невѣроятнѣе иногда дѣйствительности? Никогда романисту не представить такихъ невозможностей, какъ тѣ, которыя дѣйствительность представляетъ намъ каждый день тысячами, въ видѣ самыхъ обыкновенныхъ вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазіи. И какое преимущество надъ романомъ! Попробуйте, *сочините* въ романѣ эпизодъ, хоть съ присяжнымъ повѣреннымъ Куперникомъ, выдумайте его сами и критикъ въ слѣдующее же воскресенье, въ фельетонѣ, докажетъ вамъ ясно и непобѣдимо, что вы бредите и что въ дѣйствительности этого никогда не бываетъ и, главное, никогда и не можетъ случиться, по тому-то и по тому-то. Кончится тѣмъ, что вы сами со стыдомъ согласитесь. Но вотъ вамъ приносятъ „Голосъ" и вдругъ въ немъ вы читаете весь эпизодъ объ нашемъ стрѣлкѣ и—и что-

же: сначала вы читаете съ удивленіемъ, съ ужаснымъ удивленіемъ, даже такъ, что пока читаете, вы ничему не вѣрите; но чуть вы прочитали до послѣдней точки, вы откладываете газету и вдругъ, сами не зная почему, разомъ говорите себѣ: „да, все это непремѣнно такъ и должно было случиться". А иной такъ даже прибавитъ: „я это предчувствовалъ". Почему такая разница въ впечатлѣніяхъ отъ романа и отъ газеты — не знаю, но такова ужь привилегія дѣйствительности.

Донъ-Карлосъ, спокойно и торжественно въѣзжающій гостемъ въ Англію, послѣ крови и рѣзни „во имя Короля, Вѣры и Богородицы"—вотъ еще фигура, вотъ еще обособленіе! Ну можно-ли выдумать что-нибудь подобное самому? Кстати, помните-ли вы эпизодъ, два года назадъ, съ графомъ Шамборомъ (Генрихъ V)? Это — тоже король, легитимистъ и тоже отыскивалъ свой престолъ во Франціи, въ одно и то же время, какъ Донъ-Карлосъ въ Испаніи. Они даже могутъ считаться другъ другу родственниками, одной фамиліи и одного корня, но какая разница! Одинъ — твердо замкнувшійся въ своихъ убѣжденіяхъ, фигура меланхолическая, изящная, человѣчная. Графъ Шамборъ, въ самый роковой моментъ, когда дѣйствительно могъ стать королемъ (конечно на мгновеніе), — не прельстился ничѣмъ, не отдалъ своего „бѣлаго знамени" и тѣмъ доказалъ, что онъ великодушный и истинный рыцарь, почти Донъ-Кихотъ, древній рыцарь съ обѣтомъ цѣломудрія и нищеты, достойная фигура, чтобъ величаво заключить собою свой древній родъ королей. (Величаво и только развѣ капельку смѣшно, но безъ смѣшного и не бываетъ жизни). Онъ отвергъ власть и тронъ единственно потому, что хотѣлъ стать королемъ Франціи не для себя только, а для ея же спасенія, а такъ какъ по его взгляду, спасеніе не согласовалось съ уступками, которыя отъ него требовались (уступками очень возможными), то онъ и не захотѣлъ царствовать. Какая разница съ недавнимъ Наполеономъ, пройдохой и пролетаріемъ, обѣщавшимъ все, отдававшимъ все и надувшимъ всѣхъ, только чтобъ достигнуть власти. Я сейчасъ приравнялъ графа Шамбора къ Донъ-Кихоту, но я выше похвалы не знаю. Кто это, Гейне что-ли, разсказывалъ, какъ онъ, ребенкомъ, плакалъ, обливаясь слезами, когда, читая Донъ-Кихота, дошелъ до того мѣста, какъ побѣдилъ его презрѣнный и здравомыслящій цирюльникъ Самсонъ Караско. Во всемъ мірѣ нѣтъ глубже и сильнѣе этого *сочиненія*. Это пока послѣднее и величайшее слово человѣческой мысли, это самая горькая иронія, которую только могъ выразить человѣкъ, и если бъ кончилась земля, и спросили тамъ, гдѣ-нибудь, людей: „Что вы, поняли ли вашу жизнь на землѣ и что объ ней заключили?"—то человѣкъ могъ бы молча подать Донъ-Кихота: „Вотъ мое заключеніе о жизни и—можете-ли вы за него осудить меня?" Я не утверждаю, что человѣкъ былъ бы правъ, сказавъ это, но...

Донъ Карлосъ, родственникъ графа Шамбора, тоже рыцарь, но въ этомъ рыцарѣ виденъ Великій Инквизиторъ. Онъ пролилъ рѣки крови ad majorem gloriam Dei, и во имя Богородицы, кроткой молельщицы за людей, „скорой заступницы и помощницы", какъ именуетъ ее народъ нашъ. Ему тоже, какъ и графу Шамбору, дѣлали предложенія, — и онъ тоже отвергъ ихъ.

Это, кажется, случилось вскорѣ послѣ Бильбао и сейчасъ послѣ его большой побѣды, когда въ сраженіи погибъ главнокомандующій мадритской арміи. Тогда къ нему засылали узнать изъ Мадрита: „Что бы онъ сказалъ, если-бъ его впустили въ Мадритъ, и не дастъ-ли онъ хоть какой нибудь програмки для возможнаго начатія переговоровъ“? Но онъ надменно отклонилъ всякую мысль о переговорахъ, и, конечно, не изъ одной надменности, а тоже изъ глубоко-засѣвшаго въ душѣ принципа: не могъ онъ признать въ засылавшихъ воюющей стороны, и не могъ онъ, „Король“, входить въ какія бы то ни было соглашенія съ „революціей!“ Сжато, полусловомъ, но ясно, онъ далъ знать, что „король самъ знаетъ, что надо ему сдѣлать, когда достигнетъ своей столицы“, и больше ничего не прибавилъ. Отъ него разумѣется, тотчасъ же отвернулись и въ скорости позвали короля Альфонса. Благопріятная минута была потеряна, но онъ продолжалъ воевать; онъ писалъ манифесты высокимъ и величавымъ слогомъ, и самъ, первый, въ нихъ вѣрилъ вполнѣ; онъ надменно и величаво разстрѣливалъ своихъ генераловъ „за измѣну“ и усмирялъ бунты своихъ измучившихся солдатъ и, надо ему отдать справедливость какъ воину, —воевалъ до самаго послѣдняго вершка земли. Теперь онъ, уѣзжая изъ Франціи въ Англію, объявилъ въ мрачномъ и гордомъ письмѣ къ французскимъ друзьямъ своимъ, что „доволенъ ихъ службой и поддержкой, что служа ему, они служили себѣ и что онъ всегда готовъ опять обнажить свой мечъ на призывъ несчастной страны своей“. Не безпокойтесь, онъ еще явится. Кстати, этимъ письмомъ къ „друзьямъ“ хоть капельку да объясняется загадка: на какія средства и на чьи деньги этотъ ужасный человѣкъ (молодой и прекрасный, говорятъ, собой) такъ долго и упорно могъ вести войну? Друзья то, стало быть, и сильны и многочисленны. Кто бы такіе? Вѣроятнѣе всего, что его наиболѣе поддерживала католическая церковь, какъ последнюю свою надежду изъ королей. А то никакіе друзья не могли бы собрать ему столько милліоновъ.

Замѣтьте, что этотъ человѣкъ, гордо и рѣзко отвергнувшій всякое соглашеніе съ „революціей“, поѣхалъ въ Англію и отлично зналъ прежде, что поѣдетъ искать гостепріимства въ этой свободомыслящей и вольной странѣ, революціонной—по его понятіямъ; какое однако совмѣщеніе понятій! И вотъ, при въѣздѣ его въ Англію и случился съ нимъ маленькій, но характерный эпизодъ. Сѣлъ онъ въ Булони на пароходъ, чтобъ высадиться въ Фокстонѣ; но на этомъ же пароходѣ ѣхали въ Англію тоже гости, члены Булонскаго муниципалитета, приглашенные англичанами на мирное торжество открытія новой желѣзнодорожной станціи въ Фокстонѣ. Этихъ гостей, въ числѣ которыхъ былъ и депутатъ отъ департамента Па-де-Кале, ожидала на англійскомъ берегу, чтобъ привѣтствовать ихъ, толпа англичанъ, власти, нарядныя дамы, корпораціи и депутаціи разныхъ обществъ съ знаменами и съ музыкой. Тутъ случился одинъ членъ парламента, серъ Эдуардъ Уаткинъ, въ сопровожденіи двухъ другихъ членовъ парламента. Узнавъ, что между пасажирами прибылъ Донъ-Карлосъ, онъ мигомъ пошелъ къ нему представиться и засвидѣтельствовать свое почтеніе; онъ проводилъ его со всею вѣжливостью до станціи и усадилъ въ вагонъ въ отдѣльное закрытое купе.

2*

Но остальная публика была не такъ вѣжлива; при видѣ Донъ-Карлоса, когда онъ проходилъ и садился въ вагонъ, раздались свистки и шиканье. Такое поведеніе соотечественниковъ глубоко оскорбило Сера Уаткина. Онъ, впрочемъ, самъ это описалъ въ газетѣ и по возможности смягчилъ отзывъ о невѣжливомъ пріемѣ „гостя". Онъ разсказываетъ, что всему виною лишь одинъ нечаянный случай, а то все обошлось бы иначе:

. . . . „Въ минуту (повѣствуетъ онъ), когда мы входили на платформу и Донъ Карлосъ приподнималъ шляпу въ отвѣтъ на возгласы нѣсколькихъ человѣкъ, привѣтствовавшихъ его, вѣтеръ развилъ знамя ассоціаціи Old jellows и на этомъ знамени появилось изображеніе Милосердія, покровительствующаго дѣтямъ, съ девизомъ: „Не забудьте вдовъ и сиротъ"! Эффектъ былъ быстрый и поразительный: въ толпѣ раздался ропотъ, но онъ выражалъ скорѣе печаль чѣмъ порывы гнѣва. Хоть я и сожалѣю о происшедшемъ, но долженъ сказать, что ни одинъ народъ, собравшійся на веселое празднество, и внезапно очутившійся лицомъ къ лицу съ главнымъ актеромъ кровопролитной и братоубійственной войны, не выказалъ бы столько вѣжливости, сколько выказало оное громадное большинство Фокстонской публики".

Какая своеобразность взгляда, какая твердость своего мнѣнія и какая ревнивая гордость за свой народъ! Можетъ быть многіе изъ нашихъ либералов сочли бы поведеніе Сера Уаткина чуть не за низость, за низкія чувства заискиванія передъ знаменитымъ человѣкомъ, за мелкое вылѣзаніе впередъ. Но серъ Уаткинъ думаетъ не по нашему: О, онъ и самъ знаетъ, что пріѣхавшій гость есть главный актеръ кровопролитной и братоубійственной войны; но встрѣчая его, онъ, тѣмъ самымъ, удовлетворяетъ свою патріотическую гордость и изо всѣхъ силъ служитъ Англіи. Протягивая руку обагренному кровью тирану, отъ имени Англіи и въ санѣ члена парламента, онъ тѣмъ какъ бы говоритъ ему: „Вы деспотъ, тиранъ, а все-таки пришли же въ страну свободы искать въ ней убѣжища; того и ожидать было надо; Англія принимаетъ всѣхъ и никому не боится давать убѣжище: entrée et sortie libres; милости просимъ". И не одна невѣжливость „малой части собравшейся публики" огорчила его, а и то, что въ неудержимости чувства, въ свисткахъ и шиканьѣ онъ замѣтилъ промахъ противъ того собственнаго достоинства, какое должно быть неотмѣнно у каждаго истиннаго англичанина. Пусть тамъ, на континентѣ, и во всемъ человѣчествѣ, считается даже прекраснымъ, если народъ не сдерживаетъ оскорбленнаго чувства и публично клеймитъ злодѣя презрѣньемъ и свистками, будь онъ даже гость этого народа; но все это годится для какихъ нибудь тамъ парижанъ или нѣмцевъ: англичанинъ обязанъ вести себя иначе. Въ подобныя минуты онъ долженъ быть хладнокровенъ какъ джентльменъ и не высказывать своего мнѣнія. Гораздо лучше будетъ если гость ничего не узнаетъ о томъ, что о немъ думаютъ встрѣчающіе; а всего бы лучше еслибъ каждый стоялъ неподвижно, заложивъ за спину руки, какъ прилично англичанину, и глядѣлъ на прибывшаго взглядомъ полнымъ холоднаго достоинства. Нѣсколько вѣжливыхъ возгласовъ, но вполголоса и умѣренно, ничему тоже не помѣшали бы: гость тотчасъ же

различилъ бы, что это лишь обычай и этикетъ, а что собственно волненія онъ не могъ у насъ возбудить никакого, будь онъ хоть семи пядей во лбу. А теперь, какъ закричали и засвистали, гость и подумаетъ, что это лишь безсмысленная уличная чернь, какъ и на континентѣ". Кстати, вспомнился мнѣ теперь одинъ премилый анекдотъ, который я прочелъ недавно, гдѣ и у кого не запомню, о маршалѣ Себастьяни и объ одномъ англичанинѣ, еще въ началѣ столѣтія, при Наполеонѣ I-мъ. Маршалъ Себастьяни, важное тогда лицо, желая обласкать одного англичанина, которые всѣ были тогда въ загонѣ, потому что безпрерывно и упорно воевали съ Наполеономъ, сказалъ ему съ любезнымъ видомъ, послѣ многихъ похвалъ его націи:

— Если-бъ я не былъ французомъ, то желалъ бы стать англичаниномъ.

Англичанинъ выслушалъ, но, ни мало не тронутый любезностью, тотчасъ отвѣтилъ:

— А если-бъ я не былъ англичаниномъ, то я все-таки пожелалъ бы стать англичаниномъ.

Такимъ образомъ, въ Англіи всѣ англичане и всѣ одинаково уважаютъ себя, можетъ быть единственно за то, что они англичане. Ужь одного этого бы, кажется, довольно для крѣпкой связи и для единенія людей въ странѣ этой: крѣпокъ пучокъ. И однако, на дѣлѣ, тамъ то же самое, что и вездѣ въ Европѣ: страстная жажда жить и потеря высшаго смысла жизни. Приведу здѣсь, тоже въ видѣ примѣра оригинальности, взглядъ одного англичанина на свою вѣру, протестантизмъ. Вспомнимъ, что англичане, въ огромномъ большинствѣ, народъ въ высшей степени религіозный: они жаждутъ вѣры и ищутъ ее безпрерывно, но, вмѣсто религіи, не смотря на государственную „англиканскую" вѣру, разсыпаны на сотни сектъ. Вотъ что говоритъ Сидней Добель въ недавней статьѣ своей: „мысли объ искусствѣ философіи и религіи":

„Католицизмъ великъ, прекрасенъ, премудръ и могучъ,—онъ самое устойчивое, самое благоразмѣрное изъ зданій, какія воздвигалъ человѣкъ, но онъ *не воспитателенъ* и вслѣдствіе того обреченъ на смерть; мало того, повиненъ смерти, ибо причиняетъ вредъ, и тѣмъ больше вреденъ, чѣмъ совершеннѣе его устройство. Протестантизмъ узокъ, безобразенъ, безстыденъ, неразуменъ, непослѣдователенъ, несогласенъ самъ съ собой; это вавилонъ словопренія и буквальности, это—клубъ состязанія полумыслящихъ педантовъ, полуграмотныхъ геніевъ и неграмотныхъ эгоистовъ всякаго рода, это—колыбель притворства и фанатизма; это—сборное праздничное мѣсто для всѣхъ вольноприходящихъ безумцевъ. Но онъ *воспитателенъ* и, вслѣдствіе того ему суждено жить. Мало того: его слѣдуетъ питать и устраивать, окружать заботой и отстаивать въ борьбѣ, какъ необходимую потребность sine qua non, духовной жизни для человѣка".

Какое самое невозможное сужденіе! А между тѣмъ тысячи европейцевъ ищутъ своего спасенія въ такихъ же заключеніяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, здорово ли то общество, въ которомъ серьезно и съ такимъ жаромъ выставляются такіе выводы о духовныхъ требованіяхъ человѣческихъ? „Протестантизмъ, видите ли, дикъ, безобразенъ, безстыденъ, узокъ и глупъ, но онъ *воспитателенъ*, а потому надо его сохранять и отстаивать!" Во-первыхъ, что за утилитаризмъ въ такомъ дѣлѣ

и въ такомъ вопросѣ? Дѣло, которому должно быть все подчинено (если дѣйствительно Сидней Доббель хлопочетъ *о вѣрѣ*)—это дѣло, напротивъ, разсматривается лишь единственно съ точки зрѣнія его полезности англичанину. И ужь, конечно, такой утилитаризмъ стоитъ той невоспитательной замкнутости и законченности католичества, за которую этотъ протестантъ такъ его проклинаетъ. И не похожи ли такія слова на иные отзывы тѣхъ „глубокихъ политическихъ и государственныхъ мыслителей“ всѣхъ странъ и народовъ, изрекающихъ иногда премудрыя изрѣченія въ родѣ слѣдующихъ: „Бога нѣтъ, разумѣется, и вѣра вздоръ, но религія нужна для чернаго народа, потому что безъ нея его не сдержать“. Въ томъ развѣ разница, что въ этомъ мнѣніи государственнаго мудреца, въ основѣ, холодный и жестокосердый развратъ, а Сидней Доббель — другъ человѣчества и хлопочетъ лишь о его прямой пользѣ. За то взглядъ на пользу драгоцѣненъ: вся польза въ томъ, видите ли, что отворены ворота настежъ для всякаго сужденія и вывода; и въ умъ и въ сердце—entrée et sortie libres; ничего не заперто, не ограждено и не закончено: плыви въ безбрежномъ морѣ и спасай себя самъ, какъ хочешь. Сужденіе, впрочемъ, широкое,—широкое, какъ безбрежное море и ужь, конечно—„ничего въ волнахъ не видно“; за то національное. О, тутъ глубокая искренность, но не правда ли, что эта искренность граничитъ какъ бы съ отчаяніемъ. Характеренъ тоже тутъ и пріемъ мышленія, характерно то, объ чемъ думаютъ, пишутъ и заботятся тамъ у себя эти люди: ну станутъ, напримѣръ, у насъ писать и заботиться наши публицисты о такихъ фантастическихъ предметахъ, да и ставить ихъ на такой высшій планъ? Такъ что можно бы даже сказать, что мы, русскіе, люди съ гораздо болѣе реальнымъ, глубокимъ и благоразумнымъ взглядомъ, чѣмъ всѣ эти англичане. Но англичане не стыдятся ни своихъ убѣжденій, ни нашего объ нихъ заключенія; въ чрезвычайной искренности ихъ встрѣчается иногда даже нѣчто глубоко-трогательное. Вотъ что, напримѣръ, передавалъ мнѣ одинъ наблюдатель, особенно слѣдящій за этимъ въ Европѣ, о характерѣ иныхъ, уже совершенно атеистическихъ ученій и толковъ въ Англіи:

„Вы входите въ церковь, — служба благолѣпная, богатыя ризы, кадила, торжественность, тишина, благоговѣніе молящихся. Читается Библія, всѣ подходятъ и лобызаютъ святую книгу со слезами, съ любовью. И что же? Это Церковь — атеистовъ. Всѣ молящіеся не вѣрятъ въ Бога; непремѣнный догматъ, непремѣнное условіе для вступленія въ эту Церковь — атеизмъ. Зачѣмъ же они цѣлуютъ Библію, благоговѣйно выслушиваютъ чтеніе ея и плачутъ надъ нею? А затѣмъ что, отвергнувъ Бога, они поклонились „Человѣчеству“. Они вѣрятъ теперь въ Человѣчество, они обоготворили и обожаютъ Человѣчество. А что было человѣчеству дороже этой святой книги въ продолженіи столькихъ вѣковъ? Они преклоняются теперь предъ нею за любовь ея къ человѣчеству и за любовь къ ней человѣчества. Она благодѣтельствовала ему столько вѣковъ, она какъ солнце свѣтила ему; изливала на него силу и жизнь; и „хоть смыслъ ея теперь и утраченъ“, но любя и боготворя чело-

вѣчество, — они не могутъ стать неблагодарными и забыть ея благодѣянія ему"...

Въ этомъ много трогательнаго и много энтузіазма. Тутъ дѣйствительное обоготвореніе человѣчества и страстная потребность проявить любовь свою; но какая однакоже жажда моленія преклоненія, какая жажда Бога и Вѣры у этихъ атеистовъ и сколько тутъ отчаянія, какая грусть, какія похороны вмѣсто живой, свѣтлой жизни, бьющей свѣжимъ ключомъ молодости, силы и надежды! Но похороны ли или новая грядущая сила, это еще для многихъ вопросъ. Позволю себѣ сдѣлать выписку изъ одного моего недавняго романа: „Подростокъ". Объ этой „Церкви Атеистовъ" я узналъ лишь надняхъ, гораздо позже того, какъ я окончилъ и напечаталъ романъ мой. У меня тоже объ Атеизмѣ— но это лишь мечта одного изъ русскихъ людей нашего времени, сороковыхъ годовъ, бывшихъ помѣщиковъ-прогрессистовъ, страстныхъ и благородныхъ мечтателей рядомъ съ самою великорусскою широкостью жизни на практикѣ. Самъ этотъ помѣщикъ,—тоже безъ всякой вѣры и тоже обожаетъ человѣчество, „какъ и слѣдуетъ русскому прогрессивному человѣку". Онъ высказываетъ мечту свою о будущемъ человѣчествѣ, когда уже изчезнетъ въ немъ всякая идея о Богѣ, что, по его понятіямъ, несомнѣнно случится на всей землѣ.

„Я представляю себѣ, мой милый, началъ онъ съ задумчивою улыбкою:—что бой уже кончился и борьба улеглась. Послѣ проклятій, комьевъ грязи и свистковъ, настало затишье, и люди остались *одни*, какъ желали: великая прежняя идея оставила ихъ; великій источникъ силъ, до сихъ поръ, питавшій ихъ, отходилъ какъ величавое, зовущее солнце, но это былъ уже какъ бы послѣдній день человѣчества. И люди вдругъ поняли, что они остались совсѣмъ одни, и разомъ почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчикъ, я никогда не могъ вообразить себѣ людей неблагодарными и оглупѣвшими. Осиротѣвшіе люди тотчасъ стали бы прижиматься другъ къ другу тѣснѣе и любовнѣе; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляютъ все другъ для друга. Исчезла бы великая идея безсмертія, и приходилось бы замѣнить ее; и весь великій избытокъ прежней любви къ Тому, который и былъ Безсмертіе, обратился бы у всѣхъ на природу, на міръ, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили-бы землю и жизнь неудержимо и въ той мѣрѣ, въ какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнею любовью. Они стали бы замѣчать и открыли бы въ природѣ такія явленія и тайны, какихъ и не предполагали прежде, ибо смотрѣли бы на природу новыми глазами, взглядомъ любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спѣшили бы цѣловать другъ друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это—все, что у нихъ остается. Они работали бы другъ на друга, и каждый отдавалъ бы всѣмъ все свое и тѣмъ однимъ былъ бы счастливъ. Каждый ребенокъ зналъ бы и чувствовалъ, что всякій на землѣ—ему какъ отецъ и мать. „Пусть завтра послѣдній день мой, думалъ бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся всѣ они, а послѣ нихъ дѣти ихъ"—и эта мысль, что они останутся, все также любя и трепеща другъ за друга, замѣнила бы мысль о загробной встрѣчѣ. О, они торопились-бы любить, чтобъ затушить великую грусть въ своихъ сердцахъ. Они были бы горды и смѣлы за себя, но сдѣлались бы робкими другъ за друга; каждый трепеталъ бы за жизнь и за счастіе каждаго. Они стали бы нѣжны другъ къ другу и не стыдились бы того, какъ теперь, и ласкали бы другъ друга, какъ дѣти. Встрѣчаясь, смотрѣли бы другъ на друга глубокимъ и осмысленнымъ взглядомъ и во взглядахъ ихъ была бы любовь и грусть"...

Не правда ли, тутъ въ этой фантазіи есть нѣсколько сходнаго съ этою, уже дѣйствительно существующею „Церковью Атеистовъ".

—

II.

Лордъ Редстокъ.

Кстати ужъ объ этихъ сектахъ. Говорятъ, въ эту минуту у насъ въ Петербургѣ Лордъ Редстокъ, тотъ самый, который еще три года назадъ проповѣдовалъ у насъ всю зиму и тоже создалъ тогда нѣчто въ родѣ новой секты. Мнѣ случилось его тогда слышать въ одной „залѣ“, на проповѣди, и, помню, я не нашелъ въ немъ ничего особеннаго: онъ говорилъ ни особенно умно, ни особенно скучно. А между тѣмъ онъ дѣлаетъ чудеса надъ сердцами людей; къ нему льнутъ; многіе поражены: ищутъ бѣдныхъ чтобъ поскорѣй облагодѣтельствовать ихъ и почти хотятъ раздать свое имѣніе. Впрочемъ это можетъ быть только у насъ въ Россіи; за границей-же онъ кажется не такъ замѣтенъ. Впрочемъ трудно сказать, чтобъ вся сила его обаянія заключалась лишь въ томъ, что онъ лордъ и человѣкъ независимый, и что проповѣдуетъ онъ, такъ сказать, вѣру „чистую“, барскую. Правда, всѣ эти проповѣдники — сектанты всегда уничтожаютъ, еслибъ даже и не хотѣли того, данный церковью образъ вѣры и даютъ свой собственный. Настоящій успѣхъ лорда Редстока зиждется единственно лишь на „обособленіи нашемъ“, на оторванности нашей отъ почвы, отъ націи. Оказывается что мы, то есть интелигентные слои нашего общества,—теперь какой-то ужь совсѣмъ чужой народикъ, очень маленькій, очень ничтожненькій, но имѣющій, однако, уже свои привычки и свои предразсудки, которые и принимаются за своеобразность, и вотъ, оказывается, теперь даже и съ желаніемъ своей собственной вѣры. Собственно про ученіе лорда трудно разсказать въ чемъ оно состоитъ. Онъ англичанинъ, но, говорятъ, не принадлежитъ и къ англиканской церкви и порвалъ съ нею, а проповѣдуетъ что-то свое собственное. Это такъ легко въ Англіи: тамъ и въ Америкѣ сектъ можетъ быть еще больше, чѣмъ у насъ въ нашемъ „черномъ народѣ“. Секты скакуновъ, трясучекъ, конвульсьонеровъ, квакеровъ, ожидающихъ милленіума и наконецъ хлыстовщина (всемірная и древнѣйшая секта) — всего этого не перечтешь. Я, конечно, не въ насмѣшку говорю объ этихъ сектахъ, сопоставляя ихъ рядомъ съ лордомъ Редстокомъ, но кто отсталъ отъ истинной Церкви и замыслилъ свою, хотя бы самую благолѣпную на видъ, непремѣнно кончитъ тѣмъ же, чѣмъ эти секты. И пусть не морщатся почитатели лорда: въ философской основѣ этихъ самыхъ сектъ, этихъ трясучекъ и хлыстовщины, лежатъ иногда чрезвычайно глубокія и сильныя мысли. По преданію, у Татариновой, въ Михайловскомъ замкѣ, около двадцатыхъ годовъ, вмѣстѣ съ нею и съ гостями ея, такими какъ напримѣръ одинъ тогдашній министръ, вертѣлись и пророчествовали и крѣпостные слуги Татариновой: стало быть была же сила мысли и порыва, если могло создаться такое „неестественное“ единеніе вѣрующихъ, а секта Татариновой была, повидимому тоже хлыстовщина, или, одно изъ безчисленныхъ ея развѣтвленій. Я не слыхалъ изъ разсказовъ о лордѣ Редстокѣ, чтобъ у него вертѣлись и пророчествовали (верченіе и пророчество — есть необходимѣйшій и древнѣйшій атрибутъ почти всѣхъ этихъ западныхъ и нашихъ сектъ, покрайней мѣрѣ чрезвычайнаго множества. И Тампліеры тоже вертѣлись и проро-

чествовали, тоже были хлыстовщиной и за это самое сожжены, а потомъ восхвалены и воспѣты французскими мыслителями и поэтами передъ первой революціей); я слышалъ только, что лордъ Редстокъ какъ-то особенно учитъ о „схожденіи благодати", и что, будто бы, по выраженію одного передававшаго о немъ, у лорда „Христосъ въ карманѣ",—то есть чрезвычайно легкое обращеніе съ Христомъ и благодатью. О томъ же, что бросаются въ подушки и ждутъ какого-то вдохновенія свыше, я, признаюсь, не понялъ, что передавали. Правда-ли, что лордъ Редстокъ хочетъ ѣхать въ Москву? Желательно, чтобъ на этотъ разъ никто изъ нашего духовенства не поддакивалъ его проповѣди. Тѣмъ не менѣе онъ производитъ чрезвычайныя обращенія и возбуждаетъ въ сердцахъ послѣдователей великодушныя чувства. Впрочемъ такъ и должно быть: если онъ въ самомъ дѣлѣ искрененъ и проповѣдуетъ новую вѣру, то, конечно, и одержимъ всѣмъ духомъ и жаромъ основателя секты. Повторяю, тутъ плачевное наше обособленіе, наше невѣдѣніе народа, нашъ разрывъ съ національностью, а во главѣ всего—слабое, ничтожное понятіе о православіи. Замѣчательно, что о лордѣ Редстокѣ, кромѣ немногихъ исключеній, почти ничего не говоритъ наша пресса.

III.

Словцо объ отчетѣ ученой комиссіи о спиритическихъ явленіяхъ.

„Обособленіе"-ли спириты? Я думаю что да. Нашъ возникающій спиритизмъ, по моему, грозитъ въ будущемъ чрезвычайно опаснымъ и сквернымъ „обособленіемъ". „Обособленіе" есть вѣдь разъединеніе; я въ этомъ смыслѣ и говорю, что въ нашемъ молодомъ спиритизмѣ замѣтны сильные элементы къ восполненію и безъ того уже все сильнѣе и прогрессивнѣе идущаго разъединенія русскихъ людей. Ужасно мнѣ нелѣпо и досадно читать иногда, у нѣкоторыхъ мыслителей нашихъ, о томъ, что наше общество спитъ, дремлетъ, лѣниво и равнодушно; напротивъ, никогда не замѣчалось столько безпокойства, столько метанія въ разныя стороны и столько исканія чего нибудь такого на что бы можно было нравственно опереться, какъ теперь. Каждая самая безпутная даже идейка, если только въ ней предчувствуется хоть малѣйшая надежда что-нибудь разрѣшить, можетъ надѣяться на несомнѣнный успѣхъ. Успѣхъ же всегда ограничивается „обособленіемъ" какой-нибудь новой кучки. Вотъ такъ и съ спиритизмомъ. И каково же было мое разочарованіе, когда я прочелъ, наконецъ, въ „Голосѣ" отчетъ извѣстной комиссіи, о которой такъ всѣ кричали и возвѣщали, о спиритическихъ явленіяхъ, наблюдавшихся всю зиму въ домѣ г. Аксакова. А я-то такъ ждалъ и надѣялся, что этотъ отчетъ раздавитъ и раздробитъ это непотребное (въ его мистическомъ значеніи) новое ученіе. Правда, у насъ повидимому, еще не замѣчается никакихъ *ученій*, а идутъ лишь пока одни „наблюденія"; но такъ-ли это на самомъ дѣлѣ? Жаль, что въ эту минуту я не имѣю ни времени, ни мѣста подробнѣе изложить мою мысль; но въ слѣдующемъ, апрѣльскомъ моемъ „Дневникѣ", я можетъ быть и рѣшусь заговорить опять о спиритахъ. Впрочемъ, можетъ быть, я обвиняю отчетъ комиссіи напрасно: не она, конечно, виновата въ томъ, что я такъ

сильно на нее надѣялся и что ожидалъ отъ нея, можетъ быть, совсѣмъ невозможнаго, чего она никогда и не могла дать. Но во всякомъ случаѣ „Отчетъ“ грѣшитъ изложеніемъ, редакціей. Изложеніе это такого свойства, что въ немъ противники отчета, непремѣнно отыщутъ „предвзятое“ отношеніе къ дѣлу (стало быть весьма ненаучное), хотя можетъ быть въ коммиссіи вовсе не было столько этой „предвзятости“, чтобъ можно было за то обвинить ее. (Немного-то предвзятости было, безъ этого у насъ ужъ никакъ нельзя). Но редакція грѣшитъ несомнѣнно: комиссія позволяетъ, напримѣръ, себѣ заключать о такихъ явленіяхъ спиритизма (о матеріализаціи духовъ напримѣръ), которыя она, по собственному ея признанію, не наблюдала вовсе. Положимъ, она сдѣлала это въ видѣ, такъ сказать, правоученія, въ правоучительномъ и предупредительномъ смыслѣ, забѣгая впередъ явленій, для пользы общества, чтобъ спасти легкомысленныхъ людей отъ соблазна. Идея благородная, но врядъ-ли умѣстная въ настоящемъ случаѣ. Впрочемъ что-же: неужели сама комиссія, состоящая изъ столькихъ ученыхъ людей, могла серьезно надѣяться затушить нелѣпую идею въ самомъ началѣ? Увы, еслибъ комиссія представила даже самыя явныя и прямыя доказательства „подлоговъ“, даже еслибъ она изловила и изобличила „плутующихъ“ на дѣлѣ и, такъ сказать поймавъ ихъ за руки (чего впрочемъ отнюдь не случилось), то и тогда бы ей никто не повѣрилъ изъ увлекшихся спиритизмомъ, даже изъ желающихъ только увлечься, по тому вѣковѣчному закону человѣческой природы, по которому, въ мистическихъ идеяхъ, даже самыя математическія доказательства — ровно ничего не значатъ. А тутъ, въ этомъ-то, въ нашемъ возникающемъ спиритизмѣ, — клянусь на первомъ планѣ, лишь идея мистическая, и,—что-же вы съ нею можете сдѣлать? Вѣра и математическія доказательства—двѣ вещи несовмѣстимыя. Кто захочетъ повѣрить—того не остановите. А тутъ, въ прибавокъ, и доказательства далеко не математическія.

Тѣмъ не менѣе отчетъ все бы могъ быть полезенъ. Онъ могъ быть несомнѣнно полезенъ для всѣхъ еще несовращенныхъ и пока еще равнодушныхъ къ спиритизму. А теперь, при „хотѣніи вѣрить“, хотѣнію можетъ быть дано новое оружіе въ руки. Да и слишкомъ презрительно-высокомѣрный тонъ отчета можно бы было смягчить; право можно подумать, читая его, что обѣ почтенныя стороны, во время наблюденій, почему либо лично поссорились. На массу это подѣйствуетъ не въ пользу „Отчета“.

IV.

Единичныя явленія.

Но является и другой разрядъ явленій, довольно любопытный, особенно между молодежью. Правда, явленія пока единичныя. Рядомъ съ разсказами о нѣсколькихъ несчастныхъ молодыхъ людяхъ, „идущихъ въ народъ“, начинаютъ разсказывать и о другой совсѣмъ молодежи. Эти новые молодые люди тоже безпокоятся, пишутъ къ вамъ письма, или сами приходятъ съ своими недоумѣніями, статьями и съ неожиданными мыслями, но совсѣмъ непохожими на тѣ, которыя мы до сихъ поръ въ молодежи встрѣчать привыкли. Такъ что есть нѣкоторый поводъ предположить, что въ мо-

лодежи нашей начинается нѣкоторое движеніе, совершенно обратное прежнему. Что же, этого, можетъ быть, и должно было ожидать. Въ самомъ дѣлѣ: чьи они дѣти? Они именно дѣти тѣхъ „либеральныхъ“ отцовъ, которые, въ началѣ возрожденія Россіи, въ нынѣшнее царствованіе, какъ бы отторгнулись всей массой отъ общаго дѣла, вообразивъ, что въ томъ-то и прогрессъ и либерализмъ. А между тѣмъ—такъ какъ все это отчасти прошедшее,—много ли было тогда воистину либераловъ, много ли было дѣйствительно страдающихъ, чистыхъ и искреннихъ людей, такихъ какъ, напримѣръ, недавній еще тогда покойникъ Бѣлинскій (не говоря уже объ умѣ его?) Напротивъ, въ большинствѣ, это все-таки была лишь грубая масса мелкихъ безбожниковъ и крупныхъ безстыдниковъ, въ сущности тѣхъ-же хапугъ и „мелкихъ тирановъ“, по фанфароновъ либерализма, въ которомъ они ухитрились разглядѣть лишь право на безчестье. И чего тогда не говорилось и не утверждалось, какія нерѣдко мерзости выставлялись за честь и доблесть. Въ сущности это была грубая улица, и честная идея попала на улицу. А тутъ, какъ разъ, подоспѣло освобожденіе крестьянъ, а съ нимъ вмѣстѣ—разложеніе и „обособленіе“ нашего интеллигентнаго общества во всѣхъ возможныхъ смыслахъ. Люди не узнавали другъ друга, и либералы не узнавали своихъ-же либераловъ. И сколько было потомъ грустныхъ недоумѣній, тяжелыхъ разочарованій! Безстыднѣйшіе ретрограды вылетали иногда вдругъ впередъ, какъ прогрессисты и руководители и имѣли успѣхъ. Что же могли видѣть многія тогдашнія дѣти въ своихъ отцахъ, какія воспоминанія могли сохраниться въ нихъ отъ ихъ дѣтства и отрочества? Цинизмъ, глумленіе, безжалостныя посягновенія на первыя нѣжныя, святыя вѣрованія дѣтей; затѣмъ нерѣдко открытый развратъ отцовъ и матерей, съ увѣреніемъ и *наученіемъ*, что такъ и слѣдуетъ, что это-то и истинныя „трезвыя“ отношенія. Прибавьте множество разстроившихся состояній, а вслѣдствіе того нетерпѣливое недовольство, громкія слова, прикрывающія лишь эгоистическую, мелкую злобу за матеріальныя неудачи,—о, юноши могли это, наконецъ, разобрать и осмыслить! А такъ какъ юность чиста, свѣтла и великодушна, то, конечно, могло случиться, что иные изъ юношей не захотѣли пойти за такими отцами и отвергли ихъ „трезвыя“ наставленія. Такимъ образомъ подобное „либеральное“ воспитаніе и могло произвести совсѣмъ обратныя слѣдствія, покрайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ примѣрахъ. Вотъ эти-то, можетъ быть, юноши и подростки и ищутъ теперь новыхъ путей и прямо начинаютъ съ отпора тому ненавистному имъ циклу идей, который встрѣтили они въ дѣтствѣ, въ своихъ жалкихъ родныхъ гнѣздахъ.

V.

О Юріѣ Самаринѣ.

А твердые и убѣжденные люди уходятъ: умеръ Юрій Самаринъ, даровитѣйшій человѣкъ, съ непоколебавшимися убѣжденіями, полезнѣйшій дѣятель. Есть люди, заставляющіе всѣхъ уважать себя, даже несогласныхъ съ ихъ убѣжденіями. „Новое Время“ сообщило о немъ одинъ чрезвычайно характеристическій разсказъ. Еще такъ недавно, въ концѣ февраля, въ проѣздъ черезъ Петербургъ, Самаринъ успѣлъ

прочесть, въ февральскомъ № „Отечественныхъ Записокъ“ статью князя Васильчикова: „Черноземъ и его будущность“. Эта статья такъ подѣйствовала на него, что онъ не спалъ всю ночь:

„Это очень хорошая и вѣрная статья (сказалъ Самаринъ, на утро, своему пріятелю). Я ее читалъ вчера вечеромъ и она произвела на меня такое впечатлѣніе, что я не могъ заснуть; всю ночь такъ и мерещилась страшная картина безводной и безлѣсной пустыни, въ которую превращается наша средняя черноземная полоса Россіи отъ постояннаго, ничѣмъ не останавливаемаго уничтоженія лѣсовъ“.

„Много-ли у насъ найдется людей, которые теряютъ сонъ въ заботахъ о своей родинѣ?“ прибавляетъ къ этому „Новое Время“. Я думаю, что еще найдутся, и, кто знаетъ, можетъ быть теперь, судя по тревожному положенію нашему, еще больше, чѣмъ прежде. Безпокоящихся людей, въ самыхъ многоразличныхъ смыслахъ, у насъ всегда бывало довольно и мы вовсе ужь не такъ спимъ, какъ про насъ утверждаютъ; но не въ томъ дѣло, что есть безпокоющіеся, а въ томъ, какъ они судятъ, а съ Юріемъ Самаринымъ мы лишились твердаго и глубокаго мыслителя и вотъ въ чемъ утрата. Старыя силы отходятъ, а на новыхъ, на грядущихъ людей, пока еще только разбѣгаются глаза...

Ѳ. Достоевскій.



„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

изданіе Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО 12 выпусковъ въ годъ.

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ одного до полутора листа убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 20 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки). а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Подписавшіеся получаютъ тотчасъ же всѣ выпуски съ 1-го январскаго. Подписка принимается для городскихъ подписчиковъ въ Петербургѣ:

Въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“ М. П. Надѣина, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара.

Розничная продажа выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга и Москвы, въ Казани у Дубровина, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго и въ Южнорусскомъ Книжномъ Магазинѣ, въ Одессѣ у Распопова, въ Харьковѣ у Куколевскаго.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго. кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**

4-й, апрѣльскій, выпускъ выйдетъ 30 апрѣля.

У автора „Дневника Писателя“ можно получать слѣдующія его сочиненія:

Романъ „**БѢСЫ**“, въ трехъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.

——— „**ИДІОТЪ**“, въ двухъ томахъ, цѣна 3 р. 50 коп.

——— „**ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА**“, 4-е изданіе въ одномъ томѣ, цѣна 2 рубля.

Подписчики „Дневника Писателя“, обращающіеся за означенными сочиненіями къ автору, получаютъ 20% уступки, иногородные же пользуются кромѣ того безплатною пересылкою.

Дозволено цензурою. Спб. 30 марта 1876. Типогр. кн. Вл. Оболенскаго Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

АПРѢЛЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Идеалы растительной стоячей жизни. Кулаки и Міроѣды. Высшіе господа подгоняющіе Россію.

Въ мартовскомъ № „Русскаго Вѣстника“ сего года помѣщена на меня „критика“, г. А., т. е. г. Авсѣенко. Отвѣчать г. Авсѣенко нѣтъ никакой выгоды: трудно представить писателя менѣе вникающаго въ то, что онъ пишетъ. А впрочемъ. еслибъ онъ и вникалъ, то вышло бы тоже самое. Все, что въ статьѣ его касается до меня, написано имъ на тему, что не мы, культурные люди, должны преклониться передъ народомъ,—ибо „идеалы народные суть по преимуществу идеалы растительной стоячей жизни“,—а что, напротивъ, народъ долженъ просвѣтиться отъ насъ, культурныхъ людей, и усвоить нашу мысль и нашъ образъ. Однимъ словомъ, г. Авсѣенкѣ очень не понравились мои слова въ февральскомъ „Дневникѣ“ о народѣ. Я полагаю, что тутъ лишь одна неясность, въ которой я самъ виноватъ. Неясность и надо разъяснить, отвѣчать же г. Авсѣенко буквально нельзя. Что вы, напримѣръ, будете имѣть общаго съ человѣкомъ, который вдругъ говоритъ о народѣ, напримѣръ, такія слова:

„На его плечахъ (т. е. на плечахъ народа), на его терпѣніи и самопожертвованіи, на его живучей силѣ, горячей вѣрѣ и великодушномъ презрѣніи къ собственнымъ интересамъ—создалась независимость Россіи, ея сила и способность къ историческому призванію. Онъ сохранилъ намъ чистоту христіанскаго идеала, высокій и смиренный въ своемъ величіи героизмъ и тѣ прекрасныя черты славянской природы, которыя, отразившись въ бодрыхъ звукахъ Пушкинской поэзіи, *постоянно питали потомъ живую струю нашей литературы*“...

И вотъ, только что это написалось (т. е. переписалось изъ славянофиловъ), на слѣдующей же страницѣ г.

Авсѣенко сообщаетъ про тотъ же русскій народъ совершенно противуположное:

„Дѣло въ томъ, что народъ нашъ не далъ намъ идеала дѣятельной личности. Все прекрасное, что мы замѣчаемъ въ немъ и что наша литература, къ ея великой чести, пріучила насъ любить въ немъ, является только на степени стихійнаго существованія, замкнутаго, идиллическаго (?) быта, или пассивной жизни. Какъ скоро выдѣляется изъ народа *дѣятельная, энергическая* личность, очарованіе по большей части исчезаетъ и чаще всего индивидуальность является въ непривлекательной формѣ міроѣда, кулака, самодура. Активныхъ идеаловъ въ народѣ до сихъ поръ нѣтъ и надѣяться на нихъ значитъ отправляться отъ неизвѣстной и можетъ быть мнимой величины".

И все это сказать сейчасъ же послѣ того какъ на предъидущей страницѣ было объявлено, что на „плечахъ народа, на его терпѣніи и самопожертвованіи, на его живучей силѣ, горячей вѣрѣ и великодушномъ презрѣніи къ собственнымъ интересамъ— создалась независимость Россіи"! Да вѣдь, чтобъ выказать живучую силу, нельзя быть *только* пассивнымъ! А чтобы создать Россію нельзя было не проявить силы? Чтобы выказать *великодушное* презрѣніе къ собственнымъ интересамъ, непремѣнно надо было проявить великодушную и активную *дѣятельность* въ интересѣ другихъ, т. е. въ интересѣ общемъ, братскомъ. Чтобы „вынести на плечахъ своихъ" независимость Россіи, никакъ нельзя было сидѣть *пассивно* на мѣстѣ, а непремѣнно надо было хоть привстать съ мѣста и хоть разъ шагнуть; по крайней мѣрѣ хоть что нибудь сдѣлать, а между тѣмъ сейчасъ же и прибавляется, что чуть народъ начнетъ что нибудь дѣлать, то тотчасъ заявляетъ себя „въ непривлекательныхъ формахъ міроѣда, кулака или самодура". Выходитъ, стало быть, что кулаки, міроѣды и самодуры и вынесли на плечахъ Россію. Значитъ всѣ эти наши святые митрополиты (стоятели за народъ и строители земли русской), всѣ благочестивые князья наши, всѣ бояре и земскіе люди изъ тѣхъ, которые работали и служили Россіи до пожертвованія жизнью и имена которыхъ благоговѣйно сохранила исторія,—все это были только міроѣды, кулаки и самодуры! Можетъ быть скажутъ, что г. Авсѣенко не про тогдашнихъ говорилъ, а про теперешнихъ,—а исторія это тамъ сама по себѣ и что все то было при царѣ Горохѣ. Но въ такомъ случаѣ выходитъ, что народъ нашъ переродился? И про какой же теперешній народъ говоритъ г. Авсѣенко? Откуда онъ его начинаетъ? Съ реформы Петра? Съ культурнаго періода? Съ окончательнаго закрѣпощенія? Но въ такомъ случаѣ культурный г. Авсѣенко самъ себя выдаетъ; всякій скажетъ ему тогда: стоило васъ культурить, чтобъ взамѣнъ того развратить народъ и обратить его въ однихъ кулаковъ и мошенниковъ. Да неужели вы до такой степени „имѣете даръ одно худое видѣть", г. Авсѣенко? Неужели жъ народъ нашъ, закрѣпощенный именно ради вашей же культуры (по крайней мѣрѣ по ученію генерала Фадѣева), послѣ двухсотлѣтняго рабства своего заслужилъ отъ васъ, отъ окультурившагося человѣка, вмѣсто благодарности или даже жалости лишь одинъ только этотъ высокомѣрный плевокъ про кулаковъ и мошенниковъ. (То, что вы похвалили его выше, я ни во что не считаю, ибо вы уничтожили это на другой же страницѣ). За васъ же онъ былъ двѣсти лѣтъ связанъ по рукамъ и по ногамъ, чтобы вамъ ума изъ Европы прибыло, и вотъ вы, когда вамъ прибыло изъ

Европы ума (?), избоченившись передъ связаннымъ и оглядывая его съ культурной высоты своей, вдругъ заключаете о немъ, что „плохъ и пассивенъ и мало выказалъ дѣятельности (это связанный-то), а проявилъ лишь нѣкоторыя пассивныя добродѣтели, которыя хоть и питали литературу живыми соками, но въ сущности не стоятъ мѣднаго гроша, потому что чуть только народъ начнетъ дѣйствовать, какъ тотчасъ же является кулакомъ и мошенникомъ“. Нѣтъ, не слѣдовало бы отвѣчать г. Авсѣенко, и если я отвѣчаю, то единственно признавая за собою собственный промахъ, который и объясню ниже. Тѣмъ не менѣе, такъ такъ ужь пришлось къ слову, все-таки считаю не лишнимъ дать нѣкоторое понятіе читателю и о г. Авсѣенко. Онъ представляетъ собою, какъ писатель, весьма интересный для наблюденія маленькій культурный типъ своего рода, имѣющій нѣкоторое общее значеніе, что весьма даже не хорошо.

II.

Культурные типики. Повредившіеся люди.

Г. Авсѣенко давно пишетъ критики, нѣсколько лѣтъ уже, и я, каюсь въ томъ, все еще возлагалъ на него нѣкоторыя надежды: „выпишется, думалъ я, и что нибудь скажетъ“; но я мало зналъ его. Заблужденіе мое продолжалось вплоть до октябрскаго № „Русскаго Вѣстника“ 1874 года, въ которомъ г. Авсѣенко въ статьѣ своей, по поводу комедій и драмъ Писемскаго, вдругъ произнесъ слѣдующее:

...„Гоголь заставилъ нашихъ писателей слишкомъ небрежно относиться къ внутреннему содержанію произведеній и слишкомъ полагаться на одну только художественность. Такой взглядъ на задачу беллетристики раздѣлялся весьма многими въ нашей литературѣ сороковыхъ годовъ и въ немъ отчасти лежитъ причина: почему *эта литература была бѣдна внутреннимъ содержаніемъ* (!)“.

Это литература-то сороковыхъ годовъ была бѣдна внутреннимъ содержаніемъ! Такого страннаго извѣстія я не ожидалъ во всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала намъ полное собраніе сочиненій Гоголя, его комедію: „Женитьба“ (бѣдную внутреннимъ содержаніемъ, ухъ!) дала намъ потомъ его „Мертвыя Души“ (бѣдныя внутреннимъ содержаніемъ— да хоть бы что другое сказалъ человѣкъ, ну первое слово, которое на умъ пришло, все бы лучше вышло). Затѣмъ вывела Тургенева съ его „Записками Охотника“ (и эти бѣдны внутреннимъ содержаніемъ?), затѣмъ Гончарова, написавшаго еще въ 40-хъ годахъ Обломова и напечатавшаго тогда же лучшій изъ него эпизодъ „Сонъ Обломова“, который съ восхищеніемъ прочла вся Россія! Это та литература, которая дала намъ, наконецъ, Островскаго,—но именно про типы-то Островскаго и разражается г. Авсѣенко въ этой же статьѣ самыми презрительными плевками:

„Міръ чиновниковъ оказался, вслѣдствіе внѣшнихъ причинъ, не вполнѣ доступенъ для театральной сатиры; за то съ тѣмъ большимъ усердіемъ и пристрастіемъ устремилась наша комедія въ міръ замоскворѣцкаго и апраксинскаго купечества, въ міръ странницъ и свахъ, пьяныхъ приказныхъ, бурмистровъ, причетниковъ, питерщиковъ. Задача комедіи съузилась непостижимымъ образомъ до копированія пьянаго или безграмотнаго жаргона, воспроизведенія дикихъ ухватокъ, грубыхъ и оскорбительныхъ для человѣческаго чувства типовъ и характеровъ. На

сценѣ безраздѣльно воцарился жанръ, не тотъ теплый, веселый, буржуазный (?) жанръ, который порою такъ плѣнителенъ па французской сценѣ (это водевильчикъ-то: одинъ залѣзъ подъ столъ, а другой вытащилъ его за ногу?), а жанръ грубый, нечистоплотный и отталкивающій. Нѣкоторые писатели, какъ напримѣръ г. Островскій, внесли въ эту литературу много таланта, сердца и юмора, но въ общемъ театръ нашъ пришелъ къ крайнему пониженію внутренняго уровня и весьма скоро оказалось, что ему *нечего сказать* образованной части общества, что онъ и дѣла не имѣетъ съ этой частью общества".

Итакъ, Островскій понизилъ уровень сцены, Островскій ничего не сказалъ „образованной" части общества! Стало быть, необразованное общество восхищалось Островскимъ въ театрѣ и зачитывалось его произведеніями? О да, образованное общество, видите-ли, ѣздило тогда въ Михайловскій театръ, гдѣ былъ тотъ „теплый, веселый, буржуазный жанръ, который порою такъ плѣнителенъ на французской сценѣ". А Любимъ Торцовъ „грубъ, нечистоплотенъ". Про какое-же это образованное общество говоритъ г. Авсѣенко, любопытно бы узнать? Грязь не въ Любимѣ Торцовѣ: „онъ душою чистъ", а грязь именно можетъ быть тамъ, гдѣ царствуетъ этотъ „теплый буржуазный жанръ, который порою такъ плѣнителенъ на французской сценѣ". И что за мысль, что художественность исключаетъ *внутреннее содержаніе?* Напротивъ, даетъ его въ высшей степени: Гоголь въ своей „Перепискѣ" слабъ, хотя и характеренъ, Гоголь же въ тѣхъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ", гдѣ, переставая быть художникомъ, начинаетъ разсуждать прямо отъ себя, просто слабъ и даже не характеренъ, а между тѣмъ его созданія, его Женитьба, его „Мертвыя Души"—самыя глубочайшія произведенія, самыя богатыя внутреннимъ содержаніемъ, именно по выводимымъ въ нихъ художественнымъ типамъ. Эти изображенія, такъ сказать, почти давятъ умъ глубочайшими непосильными вопросами, вызываютъ въ русскомъ умѣ самыя безпокойныя мысли, съ которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчасъ; мало того, еще справишься-ли когда нибудь? А г. Авсѣенко кричитъ, что въ „Мертвыхъ Душахъ" нѣтъ внутренняго содержанія! Но вотъ вамъ „Горе отъ ума",—вѣдь оно только и сильно своими яркими художественными типами и характерами, и лишь одинъ художественный трудъ даетъ все внутреннее содержаніе этому произведенію; чуть же Грибоѣдовъ, оставляя роль художника, начинаетъ разсуждать самъ отъ себя, отъ своего личнаго ума (устами Чацкаго, самаго слабаго типа въ комедіи), то тотчасъ же понижается до весьма незавиднаго уровня, несравненно низшаго даже и тогдашнихъ представителей нашей интеллигенціи. Нравоученія Чацкаго несравненно ниже самой комедіи и частью состоятъ изъ чистаго вздора. Вся глубина, все содержаніе художественнаго произведенія заключается, стало быть, только въ типахъ и характерахъ. Да и всегда почти такъ бываетъ.

Такимъ образомъ читатель видитъ, съ какимъ критикомъ имѣетъ дѣло, и уже отсюда слышу вопросы: да зачѣмъ-же вы съ нимъ связываетесь? Повторяю еще разъ, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно г. Авсѣенко занимаюсь въ эту минуту, какъ и сказалъ выше, не какъ критикомъ, а какъ отдѣльнымъ и любопытнымъ литературнымъ явленіемъ. Тутъ своего рода типъ, мнѣ полезный. Я очень долго не понималъ г. Авсѣенко,—то есть, не ста-

тей его, я статей его и всегда не понималъ, да и нечего въ нихъ понимать или не понимать, — съ этой же статьи въ октябрьскомъ № „Русскаго Вѣстника“ 1874 года, я прямо уже махнулъ рукой, впрочемъ, постоянно и глубоко недоумѣвая: какимъ это образомъ статьи такого сбивчиваго писателя появляются въ такомъ серьезномъ журналѣ какъ „Русскій Вѣстникъ“? Но вотъ вдругъ случилось одно комическое происшествіе — и я вдругъ понялъ г. Авсѣенко: онъ вдругъ началъ печатать въ началѣ зимы свой романъ „Млечный путь“. (И зачѣмъ этотъ романъ перестал печататься!). Этотъ романъ мнѣ вдругъ разъяснилъ весь типъ писателя Авсѣенко. Собственно про романъ мнѣ даже и не идетъ говорить: я самъ романистъ и мнѣ не годится критиковать собрата. А потому я и не буду критиковать романъ нисколько, тѣмъ болѣе, что онъ доставилъ мнѣ нѣсколько искренно веселыхъ минутъ. Тамъ, напримѣръ, молодой герой, князь, въ оперѣ, въ ложѣ, всенародно хнычетъ, разчувствовавшись отъ музыки, а великосвѣтская дама пристаетъ къ нему въ умиленіи: „Вы плачете? Вы плачете?“ Но не въ томъ совсѣмъ дѣло, а въ томъ, что я сущность писателя понялъ: г. Авсѣенко изображаетъ собою, какъ писатель, дѣятеля, потерявшагося на обожаніи высшаго свѣта. Короче, онъ палъ ницъ и обожаетъ перчатки, кареты, духи, помаду, шелковыя платья (особенно тотъ моментъ, когда дама садится въ кресло, а платье зашумитъ около ея ногъ и стана) и наконецъ лакеевъ, встрѣчающихъ барыню, когда она возвращается изъ итальянской оперы. Онъ пишетъ обо всемъ этомъ безпрерывно, благоговѣйно, молебно и молитвенно, однимъ словомъ, совершаетъ какъ будто какое-то даже богослуженіе. Я слышалъ (не знаю, можетъ быть въ насмѣшку), что этотъ романъ предпринятъ съ тѣмъ чтобъ поправить Льва Толстаго, который слишкомъ объективно отнесся къ высшему свѣту въ своей „Аннѣ Карениной“, тогда какъ надо было отнестись молитвеннѣе, колѣнопреклоненнѣе, и ужь конечно не стоило бы объ этомъ обо всемъ говорить вовсе, если-бъ, повторяю, не разъяснился совсѣмъ новый культурный типъ. Оказывается вѣдь, что въ каретахъ-то, въ помадѣ-то и въ особенности въ томъ, какъ лакеи встрѣчаютъ барыню—критикъ Авсѣенко и видитъ всю задачу культуры, все достиженіе цѣли, все завершеніе двухсотлѣтняго періода нашего разврата и нашихъ страданій и видитъ совсѣмъ не смѣясь, а любуясь этимъ. Серьезность и искренность этого любованія составляетъ одно изъ самыхъ любопытныхъ явленій. Главное въ томъ, что г. Авсѣенко, какъ писатель, не одинъ; и до него были „коленкоровыхъ манишекъ безпощадные ювеналы“, но никогда въ такой молитвенной степени. Положимъ, что не всѣ они таковы, но въ томъ-то и бѣда моя, что я мало по малу наконецъ убѣдился, что такихъ представителей культуры даже чрезвычайное множество въ литературѣ и въ жизни, хотя-бы и не въ такомъ строгомъ и чистомъ типѣ. Признаюсь, меня какъ бы свѣтомъ озарило: послѣ этого конечно понятны пасквильныя слова на Островскаго и тотъ „теплый, веселый, буржуазный жанръ, который порою такъ плѣнителенъ на французской сценѣ“. Э, тутъ вовсе даже и не Островскій, и не Гоголь, и не сороковые года, (очень ихъ надо!), тутъ просто

Михайловскій петербургскій театръ, посѣщаемый высшимъ обществомъ и къ которому подъѣзжаютъ въ каретахъ,—вотъ это и все, вотъ это-то и увлекло, вотъ это-то и захватило писателя съ безпощадною силой, и прельстило его, закруживъ и замотавъ его умъ на вѣки. Повторяю опять, на это не надо смотрѣть съ одной лишь комической точки, все это гораздо любопытнѣе. Тутъ, однимъ словомъ, многое происходитъ отъ особаго рода маніи, почти болѣзненной, такъ сказать, слабости, которую надо бы щадить. Карета высшаго свѣта ѣдетъ напримѣръ въ театръ: вы только посмотрите, какъ она ѣдетъ и какъ свѣтъ отъ фонарей, врываясь въ окошки кареты, веселитъ въ ней сидящую даму: это уже не перо, это молитва и этому надобно сострадать! Конечно, многіе изъ нихъ тщеславятся передъ народомъ какъ бы чѣмъ-то и высшимъ перчатокъ; между ними много чрезвычайно даже либеральныхъ людей, почти республиканцевъ, а между тѣмъ нѣтъ-нѣтъ и скажется вдругъ перчаточникъ. Эта слабость, эта манія къ красотамъ высшаго свѣта съ его устрицами и сторублевыми арбузами на балахъ, эта манія,—какъ ни невинна, но она породила, напримѣръ, у насъ, даже крѣпостниковъ особаго рода между такими личностями, которыя и душъ-то своихъ никогда не имѣли; но разъ признавъ кареты и Михайловскій театръ за завершеніе культурнаго періода Россійской исторіи, они вдругъ стали совсѣмъ крѣпостниками по убѣжденію, и хотя вовсе не мыслятъ ничего закрѣпостить вновь, но по крайней мѣрѣ плюютъ на народъ со всею откровенностью и съ видомъ самаго полнаго культурнаго права. Вотъ они-то и сыплютъ на него удивительнѣйшія обвиненія: связаннаго двѣсти лѣтъ сряду дразнятъ пассивностью, бѣднаго, съ котораго драли оброкъ, обвиняютъ въ нечистоплотности, ненаученаго ничему обвиняютъ въ ненаучности, а битаго палками—въ грубости нравовъ, а подчасъ готовы обвинить даже за то, что онъ не напомаженъ и не причесанъ у парикмахера изъ Большой Морской. Это вовсе не преувеличеніе, это буквально такъ, и вотъ въ томъ-то все и дѣло, что не преувеличеніе. У нихъ отвращеніе отъ народа остервенѣлое и если когда и похвалятъ народъ,—ну, изъ политики, то наберутъ лишь громкихъ фразъ, для приличія, въ которыхъ сами не понимаютъ ни слова, потому что сами себѣ черезъ нѣсколько строкъ и противорѣчатъ. Кстати, припоминаю теперь одинъ случай, бывшій со мною два съ половиною года назадъ. Я ѣхалъ въ вагонѣ въ Москву и ночью вступилъ въ разговоръ съ сидѣвшимъ подлѣ меня однимъ помѣщикомъ. Сколько я могъ разглядѣть въ темнотѣ, это былъ сухенькій человѣчекъ, лѣтъ пятидесяти, съ краснымъ и какъ бы нѣсколько распухшимъ носомъ и, кажется, съ больными ногами. Былъ онъ чрезвычайно порядочнаго типа—въ манерахъ, въ разговорѣ, въ сужденіяхъ и говорилъ даже очень толково. Онъ говорилъ про тяжелое и неопредѣленное положеніе дворянства, про удивительную дезорганизацію въ хозяйствѣ по всей Россіи, говорилъ почти безъ злобы, но съ строгимъ взглядомъ на дѣло и ужасно заинтересовалъ меня. И что-же вы думаете: вдругъ, какъ-то къ слову, совершенно не замѣтивъ того, онъ изрекъ, что считаетъ себя и въ физическомъ отношеніи несравненно выше мужика и что это ужъ конечно безспорно.

— То-есть, вы хотите сказать, какъ

типъ нравственно развитаго и образованнаго человѣка? пояснилъ было я.

— Нѣтъ, совсѣмъ нѣтъ, совсѣмъ не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужицкой; я *тѣломъ* выше и лучше мужика и это произошло отъ того, что въ теченіе множества поколѣній мы перевоспитали себя въ высшій типъ.

Спорить тутъ было нечего: этотъ слабый человѣчекъ, съ золотушнымъ краснымъ носомъ и съ больными ногами (въ подагрѣ, можетъ быть—дворянская болѣзнь) совершенно добросовѣстно считалъ себя физически, *тѣломъ*, выше и прекраснѣе мужика! Повторяю, въ немъ не было никакой злобы, но согласитесь, что этотъ беззлобный человѣкъ, даже и въ беззлобіи своемъ, можетъ вдругъ, при случаѣ, сдѣлать страшную несправедливость передъ народомъ, совершенно невинно, спокойно и добросовѣстно, именно вслѣдствіе презрительнаго взгляда его на народъ,—взгляда почти безсознательнаго, почти отъ него независящаго.

Тѣмъ не менѣе, собственную оплошность мою мнѣ поправить необходимо. Я написалъ тогда объ идеалахъ народа и о томъ, что мы, „какъ блудные дѣти, возвратясь домой, должны преклоняться передъ правдой народной и ждать отъ нея лишь одной мысли и образа. Но что, съ другой стороны, и народъ долженъ взять у насъ нѣчто изъ того, что мы принесли съ собой, что это *нѣчто* существуетъ дѣйствительно, не миражъ, имѣетъ образъ, форму и вѣсъ, и что, въ противномъ случаѣ, если не согласимся, то пусть уже лучше разойдемся и погибнемъ врозь". Вотъ это-то всѣмъ, какъ вижу теперь, и показалось неяснымъ. Во первыхъ, стали спрашивать: что за такіе идеалы у народа, передъ которыми надо преклоняться; а во вторыхъ: что я подразумѣваю подъ тою драгоцѣнностью, которую мы принесли съ собой и которую долженъ народъ принять отъ насъ sine qua non? И что не короче-ли, наконецъ, не намъ, а народу преклониться передъ нами, единственно по тому одному, что мы Европа и культурные люди, а онъ лишь Россія и *пассивенъ*? Г. Авсѣенко положительно рѣшаетъ вопросъ въ этомъ смыслѣ, но я уже не одному г. Авсѣенко хочу теперь отвѣчать, а всѣмъ, не понявшимъ меня „культурнымъ" людямъ, начиная съ „коленкоровыхъ манишекъ безпощадныхъ Ювеналовъ" до недавнихъ еще господъ, провозгласившихъ, что у насъ и *сохранять совсѣмъ нечего*. Итакъ, къ дѣлу; если-бъ я не погнался тогда за краткостью и разъяснилъ подробнѣе, то, конечно, можно бы было не согласиться со мной, но за то не искажать меня и не обвинять въ неясности.

III.

Сбивчивость и неточность спорныхъ пунктовъ.

Намъ прямо объявляютъ, что у народа нѣтъ вовсе никакой правды, а правда лишь въ культурѣ и сохраняется верхнимъ слоемъ культурныхъ людей. Чтобъ быть добросовѣстнымъ вполнѣ, я эту дорогую европейскую нашу культуру приму въ самомъ высшемъ ея смыслѣ, а не въ смыслѣ лишь каретъ и лакеевъ, именно въ томъ смыслѣ, что мы, сравнительно съ народомъ, развились духовно и нравственно, очеловѣчились, огуманились, и что тѣмъ самымъ, къ чести нашей, совсѣмъ уже отличаемся отъ народа.

Сдѣлавъ такое безпристрастное заявленіе, я уже прямо поставлю передъ собой вопросъ: „точно ли мы такъ хороши собой и такъ безошибочно окультурены, что народную культуру по боку, а нашей поклонъ? И, наконецъ, что именно мы принесли съ собой изъ Европы народу“?

Но прежде, чѣмъ отвѣчать на такой вопросъ, для порядку, устранимъ всякую рѣчь, напримѣръ, о наукѣ, промышленности и проч., чѣмъ Европа справедливо можетъ гордиться передъ нашимъ отечествомъ. Такое устраненіе будетъ совершенно правильнымъ, ибо вовсе не объ томъ идетъ *теперь* дѣло; тѣмъ болѣе, что и наука-то — эта тамъ въ Европѣ, а мы то сами, то есть верхніе слои культурныхъ людей въ Россіи, еще не очень блистаемъ наукой, несмотря на двухсотлѣтнюю школу, и что поклоняться намъ, культурному слою, за науку во всякомъ случаѣ еще рано. Такъ что, наука вовсе не составляетъ какого-нибудь существеннаго и непримиримаго различія между обоими классами русскихъ людей, то есть, между простонародьемъ и верхнимъ культурнымъ слоемъ, и выставлять науку какъ главное существенное различіе наше отъ народа, повторяю, совсѣмъ не вѣрно и было бы ошибкою, а различіе надо искать совсѣмъ въ другомъ. Къ тому же наука есть дѣло всеобщее и не одинъ какой-нибудь народъ въ Европѣ изобрѣлъ ее, а всѣ народы, начиная съ древняго міра, и это дѣло преемственное. Съ своей стороны русскій народъ никогда и не былъ врагомъ науки, мало того, она уже проникала къ намъ еще и до Петра. Царь Иванъ Васильевичъ употреблялъ всѣ усилія, чтобъ завоевать Балтійское прибрежье, лѣтъ сто тридцать раньше Петра. Если-бъ завоевалъ его и завладѣлъ его гаванями и портами, то неминуемо сталъ бы строить свои корабли, какъ и Петръ, а такъ какъ безъ науки ихъ нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука изъ Европы, какъ и при Петрѣ. Наши Потугины безчестятъ народъ нашъ насмѣшками, что русскіе изобрѣли одинъ самоваръ, но врядъ ли европейцы примкнутъ къ хору Потугиныхъ. Слишкомъ ясно и понятно, что все дѣлается по извѣстнымъ законамъ природы и исторіи, и что не скудоуміе, не низость способностей русскаго народа и не позорная лѣнь причиною того, что мы такъ мало произвели въ наукѣ и въ промышленности. Такое-то дерево выростаетъ въ столько-то лѣтъ, а другое вдвое позже его. Тутъ все зависитъ отъ того, какъ былъ поставленъ народъ природой, обстоятельствами, и что ему прежде всего надо было сдѣлать. Тутъ причины географическія, этнографическія, политическія, тысячи причинъ, и все ясныхъ и точныхъ. Никто изъ здравыхъ умомъ не станетъ укорять и стыдить тринадцатилѣтняго за то, что ему не двадцать пять лѣтъ. „Европа, дескать, дѣятельнѣе и остроумнѣе пассивныхъ русскихъ, оттого и изобрѣла науку, а они нѣтъ“. Но пассивные русскіе, въ то время какъ тамъ изобрѣтали науку, проявляли не менѣе изумляющую дѣятельность: они создавали царство и *сознательно* создали его единство. Они отбивались всю тысячу лѣтъ отъ жестокихъ враговъ, которые безъ нихъ низринулись бы и на Европу. Русскіе колонизировали дальнѣйшіе края своей безконечной родины, русскіе отстаивали и укрѣпляли за собою свои окраины, да такъ укрѣпляли, какъ теперь мы, культурные люди, и не укрѣпимъ, а, напротивъ, пожалуй еще ихъ

расшатаемъ. Къ концу концовъ, послѣ тысячи лѣтъ—у насъ явилось царство и политическое единство безпримѣрное еще въ мірѣ, до того, что Англія и Соединенные Штаты, единственные теперь оставшіяся два государства, въ которыхъ политическое единство крѣпко и своеобразно, можетъ быть, въ этомъ намъ далеко уступятъ. Ну, а взамѣнъ того, въ Европѣ, при другихъ обстоятельствахъ политическихъ и географическихъ, возросла наука. Но за то, вмѣстѣ съ ростомъ и съ укрѣпленіемъ ея, расшаталось нравственное и политическое состояніе Европы почти повсемѣстно. Стало быть у всякаго свое и еще неизвѣстно, кому придется завидовать. Мы-то науку во всякомъ случаѣ пріобрѣтемъ, ну а неизвѣстно еще, что станется съ политическимъ единствомъ Европы? Можетъ быть нѣмцы, всего еще лѣтъ пятнадцать тому назадъ, согласились бы промѣнять половину своей научной славы на такую силу политическаго единства, которая была у насъ уже очень давно. И нѣмцы теперь достигли крѣпкаго политическаго единства, по крайней мѣрѣ по своимъ понятіямъ, но тогда у нихъ еще не было Германской Имперіи и ужь конечно они намъ завидовали про себя, несмотря на все ихъ презрѣніе къ намъ. И такъ, не объ наукѣ и не о промышленности надо поставить вопросъ, а собственно о томъ чѣмъ мы, культурные люди, возвратясь изъ Европы, стали *нравственно*, *существенно* выше народа, и какую такую недосягаемую драгоцѣнность принесли мы ему въ формѣ нашей европейской культуры? Почему мы люди *чистые*, а народъ все еще человѣкъ черный, почему мы все, а народъ ничего? Я утверждаю, что въ этомъ между нами, культурными людьми, чрезвычайная неясность и что мало кто изъ „культурныхъ" на это отвѣтитъ правильно. Напротивъ, тутъ—кто въ лѣсъ кто по дрова, а насмѣшки надъ тѣмъ, зачѣмъ сосна не выросла въ семь лѣтъ, а требуетъ въ семеро больше для росту лѣтъ,—еще до того обыденны и обыкновенны, что не рѣдкость ихъ услышать даже и не отъ однихъ Потугиныхъ, а и отъ людей гораздо повыше ихъ по развитію. О г. Авсѣенко ужь и не упоминаю. А затѣмъ прямо обращаюсь къ вопросу, поставленному вверху главы: точно ли мы такъ хороши собой и такъ безошибочно окультурены, что народную культуру по боку, а нашей поклонъ? И если мы и несемъ что съ собой, то что именно? На это прямо отвѣчу, что мы гораздо хуже народа, и почти во всѣхъ отношеніяхъ.

Намъ говорятъ, что въ народѣ чуть дѣятель, то тотчасъ кулакъ и мошенникъ. (Это не одинъ г. Авсѣенко утверждаетъ, да и вообще, г. Авсѣенко никогда и ничего не скажетъ новаго). Вопервыхъ, это неправда, а вовторыхъ, развѣ между культурными Русскими не такіе же кулаки и мошенники поминутно? Да чуть-ли не больше еще, и это тѣмъ стыднѣе, потому что они окультурены, а народъ нѣтъ. Но главное въ томъ, что вовсе нельзя сказать про народъ, что чуть въ немъ объявится дѣятель, то въ большинствѣ выйдетъ кулакъ и мошенникъ. Не знаю, гдѣ выросли утверждающіе это, я же съ дѣтства и во всю жизнь мою видѣлъ совсѣмъ другое. Мнѣ было всего еще девять лѣтъ отъ роду, какъ помню, однажды, на третій день Свѣтлаго праздника, вечеромъ, часу въ шестомъ, все наше семейство, отецъ и мать, братья и сестры, сидѣли за круглымъ столомъ, за семейнымъ чаемъ, а разговоръ шелъ какъ разъ о деревнѣ и

какъ мы всѣ отправимся туда на лѣто. Вдругъ отворилась дверь и на порогѣ показался нашъ дворовый человѣкъ, Григорій Васильевъ, сейчасъ только изъ деревни прибывшій. Въ отсутствіе господъ, ему даже поручалось управленіе деревней, и вотъ вдругъ, вмѣсто „управляющаго", всегда одѣтаго въ нѣмецкій сюртукъ и имѣвшаго солидный видъ, явился человѣкъ въ старомъ зипунишкѣ и въ лаптяхъ. Изъ деревни пришелъ пѣшкомъ, а войдя сталъ въ комнатѣ не говоря ни слова.

— Что это? крикнулъ отецъ въ испугѣ. Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорѣла-съ! пробасилъ Григорій Васильевъ.

Описывать не стану, что затѣмъ послѣдовало; отецъ и мать были люди небогатые и трудящіеся — и вотъ такой подарокъ къ Свѣтлому дню! Оказалось, что все сгорѣло, все до тла, и избы, и амбаръ, и скотный дворъ, и даже яровыя сѣмена, часть скота и одинъ мужикъ, Архипъ. Съ перваго страху вообразили, что полное раззореніе. Бросились на колѣна и стали молиться, мать плакала. И вотъ вдругъ подходитъ къ ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у насъ по найму, вольная то есть, изъ московскихъ мѣщанокъ. Всѣхъ она насъ, дѣтей, взростила и выходила. Была она тогда лѣтъ сорока пяти, характера яснаго, веселаго, и всегда намъ разсказывала такія славныя сказки! Жалованья она не брала у насъ уже много лѣтъ: „Не надо мнѣ", и накопилось ея жалованья рублей пятьсотъ и лежали они въ ломбардѣ,—„на старость пригодится";—и вотъ она вдругъ шепчетъ мамѣ:

— Коли надо вамъ будетъ денегъ, такъ ужь возьмите мои, а мнѣ что, мнѣ не надо...

Денегъ у ней не взяли, обошлись и безъ того. Но вотъ вопросъ: къ какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая и умершая въ богадѣльнѣ, гдѣ ей очень ея деньги понадобились. Вѣдь, я думаю, такихъ нельзя сопричислить къ кулакамъ и мошенникамъ, а если нельзя, то какъ опредѣлить ея поступокъ: явилась-ли она съ нимъ лишь „на степени стихійнаго существованія, замкнутаго, идиллическаго быта и пассивной жизни", — или проявила что нибудь поэнергичнѣе пассивности? Очень любопытно бы послушать, какъ разрѣшилъ бы это г. Авсѣенко. Мнѣ съ презрѣніемъ отвѣтятъ, что это единичный случай; но я и одинъ успѣлъ вотъ замѣтить въ жизни моей такихъ случаевъ многія сотни въ нашемъ простонародьѣ, а между тѣмъ я твердо знаю, что есть и другіе наблюдатели, тоже умѣющіе смотрѣть на народъ безъ плевка. Не помните-ли вы, какъ въ „Семейной Хроникѣ" Аксакова, мать умолила въ слезахъ мужиковъ перевести ее черезъ широкую Волгу въ Казань, къ больному ребенку, по тонкому льду, весною, когда уже нѣсколько дней никто не рѣшался ступить на ледъ, взломавшійся и прошедшій всего только нѣсколько часовъ спустя по переходѣ. Помните-ли ли вы прелестное описаніе этого перехода, и какъ потомъ, когда перешли, мужики и денегъ брать не хотѣли, понимая, что сдѣлали все изъ-за слезъ матери и для Христа Бога нашего. Происходило же это въ самое темное время крѣпостнаго права! Что же, все это единичные факты? А если и похвальные, — то лишь „на степени стихійнаго существованія, замкнутаго, идиллическаго быта и пассивной жизни"? Да такъ-ли? единичные-ли, слу-

чайные-ли это только факты? Дѣятельный рискъ собственною жизнію изъ состраданія къ горю матери—можно ли считать лишь пассивностью? Не изъ правды-ли, напротивъ, народной, не *изъ милосердія-ли и всепрощенія и широкости взгляда народнаго* произошло это, да еще въ самое варварское время крѣпостнаго права? Да народъ и вѣры не знаетъ, скажете вы, онъ и молитвы не умѣетъ прочесть, онъ поклоняется доскѣ и лепечетъ какой-то вздоръ про святую пятницу и про Фрола и Лавра. На это отвѣчу вамъ, что вотъ эти-то мысли и явились у васъ изъ продолжающагося презрѣнія вашего къ русскому народу и упорно сохраняющемуся въ русскомъ культурномъ типѣ. Мы о вѣрѣ народа и о православіи его имѣемъ всего десятка два либеральныхъ и блудныхъ анекдотовъ и услаждаемся глумительными разсказами о томъ, какъ попъ исповѣдуетъ старуху, или какъ мужикъ молится пятницѣ. Если-бъ г. Авсѣенко дѣйствительно понималъ то, что онъ написалъ о вѣрѣ народной, спасшей Россію, а не выписалъ бы у славянофиловъ, то не оскорбилъ бы народа тутъ же сейчасъ, обозвавъ его чуть не сплошь „кулакомъ и міроѣдомъ". Но въ томъ и дѣло, что эти люди ровно ничего не понимаютъ въ православіи, а потому ровно ничего не поймутъ никогда и въ народѣ нашемъ. Знаетъ же народъ Христа Бога своего можетъ быть еще лучше нашего, хоть и не учился въ школѣ. Знаетъ,—потому что во много вѣковъ перенесъ много страданій, и въ горѣ своемъ всегда, спачала и до нашихъ дней, слыхивалъ объ этомъ Богѣ-Христѣ своемъ отъ святыхъ своихъ, работавшихъ на народъ и стоявшихъ за землю русскую до положенія жизни, отъ тѣхъ самыхъ святыхъ, которыхъ чтитъ народъ доселѣ, помнитъ имена ихъ и у гробовъ ихъ молится. Повѣрьте, что въ этомъ смыслѣ даже самые темные слои народа нашего образованы гораздо больше, чѣмъ вы, въ культурномъ вашемъ невѣдѣніи объ нихъ предполагаете, а можетъ быть даже образованнѣе и васъ самихъ, хоть вы и учились катихизису.

IV.

Благодѣтельный швейцаръ, освобождающій русскаго мужика.

Вотъ что пишетъ г. Авсѣенко въ мартовской статьѣ своей. Мнѣ хочется быть совершенно безпристрастнымъ, а потому позволю себѣ эту очень большую выписку, чтобъ не сказали, что я лишь надергалъ фразъ. Къ тому же эти именно слова г. Авсѣенки я считаю теперь общимъ западническимъ мнѣніемъ о русскомъ народѣ, а потому очень радъ случаю отвѣтить:

....„Для насъ важно при какихъ условіяхъ образованное меньшинство у насъ впервые внимательно заглянуло черезъ стѣну, отдѣлявшую его отъ народа. Несомнѣнно, что открывшееся его глазамъ должно было поразить его и во многихъ отношеніяхъ удовлетворить внутреннимъ потребностямъ, въ немъ сказавшимся. Люди недовольные ролью пріемышей западной цивилизаціи, нашли тамъ идеалы совершенно отличные отъ европейскихъ и тѣмъ не менѣе прекрасные. Люди разочарованные и, по тогдашнему выраженію, раздвоенные заимствованною культурой, нашли тамъ простыя, цѣльныя натуры, силу вѣры, напоминавшую первые вѣка христіанства, суровую свѣжесть патріархальнаго быта. Контрастъ между двумя жизнями, какъ мы сказали уже, долженъ былъ производить эффектъ чрезвычайный, неотразимый. Захотѣлось освѣжиться въ невозмущенныхъ волнахъ этого стихійнаго существованія, подышать чистымъ воздухомъ полей и лѣсовъ. Лучшіе люди были поражены

тѣмъ, что въ этомъ стоячемъ быту, чуждомъ не только образованности, но и простой грамотности, являются черты такого душевнаго величія, передъ которыми должно преклониться просвѣщенное меньшинство. Всѣ эти впечатлѣнія создали огромный запросъ на сближеніе съ народомъ.

Но что именно понималось подъ этимъ сближеніемъ съ народомъ? Народные идеалы только потому и были ясны, что народная жизнь текла безконечно далеко отъ жизни образованнаго круга, что условія и содержаніе этихъ двухъ жизней были совершенно различны. Вспомнимъ, что люди малообразованные, жившіе очень близко къ народу, давно уже практически и матеріально удовлетворившіе этому запросу на сближеніе, совсѣмъ не замѣчали прекрасныхъ народныхъ идеаловъ и твердо вѣрили, что мужикъ собака и каналья. Это очень важно потому, что свидѣтельствуетъ до какой степени на практикѣ слабо воспитательное значеніе народныхъ идеаловъ и какъ мудрено ожидать отъ нихъ спасенія. Чтобы понять эти идеалы и возвести ихъ въ перлъ созданія, необходима извѣстная высота культурнаго уровня; поэтому мы считаемъ себя въ правѣ сказать, что самое поклоненіе народнымъ идеаламъ было у насъ продуктомъ усвоенной европейской культуры, и что безъ нея мужикъ въ нашихъ глазахъ до сихъ поръ оставался-бы собакой и канальей. Стало быть, главное зло, общее зло для насъ и для народа, заключалось не въ „культурѣ“, а въ слабости культурныхъ началъ, въ недостаточности нашей „культуры“.

Какое удивительное и неожиданное заключеніе! Тутъ, въ этомъ хитренькомъ подборѣ словъ, всего важнѣе выводъ, что народныя начала (и православіе вмѣстѣ съ ними, потому что, въ сущности, всѣ народныя начала у насъ сплошь вышли изъ православія) не имѣютъ никакой культурной силы, ни малѣйшаго воспитательнаго значенія, такъ что за всѣмъ этимъ намъ необходимо было отправляться въ Европу. Не оттого, видите-ли „малообразованные люди, жившіе очень близко къ народу“, все еще не замѣчали „прекрасныхъ народныхъ идеаловъ“ и твердо продолжали вѣрить, что мужикъ „собака и каналья“,—не оттого что они уже были развращены культурой до конца ногтей, не смотря на малообразованность свою, и уже оторвались отъ народа хотя и жили къ нему близко, но потому что культуры, видите-ли, было еще недостаточно. Тутъ, главное,—злостная инсинуація на слабость воспитательнаго значенія народныхъ началъ и выводъ, что, стало быть, они ни къ чему и не ведутъ, а ведетъ ко всему культура. Что до меня, я уже давно заявилъ, что мы начали нашу европейскую культуру съ разврата. Но вотъ что при этомъ надо замѣтить особенно: вотъ эти-то малообразованные, но уже успѣвшіе окультуриться люди, окультуриться хотя бы только слабо и наружно, всего только въ какихъ нибудь привычкахъ своихъ, въ новыхъ предразсудкахъ, въ новомъ костюмѣ,—вотъ эти-то всегда и начинаютъ именно съ того, что презираютъ прежнюю среду свою, свой народъ и даже вѣру его, иногда даже до ненависти. Такъ случается съ иными высшими „графскими лакеями“, маленькими выскочившими въ дворянство чиновничишками и проч., и проч. Они еще сильнѣе презираютъ народъ, чѣмъ „большіе господа“, гораздо уже правильнѣе ихъ окультуренные, и удивляться этому, какъ дѣлаетъ г. Авсѣенко, вовсе нечего. Въ первомъ январьскомъ выпускѣ моего „Дневника“ я припомнилъ одно мое еще дѣтское впечатлѣніе: картинку фельдъегеря бившаго мужика. Фельдъегерь этотъ безъ сомнѣнія былъ близокъ къ народу, онъ всю жизнь провелъ на большой дорогѣ, а между тѣмъ презиралъ и билъ его,—почему? Потому что былъ уже ужасно отдаленъ отъ народа, хотя и

жилъ къ нему близко. Безъ всякаго сомнѣнія онъ не получилъ ни малѣйшей высшей культуры, но за то получилъ фельдъегерьскій мундиръ съ фалдочками, который давалъ ему право бить безъ контроля и „сколько влѣзетъ". И онъ гордился своимъ мундиромъ и считалъ себя безмѣрно выше мужика. Почти такъ поставленъ бывалъ и помѣщикъ, усадьба котораго была какихъ нибудь въ ста шагахъ отъ мужицкихъ избъ; но не въ ста шагахъ было дѣло, а въ томъ, что человѣкъ вкусилъ уже отъ разврата цивилизаціи. Онъ и близокъ къ народу, всего въ ста шагахъ; но на этомъ пространствѣ ста шаговъ умѣстилась цѣлая пропасть. Окультуренъ этотъ помѣщикъ могъ быть дѣйствительно всего только капельку, ну а развращенъ этой капелькой былъ уже окончательно. Такъ должно было быть именно въ началѣ реформы и въ большинствѣ. Но замѣчу твердо, что и тутъ г. Авсѣенко несвѣдущъ, какъ младенецъ: не всѣ, вовсе не всѣ малообразованные люди были развращены и презирали народъ даже и въ то время; но бывали напротивъ и такіе изъ нихъ, на которыхъ начала народныя не переставали производить чрезвычайное воспитательное значеніе. Такой слой уцѣлѣлъ и велся даже съ самой реформы Петра, вплоть до нашего времени. Было множество, великое даже множество, вкусившихъ отъ культуры и воротившихся опять къ народу и къ идеаламъ народнымъ, не теряя своей культуры. Впослѣдствіи изъ этого слоя „вѣрныхъ" и выдѣлился слой славянофиловъ, людей уже высоко окультуренныхъ европейской цивилизаціей. Но не высокая европейская цивилизація славянофиловъ была причиною того, что они остались вѣрны народу и народнымъ началамъ, вовсе нѣтъ, а напротивъ неизсякаемое, непрестанное воспитательное дѣйствіе народныхъ началъ на умъ и развитіе того слоя истинно русскихъ людей, который, силою природныхъ свойствъ своихъ, въ состояніи былъ противустать силѣ цивилизаціи, не уничтожаясь лично до нуля, слоя, шедшаго, повторяю это, съ самаго начала реформы. Я полагаю, что для многихъ славянофилы наши—какъ съ неба упали, а не ведутъ свой родъ еще съ реформы Петра, какъ протестъ всему, что въ ней было невѣрнаго и фанатически исключительнаго. Но, повторяю опять, бывали и мало окультуренные люди, никогда не считавшіе народъ за собаку и каналью. Они не потеряли своего христіанства и смотрѣли на народъ какъ на младшаго брата, а не какъ на собаку. Но наши культурные люди врядъ ли про это знаютъ, а если и знаютъ, то факты эти презираютъ и въ соображеніе не берутъ и не возьмутъ ни за что, потому что эти, не потерявшіе своего христіанства мало окультуренные люди прямо бы противорѣчили основному и побѣдоносному ихъ тезису о малой воспитательности народныхъ началъ. Имъ бы пришлось согласиться тогда, что не народныя начала были такъ слабы и невоспитательны, а, напротивъ, культура была уже слишкомъ развратна, хотя только что еще начиналась, а потому и успѣла погубить такое множество *нетвердыхъ* людей. (Нетвердыхъ людей вѣдь всегда большинство). Г. Авсѣенко потому и заключаетъ прямо, что „зло, главное зло, общее зло для насъ и для народа, заключалось не въ культурѣ, а въ слабости культурныхъ началъ", а потому надо было поскорѣе бѣжать въ Европу, чтобъ тамъ докультуриться ужь до

того, чтобы ужъ не считать мужика за собаку и каналью.

Такъ у насъ и дѣлали: и сами въ Европу ѣздили и оттуда учителей къ себѣ привозили. Передъ революціей французской, во времена Руссо и переписки Императрицы съ Вольтеромъ, была у насъ мода на учителей швейцарцевъ

...„И просвѣщеніе несущій всѣмъ швейцаръ*).

„Пріѣзжай, бери деньги, только огумань и очеловѣчь",—дѣйствительно была тогда такая мода. У Тургенева въ „Дворянскомъ Гнѣздѣ" великолѣпно выведенъ мелькомъ одинъ портретъ тогдашняго окультурившагося въ Европѣ дворянчика, воротившагося къ отцу въ помѣстье. Онъ хвасталъ своею гуманностью и образованностью. Отецъ сталъ его укорять за то, что онъ сманилъ дворовую невинную дѣвушку и обезчестилъ, а тотъ ему: „А чтожъ, я и женюсь". Помните эту картинку, какъ отецъ схватилъ палку, да за сыномъ, а тотъ въ англійскомъ синемъ фракѣ, въ сапогахъ съ кисточками и въ лосинныхъ панталонахъ въ обтяжку,—отъ него черезъ садъ, черезъ гумно, да во всѣ лопатки! И что же, хоть и убѣжалъ, а черезъ нѣсколько дней взялъ да и женился, во имя идей Руссо, носившихся тогда въ воздухѣ, а пуще всего изъ блажи, изъ шатости понятій, воли и чувствъ и изъ раздраженнаго самолюбія: „вотъ, дескать, посмотрите всѣ, каковъ я есть!" Жену свою потомъ онъ не уважалъ, забросилъ, измучилъ въ разлукѣ и третировалъ ее съ глубочайшимъ презрѣніемъ, дожилъ до старости и умеръ въ полномъ цинизмѣ, злобнымъ, мелкимъ, дряннымъ старичишкой, ругаясь въ послѣднюю минуту и крича сестрѣ: „Глашка, Глашка, дура, бульонцу, бульонцу!" Какая прелесть этотъ разсказъ у Тургенева и какая правда! А между тѣмъ, этотъ былъ уже значительно окультуренъ; но г. Авсѣенко не про то говоритъ: онъ требуетъ настоящей культуры, то есть нашего уже времени, вотъ той самой, которая, наконецъ, до того докультурила нашихъ петербургскихъ помѣщиковъ, что они рыдали, читая „Антона Горемыку", а потомъ взяли, да и освободили крестьянъ съ землей, и прежнимъ собакамъ и канальямъ положили говорить теперь *вы*. Какой въ самомъ дѣлѣ прогрессъ! Разсмотрѣли, впрочемъ, потомъ, что эти, рыдавшіе надъ Антономъ-Горемыкой помѣщики до того, по ближайшемъ изученіи ихъ, оказались не понимающими ни народа, ни жизни его, ни народныхъ началъ, что почти принимали русскихъ мужиковъ за какихъ-то французскихъ поселянъ, или за пастушковъ съ фарфоровыхъ чашекъ, а когда началась долгая и трудная работа правительства по освобожденію крестьянъ, то нѣкоторыя изъ мнѣній сихъ, высокихъ даже помѣщиковъ, поразили почти анекдотическимъ невѣдѣніемъ предмета, деревни, жизни народной и всего прочаго, относящагося до народныхъ началъ. А, между тѣмъ, г. Авсѣенко именно утверждаетъ, что европейская-то культура и способствовала постиженію народныхъ идеаловъ, а сами народныя начала лишены всякаго воспитательнаго значенія. Надо полагать, что для постиже-

*) Стихъ кажется графа Хвостова. Я помню даже четверостишіе, въ которомъ поэтъ перечисляетъ всѣ народы Европы:

„Туркъ, Персъ, Пруссъ, Франкъ и мстительный Гишпанецъ,
„Италъи сынъ и сынъ наукъ Германецъ,
„Меркантилизма сынъ, стрегущій свой товаръ,
(то есть Англичанинъ)
„И просвѣщеніе несущій всѣмъ Швейцаръ"...

нія народныхъ идеаловъ надо было ѣздить въ Парижъ или по крайней мѣрѣ въ водевильчикъ въ Михайловскій театръ, къ которому подъѣзжаютъ кареты. Но пусть, пусть прогрессъ и пониманіе русскихъ началъ досталось намъ единственно лишь изъ Европы, пусть: хвала культурѣ! Вотъ она настоящая-то культура до чего доводитъ людей, восклицаетъ сонмъ г-дъ Авсѣенокъ! И что такое передъ нею какія-то тамъ народныя началишки, съ православіемъ во главѣ,—никакой воспитательной силы не имѣютъ, долой ихъ!

Положимъ. Но вотъ на что отвѣтьте однакоже, господа, всего только на одинъ вопросъ: эти учителя-то наши, европейцы-то, швейцары - то эти всѣ благодѣтельные, научившіе насъ освободить крестьянъ съ землею, они то почему тамъ у себя въ Европѣ никого не освободили, да не только съ землей, а и просто въ чемъ мать родила, и это повсемѣстно. Почему въ Европѣ освобожденіе произошло не отъ владѣтелей, не отъ бароновъ, не отъ помѣщиковъ, а возстаніемъ и бунтомъ, огнемъ и мечомъ и рѣками крови? А если и освободили гдѣ безъ рѣкъ крови, то вездѣ и повсемѣстно на пролетарскихъ началахъ, въ видѣ совершенныхъ рабовъ. А мы-то кричимъ, что научились освобождать у европейцевъ! „Окультурились, дескать, и перестали считать мужика за собаку и каналью". Ну, а почему же во Франціи, да и повсемѣстно въ Европѣ, всякаго пролетарія, всякаго ничего не имѣющаго работника—до сихъ поръ считаютъ за собаку и каналью, — и ужь въ этомъ, конечно, вы не заспорите. Прямо по закону ему, конечно, нельзя сказать, что онъ собака и каналья; но за то сдѣлать все можно съ нимъ именно какъ съ собакой и канальей, а хитрый законъ требуетъ только, чтобы соблюдена была при этомъ надлежащая учтивость. „Учтивъ буду, а хлѣба не дамъ, — хоть умри сейчасъ съ голоду, какъ собака", — вотъ какъ теперь въ Европѣ. Какъ же это такъ? Что за противорѣчіе? Какъ же это они насъ-то научили прямо противоположному? Нѣтъ, господа, тутъ у насъ, видно, что-то произошло совсѣмъ другое, да и совсѣмъ не такъ какъ вы говорите. Вѣдь разсудите: если-бъ мы чрезъ культуру только перестали считать мужика за собаку и каналью, то ужь навѣрно и освободили бы его на культурныхъ основаніяхъ, то есть на пролетарскихъ началахъ, какъ въ Европѣ учители наши: „ступай, дескать, милый братъ нашъ на свободу, въ чемъ мать родила, да еще за честь почитай". Вотъ въ Остзейскомъ краѣ точь въ точь вѣдь такъ освобожденъ былъ народъ, а почему? А потому, что остзейцы—европейцы, а мы всего только русскіе. Выходитъ, стало быть, что мы и сдѣлали это дѣло, какъ русскіе, а совсѣмъ ужь не какъ культурные европейцы, и освободили народъ съ землей лишь на удивленіе и ужасъ европейскихъ учителей нашихъ и всѣхъ благодѣтельныхъ швейцаровъ. Да, на ужасъ: тамъ раздались тревожные голоса, не помните, что-ли? Закричали даже про коммунизмъ. Помните словечко, теперь уже умершаго Гизо, объ освобожденіи народа нашего: „Какъ же вы хотите послѣ того, чтобъ мы васъ не боялись",—сказалъ онъ тогда одному русскому. Нѣтъ-съ, освободили мы народъ съ землей не потому, что стали культурными европейцами, а потому, что сознали въ себѣ русскихъ людей съ Царемъ во главѣ, точь въ точь какъ мечталъ сорокъ лѣтъ тому помѣщикъ Пушкинъ, проклявшій въ

ту именно эпоху свое европейское воспитаніе и обратившійся къ народнымъ началамъ. *Во имя этихъ-то народныхъ началъ* и освобожденъ былъ русскій народъ съ землею, а не потому, что такъ научила Европа; напротивъ именно потому, что всѣ мы вдругъ, въ первый разъ, рѣшились преклониться передъ народной правдой. Это былъ не только великій моментъ русской жизни, въ который русскіе культурные люди въ первый разъ рѣшились поступить своеобразно, но и пророческій моментъ русской жизни. И можетъ быть очень скоро начнетъ сбываться пророчество....

—

Но... но здѣсь я пока перерву. Я вижу, что эта статья займетъ въ „Дневникѣ" все мѣсто. И такъ до слѣдующаго, Майскаго, „Дневника" моего. И, конечно, я оставляю на майскій № самую существенную часть моего объясненія. Перечислю, для памяти, что въ нее войдетъ. Я хочу указать на совершенную несостоятельность и даже ничтожность именно *той стороны* нашей культуры, которую иные господа считаютъ, напротивъ, нашимъ свѣтомъ, единственнымъ спасеніемъ и славой нашей передъ народомъ, съ высоты которой плюютъ они на народъ и считаютъ себя въ полномъ правѣ плевать. Ибо хвалить „народныя начала", восхищаться ими и тутъ же увѣрять, что въ нихъ нѣтъ никакой силы, никакого воспитательнаго значенія и что все это лишь одна „пассивность" — значитъ плевать на эти начала. Утверждать, напримѣръ, какъ г. Авсѣенко, что народъ есть не болѣе какъ „странникъ, который самъ еще не выбралъ себѣ дороги" и что „ждать мысли и образа отъ этой загадки, отъ этого сфинкса, не нашедшаго еще для себя самого ни мысли, ни образа—есть иронія",—утверждать это, говорю я, значитъ лишь совершенно не знать того предмета, о которомъ толкуешь, то есть вовсе не знать народа. Я хочу именно указать, что народъ вовсе не такъ безнадеженъ, вовсе не такъ подверженъ шатости и неопредѣленности, какъ, напротивъ, подверженъ тому и зараженъ тѣмъ нашъ русскій культурный слой, которымъ эти всѣ господа гордятся, какъ драгоцѣннѣйшимъ, двухсотлѣтнимъ пріобрѣтеніемъ Россіи. Я хотѣлъ бы, наконецъ, указать, что въ народѣ нашемъ вполнѣ сохранилась та твердая сердцевина, которая спасетъ его отъ излишествъ и уклоненій нашей культуры и выдержитъ грядущее къ народу образованіе, безъ ущерба лику и образу народа русскаго. Если же я и сказалъ, что „народъ загадка", то совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ поняли меня эти господа. Въ концѣ концовъ, я хочу разъяснить вполнѣ, какъ самъ понимаю, тотъ сбивчивый вопросъ, который самъ собою представляется послѣ всѣхъ этихъ препирательствъ; „что же, если мы, окультуренный русскій слой, такъ уже слабы и шатки передъ народомъ, то что въ такомъ случаѣ можемъ мы принести ему такого драгоцѣннаго, передъ чѣмъ бы онъ долженъ преклониться и принять эту драгоцѣнность отъ насъ sine qua non", какъ самъ я выразился въ февральскомъ моемъ „Дневникѣ"? Вотъ эту сторону нашей культуры, которую и надо считать за драгоцѣнность, и на которую, напротивъ, всѣ эти господа *до сихъ поръ еще* не обратили ни малѣйшаго вниманія, я и хочу указать и разъяснить. И такъ— до майскаго номера. Что до меня, занимательнѣе и *настоятельнѣе* этихъ

вопросовъ я ничего не могу и представить себѣ, не знаю какъ читатель. Но обѣщаюсь изъ всѣхъ силъ написать покороче, а о г. Авсѣенко постараюсь даже совсѣмъ не упоминать больше.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Нѣчто о политическихъ вопросахъ.

Всѣ говорятъ о политическихъ текущихъ вопросахъ и всѣ чрезвычайно интересуются; да какъ и не интересоваться? Меня вдругъ, ужасно серьезно, спросилъ одинъ очень серьезный человѣкъ, встрѣтясь со мной нечаянно: „Что, будетъ война или нѣтъ?“ Я былъ очень удивленъ: хоть я и горячо слѣжу за событіями, какъ и всѣ мы теперь, но о неминуемости войны даже и вопроса не ставилъ. И кажется я былъ правъ: въ газетахъ возвѣщаютъ о предстоящемъ и весьма близкомъ свиданіи въ Берлинѣ трехъ канцлеровъ и ужь, конечно, это безконечное герцеговинское дѣло будетъ тогда улажено и, вѣроятнѣе всего, весьма удовлетворительнымъ для русскаго чувства образомъ. Признаюсь, меня не очень-то смутили и слова этого барона Родича, еще мѣсяцъ назадъ, и право только позабавили, когда я первый разъ читалъ о нихъ. Потомъ изъ-за этихъ словъ подняли шумъ. А между тѣмъ мнѣ кажется, что баронъ Родичъ не только не хотѣлъ никого уколоть, но даже и „политики“ тутъ никакой въ словахъ его не было, а просто онъ обмолвился, сболтнулъ, брякнулъ о безсиліи Россіи вздоръ. Мнѣ даже кажется, что онъ, передъ тѣмъ какъ выразиться объ нашемъ безсиліи, самъ про себя думалъ такъ: „ужь если мы сильнѣе Россіи, стало быть, Россія совсѣмъ безсильна. А мы дѣйствительно сильнѣе, потому что Берлинъ насъ никогда не отдастъ Россіи. О, Берлинъ допуститъ можетъ быть, чтобъ мы подрались съ Россіей, но единственно для своего удовольствія и чтобъ получше высмотрѣть: кто кого, и какія у каждаго изъ насъ средства? Но если насъ Россія побѣдитъ и сильно припретъ къ стѣнѣ, то Берлинъ скажетъ ей: „стой, Россія“!—и въ большую, т. е. въ очень большую обиду, насъ ни за что не дастъ, а такъ развѣ въ маленькую. А такъ какъ Россія не рѣшится идти на насъ и на Берлинъ вмѣстѣ, то дѣло и кончится для насъ безъ большаго вреда; но за то у насъ шансъ, что если мы побьемъ Россію, то можемъ вдругъ много выиграть. И такъ, шансъ выиграть съ одной стороны очень много и, въ случаѣ, если насъ побѣдитъ Россія, проиграть очень мало,—это очень хорошо, очень политично! А Берлинъ намъ другъ: онъ очень насъ любитъ, потому что хочетъ взять у насъ наши нѣмецкія владѣнія и возьметъ ихъ непремѣнно, и можетъ быть довольно скоро; но такъ какъ онъ очень насъ за это любитъ, то непремѣнно и вознаградитъ насъ за отнятыя у насъ имъ нѣмецкія наши владѣнія и отдастъ намъ за нихъ право

на турецкихъ славянъ. Это онъ непремѣнно сдѣлаетъ, потому что ему будетъ очень выгодно это сдѣлать, ибо мы, если и вознаградимся славянами, все-таки совсѣмъ передъ нимъ не усилимся, ну, а если Россія вознаградится славянами, то Россія даже и передъ Берлиномъ усилится. Вотъ почему славяне и достанутся намъ, а не Россіи; вотъ почему я и не утерпѣлъ и сказалъ это въ рѣчи моей славянскимъ вождямъ. Надо же ихъ приготовлять исподволь къ хорошимъ идеямъ"...

Мысли эти очень могутъ быть не только у Родича, но и вообще у Австрійцевъ. И ужъ конечно тутъ много хаоса. Представить только себѣ, что славяне подпадутъ подъ власть Австріи и она, первымъ дѣломъ, начнетъ ихъ онѣмечивать, и даже потерявъ уже свои нѣмецкія владѣнія! Вѣрно однако же то, что въ Европѣ и не одна Австрія наклонна вѣрить въ безсиліе Россіи, а во-вторыхъ—въ непремѣнную жажду Россіи захватить какъ можно скорѣе славянъ въ свою власть. Самый полный переворотъ въ политической жизни Россіи наступитъ именно тогда, когда Европа убѣдится, что Россія вовсе ничего не хочетъ захватывать. Тогда наступитъ новая эра и для насъ, и для всей Европы. Убѣжденіе въ безкорыстіи Россіи, если придетъ когда-нибудь, то разомъ обновитъ и измѣнитъ весь ликъ Европы. Убѣжденіе это непремѣнно наконецъ воцарится, но не вслѣдствіе нашихъ увѣреній: Европа не станетъ вѣрить никакимъ увѣреніямъ нашимъ до самаго конца и все будетъ смотрѣть на насъ враждебно. Трудно представить себѣ, до какой степени она насъ боится. А если боится, то должна и ненавидѣть. Насъ замѣчательно не любитъ Европа и никогда не любила; никогда не считала она насъ за своихъ, за европейцевъ, а всегда лишь за досадныхъ пришельцевъ. Вотъ потому-то она очень любитъ утѣшать себя иногда мыслію, что Россія будто бы „пока безсильна".

И это хорошо, что она такъ наклонна думать. Я убѣжденъ, что самая страшная бѣда сразила бы Россію, еслибъ мы побѣдили, напримѣръ, въ крымскую компанію и вообще одержали бы тогда верхъ надъ союзниками! Увидавъ, что мы такъ сильны, всѣ въ Европѣ возстали бы на насъ тогда тотчасъ же, съ фанатическою ненавистью. Они подписали бы, конечно, невыгодный для себя миръ, еслибъ были побѣждены, но никогда никакой миръ не могъ бы состояться на самомъ дѣлѣ. Они тотчасъ же бы стали готовиться къ новой войнѣ, имѣющей цѣлью уже истребленіе Россіи, и, главное, за нихъ сталъ бы весь свѣтъ. 63-й годъ, напримѣръ, не обошелся бы намъ тогда однимъ обмѣномъ ѣдкихъ дипломатическихъ нотъ: напротивъ, осуществился бы всеобщій крестовый походъ на Россію. Мало того, этимъ крестовымъ походомъ нѣкоторыя европейскія правительства непремѣнно поправили бы тогда свои внутреннія дѣла, такъ что онъ во всѣхъ отношеніяхъ былъ бы имъ выгоденъ. Революціонныя партіи и всѣ недовольные тогдашнимъ правительствомъ во Франціи, напримѣръ, немедленно примкнули бы къ правительству, въ виду „священнѣйшей цѣли"—изгнанія Россіи изъ Европы, и война явилась бы народною. Но насъ тогда сберегла судьба, доставивъ перевѣсъ союзникамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сохранивъ всю нашу военную честь и даже еще возвеличивъ ее, такъ что пораженіе еще можно было перенести. Однимъ словомъ, пораженіе

мы перенесли, но бремя побѣды надъ Европой ни за что бы не перенесли, не смотря на всю нашу живучесть и силу. Насъ точно также спасла уже разъ судьба, въ началѣ столѣтія, когда мы свергали съ Европы иго Наполеона I, — спасла именно тѣмъ, что дала намъ тогда въ союзники Пруссію и Австрію. Еслибъ мы тогда одни побѣдили, то Европа, чуть только бы оправилась послѣ Наполеона I, тотчасъ, и безъ Наполеона, бросилась бы опять на насъ. Но, славу Богу, случилось иначе: Пруссія и Австрія, которыхъ мы же освободили, немедленно приписали себѣ всю честь побѣдъ, а впослѣдствіи, теперь то есть, уже прямо утверждаютъ, что тогда побѣдили они одни, а Россія только мѣшала.

И вообще мы такъ поставлены нашей европейской судьбой, что намъ никакъ нельзя побѣждать въ Европѣ, еслибъ даже мы и могли побѣдить: въ высшей степени невыгодно и опасно. Такъ, развѣ какія-нибудь частныя, такъ сказать, домашнія побѣды намъ они еще могутъ „простить",—завоеваніе Кавказа, напримѣръ. Первая же война съ Турціей, при покойномъ государѣ и вскорѣ послѣ того послѣдовавшая тогда раздѣлка наша съ Польшей, чуть было не произвели взрыва во всей Европѣ. Они теперь „простили" намъ, повидимому, наши недавнія пріобрѣтенія въ Средней Азіи, а однако, какъ вѣдь квакаютъ тамъ у себя, успокоиться не могутъ.

Тѣмъ не менѣе, ходъ событій, кажется, долженъ измѣнить отношенія къ Россіи европейскихъ народовъ въ весьма недалекомъ будущемъ. Въ прошломъ мартовскомъ „Дневникѣ" моемъ, я изложилъ нѣсколько мечтаній моихъ о близкомъ будущемъ Европы. Но уже не мечтательно, а почти съ увѣренностью можно сказать, что даже въ скоромъ, можетъ быть ближайшемъ будущемъ, Россія окажется сильнѣе всѣхъ въ Европѣ. Произойдетъ это отъ того, что въ Европѣ уничтожатся всѣ великія державы и по весьма простой причинѣ: онѣ всѣ будутъ обезсилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремленіями огромной части своихъ низшихъ подданныхъ, своихъ пролетаріевъ и нищихъ. Въ Россіи же этого не можетъ случиться совсѣмъ: нашъ демосъ доволенъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ удовлетворенъ, ибо все къ тому идетъ, общимъ настроеніемъ, или лучше согласіемъ. А потому и останется одинъ только колоссъ на континентѣ Европы — Россія. Это случится, можетъ быть, даже гораздо ближе, чѣмъ думаютъ. Будущность Европы принадлежитъ Россіи. Но вопросъ: что будетъ тогда дѣлать Россія въ Европѣ? Какую роль играть въ ней? Готова-ли она къ этой роли?

II.

Парадоксалистъ.

Кстати, насчетъ войны и военныхъ слуховъ. У меня есть одинъ знакомый парадоксалистъ. Я его давно знаю. Это человѣкъ совершенно никому неизвѣстный и характеръ странный: онъ *мечтатель*. Объ немъ я непремѣнно поговорю подробнѣе. Но теперь мнѣ припомнилось, какъ однажды, впрочемъ уже нѣсколько лѣтъ тому, онъ разъ заспорилъ со мной о войнѣ. Онъ защищалъ войну вообще и можетъ быть единственно изъ игры въ парадоксы. Замѣчу, что онъ „статскій" и самый мирный и незлобивый человѣкъ,

какой только можетъ быть на свѣтѣ и у насъ въ Петербургѣ.

— „Дикая мысль",—говорилъ онъ, между прочимъ,—„что война есть бичъ для человѣчества. Напротивъ, самая полезная вещь. Одинъ только видъ войны ненавистенъ и дѣйствительно пагубенъ: это война междоусобная, братоубійственная. Она мертвитъ и разлагаетъ государство, продолжается всегда слишкомъ долго и озвѣряетъ народъ на цѣлыя столѣтія. Но политическая, международная война приноситъ лишь одну пользу, во всѣхъ отношеніяхъ, а потому совершенно необходима.

— Помилуйте, народъ идетъ на народъ, люди идутъ убивать другъ друга, что тутъ необходимаго?

— Все и въ высшей степени. Но, во-первыхъ, ложь, что люди идутъ убивать другъ друга: никогда этого не бываетъ на первомъ планѣ, а, напротивъ, идутъ жертвовать собственною жизнью,—вотъ что должно стоять на первомъ планѣ. Это же совсѣмъ другое. Нѣтъ выше идеи, какъ пожертвовать собственною жизнію, отстаивая своихъ братьевъ и свое отечество, или даже просто отстаивая интересы своего отечества. Безъ великодушныхъ идей человѣчество жить не можетъ, и я даже подозрѣваю, что человѣчество именно потому и любитъ войну, чтобъ участвовать въ великодушной идеѣ. Тутъ потребность.

— Да развѣ человѣчество любитъ войну?

— А какже? Кто унываетъ во время войны? Напротивъ, всѣ тотчасъ-же ободряются, у всѣхъ поднятъ духъ и не слышно объ обыкновенной апатіи или скукѣ, какъ въ мирное время. А потомъ, когда война кончится, какъ любятъ вспоминать о ней, даже въ случаѣ пораженія! И не вѣрьте, когда въ войну, всѣ, встрѣчаясь, говорятъ другъ другу, качая головами: „Вотъ несчастье, вотъ дожили!" Это лишь одно приличіе. Напротивъ, у всякаго праздникъ въ душѣ. Знаете, ужасно трудно признаваться въ иныхъ идеяхъ: скажутъ,—звѣрь, ретроградъ, осудятъ; этого боятся. Хвалить войну никто не рѣшится.

— Но вы говорите о великодушныхъ идеяхъ, объ очеловѣченіи. Развѣ не найдется великодушныхъ идей безъ войны? Напротивъ, во время мира имъ еще удобнѣе развиться.

— Совершенно напротивъ, совершенно обратно. Великодушіе гибнетъ въ періоды долгаго мира, а вмѣсто него являются цинизмъ, равнодушіе, скука и много—много что злобная насмѣшка, да и то почти для праздной забавы, а не для дѣла. Положительно можно сказать, что долгій миръ ожесточаетъ людей. Въ долгій миръ соціальный перевѣсъ всегда переходитъ на сторону всего что есть дурнаго и грубаго въ человѣчествѣ,—главное, къ богатству и капиталу. Честь, человѣколюбіе, самопожертвованіе еще уважаются, еще цѣнятся, стоятъ высоко сейчасъ послѣ войны, но чѣмъ дольше продолжается миръ—всѣ эти прекрасныя великодушныя вещи блѣднѣютъ, засыхаютъ, мертвѣютъ, а богатство, стяжаніе захватываютъ все. Остается подъ конецъ лишь одно лицемѣріе,—лицемѣріе чести, самопожертвованія, долга, такъ что пожалуй ихъ еще и будутъ продолжать уважать, не смотря на весь цинизмъ, но только лишь на красныхъ словахъ для формы. Настоящей чести не будетъ, а останутся формулы. Формулы чести—это смерть чести. Долгій миръ производитъ апатію, низменность мысли, развратъ,

притупляетъ чувства. Наслажденія не утончаются, а грубѣютъ. Грубое богатство не можетъ наслаждаться великодушіемъ, а требуетъ наслажденій болѣе скоромныхъ, болѣе близкихъ къ дѣлу, то есть, къ прямѣйшему удовлетворенію плоти. Наслажденія становятся плотоядными. Сластолюбіе вызываетъ сладострастіе, а сладострастіе всегда жестокость. Вы никакъ не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главнаго факта: что соціальный перевѣсъ во время долгаго мира всегда подъ конецъ переходитъ къ грубому богатству.

— Но наука, искусства,—развѣ въ продолженіе войны они могутъ развиваться; а это великія и великодушныя идеи.

— Тутъ-то я васъ и ловлю. Наука и искусства именно развиваются всегда въ первый періодъ послѣ войны. Война ихъ обновляетъ, освѣжаетъ, вызываетъ, крѣпитъ мысли и даетъ толчокъ. Напротивъ, въ долгій миръ и наука глохнетъ. Безъ сомнѣнія, занятіе наукой требуетъ великодушія, даже самоотверженія. Но многіе-ли изъ ученыхъ устоятъ передъ язвой мира? Ложная честь, самолюбіе, сластолюбіе захватятъ и ихъ. Справьтесь, напримѣръ, съ такою страстью какъ зависть: она груба и пошла, но она проникнетъ и въ самую благородную душу ученаго. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, въ блескѣ. Что значитъ передъ торжествомъ богатства торжество какого нибудь научнаго открытія, если только оно не будетъ такъ эффектно какъ, напримѣръ, открытіе планеты Нептунъ. Много-ли останется истинныхъ тружениковъ, какъ вы думаете? Напротивъ, захочется славы, вотъ и явится въ наукѣ шарлатанство, гоньба за эффектомъ, а пуще всего утилитаризмъ, потому что захочется и богатства. Въ искусствѣ то же самое: такая же погоня за эффектомъ, за какою нибудь утонченностью. Простыя, ясныя, великодушныя и здоровыя идеи будутъ уже не въ модѣ: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнѣе; понадобится искусственность страстей. Мало по малу утратится чувство мѣры и гармоніи; явятся искривленія чувствъ и страстей, такъ называемыя утонченности чувства, которыя въ сущности только ихъ огрубѣлость. Вотъ этому-то всему подчиняется всегда искусство въ концѣ долгаго мира. Если-бъ не было на свѣтѣ войны, искусство бы заглохло окончательно. Всѣ лучшія идеи искусства даны войной, борьбой. Подите въ трагедію, смотрите на статуи: вотъ Горацій Корнеля, вотъ Аполлонъ Бельведерскій, поражающій чудовище...

— А Мадонны, а христіанство?

— Христіанство само признаетъ фактъ войны и пророчествуетъ, что мечъ не прейдетъ до кончины міра: это очень замѣчательно и поражаетъ. О, безъ сомнѣнія, въ высшемъ, въ нравственномъ смыслѣ оно отвергаетъ войну и требуетъ братолюбія. Я самъ первый возрадуюсь, когда раскуютъ мечи на орала. Но вопросъ: когда это можетъ случиться? И стоитъ-ли расковывать теперь мечи на орала? Теперешній миръ всегда и вездѣ хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится подъ конецъ его поддерживать: нечего цѣнить, совсѣмъ нечего сохранять, совѣстно и пошло сохранять. Богатство, грубость наслажденій порождаютъ лѣнь, а лѣнь порождаетъ рабовъ. Чтобъ удержать рабовъ въ рабскомъ состояніи, надо отнять

отъ нихъ свободную волю и возможность просвѣщенія. Вѣдь вы же не можете не нуждаться въ рабѣ, кто бы вы ни были, даже если вы самый гуманнѣйшій человѣкъ? Замѣчу еще, что въ періодъ мира укореняется трусливость и безчестность. Человѣкъ по природѣ своей страшно наклоненъ къ трусливости и безстыдству и отлично про себя это знаетъ; вотъ почему, можетъ быть, онъ такъ и жаждетъ войны, и такъ любитъ войну: онъ чувствуетъ въ ней лекарство. Война развиваетъ братолюбіе и соединяетъ народы.

— Какъ соединяетъ народы?

— Заставляя ихъ взаимно уважать другъ друга. Война освѣжаетъ людей. Человѣколюбіе всего болѣе развивается лишь на полѣ битвы. Это даже странный фактъ, что война менѣе обозляетъ чѣмъ миръ. Въ самомъ дѣлѣ, какая нибудь политическая обида въ мирное время, какой нибудь нахальный договоръ, политическое давленіе, высокомѣрный запросъ, — въ родѣ какъ дѣлала намъ Европа въ 63-мъ году—гораздо болѣе обозляютъ, чѣмъ откровенный бой. Вспомните, ненавидѣли ли мы французовъ и англичанъ во время крымской компаніи? Напротивъ, какъ будто ближе сошлись съ ними, какъ будто породнились даже. Мы интересовались ихъ мнѣніемъ объ нашей храбрости, ласкали ихъ плѣнныхъ; наши солдаты и офицеры выходили на аванпосты во время перемирій и чуть не обнимались съ врагами, даже пили водку вмѣстѣ. Россія читала про это съ наслажденіемъ въ газетахъ, что не мѣшало однако же великолѣпно драться. Развивался рыцарскій духъ. А про матеріальныя бѣдствія войны я и говорить не стану: кто не знаетъ закона, по которому послѣ войны все какъ бы воскресаетъ силами. Экономическія силы страны возбуждаются въ десять разъ, какъ будто грозовая туча пролилась обильнымъ дождемъ надъ изсохшею почвой. Пострадавшимъ отъ войны сейчасъ же и всѣ помогаютъ, тогда какъ, во время мира цѣлыя области могутъ вымирать съ голоду прежде чѣмъ мы почешемся или дадимъ три цѣлковыхъ.

— Но развѣ народъ не страдаетъ въ войну больше всѣхъ, не несетъ раззоренія и тягостей неминуемыхъ и несравненно большихъ, чѣмъ высшіе слои общества?

— Можетъ быть, по временно; а за то выигрываетъ гораздо больше, чѣмъ теряетъ. Именно для народа война оставляетъ самыя лучшія и высшія послѣдствія. Какъ хотите, будьте самымъ гуманнымъ человѣкомъ, но вы все-таки считаете себя выше простолюдина. Кто мѣряетъ въ наше время душу на душу, христіанской мѣркой? Мѣряютъ карманомъ, властью, силой,—и простолюдинъ это отлично знаетъ всей своей массой. Тутъ не то что зависть,—тутъ является какое-то невыносимое чувство нравственнаго неравенства, слишкомъ язвительнаго для простонародія. Какъ ни освобождайте и какіе ни пишите законы, неравенство людей не уничтожится въ теперешнемъ обществѣ. Единственное лекарство — война. Пальятивное, моментальное, но отрадное для народа. Война поднимаетъ духъ народа и его сознаніе собственнаго достоинства. Война равняетъ всѣхъ во время боя и миритъ господина и раба въ самомъ высшемъ проявленіи человѣческаго достоинства,—въ жертвѣ жизнію за общее дѣло, за всѣхъ, за отечество. Неужели вы думаете, что масса, самая даже темная масса мужи-

ковъ и нищихъ, не нуждается въ потребности *дѣятельнаго* проявленія великодушныхъ чувствъ? А во время мира, чѣмъ масса можетъ заявить свое великодушіе и человѣческое достоинство? Мы и на единичныя-то проявленія великодушія въ простонародьѣ смотримъ, едва удостоивая замѣчать ихъ, иногда съ улыбкою недовѣрчивости, иногда просто не вѣря, а иногда такъ и подозрительно. Когда же повѣримъ героизму какой-нибудь единицы, то тотчасъ же надѣлаемъ шуму, какъ передъ чѣмъ-то необыкновеннымъ; и что же выходитъ: наше удивленіе и наши похвалы похожи на презрѣніе. Во время войны все это исчезаетъ само собой и наступаетъ полное равенство героизма. Пролитая кровь важная вещь. Взаимный подвигъ великодушія порождаетъ самую твердую связь неравенствъ и сословій. Помѣщикъ и мужикъ, сражаясь вмѣстѣ въ двѣнадцатомъ году, были ближе другъ къ другу, чѣмъ у себя въ деревнѣ, въ мирной усадьбѣ. Война есть поводъ массѣ уважать себя, а потому народъ и любитъ войну: онъ слагаетъ про войну пѣсни, онъ долго потомъ заслушивается легендъ и разсказовъ о ней... пролитая кровь важная вещь! Нѣтъ, война *въ наше время* необходима; безъ войны провалился бы міръ, или по крайней мѣрѣ обратился бы въ какую-то слизь, въ какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами...

Я, конечно, пересталъ спорить. Съ мечтателями спорить нельзя. Но есть однако же престранный фактъ: теперь начинаютъ спорить и подымаютъ разсужденія о такихъ вещахъ, которыя, казалось бы, давнымъ давно рѣшены и сданы въ архивъ. Теперь это все выкапывается опять. Главное въ томъ, что это повсемѣстно.

III.

Опять только одно словцо о спиритизмѣ.

Опять у меня не остается мѣста для „статьи“ о спиритизмѣ, опять отлагаю до другаго №. И однако же я былъ еще въ февралѣ на этомъ спиритскомъ сеансѣ, съ „настоящимъ“ медіумомъ— сеансѣ, который произвелъ на меня довольно сильное впечатлѣніе. Объ этомъ сеансѣ другіе, присутствовавшіе на немъ, уже сказали печатно, такъ что мнѣ, конечно, ничего и не остается сообщить, кромѣ этого собственнаго моего впечатлѣнія. Но, до сихъ поръ, въ цѣлые эти два мѣсяца, я не хотѣлъ ничего писать объ этомъ и— *скрылъ* мое впечатлѣніе отъ читателя. Впередъ скажу, что оно было совершенно особаго рода и почти не касалось спиритизма. Это было впечатлѣніе чего-то другаго и лишь проявившагося по поводу спиритизма. Мнѣ очень жаль, что я принужденъ опять отложить, тѣмъ болѣе, что теперь нажилъ охоту поговорить объ этомъ, тогда какъ доселѣ чувствовалъ къ тому какъ бы нѣкоторое отвращеніе. Отвращеніе произошло отъ мнительности. Нѣкоторымъ изъ друзей моихъ я тогда же сообщилъ объ этомъ сеансѣ; одинъ человѣкъ, сужденіемъ котораго я глубоко дорожу, выслушавъ, спросилъ меня: „намѣренъ-ли я описать это въ „Дневникѣ“? Я отвѣтилъ что еще не знаю. И вдругъ онъ замѣтилъ: „не пишите“. Онъ ничего не прибавилъ и я не настаивалъ, но я понялъ смыслъ: ему, очевидно, было бы непріятно,

еслибъ и я хоть чѣмъ нибудь поспособствовалъ распространенію спиритизма. Это меня тогда поразило потому особенно, что я, напротивъ, передавая объ этомъ февральскомъ сеансѣ, съ искреннимъ убѣжденіемъ отрицалъ спиритизмъ. Стало быть подмѣтилъ же въ моемъ разсказѣ этотъ человѣкъ, ненавидящій спиритизмъ, *нѣчто* какъ бы благопріятное спиритизму, не смотря на все мое отрицаніе. Вотъ почему я и воздерживался до сихъ поръ говорить печатно, именно изъ мнительности и отъ недовѣрчивости къ самому себѣ. Но теперь я, кажется, себѣ уже вполнѣ довѣряю, и всю эту мнительность себѣ разъяснилъ. Кромѣ того я убѣдился, что никакими статьями моими не могу способствовать ни поддержанію спиритизма, ни искорененію его. Г-нъ Менделѣевъ, читающій въ самую сію минуту, какъ я пишу это, свою лекцію въ Соляномъ городкѣ вѣроятно глядитъ на дѣло иначе и читаетъ съ благородною цѣлью „раздавить спиритизмъ". Лекціи съ такими прекрасными тенденціями всегда пріятно слушать; но я думаю, что кто *захочетъ* увѣровать въ спиритизмъ, того ничѣмъ не остановишь, ни лекціями, ни даже цѣлыми комиссіями, а невѣрующаго, если только онъ вполнѣ *не желаетъ* повѣрить—ничѣмъ не соблазнишь. Вотъ именно это-то убѣжденіе я и выжилъ на февральскомъ сеансѣ у А. Н. Аксакова, по крайней мѣрѣ тогда въ видѣ перваго сильнаго впечатлѣнія. До тѣхъ поръ я *просто* отрицалъ спиритизмъ, то есть, въ сущности былъ возмущенъ лишь мистическимъ смысломъ его ученія (явленій же спиритскихъ, съ которыми я и до сеанса съ медіумомъ былъ нѣсколько знакомъ, я не въ состояніи былъ *вполнѣ* отрицать никогда, даже и теперь, и особенно теперь—послѣ того какъ прочелъ отчетъ учрежденной надъ спиритизмомъ ученой комиссіи). Но послѣ того замѣчательнаго сеанса я вдругъ догадался, или лучше вдругъ узналъ, что я мало того, что не вѣрю въ спиритизмъ, но кромѣ того и вполнѣ *не желаю* вѣрить,—такъ что никакія доказательства меня уже не поколеблютъ болѣе *никогда*. Вотъ что я вынесъ изъ того сеанса и потомъ уяснилъ себѣ. И, признаюсь, впечатлѣніе это было почти отрадное, потому что я нѣсколько боялся, идя на сеансъ. Прибавлю еще, что тутъ не одно только личное: мнѣ кажется, въ этомъ наблюденіи моемъ, есть и нѣчто общее. Тутъ мерещится мнѣ какой-то особенный законъ человѣческой природы, общій всѣмъ и касающійся именно вѣры и невѣрія вообще. Мнѣ какъ-то выяснилось тогда, именно чрезъ опытъ, именно чрезъ этотъ сеансъ—какую силу невѣріе можетъ найти и развить въ самомъ себѣ, въ данный моментъ, совершенно помимо вашей воли, хотя и согласно съ вашимъ тайнымъ желаніемъ... Равно вѣроятно и вѣра. Вотъ объ этомъ-то я и хотѣлъ-бы сказать.

Итакъ до слѣдующаго №, но теперь однако прибавлю еще нѣсколько словъ въ дополненіе сказаннаго уже въ мартовскомъ №, собственно по поводу все того же „Отчета" столь извѣстной уже теперь „Комиссіи".

—

Я тогда сказалъ нѣсколько словъ объ неудовлетворительности этого „отчета" и о томъ, чѣмъ даже онъ можетъ быть вреденъ своему собственному дѣлу. Но я не сказалъ главнаго. Постараюсь теперь добавить въ короткихъ словахъ, тѣмъ болѣе, что тутъ дѣло очень простое. Комиссія не захотѣла снизойти до главной потребности

въ этомъ дѣлѣ, до потребности общества, ожидавшаго ея рѣшенія. Она, кажется, такъ мало заботилась объ общественной потребности (въ противномъ случаѣ пришлось бы предположить, что она просто и не съумѣла понять ее), что не сообразила даже того, что какими-то „мелькнувшими въ темнотѣ кринолинными пружинками“, никого у насъ не разувѣришь и ничего не докажешь, если уже люди повреждены. Читая „отчетъ“, рѣшительно начинаетъ казаться, что эти наши ученые предполагали спиритизмъ существующимъ въ Петербургѣ единственно лишь въ квартирѣ А. Н. Аксакова и ничего ровно не знали о жаждѣ, проявившейся въ обществѣ, къ спиритизму и на какихъ основаніяхъ спиритизмъ собственно у насъ, у русскихъ, началъ распространяться. Но они все это знали, а только пренебрегли. По всему видно, что они отнеслись ко всему этому совершенно какъ тѣ частныя лица, которыя выслушиваютъ о пагубныхъ увлеченіяхъ нашего общества спиритизмомъ, лишь глумясь и хихикая надъ ними, да и то мимоходомъ, едва удостоивая вникнуть. Но, организовавшись въ коммиссію, эти ученые стали уже общественными дѣятелями, а не частными лицами. Они получили миссію и вотъ этого-то они, кажется, не пожелали принять въ соображеніе, а подсѣли къ спиритскому столу, совершенно продолжая попрежнему быть частными лицами, то есть, смѣясь, глумясь и хихикая и развѣ только, кромѣ того, немножко сердясь на то, что имъ серьезно пришлось заняться такою глупостью.

Пусть, однако же, весь этотъ домъ, вся квартира А. Н. Аксакова обтянута пружинами и проволоками, а у медіума, сверхъ того, какая-то машинка, щелкающая между ногъ (объ этой хитрой догадкѣ комиссіи сообщилъ потомъ печатно Н. П. Вагнеръ). Но вѣдь всякій „серьезный“ спиритъ (о, не смѣйтесь надъ этимъ словомъ, право это очень серьезно) спроситъ прочтя отчетъ: „какъ же у меня-то дома, гдѣ я всѣхъ знаю по пальцамъ,—моихъ дѣтей, жену, родныхъ и знакомыхъ, — какъ же у меня-то происходятъ тѣ же самыя явленія: столъ качается, подымается, слышатся звуки, получаются интеллигентные отвѣты? Вѣдь ужь я-то навѣрно знаю и вполнѣ убѣжденъ, что въ домѣ моемъ нѣтъ машинокъ и проволокъ, а жена моя и дѣти мои меня не станутъ обманывать?“ Главное то, что такихъ, которые скажутъ или подумаютъ это, въ Петербургѣ, въ Москвѣ и въ Россіи уже накопилось слишкомъ довольно, черезъ чуръ даже, и вотъ объ этомъ надо было бы подумать, даже снизойдя съ ученой высоты; вѣдь это зараза, вѣдь этимъ людямъ надо помочь. Но высокомѣріе коммиссіи не допускаетъ ее ни до какого раздумья: „просто все легкомысленные и малообразованные люди, а потому и вѣрятъ“. „Пусть, положимъ, продолжаетъ настаивать серьозный и тревожно убѣжденный спиритъ (ибо они еще всѣ теперь въ первомъ удивленіи и въ первой тревогѣ,—дѣло вѣдь такое новое и не обычайное), „пусть я легкомысленъ и малообразованъ, но вѣдь машинки-то этой, которая щелкаетъ, все-таки у меня нѣтъ въ домѣ, я вѣдь это навѣрно знаю, да и средствъ я не имѣю выписывать такіе забавные инструменты, да и откуда, кто ихъ продаетъ, все это, ей-Богу, намъ неизвѣстно. Такъ какже у насъ-то щелкаетъ, какже эти стуки-то происходятъ? Вотъ вы говорите, что мы

сами какъ-то надавливаемъ на столъ бозсознательно; увѣряю же васъ, что мы не до такой степени дѣти и слѣдимъ за собой, именно слѣдимъ: не надавливаемъ-ли сами, — опыты дѣлаемъ, съ любопытствомъ, съ безпристрастіемъ"...

— Нечего вамъ отвѣчать, — заключаетъ коммиссія уже съ сердцемъ, васъ тоже и также обманываютъ, какъ и всѣхъ; всѣхъ обманываютъ, всѣ колпаки; такъ должно быть, такъ наука говоритъ; мы наука.

Ну, это не объясненіе. „Нѣтъ, видно тутъ что нибудь другое, заключаетъ „серьезно" убѣжденный спиритъ; не можетъ быть, чтобъ одни только фокусы. Пусть тамъ мадамъ Клайръ, а я свою семью знаю: некому у меня дѣлать фокусы". И спиритизмъ держится.

—

Вотъ сейчасъ я прочиталъ въ „Новомъ Времени" отчетъ о первой лекціи г. Менделѣева въ Соляномъ Городкѣ. Г-нъ Менделѣевъ дѣлаетъ твердое положеніе, въ видѣ твердаго факта, что

„на спиритическихъ сеансахъ столы двигаются и издаютъ стуки, какъ при наложеніи на нихъ рукъ, такъ и безъ него. Изъ этихъ стуковъ, при условной азбукѣ, образуются цѣлыя слова, фразы, изрѣченія, носящія всегда на себѣ оттѣнокъ умственнаго развитія того медіума, при помощи котораго производится сеансъ. Это фактъ. Теперь надо разъяснить, кто стучитъ и обо что? Для разъясненія существуютъ слѣдующія 6 гипотезъ".

Вотъ это-то и главное: „Кто стучитъ и обо что?" И затѣмъ выставляется шесть существующихъ уже объ этомъ въ Европѣ гипотезъ, цѣлыхъ шесть, кажется можно бы разубѣдить даже самаго „серьезнаго" спирита. Но вѣдь любопытнѣе всего для добросовѣстнаго и *желающаго* разъяснить дѣло спирита не то, что есть шесть гипотезъ, а то, какой гипотезы держится самъ г. Менделѣевъ, что собственно говоритъ и на чемъ установилась именно наша комиссія? Свое-то намъ ближе, авторитетнѣе, а что тамъ въ Европѣ, или въ Американскихъ Штатахъ, такъ это все дѣло темное! И вотъ изъ дальнѣйшаго изложенія лекціи видно, что коммиссія, все-таки и опять-таки, остановилась на гипотезѣ фокусовъ, да и не простыхъ, а именно съ предвзятыми плутнями и щелкающими между ногъ машинками (повторяю,—по свидѣтельству Н. П. Вагнера). Но этого мало, мало этого ученаго „высокомѣрія" для нашихъ спиритовъ, мало даже и въ томъ случаѣ, *если бъ коммиссія была и права*, и вотъ въ чемъ бѣда. Да и кто еще знаетъ, можетъ быть, „серьезно" убѣжденный спиритъ и правъ, заключая, что если спиритизмъ и вздоръ, то все-таки тутъ что-то другое, кромѣ однихъ грубыхъ плутней, къ которому и надо бы отнестись понѣжнѣе и, такъ сказать, поделикатнѣе, потому вѣдь что „жена его, дѣти его, знакомые его не станутъ его обманывать" и т. д., и т. д. Повѣрьте, что онъ сталъ на своемъ и вы его съ этого не собьете. Онъ твердо знаетъ, что тутъ „не все однѣ плутни". Въ этомъ-то ужь онъ убѣдился.

Въ самомъ дѣлѣ, всѣ другія положенія коммиссіи почти точно такого же высокомѣрнаго характера: „легкомысленны, дескать, сами надавливаютъ безсознательно на столъ, оттого столъ и качается; сами обмануть себя желаютъ, столъ и стучитъ; нервы разстроены, во мракѣ сидятъ, гармонія играетъ, крючечки въ рубашечныхъ рукавчикахъ устроены, (это, впрочемъ, предположеніе г-на Рачинскаго) кончикомъ ноги столъ подымаютъ" и т. д.,

и т. д. И все-таки это никого не убѣдитъ изъ *желающихъ совратиться.* „Помилосердуйте, у меня столъ въ два пуда, я ни за что его не сдвину концомъ ноги и ужь никакъ не подыму на воздухъ, да этого и нельзя совсѣмъ сдѣлать, развѣ какой нибудь факиръ или фокусникъ это сдѣлаетъ, или тамъ ваша Мистриссъ Клайръ своей кринолинной машинкой, а у меня въ семействѣ нѣтъ такихъ фокусниковъ и эквилибристовъ". Однимъ словомъ, спиритизмъ—безъ сомнѣнія великое, чрезвычайное и глупѣйшее заблужденіе, блудное ученіе и тьма, но бѣда въ томъ, что не такъ просто все это, можетъ быть, происходитъ за столомъ, какъ предписываетъ вѣрить коммиссія и нельзя тоже всѣхъ спиритовъ сплошь обозвать рохлями и глупцами. Этимъ только переоскорбишь всѣхъ лично и тѣмъ скорѣе ничего не достигнешь. Къ этому заблужденію надо бы было отнестись, кажется именно въ нѣкоторой связи съ текущими общественными обстоятельствами нашими, а по этому и тонъ, и пріемъ измѣнить на другіе. Особенно надо бы было принять во вниманіе мистическое значеніе спиритизма, эту вреднѣйшую вещь какая только можетъ быть; но коммиссія именно надъ этимъ то значеніемъ и не задумывалась. Конечно, она не въ силахъ бы была раздавить это зло, ни въ какомъ случаѣ, но, по крайней мѣрѣ, другими, не столь наивными и гордыми пріемами могла бы вселить и въ спиритахъ даже уваженіе къ своимъ выводамъ, а на шаткихъ еще послѣдователей такъ и сильное бы могла имѣть вліяніе. Но коммиссія очевидно считала всякій другой подходъ къ дѣлу, кромѣ какъ къ фокусничеству, и не простому а съ плутнями,—унизительнымъ для своего ученаго достоинства. Всякое предположеніе, что спиритизмъ есть *нѣчто*, а не просто грубый обманъ и фокусъ,—для коммиссіи было немыслимо. Да и что сказали бы тогда объ нашихъ ученыхъ въ Европѣ? Такимъ образомъ, прямо задавшись убѣжденіемъ, что всего-то тутъ только надо изловить плутню и ничего больше,—ученые тѣмъ самымъ сами дали рѣшенію своему видъ предвзятаго рѣшенія. Повѣрьте, что иной умный спиритъ (увѣряю васъ, что есть и умные люди, задумывающіеся надъ спиритизмомъ, не все глупцы),—иной умный спиритъ, прочитавъ въ газетахъ отчетъ о публичной лекціи г-на Менделѣева, а въ немъ такую фразу:

„Изъ этихъ стуковъ, при условной азбукѣ, образуются цѣлыя слова, фразы, изрѣченія, *носящія всегда на себѣ оттѣнокъ умственнаго развитія того медіума, при помощи котораго производится сеансъ.* Это фактъ".

прочитавъ такую фразу, пожалуй, вдругъ подумаетъ: да вѣдь этотъ" всегдашній оттѣнокъ умственнаго развитія того медіума" и т. д.—вѣдь это, пожалуй, чуть не самое существенное дѣло въ изслѣдованіи о спиритизмѣ и выводъ долженъ быть сдѣланъ на основаніи самыхъ тщательныхъ опытовъ, и вотъ наша коммиссія, только лишь подсѣла къ дѣлу (долго-ль она занималась-то!) какъ тотчасъ же и опредѣлила, что *это фактъ*. Ужь и фактъ! Можетъ быть она руководствовалась въ этомъ случаѣ какимъ нибудь нѣмецкимъ или французскимъ мнѣніемъ, но вѣдь въ такомъ случаѣ гдѣ же собственный-то ея опытъ? Тутъ лишь мнѣніе, а не выводъ изъ собственнаго опыта. По одной мистриссъ Клэйръ они не могли заключить объ отвѣтахъ столовъ „соотвѣтственныхъ умственному развитію медіумовъ", какъ о всеобщемъ фактѣ. Да и мистриссъ-то Клэйръ

врядъ ли они изслѣдовали съ ея умственной, верхней, головной стороны, а нашли лишь щелкающую машинку, но уже совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. Г. Менделѣевъ былъ членомъ коммиссіи и, читая лекцію, говорилъ какъ бы отъ лица коммиссіи. Нѣтъ, такое скорое и поспѣшное рѣшеніе коммиссіи, *въ такомъ важномъ пунктѣ изслѣдованія* и при такихъ ничтожныхъ опытахъ — слишкомъ высокомѣрно, да и врядъ ли вполнѣ научно"...

Право это могутъ подумать. Вотъ подобная-то высокомѣрная легкость *иныхъ* заключеній и дастъ обществу, а пуще всего всѣмъ этимъ убѣжденнымъ уже спиритамъ, поводъ еще пуще утвердиться въ своихъ заблужденіяхъ: Высокомѣріе, дескать, гордость, предвзятость, преднамѣренность. Брюзгливы ужь слишкомъ"!... И спиритизмъ удержится.

—

P. S. Сейчасъ прочелъ отчетъ и о второй лекціи г. Менделѣева о спиритизмѣ. Г. Менделѣевъ уже приписываетъ „отчету" коммиссіи врачебное дѣйствіе на писателей: „Суворинъ не такъ уже вѣритъ въ спиритизмъ, Боборыкинъ тоже видимо исцѣлился, по крайней мѣрѣ, поправляется. Наконецъ, въ „Дневникѣ" своемъ и Достоевскій поправился: въ январѣ онъ былъ наклоненъ къ спиритизму, а въ мартѣ уже бранитъ его: стало быть, тутъ „отчетъ". Такъ, стало быть, почтенный г. Менделѣеевъ подумалъ, что я въ январѣ хвалилъ спиритизмъ? Ужь не за чертей ли?

Г-нъ Менделѣевъ, должно быть, необыкновенно доброй души. Раздавивъ двумя лекціями спиритизмъ, представьте себѣ, вѣдь онъ въ заключеніе второй лекціи похвалилъ его. И за что, какъ вы думаете: „Честь и слава спиритамъ" (ухъ! до чести и славы дошло, да за что же такъ вдругъ?) „Честь и слава спиритамъ, сказалъ онъ, что они вышли честными и смѣлыми борцами того, что имъ казалось истиною, не боясь предразсудковъ"! Очевидно, что это сказано изъ жалости и, такъ сказать, изъ деликатности, происшедшей отъ собственнаго пресыщенія своимъ успѣхомъ, только не знаю—деликатно-ли вышло. Это точь въ точь какъ содержатели благородныхъ пансіоновъ аттестуютъ иной разъ своихъ воспитанниковъ передъ ихъ родителями: „Ну, а этотъ хотя умственными способностями, подобно старшему своему брату, похвалиться не можетъ и далеко не пойдетъ, но за то чистосердеченъ и поведенія благонадежнаго": каково это младшему-то брату выслушивать! Тоже похвалилъ спиритовъ (и опять съ „честь и славой") за то, что они въ нашъ матеріальный вѣкъ интересуются о душѣ: Хоть не въ наукахъ, такъ въ вѣрѣ, дескать, тверды, въ Бога вѣруютъ. Почтенный профессоръ должно быть большой насмѣшникъ. Ну, а если онъ это наивно, не въ насмѣшку, то стало быть обратное: большой не насмѣшникъ...

IV.

За умершаго.

Съ тяжелымъ чувствомъ прочелъ я въ „Новомъ Времени", перепечатанный этою газетою изъ журнала „Дѣло" анекдотъ, позорный для памяти моего брата Михаила Михайловича, основателя и издателя журналовъ „Время" и „Эпоха" и умершаго двѣнадцать лѣтъ тому назадъ. Привожу этотъ анекдотъ буквально:

„Въ 1862 году, когда Щаповъ не захотѣлъ болѣе уже имѣть дѣло съ тогдашними „Отеч. Зап.“, а другіе журналы были временно прекращены, онъ отдалъ своихъ „Бѣгуновъ“ во „Время“. Осенью онъ сильно нуждался, но покойный редакторъ „Времени“, Михаилъ Достоевскій, очень долго затягивалъ уплату слѣдующихъ ему денегъ. Настали холода, а у Щапова не было даже теплаго платья. Наконецъ, онъ вышелъ изъ себя, попросилъ къ себѣ Достоевскаго и при семъ произошла у нихъ слѣдующая сцена, —Подождите-съ Афонасій Прокопьевичъ,—черезъ недѣлю я вамъ привезу всѣ деньги, говорилъ Достоевскій,— „Да поймите же вы, наконецъ, что мнѣ деньги сейчасъ нужны“! — „На что же сейчасъ-то? — „Теплаго пальто вонъ у меня нѣтъ, платья нѣтъ“. — „А знаете-ли, что у меня знакомый портной есть; у него все это въ кредитъ можно купить, я послѣ заплачу ему изъ вашихъ денегъ“.—И Достоевкій повезъ Щапова къ портному еврею, который снабдилъ историка, какимъ-то пальто, сюртучкомъ, жилетомъ и штанами весьма сомнительнаго свойства и поставленными въ счетъ очень дорого, на что потомъ жаловался даже непрактическій Щаповъ.“

Это изъ некролога Щапова въ „Дѣлѣ“. Не знаю кто писалъ, я еще не справлялся въ „Дѣлѣ“ и не читалъ некролога. Перепечатываю же, какъ сказалъ выше, изъ „Новаго Времени“.

Братъ мой умеръ уже давно: дѣло стало быть старое, темное, защищать трудно, и—никого свидѣтелей разсказаннаго происшествія. Обвиненіе стало быть голословное. Но я твердо увѣряю, что весь этотъ анекдотъ лишь одна нелѣпость и если нѣкоторыя обстоятельства въ немъ не выдумка, то по крайней мѣрѣ всѣ факты извращены и правда въ высшей степени пострадала. Докажу это—сколько возможно.

Прежде всего объявляю, что въ денежныхъ дѣлахъ брата по журналу, и въ его прежнихъ коммерческихъ оборотахъ, я никогда не участвовалъ. Сотрудничая брату по редакціи „Времени“, я не касался ни до какихъ денежныхъ разсчетовъ. Тѣмъ не менѣе мнѣ совершенно извѣстно, что журналъ „Время“, имѣлъ блестящій по тогдашнему успѣхъ. Извѣстно мнѣ тоже, что разсчеты съ писателями не только не производились въ долгъ, но напротивъ постоянно выдавались весьма значительныя суммы впередъ сотрудникамъ. Про это-то ужь я знаю и много разъ бывалъ свидѣтелемъ. И въ сотрудникахъ журналъ не нуждался: они сами приходили и присылали статьи во множествѣ, еще съ перваго года изданія; стоитъ просмотрѣть №№ „Времени“ за всѣ $2^1/_2$-ю года изданія, чтобъ убѣдиться, что въ немъ участвовало огромное большинство тогдашнѣйшихъ представителей литературы. Такъ не могло-бы быть если-бъ братъ не платилъ сотрудникамъ, или вѣрнѣе— неблагородно-бы велъ себя съ сотрудниками. Впрочемъ объ раздачѣ впередъ значительныхъ суммъ могутъ многіе и теперь засвидѣтельствовать. Дѣло это не въ углу происходило. Многіе изъ бывшихъ и даже близкихъ сотрудниковъ и теперь еще живы и, конечно, не откажутся засвидѣтельствовать: какъ на ихъ взглядъ и память велись братомъ дѣла въ журналѣ. Короче: братъ не могъ „затягивать уплату Щапову“, да еще тогда, когда у того не было платья. Если же Щаповъ попросилъ брата къ себѣ, то не „выведенный изъ терпѣнія“ за неуплату, а именно *прося денегъ впередъ* подобно многимъ другимъ. Послѣ покойнаго брата сохранились многія письма и записки въ редакцію сотрудниковъ и я не теряю надежды, что между ними отыщутся и записки Щапова. Тогда и уяснятся отношенія. Но и, кромѣ этого, то обстоятельство, что Щаповъ, вѣроятнѣе всего просилъ тогда денегъ впередъ,—

безъ сомнѣнія согласнѣе съ истиною и со всѣми воспоминаніями, со всѣми еще возможными теперь свидѣтельствами о томъ, какъ велось и издавалось „Время“—свидѣтельствами, которыхъ повторяю, и теперь можно набрать довольно, не смотря на 14-тилѣтній минувшій срокъ. Не смотря на свою „дѣловитость“, братъ бывалъ довольно слабъ къ просьбамъ и не умѣлъ отказывать: онъ выдавалъ впередъ, иногда даже и безъ надежды получить статью для журнала отъ писателя. Этому я свидѣтелемъ и могъ бы кой на кого указать. Но съ нимъ и не такіе случаи бывали. Одинъ изъ *постоянныхъ* сотрудниковъ выпросилъ у брата шестьсотъ рублей впередъ и на другое же утро уѣхалъ служить въ Западный Край, куда тогда набирали чиновниковъ, и тамъ и остался, и ни статей, ни денегъ братъ отъ него не получилъ. Но замѣчательнѣе всего, что и шагу не сдѣлалъ, чтобъ вытребовать деньги обратно, не смотря на то, что имѣлъ въ рукахъ документъ, и уже долго спустя, по смерти его, его семейство вытребовало съ этого сотрудника (человѣка имѣвшаго средства), деньги судомъ. Судъ былъ гласный и обо всемъ этомъ дѣлѣ можно получить самыя точныя свѣдѣнія. Я только хотѣлъ заявить—съ какою легкостію и готовностью братъ выдавалъ иногда деньги впередъ и что не такой человѣкъ сталъ бы оттягивать уплату нуждающемуся литератору. Некрологистъ Щапова, вслушиваясь въ разговоръ брата со Щаповымъ, могъ просто не знать о какихъ собственно деньгахъ идетъ дѣло: о должныхъ ли братомъ, или о просимыхъ впередъ? Весьма возможно и то, что братъ предложилъ Щапову сдѣлать ему, у знакомаго портного, въ кредитъ платье, и все это очень просто: не желая отказать Щапову въ помощи, онъ могъ, по нѣкоторымъ соображеніямъ, предпочесть этотъ способъ помощи выдачѣ денегъ Щапову прямо въ руки...

Наконецъ—въ приведенномъ анекдотѣ я не узнаю разговора моего брата: *такимъ тономъ* онъ никогда не говаривалъ. Это вовсе не то лицо, не тотъ человѣкъ. Братъ мой никогда, ни у кого не заискивалъ; онъ не могъ кружиться около человѣка съ сладенькими фразами, пересыпая свою рѣчь *слово-съ-ами*. И ужь конечно никогда бы не допустилъ сказать себѣ: „Да поймите же вы, наконецъ, что мнѣ деньги сейчасъ нужны“. Всѣ эти фразы какъ нибудь передѣлались и пересочинились, подъ извѣстнымъ взглядомъ, за четырнадцать лѣтъ, у автора анекдота въ воспоминаніи. Пусть всѣ, помнящіе брата (а такихъ много), припомнятъ—говорилъ-ли онъ такимъ слогомъ? Братъ мой былъ человѣкъ высоко порядочнаго тона, велъ и держалъ себя какъ джентльменъ, которымъ и былъ на самомъ дѣлѣ. Это былъ человѣкъ весьма образованный, даровитый литераторъ, знатокъ европейскихъ литературъ, поэтъ и извѣстный переводчикъ Шиллера и Гете. Я не могу представить себѣ, чтобъ такой человѣкъ могъ такъ лебезить передъ Щаповымъ, какъ передано въ „анекдотѣ“.

Приведу еще одно обстоятельство о покойномъ братѣ моемъ, кажется очень мало кому извѣстное. Въ сорокъ девятомъ году онъ былъ арестованъ по дѣлу Петрашевскаго и посаженъ въ крѣпость, гдѣ и высидѣлъ два мѣсяца. По прошествіи двухъ мѣсяцевъ ихъ освободили нѣсколько человѣкъ, (довольно многихъ), какъ невинныхъ и неприкосновенныхъ къ возникшему дѣ-

лу. И дѣйствительно: братъ не участвовалъ ни въ организованномъ тайномъ обществѣ у Петрашевскаго, ни у Дурова. Тѣмъ не менѣе онъ бывалъ на вечерахъ Петрашевскаго и пользовался изъ тайной, общей библіотеки, складъ которой находился въ домѣ Петрашевскаго, книгами. Онъ былъ тогда фурьеристомъ и со страстью изучалъ Фурье. Такимъ образомъ, въ эти два мѣсяца въ крѣпости, онъ вовсе не могъ считать себя безопаснымъ и разсчитывать съ увѣренностью, что его отпустятъ. То, что онъ былъ фурьеристомъ и пользовался библіотекой—открылось и, конечно, онъ могъ ожидать если не Сибири, то отдаленной ссылки какъ подозрительный человѣкъ. И многіе изъ освобожденныхъ черезъ два мѣсяца подверглись бы ей непремѣнно (говорю утвердительно), еслибъ не были всѣ освобождены по волѣ покойнаго Государя, о чемъ я узналъ тогда же отъ князя Гагарина, ведшаго все слѣдствіе по дѣлу Петрашевскаго. По крайней мѣрѣ узналъ тогда то, что касалось освобожденія моего брата, о которомъ сообщилъ мнѣ князь Гагаринъ, нарочно вызвавъ меня для того изъ каземата въ комендантскій домъ, въ которомъ производилось дѣло, чтобъ обрадовать меня. Но я былъ одинъ, холостой, безъ дѣтей; братъ же, попавъ въ крѣпость, оставилъ на квартирѣ испуганную жену свою и трехъ дѣтей, изъ которыхъ старшему тогда было всего 7 лѣтъ, и въ добавокъ безъ копѣйки денегъ. Братъ мой нѣжно и горячо любилъ дѣтей своихъ и воображаю, что перенесъ онъ въ эти два мѣсяца! Между тѣмъ, онъ не далъ *никакихъ показаній*, которыя бы могли компрометировать другихъ, съ цѣлью облегчить тѣмъ собственную участь, тогда какъ могъ бы кое-что сказать, ибо хоть самъ ни въ чемъ не участвовалъ, но *зналъ о многомъ*. Я спрошу: многіе ли такъ поступили бы на его мѣстѣ? Я твердо ставлю такой вопросъ, потому что знаю — о чемъ говорю. Я знаю и видѣлъ: какими оказываются люди въ подобныхъ несчастьяхъ, и не отвлеченно объ этомъ сужу. Пусть какъ угодно посмотрятъ на этотъ поступокъ моего брата, но все же онъ не захотѣлъ, даже для своего спасенія, сдѣлать то, что считалъ противнымъ своему убѣжденію. Замѣчу, что это не голословное мое показаніе: все это я въ состояніи теперь подкрѣпить точнѣйшими данными. А между тѣмъ братъ въ эти два мѣсяца, каждый день и каждый часъ мучился мыслію, что онъ погубилъ семью и страдалъ вспоминая объ этихъ трехъ маленькихъ дорогихъ ему существахъ и о томъ что ихъ ожидаетъ... И вотъ такого человѣка хотятъ теперь представить въ стачкѣ съ какимъ-то евреемъ портнымъ, чтобъ, обманувъ Щапова, подѣлить съ портнымъ барышъ и положить въ карманъ нѣсколько рублей! Фу, какой вздоръ!

Ѳ. Достоевскій.





Дозволено цензурою. Спб. 29 апрѣля 1876. Типогр. кн. Вл. Оболенскаго Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

МАЙ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Изъ частнаго письма.

Меня спрашиваютъ: буду-ль я писать про дѣло Каировой? Я получилъ уже нѣсколько писемъ съ этимъ вопросомъ. Одно письмо особенно характерно и писано очевидно не для печати; но позволю себѣ привести изъ него нѣсколько строкъ, съ соблюденіемъ, конечно, полнѣйшаго анонима. Надѣюсь, что многоуважаемый корреспондентъ на меня не посѣтуетъ; я и цитирую изъ него лишь убѣжденный въ его совершенной искренности, которую въ полной степени могу оцѣнить.

..."Съ чувствомъ глубочайшаго омерзѣнія прочли мы дѣло Каировой. Это дѣло, какъ фокусъ объектива, выразило собою картину утробныхъ инстинктовъ, для которой главное дѣйствующее лицо (Каирова) формировалось путемъ культурной подготовки: мать во время беременности вдалась въ пьянство, отецъ былъ пьяница, родной братъ отъ пьянства потерялъ разсудокъ и застрѣлился, двоюродный братъ зарѣзалъ свою жену, мать отца была сумашедшая, — и вотъ изъ этой-то культуры вышла личность деспотическая и необузданная въ своихъ утробныхъ пожеланіяхъ. Обвинительная даже власть стала въ недоумѣніи передъ нею и задала себѣ вопросъ: не сумашедшая-ли она? Эксперты частью положительно это отрицали, а частью допустили возможность сумашествія, но не лично въ ней, а въ ея поступкахъ. Но сквозь весь этотъ процессъ проглядываетъ не сумашедшая, а женщина, дошедшая до крайнихъ предѣловъ отрицанія всего святаго: для нея не существуетъ ни семьи, ни правъ другой женщины,—не только на мужа, но и на самую жизнь,—все для одной только нея и ея утробныхъ похотей.

Ее оправдали, можетъ быть какъ сумасшедшую, это еще слава Богу! По крайней мѣрѣ, нравственная распущенность отнесена не къ прогрессу ума, а къ разряду психическихъ болѣзней.

Но „въ нижнемъ помѣщеніи публики, занятомъ *исключительно дамами*, послышались апплодисменты“ (Биржев. Вѣд.).

Чему апплодисменты? Оправданію сумашедшей или торжеству расходившейся страстной натуры, цинизму, проявившемуся въ лицѣ женщины?

Рукоплещутъ дамы! Рукоплещутъ жены, матери! Да имъ не рукоплескать, имъ плакать надобно при такомъ поруганіи идеала женщины...

(NB. Здѣсь опускаю нѣсколько слишкомъ уже рѣзкихъ строкъ).

Неужели вы обойдете это молчаніемъ?“.

II.

Областное новое слово.

Подымать исторію Каировой, (кажется всѣмъ уже извѣстную), слишкомъ поздно, да и слову моему въ такихъ характерныхъ явленіяхъ текущей нашей жизни и среди такихъ характерныхъ настроеній нашей публики я не придаю никакого значенія; но *по поводу* этого „дѣла“ все-таки стоило-бы сказать хоть одно словцо, хотя бы даже и поздно. Ибо ничто не прекращается, а потому ничто и не поздно; всякое дѣло, напротивъ, продолжается и обновляется, хотя бы и минуло въ своей первой инстанціи; а главное и опять таки,—пусть извинитъ меня мой корреспондентъ за выписку изъ письма его. Судя хоть только по письмамъ, которыя я одинъ получаю,—можно бы сдѣлать заключеніе объ одномъ чрезвычайно замѣчательномъ явленіи нашей русской жизни, о которомъ я уже косвенно и намекалъ недавно, а именно: всѣ безпокоятся, всѣ во всемъ принимаютъ участіе, всѣ желаютъ высказать мнѣніе и заявить себя, и вотъ только одного не могу рѣшить, чего больше желаютъ: обособиться-ли въ своемъ мнѣніи каждый или спѣться въ одинъ общій стройный хоръ. Это письмо изъ провинціи есть письмо частное, но замѣчу здѣсь къ слову, что наша провинція рѣшительно хочетъ зажить своеобразно и чуть-ли не эмансипироваться отъ столицъ совсѣмъ. Это замѣтилъ не я одинъ, гораздо раньше меня объ этомъ сказано въ печати. У меня вотъ уже два мѣсяца лежитъ на столѣ даже цѣлый литературный сборникъ „Первый шагъ“, изданный въ Казани, и объ немъ надо бы было давно сказать нѣкоторое слово,—именно потому, что онъ выступаетъ рѣшительно съ намѣреніемъ сказать новое слово, не столичное, а областное и „настоятельно необходимое“. Что же, все это лишь новые голоса въ старомъ русскомъ хорѣ; а потому полезны и ужъ во всякомъ случаѣ любопытны. Это новое направленіе изъ чего нибудь да берется же. Правда, изъ всѣхъ этихъ проэктированныхъ новыхъ словъ въ сущности еще ни одного не произнесено, но можетъ быть дѣйствительно послышится что-нибудь изъ нашихъ областей и окраинъ еще доселѣ не слыханное. Отвлеченно, теоретически судя, все это такъ и должно произойти: пока, съ самаго Петра, Россію вели Петербургъ и Москва; теперь же, когда роль Петербурга и культурный періодъ прорубленнаго въ Европу окошка кончились,—теперь... но теперь-то вотъ и вопросъ: неужели роль Петербурга и Москвы окончилась?

По моему, если и измѣнилась, то очень немного; да и прежде то, за всѣ-то полтораста лѣтъ Петербургъ-ли собственно и Москва-ли вели Россію? Такъ-ли это было въ самомъ-то дѣлѣ? И не вся-ли Россія, напротивъ, притекала и толпилась въ Петербургѣ и Москвѣ, во всѣ полтораста лѣтъ сряду, и, въ сущности, сама себя и вела, безпрерывно обновляясь свѣжимъ притокомъ новыхъ силъ изъ областей своихъ и окраинъ, въ которыхъ, мимоходомъ говоря, задачи были совсѣмъ однѣ и тѣже, какъ и у всѣхъ русскихъ въ Москвѣ или Петербургѣ, въ Ригѣ или на Кавказѣ, или даже гдѣбы то ни было. Вѣдь ужъ чего бы кажется противоположнѣе, какъ Петербургъ съ Москвой, если судить по теоріи, въ принципѣ: Петербургъ-то и основался, какъ бы въ противуположность Москвѣ и *всей ся идеѣ*. А между тѣмъ эти *два центра* русской жизни въ сущности вѣдь составили одинъ центръ и это тотчасъ-же, съ самаго даже начала, съ самаго даже преобразованія, и нисколько не взирая на раздѣлявшія ихъ нѣкоторыя характерности. Точь въ точь то же, что зарождалось и развивалось въ Петербургѣ, немедленно и *точь въ точь также самостоятельно*—зарождалось, укрѣплялось и развивалось въ Москвѣ, и *обратно*. Душа была единая и не только въ этихъ двухъ городахъ, но въ двухъ городахъ и во всей Россіи вмѣстѣ, *такъ, что вездѣ по всей Россіи въ каждомъ мѣстѣ была вся Россія*. О, мы понимаемъ, что каждый уголъ Россіи можетъ и долженъ имѣть свои мѣстныя особенности и полное право ихъ развивать; но таковы-ли эти особенности, чтобы грозить духовнымъ разъединеніемъ, или даже просто какимъ-нибудь недоумѣніемъ? Вообще у насъ будущее „темна вода“, но тутъ, мнѣ кажется, еще яснѣе чѣмъ гдѣ либо. Во всякомъ случаѣ, дай Богъ развиваться всему, что только можетъ развиться, конечно изъ хорошаго и это первое, а второе, и главное—дай Богъ ни за что не терять единства, ни за какія даже блага, посулы и сокровища: лучше вмѣстѣ чѣмъ врозь, и, главное, во всякомъ случаѣ. Сказано новое слово будетъ, это несомнѣнно, но все же я не думаю, чтобы сказано было что-нибудь слишкомъ ужь новое и особенное нашими областями и окраинами, покрайней мѣрѣ теперь, сейчасъ, слишкомъ ужь что нибудь неслыханное и трудно выносимое. Великоруссъ теперь только что начинаетъ жить, только что подымается чтобы сказать свое слово и можетъ быть уже всему міру; а потому и Москвѣ, этому центру Великорусса—еще долго по моему жить, да и дай-бы Богъ. Москва еще третьимъ Римомъ не была, а между тѣмъ должно же исполниться пророчество, потому что „четвертаго Рима не будетъ“, а безъ Рима міръ не обойдется. А Петербургъ теперь больше чѣмъ когда нибудь вмѣстѣ съ Москвой за одно. Да, признаюсь, я и подъ Москвой-то подразумѣваю, говоря теперь, не столько городъ, сколько нѣкую аллегорію, такъ, что никакой Казани и Астрахани обижаться почти совсѣмъ не за что. А нхнимъ сборникамъ мы рады, и если даже выйдетъ и „Второй шагъ“, то тѣмъ лучше, тѣмъ лучше.

III.

Судъ и г-жа Каирова.

Однако, далеко уѣхали отъ дѣла Каировой. Я хотѣлъ лишь замѣтить моему корреспонденту, что хоть я и согласенъ во взглядѣ на „распущенность

инстинктовъ и деспотическую необузданность желаній", тѣмъ не менѣе, въ мнѣніи почтеннаго корреспондента моего нахожу слишкомъ много строгости, даже безцѣльной (ибо чуть ли онъ и самъ не признаетъ въ преступницѣ сумашедшую), слишкомъ много тоже преувеличенія, тѣмъ болѣе, что вѣдь кончаетъ же онъ тѣмъ, что самъ признаетъ *повліявшую среду*, почти до невозможности борьбы съ нею. Что до меня, то я просто радъ, что Каирову отпустили, я не радъ лишь тому, что ее оправдали. Я радъ, что отпустили, хотя и не вѣрю сумашествію ни на грошъ, несмотря на мнѣнія части экспертовъ: пусть ужь это мое личное мнѣніе, я оставляю его при себѣ. Къ тому же, безъ сумашествія эту несчастную какъ-то жальче. Въ сумашествіи—„не вѣдала что творила"... а безъ сумашествія,—подите-ка, перетащите-ка на себѣ столько муки! Убійство, если только убиваетъ не „Червонный валетъ",—есть тяжелая и сложная вещь. Эти нѣсколько дней нерѣшимости Каировой по пріѣздѣ къ ея любовнику его законной жены, это накипающее все болѣе и болѣе оскорбленіе, эта наростающая съ каждымъ часомъ обида (о, обидчица она, Каирова, я вѣдь не сошелъ еще съума, но вѣдь тѣмъ и жальче, что она въ паденіи своемъ не могла понимать даже, что она-то и есть обидчица, а видѣла и чувствовала совершенно обратное!)—и, наконецъ, этотъ послѣдній часъ передъ „подвигомъ", ночью, на ступенькахъ лѣстницы, съ бритвой въ рукахъ, которую купила наканунѣ, — нѣтъ, все это довольно тяжело, особенно для такой безпорядочной и шатающейся души, какъ Каирова! Тутъ не по силамъ бремя, тутъ какъ бы слышатся стоны придавленной. А затѣмъ—десять мѣсяцевъ мытарствъ, сумашедшихъ домовъ, экспертовъ, и—столько ее таскали, таскали, таскали, и при этомъ эта бѣдная тяжкая преступница, вполнѣ виновная,—въ сущности представляетъ изъ себя нѣчто до того несерьозное, безалаберное, до того ничего не понимающее, не законченное, пустое, предающееся, собой не владѣющее, серединное, и такъ даже до самой послѣдней минуты приговора,—что какъ-то легче стало, когда ее совсѣмъ отпустили. Жаль только, что нельзя было этого сдѣлать не оправдавъ, а то вышелъ скандалъ, какъ хотите. Г. присяжный повѣренный Утинъ мнѣ кажется могъ бы навѣрно предчувствовать оправданіе, а потому и ограничиться лишь простымъ изложеніемъ факта, а не пускаться въ похвалы преступленію, потому что вѣдь онъ *почти похвалилъ преступленіе*... То-то и есть, что у насъ ни въ чемъ нѣтъ мѣрки. На западѣ Дарвинова теорія—геніальная гипотеза, а у насъ давно уже аксіома. На западѣ мысль, что преступленіе весьма часто есть лишь болѣзнь—имѣетъ глубокій смыслъ, потому, что сильно *различается*, у насъ же эта мысль не имѣетъ никакого смысла, потому что совсѣмъ не различается—и все, всякая пакость, сдѣланная даже червоннымъ валетомъ, и та чуть ли не признается болѣзнью и увы!—даже видятъ въ этомъ нѣчто либеральное! Разумѣется, я не про серьезныхъ людей говорю (хотя много ли у насъ серьезныхъ-то людей въ этомъ смыслѣ?) Я говорю про улицу, про бездарную средину съ одной стороны и про плутовъ, торгующихъ либерализмомъ—съ другой, и которымъ рѣшительно все равно, только чтобы было или казалось либерально. Что же до присяжнаго повѣреннаго Утина,

то онъ „похвалилъ преступленіе“ вѣроятно воображая, что, какъ присяжный повѣренный, онъ и не могъ иначе поступить,—и вотъ такъ-то увлекаются безспорно умные люди, и въ результатѣ выходитъ совсѣмъ даже не умно. Я такъ думаю, что будь въ иномъ положеніи присяжные, то есть имѣй они возможность сказать другой приговоръ,—то пожалуй за такое преувеличеніе они и вознегодовали бы на г. Утина, такъ что онъ самъ повредилъ бы своей кліенткѣ. Но все дѣло состояло именно въ томъ, что они буквально не могли вынести инаго приговора. Въ печати ихъ за этотъ приговоръ одни похвалили, другіе, слышно, хулятъ; я думаю тутъ нѣтъ мѣста ни похвалѣ ни хулѣ: просто сказали такой приговоръ по рѣшительной невозможности сказать что нибудь иное. Разсудите сами, вотъ что читаемъ въ газетномъ отчетѣ:

„На поставленный судомъ, согласно требованіямъ обвиненія, вопросъ о томъ: „напесла-ли Каирова, *заранѣе обдумавъ свое дѣяніе*, Александрѣ Великановой, *съ цѣлью лишить ее жизни*, нѣсколько ранъ бритвой по шеѣ, головѣ и груди, *но отъ дальнѣйшаго приведенія въ исполненіе своего намѣренія* убить Великанову была остановлена самою Великановою и ея мужемъ,— присяжные отвѣтили отрицательно.

Остановимся здѣсь. Это отвѣтъ на первый вопросъ. Ну, можно-ли отвѣчать на вопросъ *такъ* поставленный? Кто, чья совѣсть возьмется отвѣтить на такой вопросъ утвердительно? (Правда, тутъ и отрицательно-то равно невозможно отвѣтить, но мы говоримъ лишь объ утвердительномъ рѣшеніи присяжныхъ). Тутъ, на вопросъ такъ поставленный, отвѣтить утвердительно можно лишь имѣя сверхъестественное божеское всевѣдѣніе. Да и сама Каирова совершенно могла не знать того: „дорѣжетъ-ли она или нѣтъ“, а присяжныхъ спрашивали положительно: „дорѣзала-ли бы она или нѣтъ, еслибъ не остановили ее?“ Да она, купивъ за день бритву, хоть и знала для чего ее купила, всетаки могла не знать: „станетъ-ли еще она рѣзать-то или нѣтъ, а не только дорѣжетъ-ли или нѣтъ?“ И вѣрнѣе всего, что не знала объ этомъ ни слова даже и тогда, когда сидѣла на ступенькахъ лѣстницы, уже съ бритвой въ рукѣ, а сзади ея, на ея постели, лежали ея любовникъ съ ея соперницей. Никто, никто въ мірѣ не могъ знать объ этомъ ни одного слова. Да мало того, хоть и покажется абсурдомъ, но я утверждаю, что и когда уже рѣзала, то могла *еще не знать*: хочетъ-ли она ее зарѣзать или нѣтъ, и съ *этою-ли цѣлью* ее рѣжетъ? Замѣтьте, этимъ я вовсе не говорю, что она была въ безсознательномъ состояніи; я даже ни малѣйшаго помѣшательства не допускаю. Напротивъ, навѣрно, въ ту минуту, когда рѣзала, *знала, что рѣжетъ*, но хочетъ-ли, сознательно *поставивъ себѣ это цѣлью*, лишить свою соперницу жизни—этого она могла въ высшей степени не знать, и, ради Бога, не считайте этого абсурдомъ: она могла рѣзать, въ гнѣвѣ и ненависти, не думая вовсе о послѣдствіяхъ. Судя по характеру этой безпорядочной и измученной женщины, — это именно такъ вѣроятно и было. А замѣтьте, что отъ отвѣта присяжныхъ, напримѣръ, утвердительнаго: что дорѣзала-бы, и, главное, рѣзала съ непремѣнною цѣлью зарѣзать, зависѣла бы вся участь несчастной. Тутъ гибель, тутъ каторга. Какже брать на себя присяжнымъ такую обузу на свою совѣсть?

Они и отвѣтили отрицательно, потому что не могли варьировать свой отвѣтъ иначе. Вы скажете, что преступленіе Каировой было не выдуманное, не головное, не книжное, а тутъ просто было „бабье дѣло“, весьма несложное, весьма простое и что на ея постели вдобавокъ лежала ея соперница. Такъ-ли, простое-ли? А что если она, полоснувъ разъ бритвой по горлу Великановой, закричала-бы, задрожала бы и бросилась бы вонъ бѣжать? Почему вы знаете, что этого не случилось бы? А случилось бы, такъ очень можетъ быть, что и до суда ничего не дошло бы. А теперь васъ припёрли къ стѣнѣ и допытываются у васъ положительно: „дорѣзала бы она или нѣтъ“, и ужь разумѣется съ тѣмъ, чтобъ услать ее или нѣтъ—сообразно съ вашимъ отвѣтомъ. И ужь малѣйшая варьяція въ вашемъ отвѣтѣ соотвѣтствуетъ цѣлымъ годамъ заключенія или каторги! А что еслибы такъ случилось, что она, полоснувъ разъ и испугавшись, принялась бы сама себя рѣзать, да можетъ быть тутъ бы себя и зарѣзала? А что, наконецъ, еслибы она не только не испугалась, а, напротивъ, почувствовавъ первыя брызги горячей крови, вскочила бы въ бѣшенствѣ и не только-бы докончила рѣзать Великанову, но еще начала бы ругаться надъ трупомъ, отрѣзала бы голову „на прочь“, отрѣзала бы носъ, губы, и только потомъ, вдругъ, когда у нея уже отняли бы эту голову, догадалась-бы: что это она такое сдѣлала? Я потому такъ спрашиваю, что все это могло случиться и выйти отъ одной и той-же женщины, изъ одной и той же души, при одномъ и томъ же настроеніи и при одной и той-же обстановкѣ; говорю это потому, что какъ-то чувствую что не ошибаюсь. Итакъ, какже было отвѣтить послѣ того на такой мудреный вопросъ суда? Вѣдь тутъ не домашній разговоръ за чайнымъ столомъ, вѣдь тутъ рѣшеніе судьбы. Такъ можно ставить вопросы, сильно рискуя не получить на нихъ никакого отвѣта.

Но, скажутъ на это, въ такомъ случаѣ никогда нельзя ни обвинять, ни судить въ убійствѣ, или въ намѣреніи убить, если только преступленіе было недокончено, или жертва выздоровѣла? Нѣтъ, мнѣ кажется за это нечего безпокоиться, потому что есть слишкомъ явные случаи убійствъ, въ которыхъ хотя преступленіе и недокончено (даже хотя бы собственной волей преступника), то все таки слишкомъ явно, что оно было предпринято единственно *съ цѣлью убійства* и никакой иной цѣли и имѣть не могло. А главное, повторяю, — на то есть совѣсть присяжныхъ, а это главная и великая вещь; въ этомъ-то и благодѣяніе новаго суда, и эта совѣсть дѣйствительно подскажетъ присяжнымъ новое рѣшеніе. Если ужъ въ такой важный моментъ человѣкъ ощутитъ въ себѣ возможность твердо отвѣтить: „да виновенъ“, то по всей вѣроятности, не ошибется въ виновности преступника. По крайней мѣрѣ ошибки случались анекдотически рѣдко. Одно только желательно, чтобъ эта совѣсть присяжныхъ была воистину просвѣщена, воистину тверда и укрѣплена гражданскимъ чувствомъ долга, и избѣгала увлеченія въ ту или другую сторону, т. е. увлеченій жестокости или пагубной сантиментальности. Правда и то, что это второе желаніе, т. е. на счетъ избѣжанія сантиментальности, таки довольно трудно исполнимое. Сантиментальность такъ всѣмъ по плечу, сантиментальность такая легкая вещь,

сантиментальность не требуетъ никакого труда, сантиментальность такъ выгодна, сантиментальность съ направленіемъ даже ослу придаетъ теперь видъ благовоспитаннаго человѣка...

Равно и на второй вопросъ, поставленный присяжнымъ судомъ: „Нанесла ли она эти раны, и *съ тою же цѣлью*, въ запальчивости и раздраженіи"— присяжные опять таки не могли отвѣтить иначе какъ отрицательно, т. е. „нѣтъ, не нанесла", ибо опять тутъ фраза „съ тою же цѣлью" означала „съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ лишить Великанову жизни". И особенно трудно стало отвѣтить на это, въ виду того, что „запальчивость и раздраженіе" въ чрезвычайномъ большинствѣ случаевъ, исключаютъ „обдуманное заранѣе намѣреніе"; такъ что въ этомъ второмъ вопросѣ суда, заключался какъ бы даже нѣкоторый и абсурдъ.

За то въ *третьемъ* вопросѣ суда: „дѣйствовала ли Каирова въ точно доказанномъ припадкѣ умоизступленія" заключался уже довольно твердый абсурдъ, ибо при существованіи первыхъ двухъ вопросовъ, эти два вопроса и третій положительно исключаютъ одинъ другой; въ случаѣ же отрицательнаго отвѣта присяжныхъ на первые два вопроса, или даже просто въ случаѣ оставленія ихъ безъ отвѣта оставалось непонятнымъ: объ чемъ спрашиваютъ, и что даже значитъ слово „дѣйствовала", т. е. объ какомъ именно поступкѣ спрашиваютъ и какъ его опредѣляютъ? Присяжные же никакъ не могли варьировать свой отвѣтъ, за непремѣнной обязанностью отвѣтить лишь *да*, или *нѣтъ*, безъ варьяцій.

Наконецъ и *четвертый* вопросъ суда: „если дѣйствовала не подъ вліяніемъ умоизступленія, то виновна ли въ означенномъ въ первомъ или во второмъ вопросѣ преступленіи" — присяжные тоже оставили безъ отвѣта, конечно въ виду того, что онъ былъ лишь повтореніемъ первыхъ двухъ вопросовъ.

Такимъ образомъ судъ и *отпустилъ* Каирову. Въ отвѣтѣ присяжныхъ: „нѣтъ, не нанесла" конечно заключался абсурдъ, ибо отвергался самый фактъ нанесенія ранъ, — фактъ ни кѣмъ не оспариваемый и для всѣхъ очевидный, но имъ трудно было сказать что нибудь иное при такой постановкѣ вопросовъ. Но, по крайней мѣрѣ нельзя сказать, что судъ отпуская Каирову или даже, такъ сказать, милуя ее, *оправдалъ* подсудимую, а г. Утинъ именно оправдывалъ поступокъ преступницы, почти находилъ его правильнымъ, хорошимъ. Конечно это невѣроятно, а между тѣмъ такъ вышло.

IV.

Г-нъ защитникъ и Каирова.

Рѣчь г. Утина я разбирать не стану; притомъ она даже и не талантлива. Ужасно много высокаго слога, разныхъ „чувствъ" и той условно-либеральной гуманности, къ которой прибѣгаетъ теперь чуть не всякій, въ „рѣчахъ" и въ литературѣ, и даже самая полная иногда бездарность (такъ что г. Утину ужъ совсѣмъ бы и не кстати), чтобъ придать своему произведенію приличный видъ, благодаря которому оно бы могло „пройти". Эта условно-либеральная гуманность обличаетъ себя у насъ чѣмъ дальше тѣмъ больше. И всякій теперь знаетъ, что все это—лишь подручное пособіе. Я такъ даже бы думалъ, что теперь ужъ и мало кому это нравится,—не десять лѣтъ тому назадъ,—а межъ тѣмъ,

глядь, еще столько простодушія въ людяхъ, особенно у насъ въ Петербургѣ! А простодушіе-то наше и любо „дѣятелю“. Дѣятелю некогда, напримѣръ, заняться „дѣломъ“, вникнуть въ него; къ тому же почти всѣ они отчасти и поочерствѣли съ годами и съ успѣхами, и, кромѣ того, достаточно ужъ послужили гуманности, выслужили такъ сказать пряжку гуманности, чтобы заниматься тамъ еще несчастіями какой нибудь страдающей и безалаберной душонки сумозброднаго, навязавшагося имъ кліента, а вмѣсто сердца въ груди многихъ изъ нихъ давно уже бьется кусочекъ чего-то казеннаго, и вотъ онъ, разъ навсегда, забираетъ напрокатъ, на всѣ грядущіе экстренные случаи запасикъ условныхъ фразъ, словечекъ, чувствьицъ, мыслицъ, жестовъ и воззрѣній, все, разумѣется, по послѣдней либеральной модѣ и затѣмъ надолго, на всю жизнь погружается въ спокойствіе и блаженство. Почти всегда сходитъ. Повторяю, это опредѣленіе новѣйшаго дѣятеля я положительно не отношу къ г. Утину: онъ талантливъ и чувство у него, вѣроятнѣе всего, натуральное. Но трескучихъ фразъ онъ всетаки напустилъ не въ мѣру много въ свою рѣчь, что и заставляетъ подозрѣвать—не то чтобы недостатокъ вкуса, а именно нѣкоторое небрежное и, можетъ быть, даже и не совсѣмъ гуманное отношеніе къ дѣлу въ настоящемъ случаѣ. Надобно сознаться, что наши адвокаты, чѣмъ талантливѣе они тѣмъ больше заняты, а стало быть у нихъ нѣтъ и времени. Было бы и у г. Утина больше времени, то и онъ бы, по мнѣнію моему, отнесся къ дѣлу сердечнѣе, а отнесся бы сердечнѣе, то оказался бы и обдуманнѣе, не запѣлъ бы диоирамба въ сущности крайне пошлой интригѣ, не напустилъ бы высокаго слога про „встрепенувшихся львицъ, у которыхъ отнимаютъ дѣтенышей“, не напалъ бы съ такою простодушною яростью на жертву преступленія, г-жу Великанову, не попрекнулъ бы ее тѣмъ что ее не дорѣзали (почти вѣдь такъ!) и не изрекъ бы наконецъ своего неожиданнѣйшаго каламбура на Христовы слова о грѣшницѣ изъ Евангелія. Впрочемъ, можетъ быть въ натурѣ все это произошло и не такъ и г. Утинъ произнесъ свою рѣчь имѣя совершенно серьезный видъ; я въ судѣ не былъ; но по газетнымъ однако отчетамъ выходитъ, что какъ будто тутъ была какая-то, такъ сказать, распущенность свысока... однимъ словомъ, что-то ужасно не задумывающееся и сверхъ того много комическаго.

Я съ самаго начала почти рѣчи сталъ въ тупикъ и не могъ понять: смѣется ли г. Утинъ благодаря прокурора за то, что обвинительная рѣчь его противъ Каировой, кромѣ того, что была „блестяща и талантлива, краснорѣчива и гуманна“, была сверхъ того и скорѣе защитительная, чѣмъ обвинительная. Что рѣчь прокурора была краснорѣчива и гуманна въ этомъ не могло быть сомнѣнія, равно какъ и въ томъ, что она была и въ высшей степени либеральна, и вообще эти господа ужасно хвалятъ другъ друга, а присяжные это слушаютъ. Но похваливъ *обвинителя* — прокурора за его *защитительную* рѣчь, г. Утинъ не захотѣлъ только быть оригинальнымъ до конца и, вмѣсто защиты, припяться обвинять свою кліентку, г-жу Каирову. Это жаль, потому что было бы очень забавно и можетъ быть подошло бы къ дѣлу. Я думаю даже, что присяжные не очень бы и удивились, потому что нашихъ присяжныхъ удивить

трудно. Это невинное замѣчаніе мое конечно лишь шутка съ моей стороны: г. Утинъ не обвинялъ, онъ защищалъ и если были въ его рѣчи недостатки, то именно въ томъ, напротивъ, что ужъ слишкомъ страстно защищалъ, такъ сказать даже пересолилъ, что, какъ я и упомянулъ выше, я и объясняю лишь нѣкоторою предварительною небрежностью отношенія къ „дѣлу“. „Отдѣлаюсь когда придетъ время высокимъ слогомъ и довольно этой... „галлереѣ“—вотъ какъ вѣроятно теперь думаютъ всего чаще иные изъ нашихъ болѣе занятыхъ адвокатовъ. Г. Утинъ изъ себя напримѣръ выходитъ, чтобъ представить свою кліентку какъ можно больше въ идеальномъ, романтическомъ и фантастическомъ видѣ, а это было вовсе не нужно: безъ прикрасъ г-жа Каирова даже понятнѣе; но г. защитникъ билъ конечно на дурной вкусъ присяжныхъ. Все-то въ ней идеально, всякій-то шагъ ея необыкновененъ, великодушенъ, граціозенъ, а любовь ея это — это что-то кипящее, это поэма! Каирова, напримѣръ, не бывъ никогда на сценѣ, вдругъ подписываетъ контрактъ въ актрисы и уѣзжаетъ на край Россіи, въ Оренбургъ. Г-нъ Утинъ не утверждаетъ и не настаиваетъ на томъ, что въ этомъ поступкѣ ея „сказалось обычное ея благодушіе и самопожертвованіе“, но „тутъ есть, продолжалъ г-нъ Утинъ какая-то идеальность, извѣстнаго рода сумасбродство и главнымъ образомъ самоотреченіе. Ей нужно было искать мѣсто, чтобы помогать матери и вотъ она принимаетъ мѣсто, которое ей вовсе не свойственно, бросаетъ Петербургъ и отправляется одна въ Оренбургъ“ и т. д. и т. д. Ну, и что же такое, казалось бы ничего особеннаго и поражающаго тутъ не произошло вовсе; мало ли кто куда отправляется, мало ли дѣвушекъ бѣдныхъ, прекрасныхъ, несчастныхъ, талантливыхъ соглашаются на отъѣздъ и принимаютъ кондиціи далеко похуже той, которая досталась г-жѣ Каировой. Но у г. защитника, какъ видите, выходитъ какая-то жертва самоотреченія, а изъ контракта въ актрисы почти подвигъ. Ну, и дальше все въ такомъ же родѣ. Каирова очень скоро „сходится“ съ Великановымъ, антрепренеромъ труппы. Дѣла его были плохи: „она хлопочетъ за него, выпрашиваетъ субсидію, выхлопатываетъ освобожденіе“. Ну, что жъ такое, опять ничего бы особеннаго, да и многія женщины, особенно съ живымъ подвижнымъ характеромъ, какъ у Каировой, начали бы въ такомъ случаѣ „хлопотать“ ради милаго человѣка, если ужъ завели съ нимъ интрижку. Начались сцены съ женой Великанова и, описавъ одну изъ такихъ сценъ, г-нъ Утинъ замѣчаетъ, что съ этой минуты его кліентка считала Великанова „своимъ“, видѣла въ немъ свое созданіе, свое „милое дитя“. Кстати, это „милое дитя“, говорятъ, высокаго роста, плотнаго, гренадерскаго сложенія, съ вьющимися волосиками на затылкѣ. Г-нъ Утинъ въ своей рѣчи утверждаетъ, что она смотрѣла на него, какъ на „свое дитя“, какъ на свое „твореніе“, хотѣла его „возвысить, облагородить“. Г-нъ Утинъ видимо отвергаетъ, что г-жа Каирова могла бы привязаться къ Великанову безъ этой именно спеціальной цѣли, а между тѣмъ, это „милое дитя“, это „твореніе“ нисколько не благородится, а напротивъ, чѣмъ дальше тѣмъ хуже.

Однимъ словомъ у г. Утина вездѣ выходитъ какой-то слишкомъ ужъ не подходящій къ этимъ лицамъ и къ этой обстановкѣ высокій настрой, такъ что

подчасъ становится удивительно. Начинаются похожденія; „милое дитя“ и Каирова пріѣзжаютъ въ Петербургъ, потомъ онъ ѣдетъ въ Москву искать мѣста. Каирова пишетъ ему задушевныя письма, она полна страсти, чувствъ, а онъ рѣшительно не умѣетъ писать письма и съ этой точки ужасно „неблагороденъ“. „Въ этихъ письмахъ, замѣчаетъ г-нъ Утинъ, начинаетъ проглядывать то облачко, которое потомъ затянуло все небо и произвело грозу“. Но г-нъ Утинъ и не умѣетъ объясняться проще, у него все вездѣ такимъ слогомъ. Наконецъ, Великановъ опять возвращается и они опять живутъ въ Петербургѣ (maritalement разумѣется)— и вотъ вдругъ важнѣйшій эпизодъ романа—пріѣзжаетъ жена Великанова и Каирова „встрепенулась какъ львица, у которой отнимаютъ дѣтеныша“. Тутъ дѣйствительно начинается много краснорѣчія. Еслибъ не было этого краснорѣчія, то конечно, было бы жальче эту бѣдную, сумасбродную женщину, мечущуюся между мужемъ и женой и незнающую что предпринять. Великановъ оказывается „вѣроломнымъ“, по просту, слабымъ человѣкомъ. Онъ—то жену обманываетъ, увѣряя ее въ любви, то ѣдетъ съ дачи въ Петербургъ къ Каировой и успокоиваетъ ее тѣмъ, что жена скоро уѣдетъ заграницу. Г-нъ Утинъ представляетъ любовь своей кліентки не только въ заманчивомъ, но даже въ назидательномъ и, такъ сказать, высоконравственномъ видѣ. Она, видите ли, хотѣла даже обратиться къ Великановой съ предложеніемъ уступить той мужа вовсе (про котораго, положительно, стало быть, думала, что имѣетъ почему-то на него полное право); „хотите взять его—возьмите, хотите жить съ нимъ—живите, но или уѣзжайте отсюда или я уѣду. Рѣшитесь на что нибудь“. Это она хотѣла сказать, не знаю только: сказала ли. Но никто ни на что не рѣшился, а Каирова, вмѣсто того чтобы самой уѣхать (если ужъ такъ хотѣлось чѣмъ нибудь кончить) безъ всякихъ вопросовъ и не дожидаясь никакихъ невозможныхъ рѣшеній,—только металась и кипѣла. „Отдать его безъ борьбы да это была бы не женщина“... вдругъ замѣчаетъ г-нъ Утинъ. Ну, такъ для чего же бы и говорить столько о разныхъ хотѣніяхъ, вопросахъ, „предложеніяхъ?“ „Страсть обуревала ее“, растолковываетъ суду г-нъ Утинъ, „ревность уничтожила, поглотила ея умъ и заставила играть страшную игру“. И потомъ: „ревность искрошила ея разсудокъ, отъ него ничего не осталось. Какже могла она управлять собою“. Такъ продолжалось десять дней. „Она томилась; ее бросало въ жаръ и лихорадку, она не ѣла, не спала, бѣжала то въ Петербургъ, то въ Ораніенбаумъ и когда она такимъ образомъ была измучена, наступилъ злополучный понедѣльникъ 7-го іюля“. Въ этотъ злополучный понедѣльникъ измученная женщина пріѣзжаетъ къ себѣ на дачу и ей говорятъ, что жена Великанова тутъ; она подходитъ къ спальнѣ и...

„Развѣ, гг. присяжные засѣдатели, возможно, чтобы женщина осталась спокойною? Для этого нужно быть камнемъ; нужно, чтобъ у ней не было сердца. Любимый страстно ею человѣкъ—въ ея спальнѣ, на ея постели, съ другой женщиной! Это было свыше ея силъ. Ея чувства были бурнымъ потокомъ, который истребляетъ все, что ему попадется на пути; она рвала и метала; она могла *истребить все окружающее* (!!!!) Если мы спросимъ этотъ потокъ, что онъ дѣлаетъ, за-

тѣмъ причиняетъ зло, то развѣ онъ можетъ намъ отвѣтить. Нѣтъ онъ безмолствуетъ".

Экъ вѣдь „фразъ-то, экъ вѣдь „чувствъ-то"! „Было бы горячо, а вкусъ вѣрно какой-нибудь выйдетъ". Но остановимся однако-же на этихъ фразахъ: онѣ очень нехороши; и тѣмъ хуже, что это самое главное мѣсто въ защитѣ г-на Утина.

Я слишкомъ согласенъ съ вами, г. защитникъ, что Каирова не могла оставаться спокойной въ сценѣ, которую вы описали, но лишь потому только, что она—Каирова, т. е. слабая, можетъ быть очень добрая, если хотите, женщина, пожалуй симпатичная, привязчивая (про эти ея качества я, впрочемъ, до сихъ поръ знаю лишь изъ вашей рѣчи), но въ тоже время вѣдь и безпутная же она, не правда ли? Я не развратную безпутность натуры здѣсь разумѣю: женщина эта несчастна и не стану я ее оскорблять, тѣмъ болѣе, что и судить то въ этомъ пунктѣ совсѣмъ не возьмусь. Я разумѣю лишь безпутность ея ума и сердца, которая для меня безспорна. Ну, вотъ по этой то безпутности и не могла она въ эту роковую минуту рѣшить дѣло иначе, какъ она его рѣшила, а не потому, что, рѣшая иначе, „нужно быть камнемъ, нужно, чтобъ у нея не было сердца", какъ опредѣлили вы, г. защитникъ. Подумайте, г. защитникъ, вѣдь утверждая это, вы какъ будто и исхода другаго, болѣе яснаго, болѣе благороднаго и великодушнаго совсѣмъ не допускаете. И еслибъ нашлась женщина, способная въ такую минуту бросить бритву и дать дѣлу другой исходъ, то вы бы, стало быть, обозвали ее камнемъ, а не женщиной, женщиной безъ сердца. Такимъ образомъ вы „почти похвалили преступленіе", какъ я сказалъ про васъ выше. Это конечно было увлеченіе съ вашей стороны, и ужъ безспорно благородное, но жаль, что такія необдуманныя слова уже раздаются съ юныхъ общественныхъ трибунъ нашихъ. Вы меня извините, г. защитникъ, что я отношусь къ вашимъ словамъ столь серьезно. А затѣмъ подумайте: есть высшіе типы и высшіе *идеалы* женщины. Эти идеалы были же и являлись же на свѣтѣ, это безспорно. И что еслибъ даже сама г-жа Каирова и уже въ послѣднюю минуту, съ бритвой въ рукахъ, вдругъ взглянула бы ясно въ судьбу свою, (не безпокойтесь это очень иногда возможно и именно въ послѣдній моментъ) сознала бы несчастье свое (ибо любить такого человѣка есть несчастье); сознала бы весь стыдъ и позоръ свой, все паденіе свое (ибо не одно же вѣдь въ самомъ дѣлѣ „великодушіе и самоотверженіе" въ этихъ „грѣшницахъ", г. защитникъ, а и много лжи, стыда, порока и паденія)—ощутила бы вдругъ въ себѣ женщину воскресшую въ новую жизнь, сознавшую при этомъ, что вѣдь и она—„обидчица", кромѣ того—что оставивъ этого человѣка она можетъ еще больше и вѣрнѣе его облагородить, и, почувствовавъ все это, встала бы и ушла залившись слезами: „до чего, дескать я сама упала"! Ну, чтоже, еслибы это случилось даже съ самой г-жей Каировой—неужели бы вы не пожалѣли ее, не нашли бы отзывчиваго чувства въ добромъ безпорно сердцѣ вашемъ, а назвали-бы эту вдругъ воскресшую духомъ и сердцемъ женщину—камнемъ, существомъ безъ сердца и заклеймили бы ее всенародно съ вашей юной трибуны, къ которой всѣ такъ жадно еще прислушиваются, вашимъ презрѣньемъ?

Слышу однако же голоса: „Не требуйте же отъ всякой, это безчеловѣчно“. Знаю, я и не требую. Я содрогнулся, читая то мѣсто, когда она подслушивала у постели, я слишкомъ могу понять и представить себѣ, что она вынесла въ этотъ послѣдній часъ, съ своей бритвой въ рукахъ, я очень, очень былъ радъ, когда отпустили г-жу Каирову и шепчу про себя великое слово: „налагаютъ бремена тяжкія, и неудобоносимыя“; но Тотъ Кто сказалъ это слово, когда потомъ прощалъ преступницу, Тотъ прибавилъ: „иди и не грѣши“. Стало быть, грѣхъ всетаки назвалъ грѣхомъ; простилъ, но не оправдалъ его; а г. Утинъ говоритъ: „она была бы не женщина, а камень, существо безъ сердца“, такъ что даже не понимаетъ, какъ можно поступить было иначе. Я только робко осмѣливаюсь замѣтить, что зло надо было всетаки назвать зломъ, не смотря ни на какую гуманность, а не возносить почти что до подвига.

V.

Г-нъ защитникъ и Великанова.

И ужь если провозглашать гуманность, то можно бы пожалѣть и г-жу Великанову. Кто ужь слишкомъ жалѣетъ обидчика, тотъ пожалуй не жалѣетъ обиженнаго. А между тѣмъ г-нъ Утинъ отнимаетъ у г-жи Великановой даже ея качество „жертвы преступленія“. Мнѣ кажется, я рѣшительно не ошибусь заключеніемъ, что г-ну Утину, въ продолженіе всей его рѣчи, поминутно хотѣлось сказать что нибудь дурное про г-жу Великанову. Признаюсь, пріемъ этотъ слишкомъ ужъ простодушенъ и кажется самый неловкій; онъ слишкомъ первоначаленъ и торопливъ; вѣдь скажутъ пожалуй, г-нъ защитникъ, что вы гуманны лишь для своихъ кліентовъ, то есть, по должности, а развѣ это правда? Вотъ вы подхватили и привели, напримѣръ „дикую, ужасную“ сцену, когда Великанова въ раздраженіи сказала вслухъ, что „расцѣлуетъ ручки—ножки у того кто избавитъ ее отъ такого мужа“, и что Каирова, тутъ бывшая, тотчасъ же сказала на это: „я возьму его“, а Великанова ей на то: „ну и возьмите“. Вы даже замѣтили, передавъ этотъ *фактъ*, что вотъ съ этой то минуты Каирова и стала считать этого господина *своимъ*, стала видѣть въ немъ свое созданіе и „свое милое дитя“. Все это очень наивно. И во-первыхъ, что тутъ „дикаго и ужаснаго?“ Сцена и слова скверныя безспорно; но вѣдь если вы допускаете возможность извинить даже бритву въ рукахъ Каировой и признать, что Каирова не могла оставаться спокойной, въ чемъ я вамъ въ высшей степени вѣрю, то какъ же не извинить нетерпѣливое, хотя и нелѣпое, восклицаніе несчастной жены! Вѣдь сами же вы признаете что Великановъ человѣкъ невозможный и даже до того, что самый фактъ любви къ нему Каировой уже можетъ достаточно засвидѣтельствовать о ея безуміи. Какъ-же вы удивляетесь послѣ того словамъ Великановой: „ручки—ножки“. Съ невозможнымъ человѣкомъ и отношенія принимаютъ иногда характеръ невозможный и фразы вылетаютъ подчасъ невозможныя. Но вѣдь это только *подчасъ* и всего только фраза. И, признаюсь, если-бъ г-жа Каирова такъ серьозно поняла, что жена въ самомъ дѣлѣ отдаетъ ей мужа и что съ этихъ поръ она ужь и право имѣетъ считать его своимъ, то была бы

большая шутница. Вѣроятно, все это произошло какъ нибудь иначе. И не надо смотрѣть на иную фразу инаго бѣднаго, удрученнаго человѣка такъ свысока. Въ этихъ семействахъ (да и не въ этихъ только однихъ, а знаете ли еще въ какихъ семействахъ?) говорятъ и не такія фразы. Бываетъ нужда, жизненная тягота и отношенія семейныя подъ гнетомъ ея иногда невольно грубѣютъ, такъ что и допускаются иныя словечки, которыхъ бы не сказалъ, напримѣръ, лордъ Байронъ своей леди Байронъ, даже въ самую минуту ихъ окончательнаго разрыва, или хоть Арбенинъ Нинѣ въ „Маскарадѣ“ Лермонтова. Конечно, этого неряшества извинять нельзя, хотя это всего лишь неряшество, дурной нетерпѣливый тонъ, а *сердце* остается можетъ быть еще лучше нашего, такъ что если смотрѣть попроще, то, право, будетъ гуманнѣе. А если хотите, то выходка г-жи Каировой— „я возьму его“, по моему, гораздо мерзче: тутъ страшное оскорбленіе женѣ, тутъ истязаніе, насмѣшка въ глаза торжествующей любовницы, отбившей мужа у жены. У васъ, г-нъ защитникъ, есть чрезвычайно ядовитыя слова про эту жену. Сожалѣя, напримѣръ, что она не явилась въ судъ, а прислала медицинское свидѣтельство о болѣзни, вы замѣтили присяжнымъ, что если-бъ она явилась, то свидѣтельство это потеряло бы всякое значеніе, потому что присяжные увидѣли бы здоровую, сильную, красивую женщину. Но какое вамъ дѣло, въ данномъ случаѣ, до ея красоты, силы и здоровья? Вы говорите далѣе: „Гг. присяжные! Что это за женщина, которая пріѣзжаетъ къ мужу, который живетъ съ другою, приходитъ въ домъ любовницы своего мужа, зная, что Каирова тамъ живетъ; рѣшается остаться ночевать и ложится въ ея спальнѣ, на постелѣ... Это превышаетъ мое понятіе“. Пусть превышаетъ, но всетаки вы слишкомъ аристократичны и—несправедливы. И знаете-ли, г-нъ защитникъ, что кліентка ваша, можетъ быть, даже много выиграла тѣмъ, что г-жа Великанова не явилась въ судъ. Про Великанову въ судѣ насказано было много дурнаго, про ея характеръ, напримѣръ. Я не знаю ея характера, но мнѣ почему то даже нравится, что она не явилась. Она не явилась можетъ быть по гордости оскорбленной женщины, можетъ быть жалѣя даже мужа. Вѣдь никто ничего не можетъ сказать, почему она не явилась... Но во всякомъ случаѣ видно, что она не изъ тѣхъ особъ, которыя любятъ разсказывать о своихъ страстяхъ публично и описывать всенародно свои женскія чувства. И кто знаетъ, можетъ быть, если-бъ она явилась, то ей ничего бы не стоило разъяснить: почему она остановилась въ квартирѣ любовницы своего мужа, чему вы такъ удивляетесь и что ставите ей въ такой особенный стыдъ. Мнѣ кажется, она остановилась не у Каировой, а у своего раскаявшагося мужа, который призвалъ ее. И ниоткуда не слѣдуетъ, что г-жа Великанова расчитывала, что г-жа Каирова будетъ продолжать платить за эту квартиру. Ей даже можетъ быть и трудно было разпознать сейчасъ по пріѣздѣ: кто тутъ платитъ и кто хозяинъ. Мужъ звалъ ее къ себѣ, значитъ мужъ и квартиру оставилъ за собой; и весьма вѣроятно, что онъ такъ и сказалъ ей; вѣдь онъ же ихъ тогда обѣихъ обманывалъ. Точь въ точь и ваша тонкость про спальню и про постель. Тутъ какой нибудь волосокъ, какая нибудь самая

ничтожная подробность могла бы, можетъ быть, разъяснить все разомъ. Вообще, мнѣ кажется, къ этой бѣдной женщинѣ были всѣ несправедливы и мнѣ сдается, что застань Великанова Каирову въ спальнѣ съ своимъ мужемъ и прирѣжь ее бритвой, то кромѣ грязи и каторги она ничего бы не добилась въ своемъ ужасномъ качествѣ законной жены. Ну, возможно-ли, напримѣръ сказать, какъ вы сказали, г. защитникъ, что въ этомъ „дѣлѣ" Великанова не потерпѣла, потому что, черезъ нѣсколько дней послѣ происшествія, явилась уже на подмосткахъ театра и играла потомъ всю зиму, тогда какъ Каирова просидѣла десять мѣсяцевъ въ заключеніи. О бѣдной кліенткѣ вашей мы всѣ жалѣемъ не меньше васъ, но согласитесь, что и г-жа Великанова потерпѣла не мало. Не говоря уже о томъ, сколько она потерпѣла какъ жена и какъ уважающая себя женщина (послѣдняго я рѣшительно не въ правѣ отнять отъ нея)—вспомните, г-нъ защитникъ, вы, такой тонкій юристъ и такъ гуманно заявившій себя въ своей рѣчи человѣкъ, — вспомните, сколько она должна была вынести въ ту ужасную ночь? Она вынесла нѣсколько минутъ (слишкомъ много минутъ) *смертнаго страху.* Знаете ли, что такое *смертный страхъ?* Кто не былъ близко у смерти, тому трудно понять это. Она проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убійцы, полоснувшей ее по горлу, увидала яростное лицо надъ собою; она отбивалась, а та продолжала ее полосовать; она ужь конечно была убѣждена въ эти первыя, дикія, невозможныя минуты, что уже зарѣзана и смерть неминуема,—да вѣдь это невыносимо, это горячешный кошмаръ, только на яву и стало быть во сто разъ мучительнѣе; это почти все равно что смертный приговоръ привязанному у столба къ разстрѣлянію и когда на привязаннаго уже надвинутъ мѣшокъ... Помилуйте, г. защитникъ, и этакое истязаніе вы считаете пустяками! и неужели никто изъ присяжныхъ даже не улыбнулся, это слушая. Ну, и что же такое, что Великанова черезъ двѣ недѣли уже играла на сценѣ: уменьшаетъ ли это тотъ ужасъ, который она двѣ недѣли передъ тѣмъ вынесла, и вину вашей кліентки? Вонъ мачиха недавно выбросила изъ четвертаго этажа свою шестилѣтнюю падчерицу, а ребенокъ сталъ на ножки совсѣмъ невредимый: ну, неужели это сколько нибудь измѣняетъ жестокость преступленія и неужели эта дѣвочка такъ-таки ровно ничего не претерпѣла? Кстати, я ужь воображаю себѣ невольно, какъ эту мачиху будутъ защищать адвокаты: И безвыходность-то положенія, и молодая жена у вдовца, выданная за него насильно или вышедшая ошибкой. Тутъ пойдутъ картины бѣднаго быта бѣдныхъ людей, вѣчная работа. Она, простодушная, невинная, выходя, думала какъ неопытная дѣвочка (при нашемъ-то воспитаніи особенно!) что замужемъ однѣ только радости, а вмѣсто радостей—стирка запачканнаго бѣлья, стряпня, обмываніе ребенка,— „гг. присяжные, она естественно должна была возненавидѣть этого ребенка—(кто знаетъ вѣдь можетъ найдется и такой „защитникъ", что начнетъ чернить ребенка и приищетъ въ шестилѣтней дѣвочкѣ какія нибудь скверныя ненавистныя качества!),—въ отчаянную минуту, въ аффектѣ безумія, почти не помня себя, она схватываетъ эту дѣвочку и... „Гг. присяжные, кто бы изъ васъ не сдѣлалъ того же са-

маго? Кто бы изъ васъ не вышвырнулъ изъ окна ребенка"?

Мои слова, конечно, каррикатура, но если взяться *сочинить* эту рѣчь, то дѣйствительно можно сказать что нибудь довольно похожее и именно въ этомъ самомъ родѣ, т. е. именно въ родѣ этой каррикатуры. Вотъ это-то и возмутительно что именно въ родѣ этой каррикатуры, тогда какъ дѣйствительно поступокъ этого изверга-мачихи слишкомъ ужь страненъ и, можетъ быть въ самомъ дѣлѣ долженъ потребовать тонкаго и глубокаго разбора, который могъ бы даже послужить къ облегченію преступницы. И потому подосадуешь иногда на простодушіе и шаблонство пріемовъ, входящихъ, по разнымъ причинамъ, въ употребленіе у нашихъ талантливѣйшихъ адвокатовъ. Съ другой стороны, думаешь такъ: вѣдь трибуны нашихъ новыхъ судовъ—это рѣшительно нравственная школа для нашего общества и народа. Вѣдь народъ учится въ этой школѣ правдѣ и нравственности; какже намъ относиться хладнокровно къ тому, что раздастся подчасъ съ этихъ трибунъ? Впрочемъ, съ нихъ раздаются иногда самыя невинныя и веселыя шутки. Г. защитникъ въ концѣ своей рѣчи примѣнилъ къ своей кліенткѣ цитату изъ Евангелія: „она много любила, ей многое простится". Это, конечно, очень мило. Тѣмъ болѣе, что г. защитникъ отлично хорошо знаетъ, что Христосъ вовсе не *за этакую любовь* простилъ „грѣшницу". Считаю кощунствомъ приводить теперь это великое и трогательное мѣсто Евангелія; вмѣсто этого не могу удержаться, чтобы не привести одного моего давнишняго замѣчанія, очень мелкаго, но довольно характернаго. Замѣчаніе это, разумѣется, нисколько не касается г. Утина. Я замѣтилъ еще съ дѣтства моего, съ юнкерства, что у очень многихъ подростковъ, у гимназистовъ (иныхъ), у юнкеровъ (по больше) у прежнихъ кадетовъ (всего больше) дѣйствительно вкореняется почему-то съ самой школы понятіе, что Христосъ именно за эту любовь и простилъ грѣшницу, то есть, именно за клубничку, или лучше сказать, за усиленность клубнички, пожалѣлъ, такъ сказать, привлекательную эту немощь. Это убѣжденіе встрѣчается и теперь у чрезвычайно многихъ. Я помню, что разъ—другой я даже задавалъ себѣ серьезно вопросъ: отчего эти мальчики такъ наклонны толковать въ эту сторону это мѣсто Евангелія? Небрежно ли ихъ такъ учатъ закону Божію? Но вѣдь остальныя мѣста Евангелія они понимаютъ довольно правильно. Я заключилъ, наконецъ, что тутъ вѣроятно дѣйствуютъ причины болѣе, такъ сказать, физіологическія: при несомнѣнномъ добродушіи русскаго мальчика, тутъ вѣроятно какъ нибудь тоже дѣйствуетъ въ немъ и тотъ особый избытокъ юнкерскихъ силъ, который вызывается въ немъ при взглядѣ на всякую женщину. А впрочемъ, чувствую, что это вздоръ и не слѣдовало бы приводить вовсе. Повторяю, г-нъ Утинъ, ужь конечно отлично знаетъ, какъ надо толковать этотъ текстъ и для меня сомнѣнія нѣтъ, что онъ просто пошутилъ въ заключеніе рѣчи, но для чего — не знаю.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Нѣчто объ одномъ зданіи. Соотвѣтственныя мысли.

Ложь и фальшь, вотъ что со всѣхъ сторонъ, и вотъ что иногда несносно!

И какъ разъ, когда шелъ въ судѣ процессъ г-жи Каировой, я попалъ въ Воспитательный домъ, въ которомъ никогда не былъ и куда давно порывался—посмотрѣть. Благодаря знакомому врачу, осмотрѣли все. Впрочемъ, о подробныхъ впечатлѣніяхъ моихъ потомъ; я даже ничего не записалъ и не отмѣтилъ, ни годовъ, ни цифръ; съ перваго шага стало ясно, что съ одного раза нельзя осмотрѣть и что сюда слишкомъ стоитъ еще и еще воротиться. Такъ мы и положили сдѣлать съ многоуважаемымъ моимъ руководителемъ, врачомъ. Я даже намѣренъ съѣздить въ деревни, къ чухонкамъ, которымъ розданы на воспитаніе младенцы. Слѣдовательно, описаніе мое все въ будущемъ, а теперь мелькаютъ лишь воспоминанія: памятникъ Бецкому, рядъ великолѣпныхъ залъ, въ которыхъ размѣщены младенцы, удивительная чистота (которая ничему не мѣшаетъ), кухни, питомникъ, гдѣ „изготовляются“ телята для оспопрививанія, столовыя, группы маленькихъ дѣтокъ за столомъ, группы пяти и шестилѣтнихъ дѣвочекъ, играющихъ въ лошадки, группа дѣвочекъ-подростковъ, по шестнадцати и семнадцати, можетъ быть, лѣтъ, бывшихъ воспитанницъ Дома, приготовляющихся въ нянюшки и старающихся восполнить свое образованіе: онѣ уже кое-что знаютъ, читали Тургенева, имѣютъ ясный взглядъ и очень мило говорятъ съ вами. Но г-жи надзирательницы мнѣ больше понравились: онѣ имѣютъ такой ласковый видъ (вѣдь не притворились же онѣ для нашего посѣщенія), такія спокойныя, добрыя и разумныя лица. Иныя видимо имѣютъ образованіе. Очень заинтересовало меня тоже извѣстіе, что смертность младенцевъ, собственно ростущихъ въ этомъ домѣ (въ этомъ зданіи, то есть) несравненно меньшая, чѣмъ смертность младенцевъ на волѣ, въ семействахъ, чего однако нельзя сказать про младенцевъ, розданныхъ по деревнямъ. Видѣлъ, наконецъ, и комнату внизу, куда вносятъ младенцевъ ихъ матери чтобъ оставить ихъ здѣсь на вѣки... Но все это потомъ. Я помню только, что съ особеннымъ и съ какимъ-то страннымъ, должно быть, взглядомъ приглядывался къ этимъ груднымъ дѣтямъ. Какъ ни абсурдно было это, а они мнѣ показались ужасно дерзкими, такъ, что я помню, внутри, про себя, улыбнулся даже на мою мысль. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ онъ гдѣ нибудь тамъ родился, вотъ его принесли,—посмотрите, какъ онъ кричитъ, оретъ, заявляетъ, что у него грудченка здорова и что онъ жить хочетъ, копошится своими красными ручками и ножками и кричитъ—кричитъ, какъ будто имѣетъ право

такъ васъ безпокоить; ищетъ груди, какъ будто имѣетъ право на грудь, на уходъ; требуетъ ухода, какъ будто имѣетъ точь въ точь такое же право, какъ и тѣ дѣти—тамъ, въ семействахъ: такъ вотъ всѣ и бросятся и побѣгутъ къ нему—дерзость, дерзость! И право, вовсе безъ юмору говорю это, право, оглядишься кругомъ и нѣтъ—нѣтъ, а невольно мелькнетъ мысль: А что, а ну какъ въ самомъ дѣлѣ онъ когонибудь разобидитъ? А ну какъ впрямь кто-нибудь вдругъ его возьметъ и осадить: „вотъ тебѣ, пузырь, что ты княжескій сынъ, что-ли?“ Да развѣ и не осаживаютъ? Это не мечта. Швыряютъ даже изъ оконъ, а однажды, лѣтъ десять назадъ, одна, тоже, кажется, мачиха (забылъ ужъ я, а лучше бы, если-бы мачиха), наскучивъ таскать ребенка, доставшагося отъ прежней жены и все кричавшаго отъ какой-то боли, подошла къ кипящему, клокочущему самовару, подставила прямо подъ кранъ ручку досаднаго ребеночка, и... отвернула на нее кранъ. Это было тогда во всѣхъ газетахъ. Вотъ осадила-то, милая! Не знаю только какъ ее осудили,—да и судили-ли полно? Не правда-ли, что „достойна всякаго снисхожденія“: иногда ужасно вѣдь эти ребятишки кричатъ, разстроятъ нервы, ну, а там бѣдность, стирка, не правда-ли? Впрочемъ, иныя родныя матери такъ тѣ, хоть и „осадятъ“ крикуна, но гораздо гуманнѣе: заберется интересная, симпатичная дѣвица въ укромный уголокъ—и вдругъ съ ней тамъ обморокъ, и она ничего далѣе не помнитъ, и вдругъ, откуда ни возьмись, ребеночекъ, дерзкій, крикса, ну и попадетъ нечаянно въ самую влагу, ну и захлебнется. Захлебнуться все же легче крана, не правда-ли? Этакую и судить нельзя: бѣдная, обманутая, симпатичная дѣвочка, ей бы только конфетки кушать, а тутъ вдругъ обморокъ, и какъ вспомнишь еще, вдобавокъ, Маргариту Фауста (изъ присяжныхъ встрѣчаются иногда чрезвычайно литературные люди) то какъ судить,—невозможно судить, а даже надо подписку сдѣлать. Такъ что даже порадуешься за всѣхъ этихъ дѣтокъ, что попали сюда въ это зданіе. И, признаюсь, у меня тогда все рождались ужасно праздныя мысли и смѣшные вопросы. Я, напримѣръ, спрашивалъ себя мысленно и ужасно хотѣлъ проникнуть: когда именно эти дѣти начинаютъ узнавать, что они всѣхъ хуже, т. е., что они не такія дѣти, какъ „тѣ другія“, а гораздо хуже и живутъ совсѣмъ не по праву, а, лишь такъ сказать, изъ гуманности? Проникнуть въ это нельзя, безъ большаго опыта, безъ большаго наблюденія надъ дѣтками, но а priori, я всетаки рѣшилъ и убѣжденъ, что узнаютъ они объ этой „гуманности“ чрезвычайно рано, т. е. такъ рано, что можетъ быть и нельзя повѣрить. Въ самомъ дѣлѣ, еслибъ ребенокъ развивался только посредствомъ научныхъ пособій и научныхъ игръ и узнавалъ міровѣдѣніе черезъ „утку“, то, я думаю, никогда бы не дошелъ до той ужасающей, невѣроятной глубины пониманія, съ которою онъ вдругъ осиливаетъ, совсѣмъ неизвѣстно какимъ способомъ, иныя идеи, казалось бы совершенно ему недоступныя. Пяти-шести-лѣтній ребенокъ знаетъ иногда о Богѣ или о добрѣ и злѣ такія удивительныя вещи и такой неожиданной глубины, что поневолѣ заключишь, что этому младенцу даны природою какія-нибудь другія средства пріобрѣтенія знаній, не только намъ неизвѣстныя, но которыя мы да-

же, на основаніи педагогики, должны бы были почти отвергнуть. О, безъ сомнѣнія, онъ не знаетъ фактовъ о Богѣ и если тонкій юристъ начнетъ пробовать шестилѣтняго насчетъ зла и добра, то только расхохочется. Но вы только будьте немножко потерпѣливѣе и повнимательнѣе (ибо это стоитъ того), извините ему, напримѣръ, факты, допустите иные абсурды и добейтесь лишь *сущности пониманія*—и вы вдругъ увидите, что онъ знаетъ о Богѣ можетъ быть уже столько же, сколько и вы, а о добрѣ и злѣ и о томъ что стыдно и что похвально,—можетъ быть даже и гораздо болѣе васъ, тончайшаго адвоката, но увлекающагося иногда такъ сказать торопливостью. Къ числу такихъ ужасно трудныхъ идей, столь неожиданно и неизвѣстно какимъ образомъ усвоиваемыхъ ребенкомъ, я и отношу у этихъ здѣшнихъ дѣтей, какъ сказалъ выше, и это первое, но твердое и на всю жизнь незыблемое понятіе о томъ, что они „всѣхъ хуже". И я увѣренъ, что не отъ нянекъ и мамокъ узнаетъ ребенокъ объ этомъ; мало того, онъ живетъ такъ, что не видя „тѣхъ другихъ" дѣтей и сравненія сдѣлать не можетъ, а, между тѣмъ, вдругъ вы присматриваетесь и видите, что онъ ужасно уже много знаетъ, что онъ слишкомъ много уже раскусилъ съ самой ненужной поспѣшностью. Я, конечно зафилософствовался, но я тогда никакъ не могъ сладить съ теченіемъ мыслей. Мнѣ напримѣръ, вдругъ пришелъ въ голову еще такой афоризмъ: если судьба лишила этихъ дѣтей семьи и счастья возростать у родителей (потому что не всѣ же вѣдь родители вышвыриваютъ дѣтей изъ оконъ, или обвариваютъ ихъ кипяткомъ,—то не вознаградить ли ихъ какъ нибудь другимъ путемъ; возростивъ, напримѣръ, въ этомъ великолѣпномъ зданіи,—дать имя, потомъ образованіе и даже самое высшее образованіе всѣмъ, провесть черезъ университеты, а потомъ—а потомъ пріискать имъ мѣста, поставить на дорогу, однимъ словомъ, не оставлять ихъ какъ можно дальше, и это такъ сказать всѣмъ государствомъ, принявъ ихъ такъ сказать за общихъ, за государственныхъ дѣтей. Право, если уже прощать, то прощать вполнѣ. И тогда же мнѣ подумалось про себя: а вѣдь иные пожалуй скажутъ, что это значитъ поощрять развратъ и вознегодуютъ. Но какая смѣшная мысль: вообразить только, что всѣ эти симпатичныя дѣвицы нарочно и усиленно начнутъ рождать дѣтей только что услышатъ, что тѣхъ отдадутъ въ университеты.

„Нѣтъ, думалъ я, простить ихъ и простить совсѣмъ; ужь коли прощать такъ совсѣмъ"! Правда многимъ, очень многимъ людямъ завидно станетъ, самымъ честнымъ и работящимъ людямъ будетъ завидно: „Какъ, я, напримѣръ подумаетъ иной, всю жизнь работалъ какъ волъ, ни одного безчестнаго дѣла не сдѣлалъ, любилъ дѣтей и всю жизнь бился какъ бы ихъ образовать, какъ бы ихъ сдѣлать гражданами и не могъ, не могъ; гимназіи даже не могъ дать вполнѣ. Вотъ теперь кашляю, одышка, на будущей недѣлѣ помру,— прощай, мои дѣтушки, милые, всѣ восемь штукъ! Всѣ-то тотчасъ перестанутъ учиться, всѣ тотчасъ разбредутся по улицамъ, да на папиросныя фабрики, и это бы еще дай Богъ... А тѣ вышвырки университетъ доканчивать будутъ, мѣста получатъ, да еще я же свою копѣйку ежегодно на ихъ содержаніе косвенно или прямо платилъ!

Этотъ монологъ непремѣнно скажется и—какія, въ самомъ дѣлѣ, про-

тиворѣчія? Въ самомъ дѣлѣ, отчего это все такъ устроилось, что ничего согласить нельзя? Подумайте, ну что, казалось бы, могло быть законнѣе и справедливѣе этого монолога? А между тѣмъ вѣдь онъ въ высшей степени незаконенъ и несправедливъ. Стало быть и законенъ и стало быть и незаконенъ, что за путаница!

Не могу однако не досказать и иного чего, что мнѣ тогда померещилось. Напримѣръ: „если простить имъ, такъ простятъ-ли они"? Вотъ вѣдь тоже вопросъ. Есть иные высшаго типа существа, тѣ простятъ; другіе можетъ быть станутъ мстить за себя,—кому, чему,—никогда они этого не разрѣшатъ и не поймутъ, а мстить будутъ. Но на счетъ „мщенія обществу" этихъ „вышвырковъ" еслибъ таковое происходило, скажу такъ: я убѣжденъ, что это мщеніе всегда скорѣе можетъ быть отрицательное, чѣмъ прямое и положительное. Прямо и сознательно мстить никто и не станетъ, да и самъ даже не догадается, что мстить хочетъ, напротивъ, дайте только имъ воспитаніе, ужасно многіе изъ вышедшихъ изъ этого „зданія", выйдутъ именно съ жаждой почтенности, родоначальности, съ жаждой семейства; идеалъ ихъ будетъ завести свое гнѣздо, начать имя, пріобрѣсти значеніе, взвести дѣтокъ, возлюбить ихъ, а при воспитаніи ихъ отнюдь, отнюдь не прибѣгать къ „зданію", или къ помощи на казенный счетъ. И вообще, первымъ правиломъ будетъ даже забыть дорогу къ этому зданію, имя его. Напротивъ, этотъ новый родоначальникъ будетъ счастливъ если проведетъ своихъ дѣтокъ черезъ университетъ, на свой собственный счетъ. Что-же,—эта жажда буржуазнаго, *даннаго* порядка, которая будетъ преслѣдовать его всю жизнь,—что это будетъ: лакействомъ или самою высшею независимостью? По моему скорѣе послѣднимъ, но душа все-таки останется на всю жизнь не совсѣмъ независимою, несовсѣмъ *господскою*, и потому многое будетъ не совсѣмъ приглядно, хотя и въ высшей степени честно. Полную независимость духа даетъ совсѣмъ другое... но объ этомъ потомъ, это тоже длинная исторія.

II.

Одна несоотвѣтственная идея.

Я сказалъ, однако, сейчасъ: „независимость?" Но любятъ ли у насъ независимость—вотъ вопросъ. И что такое у насъ независимость? Есть ли два человѣка, которые бы понимали ее одинаково; да и не знаю, есть ли у насъ хоть одна такая идея, въ которую хоть кто нибудь серьезно вѣритъ? Рутина наша, и богатая и бѣдная, любитъ ни объ чемъ не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди получше рутины „обособляются" въ кучки и дѣлаютъ видъ, что чему то вѣрятъ, но, кажется, насильно, и сами себя тѣшатъ. Есть и особые люди, взявшіе за формулу: „Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше", и разработывающіе эту формулу. Есть, наконецъ, и парадоксалисты, иногда очень честные, но большею частью, довольно бездарные; тѣ, особенно если честны, кончаютъ безпрерывными самоубійствами. И право, самоубійства у насъ до того въ послѣднее время усилились, что никто ужь и не говоритъ объ нихъ. Русская земля какъ будто потеряла силу держать на себѣ людей. И сколько въ ней несомнѣнно честныхъ людей и особенно честныхъ женщинъ! Женщи-

ны у насъ подымаются и, можетъ быть, многое спасутъ, объ этомъ я еще буду говорить. Женщины—наша большая надежда, можетъ быть послужатъ всей Россіи въ самую роковую минуту; но вотъ въ чемъ бѣда: честныхъ то у насъ много, очень много, т. е. видите ли: скорѣе добрыхъ, чѣмъ честныхъ, но никто изъ нихъ не знаетъ въ чемъ честь, рѣшительно не вѣритъ ни въ какую формулу чести, даже отрицаетъ самыя ясныя прежнія ея формулы, и это почти вездѣ и у всѣхъ, что за чудо? А такъ называемая „живая сила", живое чувство бытія, безъ котораго ни одно общество жить не можетъ и земля не стоитъ,—рѣшительно Богъ знаетъ куда уходитъ. И почему это я раздумался объ самоубійствахъ въ этомъ зданіи, смотря на этотъ питомникъ, на этихъ младенцевъ? Вотъ ужь не соотвѣтственная-то идея.

Несоотвѣтственныхъ идей у насъ много и онѣ то и придавливаютъ. Идея вдругъ падаетъ у насъ на человѣка какъ огромный камень, и придавливаетъ его на половину,—и вотъ онъ подъ нимъ корчится, а освободиться не умѣетъ. Иной соглашаетлся жить и придавленный, а другой не согласенъ и убиваетъ себя. Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубійцы, дѣвицы, приведенное въ „Новомъ Времени", длинное письмо. Ей было двадцать пять лѣтъ. Фамилія—Писарева. Была она дочь достаточныхъ когда то помѣщиковъ, но пріѣхала въ Петербургъ и отдала долгъ прогрессу, поступила въ акушерки. Ей удалось, она выдержала экзаменъ и нашла мѣсто земской акушерки; сама свидѣтельствуютъ, что не нуждалась вовсе и могла слишкомъ довольно заработать, но она *устала*, она очень „устала", такъ устала, что ей захотѣлось отдохнуть. „Гдѣ же лучше отдохнешь, какъ не въ могилѣ?" Но устала она дѣйствительно ужасно! все письмо этой бѣдной дышетъ усталостью. Письмо даже сварливо, нетерпѣливо:—отстаньте только, я устала, устала. „Не забудьте велѣть стащить съ меня новую рубашку и чулки, у меня на столикѣ есть старая рубашка и чулки. Эти пусть надѣнутъ на меня". Она не пишетъ *снять*, а *стащить*,—и все такъ, т. е., во всемъ страшное нетерпѣніе. Всѣ эти рѣзкія слова отъ нетерпѣнія, а нетерпѣніе отъ усталости; она даже бранится: „Неужели вы вѣрили, что я домой поѣду? Ну, на кой чортъ я туда поѣду?" Или: „Теперь, Липарева, простите вы меня и пусть проститъ Петрова (у которой на квартирѣ она отравилась), въ особенности Петрова. Я дѣлаю свинство, пакость..." Родныхъ своихъ она видимо любитъ, но пишетъ. „Не давайте знать Лизанькѣ, а то она скажетъ сестрѣ и та пріѣдетъ выть сюда. Я не хочу, чтобы надо мной выли, а родственники всѣ безъ исключенія воютъ надъ своими родными". *Воютъ*, а не *плачутъ*,—все это видимо отъ брюзгливой и нетерпѣливой усталости: поскорѣй, поскорѣй бы только—и дайте покой!.. Брюзгливаго и циническаго невѣрія въ ней страшно, мучительно много; она и въ Липареву, и въ Петрову, которыхъ такъ любитъ, не вѣритъ. Вотъ слова, которыми начинается письмо: „Не теряйте головы, не ахайте, сдѣлайте надъ собой усиліе и прочтите до конца; а потомъ разсудите, какъ лучше сдѣлать. Петрову не пугайте. Можетъ быть ничего не выйдетъ, кромѣ смѣха. Мой видъ на жительство въ чемоданной крышкѣ".

Кромѣ смѣха! Эта мысль, что надъ

нею, надъ бѣднымъ тѣломъ ея, будутъ смѣяться, и кто же—Липарева и Петрова—эта мысль скользнула въ ней въ такую минуту! Это ужасно!

До странности занимаютъ ее денежныя распоряженія той крошечной суммой, которая послѣ нея осталась: „эти деньги чтобъ не взяли родные, тѣ-то Петровой, двадцать пять рублей, которые дали мнѣ Чечоткины на дорогу, отвезите имъ“. Эта важность приданная деньгамъ, есть можетъ быть послѣдній отзывъ главнаго предразсудка всей жизни „о камняхъ обращонныхъ въ хлѣбы“. Однимъ словомъ, проглядываетъ руководящее убѣжденіе всей жизни, т. е. „были бы всѣ обезпечены, были бы всѣ и счастливы, не было бы бѣдныхъ, не было бы преступленій. Преступленій нѣтъ совсѣмъ. Преступленіе есть болѣзненное состояніе, происходящее отъ бѣдности и отъ несчастной среды“ и т. д., и т. д. Въ этомъ-то и состоитъ весь этотъ маленькій, обиходный и ужасно характерный и законченный катехизисъ тѣхъ убѣжденій, которымъ онѣ предаются въ жизни съ такою вѣрою (и не смотря на то такъ скоро всѣ наскучиваютъ и своей вѣрою и жизнью,—которыми онѣ замѣняютъ все, живую жизнь, связь съ землей, вѣру въ правду; все, все. Она устала очевидно отъ скуки жить и утративъ всякую вѣру въ правду, утративъ всякую вѣру въ какой нибудь долгъ; однимъ словомъ, полная потеря высшаго идеала существованія.

И умерла бѣдная дѣвушка. Я не вою надъ тобой, бѣдная, но дай хоть пожалѣть о тебѣ, позволь это; дай пожелать твоей душѣ воскресенія въ такую жизнь, гдѣ бы ты уже не соскучилась. Милыя, добрыя, честныя (все это есть у васъ!), куда же это вы уходите, отчего вамъ такъ мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небѣ яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши. Ну какъ не *выть* надъ вами матерямъ вашимъ, которыя васъ ростили и такъ любовались на васъ, когда еще вы были младенцами? А въ младенцѣ столько надеждъ! Вотъ я смотрю, вотъ эти здѣшніе „выпвырки“,—вѣдь какъ они хотятъ жить, какъ они заявляютъ о своемъ правѣ жить! Такъ и ты была младенцемъ, и хотѣла жить, и твоя мать это помнитъ, и какъ сравнитъ теперь твое мертвое лицо съ тѣмъ смѣхомъ и радостью, которые видѣла и помнитъ на твоемъ младенческомъ личикѣ, то какъ же ей не „взвыть“, какъ же упрекать ихъ за-то, что онѣ воютъ? Вотъ мнѣ показали сейчасъ дѣвочку Дуню: она родилась съ искривленой ножкой, т. е. совсѣмъ безъ ноги; вмѣсто ноги у нея что-то въ родѣ какой-то тесемки. Ей всего только полтора года, она здоровенькая и замѣчательно хороша собой; ее всѣ ласкаютъ, и она всякому-то кивнетъ головкой, всякому-то улыбнется, всякому-то пощелкаетъ языкомъ. Она еще ничего не знаетъ про свою ножку, не знаетъ что она уродъ и калѣка, но неужели и этой тоже суждено возненавидѣть жизнь? „Мы ей вставимъ ножку, дадимъ костыль и выучимъ ходить, и не замѣтитъ“, говорилъ докторъ лаская ее. Ну и дай Богъ чтобъ *не замѣтила*. Нѣтъ, устать, возненавидѣть жизнь, возненавидѣть значитъ и всѣхъ, о нѣтъ, нѣтъ, пройдетъ это жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчащихся подъ свалившимися на нихъ камнями, засвѣтитъ какъ солнце новая великая мысль и укрѣпится шатающійся умъ и скажутъ всѣ: „Жизнь хороша, а мы были гадки“. Не виню вѣдь я, говоря что гадки. Вонъ я вижу

эта баба, эта грубая кормилица, это „напятое молоко“ вдругъ поцаловала ребенка,—этого-то ребенка, „вышвырката“! Я и не думалъ, что здѣсь кормилицы цалуютъ этихъ ребятъ; да вѣдь за этимъ только чтобъ это увидѣть стоило бы сюда съѣздить! А она поцаловала и не замѣтила и не видѣла что я смотрѣлъ. За деньги что ли онѣ ихъ любятъ? ихъ нанимаютъ чтобъ ребятъ кормить, и не требуютъ чтобъ цаловали. У чухонокъ по деревнямъ дѣтямъ, разсказываютъ, хуже, но нѣкоторыя изъ нихъ до того привыкаютъ къ своимъ выкормкамъ, что, передавали мнѣ, сдаютъ ихъ опять въ Домъ плача, приходятъ потомъ нарочно ихъ повидать издалека, изъ деревень приносятъ гостинца, „воютъ надъ ними“. Нѣтъ, тутъ не деньги: „родные вѣдь всѣ воютъ“,—какъ рѣшила Писарева въ своей предсмертной запискѣ, вотъ и эти приходятъ выть, и цалуютъ и гостинца своего деревенскаго бѣднаго тащутъ. Это не однѣ только наемныя груди, замѣнившія груди матерей, это *материнство*, это та „живая жизнь“, отъ которой такъ устала Писарева. Да правда ли что русская земля перестаетъ на себѣ держать русскихъ людей? Отчего же жизнь рядомъ, тутъ же, бьетъ такимъ горячимъ ключомъ.

И ужъ конечно тутъ много тоже младенцевъ отъ тѣхъ интересныхъ матерей, которыя сидятъ тамъ у себя на ступенькахъ дачь и точатъ бритвы на своихъ соперницъ. Скажу въ заключеніе: эти бритвы въ своемъ родѣ могутъ быть очень симпатичны, но я очень жалѣлъ что попалъ сюда, въ это зданіе, въ то время когда слѣдилъ за процессомъ г-жи Каировой. Я вовсе не знаю жизнеописанія г-жи Каировой и рѣшительно не могу и права не имѣю примѣнить къ ней что-нибудь на счетъ этого зданія, но весь этотъ романъ ея и все это краснорѣчивое изложеніе ея страстей на судѣ, какъ-то рѣшительно потеряли для меня всякую силу и убили во мнѣ всякую къ себѣ симпатію какъ только я вышелъ изъ этого зданія. Я прямо сознаюсь въ этомъ, потому что можетъ быть оттого-то и написалъ такъ безчувственно о „дѣлѣ“ г-жи Каировой.

III.

Несомнѣнный демократизмъ. Женщины.

Чувствую, что надо бы отвѣтить и еще на одно письмо одного корреспондента. Въ прошломъ апрѣльскомъ № „Дневника“, говоря о политическихъ вопросахъ, я, между прочимъ, включилъ одну, положимъ, фантазію:

... „Россія окажется сильнѣе всѣхъ въ Европѣ. Произойдетъ это оттого, что въ Европѣ уничтожатся всѣ великія державы и по весьма простой причинѣ: онѣ всѣ будутъ обезсилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремленіями огромной части своихъ низшихъ подданныхъ, своихъ пролетаріевъ и нищихъ. Въ Россіи же этого не можетъ случиться совсѣмъ: нашъ демосъ доволенъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ удовлетворенъ, ибо все къ тому идетъ, общимъ настроеніемъ, или лучше согласіемъ. А потому и останется одинъ только колоссъ на континентѣ Европы — Россія“.

Мой корреспондентъ въ отвѣтъ на это мнѣніе приводитъ одинъ любопытнѣйшій и назидательный фактъ и выставляетъ его, какъ причину сомнѣнія въ томъ, что „нашъ демосъ доволенъ и удовлетворенъ“. Почтенный корреспондентъ слишкомъ хорошо пойметъ (если ему попадутся эти строки), почему я не могу теперь поднять этотъ сообщенный имъ фактъ и отвѣтить на

него, хотя и не теряю надежды въ возможность поговорить именно объ этомъ фактѣ въ самомъ непродолжительномъ будущемъ. Но теперь я хочу лишь сказать одно слово въ объясненіе о демосѣ, тѣмъ болѣе, что получилъ уже свѣдѣніе и о нѣкоторыхъ другихъ мнѣніяхъ, тоже несогласныхъ съ моимъ убѣжденіемъ о довольствѣ нашего „демоса". Я хочу лишь обратить вниманіе моихъ оппонентовъ на одну строчку выписаннаго выше мѣста изъ апрѣльскаго номера: ...„ибо все къ тому идетъ, общимъ настроеніемъ, или лучше согласіемъ". Въ самомъ дѣлѣ, еслибъ этого общаго *настроенія* или лучше *согласія* не было даже въ самыхъ моихъ оппонентахъ, то они пропустили бы мои слова безъ возраженія. И потому настроеніе это несомнѣнно существуетъ, несомнѣнно демократическое и несомнѣнно безкорыстное; мало того, оно всеобщее. Правда, много въ теперешнихъ демократическихъ заявленіяхъ и фальши, много и журнальнаго плутовства; много увлеченія, напримѣръ, въ преувеличеніи нападокъ на противниковъ демократизма, которыхъ, къ слову сказать, у насъ теперь очень мало. Тѣмъ не менѣе честность, безкорыстіе, прямота и откровенность демократизма въ большинствѣ русскаго общества не подвержены уже никакому сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи мы можетъ быть представили или начинаемъ представлять собою явленіе еще не объявлявшееся въ Европѣ, гдѣ демократизмъ до сихъ поръ и повсемѣстно заявилъ себя еще только снизу, еще только воюетъ, а побѣжденный (будто бы) верхъ до сихъ поръ даетъ страшный отпоръ. Нашъ верхъ побѣжденъ не былъ, нашъ верхъ самъ сталъ демократиченъ, или вѣрнѣе, народенъ, и — кто же можетъ отрицать это? А если такъ, то согласитесь сами, что нашъ демосъ ожидаетъ счастливая будущность. И если въ настоящемъ еще многое неприглядно, то по крайней мѣрѣ позволительно питать большую надежду, что временныя невзгоды демоса непремѣнно улучшатся подъ неустаннымъ и безпрерывнымъ вліяніемъ впредь такихъ огромныхъ *началъ* (ибо иначе и назвать нельзя), *какъ всеобщее демократическое настроеніе и всеобщее согласіе* на то всѣхъ русскихъ людей, начиная съ самаго верху. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и выразился, что нашъ демосъ доволенъ, и „чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ удовлетворенъ". Что же, въ это трудно не вѣрить.

—

А въ заключеніе мнѣ хочется прибавить еще одно слово о русской женщинѣ. Я сказалъ уже, что въ ней заключена одна наша огромная надежда, одинъ изъ залоговъ нашего обновленія. Возрожденіе русской женщины въ послѣдніе двадцать лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, откровенный и безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушилъ уваженіе, по крайней мѣрѣ заставилъ задуматься, не взирая на нѣсколько паразитныхъ неправильностей обнаружившихся въ этомъ движеніи. Теперь, однако, уже можно свести счеты и сдѣлать безбоязненный выводъ. Русская женщина цѣломудренно пренебрегла препятствіями, насмѣшками. Она твердо объявила свое желаніе участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій человѣкъ, въ эти послѣднія десятилѣтія, страшно поддался разврату стяжанія,

цинизма, матеріализма; женщина же осталась гораздо болѣе его вѣрна чистому поклоненію идеи, служенію идеи. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣніе и представила примѣръ величайшаго мужества. „Дневникъ Писателя“ далъ мнѣ средство ближе видѣть русскую женщину; я получилъ нѣсколько замѣчательныхъ писемъ: меня, неумѣлаго, спрашиваютъ онѣ: „что дѣлать?“ Я цѣню эти вопросы и недостатокъ умѣнія въ отвѣтахъ стараюсь искупить искренностью. Я сожалѣю, что многаго не могу и права не имѣю здѣсь сообщить. Вижу, впрочемъ, и нѣкоторые недостатки современной женщины и главный изъ нихъ — чрезвычайную зависимость ея отъ нѣкоторыхъ собственно мужскихъ идей, способность принимать ихъ на слово и вѣрить въ нихъ безъ контроля. Говорю далеко не обо всѣхъ женщинахъ, но недостатокъ этотъ свидѣтельствуетъ и о прекрасныхъ чертахъ сердца: цѣнятъ онѣ болѣе всего свѣжее чувство, живое слово, но главное, и выше всего, искренность, а повѣривъ искренности, иногда даже фальшивой, увлекаются и мнѣніями и вотъ это иногда слишкомъ. Высшее образованіе впереди могло бы этому очень помочь. Допустивъ искренно и вполнѣ высшее образованіе женщины, со всѣми правами, которыя даетъ оно, Россія еще разъ ступила бы огромный и своеобразный шагъ передъ всей Европой въ великомъ дѣлѣ обновленія человѣчества. Дай Богъ тоже русской женщинѣ менѣе „уставать“, менѣе разочаровываться, какъ „устала“, наприм. Писарева. Но скорѣе пусть, какъ жена Щапова, она утолитъ тогда свою грусть самопожертвованіемъ и любовью. Но и та и другая одинаково мучительныя и незабвенныя явленія,—одна по своей малововознагражденной высокой женственной энергіи, другая—какъ бѣдная усталая, уединившаяся, поддавшаяся, побѣжденная...

Ѳ. Достоевскій.



Дозволено цензурою. Спб. 30 мая 1876. Типогр. кн. Вл. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

ІЮНЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Смерть Жоржъ Занда.

Прошлый, майскій № „Дневника“ былъ уже набранъ и печатался, когда я прочелъ въ газетахъ о смерти Жоржъ Занда (умерла 27 мая,—8 іюня). Такъ и не успѣлъ сказать ни слова объ этой смерти. А, между тѣмъ, лишь прочтя о ней, понялъ, что значило въ моей жизни это имя,—сколько взялъ этотъ поэтъ въ свое время моихъ восторговъ, поклоненій и сколько далъ мнѣ когда-то радостей, счастья! Я смѣло ставлю каждое изъ этихъ словъ, потому что все это было буквально. Это одна изъ нашихъ (т. е. *нашихъ*) современницъ вполнѣ—идеалистка тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Это одно изъ тѣхъ именъ нашего могучаго, самонадѣяннаго и въ то же время больнаго столѣтія, полнаго самыхъ невыясненныхъ идеаловъ и самыхъ неразрѣшимыхъ желаній,—именъ, которыя, возникнувъ тамъ у себя, въ „странѣ святыхъ чудесъ“, переманили отъ насъ, изъ нашей вѣчно создающейся Россіи, слишкомъ много думъ, любви, святой и благородной силы порыва, живой жизни и дорогихъ убѣжденій. Но не жаловаться намъ надо на это: вознося такія имена и преклоняясь предъ ними, русскіе служили и служатъ прямому своему назначенію. Пусть не удивляются этимъ словамъ моимъ, и особенно въ отношеніи къ Жоржъ-Занду, о которой до сихъ поръ могутъ быть споры и которую, наполовину, если не на всѣ девять десятыхъ, у насъ успѣли уже забыть; но свое дѣло она все-таки у насъ сдѣлала въ свое время и—кому же собраться помянуть ее на ея могилѣ, какъ не намъ, ея современникамъ со всего міра? У насъ—русскихъ, двѣ родины: наша Русь и Европа, даже и въ томъ случаѣ, если мы

называемся славянофилами,—(пусть они на меня за это не сердятся). Противъ этого спорить не нужно. Величайшее изъ величайшихъ назначеній, уже сознанныхъ Русскими въ своемъ будущемъ, есть назначеніе общечеловѣческое, есть общеслуженіе человѣчеству,—не Россіи только, не общеславянству только, но всечеловѣчеству. Подумайте и вы согласитесь, что Славянофилы признавали то же самое,—вотъ почему и звали насъ быть строже, тверже и отвѣтственнѣе русскими,—именно понимая, что всечеловѣчность есть главнѣйшая личная черта и назначеніе русскаго. Впрочемъ, все это требуетъ еще многаго разъясненія: ужъ одно то, что служеніе общечеловѣческой идеѣ и легкомысленное шатаніе по Европѣ, добровольно и брюзгливо покинувъ отечество, суть двѣ вещи обратно противуположныя, а ихъ до сихъ поръ еще смѣшиваютъ. Напротивъ, многое, очень многое изъ того, что мы взяли изъ Европы и пересадили къ себѣ, мы не скопировали только, какъ рабы у господъ, и какъ непремѣнно требуютъ того Потугины, а привили къ нашему организму, въ нашу плоть и кровь; иное же пережили и даже выстрадали *самостоятельно*, точь въ точь какъ тѣ, тамъ—на Западѣ, для которыхъ все это было свое родное. Европейцы этому ни за что не захотятъ повѣрить: они насъ не знаютъ, да и пока тѣмъ лучше. Тѣмъ непримѣтнѣе и спокойнѣе совершится необходимый процессъ, который впослѣдствіи удивитъ весь міръ. Вотъ этотъ-то процессъ всего яснѣе и осязательнѣе можно выслѣдить отчасти и на отношеніи нашемъ къ литературамъ другихъ народовъ. Ихніе поэты намъ, по крайней мѣрѣ, большинству развитыхъ людей нашихъ, точно также родные какъ и имъ, тамъ у себя—на Западѣ. Я утверждаю и повторяю, что всякій Европейскій поэтъ, мыслитель, филантропъ, кромѣ земли своей, изъ всего міра, наиболѣе и напроднѣе бываетъ понятъ и принятъ всегда въ Россіи. Шекспиръ, Байронъ, Вальтеръ-Скоттъ, Диккенсъ—роднѣе и понятнѣе русскимъ, чѣмъ, напримѣръ, нѣмцамъ, хотя, конечно, у насъ и десятой доли не расходится экземпляровъ этихъ писателей въ переводахъ, чѣмъ въ многокнижной Германіи. Французскій конвентъ 93 года, посылая патентъ на право гражданства au poête allemand Schiller, l'ami de l'humanite *), хоть и сдѣлалъ тѣмъ прекрасный, величавый и пророческій поступокъ, но и не подозрѣвалъ, что на другомъ краю Европы, въ варварской Россіи, этотъ же Шиллеръ гораздо національнѣе и гораздо роднѣе варварамъ русскимъ, чѣмъ, не только въ то время—во Франціи, но даже и потомъ, во все наше столѣтіе, въ которомъ Шиллера, гражданина французскаго и l'ami de l'humanitè, знали во Франціи лишь какъ профессора словесности, да и то не всѣ, да и то чуть-чуть. А у насъ онъ, вмѣстѣ съ Жуковскимъ, въ душу русскую всосался, клеймо въ ней оставилъ, почти періодъ въ исторіи нашего развитія обозначилъ. Это русское отношеніе къ всемірной литературѣ есть явленіе почти не повторявшееся въ другихъ народахъ въ такой степени, во всю всемірную исторію, и если это свойство есть дѣствительно наша національная русская особенность — то какой обидчивый патріотизмъ, какой шовинизмъ былъ бы въ правѣ сказать, что-либо

*) Нѣмецкому поэту Шиллеру, другу человѣчества.

противъ этого явленія и не захотѣть, напротивъ, замѣтить въ немъ прежде всего самаго широко-обѣщающаго и самаго пророческаго факта въ гаданіяхъ о нашемъ будущемъ. О, конечно, многіе улыбнутся, можетъ быть, прочтя выше о томъ значеніи, которое я придаю Жоржъ-занду; но смѣющіеся будутъ неправы: теперь прошло очень уже довольно времени всѣмъ этимъ минувшимъ дѣламъ, да и сама Жоржъ-Зандъ умерла старушкой, семидесяти лѣтъ, и, можетъ быть, давно уже переживъ свою славу. Но все то, что въ явленіи этого поэта составляло „новое слово", все, что было „всечеловѣческаго",—все это тотчасъ же въ свое время отозвалось у насъ, въ нашей Россіи, сильнымъ и глубокимъ впечатлѣніемъ, не миновало насъ и тѣмъ доказало, что всякій поэтъ — новаторъ Европы, всякій, прошедшій тамъ съ новою мыслью и съ новою силой, не можетъ не стать тотчасъ же и русскимъ поэтомъ, не можетъ миновать русской мысли, не стать почти русскою силой. А впрочемъ, я вовсе не статью критическую хочу писать о Жоржъ-Зандѣ, а всего только хотѣлъ было сказать отшедшей покойницѣ нѣсколько напутственныхъ словъ на ея свѣжей могилѣ.

II.

Нѣсколько словъ о Жоржъ-Зандѣ.

Появленіе Жоржъ-Занда въ литературѣ совпадаетъ съ годами моей первой юности, и я очень радъ теперь, что это такъ уже давно было, потому что теперь, слишкомъ тридцать лѣтъ спустя, можно говорить почти вполнѣ откровенно. Надо замѣтить, что тогда только это и было позволено, — т. е. романы, остальное все, чуть не всякая мысль, особенно изъ Франціи, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотрѣть не умѣли, да и откуда бы могли научиться: и Меттернихъ не умѣлъ смотрѣть, не то что наши подражатели. А потому и проскакивали „ужасныя вещи" (напримѣръ, проскочилъ весь Бѣлинскій). Но за то, какъ бы взамѣнъ тому, подконецъ—особенно, чтобъ не ошибиться, стали запрещать почти что сплошь, такъ что кончалось, какъ извѣстно, транспарантами. Но романы, все-таки, дозволялись, и съ начала, и въ срединѣ, и даже въ самомъ концѣ, и вотъ тутъ-то, и именно на Жоржъ-Зандѣ, оберегатели дали тогда большаго маха. Помните вы стихи:

„Томы Тьера и Рабо
„Онъ на память знаетъ,—
„И, какъ ярый Мирабо,
„Вольность прославляетъ".

Стихи эти чрезвычайно талантливые, даже до рѣдкости, и останутся навсегда, потому что они историческіе; по тѣмъ и драгоцѣннѣе, ибо они написаны Денисомъ Давыдовымъ, поэтомъ, литераторомъ и честнѣйшимъ русскимъ. Но ужь коли Денисъ Давыдовъ, и кого же—Тьера (за исторію революціи, разумѣется) счелъ тогда опаснымъ и помѣстилъ въ стихъ вмѣстѣ съ какимъ-то Рабо (былъ же стало быть и такой, я, впрочемъ, не знаю), то ужь разумѣется слишкомъ мало могло быть тогда оффиціально дозволено. И что-же вышло: то, что вторгнулось къ намъ тогда, въ формѣ романовъ, не только послужило точно также дѣлу, но, можетъ быть, было, напротивъ, еще самой „опасной" формой по тогдашнему времени, потому что на Рабо-то можетъ быть и не нашлось бы тогда столько охотниковъ,

а на Жоржъ-Занда нашлось ихъ тысячами. Здѣсь надо замѣтить, что и то, что у насъ, несмотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди, еще съ прошлаго столѣтія, всегда тотчасъ-же становилось извѣстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ движеніи въ Европѣ, и тотчасъ-же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллекціи передавалось и массѣ, хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей. Точь въ точь тоже произошло и съ европейскимъ движеніемъ тридцатыхъ годовъ. Объ этомъ огромномъ движеніи европейскихъ литературъ, съ самаго начала тридцатыхъ годовъ, у насъ весьма скоро получилось понятіе. Были уже извѣстны имена многихъ новыхъ явившихся ораторовъ, историковъ, трибуновъ, профессоровъ. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть извѣстно стало и то, куда клонитъ все это движеніе. И вотъ, особенно страстно это движеніе проявилось въ искусствѣ—въ романѣ, а главнѣйше — у Жоржъ-Занда. Правда, о Жоржъ-Зандѣ Сенковскій и Булгаринъ предостерегали публику еще до появленія ея романовъ на русскомъ языкѣ. Особенно пугали русскихъ дамъ тѣмъ, что она ходитъ въ панталонахъ, хотѣли испугать развратомъ, сдѣлать ее смѣшной. Сенковскій, самъ же и собиравшійся переводить Жоржъ-Занда въ своемъ журналѣ „Библіотека для Чтенія“, началъ называть ее печатно г-жей Егоромъ Зандомъ и, кажется, серьезно остался доволенъ своимъ остроуміемъ. Впослѣдствіи, въ 48-мъ году, Булгаринъ печаталъ объ ней въ „Сѣверной Пчелѣ“, что она ежедневно пьянствуетъ съ Пьеромъ Леру у заставы и участвуетъ въ Аѳинскихъ вечерахъ, въ Министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, у разбойника и министра внутреннихъ дѣлъ Ледрю-Роллена. Я это самъ читалъ и очень хорошо помню. Но тогда, въ 48 году, Жоржъ-Зандъ была у насъ уже извѣстна почти всей читающей публикѣ и Булгарину никто не повѣрилъ. Появилась же она на русскомъ языкѣ впервые примѣрно въ половинѣ тридцатыхъ годовъ; жаль, что не помню и не знаю—когда и какое первое произведеніе ея было у насъ переведено; но тѣмъ удивительнѣе должно быть было впечатлѣніе. Я думаю, также какъ и меня, еще юношу, всѣхъ поразила тогда эта цѣломудренная, высочайшая чистота типовъ и идеаловъ и скромная прелесть строгаго, сдержаннаго тона разсказа,—и вотъ этакая-то женщина ходитъ въ панталонахъ и развратничаетъ! Мнѣ было, я думаю, лѣтъ шестнадцать, когда я прочелъ въ первый разъ ея повѣсть „*Ускокъ*“,—одно изъ прелестнѣйшихъ первоначальныхъ ея произведеній. Я помню, я былъ потомъ въ лихорадкѣ всю ночь. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жоржъ-Зандъ, по крайней мѣрѣ, по моимъ воспоминаніямъ судя, заняла у насъ сряду чуть не самое первое мѣсто въ ряду цѣлой плеяды новыхъ писателей, тогда вдругъ прославившихся и прогремѣвшихъ по всей Европѣ. Даже Диккенсъ, явившійся у насъ почти одновременно съ нею, уступалъ ей, можетъ быть, въ вниманіи нашей публики. Я не говорю уже о Бальзакѣ, явившемся прежде нея и давшимъ, однако, въ тридцатыхъ годахъ, такія произведенія, какъ Ежени Гранде и Старикъ Горіо (и къ которому такъ былъ несправедливъ Бѣлинскій, совершенно проглядѣвшій его значеніе во французской литературѣ). Впрочемъ, я говорю все это не съ точки зрѣнія какой-нибудь критической оцѣнки, а просто за просто припоминаю о вкусѣ

тогдашней массы русскихъ читателей, о непосредственномъ произведенномъ на нихъ впечатлѣніи. Главное то, что читатель съумѣлъ извлечь даже изъ романовъ все то, отъ чего его такъ тогда оберегали. По крайней мѣрѣ, въ половинѣ сороковыхъ годовъ у насъ, даже массѣ читателей, было хоть отчасти извѣстно, что Жоржъ-Зандъ—одна изъ самыхъ яркихъ, строгихъ и правильныхъ представительницъ того разряда тогдашнихъ западныхъ новыхъ людей, явившихся и начавшихъ прямымъ отрицаніемъ тѣхъ „положительныхъ“ пріобрѣтеній, которыми закончила свою дѣятельность кровавая французская (а вѣрнѣе европейская) революція конца прошлаго столѣтія. По окончаніи ея (послѣ Наполеона I-го) явились новыя попытки выразить новыя желанія и новые идеалы. Передовые умы слишкомъ поняли, что лишь обновился деспотизмъ, что лишь произошло: „Otes toi de là que je m'y mette“, что новые побѣдители міра (буржуа) оказались еще, можетъ быть, хуже прежнихъ деспотовъ (дворянъ) и что „свобода, равенство и братство“ оказались лишь громкими фразами и не болѣе. Мало того, явились такія ученія, по которымъ, изъ громкихъ фразъ, они уже оказались и невозможными фразами. Побѣдители произносили или лучше припоминали эти три сакраментальныя слова уже насмѣшливо; даже наука (экономисты) явилась, въ блестящихъ представителяхъ своихъ, пришедшихъ тогда тоже какъ бы съ новымъ словомъ,—на подмогу насмѣшкѣ и на осужденіе утопическаго значенія этихъ трехъ словъ, для которыхъ было пролито столько крови. Такимъ образомъ, рядомъ съ восторжествовавшими побѣдителями, начали появляться унылыя и грустныя лица, пугавшія торжествующихъ. И вотъ въ эту-то эпоху вдругъ возникло дѣйствительно новое слово и раздались новыя надежды: явились люди, прямо возгласившіе, что дѣло остановилось напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической смѣной побѣдителей, что дѣло надобно продолжать, что обновленіе человѣчества должно быть радикальное, соціальное. О, конечно, явилось рядомъ съ этими возгласами и множество самыхъ пагубныхъ и самыхъ уродливыхъ заключеній, но главное было въ томъ, что засвѣтилась опять надежда и опять начала возрождаться вѣра. Исторія этого движенія извѣстна,—оно продолжается до сихъ поръ, и кажется вовсе не намѣрено останавливаться. Я вовсе не намѣренъ говорить здѣсь ни за, ни противъ него, но я лишь желалъ обозначить настоящее мѣсто Жоржъ-Занда въ этомъ движеніи. Ея мѣсто надо искать въ самомъ началѣ его. Тогда, встрѣчая ее въ Европѣ, говорили, что она проповѣдуетъ новое положеніе женщины и пророчествуетъ о „правахъ свободной жены“ (выраженіе про нее Сенковскаго); но это несовсѣмъ было вѣрно, ибо она проповѣдывала вовсе не объ одной только женщинѣ и не изобрѣтала никакой „свободной жены“. Жоржъ Зандъ принадлежала всему движенію, а не одной лишь проповѣди о правахъ женщины. Правда, какъ женщина сама, она естественно болѣе любила выставлять *героинь*, чѣмъ *героевъ*, и ужь, конечно, женщины всего міра должны теперь надѣть по ней трауръ, потому что умерла одна изъ самыхъ высшихъ и прекрасныхъ ихъ представительницъ и, кромѣ того, женщина почти небывалая по силѣ ума и таланта—имя,

ставшее историческимъ, имя, которому не суждено забыться и исчезнуть среди европейскаго человѣчества.

Что же до героинь ея, то, повторяю опять, я былъ съ самаго перваго раза, еще шестнадцати лѣтъ, удивленъ странностью противорѣчія того, что объ ней писали и говорили съ тѣмъ, что увидалъ я самъ на самомъ дѣлѣ. На самомъ дѣлѣ, многія, нѣкоторыя по крайней мѣрѣ, изъ героинь ея представляли собою типъ такой высокой нравственной чистоты, какой невозможно было и представить себѣ безъ огромнаго нравственнаго запроса въ самой душѣ поэта, безъ исповѣданія самаго полнаго долга, безъ понимапія и признанія самой высшей красоты въ милосердіи, терпѣніи и справедливости. Правда, среди милосердія, терпѣнія и признанія обязанностей долга являлась и чрезвычайная гордость запроса и протеста, но гордость-то эта и была драгоцѣнна, потому что исходила изъ той высшей правды, безъ которой никогда не могло бы устоять, на всей своей нравственной высотѣ, человѣчество. Эта гордость не есть вражда quand même, основанная на томъ, что я, дескать, тебя лучше, а ты меня хуже, а лишь чувство самой цѣломудренной невозможности примиренія съ неправдой и порокомъ, хотя, опять-таки повторяю, чувство это не исключаетъ ни всепрощенія, ни милосердія; мало того, соразмѣрно этой гордости добровольно налагался на себя и огромнѣйшій долгъ. Эти героини ея жаждали жертвъ, подвига. Особенно нравилось мнѣ тогда, въ первоначальныхъ произведеніяхъ ея, нѣсколько типовъ дѣвушекъ, выведенныхъ, напримѣръ, въ такъ называвшихся тогда венеціанскихъ повѣстяхъ ея (къ которымъ принадлежатъ и Ускокъ, и Альдини) типовъ, закончившихся потомъ романомъ „Жанна", произведеніемъ уже геніальнымъ, представляющимъ собою свѣтлое и можетъ быть безспорное разрѣшеніе историческаго вопроса о Жаннѣ д'Аркъ. Въ современной крестьянской дѣвушкѣ она вдругъ воскрешаетъ передъ нами образъ исторической Жанны д'Аркъ и наглядно оправдываетъ дѣйствительную возможность этого величаваго и чудеснаго историческаго явленія, — задача вполнѣ Жоржъ-Зандовская, ибо никто, можетъ быть, кромѣ нея, изъ современныхъ ей поэтовъ не носилъ въ душѣ своей столь чистый идеалъ невинной дѣвушки,—чистый и столь могущественный своею невинностью. Всѣ эти типы дѣвушекъ, о которыхъ я сказалъ выше, повторяютъ собою въ нѣсколькихъ произведеніяхъ сряду одну задачу, одну тему (впрочемъ, не однѣ дѣвушки: эта же тема повторена потомъ въ великолѣпной повѣсти ея „La Marquise", тоже изъ первоначальныхъ). Изображается прямой, честный, но неопытный характеръ юнаго женскаго существа, съ тѣмъ гордымъ цѣломудріемъ, которое не боится и не можетъ быть загрязнено отъ соприкосновенія даже съ порокомъ, даже еслибъ вдругъ существо это очутилось случайно въ самомъ вертепѣ порока. Потребность великодушной жертвы (будто бы отъ нея именно ожидаемой) поражаетъ сердце юной дѣвушки, и, нисколько не задумываясь и не щадя себя, она безкорыстно, самоотверженно и безстрашно вдругъ дѣлаетъ самый опасный и роковой шагъ. То, что она видитъ и встрѣчаетъ, не смущаетъ и не страшитъ ее потомъ нимало,—напротивъ, тотчасъ же возвышаетъ мужество въ юномъ сердцѣ, тутъ только впервые познающемъ всѣ свои силы,—силы не-

винности, честности, чистоты,—удвоиваетъ ея энергію и указываетъ новые пути и новые горизонты еще незнавшему до того себя, но бодрому и свѣжему уму, не загрязненному еще жизненными уступками. Приэтомъ самая безукоризненная и прелестная форма поэмы: Жоржъ Зандъ особенно любила тогда кончать свои поэмы *счастливо*, торжествомъ невинности, искренности и юнаго, безстрашнаго простодушія. Такіе ли образы могли возмутить общество, возбудить сомнѣнія и страхи? Напротивъ, самые строгіе отцы и матери стали позволять въ своихъ семействахъ чтеніе Жоржъ Занда и только удивлялись: „что же это такъ всѣ объ ней говорили?“ Но тутъ-то и раздались предостерегающіе голоса, что „вотъ въ этой-то гордости женскаго запроса, въ этой-то непримиримости цѣломудрія съ порокомъ, въ этомъ-то отказѣ отъ всякихъ уступокъ пороку, въ этомъ-то безстрашіи, съ которымъ невинность воздвигается на борьбу и смотритъ ясно въ глаза обидѣ, и заключается ядъ, будущій ядъ женскаго протеста, женской эмансипаціи“. Что же! можетъ быть—про ядъ говорили справедливо; дѣйствительно зарождался ядъ, но что онъ шелъ истребить, что отъ этого яда должно было погибнуть и что спастись,—вотъ что тотчасъ же составило вопросъ и долго не разрѣшалось.

—

Теперь давно уже эти вопросы разрѣшены (кажется такъ). Надо кстати замѣтить, что къ половинѣ сороковыхъ годовъ слава Жоржъ-Занда и вѣра въ силу ея генія стояли такъ высоко, что мы, современники ея, всѣ ждали отъ нея чего-то несравненно большаго въ будущемъ, неслыханнаго еще новаго слова, даже чего нибудь разрѣшающаго и уже окончательнаго. Надежды эти не осуществились: оказалось, что въ то же время, т. е. къ концу сороковыхъ годовъ, она уже сказала все, что ей суждено и предназначено было высказать, а теперь надъ свѣжей могилой ея о ней ужь вполнѣ можно сказать послѣднее слово.

Жоржъ Зандъ не мыслитель, но это одна изъ самыхъ ясновидящихъ предчувственницъ (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) болѣе счастливаго будущаго, ожидающаго человѣчество, въ достиженіе идеаловъ котораго она бодро и великодушно вѣрила всю жизнь, и именно потому, что сама, въ душѣ своей, способна была воздвигнуть идеалъ. Сохраненіе этой вѣры до конца обыкновенно составляетъ удѣлъ всѣхъ высокихъ душъ, всѣхъ истинныхъ человѣколюбцевъ. Жоржъ Зандъ умерла деисткой, твердо вѣря въ Бога и въ безсмертную жизнь свою, но объ ней мало сказать этого: она сверхъ того была, можетъ быть, и всѣхъ болѣе христіанкой изъ всѣхъ своихъ сверстниковъ—французскихъ писателей, хотя формально (какъ католичка) и не исповѣдывала Христа. Конечно, какъ француженка, сообразно съ понятіемъ своихъ соотечественниковъ, Жоржъ Зандъ не могла сознательно исповѣдывать идеи, что „во всей вселенной нѣтъ имени, кромѣ Его, которымъ можно спастися“—главной идеи православія; но, несмотря на кажущееся и формальное противорѣчіе, повторяю это, Жоржъ Зандъ была можетъ быть одною изъ самыхъ полныхъ исповѣдницъ Христовыхъ, сама не зная о томъ. Она основывала свой соціализмъ, свои убѣжденія, надежды и идеалы на нравственномъ чувствѣ человѣка, на ду-

ховной жаждѣ человѣчества, на стремленіи его къ совершенству и къ чистотѣ, а не на муравьиной необходимости. Она вѣрила въ личность человѣческую безусловно (даже до безсмертія ея), возвышала и раздвигала представленіе о ней всю жизнь свою—въ каждомъ своемъ произведеніи, и тѣмъ самымъ совпадала и мыслію, и чувствомъ своимъ съ одной изъ самыхъ основныхъ идей христіанства, т. е., съ признаніемъ человѣческой личности и свободы ея (а стало быть и ея отвѣтственности). Отсюда и признаніе долга и строгіе нравственные запросы на это и совершенное признаніе отвѣтственности человѣческой. И, можетъ быть, не было мыслителя и писателя во Франціи въ ея время, въ такой силѣ понимавшаго, что „не единымъ хлѣбомъ бываетъ живъ человѣкъ". Что же до гордости ея запросовъ и протеста, то, повторяю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердія, прощенія обиды, даже безграничнаго терпѣнія, основаннаго на состраданіи къ самому обидчику; напротивъ, Жоржъ Зандъ въ произведеніяхъ своихъ не разъ прельщалась красотою этихъ истинъ и не разъ воплощала типы самаго искренняго прощенія и любви. Пишутъ объ ней, что она умерла прекрасной матерью, трудясь до конца своей жизни, другомъ окрестныхъ крестьянъ, любимая безгранично друзьями своими. Кажется, она наклонна была отчасти цѣнить аристократизмъ своего происхожденія (она происходила по матери изъ королевскаго Саксонскаго дома), но ужь, конечно, можно твердо сказать, что если она и цѣнила аристократизмъ въ людяхъ, то основывала его лишь на совершенствѣ души человѣческой: она не могла не любить великаго, примиряться съ низкимъ, уступить идею—и вотъ въ этомъ-то смыслѣ была, можетъ быть, и съ излишкомъ горда. Правда, не любила она тоже выводить въ романахъ своихъ приниженныхъ лицъ, справедливыхъ, но уступающихъ, юродливыхъ и забитыхъ, какъ почти есть во всякомъ романѣ у великаго христіанина Диккенса; напротивъ, воздвигала своихъ героинь гордо, ставила прямо царицъ. Это она любила и эту особенность надо замѣтить; она довольно характерна.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Мой парадоксъ.

Вновь сшибка съ Европой (о, не война еще: до войны намъ, то есть Россіи, говорятъ, все еще далеко), вновь на сценѣ безконечный Восточный вопросъ, вновь на русскихъ смотрятъ въ Европѣ недовѣрчиво... Но, однако, чего намъ гоняться за довѣрчивостью Европы? Развѣ смотрѣла когда Европа на русскихъ довѣрчиво, развѣ можетъ она смотрѣть на насъ когда нибудь довѣрчиво и не враждебно? О, разумѣется, *когда нибудь* этотъ взглядъ перемѣнится, когда нибудь и насъ разглядитъ и раскуситъ Европа по-

лучше, и объ этомъ *когда нибудь* очень и очень стоитъ поговорить, но пока—пока мнѣ пришелъ на умъ какъ-бы посторонній и боковой вопросъ и недавно я очень занятъ былъ его разрѣшеніемъ. Пусть со мной будетъ никто не согласенъ, но мнѣ кажется, что я хоть отчасти а правъ.

Я сказалъ, что русскихъ не любятъ въ Европѣ. Что не любятъ—объ этомъ, я думаю, никто не заспоритъ, но, между прочимъ, насъ обвиняютъ въ Европѣ, всѣхъ русскихъ, почти поголовно, что мы страшные либералы, мало того—революціонеры и всегда, съ какою-то даже любовью, наклонны примкнуть скорѣе къ разрушительнымъ, чѣмъ къ консервативнымъ элементамъ Европы. За это смотрятъ на насъ многіе европейцы насмѣшливо и свысока—ненавистно: имъ не понятно, съ чего это намъ быть въ *чужомъ дѣлѣ* отрицателями, они положительно отнимаютъ у насъ право европейскаго отрицанія—на томъ основаніи, что не признаютъ насъ принадлежащими къ „цивилизаціи". Они видятъ въ насъ скорѣе варваровъ, шатающихся по Европѣ и радующихся, что что-нибудь и гдѣ-нибудь можно разрушить,—разрушить лишь для разрушенія, для удовольствія лишь поглядѣть, какъ все это развалится, подобно ордѣ дикарей, подобно Гуннамъ, готовымъ нахлынуть на древній Римъ и разрушить святыню, даже безъ всякаго понятія о томъ, какую драгоцѣнность они истребляютъ. Что русскіе дѣйствительно въ большинствѣ своемъ заявили себя въ Европѣ либералами,—это правда, и даже это странно. Задавалъ ли себѣ кто когда вопросъ: почему это такъ? Почему чуть не девять десятыхъ русскихъ, во все наше столѣтіе, культурясь въ Европѣ, всегда примыкали къ тому слою европейцевъ, который былъ либераленъ, къ „лѣвой сторонѣ", то есть всегда къ той сторонѣ, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацію, болѣе или менѣе конечно (то, что отрицаетъ въ цивилизаціи Тьеръ, и то, что отрицала въ ней парижская коммуна 71-го года—чрезвычайно различно). Также „болѣе или менѣе" и также многоразлично либеральны и русскіе въ Европѣ, но все же, однако, повторю это, они наклоннѣе европейцевъ примкнуть прямо къ крайней лѣвой съ самаго начала, чѣмъ витать сперва въ нижнихъ степеняхъ либерализма,—однимъ словомъ, Тьеровъ изъ русскихъ гораздо менѣе найдешь, чѣмъ коммунаровъ. И, замѣтьте, это вовсе не какіе нибудь подбитые вѣтромъ люди, по крайней мѣрѣ—не все одни подбитые вѣтромъ, а и имѣющіе даже и очень солидный и цивилизованный видъ, иногда даже чуть не министры. Но виду-то этому европейцы и не вѣрятъ: Grattez le Russe et vous verrez le Tartare" говорятъ они (поскоблите русскаго и окажется татаринъ). Все это можетъ быть справедливо, но вотъ что мнѣ пришло на умъ: потому ли русскій въ общеніи своемъ съ Европой примыкаетъ, въ большинствѣ своемъ, къ крайней лѣвой, что онъ татаринъ и любитъ разрушеніе, какъ дикій, или, можетъ быть, двигаютъ его другія причины,—вотъ вопросъ!... и согласитесь, что онъ довольно любопытенъ. Сшибки наши съ Европой близятся къ концу; роль прорубленнаго окна въ Европу кончилась и наступаетъ что-то другое, должно наступить по крайней мѣрѣ, и это теперь всякъ сознаетъ кто хоть сколько нибудь въ состояніи мыслить. Однимъ словомъ, мы все болѣе и болѣе начинаемъ чувствовать, что должны быть

къ чему-то готовы, къ какой-то новой и уже гораздо болѣе оригинальной встрѣчѣ съ Европой, чѣмъ было это доселѣ,—въ восточномъ ли вопросѣ это будетъ, или въ чемъ другомъ, кто это знаетъ!... А потому всякіе подобные вопросы, изученія, даже догадки, даже парадоксы, и тѣ могутъ быть любопытны хоть тѣмъ однимъ, что могутъ навести на мысль. А какъ же не любопытно такое явленіе, что тѣ-то именно русскіе, которые наиболѣе считаютъ себя европейцами, называются у насъ „западниками", которые тщеславятся и гордятся этимъ прозвищемъ и до сихъ поръ еще дразнятъ другую половину русскихъ квасниками и зипунниками,—какъ же не любопытно, говорю я, что тѣ-то скорѣе всѣхъ и примыкаютъ къ отрицателямъ цивилизаціи, къ разрушителямъ ея, къ „крайней лѣвой", и что это вовсе никого въ Россіи не удивляетъ, даже вопроса никогда не составляло? Какъ же это не любопытно?

Я прямо скажу: у меня отвѣтъ составился, но я доказыватъ мою идею не буду, а лишь изложу ее слегка, попробую развить лишь фактъ. Да и нельзя доказывать уже по одному тому, что всего не докажешь.

Вотъ что мнѣ кажется: не сказалась-ли въ этомъ фактѣ (т. е. въ примыканіи къ крайней лѣвой, а въ сущности къ отрицателямъ Европы даже самыхъ яростныхъ нашихъ западниковъ)—не сказалась-ли въ этомъ протестующая русская душа, которой европейская культура была всегда, съ самаго Петра, ненавистна и во многомъ, слишкомъ во многомъ, сказывалась чуждой русской душѣ? Я именно такъ думаю. О, конечно этотъ протестъ происходилъ почти все время безсознательно, но дорого то, что чутье русское не умирало: русская душа хоть и безсознательно, а протестовала именно во имя своего руссизма, во имя своего русскаго и подавленнаго начала? Конечно, скажутъ, что тутъ нечему радоваться, еслибъ и было такъ: „все же отрицатель — Гуннъ, варваръ и Татаринъ, — отрицалъ не во имя чего нибудь высшаго, а во имя того, что самъ былъ до того низокъ, что даже и въ два вѣка не могъ разглядѣть европейскую высоту".

Вотъ что несомнѣнно скажутъ. Я согласенъ, что это вопросъ, но на него-то я отвѣчать и не стану, а лишь объявлю голословно, что предположеніе о Татаринѣ отрицаю изъ всѣхъ силъ. О, конечно, кто теперь изъ всѣхъ русскихъ, и особенно когда все прошло (потому что періодъ этотъ и впрямь прошелъ), кто изъ всѣхъ даже русскихъ будетъ спорить противъ дѣла Петрова, противъ прорубленнаго окошка, возставать на него и мечтать о древнемъ Московскомъ Царствѣ? Не въ томъ вовсе и дѣло и не объ томъ завелъ я мою рѣчь, а объ томъ, что какъ это все ни было хорошо и полезно, то есть все то, что мы въ окошко увидѣли, но все-таки въ немъ было и столько дурнаго и вреднаго, что чутье русское не переставало этимъ возмущаться, не переставало протестовать (хотя до того заблудилось, что и само, въ огромномъ большинствѣ, не понимало что дѣлало) и протестовало не отъ татарства своего, а и въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, отъ того, что хранило въ себѣ нѣчто высшее и лучшее, чѣмъ то, что видѣло въ окошкѣ... (Ну, разумѣется, не противъ всего протестовало: мы получили множество прекрасныхъ вещей и неблагодарными быть не желаемъ, ну, а ужь противъ половины-то, по крайней мѣрѣ, могло протестовать).

Повторяю, все это происходило чрезвычайно оригинально: именно самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформу и становились въ то же время отрицателями Европы, становились въ ряды крайней лѣвой... И что же: вышло такъ, что тѣмъ самымъ сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русскій духъ, чему конечно, еслибъ имъ въ свое время разъяснить это,—или разсмѣялись бы или ужаснулись. Сомнѣнія нѣтъ, что они не сознавали въ себѣ никакой высоты протеста, напротивъ, все время, всѣ два вѣка отрицали свою высоту и не только высоту, но отрицали даже самое уваженіе къ себѣ (были вѣдь и такіе любители!) и до того, что тѣмъ дивили даже Европу; а выходитъ, что они-то вотъ и оказались настоящими русскими. Вотъ эту догадку мою я и называю моимъ парадоксомъ.

Бѣлинскій, напримѣръ, страстно увлекавшійся по натурѣ своей человѣкъ, примкнулъ, чуть не изъ первыхъ русскихъ, прямо къ Европейскимъ соціалистамъ, отрицавшимъ уже весь порядокъ Европейской цивилизаціи, а между тѣмъ у насъ, въ русской литературѣ, воевалъ съ славянофилами до конца, повидимому совсѣмъ за противуположное. Какъ удивился бы онъ, еслибъ тѣ же славянофилы сказали ему тогда, что онъ-то и есть самый крайній боецъ за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то что онъ отрицалъ въ Россіи для Европы, считалъ басней, мало того: еслибъ доказали ему, что въ нѣкоторомъ смыслѣ онъ-то и есть по настоящему консерваторъ,—и именно потому, что въ Европѣ онъ соціалистъ и революціонеръ? Да и въ самомъ дѣлѣ оно вѣдь почти такъ и было. Тутъ вышла одна великая ошибка съ обѣихъ сторонъ, и прежде всего та, что всѣ эти тогдашніе западники Россію смѣшали съ Европой, приняли за Европу серьезно и—отрицая Европу и порядокъ ея, думали, что то же самое отрицаніе можно приложить и къ Россіи, тогда какъ Россія вовсе была не Европа, а только ходила въ европейскомъ мундирѣ, но подъ мундиромъ было совсѣмъ другое существо. Разглядѣть, что это не Европа, а другое существо и приглашали славянофилы, прямо указывая, что западники уравниваютъ нѣчто непохожее и несоизмѣримое, и что заключеніе, которое пригодно для Европы, неприложимо вовсе къ Россіи, отчасти и потому уже, что все то, чего они желаютъ въ Европѣ,—все это давно уже есть въ Россіи, по крайней мѣрѣ въ зародышѣ и въ возможности, и даже составляетъ сущность ея, только не въ революціонномъ видѣ, а въ томъ въ какомъ и должны эти идеи всемірнаго человѣческаго обновленія явиться: въ видѣ Божеской правды, въ видѣ Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на землѣ, и которая всецѣло сохраняется въ православіи. Они приглашали сперва поучиться Россіи, а потомъ уже дѣлать выводы; но учиться тогда нельзя было, да по правдѣ, и средствъ не было. Да и кто тогда могъ что-нибудь знать о Россіи? Славянофилы, конечно, знали во сто разъ болѣе западниковъ (и это minimum), но и они дѣйствовали почти что ощупью, умозрительно и отвлеченно, опираясь болѣе на чрезвычайное чутье свое. Научиться чему-нибудь стало возможнымъ лишь въ послѣднее двадцатилѣтіе: но кто и теперь-то что-нибудь знаетъ о Россіи? Много—много,

что начало положено изученію, а чуть явится вдругъ важный вопросъ— и всѣ у насъ тотчасъ же въ разноголосицу. Ну, вотъ, зачинается вновь теперь восточный вопросъ: ну, сознайтесь, много-ли у насъ, и кто именно—способны согласиться по этому вопросу на какое-нибудь одно общее рѣшеніе? И это въ такомъ важномъ, великомъ, въ такомъ роковомъ и національномъ нашемъ вопросѣ! Да что восточный вопросъ! Куда брать такіе большіе вопросы! Посмотрите на сотни, на тысячи нашихъ внутреннихъ и обыденныхъ, текущихъ вопросовъ—и что за всеобщая шатость, что за неустановившійся взглядъ, что за непривычка въ дѣлу! Вотъ Россію безлѣсятъ, помѣщики и мужики сводятъ лѣсъ съ какимъ-то остервенѣніемъ. Положительно можно сказать, что онъ идетъ за десятую долю цѣны, ибо—долго-ли протянется предложеніе? Дѣти наши не успѣютъ подрости, какъ на рынкѣ будетъ уже въ десять разъ меньше лѣса. Что-же выйдетъ,—можетъ быть гибель. А между тѣмъ, подите, попробуйте сказать что-нибудь о сокращеніи правъ на истребленіе лѣса и что услышите? Съ одной стороны государственная и національная необходимость, а съ другой—нарушеніе правъ собственности, двѣ идеи противуположныя. Тотчасъ-же явятся два лагеря, и неизвѣстно еще, къ чему примкнетъ либеральное, все рѣшающее, мнѣніе. Да два-ли, полно, лагеря? И дѣло станетъ на долго. Кто-то съострилъ въ нынѣшнемъ либеральномъ духѣ, что нѣтъ худа безъ добра, и что если и сведутъ весь русскій лѣсъ, то все-же останется хоть та выгода, что окончательно уничтожится тѣлесное наказаніе розгами, потому что волостнымъ судамъ нечѣмъ ужъ будетъ пороть провинившихся мужиковъ и бабъ. Конечно, это утѣшеніе, но и этому какъ-то не вѣрится: хоть не будетъ совсѣмъ лѣса, а на порку всегда хватитъ, изъ-за границы привозить станутъ. Вонъ жиды становятся помѣщиками,—и вотъ, повсемѣстно, кричатъ и пишутъ, что они умерщвляютъ почву Россіи, что жидъ, затративъ капиталъ на покупку помѣстья, тотчасъ-же, чтобы воротить капиталъ и проценты, изсушаетъ всѣ силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь противъ этого—и тотчасъ же вамъ возопятъ о нарушеніи принципа экономической вольности и гражданской равноправности. Но какая-же тутъ равноправность если тутъ явный и талмудный Status in Statu прежде всего и на первомъ планѣ, если тутъ не только истощеніе почвы, но и грядущее истощеніе мужика нашего, который, освободясь отъ помѣщиковъ, несомнѣнно и очень скоро попадетъ теперь, всей своей общиной, въ гораздо худшее рабство и къ гораздо худшимъ помѣщикамъ,—къ тѣмъ самымъ новымъ помѣщикамъ, которые уже высосали соки изъ западно-русскаго мужика, къ тѣмъ самымъ, которые не только помѣстья и мужиковъ теперь закупаютъ, но и мнѣніе либеральное начали уже закупать и продолжаютъ это весьма успѣшно. Почему это все у насъ? Почему такая нерѣшимость и несогласіе на всякое рѣшеніе, на какое бы ни было даже рѣшеніе (и замѣтьте: вѣдь это правда)? По моему, вовсе не отъ бездарности нашей и не отъ неспособности нашей къ дѣлу, а отъ продолжающагося нашего незнанія Россіи, ея сути и особи, ея смысла и духа, не смотря на то, что, сравнительно, со временъ Бѣлинскаго и славянофиловъ у насъ

уже прошло теперь двадцать лѣтъ школы. И даже вотъ что: въ эти двадцать лѣтъ школы, изученіе Россіи фактически даже очень подвинулось, а чутье русское кажется уменьшилось сравнительно съ прежнимъ. Что за причина? Но если славянофиловъ спасало тогда ихъ русское чутье, то чутье это было и въ Бѣлинскомъ, и даже такъ, что славянофилы могли бы счесть его своимъ самымъ лучшимъ другомъ. Повторяю, тутъ было великое недоразумѣніе съ обѣихъ сторонъ. Не даромъ сказалъ Аполлонъ Григорьевъ, тоже говорившій иногда довольно чуткія вещи, что „еслибъ Бѣлинскій прожилъ долѣе, то навѣрно бы примкнулъ къ славянофиламъ". Въ этой фразѣ была мысль.

II.

Выводъ изъ парадокса.

И такъ, скажутъ мнѣ, вы утверждаете, что „всякій русскій, обращаясь въ европейскаго коммунара, тотчасъ же и тѣмъ самымъ становится русскимъ консерваторомъ"? Ну, нѣтъ, это было бы ужь слишкомъ рискованно заключить. Я только хотѣлъ замѣтить, что въ этой идеѣ, даже и буквально взятой, есть капельку правды. Тутъ, главное, много безсознательнаго, а съ моей стороны, можетъ быть, слишкомъ сильная вѣра въ непрерывающееся русское чутье и въ живучесть русскаго духа. Но пусть, пусть я и самъ знаю, что тутъ парадоксъ, но вотъ что, однако, мнѣ хотѣлось бы представить на видъ въ заключеніе: это тоже одинъ фактъ и одинъ выводъ изъ факта. Я сказалъ выше, что русскіе отличаются въ Европѣ либерализмомъ, и что, по крайней мѣрѣ, девять десятыхъ примыкаетъ къ лѣвой и къ крайней лѣвой, чуть только они соприкоснутся съ Европой.. На цифрѣ я не настаиваю, можетъ быть, ихъ и не девять десятыхъ, но настаиваю лишь на томъ, что либеральныхъ русскихъ даже несравненно больше, чѣмъ нелиберальныхъ. Но есть и нелиберальные русскіе. Да, дѣйствительно есть и всегда были такіе русскіе (имена многихъ изъ нихъ извѣстны), которые не только не отрицали европейской цивилизаціи, но, напротивъ, до того преклонялись передъ нею, что уже теряли послѣднее русское чутье свое, теряли русскую личность свою, теряли языкъ свой, мѣняли родину и если не переходили въ иностранныя подданства, то, по крайней мѣрѣ, оставались въ Европѣ цѣлыми поколѣніями. Но фактъ тотъ, что всѣ этакіе, въ противуположность либеральнымъ русскимъ, въ противуположность ихъ атеизму и коммунарству, немедленно примыкали къ правой и крайней правой, и становились страшными и уже европейскими консерваторами.

Многіе изъ нихъ мѣняли свою вѣру и переходили въ католицизмъ. Это-ли ужь не консерваторы, это-ли ужь не крайняя правая? Но позвольте: консерваторы въ Европѣ и, напротивъ, — совершенные отрицатели Россіи. Они становились разрушителями Россіи, врагами Россіи! И такъ, вотъ что значило перемолоться изъ русскаго въ настоящаго Европейца, сдѣлаться уже настоящимъ сыномъ цивилизаціи, — замѣчательный фактъ, полученный за двѣсти лѣтъ опыта. Выводъ тотъ, что русскому, ставшему дѣйствительнымъ европейцемъ, нельзя не сдѣлаться въ то же время естественнымъ врагомъ Россіи: Того-ли желали тѣ, кто прорубалъ окно? Это-ли имѣли въ виду? И такъ, полу-

чилось два типа цивилизованныхъ русскихъ: европеецъ Бѣлинскій, отрицавшій въ то же время Европу, оказался въ высшей степени русскимъ, несмотря на всѣ провозглашенныя имъ о Россіи заблужденія, а коренной и древнѣйшій русскій князь Гагаринъ, ставъ европейцемъ, нашелъ необходимымъ не только перейти въ католичество, но уже прямо перескочить въ іезуиты. Кто же, скажите теперь, изъ нихъ больше другъ Россіи? Кто изъ нихъ остался болѣе русскимъ? И не подтверждаетъ-ли этотъ второй примѣръ (съ крайней правой) мой первоначальный парадоксъ, состоящій въ томъ, что русскіе европейскіе соціалисты и коммунары—прежде всего не европейцы и кончатъ таки тѣмъ, что станутъ опять коренными и славными русскими, когда разсѣется недоумѣніе и когда они выучатся Россіи, и—второе, что русскому ни за что нельзя обратиться въ Европейца серьезнаго, оставаясь хоть сколько нибудь русскимъ, а коли такъ, то и Россія, стало быть, есть нѣчто со всѣмъ самостоятельное и особенное, на Европу совсѣмъ непохожее и само по себѣ серьезное. Да и сама Европа можетъ быть вовсе несправедлива, осуждая русскихъ и смѣясь надъ ними за революціонерство: мы, стало быть, революціонеры не для разрушенія только, тамъ, гдѣ не строили, не какъ гунны и татары, а для чего-то другаго, чего мы пока, правда и сами не знаемъ (а тѣ кто знаетъ, тѣ про себя таятъ). Однимъ словомъ, мы—революціонеры, такъ сказать, по собственной какой-то необходимости, такъ сказать даже изъ консерватизма... Но все это переходное, все это, какъ я сказалъ уже, постороннее и боковое, а теперь на сценѣ вѣчно неразрѣшимый Восточный вопросъ.

III.

Восточный вопросъ.

Восточный вопросъ! Кто изъ насъ въ этотъ мѣсяцъ не переживалъ довольно необыкновенныхъ ощущеній и сколько было толковъ въ газетахъ! И какое смущеніе въ иныхъ головахъ, какой цинизмъ въ иныхъ приговорахъ, какой добрый честный трепетъ въ иныхъ сердцахъ, какой гвалтъ въ иныхъ жидахъ! Одно вѣрно: бояться нечего, хотя и много было пугающихъ. Да и трудно представить, чтобъ въ Россіи было ужъ такъ много трусовъ. Въ ней есть *умышленно*—трусливые, это правда, но они, кажется ошиблись срокомъ и теперь, даже и имъ уже поздно трусить и не разсчетъ: успѣха не пріобрѣтутъ. Но и умышленно трусливые, конечно, знаютъ себѣ предѣлъ и все-же не потребуютъ отъ Россіи безчестія, подобно тому какъ въ старину, отправляя пословъ къ королю Стефану Баторію, царь Иванъ Васильевичъ Грозный потребовалъ отъ нихъ, чтобъ переносили буде надо и побои, лишь бы миръ выпросили. Однимъ словомъ, мнѣніе общества кажется обозначилось и на побои ни для какого мира несогласно.

Князь Миланъ Сербскій и князь Николай Черногорскій, надѣясь на Бога и на право свое, выступили противъ султана и когда будутъ читать эти строки, то уже можетъ быть будетъ извѣстно о какой нибудь значительной встрѣчѣ или даже о рѣшительномъ сраженіи. Дѣло пойдетъ теперь быстро. Нерѣшительность и медленность великихъ державъ, дипломатическій вывертъ Англіи, отказавшейся примкнуть къ заключеніямъ берлинскихъ конференцій и вдругъ затѣмъ послѣдовавшая революція въ

Константинополѣ и вспышка мусульманскаго фанатизма, а наконецъ ужасное избіеніе баши-бузуками и черкесами шестидесяти тысячь мирныхъ болгаръ, стариковъ, женщинъ и дѣтей,—все это разомъ зажгло и двинуло войну. У славянъ много надеждъ. У нихъ, если сосчитать всѣ ихъ силы, до ста пятидесяти тысячь бойцовъ, изъ которыхъ болѣе трехъ четвертей порядочнаго регулярнаго войска. Но главное—духъ: они идутъ вѣря въ свое право, вѣря въ свою побѣду, тогда какъ у турокъ, несмотря на фанатизмъ, большое безначаліе и большое смущеніе, и—не диво будетъ, если смущеніе это, послѣ самыхъ первыхъ встрѣчь, обратится въ паническій страхъ. Кажется можно уже предсказать, что если вмѣшательства Европы не воспослѣдуетъ, то Славяне побѣдятъ навѣрно. Невмѣшательство Европы повидимому рѣшено, но трудно сказать, чтобы въ Европейской политикѣ въ настоящую минуту было что нибудь твердое и законченное. Въ виду огромнаго и вдругъ возставшаго вопроса, всѣ какъ-бы положили про себя ждать и медлить послѣднимъ рѣшеніемъ. Слышно, однакоже, что союзъ трехъ великихъ восточныхъ державъ продолжается, продолжаются и личныя свиданія трехъ монарховъ, такъ что невмѣшательство въ борьбу славянъ съ этой стороны *пока* вѣрно. Уединившаяся Англія ищетъ союзниковъ; найдетъ-ли ихъ—это вопросъ. Если и найдетъ, то, кажется, не во Франціи. Однимъ словомъ, вся Европа будетъ глядѣть на борьбу христіанъ и султана не вмѣшиваясь въ нее, но... пока только, до времени... до дѣлежа наслѣдства. Но возможно-ли будетъ это наслѣдство? Еще будетъ-ли какое наслѣдство? Если Богъ пошлетъ славянамъ успѣхъ, то до какого предѣла въ успѣхѣ допуститъ ихъ Европа? Позволитъ-ли стащить съ постели больнаго человѣка совсѣмъ долой? Послѣднее очень трудно предположить. Не рѣшатъ-ли напротивъ, послѣ новаго и торжественнаго консиліума, опять лѣчить его?.. Такъ что усилія славянъ, даже и въ случаѣ очень большаго успѣха, могутъ быть вознаграждены лишь довольно слабыми пальятивами. Сербія вышла въ поле надѣясь на свою силу, но ужь разумѣется она знаетъ, что окончательная судьба ея зависитъ вполнѣ отъ Россіи; она знаетъ, что только Россія сохранитъ ее отъ погибели въ случаѣ большаго несчастія,—и что Россія же, могущественнымъ вліяніемъ своимъ, поможетъ ей сохранить за собою, въ случаѣ удачи, возможный maximum выгоды. Она знаетъ про это и надѣется на Россію, но знаетъ тоже и то, что вся Европа смотритъ теперь на Россію съ затаенною недовѣрчивостью и что положеніе Россіи озабоченное. Однимъ словомъ, все въ будущемъ, но, какже однако поступитъ Россія?

Вопросъ-ли это? Для всякаго Русскаго это не можетъ и не должно составлять вопроса. Россія поступитъ *честно*,—вотъ и весь отвѣтъ на вопросъ. Пусть въ Англіи первый министръ извращаетъ правду предъ Парламентомъ изъ политики и сообщаетъ ему оффиціально что истребленіе шестидесяти тысячь болгаръ произошло не турками, не баши бузуками, а славянскими выходцами,—и пусть весь Парламентъ изъ политики вѣритъ ему и безмолвно одобряетъ его ложь: въ Россіи ничего подобнаго быть не можетъ и не должно. Скажутъ иные: не можетъ же Россія идти во всякомъ случаѣ на встрѣчу явной своей невыгодѣ? Но од-

нако, въ чемъ выгода Россіи? Выгода Россіи именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости. Не можетъ Россія измѣнить великой идеѣ, завѣщанной ей рядомъ вѣковъ и которой слѣдовала она до сихъ поръ неуклонно. Эта идея есть, между прочимъ, и всеединеніе славянъ; но всеединеніе это — не захватъ и не насиліе, а ради всеслуженія человѣчеству. Да и когда, часто ли Россія дѣйствовала въ политикѣ изъ прямой своей выгоды? Не служила ли она, напротивъ, въ продолженіе всей петербургской своей исторіи всего чаще чужимъ интересамъ съ безкорыстіемъ, которое могло бы удивить Европу, еслибъ та могла глядѣть ясно, а не глядѣла бы, напротивъ, на насъ всегда недовѣрчиво, подозрительно и ненавистно. Да безкорыстію въ Европѣ и вообще никто и ни въ чемъ не повѣритъ, не только русскому безкорыстію,—повѣрятъ скорѣе плутовству или глупости. Но намъ нечего бояться ихъ приговоровъ: въ этомъ самоотверженномъ безкорыстіи Россіи— вся ея сила, такъ сказать, вся ея личность и все будущее русскаго назначенія. Жаль только, что сила эта иногда довольно-таки ошибочно направлялась.

IV.

Утопическое пониманіе исторіи.

Всѣ эти полтора вѣка послѣ Петра, мы только и дѣлали, что выживали общеніе со всѣми цивилизаціями человѣческими, родненіе съ ихъ исторіей, съ ихъ идеалами. Мы учились и пріучали себя любить французовъ и нѣмцевъ и всѣхъ, какъ будто тѣ были нашими братьями, и не смотря на то, что тѣ никогда не любили насъ, да и рѣшили насъ не любить никогда. Но въ этомъ состояла наша реформа, все Петрово дѣло: мы вынесли изъ нея, въ полтора вѣка, *расширеніе* взгляда, еще не повторявшееся, можетъ быть, ни у одного народа ни въ древнемъ, ни въ новомъ мірѣ. До-петровская Россія была дѣятельна и крѣпка, хотя и медленно слагалась политически; она выработала себѣ единство и готовилась закрѣпить свои окраины; про себя же понимала, что несетъ внутри себя драгоцѣнность, которой нѣтъ нигдѣ больше—Православіе, что она—хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящаго Христова образа, затемнившагося во всѣхъ другихъ вѣрахъ и во всѣхъ другихъ народахъ. Эта драгоцѣнность, эта вѣчная, присущая Россіи и доставшаяся ей на храненіе истина, по взгляду лучшихъ тогдашнихъ русскихъ людей, какъ бы избавляла ихъ совѣсть отъ обязанности всякаго иного просвѣщенія. Мало того, въ Москвѣ дошли до понятія, что всякое болѣе близкое общеніе съ Европой даже можетъ вредно и развратительно повліять на русскій умъ и на русскую *идею*, извратить самое православіе и совлечь Россію на путь погибели, „по примѣру всѣхъ другихъ народовъ“. Такимъ образомъ, древняя Россія въ замкнутости своей *готовилась быть не права*,—не права передъ человѣчествомъ, рѣшивъ бездѣятельно оставить драгоцѣнность свою, свое Православіе при себѣ, и замкнуться отъ Европы, т. е. отъ человѣчества, въ родѣ иныхъ раскольниковъ, которые не станутъ ѣсть изъ одной съ вами посуды и считаютъ за святость каждый завести свою чашку и ложку. Это сравненіе вѣрно, потому что передъ пришествіемъ Петра у насъ имен-

но выработались почти точно такія же политическія и духовныя отношенія къ Европѣ. Съ Петровской реформой явилось расширеніе взгляда безпримѣрное,—и вотъ въ этомъ, повторяю, и весь подвигъ Петра. Это-то и есть та самая драгоцѣнность, про которую я говорилъ уже въ одномъ изъ предыдущихъ № „Дневника"—драгоцѣнность, которую мы, верхній культурный слой русскій, несемъ народу послѣ порутораевѣковаго отсутствія изъ Россіи и которую народъ, послѣ того какъ мы сами преклонимся передъ правдой его, долженъ принять отъ насъ sine qua non, „безъ чего соединеніе обоихъ слоевъ окажется невозможнымъ и все погибнетъ". Что же это за „расширеніе взгляда", въ чемъ оно и что означаетъ? Это не просвѣщеніе въ собственномъ смыслѣ слова и не наука, это и не измѣна тоже народнымъ русскимъ нравственнымъ началамъ, во имя европейской цивилизаціи; нѣтъ, это именно нѣчто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигдѣ никогда и не было. Это, дѣйствительно и на самомъ дѣлѣ, почти братская любовь наша къ другимъ народамъ, выжитая нами въ полтора вѣка общенія съ ними; это потребность наша всеслуженія человѣчеству, даже въ ущербъ иногда собственнымъ и крупнымъ ближайшимъ интересамъ, это примиреніе наше съ ихъ цивилизаціями, познаніе и *извиненіе* ихъ идеаловъ, хотя бы они и не ладили съ нашими, это нажитая нами способность въ каждой изъ европейскихъ цивилизацій, или вѣрнѣе — въ каждой изъ европейскихъ личностей открывать и находить заключающуюся въ ней истину, несмотря даже на многое съ чѣмъ нельзя согласиться. Это, наконецъ, потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины. Однимъ словомъ, это можетъ быть и есть начало, первый шагъ того дѣятельнаго приложенія нашей драгоцѣнности, нашего Православія, къ всеслуженію человѣчеству,—къ чему оно и предназначено и что собственно и составляетъ настоящую сущность его. Такимъ образомъ, черезъ реформу Петра произошло расширеніе *прежней* же нашей идеи, русской московской идеи, получилось умножившееся и усиленное пониманіе ея: мы сознали тѣмъ самымъ всемірное назначеніе наше, личность и роль нашу въ человѣчествѣ, и немогли не сознать, что назначеніе и роль эта не похожи на таковыя же у другихъ народовъ, ибо тамъ каждая народная личность живетъ единственно для себя и въ себя, а мы начнемъ теперь, когда пришло время, именно съ того, что станемъ всѣмъ слугами, для всеобщаго примиренія. И это вовсе не позорно, напротивъ, въ этомъ величіе наше, потому что все это ведетъ къ окончательному единенію человѣчества. Кто хочетъ быть выше всѣхъ въ царствіи Божіемъ—стань всѣмъ слугой. Вотъ какъ я понимою русское предназначеніе *въ его идеалѣ*. Самъ собою послѣ Петра обозначился и первый шагъ нашей новой политики: этотъ первый шагъ долженъ былъ состоять въ единеніи всего славянства, такъ сказать, подъ крыломъ Россіи. И не для захвата, не для насилія это единеніе, не для уничтоженія славянскихъ личностей передъ рускимъ колоссомъ, а для того, чтобъ ихъ же возсоздать и поставить въ надлежащее отношеніе къ Европѣ и къ человѣчеству, дать имъ, наконецъ, возможность успокоиться и отдохнуть послѣ ихъ безчисленныхъ вѣковыхъ страданій; собраться съ

духомъ и ощутивъ свою новую силу, принести и свою лепту въ сокровищницу духа человѣческаго, сказать и свое слово въ цивилизаціи. О, конечно, вы можете смѣяться надъ всѣми предыдущими „мечтаніями" о предназначеніи Русскомъ, но вотъ скажите однакоже: не всѣ-ли русскіе желаютъ воскресенія Славянъ именно на этихъ основаніяхъ, именно для ихъ полной личной свободы и воскрешенія ихъ духа, а вовсе не для того, чтобы пріобрѣсть ихъ Россіи политически и усилить ими политическую мощь Россіи, въ чемъ, однако, подозрѣваетъ насъ Европа? Вѣдь это же такъ, неправда-ли? А стало быть и оправдывается уже тѣмъ самымъ хотя часть предыдущихъ „мечтаній"? Само собою и для этой же цѣли, Константинополь—рано ли, поздно ли, долженъ быть нашъ...

Боже, какая насмѣшливая улыбка явилась бы у какого нибудь австрійца или англичанина, еслибъ онъ имѣлъ возможность прочесть всѣ эти вышеписанныя *мечтанія* и дочитался бы вдругъ до такого *положительнаго* заключенія: „Константинополь, Золотой Рогъ, первая политическая точка въ мірѣ—это ли не захватъ?"

Да, Золотой Рогъ и Константинополь—все это будетъ наше, но не для захвата и не для насилія, отвѣчу я. И, вопервыхъ, это случится само собой, именно потому что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то дѣйствительно время близко, всѣ къ тому признаки. Это выходъ естественный, это такъ сказать слово самой природы. Если не случилось этого раньше, то именно потому, что не созрѣло еще время. Въ Европѣ вѣрятъ какому-то „Завѣщанію Петра Великаго". Это больше ничего какъ подложная бумага, написанная поляками. Но если бъ Петру и пришла тогда мысль, вмѣсто основанія Петербурга, захватить Константинополь, то, мнѣ кажется, онъ, по нѣкоторомъ размышленіи, оставилъ бы эту мысль тогда же, еслибъ даже и имѣлъ на столько силы чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дѣло это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель Россіи.

Ужъ когда въ чухонскомъ Петербургѣ мы не избѣгли вліянія сосѣднихъ нѣмцевъ, хотя и бывшихъ полезными, но за то и весьма парализовавшихъ русское развитіе, прежде чѣмъ выяснилась его настоящая дорога, то какъ въ Константинополѣ, огромномъ и своеобразномъ, съ остатками могущественной и древнѣйшей цивилизаціи, могли бы мы избѣжать вліянія Грековъ, людей несравненно болѣе тонкихъ, чѣмъ грубые нѣмцы, людей, имѣющихъ несравненно болѣе общихъ точекъ соприкосновенія съ нами, чѣмъ совершенно непохожіе на насъ нѣмцы, людей многочисленныхъ и царедворныхъ, которые тотчасъ же бы окружили тронъ и прежде Русскихъ стали бы и учены, и образованы, которые и Петра самого очаровали бы въ его слабой струнѣ ужъ однимъ своимъ знаніемъ и умѣніемъ въ мореходствѣ, а не только его ближайшихъ преемниковъ. Однимъ словомъ, они овладѣли бы Россіей политически, они стащили бы ее немедленно на какую нибудь новую Азіатскую дорогу, на какую нибудь опять замкнутость и ужъ конечно этого не вынесла бы тогдашняя Россія. Ея русская сила и ея національность были бы остановлены въ своемъ ходѣ. Мощный Великоруссъ остался бы въ отдаленіи на своемъ мрачномъ снѣжномъ сѣверѣ, служа не

болѣе какъ матеріаломъ для обновленнаго Царьграда и можетъ быть, подконецъ, совсѣмъ не призналъ бы нужнымъ идти за нимъ. Югъ же Россіи весь бы подпалъ захвату грековъ. Даже можетъ быть совершилось бы распаденіе самаго Православія на два міра: на обновленный Царьградскій и старый русскій... Однимъ словомъ, дѣло было въ высшей степени несвоевременное. Теперь же совсѣмъ иное.

Теперь Россія уже побывала въ Европѣ и уже сама образована. Главное же—узнала всю свою силу и дѣйствительно стала сильна; узнала тоже и чѣмъ именно она будетъ всего сильнѣе. Теперь она понимаетъ, что Царьградъ можетъ быть нашъ вовсе не какъ столица Россіи; а два вѣка назадъ, Петръ, захвативъ Царьградъ, не могъ бы не перенести въ него столицу свою, что и было бы погибелью, ибо Царьградъ не въ Россіи и *не могъ* стать Россіей. Еслибъ Петръ и удержался отъ этой ошибки, то ни за что не удержались бы его ближайшіе преемники. Если же теперь Царьградъ можетъ быть нашимъ и не какъ столица Россіи, то равно и не какъ столица Всеславянства, какъ мечтаютъ нѣкоторые. Всеславянство, безъ Россіи, истощится тамъ въ борьбѣ съ греками, если бы даже и могло составить изъ своихъ частей какое нибудь политическое цѣлое. Наслѣдовать же Константинополь однимъ грекамъ теперь уже совсѣмъ невозможно: нельзя отдать имъ такую важную точку земнаго шара, слишкомъ ужъ было бы имъ не по мѣркѣ. Всеславянство же съ Россіей во главѣ, — о, конечно, это дѣло совсѣмъ другое, но хорошее ли оно, опять вопросъ? И не похоже ли бы это было какъ бы на политическій захватъ славянъ Россіей, чего не надо намъ вовсе? И такъ, во имя чего же, во имя какого *нравственнаго* права могла бы искать Россія Константинополя? Опираясь на какія высшія цѣли могла бы требовать его отъ Европы? А вотъ именно—какъ Предводительница Православія, какъ покровительница и охранительница его,—роль предназначенная ей еще съ Ивана III, поставившаго въ знакъ ея и царьградскаго двуглаваго орла выше древняго герба Россіи, но обозначившаяся уже несомнѣнно лишь послѣ Петра Великаго, когда Россія сознала въ себѣ силу исполнить свое назначеніе, а фактически уже и стала дѣйствительной и единственной покровительницей и православія и народовъ его исповѣдующихъ. Вотъ эта причина, вотъ это *право* на древній Царьградъ и было бы понятно и не обидно даже самымъ ревнивымъ къ своей независимости славанамъ, или даже самимъ грекамъ. Да и тѣмъ самымъ обозначилась бы и настоящая сущность тѣхъ политическихъ отношеній, которыя и должны неминуемо наступить у Россіи ко всѣмъ прочимъ православнымъ народностямъ,—славянамъ ли, грекамъ ли, все равно: Она—покровительница ихъ и даже можетъ быть предводительница, но не владычица; мать ихъ, а не госпожа. Если даже и государыня ихъ, когда нибудь, то лишь по собственному ихъ провозглашенію, съ сохраненіемъ всего того, чѣмъ сами они опредѣлили бы независимость и личность свою. Такъ что къ такому союзу могли бы примкнуть наконецъ и когда нибудь даже и не православные европейскіе славяне, ибо увидали бы сами, что всеединеніе подъ покровительствомъ Россіи есть только упроченіе каждому его независимой личности, тогда какъ, безъ этой огромной еди-

пящей силы, они можетъ быть опять истощились бы въ взаимныхъ раздорахъ и несогласіяхъ, даже еслибъ и стали когда нибудь политически независимыми отъ мусульманъ и европейцевъ, которымъ теперь принадлежатъ они.

Къ чему играть въ слова, скажутъ мнѣ: что такое это „православіе?“ и въ чемъ тутъ особенная такая идея, особенное право на единеніе народностей? И не тотъ же ли это чисто политическій союзъ, какъ и всѣ прочіе подобные ему, хотя бы и на самыхъ широкихъ основаніяхъ, въ родѣ какъ Соединенные Американскіе Штаты, или пожалуй даже еще шире? Вотъ вопросъ, который можетъ быть заданъ; отвѣчу и на него. Нѣтъ, это будетъ не то, и это не игра въ слова, а тутъ *дѣйствительно* будетъ нѣчто особое и неслыханное; это будетъ не одно лишь политическое единеніе и ужъ совсѣмъ не для политическаго захвата и насилія,—какъ и представить не можетъ иначе Европа; и не во имя лишь торгашества, личныхъ выгодъ и вѣчныхъ и все тѣхъ же обоготворенныхъ пороковъ, подъ видомъ оффиціальнаго христіанства, которому на дѣлѣ никто кромѣ *черни* не вѣритъ. Нѣтъ, это будетъ настоящее воздвиженіе Христовой истины, сохраняющейся на Востокѣ, настоящее новое воздвиженіе Креста Христова и окончательное слово Православія, во главѣ котораго давно уже стоитъ Россія. Это будетъ именно соблазнъ для всѣхъ сильныхъ міра сего и торжествовавшихъ въ мірѣ доселѣ, всегда смотрѣвшихъ на всѣ подобныя „ожиданія“ съ презрѣніемъ и насмѣшкою, и даже не понимающихъ, что можно серьозно вѣрить въ братство людей, во всепримиреніе народовъ, въ союзъ, основанный на началахъ всеслуженія человѣчеству и наконецъ на самое обновленіе людей на истинныхъ началахъ Христовыхъ. И если вѣрить въ это „новое слово“, которое можетъ сказать во главѣ объединеннаго православія міру Россія—есть „утопія“, достойная лишь насмѣшки, то пусть и меня причислятъ къ этимъ утопистамъ, а смѣшное я оставляю при себѣ.

„Да ужъ одно то утопія, возразятъ, пожалуй еще, что Россіи когда нибудь *позволятъ* стать во главѣ славянъ и войти въ Константинополь. Мечтать можно, но все же это мечты!“

Такъ ли, полно? Но кромѣ того, что Россія сильна и можетъ быть даже гораздо сильнѣе, чѣмъ сама о себѣ полагаетъ, кромѣ того—не на нашихъ ли глазахъ, и не въ послѣднія ли недавнія десятилѣтія, воздвигались огромныя могущества, царившія въ Европѣ, изъ коихъ одно исчезло какъ пыль и прахъ, сметенное въ одинъ день вихремъ Божіимъ, а на мѣсто его воздвигнулась новая имперія, какой по силѣ, казалось бы, еще не было на землѣ. И кто бы могъ предсказать это заблаговременно? Если же возможны такіе перевороты, уже случившіеся въ наше время и на нашихъ глазахъ, то можетъ ли умъ человѣческій вполнѣ безошибочно предсказать и судьбу Восточнаго вопроса? Гдѣ дѣйствительныя основанія отчаяваться въ воскресеніи и въ единеніи славянъ? Кто знаетъ пути Божіи?

V.

Опять о женщинахъ.

Въ газетахъ почти уже всѣ перешли къ сочувствію возставшимъ на освобожденіе братьевъ своихъ Сербамъ и Черногорцамъ, а въ обществѣ, и

даже уже въ народѣ съ жаромъ слѣдятъ за успѣхами ихъ оружія. Но славяне нуждаются въ помощи. Получены извѣстія, и кажется весьма точныя, что туркамъ, хотя и анонимно, весьма дѣятельно помогаютъ австрійцы и англичане. Впрочемъ, почти и не анонимно. Помогаютъ деньгами, оружіемъ, снарядами и—людьми. Въ турецкой арміи множество иностранныхъ офицеровъ. Огромный англійскій флотъ стоитъ у Константинополя... изъ политическихъ соображеній, а вѣрнѣе—на всякій случай. У Австріи уже готова огромная армія—тоже на всякій случай. Австрійская пресса раздражительно относится къ возставшимъ сербамъ и—къ Россіи. Надо замѣтить, что если Европа смотритъ на славянъ въ настоящее время такъ *безчувственно*, то уже конечно потому что и Русскіе—славяне. Иначе австрійскія газеты не боялись-бы такъ сербовъ, слишкомъ ничтожныхъ военной силой передъ австрійскимъ могуществомъ, и не сравнивали-бы ихъ съ Піемонтомъ...

А потому русскому обществу надо опять помочь славянамъ—разумѣется хотя лишь деньгами и кое-какими средствами. Генералъ Черняевъ уже сообщалъ въ Петербургъ, что санитарная часть всей сербской арміи чрезвычайно слаба: нѣтъ докторовъ, лекарствъ, мало ухода за ранеными. Въ Москвѣ славянскій комитетъ объявилъ энергическое воззваніе на всю Россію о помощи возставшимъ братьямъ нашимъ и присутствовалъ во всемъ составѣ своемъ, при многочисленномъ стеченіи народа, на торжественномъ молебствіи въ церкви сербскаго подворья—о дарованіи побѣды сербскому и черногорскому оружію. Въ Петербургѣ начинаются въ газетахъ заявленія публики съ присылкою пожертвованій. Движеніе это очевидно разростается, несмотря даже на такъ называемый „мертвый лѣтній сезонъ“. Но вѣдь онъ только въ Петербургѣ мертвый.

Я уже хотѣлъ было заключить мой „Дневникъ“ и уже просматривалъ корректуру, какъ вдругъ ко мнѣ позвонила одна дѣвушка. Она познакомилась со мной еще зимою, уже послѣ того, какъ я началъ изданіе „Дневника“. Она хочетъ держать одинъ довольно трудный экзаменъ, энергически приготовляется къ нему и конечно его выдержитъ. Изъ дому она даже богатаго и въ средствахъ не нуждается, но очень заботится о своемъ образованіи и приходила спрашивать у меня совѣтовъ: что ей читать, на что именно обратить наиболѣе вниманія. Она посѣщала меня не болѣе раза въ мѣсяцъ, оставалась всегда не болѣе десяти минутъ, говорила лишь о своемъ дѣлѣ, но не многорѣчиво, скромно, почти застѣнчиво, съ чрезвычайной ко мнѣ довѣрчивостью. Но нельзя было не разглядѣть въ ней весьма рѣшительнаго характера, и я не ошибся. Въ этотъ разъ она вошла и прямо сказала:

— Въ Сербіи нуждаются въ уходѣ за больными. Я рѣшилась пока отложить мой экзаменъ и хочу ѣхать ходить за ранеными. Что-бы вы мнѣ сказали?

И она почти робко посмотрѣла на меня, а между тѣмъ я уже ясно прочелъ въ ея взглядѣ, что она уже рѣшилась и что рѣшеніе ея неизмѣнно. Но ей надо было и мое напутствіе. Я не могу передать нашъ разговоръ въ полной подробности, чтобы какой нибудь, хотя малѣйшей чертой, не нарушить анонима и передаю лишь одно общее.

Мнѣ вдругъ стало очень жаль ее,—она такъ молода. Пугать ее трудностями, войной, тифомъ въ лазаретахъ,—было совсѣмъ лишнее: это значило-бы подливать масла въ огонь. Тутъ была единственно лишь жажда жертвы, подвига, добраго дѣла и, главное, что всего было дороже—никакого тщеславія, никакого самоупоенія, а просто желаніе—„ходить за ранеными", принести пользу.

— Но вѣдь вы не умѣете ходить за ранеными?

— Да, но я уже справлялась и была въ комитетѣ. Поступающимъ даютъ срокъ въ двѣ недѣли и я, конечно, приготовлюсь.

И конечно приготовится; тутъ слово съ дѣломъ не рознится.

— Слушайте, сказалъ я ей, я не пугать васъ хочу и не отговаривать, но сообразите мои слова и постарайтесь взвѣсить ихъ по совѣсти. Вы росли совсѣмъ не въ той обстановкѣ, вы видѣли лишь хорошее общество и никогда не видали людей иначе какъ въ ихъ спокойномъ состояніи, въ которомъ они не могли нарушать хорошаго тона. Но тѣ же люди на войнѣ, въ тѣснотѣ, въ тяготѣ, въ трудахъ, становятся иногда совсѣмъ другими. Вдругъ вы всю ночь ходили за больными, служили имъ, измучились, едва стоите на ногахъ, и вотъ докторъ, можетъ быть очень хорошій самъ по себѣ человѣкъ, но усталый, надорванный, только что отрѣзавшій нѣсколько рукъ и ногъ, вдругъ, въ раздраженіи, обращается къ вамъ и говоритъ: „Вы только портите, ничего не дѣлаете! Коли взялись надо служить" и проч. и проч. Не тяжело-ли вамъ будетъ вынести? А между тѣмъ это непремѣнно надо предположить и я подымаю передъ вами лишь самый крошечный уголокъ. Дѣйствительность иногда очень неожиданна. И, наконецъ, перенесете-ли вы, увѣрены-ли вы, что перенесете, несмотря на всю твердость рѣшенія вашего, самый этотъ уходъ? Не упадете-ли въ обморокъ въ виду иной смерти, раны, операціи? Это происходитъ мимо воли, безсознательно...

— Если мнѣ скажутъ, что я порчу дѣло, а не служу, то я очень пойму что этотъ докторъ самъ раздраженъ и усталъ, а мнѣ довольно лишь знать про себя что я не виновата и исполнила все какъ надо.

— Но вы такъ еще молоды, какъ можете вы ручаться за себя?

— Почему вы думаете, что я такъ молода? *Мнѣ уже восемнадцать* лѣтъ, я совсѣмъ не такъ молода...

Однимъ словомъ, уговаривать было невозможно: вѣдь все равно она бы завтра же уѣхала, но только съ грустію, что я ее не одобрилъ.

— Ну Богъ съ вами, сказалъ я, ступайте. Но кончится дѣло пріѣзжайте скорѣй назадъ.

— О, разумѣется, мнѣ надо сдать экзаменъ. Но вы не повѣрите какъ вы меня обрадовали.

Она ушла съ сіяющимъ лицомъ и ужъ конечно черезъ недѣлю будетъ *тамъ*.

Въ началѣ этого „Дневника", въ статьѣ о Жоржъ-Зандѣ, я написалъ нѣсколько словъ о ея характерахъ дѣвушекъ, которые мнѣ особенно нравились въ повѣстяхъ ея перваго, самаго ранняго періода. Ну, вотъ это именно въ родѣ тѣхъ дѣвушекъ, тутъ именно тотъ же самый прямой, честный, но неопытный юный женскій характеръ, съ тѣмъ гордымъ цѣломудріемъ, которое не боится и не можетъ быть загрязнено даже отъ соприкосновенія съ порокомъ. Тутъ потребность жертвы,

дѣла, будто бы отъ нея именно ожидаемаго, и убѣжденіе, что нужно и должно начать самой, первой, и безо всякихъ отговорокъ, все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь отъ другихъ людей,—убѣжденіе въ высшей степени вѣрное и нравственное, но увы, всего чаще свойственное лишь отроческой чистотѣ и невинности. А главное, повторю это, тутъ одно дѣло и для дѣла и ни малѣйшаго тщеславія, ни малѣйшаго самомнѣнія и самоупоенія собственнымъ подвигомъ,—что, напротивъ, очень часто видимъ въ современныхъ молодыхъ людяхъ, даже еще только въ подросткахъ.

По уходѣ ея мнѣ опять невольно пришла на мысль потребность у насъ высшаго образованія для женщинъ,—потребность самая настоятельная и именно теперь, въ виду серьезнаго запроса дѣятельности въ современной женщинѣ, запроса на образованіе, на участіе въ общемъ дѣлѣ. Я думаю отцы и матери этихъ дочерей сами бы должны были настаивать на этомъ, для себя же, если любятъ дѣтей своихъ. Въ самомъ дѣлѣ, только лишь высшая наука имѣетъ въ себѣ столько серьезности, столько обаянія и силы, чтобъ умирить это почти волненіе, начавшееся среди нашихъ женщинъ. Только наука можетъ дать отвѣтъ на ихъ вопросы, укрѣпить умъ, взять, такъ сказать, въ опеку расходившуюся мысль. Что же до этой дѣвушки, то хоть и жалка мнѣ ея молодость, но остановить ее я, кромѣ того что не могъ, но отчасти думаю, что можетъ быть это путешествіе будетъ ей, съ одной стороны, даже и полезно: все же это не книжный міръ, не отвлеченное убѣжденіе, а предстоящій огромный опытъ, который, можетъ быть, въ неизмѣримой благости Своей, судилъ ей самъ Богъ, чтобъ спасти ее. Тутъ—готовящійся ей урокъ живой жизни, тутъ предстоящее расширеніе ея мысли и взгляда, тутъ будущее воспоминаніе на всю жизнь о чемъ-то дорогомъ и прекрасномъ, въ чемъ она участвовала и что заставитъ ее дорожить жизнію, а не устать отъ нея — не живши, какъ устала несчастная самоубійца Писарева, о которой я говорилъ въ прошломъ, майскомъ „Дневникѣ“ моемъ.

Ѳ. Достоевскій.

Въ этомъ, іюньскомъ, номерѣ „Дневника“, въ первой главѣ, въ статьѣ о Жоржъ-Зандѣ вкралось нѣсколько непростительныхъ опечатокъ, которыя были замѣчены лишь когда уже былъ отпечатанъ листъ. Двѣ изъ нихъ я спѣшу оговорить. На страницѣ 150 во 2-мъ столбцѣ 28 стр. сверху напечатано: „Шиллера... знали во Франціи лишь какъ профессора словесности“. Тутъ слово: *какъ* лишнее. Надо читать: „Шиллера... знали во Франціи лишь профессора словесности“. На страницѣ 152 во 2-мъ столбцѣ вторая строка сверху напечатано: „Здѣсь надо замѣтить что и то, что у насъ, несмотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди“... и т. д. Надо читать: „Здѣсь надо замѣтить и то, что у насъ, не смотря ни на какихъ“... и т. д.



Дозволено цензурою. Спб. 30 іюня 1876. Типогр. кн. Вл. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

ІЮЛЬ И АВГУСТЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Выѣздъ заграницу. Нѣчто о русскихъ въ вагонахъ.

Два мѣсяца уже не бесѣдовалъ съ читателемъ. Выдавъ іюньскій № (которымъ заключилось полгода моего изданія), я тотчасъ-же сѣлъ въ вагонъ и отправился въ Эмсъ — о, не отдыхать, а затѣмъ, зачѣмъ въ Эмсъ ѣздятъ. И ужь конечно все это слишкомъ личное и частное, но дѣло въ томъ, что я пишу иногда мой „Дневникъ" не только для публики, но и для себя самого — (вотъ потому-то, вѣроятно, въ немъ иногда и бываютъ иныя какъ бы шероховатости и неожиданности, т. е. мысли мнѣ совершенно знакомыя и длиннымъ порядкомъ во мнѣ выработавшіяся, а читателю кажущіяся совершенно чѣмъ-то вдругъ выскочившимъ, безъ связи съ предыдущимъ),—а потому какъ-же я не включу въ него и мой выѣздъ заграницу? О, конечно, моя-бы воля, я отправился бы куда нибудь на Югъ Россіи, туда

... Гдѣ съ щедростью обычной,
За ничтожный, легкій трудъ,
Плодъ оратаю сторичный
Нивы тучныя даютъ;
Гдѣ въ лугахъ необозримыхъ,
При журчаніи волны,
Кобылицъ неукротимыхъ
Гордо бродятъ табуны.

Но, увы! кажется и тамъ теперь совсѣмъ другое, чѣмъ когда мечталъ объ этомъ краѣ поэтъ, и не только за ничтожный трудъ, но и за тяже-

лый—оратай получаетъ далеко не сторичныя выгоды. Да и насчетъ кобылицъ кажется тоже надо теперь взять тонъ несравненно умѣреннѣе. Кстати, недавно въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ нашелъ статью о Крымѣ, о выселеніи изъ Крыма татаръ и о „запустѣніи края“. „Московскія Вѣдомости“ проводятъ дерзкую мысль, что и нечего жалѣть о татарахъ— пусть выселяются, а на ихъ мѣсто лучше бы колонизировать русскихъ. Я прямо называю такую мысль дерзостью: это одна изъ тѣхъ мыслей, одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, о которыхъ я говорилъ въ іюньскомъ № „Дневника“, что чуть какой нибудь изъ нихъ явится „и всѣ у насъ тотчасъ въ разноголосицу“. Въ самомъ дѣлѣ, трудно рѣшить—согласятся ли у насъ всѣ съ этимъ мнѣніемъ „Московскихъ Вѣдомостей“, съ которымъ я отъ всей души соглашаюсь, потому что самъ давно точно также думалъ объ этомъ „Крымскомъ вопросѣ“. Мнѣніе рѣшительно *рискованное* и неизвѣстно еще, примкнетъ ли къ нему либеральное, все рѣшающее, мнѣніе. Правда, „Московскія Вѣдомости“ выражаютъ желаніе „не жалѣть о татарахъ“ и т. д. не для одной лишь политической стороны дѣла, не для одного лишь закрѣпленія окраинъ, а выставляютъ и прямо экономическую потребность края. Они выставляютъ, какъ фактъ, что крымскіе татары даже доказали свою неспособность правильно воздѣлывать почву Крыма, и что русскіе, и именно южноруссы—на это гораздо будутъ способнѣе, и въ доказательство указываютъ на Кавказъ. Вообще, еслибъ переселеніе русскихъ въ Крымъ (постепенное, разумѣется) потребовало бы и чрезвычайныхъ какихъ нибудь затратъ отъ государства, то на такія затраты, кажется, очень можно и чрезвычайно было бы выгодно рѣшиться. Во всякомъ вѣдь случаѣ, если не займутъ мѣста русскіе, то на Крымъ непремѣнно набросятся жиды и умертвятъ почву края...

—

Переѣздъ изъ Петербурга до Берлина—длинный, почти въ двое сутокъ, а потому взялъ съ собой, на всякій случай, двѣ брошюры и нѣсколько газетъ. Именно „на всякій случай“, потому что всегда боюсь оставаться въ толпѣ незнакомыхъ русскихъ интеллигентнаго нашего класса,—и это вездѣ, въ вагонѣ-ли, на пароходѣ-ли, или въ какомъ бы то ни было собраніи. Я признаюсь въ этомъ какъ въ слабости и прежде всего отношу ее къ моей собственной мнительности. Заграницей, въ толпѣ иностранцевъ, мнѣ всегда бываетъ легче: тутъ каждый идетъ совершенно прямо, если куда намѣтилъ, а нашъ идетъ и оглядывается: „что, дескать, про меня скажутъ“. Впрочемъ, на видъ твердъ и незыблемъ, а на самомъ дѣлѣ ничего нѣтъ болѣе шатающагося и въ себѣ неувѣреннаго. Незнакомый русскій, если начинаетъ съ вами разговоръ, то всегда чрезвычайно конфиденціально и дружественно, но вы съ первой буквы видите глубокую недовѣрчивость и даже затаившееся мнительное раздраженіе, которое, чуть-чуть не такъ, и мигомъ выскочитъ изъ него или колкостью, или даже просто грубостью, не смотря на все его „воспитаніе“ и, главное, ни съ того ни съ сего. Всякій какъ будто хочетъ отмстить кому-то за свое ничтожество, а между тѣмъ, это можетъ быть вовсе и не ничтожный человѣкъ, бываетъ такъ, что даже совсѣмъ напротивъ.

Нѣтъ человѣка готоваго повторять чаще русскаго: „какое мнѣ дѣло, что про меня скажутъ“, или: „совсѣмъ я не забочусь объ общемъ мнѣніи“—и нѣтъ человѣка, который бы болѣе русскаго (опять таки цивилизованнаго) болѣе боялся, болѣе трепеталъ общаго мнѣнія, того, что про него скажутъ или подумаютъ. Это происходитъ именно отъ глубоко въ немъ затаившагося неуваженія къ себѣ, при необъятномъ, разумѣется, самомнѣніи и тщеславіи. Эти двѣ противуположности всегда сидятъ *почти* во всякомъ интеллигентномъ русскомъ и для него же перваго и невыносимы, такъ что всякій изъ нихъ носитъ какъ бы „адъ въ душѣ“. Особенно тяжело встрѣчаться съ незнакомыми русскими заграницей, гдѣ-нибудь глазъ на глазъ, такъ что нельзя уже убѣжать, въ случаѣ какой бѣды, именно, напримѣръ, если васъ запрутъ вмѣстѣ въ вагонѣ. А межъ тѣмъ, казалось бы, „такъ пріятно встрѣтиться на чужбинѣ съ соотечественникомъ“. Да и разговоръ-то всегда почти начинается съ этой самой фразы; узнавъ, что вы русскій, соотечественникъ непремѣнно начнетъ: „Вы русскій? какъ пріятно встрѣтиться на чужбинѣ съ соотечественникомъ: вотъ я здѣсь тоже“... и тутъ сейчасъ же начинаются какія нибудь откровенности, именно въ самомъ дружественномъ и, такъ сказать, въ братскомъ тонѣ, приличномъ двумъ соотечественникамъ, обнявшимся на чужбинѣ. Но не вѣрьте тону: соотечественникъ хоть и улыбается, но уже смотритъ на васъ подозрительно, вы это видите изъ глазъ его, изъ его сюсюканія и изъ нѣжной скандировки словъ; онъ васъ мѣряетъ, онъ уже непремѣнно боится васъ, онъ уже хочетъ лгать; да и не можетъ онъ не смотрѣть на васъ подозрительно и не лгать, именно потому, что вы тоже русскій и онъ васъ поневолѣ мѣряетъ съ собой, а можетъ быть и потому, что вы дѣйствительно это заслужили. Замѣчательно тоже что всегда, или по крайней мѣрѣ очень не рѣдко, русскій незнакомецъ заграницей (заграницей чаще, заграницей почти всегда), почти съ первыхъ трехъ фразъ поспѣшитъ ввернуть: что онъ вотъ только что встрѣтилъ такого-то, или только что слышалъ что нибудь отъ такого-то, т. е. отъ какого нибудь замѣчательнаго или знатнаго лица изъ нашихъ, изъ русскихъ, но выставляя его при этомъ именно въ самомъ миломъ фамильярномъ тонѣ, какъ пріятеля, не только своего, но и вашего— „вѣдь вы конечно, знаете, скитается бѣдный по всѣмъ здѣшнимъ медицинскимъ знаменитостямъ, тѣ его на воды шлютъ, убитъ совершенно, знакомы вы?“ Если вы отвѣтите, что совсѣмъ не знаете, то незнакомецъ тотчасъ же отыщетъ въ этомъ обстоятельствѣ нѣчто для себя обидное: „ты, дескать, ужъ не подумалъ-ли, что я хотѣлъ похвалиться передъ тобой знакомствомъ съ знатнымъ лицомъ?“ Вы этотъ вопросъ уже читаете въ глазахъ его, а между тѣмъ это именно можетъ быть, такъ и было. Если же вы отвѣтите, что знаете то лицо, то онъ обидится еще пуще, и тутъ ужъ, право не знаю почему. Однимъ словомъ, неискренность и враждебность ростутъ съ обѣихъ сторонъ и—разговоръ вдругъ обрывается и умолкаетъ. Соотечественникъ отъ васъ вдругъ отвертывается. Онъ готовъ проговорить все время съ какимъ-нибудь нѣмецкимъ булочникомъ, сидящимъ напротивъ, но только не съ вами, и именно, чтобъ вы это замѣтили. Начавъ съ такой дружбы, онъ прерываетъ съ вами всѣ сно-

шенія и отношенія и грубо не замѣчаетъ васъ вовсе. Наступитъ ночь и если есть мѣсто, онъ растянется на подушкахъ чуть-чуть не доставая васъ ногами, даже, можетъ быть, нарочно доставая васъ ногами, а кончится путь, то выходитъ изъ вагона не кивнувъ даже вамъ головою. „Да чѣмъ же онъ такъ обидѣлся?“ думаете вы съ горестію и съ великимъ недоумѣніемъ. Всего лучше встрѣчаться съ русскими генералами. Русскій генералъ заграницей больше всего хлопочетъ, чтобъ не осмѣлился кто изъ встрѣчающихся русскихъ съ нимъ не по чину заговорить, пользуясь тѣмъ, что дескать, „мы заграницей, а потому и сравнялись“. А потому съ первой минуты, въ дорогѣ, напримѣръ погружается въ строгое и мраморное молчаніе; а тѣмъ и лучше, никому не мѣшаетъ. Кстати, русскій генералъ, отправляющійся заграницу, иногда даже очень любитъ надѣть статское платье и заказываетъ у первѣйшаго петербургскаго портнаго, а пріѣхавъ на воды, гдѣ всегда такъ много хорошенькихъ дамъ со всей Европы, очень любитъ пощеголять. Онъ съ особеннымъ удовольствіемъ, кончивъ сезонъ, снимаетъ съ себя фотографію въ штатскомъ платьѣ, чтобъ раздарить карточки въ Петербургѣ своимъ знакомымъ, или осчастливить подаркомъ преданнаго подчиненнаго. Но, во всякомъ случаѣ, припасенная книга или газета чрезвычайно помогаютъ въ дорогѣ, именно отъ русскихъ: „я, дескать, читаю, оставьте меня въ покоѣ“.

II.

О воинственности нѣмцевъ.

Какъ только въѣхали въ нѣмецкую землю, такъ тотчасъ-же всѣ шесть нѣмцевъ нашего купе, чуть только заперли насъ вмѣстѣ, заговорили между собою о войнѣ и о Россіи. Мнѣ это показалось любопытнымъ, и хоть я зналъ, что въ нѣмецкой печати, именно теперь, огромный толкъ объ Россіи, но все же не думалъ, что объ этомъ у нихъ и на площадяхъ говорятъ. Это были далеко не „высшіе“ нѣмцы; тутъ навѣрно не было ни одного барона, и даже ни одного нѣмецкаго военнаго офицера. Да и говорили они не о „высшей“ политикѣ, а лишь объ настоящихъ силахъ Россіи, преимущественно военныхъ, объ силахъ лишь въ данный моментъ, въ настоящую минуту. Съ торжествующимъ и даже нѣсколько надменнымъ спокойствіемъ они сообщили другъ другу, что никогда еще Россія не была въ такомъ слабомъ состояніи по части вооруженія и проч. Одинъ важный и рослый нѣмецъ, ѣхавшій изъ Петербурга, сообщилъ самымъ компетентнымъ тономъ, что у насъ, будтобы, не болѣе двухсотъ семидесяти тысячъ чуть-чуть порядочныхъ скорострѣльныхъ ружей, а остальное все лишь передѣлка кое-какъ изъ стараго, и что всѣхъ скорострѣльныхъ ружей, вмѣстѣ взятыхъ, не доходитъ, будтобы, и до полумилліона. Что металлическихъ патроновъ у насъ заготовлено пока еще не болѣе шестидесяти милліоновъ, т. е. всего лишь по шестидесяти выстрѣловъ на солдата, если считать всю армію, во время войны въ милліонъ, и, кромѣ того, утверждалъ, что и патроны-то эти дурно сдѣланы. Они, впрочемъ, толковали довольно весело. Надо замѣтить, что они знали про меня, что я русскій, но по нѣсколькимъ словамъ моимъ съ кондукторомъ очевидно заключили, что я не знаю понѣмецки. Но я хоть и дурно говорю понѣмецки, за то понимаю.

Послѣ нѣкотораго времени я счелъ „патріотическимъ долгомъ“ возразить, но какъ можно менѣе горячась, чтобъ попасть въ ихъ тонъ, что всѣ ихъ цифры и свѣдѣнія преувеличены въ дурную сторону, что еще четыре года назадъ у насъ вооруженіе войскъ доведено было до весьма удовлетворительнаго результата, но что съ тѣхъ поръ оно еще увеличилось, такъ какъ дѣло вооруженія продолжается безпрерывно, и что мы теперь никому не уступимъ. Они выслушали меня внимательно, несмотря на мой дурной нѣмецкій разговоръ, и даже сами подсказывали мнѣ всякій разъ то нѣмецкое слово, которое я забывалъ и на которомъ запинался въ рѣчи, ободрительно кивая головами въ знакъ того, что меня понимаютъ. (NB. Если вы говорите дурно на нѣмецкомъ языкѣ, то чѣмъ выше по образованію нѣмецъ—вашъ слушатель, тѣмъ скорѣе онъ васъ пойметъ; съ уличной же толпой, или, напримѣръ, съ прислугой дѣло совсѣмъ другое: тѣ понимаютъ тупо, хотя бы вы забыли всего одно слово въ цѣлой фразѣ, и особенно, если, вмѣсто общеупотребительнаго какого-нибудь слова, употребили другое, менѣе принятое; тутъ васъ иногда даже совсѣмъ не поймутъ. Не знаю, такъ-ли это съ французами, съ итальянцами, но вотъ про русскихъ севастопольскихъ солдатъ разсказывали и писали, что они разговаривали съ плѣнными французскими солдатами въ Крыму (разумѣется, жестами) и умѣли понимать ихъ; стало быть, еслибъ знали хотя только половину словъ, которыя говорилъ французъ, то поняли бы его совсѣмъ). Нѣмцы не сдѣлали мнѣ ни одного возраженія, они лишь улыбались словамъ моимъ, но не высокомѣрно, а даже ободрительно, совершенно увѣренные, что я, какъ русскій, говорю лишь защищая русскую честь, но по глазамъ ихъ было видно, что не повѣрили мнѣ ни капли и остались при своемъ. Пять лѣтъ тому назадъ, въ 71-мъ году, они были, однако, вовсе не такъ вѣжливы. Я жилъ тогда въ Дрезденѣ и помню какъ воротились саксонскія войска послѣ войны; тогда имъ устроенъ былъ городомъ торжественный входъ и овація. Помню, впрочемъ, эти же войска и годъ передъ тѣмъ, когда они только еще шли на войну и когда вдругъ на всѣхъ углахъ, во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ Дрездена, появилась крупными буквами напечатанная афиша: der Krieg ist erklaert! (война объявлена!). Я видѣлъ тогда эти войска и невольно любовался ими: какая бодрость въ лицахъ, какое свѣтлое, веселое и, въ тоже время важное выраженіе взгляда! Все это была молодежь и смотря на иную проходящую роту нельзя было не залюбоваться удивительной военной выправкой, стройнымъ шагомъ, точнымъ, строгимъ равненіемъ, но въ тоже время и какой-то необыкновенной свободой, еще и невиданной мною въ солдатѣ, сознательной рѣшимостью, выражавшейся въ каждомъ жестѣ, въ каждомъ шагѣ этихъ молодцовъ. Видно было, что ихъ не гнали, а что они сами шли. Ничего деревяннаго, ничего палочно-капральнаго, и это у нѣмцевъ, у тѣхъ самыхъ нѣмцевъ у которыхъ мы заимствовали, заводя съ Петра свое войско, и капрала, и палку. Нѣтъ, эти нѣмцы шли безъ палки, какъ одинъ человѣкъ, съ совершенной рѣшимостью и съ полною увѣренностью въ побѣдѣ. Война была народною: въ солдатѣ сіялъ гражданинъ, и, признаюсь, мнѣ тогда же стало жутко за фран-

цузовъ, хотя я все еще твердо былъ увѣренъ, что тѣ поколотятъ нѣмцевъ. Можно представить послѣ того, какъ эти же солдаты входили въ Дрезденъ годъ спустя, уже послѣ побѣдъ, наконецъ-то ими одержанныхъ надъ французомъ, отъ котораго они все столѣтіе терпѣли всякія униженія. Прибавьте къ тому обычную нѣмецкую— и уже всенародную хвастливость собой безъ мѣры, въ случаѣ какого-нибудь успѣха, хвастливость даже мелочную до дѣтскости и всегда переходящую у нѣмца въ нахальство, — довольно неприглядная народная черта и почти удивительная въ этомъ народѣ: Народъ этотъ даже слишкомъ многимъ можетъ похвалиться, даже въ сравненіи съ какими-бы то не было націями, чтобъ выказывать столько мелочности. Выходило, что имъ ужь такъ внозѣ была эта честь, что они ея сами не ожидали. И дѣйствительно, они до того тогда восторжествовали, что принялись оскорблять русскихъ. Русскихъ въ Дрезденѣ было тогда очень много, и многіе изъ нихъ передавали потомъ, какъ всякій, даже лавочникъ, чуть лишь заговаривалъ съ русскимъ, хотя-бы только пришедшимъ къ нему въ лавку купить что нибудь, тотчасъ-же старался ввернуть: „вотъ мы покончили съ французами, а теперь примемся и за васъ". Эта злоба противъ Русскихъ вскипѣла тогда въ народѣ сама собою, не смотря даже на все то, что говорили тогда газеты, понимавшія политику Россіи во время войны, — политику, безъ которой имъ, можетъ быть, и не пришлось бы пожать такіе лавры. Правда, это былъ первый пылъ военнаго успѣха, столь неожиданнаго, но фактъ тотъ, что въ пылу этомъ тотчасъ-же вспомянули русскихъ. Это почти невольно проявившееся ожесточеніе противъ русскихъ даже мнѣ показалось тогда удивительнымъ, хотя я всю жизнь мою зналъ, что нѣмецъ всегда и вездѣ, еще съ самой Нѣмецкой слободы въ Москвѣ, очень таки не жаловалъ русскаго. Одна русская дама, жившая тогда въ Дрезденѣ, графиня К., сидѣла на одномъ изъ отведенныхъ для публики мѣстъ во время этой торжественной оваціи войску, входившему въ городъ, а сзади нея нѣсколько восторженныхъ нѣмцевъ начали ужасно ругать Россію. „Я къ нимъ обернулась и выругала ихъ попростонародному", разсказывала она мнѣ потомъ. Тѣ смолчали: нѣмцы очень учтивы съ дамами, но русскому они-бы не спустили. Я самъ читалъ тогда въ нашихъ газетахъ, что наши петербургскіе нѣмцы, въ Петербургѣ, затѣвали тогда цѣлыми пьяными ватагами ссоры и драки гдѣ нибудь на попойкѣ съ нашими солдатами и это именно изъ „патріотизма". Кстати, большинство нѣмецкихъ газетъ наполнено теперь самыми яростными выходками противъ Россіи. Указывая на эту ярость нѣмецкой прессы, увѣряющей, что русскіе хотятъ захватить Востокъ и славянъ, чтобъ, усилившись, низринуться на европейскую цивилизацію, „Голосъ" замѣтилъ недавно въ одной передовой статьѣ своей, что весь этотъ яростный хоръ тѣмъ болѣе удивителенъ, что поднялся онъ, какъ нарочно, именно сейчасъ подлѣ дружественныхъ съѣздовъ и свиданій трехъ императоровъ, и что это, по меньшей мѣрѣ, странно. Замѣчаніе тонкое.

—

III.

Самое послѣднее слово цивилизаціи.

Да, въ Европѣ собирается нѣчто какъ бы ужь неминуемое. Вопросъ о Востокѣ ростетъ, подымается, какъ волны прилива, и дѣйствительно, можетъ быть, кончится тѣмъ, что захватитъ *все*, такъ что ужъ никакое миролюбіе, никакое благоразуміе, никакое твердое рѣшеніе не зажигать войны не устоитъ противъ напора обстоятельствъ. Но важнѣе всего то, что уже и теперь выразился ясно страшный фактъ, и что этотъ фактъ—есть *послѣднее слово* цивилизаціи. Это послѣднее слово сказалось, выяснилось; оно теперь извѣстно и оно есть результатъ всего восемнадцати вѣковаго развитія, всего очеловѣченія человѣческаго. Вся Европа, по крайней мѣрѣ, первѣйшіе представители ея, вотъ тѣ самые люди и націи, которые кричали противъ невольничества, уничтожили торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизмъ, провозгласили права человѣчества, создали науку и изумили міръ ея силой, одухотворили и восхитили душу человѣческую искусствомъ и его святыми идеалами, зажигали восторгъ и вѣру въ сердцахъ людей, обѣщая имъ уже въ близкомъ будущемъ справедливость и истину,—вотъ тѣ самые народы и націи вдругъ, всѣ (почти всѣ), въ данный моментъ разомъ отвертываются отъ милліоновъ несчастныхъ существъ—христіанъ, человѣковъ, братьевъ своихъ, гибнущихъ, опозоренныхъ, и ждутъ, ждутъ съ надеждою, съ нетерпѣніемъ—когда передавятъ ихъ всѣхъ, какъ гадовъ, какъ клоповъ, и когда умолкнутъ, наконецъ, всѣ эти отчаянные призывные вопли спасти ихъ, вопли—Европѣ досаждающіе, ее тревожащіе. Именно за гадовъ и клоповъ, хуже даже: десятки, сотни тысячь христіанъ избиваются какъ вредная паршь, сводятся съ лица земли съ корнемъ, до тла. Въ глазахъ умирающихъ братьевъ безчестятся ихъ сестры, въ глазахъ матерей бросаютъ вверхъ ихъ дѣтей-младенцевъ и подхватываютъ на ружейный штыкъ; селенія истребляются, церкви разбиваются въ щепы, все *сводится* поголовно—и это дикой, гнусной мусульманской ордой, заклятой противницей цивилизаціи. Это уничтоженіе систематическое; это не шайка разбойниковъ, выпрыгнувшихъ случайно, во время смуты и безпорядка войны, и боящаяся, однако, закона. Нѣтъ, тутъ система, это методъ войны огромной имперіи. Разбойники дѣйствуютъ по указу, по распоряженіямъ министровъ и правителей государства, самого султана. А Европа, христіанская Европа, великая цивилизація, смотритъ съ нетерпѣніемъ... „когда же это передавятъ этихъ клоповъ“! Мало того, въ Европѣ оспариваютъ факты, отрицаютъ ихъ въ народныхъ парламентахъ, не вѣрятъ, дѣлаютъ видъ что не вѣрятъ. Всякій изъ этихъ вожаковъ народа знаетъ про себя, что все это правда, и всѣ наперерывъ отводятъ другъ другу глаза: „это не правда, этого не было, это преувеличено, это они сами избили шестьдесятъ тысячь своихъ же болгаръ, чтобъ сказать на турокъ. „Ваше превосходительство, она сама себя высѣкла“! Хлестаковы, Сквозники-Дмухановскіе въ бѣдѣ! Но отчего же это все, чего боятся эти люди, отчего не хотятъ ни видѣть, ни слышать, а лгутъ сами себѣ и позорятъ сами себя? А тутъ, видите ли, Россія: „Россія усилится, овладѣетъ Востокомъ, Константинополемъ, Средиземнымъ моремъ,

портами, торговлей. Россія низринется варварской ордой на Европу и „уничтожитъ цивилизацію“—(вотъ ту самую цивилизацію, которая допускаетъ такія варварства!). Вотъ что кричатъ теперь въ Англіи, въ Германіи, и опять-таки лгутъ поголовно, сами не вѣрятъ ни въ одно слово изъ этихъ обвиненій и опасеній. Все это лишь слова для возбужденія массъ народа къ ненависти. Нѣтъ человѣка теперь въ Европѣ, чуть-чуть мыслящаго и образованнаго, который бы вѣрилъ теперь тому, что Россія хочетъ, можетъ и въ силахъ истребить цивилизацію. Пусть они не вѣрятъ нашему безкорыстію и приписываютъ намъ всѣ дурныя намѣренія: это понятно; но невѣроятно то, чтобъ они, послѣ стольких примѣровъ и опытовъ, еще вѣрили тому, что мы сильнѣе всей соединенной Европы вмѣстѣ. Невѣроятно чтобъ не знали они, что Европа вдвое сильнѣе Россіи, еслибъ даже та и Константинополь держала въ рукахъ своихъ. Что Россія сильна чрезвычайно только у себя дома, когда сама защищаетъ свою землю отъ нашествія, но вчетверо того слабѣе при нападеніи. О, все это они знаютъ отлично, но морочатъ и продолжаютъ морочить всѣхъ и себя самихъ единственно потому, что тамъ у нихъ, въ Англіи, есть нѣсколько купцовъ и фабрикантовъ, болѣзненно мнительныхъ и болѣзненно жадныхъ къ своимъ интересамъ. Но вѣдь и эти знаютъ отлично, что Россія, даже при самыхъ благопріятныхъ для себя обстоятельствахъ, все-таки не осилитъ ихъ промышленности и торговли и что это еще вопросъ вѣковъ; но даже малѣйшее развитіе чьей нибудь торговли, малѣйшее чье-нибудь усиленіе на морѣ,—и вотъ уже у нихъ тревога, паника, тоска за барышъ: вотъ изъ за этого-то вся „цивилизація“ вдругъ и оказывается пуфомъ. Ну, а нѣмцамъ что, пресса-то ихъ чего всполошилась? А этимъ то̀, что Россія стоитъ у нихъ за спиною и связываетъ имъ руки, что изъ за нея они упустили *своевременный* моментъ свести съ лица земли Францію уже окончательно, чтобы ужъ не безпокоиться съ нею вовѣки. „Россія мѣшаетъ, Россію надо вогнать въ предѣлы, а какъ ее вгонишь въ предѣлы, когда, съ другаго бока, еще *цѣла* Франція“? Да Россія виновата уже тѣмъ, что она Россія, а русскіе тѣмъ, что они русскіе, т. е. славяне: ненавистно славянское племя Европѣ, les esclaves, дескать, рабы, а у нѣмцевъ столько этихъ рабовъ: пожалуй, взбунтуются. И вотъ восемнадцать вѣковъ христіанства, очеловѣченія, науки, развитія,—оказываются вдругъ вздоромъ, чуть лишь коснулось до слабаго мѣста, басней для школьниковъ, азбучнымъ нравоученіемъ. Но въ томъ то и бѣда, въ томъ-то и ужасъ, что это—„послѣднее слово цивилизаціи“, и что слово это выговорилось, не постыдилось выговориться. О, не выставляйте на видъ, что и въ Европѣ, что и въ самой Англіи, подымалось общественное мнѣніе протестомъ, просьбой, денежными пожертвованіями избиваемому человѣчеству: но вѣдь тѣмъ еще грустнѣе; все это частные случаи; они только доказали, какъ безсильны они у себя противъ всеобщаго, государственнаго, своего національнаго направленія. Вопрошающій человѣкъ останавливается въ недоумѣніи: „Гдѣ же правда, неужели и вправду міръ еще такъ далеко отъ нея? Когда же пресѣчется рознь и соберется ли когда человѣкъ вмѣстѣ, и что мѣшаетъ тому? Будетъ ли когда нибудь такъ сильна

правда, чтобъ совладать съ развратомъ, цинизмомъ и эгоизмомъ людей? Гдѣ выработанныя, добытыя съ такимъ мученіемъ—истины, гдѣ человѣколюбіе? Да и истины ли ужь это, полно? И не одно ли онѣ упражненіе для „высшихъ" чувствъ, для ораторскихъ рѣчей или для школьниковъ, чтобъ держать ихъ въ рукахъ,—а чуть дѣло, *настоящее* дѣло, *практическое* уже дѣло—и все по боку, къ чорту идеалы! Идеалы вздоръ, поэзія, стишки! И неужели правда, что жидъ опять вездѣ воцарился, да и не только „опять воцарился", а и не переставалъ никогда царить *)?

*) Статья эта написана еще въ Іюлѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Идеалисты-циники.

А помнитъ ли кто статью незабвеннаго профессора и незабвеннаго русскаго человѣка—Тимофея Николаевича Грановскаго, о Восточномъ вопросѣ, писанную имъ, если только правда это, въ 1855 году, въ самый разгаръ войны нашей съ Европой и когда уже началась осада Севастополя? Я взялъ ее съ собою въ вагонъ и перечолъ именно въ виду теперь поднимающагося вновь Восточнаго вопроса, и эта старая почтенная статья вдругъ показалась мнѣ необыкновенно любопытною, несравненно любопытнѣе, чѣмъ когда я читалъ ее въ первый разъ и когда остался въ высшей степени съ нею согласенъ. Въ этотъ разъ поразило меня одно особенное соображеніе: во-первыхъ, взглядъ тогдашняго западника на народъ, а во-вторыхъ, и главное—такъ сказать, психологическое значеніе статьи. Не могу не подѣлиться моимъ впечатлѣніемъ съ читателемъ.

Грановскій былъ самый чистѣйшій изъ тогдашнихъ людей; это было нѣчто безупречное и прекрасное. Идеалистъ сороковыхъ годовъ въ высшемъ смыслѣ и, безспорно, онъ имѣлъ свой собственный, особенный и чрезвычайно оригинальный оттѣнокъ въ ряду тогдашнихъ передовыхъ людей нашихъ, извѣстнаго закала. Это былъ одинъ изъ самыхъ честнѣйшихъ нашихъ Степановъ Трофимовичей (типъ идеалиста сороковыхъ годовъ, выведенный мною въ романѣ „Бѣсы" и который наши критики находили правильнымъ. Вѣдь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его)—и, можетъ быть, безъ малѣйшей комической черты, довольно свойственной этому типу. Но я сказалъ, что меня поразило *психологическое* значеніе статьи и эта мысль показалась мнѣ весьма забавною. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но когда нашъ русскій идеалистъ, завѣдомый идеалистъ, знающій, что всѣ его и считаютъ лишь за идеалиста, такъ сказать, „патентованнымъ" проповѣдникомъ „прекраснаго и высокаго", вдругъ, по какому нибудь случаю увидитъ необходимость подать или заявить свое мнѣніе въ какомъ-нибудь

дѣлѣ (по уже „настоящемъ“ дѣлѣ, практическомъ, текущемъ, а не то что тамъ въ какой нибудь поэзіи, въ дѣлѣ уже важномъ и *серьозномъ*, такъ сказать, въ гражданскомъ почти дѣлѣ), и заявить не какъ нибудь, не мимоходомъ, а съ тѣмъ, чтобъ высказать рѣшающее и судящее слово, и съ тѣмъ, чтобъ непремѣнно имѣть вліяніе,—то вдругъ обращается весь, какимъ-то чудомъ, не только въ завзятаго реалиста и прозаика, но даже въ циника. Мало того: цинизмомъ-то, прозой-то этой онъ, главное, и гордится. Подаетъ мнѣніе и самъ чуть не щелкаетъ себѣ языкомъ. Идеалы по боку, идеалы вздоръ, поэзія, стишки; на мѣсто нихъ одна „реальная правда“, но вмѣсто реальной правды всегда пересолитъ до цинизма. Въ цинизмѣ-то и ищетъ ея, въ цинизмѣ-то и предполагаетъ ее. Чѣмъ грубѣе, чѣмъ суше, чѣмъ безсердечнѣе, тѣмъ, по его, и реальнѣе. Отчего это такъ? А потому, что нашъ идеалистъ, въ подобномъ случаѣ, непремѣнно устыдится своего идеализма. Устыдится и убоится, что ему скажутъ: „ну, вы идеалистъ, что вы въ „дѣлахъ“ понимаете; проповѣдуйте тамъ у себя *прекрасное*, а „дѣла“ рѣшать предоставьте намъ“. Даже въ Пушкинѣ была эта черта: великій поэтъ не разъ стыдился того, что онъ *только* поэтъ. Можетъ быть эта черта встрѣчается и въ другихъ народностяхъ, но, однако, врядъ ли? Врядъ ли, по крайней мѣрѣ, въ такой степени какъ у насъ. Тамъ, отъ давнишней привычки къ дѣлу всѣхъ и каждаго, успѣли разсортироваться вѣками занятія и значенія людей, и почти каждый тамъ знаетъ, понимаетъ и уважаетъ себя—и въ своемъ занятіи, и въ своемъ значеніи. У насъ же, при двухсотлѣтней отвычкѣ отъ всякаго дѣла — нѣсколько иначе. Затаенное глубоко внутреннее неуваженіе къ себѣ не минуетъ даже такихъ людей, какъ Пушкинъ и Грановскій. И дѣйствительно, найдя необходимымъ вдругъ превратиться изъ профессора исторіи въ дипломата этотъ невиннѣйшій и правдивѣйшій человѣкъ дошелъ до удивительныхъ вещей въ своихъ приговорахъ. Онъ, напримѣръ, совершенно отрицаетъ даже возможность благодарности къ намъ Австріи за то, что мы ей помогли въ ея спорѣ съ венгерцами и буквально спасли ее отъ распаденія. И не потому отрицаетъ, что Австрія „коварна“ и что это намъ слѣдовало предугадать; нѣтъ, онъ не видитъ никакого коварства и прямо выводитъ, что Австрія не могла поступить иначе. Но этого ему мало: онъ прямо выводитъ, что она и *не должна* была поступить иначе, что она, напротивъ, должна была поступить именно такъ, какъ поступила,—и что, стало быть, надежды наши на ея благодарность составляютъ лишь непростительный и смѣшной промахъ нашей политики. Частный-де человѣкъ одно, а государство—другое; у государства свои высшія, текущія цѣли, свои собственныя выгоды, и требовать благодарности даже до жертвы собственнымъ интересамъ—просто смѣшно. „У насъ коварство и неблагодарность Австріи,—говоритъ Грановскій,—сдѣлались общимъ ходячимъ мѣстомъ. Но говорить о неблагодарности или благодарности въ политическихъ дѣлахъ показываетъ только ихъ непониманіе. Государство не частное лицо; ему нельзя изъ благодарности жертвовать своими интересами, тѣмъ болѣе, что въ политическихъ дѣлахъ самое великодушіе *никогда не бываетъ безкорыстное*“ (т.

е. и не должно быть, что-ли? мысль именно та); однимъ словомъ, почтенный идеалистъ наговорилъ чрезвычайно умныхъ вещей, но главное—*реальныхъ:* не все, дескать, мы стишки пишемъ!.. Умно-то это умно, это правда, тѣмъ болѣе, что и не ново, а живетъ съ тѣхъ поръ, какъ на свѣтѣ живутъ дипломаты, но все же оправдывать съ такимъ жаромъ поступокъ Австріи, и не то что оправдывать, а прямо доказывать, что и не *должна* была она поступить иначе,—воля ваша, это какъ то рѣжетъ умъ пополамъ. Что-то есть тутъ такое, съ чѣмъ никакъ нельзя согласиться, съ чѣмъ претитъ согласиться, не смотря даже на необычайный практическій и политическій умъ, столь вдругъ и столь неожиданно высказанный нашимъ историкомъ—поэтомъ и жрецомъ прекраснаго. Вѣдь съ этимъ признаніемъ святости текущей выгоды, непосредственнаго и торопливаго барыша, съ этимъ признаніемъ справедливости плевка на честь и совѣсть, лишь бы сорвать шерсти клокъ,—вѣдь съ этимъ можно очень далеко зайти. Вѣдь съ этимъ, пожалуй, можно оправдать политику Метерниха изъ высшихъ и *реальныхъ* государственныхъ цѣлей. Да и практическія-ли только выгоды, текущіе-ли только барыши составляютъ настоящую выгоду націи, а потому и „высшую" ея политику, въ противуположность всей этой „шиллеровщинѣ" чувствъ, идеаловъ и проч.? Тутъ, вѣдь, вопросъ. Напротивъ, не лучшая-ли политика для *великой* націи именно эта политика чести, великодушія и справедливости, даже повидимому и въ ущербъ ея интересамъ (а на дѣлѣ никогда не въ ущербъ)? Неужели нашъ историкъ не зналъ, что вотъ эти-то великія и честныя идеи (а не одинъ барышъ и шерсти клокъ) и торжествуютъ, наконецъ, въ народахъ и націяхъ, не смотря на всю, казалось бы, смѣшную непрактичность этихъ идей и на весь ихъ идеализмъ, столь унизительный въ глазахъ дипломатовъ и Метерниховъ, и что политика чести и безкорыстія есть не только высшая, но, можетъ быть, и самая *выгодная* политика для великой націи, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и безпрерывнаго бросанія себя туда, гдѣ повыгоднѣе, гдѣ понасущнѣе, изобличаетъ мелочь, внутреннее безсиліе государства, горькое положеніе. Дипломатическій умъ, умъ практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тѣмъ, что всегда торжествовали. А если не кончали тѣмъ, то кончатъ тѣмъ, потому что такъ того, неизмѣнно и вѣчно, хотѣли и хотятъ люди. Когда уничтожалась торговля неграми, развѣ не было глубокихъ и высокоумныхъ возраженій что это „уничтоженіе" непрактично, что оно повредитъ самымъ насущнымъ и необходимѣйшимъ интересамъ народовъ и государствъ? Доходили до того, что торговлю неграми выставляли даже нравственно-необходимымъ дѣломъ, оправдывали ее естественнымъ различіемъ племенъ и заключали, что негръ почти не человѣкъ... Когда Сѣверо-Американскія колоніи Англіи взбунтовались противъ нея, не кричали-ли въ практической Англіи столько лѣтъ сряду, что освобожденіе колоній отъ автономіи Англіи будетъ гибелью англійскихъ интересовъ, потрясеніемъ, бѣдой. Когда у насъ освобождали крестьянъ, не раздавались-ли и у насъ такіе же крики по мѣстамъ, не говорили-ли „глубокіе и практическіе умы",

что государство вступаетъ на дурную дорогу, невѣдомую и ужасную, на потрясеніе всей державы и что не такова должна быть политика высшая, наблюдающая интересы реальные, а не основанные лишь на модныхъ экономическихъ соображеніяхъ и теоріяхъ, опытомъ не провѣренныхъ, да на „чувствительности“. Да чего далеко идти! вотъ передъ нами славянскій вопросъ: вотъ бы намъ бросить теперь славянъ совсѣмъ! Хотя Грановскій и настаиваетъ на томъ, что мы хотимъ славянами только усилиться и дѣйствуемъ только для нашей практической выгоды, но, помоему, онъ и тутъ обмолвился. Ну, какая съ ними практическая выгода, даже въ будущемъ-то и чѣмъ тутъ усилишься? Средиземное-то море когда нибудь, или Константинополь, „котораго намъ никогда не дадутъ“? Такъ вѣдь это только журавль въ небѣ, да хоть и поймать его, такъ еще больше хлопотъ наживемъ. На 1000 лѣтъ наживемъ. Это-ли благоденствіе, это-ли взглядъ мудреца, это-ли настоящій практическій интересъ? Съ славянами только возня и хлопоты; особенно теперь, когда они еще не наши. Изъ-за нихъ на насъ уже сто лѣтъ косится Европа, а теперь и не косится только, а—при малѣйшемъ нашемъ шевеленіи, тотчасъ-же выхватываетъ мечъ и наводитъ на насъ пушку. Просто—бросить ихъ, да и навсегда, чтобъ успокоить разъ навсегда Европу. Да и не просто бросить ихъ: Европа-то пожалуй и не повѣритъ теперь, что мы бросили, стало-быть, бросить надо съ доказательствами: надо намъ же самимъ наброситься на славянъ и передавить ихъ побратски, чтобъ поддержать Турцію: „Вотъ-де, милые братцы славяне, государство не частное лицо, ему нельзя изъ великодушія жертвовать своими интересами, а вы и не знали этого“?—И сколько выгодъ, практическихъ, настоящихъ и уже немедленныхъ выгодъ, а не мечтательныхъ какихъ-то въ будущемъ, получила-бы тотчасъ Россія! Тотчасъ-же бы кончился восточный вопросъ, Европа возвратила-бы намъ хоть на время свою довѣренность, а вслѣдствіе того военный нашъ бюджетъ убавляется, нашъ кредитъ возстановляется, нашъ рубль входитъ въ свою настоящую цѣну,—да это-ли только: вѣдь журавль-то никуда не улетитъ, онъ все летать будетъ! Теперь-то мы покривимъ, переждемъ: „государство не частное лицо, ему нельзя жертвовать своими интересами“,—ну, а современемъ... Что-жъ, вѣдь ужъ если суждено славянамъ не обойтись безъ насъ, то они сами примкнутъ къ намъ, когда прійдетъ время, вотъ мы тогда къ нимъ и опять примажемся съ любовью и братствомъ“. А впрочемъ, Грановскій именно это-то и находитъ въ нашей политикѣ. Онъ именно увѣряетъ, что наша политика только и дѣлала, что весь послѣдній вѣкъ давила славянъ, „доносила на нихъ и выдавала ихъ туркамъ“, что славянская политика наша и всегда была политикой захвата и насилія, да и не могло быть иначе. (То есть, и должна была быть такою? Вѣдь оправдываетъ же онъ другихъ за такую политику, вотъ бы и насъ оправдать). Но такъ-ли это, неужто, въ самомъ дѣлѣ, такова была наша всегдашняя политика въ славянскомъ вопросѣ, и неужто она и теперь даже не выяснилась,—вотъ вопросъ!

—

II.

Постыдно-ли быть идеалистомъ?

Грановскій былъ, конечно, самолюбивъ, но самолюбіе, и даже иногда раздраженное, мнѣ кажется, должно было быть и у всѣхъ тогдашнихъ нашихъ способныхъ людей,—именно по неимѣнію дѣла, по невозможности пріискать себѣ дѣло, такъ сказать изъ тоски по дѣлу. Доходило до того, что и имѣвшіе, казалось бы, занятіе (иной профессоръ, напримѣръ, литераторъ, поэтъ, даже великій поэтъ) мало цѣнили свою профессію, и не по одному только стѣсненію, въ которомъ видѣли себя и свою профессію, а и потому еще, что почти каждый изъ нихъ былъ наклоненъ предполагать въ себѣ зачатки другаго дѣла, болѣе, по его понятіямъ, высшаго, болѣе полезнаго, болѣе гражданскаго, чѣмъ то, которымъ онъ занимался. Раздраженность самолюбія въ лучшихъ передовыхъ и способныхъ нашихъ людяхъ (иныхъ, разумѣется) поразительна и теперь, и все отъ той же причины. (Впрочемъ, я объ однихъ только способныхъ и даровитыхъ людяхъ и говорю, а о безобразномъ, непозволительно-раздраженномъ самомнѣніи и тщеславіи столь многихъ бездарныхъ и пустыхъ современныхъ „дѣятелей", воображающихъ себя геніями, я пока пропускаю, хотя это явленіе, именно въ настоящее время, очень бьетъ въ глаза). Эта тоска по дѣлу, это вѣчное исканіе дѣла, происходящее единственно отъ нашего двухвѣковаго бездѣлья, дошедшаго до того, что мы теперь не умѣемъ даже и подойти къ дѣлу, мало того—даже узнать, гдѣ дѣло, и въ чемъ оно состоитъ,—страшно раздражаетъ у насъ людей. Является самомнѣніе, иногда даже неприличное, судя по нравственной высотѣ лица, дѣлаетъ его чуть не смѣшнымъ; но все это именно потому, что этотъ высокій нравственный человѣкъ самъ иногда не въ силахъ опредѣлить себя, своихъ силъ и значенія, узнать, такъ сказать, свой собственный удѣльный вѣсъ и настоящую свою стоимость на практикѣ, на дѣлѣ. Узнавъ это, онъ, какъ высокоодухотворенный человѣкъ, конечно, не почелъ бы для себя низостью сознаться въ томъ, въ чемъ онъ чувствуетъ себя неспособнымъ; въ настоящую же пору онъ обидчивъ и въ раздражительности берется часто не за свое дѣло. Статья Грановскаго, повторяю, написана очень умно, хотя есть и политическія ошибки, подтвердившіяся потомъ въ Европѣ фактами,—и ужь, конечно, ихъ можно бы было указать; но я не объ этихъ ошибкахъ хочу говорить, да и не берусь судить въ этомъ Грановскаго. Меня поразила лишь, въ этотъ разъ, чрезвычайная раздражительность статьи. О, не самолюбію его приписываю я ея раздражительность и не на извѣстную тенденціозность статьи *нападаю* я: я слишкомъ понимаю „злобу дня", отразившуюся въ этомъ сочиненіи, чувство гражданина, скорбь гражданина. Есть, наконецъ, моменты, когда и справедливѣйшій человѣкъ не можетъ быть безпристрастнымъ... (увы, Грановскій не дожилъ до освобожденія крестьянъ и даже не воображалъ этого тогда и въ мечтахъ своихъ!) нѣтъ, не на это я нападаю, но зачѣмъ же онъ такъ презрительно, въ этомъ „восточномъ вопросѣ" взглянулъ на народъ и не отдалъ ему должнаго? Участія народа, мысли народной онъ не хочетъ замѣчать въ этомъ дѣлѣ вовсе. Онъ положительно утверждаетъ, что народъ,

въ дѣлѣ славянъ и въ тогдашнюю войну, не имѣлъ никакого мнѣнія вовсе, а только чувствовалъ тяготу повинностей и наборовъ. Повидимому, и не долженъ имѣть мнѣнія,—Грановскій пишетъ:

„Прежде всего надо устранить мысль, что эта война (т. е. 53—54 и 55 годовъ)—священная; правительство старалось увѣрить народъ, что оно идетъ на защиту правъ единовѣрцевъ и христіанской церкви. Защитники православія и славянской народности *съ радостью подняли это знамя*, и проповѣдывали крестовый походъ противъ мусульманъ. *Но вѣкъ крестовыхъ походовъ прошелъ; въ наше время никто не подвинется на защиту гроба Господня,* (и на защиту славянъ тоже?) *никто не смотритъ на магометанъ какъ на вѣчныхъ враговъ христіанства*; ключи Виѳлеемскаго храма служатъ только предлогомъ для достиженія цѣлей политическихъ (въ другомъ мѣстѣ прямо говорится это и на счетъ славянъ)". Конечно, и мы готовы согласиться, что русская политика въ славянскомъ вопросѣ, въ это послѣднее столѣтіе, можетъ и бывала порою не безупречна; моментами она могла бывать слишкомъ ужъ сдержанною и осторожною и потому, на иной нетерпѣливый взглядъ, казалась неискреннею. Можетъ быть и бывала излишняя боязнь за текущіе интересы, двусмысліе, вслѣдствіе иныхъ внѣшнихъ дипломатическихъ внушеній, полумѣры, пріостановки, но въ сущности, въ цѣломъ, врядъ-ли политика Россіи хлопотала *только* объ одномъ лишь захватѣ славянъ подъ свою власть, объ умноженіи тѣмъ своей силы и политическаго значенія. Нѣтъ, конечно, это было не такъ и въ *сущности* своей политика наша, даже во весь петербургскій періодъ нашей исторіи, врядъ-ли рознилась въ славянскомъ т. е. Восточномъ вопросѣ отъ древнѣйшихъ историческихъ завѣтовъ и преданій нашихъ и воззрѣнія народнаго. И правительство наше всегда твердо знало, что чуть народъ нашъ заслышитъ призывъ его въ этомъ дѣлѣ, то всегда отзовется на него всецѣло, а потому Восточный вопросъ, въ высшей сущности своей, всегда былъ у насъ народнымъ вопросомъ. Но Грановскій не признаетъ этого вовсе. О, Грановскій глубоко любилъ народъ! Въ статьѣ своей онъ скорбитъ и плачетъ о страданіяхъ его въ войну и о тягостяхъ, имъ вынесенныхъ. Да такіе люди какъ Грановскій развѣ могутъ не любить народа? Въ этомъ состраданіи, въ этой любви выказалась вся прекрасная душа его, но въ то же время высказался невольно и взглядъ на народъ нашъ заклятаго западника, готоваго всегда признать въ народѣ прекрасные зачатки, но лишь въ „пассивномъ видѣ" и на степени „замкнутаго идиллическаго быта", а объ настоящей и возможной дѣятельности народа — „лучше ужъ и не говорить". Для него народъ нашъ, даже во всякомъ случаѣ, лишь косная и безгласная масса,—и что же: мы всѣ почти, вѣдь тогда ему и повѣрили. Вотъ почему я и не смѣю „нападать" на Грановскаго и обличаю лишь время, а не его. Статья эта ходила тогда по рукамъ и имѣла вліяніе... То-то и есть, что меня всего болѣе поразила параллель этой замѣчательной статьи и замѣчательнаго взгляда ея съ настоящей, теперешней нашей минутой. Нѣтъ, теперь даже западникъ Грановскій могъ бы изумиться, а пожалуй и *повѣрить*. Эти добровольныя жертвы и приношенія народныя для православныхъ славянъ, эти жертвы старооб-

рядцевъ, посылающихъ отъ обществъ своихъ санитарные отряды, эти жертвы артельныхъ рабочихъ изъ послѣднихъ грошей или цѣлыми деревнями, по мірскимъ приговорамъ, жертвы наконецъ солдатъ и матросовъ изъ ихъ жалованья, наконецъ — русскіе люди всѣхъ сословій, ѣдущіе сражаться за угнетенныхъ православныхъ братьевъ, проливать за нихъ кровь, — нѣтъ, это нѣчто уже обозначившееся и нельзя сказать чтобъ пассивное, нѣчто съ чѣмъ нельзя не считаться. Движеніе обозначилось и уже оспорить его нельзя. Дамы, знатныя барыни, ходятъ по улицамъ съ кружками, собирая милостыню на братьевъ славянъ и онъ важно и умилительно смотритъ на это совсѣмъ новое для него явленіе: „значитъ, всѣ опять собираются вмѣстѣ, значитъ—не всегда же рознь, значитъ мы всѣ такіе же христіане“, — вотъ что непремѣнно чувствуетъ народъ, а можетъ уже и думаетъ. И ужъ конечно, до него доходятъ и свѣдѣнія: онъ слушаетъ газеты и самъ уже начинаетъ читать ихъ. И ужъ конечно слышалъ, да и въ церкви молился за упокой души Николая Алексѣевича Кирѣева, положившаго жизнь свою за народное дѣло и, кто знаетъ, можетъ быть сложитъ объ этой смерти и жертвѣ свою народную пѣсню—

И хоть падетъ, но будетъ живъ
Въ сердцахъ и памяти народной
И онъ, и пламенный порывъ
Души прекрасной и свободной;
Славна кончина за народъ!

Да, это была „кончина за народъ“, и не за одинъ лишь славянскій народъ, а и за дѣло всеобщее, православное и русское дѣло, и народъ всегда это хорошо пойметъ. Нѣтъ, народъ нашъ не матерьялистъ и не развращенъ еще духомъ настолько, чтобъ думать объ однѣхъ только насущныхъ выгодахъ и о положительномъ интересѣ. Онъ радъ духовно если предстанетъ великая цѣль и приметъ ее какъ хлѣбъ духовный. И неужели народъ, теперь, въ настоящую минуту, не знаетъ и не смекаетъ, что дальнѣйшее развитіе этого „дѣла о славянахъ“ можетъ даже и намъ грозить войной, зажечь войну? Вѣдь тогда ему опять, какъ и въ восточную войну, двадцать лѣтъ назадъ, выпадутъ на долю повинности и тяготы; взгляните же на него теперь: боится ли онъ чего нибудь? Нѣтъ, въ народѣ нашемъ видно побольше духовныхъ и дѣятельныхъ силъ, чѣмъ предполагаютъ о немъ иные его „знатоки“. Предоставилъ бы лучше Грановскій взглядъ этотъ другимъ, вотъ тому самому множеству этихъ нашихъ „знатоковъ народа“ и даже, пожалуй, инымъ нашимъ писателямъ о народѣ, которые такъ и остались, во весь свой вѣкъ, лишь обучившимися русскому мужику иностранцами.

Повторю въ заключеніе: у насъ идеалистъ часто забываетъ что идеализмъ есть дѣло вовсе не стыдное. У идеалиста и реалиста, если только они честны и великодушны, одна и та же сущность — любовь къ человѣчеству и одинъ и тотъ же объектъ — человѣкъ, только лишь однѣ *формы* представленія объекта различныя. Стыдиться своего идеализма нечего: это тотъ же путь и къ той же цѣли. Такъ что идеализмъ, въ сущности, точно также реаленъ, какъ и реализмъ, и никогда не можетъ изчезнуть изъ міра. Не Грановскимъ стыдиться что они являются именно затѣмъ, чтобъ проповѣдывать „прекрасное и высокое“. А если устыдятся ужь и Грановскіе, и, убоясь насмѣшливыхъ и

высокомѣрныхъ мудрецовъ Ареопага, примкнутъ чуть не къ Меттерниху, то кто-же будутъ тогда нашими пророками? И не *историку бы Грановскому* не знать, что народамъ дороже всего—имѣть идеалы и сохранить ихъ, и что иная святая идея, какъ бы ни казалась вначалѣ слабою, непрактичною, идеальною и смѣшною въ глазахъ мудрецовъ, но всегда найдется такой членъ Ареопага и „женщина именемъ Ѳамарь", которые еще изначала повѣрятъ проповѣднику и примкнутъ къ свѣтлому дѣлу, не боясь разрыва съ своими мудрецами. И вотъ маленькая, несовременная и непрактическая „смѣшная идейка" растетъ и множится и подъ конецъ побѣждаетъ міръ, а мудрецы Ареопага умолкаютъ.

III.

Нѣмцы и трудъ. Непостижимые фокусы. Объ остроуміи.

Эмсъ—мѣсто блестящее и модное. Сюда съѣзжаются со всего свѣта больные преимущественно грудью „катаррами дыхательныхъ путей" и весьма успѣшно лечатся у его источниковъ. Перебываетъ въ лѣто до 14-ти и до 15 тысячь посѣтителей, все, конечно людей богатыхъ или ужъ по крайней мѣрѣ такихъ, которые въ состояніи не отказать себѣ въ заботѣ о собственномъ здоровьѣ. Но есть и бѣдные, которые тоже *приходятъ* сюда полѣчиться. Ихъ перебываетъ до сотни человѣкъ и можетъ быть, что и не приходятъ, а пріѣзжаютъ. Меня очень заинтересовали *четвертые* классы, устроенные на нѣмецкихъ желѣзныхъ дорогахъ, не знаю только на всѣхъ ли? Во время одной остановки въ пути, я попросилъ кондуктора (всѣ почти кондукторы на нѣмецкихъ желѣзныхъ дорогахъ не только очень распорядительны, но и внимательны и любезны къ пассажиру) растолковать мнѣ что это за четвертый классъ. Онъ показалъ мнѣ пустой вагонъ, т. е. безъ всякихъ скамеекъ и въ которомъ были только стѣны и полъ. Оказывалось, что пассажиры должны стоять.

— Можетъ быть, на полъ садятся?

— О да, конечно, кто какъ хочетъ.

— А сколько мѣстъ полагается на вагонъ?

— Двадцать пять мѣстъ.

Прикинувъ мысленно размѣръ этого пустаго вагона на двадцать пять человѣкъ, я заключилъ что они непремѣнно должны стоять, да еще плечомъ къ плечу; такимъ образомъ, въ случаѣ, еслибъ впрямь набилось двадцать пять человѣкъ, т. е. полный комплектъ, ни одинъ изъ нихъ не могъ бы сѣсть никакъ, несмотря на „кто какъ хочетъ". Поклажу свою, разумѣется, долженъ держать въ рукахъ; впрочемъ, у нихъ вѣдь узелки какіе нибудь.

— Да, но за то здѣсь цѣны ровно наполовину менѣе противъ третьяго класса, а это уже чрезвычайное благодѣяніе для бѣднаго.

Ну, это дѣйствительно чего нибудь да стоитъ. И такъ, эти „бѣдные", прибывающіе въ Эмсъ, не только лечатся, но и содержатся на счетъ... вотъ ужь этого и не знаю—на чей счетъ. Только что вы пріѣзжаете въ Эмсъ и занимаете квартиру въ отели (а въ Эмсѣ всѣ дома-отели), къ вамъ на второй, на третій день, непремѣнно явятся, одинъ вслѣдъ за другимъ, два сбирателя пожертвованій съ книжками,—люди вида смиреннаго и терпѣливаго, но и при нѣкоторомъ собственномъ достоинствѣ. Одинъ изъ нихъ сбираетъ на содержаніе вотъ этихъ самыхъ бѣд-

ныхъ-больныхъ. Къ книжкѣ приложено печатное приглашеніе эмскихъ докторовъ эмскимъ паціентамъ — вспомнить о бѣдныхъ. Вы даете посильную жертву и вписываете ваше имя. Я пересмотрѣлъ книгу и пожертвованія поразили меня своею скудостью: одна марка, полмарки, рѣдко три марки, ужасно рѣдко пять марокъ, а казалось бы, здѣсь не очень-то надоѣдаютъ публикѣ просьбами о пожертвованіяхъ: кромѣ этихъ двухъ „сбирателей", нѣтъ никакихъ другихъ. Въ то время, когда вы жертвуете и вписываетесь въ книгу, чиновникъ (буду ужь называть его чиновникомъ) смиренно стоитъ у васъ посреди комнаты.

— А много вы набираете во весь сезонъ? спросилъ я.

— До тысячи талеровъ, мейнъ геръ, а между тѣмъ это слишкомъ малая сумма сравнительно съ тѣмъ, что требуется: ихъ много, ихъ до ста человѣкъ, и мы ихъ совершенно содержимъ, лечимъ, поимъ и кормимъ и помѣщеніе даемъ.

Дѣйствительно маловато; тысяча талеровъ это три тысячи марокъ; если перебываетъ публики до 14 тысячь человѣкъ, то—по скольку же придется жертвы на каждаго? Стало быть, есть и такіе, которые совсѣмъ не жертвуютъ, отказываются и выгоняютъ собирателя (и есть и именно *выгоняютъ*, я это узналъ впослѣдствіи). Между тѣмъ, публика блестящая, чрезвычайно даже блестящая. Выйдите когда пьютъ воды, или на музыку и посмотрите эту толпу.

Кстати, я читалъ еще весной въ нашихъ газетахъ, что мы, русскіе, очень мало пожертвовали для возставшихъ славянъ (это, конечно, было высказано еще до теперешнихъ пожертвованій) и что, сравнительно съ нами, въ Европѣ, всѣ пожертвовали гораздо болѣе, не говоря уже объ Австріи, которая одна пожертвовала множество (?) милліоновъ гульденовъ на содержаніе несчастныхъ семействъ повстанцевъ, десятками тысячь перебравшихся на ея территорію; что въ Англіи, напримѣръ, пожертвовали несравненно болѣе нашего и даже во Франціи и въ Италіи. Но, воля ваша, я не вѣрю громадности этихъ европейскихъ пожертвованій на славянъ. Про Англію много говорили, но любопытно бы, однако, узнать настоящую цифру ея пожертвованій, которая, кажется, еще никому въ точности неизвѣстна. Что же до Австріи, съ самаго начала возстанія уже имѣвшей въ виду пріобрѣтеніе части Босніи (объ которомъ теперь уже заходитъ въ дипломатическомъ мірѣ рѣчь), то жертвовала она стало быть, не безкорыстно, а въ виду будущаго своего интереса, и жертва ея была вовсе не общественная, а— просто за просто, казенная. Но и тутъ „множество" милліоновъ гульденовъ, кажется, можно бы подвергнуть сомнѣнію. Жертвы были, или, лучше сказать, ассигнованы деньги были, но велика ли была эта помощь на самомъ дѣлѣ,—это обозначится развѣ лишь въ будущемъ.

Другой чиновникъ, т. е. эмскій сборщикъ пожертвованій, неуклонно являющійся вслѣдъ за первымъ, сбираетъ на „bloedige kinder", т. е., на маленькихъ дѣтей-идіотовъ. Это здѣшнее заведеніе. Ужь разумѣется этихъ идіотовъ доставляетъ въ это заведеніе не одинъ только Эмсъ, да и неприлично было бы такому маленькому городку народить столько идіотовъ. На заведеніе это ассигнована казенная сумма, но, видно, приходится прибѣгать и къ пожертвованіямъ. Блестящій че-

ловѣкъ или великолѣпная дама вылечиваются, получаютъ здоровье, благодаря именно здѣшнимъ источникамъ, и—не то что въ благодарность къ мѣсту, но хоть на память, оставляютъ двѣ-три марки на бѣдныхъ, брошенныхъ, несчастныхъ маленькихъ существъ. Въ этой второй книгѣ пожертвованій тоже—марка, двѣ марки, иногда, страшно рѣдко, мелькаетъ даже 10 марокъ. Сбираетъ этотъ второй чиновникъ въ сезонъ до 1,500 талеровъ: „но прежде было лучше, прежде больше давали", прибавилъ онъ съ горестію. Въ этой книгѣ бросилось мнѣ въ глаза одно пожертвованіе, такъ сказать, какъ бы, съ направленіемъ: 5 пфениговъ ($1^1/_2$ копѣйки серебр.). Это напомнило мнѣ пожертвованіе одного русскаго статскаго совѣтника, вписанное въ книгу въ Пятигорскѣ, на памятникъ Лермонтову: онъ пожертвовалъ *одну копѣйку серебр.* и подписалъ свое имя. Съ годъ тому это передавали въ газетахъ, но имени жертвователя не объявили, и, по моему, совершенно напрасно: вѣдь онъ самъ подписалъ свое имя публично и можетъ быть именно мечтая о славѣ. Но статскій совѣтникъ имѣлъ, очевидно, въ виду выказать свою умственную силу, взглядъ, направленіе, онъ протестовалъ противъ искусства, противъ ничтожности поэзіи въ нашъ вѣкъ „реализма", пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ, т. е. противъ всего того, на что возстаетъ обыкновенно и всякая либеральная (а вѣрнѣй—съ чужаго голоса либеральствующая) обшмыга третьяго разряда. Но этотъ-то, другой-то, здѣшній-то bloedige, что хотѣлъ выразить своими пятью пфенигами? Ужь и не понимаю къ чему тутъ приложить направленіе. Bloedige kinder—это маленькія несчастныя существа, выброски изъ бѣднѣйшихъ семействъ,—чего ужь бы тутъ-то острить? „И если напоите бѣднаго хоть единымъ стаканомъ воды, то и то зачтется вамъ въ царствіи небесномъ". А впрочемъ, что-жъ я: стаканъ воды въ Эмсѣ ужь, конечно, не стоитъ болѣе пяти пфениговъ, даже ни въ какомъ случаѣ, а стало быть и за пять пфениговъ можно въ рай попасть. Именно разсчиталъ minimum расхода на рай: „къ чему давать лишнее"? Просто дитя вѣка; нынче, дескать, никого не надуешь.

Съ самаго перваго моего пріѣзда въ Эмсъ, т. е. еще третьяго года, и съ самаго перваго дня, меня заинтересовало одно обстоятельство—и вотъ продолжаетъ интересовать въ каждый мой пріѣздъ. Два самые общеупотребительные источника въ Эмсѣ, несмотря на нѣсколько другихъ—это Кренхенъ и Кессельбруненъ. Надъ источниками выстроенъ домъ и самые источники отгорожены отъ публики баллюстрадой. За этой баллюстрадой стоитъ нѣсколько дѣвушекъ, по три у каждаго источника—привѣтливыхъ, молодыхъ и чисто одѣтыхъ. Вы имъ подаете вашъ стаканъ и онѣ тотчасъ же вамъ наливаютъ воду. Въ опредѣленные два часа, положенные на утреннее питье, у этихъ баллюстрадъ перебываютъ тысячи больныхъ; каждый больной выпиваетъ въ теченіи этихъ двухъ часовъ по нѣскольку стакановъ, по два, по три, по четыре—сколько ему предписано; тоже и во время вечерняго питья. Такимъ образомъ, каждая изъ этихъ трехъ дѣвушекъ нальетъ и раздастъ, въ эти два часа, чрезвычайное множество стакановъ. Но мало того, что это дѣлается совершенно въ порядкѣ,

не суетливо, спокойно, методически и васъ ниразу не задержать — удивительнѣе всего то, что каждая изъ этихъ дѣвицъ, помоему, обладаетъ какимъ-то чуть не сверхъестественнымъ соображеніемъ. Вы только одинъ разъ скажете ей, въ первый разъ по пріѣздѣ: „вотъ мой стаканъ, мнѣ столько-то унцій кренхена и столько-то унцій молока“ — и она уже во весь мѣсяцъ леченія ниразу не ошибется. Кромѣ того, она уже васъ знаетъ наизусть и различаетъ въ толпѣ. Толпа тѣснится густо, въ нѣсколько рядовъ, всѣ протягиваютъ стаканы; она беретъ ихъ по шести, по семи стакановъ заразъ, заразъ всѣ ихъ и наполняетъ въ какую нибудь четверть минуты и, не проливъ, не разбивъ, раздаетъ каждому безъ ошибки. Она сама протягиваетъ къ вамъ стаканъ и знаетъ, что изъ тысячи стакановъ — вотъ этотъ вашъ, а этотъ другаго, помнитъ наизусть, сколько вамъ унцій воды, сколько молока и сколько вамъ предписано выпить стакановъ. Никогда не случается ни малѣйшей ошибки; я къ этому присматривался и нарочно справлялся. И главное, — тутъ нѣсколько тысячь больныхъ. Очень можетъ быть, что все это самая обыкновенная вещь и нѣтъ ничего удивительнаго, но для меня, вотъ уже третій годъ, это почти непостижимо и я все еще смотрю на это, какъ на какой-то непостижимый фокусъ. И хоть и смѣшно всему удивляться, но эту задачу я положительно не могу разрѣшить. Повидимому, надо заключить о необыкновенной памяти и быстротѣ соображенія этихъ нѣмокъ, а, между тѣмъ, тутъ можетъ быть всего только привычка къ работѣ, усвоеніе работы съ самаго ранняго дѣтства и, такъ сказать, *побѣда надъ трудомъ.* Что касается собственно труда, то для присматривающагося русскаго тутъ тоже большое недоумѣніе. Живя мѣсяцъ въ отелѣ (т. е. собственно не въ отелѣ, тутъ всякій домъ отель, и большинство этихъ отелей, кромѣ нѣсколькихъ большихъ гостиницъ—просто квартиры съ прислугою и съ содержаніемъ по уговору), я просто дивился на служанку отеля. Въ томъ отелѣ, гдѣ я жилъ, было двѣнадцать квартиръ, всѣ занятыя, а въ иной и цѣлыя семейства. Всякій-то позвонитъ, всякій-то требуетъ, всѣмъ надо услужить, всѣмъ подать, взбѣжать множество разъ на день по лѣстницѣ—и на все это, во всемъ отелѣ, всей прислуги была одна только дѣвушка девятнадцати лѣтъ. Мало того, хозяйка держитъ ее же и на побѣгушкахъ по порученіямъ: за виномъ къ обѣду тому-то, въ аптеку другому, къ прачкѣ для третьяго, въ лавочку для самой хозяйки. У этой хозяйки-вдовы, было трое маленькихъ дѣтей, за ними надо было, все-таки, присмотрѣть, услужить имъ, одѣть поутру въ школу. Каждую субботу надо вымыть во всемъ домѣ полы, каждый день убрать каждую комнату, перемѣнить каждому постельное и столовое бѣлье и каждый разъ, послѣ каждаго выбывшаго жильца, немедленно вымыть и вычистить всю его квартиру, не дожидаясь субботы. Ложится спать эта дѣвушка въ половинѣ двѣнадцатаго ночи, а на утро хозяйка будитъ ее колокольчикомъ ровно въ пять часовъ. Все это буквально такъ, какъ я говорю, я не преувеличиваю нисколько. Прибавьте, что она служитъ за самую скромную плату, немыслимую у насъ въ Петербургѣ, и, сверхъ того, съ нея требуется, чтобъ одѣта была чисто. Замѣтьте, что въ ней нѣтъ ничего приниженнаго, заби-

таго: она весела, смѣла, здорова, имѣетъ чрезвычайно довольный видъ, при ненарушимомъ спокойствіи. Нѣтъ, у насъ такъ не работаютъ; у насъ ни одна служанка не пойдетъ на такую каторгу, даже за какую угодно плату, да, сверхъ того, не сдѣлаетъ такъ, а сто разъ забудетъ, прольетъ, не принесетъ, разобьетъ, ошибется, разсердится, „нагрубитъ", а тутъ въ цѣлый мѣсяцъ ни на что ровно нельзя было пожаловаться. Помоему, это удивительно — и я, въ качествѣ русскаго, ужь и не знаю: хвалить или хулить это? Я, впрочемъ, рискну и похвалю, хотя есть надъ чѣмъ и задуматься. Здѣсь каждый принялъ свое состояніе такъ, какъ оно есть, и на этомъ успокоился, не завидуя и не подозрѣвая, повидимому, еще ничего,—по крайней мѣрѣ, въ огромнѣйшемъ большинствѣ. Но трудъ, все-таки, прельщаетъ, трудъ установившійся, вѣками сложившійся, съ обозначившимся методомъ и пріемомъ, достающимися каждому чуть не со дня рожденія, а потому каждый умѣетъ подойти къ своему дѣлу и *овладѣть* имъ вполнѣ. Тутъ каждый свое дѣло знаетъ, хотя, впрочемъ, каждый только свое дѣло и знаетъ. Говорю это потому, что здѣсь всѣ такъ работаютъ, не однѣ служанки, а и хозяева ихъ.

Посмотрите на нѣмецкаго чиновника,—ну, вотъ хоть-бы почтамтскій чиновникъ. Всякій знаетъ, что такое чиновникъ русскій, изъ тѣхъ особенно, которые имѣютъ ежедневно дѣло съ публикою: это нѣчто сердитое и раздраженное, и если не высказывается иной разъ раздраженіе видимо, то затаенное, угадываемое по физіономіи. Это нѣчто высокомѣрное и гордое, какъ Юпитеръ. Особенно это наблюдается въ самой мелкой букашкѣ, вотъ изъ тѣхъ, которыя сидятъ и даютъ публикѣ справки, принимаютъ отъ васъ деньги и выдаютъ билеты и проч. Посмотрите на него, вотъ онъ занятъ дѣломъ, „при дѣлѣ": Публика толпится, составился хвостъ, каждый жаждетъ получить свою справку, отвѣтъ, квитанцію, взять билетъ. И вотъ онъ на васъ не обращаетъ никакого вниманія. Вы добились, наконецъ, вашей очереди, вы стоите, вы говорите—онъ васъ не слушаетъ, онъ не глядитъ на васъ, онъ обернулъ голову и разговариваетъ съ сзади сидящимъ чиновникомъ, онъ взялъ бумагу и съ чѣмъ то справляется, хотя вы совершенно готовы подозрѣвать, что онъ это только такъ, и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать и—вотъ онъ встаетъ и уходитъ. И вдругъ бьютъ часы и присутствіе закрывается—убирайся, публика! Сравнительно съ нѣмецкимъ, у насъ чиновникъ несравненно меньше часовъ сидитъ во дню за дѣломъ. Грубость, невнимательность, пренебреженіе, *враждебность* къ публикѣ, потому только, что она публика, и главное — мелочное Юпитерство. Ему непремѣнно нужно выказать вамъ, что вы отъ него зависите: „Вотъ, дескать, я какой, ничего-то вы мнѣ здѣсь за баллюстрадой не сдѣлаете, а я съ вами могу все, что хочу, а разсердитесь,—сторожа позову и васъ выведутъ". Ему нужно кому-то отмстить за какую-то обиду, отмстить вамъ за свое ничтожество. Здѣсь, въ Эмсѣ, въ почтамтѣ сидятъ обыкновенно два, много три чиновника. Бываютъ мѣсяцы, во время сезона (іюнь, іюль, напримѣръ) въ которые столпятся пріѣзжіе тысячами, можно представить какая переписка и какая почтамту работа. За исключеніемъ какихъ нибудь

двухъ часовъ на обѣдъ и проч., они заняты сплошь весь день. Надобно принять почту, отправить ее, тысяча человѣкъ приходитъ спрашивать poste restante или объ чемъ-нибудь справиться. Для каждаго-то онъ пересмотритъ цѣлые вороха писемъ, каждаго то выслушаетъ, каждому-то выдастъ справку, объясненіе — и все это терпѣливо, ласково, вѣжливо и въ тоже время съ сохраненіемъ достоинства. Онъ изъ мелкой букашки человѣкомъ становится, а не обращается изъ человѣка въ букашку... По пріѣздѣ въ Эмсъ, я долго не получалъ нетерпѣливо ожидаемаго мною письма—и каждый день справлялся въ poste restante. Въ одно утро, возвратясь съ питья водъ, нахожу письмо это у себя на столѣ. Оно только что пришло и чиновникъ, упомнившій мою фамилію, но не знавшій гдѣ я живу, нарочно справился о томъ въ печатномъ листѣ о пріѣзжихъ, въ которомъ обозначаются всѣ прибывшіе и гдѣ они остановились, и прислалъ мнѣ письмо экстренно, не смотря на то, что оно адресовано было poste restante (до востребованія) и все это единственно потому, что, наканунѣ, когда я справлялся, онъ замѣтилъ чрезвычайное мое безпокойство. Ну, кто изъ нашихъ чиновниковъ такъ сдѣлаетъ?

Что-же до остроты нѣмецкаго ума и нѣмецкой сообразительности, - пришедшихъ мнѣ на умъ именно по поводу нѣмецкаго труда и всего, что я сказалъ о немъ выше, то объ этомъ въ свѣтѣ существуетъ нѣсколько варьянтовъ. Французы, никогда и прежде не любившіе нѣмцевъ, постоянно находили и находятъ нѣмецкій умъ туговатымъ, но уже, разумѣется, не тупымъ. Они признаютъ въ нѣмецкомъ умѣ какую-то, какъ бы, наклонность всегда и во всемъ обойти прямое, и, напротивъ, всегдашнее желаніе прибѣгнуть къ чему нибудь посредствующему, изъ единичнаго сдѣлать нѣчто какъ бы двусложное, двухколѣнное. У насъ же, русскихъ, про туготу и тупость нѣмцевъ всегда ходило множество анекдотовъ, не смотря на все искреннее преклоненіе наше передъ ихъ ученостью. Но у нѣмцевъ, кажется мнѣ, лишь слишкомъ сильная своеобразность, слишкомъ ужь упорная, даже до надменности, національная характерность, которая и поражаетъ иной разъ до негодованія, а потому и доводитъ иногда до невѣрнаго о нихъ заключенія. Впрочемъ, въ общежитіи, и особенно на свѣжеприбывшаго въ Германію иностранца, нѣмецъ дѣйствительно производитъ вначалѣ иногда странное впечатлѣніе.

Дорогою изъ Берлина въ Эмсъ поѣздъ остановился у одной станціи на 4 минуты. Была ночь; я усталъ сидѣть въ вагонѣ и мнѣ захотѣлось хоть немного походить и выкурить на воздухѣ папиросу. Всѣ вагоны спали и въ цѣломъ длинномъ поѣздѣ никто, кромѣ меня, не вышелъ? Но раздается звонокъ и я вдругъ замѣчаю, что, по всегдашней моей разсѣянности, забылъ номеръ вагона, а выходя, самъ-же и затворилъ его. Оставалось, можетъ быть, нѣсколько секундъ, я уже хотѣлъ идти къ кондуктору, который былъ на другомъ концѣ поѣзда, какъ вдругъ слышу, что кто-то зоветъ изъ окна одного вагона: pst! pst! ну, думаю, вотъ и мой вагонъ! Дѣйствительно, нѣмцы, въ своихъ маленькихъ вагонныхъ купе, въ которыхъ помѣщается maximum по 8 человѣкъ, впродолженіе пути очень наблюдаютъ другъ за другомъ. Нѣмецъ, если остановка на большой станціи, гдѣ обѣдъ или

ужинъ, выходя самъ изъ вагона, непремѣнно позаботится разбудить заснувшаго сосѣда, чтобъ онъ потомъ не тужилъ, что проспалъ ужинъ, и проч. Я и подумалъ, что это одинъ изъ проснувшихся товарищей по вагону, который звалъ меня, замѣтивъ, что я потерялъ мое мѣсто. Я подошелъ, высунулось озабоченное нѣмецкое лицо.

— Vas suchen sie? (Что вы ищете?)

— Мой вагонъ. Я не съ вами сижу? Это мой вагонъ?

— Нѣтъ, здѣсь не вашъ вагонъ и вы не здѣсь сидите. Но гдѣ-же вашъ вагонъ?

— Да то-то и есть, что я его потерялъ!

— И я не знаю, гдѣ вашъ вагонъ.

И только въ самую послѣднюю, можно сказать, секунду явившійся кондукторъ указалъ мнѣ мой вагонъ. Спрашивается, для чего-же звалъ и распрашивалъ меня тотъ нѣмецъ? Но поживя въ Германіи вы скоро убѣждаетесь, что и всякій нѣмецъ точно такой-же и точно также поступитъ.

Лѣтъ десять назадъ я пріѣхалъ въ Дрезденъ—и на другой же день, выйдя изъ отеля, прямо отправился въ картинную галлерею. Дорогу я не спросилъ: Дрезденская картинная галлерея такая замѣчательная вещь въ цѣломъ мірѣ, что ужь навѣрно каждый встрѣчный дрезденецъ, образованнаго класса, укажетъ дорогу, подумалъ я. И вотъ, пройдя улицу, я останавливаю одного нѣмца, весьма серьезной и образованной наружности.

— Позвольте узнать, гдѣ здѣсь картинная галлерея?

— Картинная галлерея? остановился, соображая, нѣмецъ.

— Да.

— Ко-ро-левская картинная галлерея? (Онъ особенно ударилъ на слово: королевская).

— Да.

— Я не знаю, гдѣ эта галлерея.

— Но... здѣсь развѣ есть еще какая нибудь другая галлерея?

— О, нѣтъ, нѣту никакой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Русскій или французскій языкъ?

Какая бездна русскихъ на всѣхъ этихъ нѣмецкихъ водахъ, тѣмъ болѣе на модныхъ, какъ въ Эмсѣ. Вообще, русскіе очень любятъ лечиться. Даже у Вундерфрау, въ лечебницѣ близь Мюнхена, гдѣ нѣтъ, впрочемъ, водъ, главный контингентъ больныхъ, какъ разсказываютъ, добывается изъ Россіи. Къ этой фрау ѣздятъ, впрочемъ, все болѣе лица солидныя и, такъ сказать, генеральскія, предварительно высылая ей изъ Петербурга свои пузыри и выпрашивая себѣ, еще съ зимы, мѣсто въ ея заведеніи. Женщина эта грозная и строптивая. Въ Эмсѣ же вы различаете русскихъ, разумѣется, прежде всего по говору, т. е. по тому русскому-французскому говору, который

свойственъ только одной Россіи, и который даже иностранцевъ началъ уже повергать въ изумленіе. Я говорю: „уже началъ“, но доселѣ намъ за это слышались лишь однѣ похвалы. Я знаю, скажутъ, что ужасно старо нападать на русскихъ за французскій языкъ, что и тема, и нравоученіе слишкомъ изношенныя. Но для меня вовсе не то удивительно, что русскіе между собою говорятъ не порусски (и даже было бы странно, еслибъ они говорили порусски), а то удивительно, что они воображаютъ, что хорошо говорятъ пофранцузски. Кто вбилъ намъ въ голову этотъ глупый предразсудокъ? Безо всякаго сомнѣнія, онъ держится лишь нашимъ невѣжествомъ. Русскіе, говорящіе пофранцузски (т. е. огромная масса интеллигентныхъ русскихъ), раздѣляются на два общіе разряда: на тѣхъ, которые уже безспорно плохо говорятъ пофранцузски, и на тѣхъ, которые воображаютъ про себя, что говорятъ какъ настоящіе парижане (все наше высшее общество), а, между тѣмъ, говорятъ такъ же безспорно плохо, какъ и первый разрядъ. Русскіе перваго разряда доходятъ до нелѣпостей. Я самъ, напримѣръ, встрѣтилъ въ одну уединенную вечернюю прогулку мою по берегу Лаппа, двухъ русскихъ—мужчину и даму, людей пожилыхъ и разговаривавшихъ съ самымъ озабоченнымъ видомъ о какомъ-то, повидимому, очень важномъ для нихъ семейномъ обстоятельствѣ, очень ихъ занимавшемъ и даже безпокоившемъ. Они говорили въ волненіи, но объяснялись пофранцузски и очень плохо, книжно, мертвыми, неуклюжими фразами и ужасно затрудняясь иногда выразить мысль или оттѣнокъ мысли, такъ что одинъ въ нетерпѣніи подсказывалъ другому. Они другъ другу подсказывали, но никакъ не могли догадаться взять и начать объясняться порусски; напротивъ, предпочли объясниться плохо и даже рискуя не быть понятными, но только чтобъ было пофранцузски. Это меня вдругъ поразило и показалось мнѣ неимовѣрною нелѣпостью, а, между тѣмъ, я встрѣчалъ это уже сто разъ въ жизни. Главное въ томъ, что тутъ навѣрно не бываетъ предпочтенія, — хоть я и сказалъ сейчасъ „предпочли говорить“,— или выбора языка: просто говорятъ на скверномъ французскомъ по привычкѣ и по обычаю, не ставя даже и вопроса, на какомъ языкѣ говорить удобнѣе. Отвратительно тоже въ этомъ неумѣломъ мертвомъ языкѣ это грубое, неумѣлое, мертвое тоже произношеніе. Русскій французскій языкъ втораго разряда, т. е., языкъ высшаго общества, отличается опять-таки прежде всего, произношеніемъ, т. е. дѣйствительно говоритъ какъ будто парижанинъ, а, между тѣмъ, это вовсе не такъ—и фальшь выдаетъ себя съ перваго звука, и прежде всего именно этой усиленной надорванной выдѣлкой произношенія, грубостью поддѣлки, усиленностью картавки и грассейемана, неприличіемъ произношенія буквы *р* и, наконецъ, въ нравственномъ отношеніи — тѣмъ нахальнымъ самодовольствомъ, съ которымъ они выговариваютъ эти картавыя буквы, тою дѣтскою хвастливостью не скрываемою даже и другъ отъ друга, съ которою они щеголяютъ одинъ передъ другимъ поддѣлкой подъ языкъ петербургскаго парикмахерскаго гарсона. Тутъ самодовольство всѣмъ этимъ лакействомъ отвратительно. Какъ хотите, хоть все это и старо, но это все продолжаетъ быть удивительнымъ, именно потому, что живые люди, въ цвѣтѣ здоровья и

силъ, рѣшаются говорить языкомъ тощимъ, чахлымъ, болѣзненнымъ. Разумѣется, они сами не понимаютъ всей дрянности и нищеты этого языка (т. е. не французскаго, а того, на которомъ они говорятъ) и, по неразвитости, короткости и скудости своихъ мыслей ужасно пока довольны тѣмъ матеріаломъ, который предпочли для выраженія этихъ коротенькихъ своихъ мыслей. Они не въ силахъ разсудить, что выродиться совершенно во французовъ имъ, все-таки, нельзя, если они родились и выросли въ Россіи, несмотря на то, что самыя первыя слова свои лепечутъ уже пофранцузски отъ боннъ, а потомъ практикуются отъ гувернеровъ и въ обществѣ; и что потому языкъ этотъ выходитъ у нихъ непремѣнно мертвый, а не живой, языкъ ненатуральный, а сдѣланный, языкъ фантастическій и сумашедшій,—именно потому, что такъ упорно принимается за настоящій, однимъ словомъ, языкъ совсѣмъ не французскій, потому что русскіе, какъ и никто, никогда не въ силахъ усвоить себѣ всѣхъ основныхъ родовыхъ стихій живаго французскаго языка, если только не родились совсѣмъ французами, а усвоиваютъ лишь прежде данный чужой жаргонъ, и много что парикмахерское нахальство фразы, а затѣмъ, пожалуй и мысли. Языкъ этотъ какъ бы краденый, а потому ни одинъ изъ русскихъ парижанъ не въ силахъ породить во всю жизнь свою на этомъ краденомъ языкѣ ни одного своего собственнаго выраженія, ни одного новаго оригинальнаго слова, которое бы могло быть подхвачено и пойти въ ходъ на улицу, что въ состояніи, однако, сдѣлать каждый парикмахерскій гарсонъ. Тургеневъ разсказываетъ въ одномъ своемъ романѣ анекдотъ, какъ одинъ изъ такихъ русскихъ, войдя въ Парижѣ въ Café de Paris, крикнулъ: „garçon, beftek aux pommes de terre“, а другой русскій, уже успѣвшій перенять, какъ заказываютъ бифштексъ по новому, пришелъ и крикнулъ: „garçon, beftek-pommes“. Русскій, крикнувшій по старому „aux pommes de terre“ былъ въ отчаяніи какъ это онъ не зналъ и пропустилъ это новое выраженіе — „beftek-pommes“—и въ страхѣ, что теперь, пожалуй, гарсоны могутъ посмотрѣть на него съ презрѣніемъ. Разсказъ этотъ очевидно взятъ авторомъ съ истиннаго происшествія. Ползая рабски передъ формами языка и передъ мнѣніемъ гарсоновъ, русскіе парижане естественно также рабы и передъ французскою мыслью. Такимъ образомъ сами осуждаютъ свои бѣдныя головы на печальный жребій не имѣть во всю жизнь ни одной своей мысли.

Да, разсужденія о вредѣ усвоенія чужаго языка, вмѣсто своего роднаго, съ самаго перваго дѣтства—безспорно смѣшная и старомодная тема, наивная до неприличія, но, мнѣ кажется, вовсе еще не до того износившаяся, чтобъ нельзя было попытаться сказать на эту тему и свое словцо. Да и нѣтъ такой старой темы, на которую нельзя бы было сказать что нибудь новое. Я, конечно, не претендую на *новое* (гдѣ мнѣ!), но рискну хоть для очистки совѣсти: все-таки, скажу. Мнѣ бы ужасно тоже хотѣлось какъ нибудь изложить мои аргументы по популярнѣе, въ надеждѣ, что какая нибудь маменька высшаго свѣта прочтетъ меня.

II.

На какомъ языкѣ говорить будущему столпу своей родины?

Я спросилъ бы маменьку такъ: знаетъ ли она, что такое языкъ и какъ она

представляетъ себѣ, для чего дано слово? Языкъ есть безспорно форма, тѣло, оболочка мысли (не объясняя уже, что такое мысль), такъ сказать, послѣднее и заключительное слово органическаго развитія. Отсюда ясно, что чѣмъ богаче тотъ матеріалъ, тѣ формы для мысли, которыя я усвоиваю себѣ для ихъ выраженія, тѣмъ буду я счастливѣе въ жизни, отчетнѣе и для себя и для другихъ, понятнѣе себѣ и другимъ, владычнѣе и побѣдительнѣе; тѣмъ скорѣе скажу себѣ то, что хочу сказать, тѣмъ глубже скажу это и тѣмъ глубже самъ пойму то, что хотѣлъ сказать, тѣмъ буду крѣпче и спокойнѣе духомъ — и ужь, конечно, тѣмъ буду умнѣе. Опять таки: знаетъ ли маменька, что человѣкъ, хоть и можетъ мыслить съ быстротою электричества, но никогда не мыслитъ съ такою быстротою, а все-таки несравненно медленнѣе, хотя и несравненно скорѣе, чѣмъ, напримѣръ, говоритъ. Отчего это? Оттого, что онъ, все-таки, мыслитъ непремѣнно на какомъ нибудь языкѣ. И дѣйствительно, мы можемъ не примѣчать, что мы мыслимъ на какомъ нибудь языкѣ, но это такъ, и если не мыслимъ словами, то есть, произнося слова хотя бы мысленно, то, все же, такъ сказать, мыслимъ „стихійной основной силой того языка", на которомъ предпочли мыслить, если возможно такъ выразиться. Понятно, что, чѣмъ гибче, чѣмъ богаче, чѣмъ многоразличнѣе мы усвоимъ себѣ тотъ языкъ, на которомъ предпочли мыслить, тѣмъ легче, тѣмъ многоразличнѣе и тѣмъ богаче выразимъ на немъ нашу мысль. Въ сущности, вѣдь, для чего мы учимся языкамъ европейскимъ, французскому, напримѣръ? Во-первыхъ, попросту, чтобъ читать пофранцузски, а во-вторыхъ, чтобъ говорить съ французами, когда столкнемся съ ними; но ужь отнюдь не между собой и не сами съ собой. На высшую жизнь, на глубину мысли, заимствованнаго, чужаго языка не достанетъ, именно потому, что онъ намъ, все-таки, будетъ оставаться чужимъ; для этого нуженъ языкъ родной, съ которымъ, такъ сказать, родятся. Но вотъ тутъ-то и запятая: русскіе, по крайней мѣрѣ высшихъ классовъ русскіе, въ большинствѣ своемъ, давнымъ давно ужь не родятся съ живымъ языкомъ, а только впослѣдствіи пріобрѣтаютъ какой-то искусственный, и русскій языкъ узнаютъ почти что въ школѣ, по грамматикѣ. О, разумѣется, при большомъ желаніи и прилежаніи, можно, наконецъ, перевоспитать себя, научиться даже до нѣкоторой степени и живому русскому языку родившись съ мертвымъ. Я зналъ одного русскаго писателя, составившаго себѣ имя, который не только русскому языку выучился, не зная его вовсе, но даже и мужику русскому обучился—и писалъ потомъ романы изъ крестьянскаго быта. Этотъ комическій случай повторялся у насъ нерѣдко, а иногда такъ даже въ весьма серьезныхъ размѣрахъ: великій Пушкинъ, по собственному своему признанію, тоже принужденъ былъ перевоспитать себя и обучался и языку и, духу народному, между прочимъ, у няни своей Арины Родіоновны. Выраженіе: *„обучиться языку"*, особенно идетъ къ намъ, русскимъ, потому что мы, высшій классъ, уже достаточно оторваны отъ народа, т. е., отъ живаго языка (языкъ—народъ, въ нашемъ языкѣ это синонимы, и какая въ этомъ богатая глубокая мысль!). Но скажутъ: ужь если пришлось „обучаться" живому языку, то, вѣдь, все равно, что русскому, что французскому,—но въ томъ-то и дѣло, что русскій языкъ русско-

му, все-таки, легче, несмотря ни на бонпъ, ни на обстановку, и этою легкостью непремѣнно, пока время есть, надо воспользоваться. Чтобъ усвоить себѣ этотъ русскій языкъ натуральнѣе, безъ особой надсадки и не по одной только наукѣ (подъ наукой я, конечно, не одну школьную грамматику здѣсь разумѣю), надо непремѣнно еще съ дѣтства перенимать его отъ русскихъ нянекъ, по примѣру Арины Родіоновны, не боясь того, что она сообщитъ ребенку разные предразсудки—о трехъ китахъ, напримѣръ, (Господи! Ну, какъ киты-то у него на всю жизнь останутся!); сверхъ того, не бояться простонародья и даже слугъ, отъ которыхъ такъ предостерегаютъ родителей иные дѣятели. Затѣмъ уже въ школѣ непремѣнно заучивать наизустъ памятники нашего слова, съ нашихъ древнихъ временъ—изъ лѣтописей, изъ былинъ и даже съ церковно-славянскаго языка, — и именно наизустъ, не взирая даже на ретроградство заучиванія наизустъ. Усвоивъ себѣ, такимъ образомъ, родной языкъ, т. е., языкъ, на которомъ мы мыслимъ, по возможности, т. е. хоть на столько хорошо, чтобъ хоть походило на что нибудь живое, и пріучивъ себя непремѣнно на этомъ языкѣ мыслить, мы тѣмъ самымъ извлечемъ тогда пользу изъ нашей оригинальной русской способности европейскаго языкознанія и многоязычія. Въ самомъ дѣлѣ, только лишь усвоивъ въ возможномъ совершенствѣ первоначальный матеріалъ, т. е. родной языкъ, мы въ состояніи будемъ въ возможномъ же совершенствѣ усвоить и языкъ иностранный, но не прежде. Изъ иностраннаго языка мы невидимо возьмемъ тогда нѣсколько чуждыхъ нашему языку формъ и согласимъ ихъ, тоже невидимо и невольно, съ формами нашей мысли — и тѣмъ расширимъ ее. Существуетъ одинъ знаменательный фактъ: мы, на нашемъ еще неустроенномъ и молодомъ языкѣ, можемъ передавать глубочайшія формы духа и мысли европейскихъ языковъ: европейскіе поэты и мыслители всѣ переводимы и передаваемы порусски, а иные переведены уже въ совершенствѣ. Между тѣмъ, на европейскіе языки, преимущественно на французскій, чрезвычайно много изъ русскаго народнаго языка и изъ художественныхъ литературныхъ нашихъ произведеній до сихъ поръ совершенно непереводимо и непередаваемо. Я не могу безъ смѣха вспомнить одинъ переводъ (теперь очень рѣдкій) Гоголя на французскій языкъ, сдѣланный въ срединѣ 40-хъ годовъ, въ Петербургѣ, г-мъ Віардо, мужемъ извѣстной пѣвицы, въ сообществѣ съ однимъ русскимъ, теперь по праву знаменитымъ, но тогда еще лишь начинавшимъ молодымъ писателемъ. Вышла просто какая-то галиматья, вмѣсто Гоголя. Пушкинъ тоже во многомъ непереводимъ. Я думаю, еслибъ перевесть такую вещь, какъ сказаніе протопопа Аввакума, то вышла бы тоже галиматья, или, лучше сказать, ровно ничего бы не вышло. Почему это такъ? Вѣдь страшно сказать, что европейскій духъ, можетъ быть, не такъ многоразличенъ и болѣе замкнуто-своеобразенъ, чѣмъ нашъ, несмотря даже на то, что ужь несомнѣнно законченнѣе и отчетливѣе выразился, чѣмъ нашъ. Но если это страшно сказать, то, по крайней мѣрѣ, нельзя не признать, съ надеждой и съ веселіемъ духа, что нашего-то языка духъ—безспорно многоразличенъ, богатъ, всесторопенъ и всеобъемлющъ, ибо въ неустроенныхъ еще формахъ своихъ,

а уже могъ передать драгоцѣнности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуемъ, что переданы онѣ точно и вѣрно. И вотъ этакого „матеріала“ мы сами лишаемъ своихъ дѣтей,—для чего? Чтобъ сдѣлать ихъ несчастными, безспорно. Мы презираемъ этотъ матеріалъ, считаемъ грубымъ подкопытнымъ языкомъ, на которомъ неприлично выразить великосвѣтское чувство или великосвѣтскую мысль.

Кстати, ровно пять лѣтъ назадъ произошла у насъ такъ называемая классическая реформа обученія. Математика и два древніе языка, латинскій и греческій, признаны наиболѣе развивающимъ средствомъ, умственнымъ и даже духовнымъ. Не мы признали это и не мы это выдумали: это фактъ и фактъ безспорный, выжитый на опытѣ всею Европою въ продолженіе вѣковъ, а нами только перенятый. Но вотъ въ чемъ дѣло: рядомъ съ страшно усиленнымъ преподаваніемъ этихъ двухъ древнихъ великихъ языковъ и математики, почти совсѣмъ подавлено у насъ преподаваніе языка русскаго. Спрашивается: какъ, какимъ средствомъ и черезъ какой матерьялъ наши дѣти усвоятъ себѣ формы этихъ двухъ древнихъ языковъ, если русскій языкъ въ упадкѣ. Неужели только одинъ механизмъ преподаванія этихъ двухъ языковъ (да еще учителями чехами) и составляетъ всю развивающую ихъ силу. Да и съ механизмомъ нельзя справиться, не ведя въ параллель самое усиленное и углубленное преподаваніе *живаго* языка. Вся нравственно-развивающая сила этихъ двухъ древнихъ языковъ, этихъ двухъ наиболѣе законченныхъ формъ человѣческой мысли и уже поднявшихъ, вѣками, весь бывшій варварскій Западъ до высочайшей степени развитія и цивилизаціи, — вся эта сила, естественно, минуетъ нашу новую школу, именно изъ за упадка въ ней русскаго языка. Или, можетъ быть, реформаторы наши считали, что русскому языку у насъ не надо учиться вовсе, кромѣ развѣ того, гдѣ ставить букву *ѣ*, потому что съ нимъ родятся? Но то-то и есть, что мы, въ высшихъ классахъ общества, уже перестаемъ родиться съ живымъ русскимъ языкомъ—и давно уже. Живой же языкъ явится у насъ не раньше, какъ когда мы совсѣмъ соединимся съ народомъ. Но я увлекся, вѣдь я заговорилъ было съ маменькой, а перешелъ на классическую реформу и на соединеніе съ народомъ.

Маменькѣ, конечно, скучно все это слушать; маменька въ негодованіи махаетъ ручкой и съ насмѣшкой отвертывается. Маменькѣ все равно, на какомъ-бы языкѣ сынокъ ни мыслилъ, а коль на Парижскомъ, такъ тѣмъ даже лучше: „и изящнѣе, и умнѣе, и больше вкуса“. Но она даже и того не знаетъ что для этого нужно переродиться во француза совсѣмъ, а съ боннами и гувернерами этого счастья, все-таки, никакъ не достигнешь, а сдѣлаешь развѣ лишь одну первую станцію по этой дорогѣ, т. е., перестанешь быть русскимъ. О, маменька не знаетъ, какимъ ядомъ она отравляетъ свое дѣтище еще съ двухлѣтняго возраста, приглашая къ нему бонну. Всякая мать и всякій отецъ знаютъ, напримѣръ, объ одной ужасной дѣтской физической привычкѣ, начинающейся у иныхъ несчастныхъ дѣтей чуть-ли еще не съ десятилѣтняго возраста, и, при недосмотрѣ за ними, могущей переродить ихъ иногда въ идіотовъ, въ дряблыхъ, хилыхъ стариковъ еще въ юношествѣ. Прямо осмѣлюсь сказать, что бонна, т. е., французскій языкъ съ

перваго дѣтства, съ перваго дѣтскаго лепета, есть все равно — въ нравственномъ смыслѣ, что та ужасная привычка въ физическомъ. Хорошо еще, если онъ отъ природы глупъ или благонадежно-ограниченъ; тогда онъ проживетъ свою жизнь и на французскомъ языкѣ, шутя, съ коротенькими идейками и съ парикмахерскимъ развитіемъ, а умретъ, совсѣмъ не замѣтивъ, что всю жизнь былъ дуракомъ. Но что, если это человѣкъ со способностями, человѣкъ съ мыслью въ головѣ и съ порывами великодушія въ сердцѣ, — развѣ онъ можетъ быть счастливъ? Не владѣя матерьяломъ, чтобъ организовать на немъ всю глубину своей мысли и своихъ душевныхъ запросовъ, владѣя всю жизнь языкомъ мертвымъ, болѣзненнымъ, краденымъ, съ формами робкими, заученными, для него не раздвигающимися и грубыми,—онъ будетъ вѣчно томиться безпрерывнымъ усиліемъ и надрывомъ, умственнымъ и нравственнымъ, при выраженіи себя и души своей; (Господи, да неужели такъ трудно понять, что это языкъ неживой и ненатуральный!) Онъ самъ замѣтитъ съ мученіемъ, что мысль его коротка, легковѣсна, цинична — цинична именно по своей короткости, вслѣдствіе ничтожныхъ, мелочныхъ формъ, въ которыя всю жизнь облечена была; замѣтитъ, наконецъ, что даже и сердце его развратно. Развратъ придетъ и отъ тоски. О, конечно, карьера его не пострадаетъ: всѣ эти—родящіеся съ боннами, предназначаются своими маменьками непремѣнно въ будущіе столпы своей родины и имѣютъ претензію думать, что безъ нихъ нельзя обойтись. Онъ будетъ блистать, повелѣвать и „подгонять"; будетъ вводить порядки и съумѣетъ распорядиться, — однимъ словомъ, очень даже часто будетъ собою доволенъ, особенно, когда будетъ говорить длинныя рѣчи чужими мыслями и чужими фразами и въ которыхъ будетъ plus de noblesse, que de sincerité. А, между тѣмъ, если онъ чуть-чуть человѣкъ, то въ цѣломъ онъ будетъ несчастенъ. Онъ будетъ вѣчно тосковать какъ-бы отъ какого-то безсилія, именно, какъ тѣ старцы—юноши, страдающіе преждевременнымъ истощеніемъ силъ отъ скверной привычки. Но, увы, какая маменька повѣритъ мнѣ, что всѣ эти бѣдствія могутъ произойти отъ французскаго языка и отъ бонны! Предчувствую, что и не одна маменька скажетъ мнѣ, что я преувеличилъ; а, между тѣмъ, въ строгомъ смыслѣ, я сказалъ правду безъ преувеличенія. Возразятъ, напротивъ, что тѣмъ даже и лучше, что живешь на чужомъ языкѣ, что тѣмъ проживешь легче, легковѣснѣе, пріятнѣе, и что вотъ именно этихъ вопросовъ и запросовъ жизни и надо избѣгать, и что всему этому именно способствуетъ французскій языкъ, не какъ французскій языкъ, а какъ чужой языкъ, усвоенный вмѣсто роднаго. Какъ? Этотъ блестящій молодой человѣкъ, этотъ салонный очарователь и бонмотистъ будетъ несчастенъ? Онъ такъ одѣтъ, такъ причесанъ, такъ здоровъ, съ такимъ аристократическимъ цвѣтомъ лица и съ такой прелестной розой въ бутоньеркѣ? Маменька надменно усмѣхается. А, между тѣмъ, и безъ того уже (т. е. и безъ французскаго воспитанія) интеллигентный русскій, даже и теперь еще, въ огромномъ числѣ экземпляровъ—есть ничто иное, какъ умственный пролетарій, нѣчто безъ земли подъ собою, безъ почвы и начала, международный межеумокъ, носимый всѣми вѣтрами Европы. А ужъ этотъ-то прошедшій черезъ боннъ и

гувернеровъ, даже въ самыхъ лучшихъ случаяхъ, даже если онъ объ чемъ нибудь и мыслитъ и что нибудь чувствуетъ—въ сущности, все-таки, не болѣе, какъ превосходно гаптированный молодой человѣкъ, можетъ быть уже проглотившій нѣсколько модныхъ увражей, но умъ котораго, бродитъ въ вѣчныхъ тенебрахъ, а сердце жаждетъ однихъ аржановъ. Столпомъ своей родины онъ будетъ, конечно, ему-ли не дослужиться—ну, вотъ маменькѣ пока и довольно; но вѣдь только маменькѣ!...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Что на водахъ помогаетъ: воды или хорошій тонъ?

Эмсъ я описывать не буду; къ тому же, на русскомъ языкѣ существуютъ подробнѣйшія описанія Эмса, напримѣръ, книжка доктора Гиршгорна „Эмсъ и его цѣлебные источники", изданная въ Петербургѣ. Тамъ все можно почерпнуть, начиная съ медицинскихъ свѣдѣній объ источникахъ до самыхъ мельчайшихъ подробностей объ жизни въ отеляхъ, объ гигіенѣ, прогулкахъ, мѣстоположеніи и даже о публикѣ Эмса. Что до меня, то я и не умѣю этого описывать и еслибъ заставили меня теперь, когда уже я пріѣхалъ домой, то я прежде всего припомнилъ бы яркое солнце, дѣйствительно живописное ущелье Таунуса, въ которомъ расположился Эмсъ, огромную нарядную толпу со всего свѣта и—глубокое, глубочайшее уединеніе мое въ этой толпѣ. И, однако-жь, несмотря на уединеніе, я даже люблю этакую толпу, конечно особеннымъ образомъ. Въ толпѣ этой я нашелъ даже одного знакомаго, русскаго, вотъ того самого *парадоксалиста*, который когда-то, давно уже, отстаивалъ въ спорѣ со мной войну и находилъ въ ней всѣ правды и истины, какихъ нельзя найти въ современномъ обществѣ (смотри апрѣльскій № „Дневника"). Я уже объявилъ, что это самого смиреннаго и статскаго вида человѣкъ. Всѣмъ извѣстно, что мы, русскіе, или, лучше сказать, мы, петербуржцы, такъ сложили свою жизнь, что видимся и ведемъ дѣла подчасъ Богъ знаетъ съ кѣмъ, а друзей нашихъ хоть и не забываемъ (развѣ можетъ петербуржецъ что-нибудь или кого-нибудь забыть), но преспокойно не видимся съ ними иногда даже по цѣлымъ годамъ. Пріятель мой тоже что-то пилъ въ Эмсѣ. Лѣтъ ему примѣрно сорокъ пять отъ роду, можетъ быть меньше.

— Это вы правы, сказалъ онъ мнѣ. Эту здѣшнюю толпу какъ-то любишь и даже не знаешь за что. Да и вездѣ какъ-то любишь толпу, разумѣется фешенебельную, сливки. Можно не якшаться ни съ кѣмъ изъ всего этого общества, но въ цѣломъ—вѣдь ничего пока лучшаго на свѣтѣ нѣтъ.

— Ну, полноте...

— Я съ вами не спорю, не спорю, согласился онъ поскорѣй. Когда наста-

нетъ на землѣ лучшее общество—и человѣкъ согласится жить, такъ сказать, разумнѣе, то мы на это теперешнее общество и посмотрѣть не захотимъ и помянуть даже не захотимъ, развѣ только два слова во всемірной исторіи. Но теперь то, что вы, вмѣсто него, можете представить лучшаго?

— Неужели же нельзя и теперь ничего представить лучше этой праздной толпы обезпеченныхъ людей, людей, которые, еслибъ не толкались теперь на водахъ, то навѣрно не знали бы что дѣлать и какъ изломать свой день. Хорошія отдѣльныя личности—это такъ, это еще можно найти и въ этой толпѣ, но въ цѣломъ—въ цѣломъ она не стоитъ не только какихъ нибудь особыхъ похвалъ, но даже особаго вниманія!...

— Вы говорите это какъ глубокій человѣко-ненавистникъ, или просто по модѣ. Вы говорите: „не знали бы, что дѣлать и какъ изломать свой день"!... Повѣрьте, что у каждаго изъ нихъ есть свое дѣло и даже такое, изъ-за котораго онъ уже изломалъ всю свою жизнь, а не только день. Не виноватъ же каждый изъ нихъ, что не можетъ сдѣлать изъ жизни рая, а потому и страдаетъ. Вотъ мнѣ и нравится глядѣть какъ всѣ эти страдальцы здѣсь смѣются.

— Смѣются изъ приличія?

— Смѣются изъ обычая, который ихъ всѣхъ ломитъ и заставляетъ принимать участіе въ игрѣ въ рай, пожалуй, если хотите такъ назвать. Онъ не вѣритъ раю, онъ играетъ въ эту игру скрѣпя сердце, но все же играетъ, а тѣмъ развлекается. Обычай-то ужъ слишкомъ силенъ. Тутъ есть такіе, которые этотъ обычай даже совсѣмъ за серьезную вещь приняли—и тѣмъ лучше для нихъ, конечно: они уже въ настоящемъ раю. Если вы ихъ всѣхъ любите, (а вы ихъ должны любить)—то должны радоваться, что имъ есть возможность отдохнуть и забыться, ну, хоть въ миражѣ.

— Да вы смѣетесь? И зачѣмъ я долженъ любить ихъ?

— Да вѣдь это человѣчество, другаго вѣдь и не бываетъ, а какже не любить человѣчества. Въ послѣднее десятилѣтіе нельзя не любить человѣчества. Здѣсь есть одна русская дама, которая очень любитъ человѣчество. И совсѣмъ я не смѣюсь. И, чтобъ не продолжать на эту тему, я вамъ прямо скажу взаключеніе, что всякое общество хорошаго тона, вотъ этакая—вотъ фешенебельная толпа, имѣетъ въ себѣ даже нѣкоторыя положительныя достоинства. Напримѣръ: всякое фешенебельное общество уже тѣмъ хорошо, что оно, хоть каррикатурно, а соприкасается съ природой больше, чѣмъ всякое иное, напримѣръ, даже земледѣльческое, которое въ большинствѣ своемъ вездѣ пока живетъ совсѣмъ неестественно. Я ужъ не говорю про фабрики, про войска, про школы, про университеты: все это верхъ неестественности. Эти же всѣхъ свободнѣе, потому что всѣхъ богаче, а потому, по крайней мѣрѣ, могутъ жить какъ хотятъ. О, разумѣется, они соприкасаются съ природой лишь насколько позволяютъ приличіе и хорошій тонъ. Раздвинуться, раствориться, раскрыться навстрѣчу природѣ совершенно, навстрѣчу вотъ этому золотому солнечному лучу, который свѣтитъ на насъ, грѣшныхъ, съ голубаго неба, безъ разбора: стоимъ ли мы того или нѣтъ,—безъ сомнѣнія, неприлично въ той мѣрѣ, въ какой хотѣлось бы теперь намъ обоимъ или тамъ какому нибудь поэту; маленькій стальной замочекъ

хорошаго тона попрежнему виситъ надъ каждымъ сердцемъ и надъ каждымъ умомъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя не согласиться, что хорошій тонъ, всетаки, ступилъ хоть маленькій шажокъ по дорогѣ соприкосновенія съ природой не только въ наше столѣтіе, но даже въ наше поколѣніе. Я наблюдалъ и прямо вывожу, что въ нашъ вѣкъ чѣмъ дальше, тѣмъ больше понимаютъ и соглашаются, что соприкосновеніе съ природой есть самое послѣднее слово всякаго прогресса, науки, разсудка, здраваго смысла, вкуса и отличной манеры. Войдите и погрузитесь въ эту толпу: на лицахъ радость, веселіе. Всѣ говорятъ одинъ съ другимъ кротко, т. е., необыкновенно вѣжливо, всѣ ласковы и необыкновенно веселы. Подумаешь, все счастье этого молодца съ розой въ бутоньеркѣ—развеселить вотъ эту пятидесятилѣтнюю толстую барыню. Въ самомъ дѣлѣ, что заставляетъ его около нея стараться? Неужели онъ и впрямь желаетъ ей счастья и веселья? Конечно нѣтъ и навѣрно его заставляютъ стараться какія нибудь особыя и слишкомъ частныя причины, до которыхъ намъ съ вами нѣтъ дѣла; но вѣдь вотъ что главное: его можетъ и въ силахъ заставить къ тому и одинъ лишь хорошій тонъ, безъ всякихъ особенныхъ и частныхъ причинъ,—а это ужь чрезвычайно важный результатъ; это показываетъ, до чего можетъ осилить въ нашъ вѣкъ хорошій тонъ иную даже дикую природу инаго молодца. Поэзія выводитъ Байроновъ, а тѣ Корсаровъ, Гарольдовъ, Ларъ,—но посмотрите, какъ мало прошло времени съ ихъ появленія, а ужъ всѣ эти лица забракованы хорошимъ тономъ, признаны за самое дурное общество, а ужъ тѣмъ паче нашъ Печоринъ или Кавказскій Плѣнникъ: тѣ оказались ужъ вполнѣ дурнаго тона; это петербургскіе чиновники, одну минуту имѣвшіе успѣхъ. А почему забракованы? Потому что эти лица истинно злы, нетерпѣливы и хлопочутъ о себѣ однихъ откровенно, такъ что нарушаютъ гармонію хорошаго тона, который изъ всѣхъ силъ долженъ дѣлать видъ, что всякій живетъ для всѣхъ, а всѣ для каждаго. Смотрите, вотъ несутъ цвѣты, это букеты дамамъ и отдѣльныя розы для бутоньерокъ кавалерамъ; вы только посмотрите, какъ обработаны эти розы, какъ подобраны, какъ обрызганы водой! Никогда дѣва полей не подберетъ и не подстрижетъ ничего изящнѣе для молодаго парня, котораго любитъ. А, межъ тѣмъ, эти розы принесены на продажу по пяти и по десяти нѣмецкихъ грошей за штуку и дѣва полей до нихъ не прикасалась вовсе. Золотой вѣкъ еще весь впереди, а теперь промышленность; но вамъ-то какое дѣло и не все ли равно: они рядятся, они прекрасны, и выходитъ дѣйствительно точно рай. Да и не все ли равно: „рай" или „точно рай"? А межъ тѣмъ вникните: сколько вкуса и какая вѣрная идея! ну, что можетъ больше идти къ питью водъ, т. е. къ надеждѣ выздоровѣть, къ здоровью, какъ не цвѣты? Цвѣты—это надежды. Сколько вкуса въ этой идеѣ. Вспомните текстъ: „Не заботьтесь во что одѣться, взгляните на цвѣты полевые, и Соломонъ во дни славы своей не одѣвался какъ они, кольми паче одѣнетъ васъ Богъ". Въ точности не упомню, но какія прекрасныя слова! Въ нихъ вся поэзія жизни, вся правда природы. Но пока правда природы наступитъ и люди въ простотѣ и въ веселіи сердца будутъ вѣнчать другъ друга цвѣтами искренней человѣческой любви,—все это теперь продается и по-

купается за пять грошей безъ любви. А не все ли вамъ, опять-таки говорю, равно? Помоему, даже удобнѣе, потому что, право, я вамъ скажу, отъ иной еще любви убѣжишь, ибо слишкомъ ужъ много благодарности потребуетъ, а тутъ выпулъ грошъ—и квитъ. А, межъ тѣмъ, дѣйствительно, получается подобіе золотаго вѣка—и если вы человѣкъ съ воображеніемъ, то вамъ и довольно. Нѣтъ, современное богатство должно быть поощряемо, хотя бы насчетъ другихъ. Оно даетъ роскошь и хорошій тонъ, чего никогда не дастъ мнѣ эта остальная толпа человѣчества. Здѣсь я имѣю изящную картину, которая меня веселитъ, а за веселье и всегда деньги платятъ. Веселье и радость всегда всего дороже стоили, а между тѣмъ я, нищій человѣкъ, ничего не платя, могу тоже участвовать во всеобщей радости тѣмъ, что, по крайней мѣрѣ, языкомъ пощелкаю. Посмотрите: раздается музыка, люди смѣются, дамы одѣты такъ, какъ ужъ, конечно, никто не одѣвался во дни Соломоновы,—и хоть все это миражъ, но вѣдь вамъ и мнѣ весело, и, наконецъ, по совѣсти, развѣ я порядочный человѣкъ? (Я про себя одного говорю)—но, благодаря водамъ, вотъ и я участвую, вмѣстѣ съ самыми, такъ сказать, сливками людей. И съ какимъ апетитомъ пойдете вы теперь пить вашъ сквернѣйшій нѣмецкій кофей! Вотъ что я называю положительной стороной хорошаго общества.

— Ну, это вы все смѣетесь, и очень даже не ново.

— Смѣюсь, а скажите, улучшился ли вашъ апетитъ съ тѣхъ поръ, какъ вы приходите сюда пить воды?

— О, конечно, чрезвычайно.

— Значитъ, положительная сторона хорошаго тона дотого сильна, что даже на желудокъ дѣйствуетъ?

— Помилуйте, да вѣдь это дѣйствіе водъ, а не хорошаго тона.

— И несомнѣнно хорошаго тона. Такъ что еще неизвѣстно, что главное на водахъ помогаетъ: воды или хорошій тонъ. Даже доктора здѣшніе сомнѣваются чему отдать преимущество, и вообще трудно и выразить какой огромный прогрессивный шагъ сдѣлала въ нашъ вѣкъ медицина: у нея теперь родились даже идеи, а прежде были одни лекарства.

II.

Одинъ изъ облагодѣтельствованныхъ современной женщиной.

Но я, конечно, не буду описывать всѣхъ нашихъ разговоровъ съ этимъ стараго покроя человѣкомъ. Я зналъ, впрочемъ, что самая щекотливая для него тема — это женщины. И вотъ, мы съ нимъ однажды разговорились о женщинахъ. Онъ замѣтилъ мнѣ что я очень ужь всматриваюсь.

— Это я всматриваюсь въ англичанокъ, и съ особой цѣлью. Я взялъ съ собой сюда въ дорогу двѣ брошюры: одну Грановскаго о Восточномъ вопросѣ, а другую—о женщинахъ. Въ этой брошюрѣ о женщинахъ есть нѣсколько прекраснѣйшихъ и самыхъ зрѣлыхъ мыслей. Но одна фраза, представьте себѣ, совсѣмъ меня сбила съ толку.— Авторъ вдругъ пишетъ:

> И однако же всему свѣту извѣстно, что такое англичанка. Это очень высокій типъ женской красоты и женскихъ душевныхъ качествъ, и съ этимъ типомъ не могутъ равняться наши русскія женщины...

Какъ? Я съ этимъ не согласенъ. Не-

ужели англичанка составляетъ ужь такой высокій типъ женщины, въ сравненіи съ нашими русскими женщинами? Я глубоко съ этимъ несогласенъ.

— Кто авторъ брошюры?

— Такъ какъ я не хвалилъ то, что можно въ брошюрѣ похвалить, то и выдернувъ эту единственную фразу автора, съ которой не могу согласиться, умолчу его имя.

— Должно быть, авторъ холостой человѣкъ и не успѣлъ еще узнать всѣхъ качествъ русской женщины.

— Хотя вы это сказали и изъ язвительности, но вы сказали правду о „качествахъ" русской женщины. Да, не русскому отрекаться отъ своихъ женщинъ. Чѣмъ наша женщина ниже какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившіеся идеалы нашихъ поэтовъ, начиная съ Татьяны, — на женщинъ Тургенева, Льва Толстаго, хотя ужь это одно большое доказательство: если ужь воплотились идеалы такой красоты въ искусствѣ, то откуда нибудь они взялись же, не сочинены же изъ ничего. Стало быть, такія женщины есть и въ дѣйствительности. Не стану тоже говорить, напримѣръ, о декабристкахъ, о тысячѣ другихъ примѣровъ, ставшихъ извѣстными. И намъ ли, знающимъ русскую дѣйствительность, не знать о тысячахъ женщинъ, не вѣдать о тысячахъ незримыхъ, никому невидимыхъ подвигахъ ихъ, и иногда въ какой обстановкѣ, въ какихъ темныхъ, ужасныхъ углахъ и трущобахъ, среди какихъ пороковъ и ужасовъ! Короче, я не буду защищать правъ русской женщины на высокое положеніе среди женщинъ всей Европы, но вотъ что только скажу: не правда ли, мнѣ кажется, долженъ существовать такой естественный законъ въ народахъ и національностяхъ, по которому каждый мужчина долженъ по преимуществу искать и любить женщинъ въ своемъ народѣ и въ своей національности? Если же мужчина начнетъ ставить женщинъ другихъ націй выше своихъ и прельщаться ими по преимуществу, то тогда наступитъ пора разложенія этого народа и шатанія этой національности. Ей Богу, у насъ уже начиналось нѣчто подобное въ этомъ родѣ, въ послѣдніе сто лѣтъ, именно пропорціонально разрыву нашему съ народомъ. Мы прельщались польками, француженками, даже нѣмками; теперь вотъ есть охотники ставить выше своихъ англичанокъ. Помоему, въ этомъ признакѣ ровно ничего нѣтъ утѣшительнаго. Тутъ двѣ точки: или духовный разрывъ съ національностью, или просто гаремный вкусъ. Надо воротиться къ своей женщинѣ, надо учиться своей женщинѣ, если мы разучились понимать ее...

— Я съ пріятностью готовъ согласиться съ вами во всемъ, хотя и не знаю, существуетъ ли такой законъ природы или національности. Но позвольте васъ спросить: почему вы подумали, что я, будто бы, съ язвительностью замѣтилъ, что авторъ брошюры, какъ холостой человѣкъ, должно быть не имѣлъ случая познакомиться со всѣми высшими качествами русской женщины? Тутъ ужь по тому одному не можетъ быть ни малѣйшей съ моей стороны язвительности, что самъ я, могу сказать, облагодѣтельствованъ русской женщиной. Да, каковъ я ни есть и каковъ бы я вамъ ни казался, я самъ былъ нѣкоторое время моей жизни женихомъ русской женщины. Эта дѣвица была, такъ сказать, даже

выше меня по положенію въ свѣтѣ, она была окружена искателями, она могла выбирать, и она...

— Предпочла васъ? Извините, я не зналъ...

— Нѣтъ, она не предпочла, а именно забраковала меня, но въ томъ-то и состояло все дѣло! Я вамъ откровенно скажу, пока я не былъ женихомъ, все было ничего, и я былъ счастливъ лишь тѣмъ, что могъ видѣть эту особу почти ежедневно. Даже осмѣлюсь замѣтить, впрочемъ совершенно вскользь, что, можетъ быть, я и не производилъ совершенно уже дурнаго впечатлѣнія. Прибавлю тоже, что дѣвица эта имѣла въ домѣ своемъ много свободы. И вотъ, однажды, въ одну чрезвычайно странную и ни на что не похожую (могу даже такъ сказать) минуту, она вдругъ даетъ мнѣ слово,— и вы не повѣрите, что со мной тогда сталось. Все это, конечно, было между нами въ секретѣ, но, когда я, огорошенный, воротился на мою квартиру, то мысль, что я буду владѣтелемъ и половиной такого блестящаго существа, просто придавила меня, какъ гирей. Я скользилъ взглядомъ по моей мебели, по всѣмъ дряннымъ моимъ холостымъ вещамъ и вещицамъ, для меня, однако-жъ, столь необходимымъ,—и я такъ стыдился и себя, и своего положенія въ свѣтѣ, и фигуры моей, и волосъ моихъ, и вещицъ моихъ, и ограниченности моего ума и сердца, что тысячу разъ готовъ былъ рѣшиться даже на проклятіе своего жребія, при мысли, что я, такой ничтожнѣйшій изъ людей, буду обладать такими неподходящими мнѣ сокровищами. Я вамъ къ тому это все обозначаю, чтобъ выразить одну довольно неизвѣстную сторону брачной истины, или, лучше сказать, чувство, которое, къ сожалѣнію, слишкомъ рѣдко кто ощущаетъ изъ жениховъ, а именно: чтобъ жениться, нужно имѣть чрезвычайно много въ запасѣ самой глупѣйшей надменности, знаете, этакой самой глупенькой, пошленькой гордости,—и все это при самомъ смѣшномъ тонѣ, къ которому деликатный человѣкъ не можетъ быть ни за что способенъ. Ну, какъ сравнить себя хоть одно мгновеніе съ такимъ существомъ, какъ свѣтская дѣвица, съ такимъ утонченнымъ совершенствомъ, начиная съ воспитанія, съ локоновъ, съ газоваго платья, съ танцевъ, съ невинности, съ простодушной, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, со свѣтской прелестью сужденій и чувствъ ея? И представить себѣ, что все это войдетъ въ мою квартиру, а я буду даже въ халатѣ, — вы смѣетесь? А, между тѣмъ, это ужасная мысль! И вотъ еще задача,—скажутъ вамъ: если вы боитесь такого совершенства и чувствуете себя для него непригоднымъ, то возьмите замарашку (т. е., во всякомъ случаѣ не нравственную замарашку). И что же, вѣдь, ни-ни: не соглашаешься даже съ негодованіемъ и ничего сбавлять не намѣренъ. Однимъ словомъ, я не буду вамъ описывать подробностей, все такія же. Напримѣръ, когда я легъ въ отчаяніи и безсиліи на мой диванъ (надо вамъ сказать, сквернѣйшій диванъ во всемъ мірѣ, съ толкучаго рынка и съ сломанной пружиной), то меня, между прочимъ, посѣтила одна ничтожненькая мысль: „Вотъ женюсь и будутъ, наконецъ, теперь постоянно ужь тряпочки, — ну, отъ выкроекъ, что ли, вытирать перья“. Ну, чего бы, кажется, обыкновеннѣе такого разсужденія и что въ немъ такого ужаснаго? Соображеніе это мелькнуло, безъ сомнѣнія, нечаянно, мимолетомъ, вы это сами

должны понимать, потому что Богъ знаетъ какія идеи способны иногда мелькнуть въ душѣ человѣческой, и даже въ ту минуту, когда эту душу тащутъ на гильотину. Помыслилъ же я такъ, вѣроятно, потому, что до первыхъ припадковъ не люблю оставлять стальныхъ перьевъ невытертыми, что дѣлаютъ, однако же, всѣ на свѣтѣ. И что же? Я горько упрекнулъ себя за эту мысль въ ту же минуту: въ виду такой огромности событія и предмета, мечтать о тряпочкахъ для перьевъ, находить время и мѣсто для такой низкой обыкновенной идеи, — „ну, чего-жь ты послѣ этого стоишь?“ Однимъ словомъ, я почувствовалъ, что вся моя жизнь пройдетъ теперь въ упрекахъ самому себѣ, за всякую мысль мою и за всякій поступокъ мой. И что же, когда она вдругъ объявила мнѣ, нѣсколько дней спустя, со смѣхомъ въ лицѣ, что она пошутила и выходитъ, напротивъ, замужъ за одного сановника, то я, я... А, впрочемъ, я тутъ вмѣсто радости, выказалъ такой испугъ, такое паденіе, что даже сама она испугалась и сама побѣжала за стаканомъ воды. Я оправился, но испугъ мой послужилъ мнѣ же на пользу: она поняла, какъ я любилъ ее, и... какъ цѣнилъ, какъ высоко цѣнилъ. „А я-то думала, сказала она потомъ, уже замужемъ, что вы такой гордый и ученый, и что вы меня ужасно будете презирать“. Съ тѣхъ поръ, я имѣю въ ней друга, и, повторяю, если кто былъ когда-либо облагодѣтельствованъ женщиной, или, лучше сказать, русской женщиной, то ужь это, конечно, я, и я этого никогда не забуду.

— Такъ, что вы стали другомъ этой особы?

— То есть, видите ли, въ высшей степени но мы видимся рѣдко, изъ года въ годъ, и даже рѣже. Русскіе друзья обыкновенно видятся въ пять лѣтъ по одному разу, а многіе чаще и не вынесли-бы. Спачала я не посѣщалъ ихъ, потому что положеніе въ свѣтѣ ея супруга было выше моего, теперь же, — теперь она столь несчастна, что мнѣ самому тяжело смотрѣть на нее. Вопервыхъ, мужъ ея старикъ шестидесяти двухъ лѣтъ, и черезъ годъ послѣ свадьбы угодилъ подъ судъ. Онъ долженъ былъ отдать, для пополненія казеннаго недочета, чуть не все свое состояніе, подъ судомъ лишился ногъ—и теперь его возятъ въ креслахъ въ Крейцнахѣ, гдѣ я видѣлъ ихъ обоихъ дней десять тому назадъ. Она, какъ возятъ кресло, постоянно идетъ подлѣ съ правой стороны и тѣмъ исполняетъ высокій долгъ современной женщины,—замѣтьте, все время и постоянно выслушивая его язвительнѣйшіе упреки. Мнѣ такъ тяжело стало смотрѣть на нее или лучше сказать, на нихъ обоихъ,—потому что я еще до сихъ поръ не знаю, кого больше жалѣть,—что я ихъ тотчасъ же тамъ и оставилъ, а самъ пріѣхалъ сюда. Я очень радъ, что не сказалъ вамъ ея фамиліи. Вдобавокъ же, имѣлъ несчастье даже въ этотъ короткій срокъ, разсердить ее и, кажется, окончательно, передавъ ей откровенно мой взглядъ на счастье и на обязанность русской женщины.

— О, конечно, вы не могли сыскать болѣе удобнаго случая.

— Вы критикуете? Но кто же бы ей это высказалъ? Мнѣ всегда, напротивъ, казалось, что величайшее счастье — это знать, по крайней мѣрѣ, отчего несчастливъ. И позвольте, такъ какъ ужь вышло къ слову, то я и вамъ

выскажу мой взглядъ на счастье и обязанность русской женщины; въ Крейцнахѣ я всего не договорилъ.

III.

Дѣтскіе секреты.

Но здѣсь я пока остановлюсь. Я только чтобы вывести лицо и познакомить его предварительно съ читателемъ. Да и хотѣлось бы мнѣ вывести его лишь какъ разскащика, а со взглядами его я не совсѣмъ согласенъ. Я уже объяснялъ, что это „парадоксалистъ". Взглядъ же его на „счастье и обязанность современной женщины", даже и не блистаетъ оригинальностью, хотя излагаетъ онъ его съ какимъ-то почти гнѣвомъ; подумаешь, что это у него самое больное мѣсто. Просто на просто, по его пониманію, женщина, чтобъ быть счастливою и исполнить всѣ свои обязанности, должна непремѣнно выдти замужъ и въ бракѣ народить какъ можно больше дѣтей, „не двухъ, не трехъ, а шестерыхъ, десятерыхъ, до изнеможенія, до безсилія". „Тогда только она соприкоснется съ живою жизнью и узнаетъ ее во всевозможныхъ проявленіяхъ".

— Помилуйте, не выходя изъ спальни!

— Напротивъ, напротивъ! Я предчувствую и знаю всѣ возраженія заранѣ. Я взвѣсилъ все: „университетъ, высшее образованіе и т. д. и т. д.". Но не говоря уже о томъ, что и изъ мужчинъ лишь десяти-тысячный становится ученымъ, я васъ серьезно спрошу: чѣмъ можетъ помѣшать университетъ браку и рожденію дѣтей? Напротивъ, университетъ непремѣнно долженъ наступить для всѣхъ женщинъ, и для будущихъ ученыхъ и для просто образованныхъ, но потомъ, послѣ университета, — „бракъ и роди дѣтей". Умнѣе какъ родить дѣтей ничего до сихъ поръ на свѣтѣ еще не придумано, а потому, чѣмъ больше запасешь для этого ума, тѣмъ лучше выйдетъ. Вѣдь это Чацкій, что-ли, провозгласилъ, что

....чтобъ имѣть дѣтей
Кому ума не доставало?

И провозгласилъ именно потому, что самъ-то онъ и былъ въ высшей степени необразованнымъ москвичемъ, всю жизнь свою только кричавшимъ объ европейскомъ образованіи съ чужаго голоса, такъ что даже завѣщанія не съумѣлъ написать, какъ оказалось впослѣдствіи, а оставилъ имѣніе неизвѣстному лицу „другу моему Сонечкѣ". Эта острота насчетъ „кому ума не доставало" тянулась пятьдесятъ лѣтъ именно потому, что и цѣлыхъ пятьдесятъ лѣтъ потомъ у насъ не было людей образованныхъ. Теперь, слава Богу, образованные люди начинаютъ и у насъ появляться и, повѣрьте, первымъ дѣломъ, поймутъ, что имѣть дѣтей и родить ихъ—есть самое главное и самое серьезное дѣло въ мірѣ, было и не переставало быть. „Кому не доставало ума, скажите пожалуста"? Да вотъ-же не достаетъ: современная женщина въ Европѣ перестаетъ родить. Про нашихъ я пока умолчу.

— Какъ перестаетъ родить, что вы?

Я долженъ включить мимоходомъ, что въ этомъ человѣкѣ есть одна самая неожиданная странность: онъ любитъ дѣтей, любитель дѣтей и именно маленькихъ, крошекъ, „еще въ ангельскомъ чинѣ". Онъ любитъ до того что бѣгаетъ за ними. Въ Эмсѣ онъ даже сталъ этимъ извѣстенъ. Всего болѣе любилъ онъ гулять въ аллеяхъ, куда выносятъ или выводятъ дѣтей. Онъ

знакомился съ ними, даже только съ годовалыми, и достигалъ того, что многіе изъ дѣтей узнавали его, ждали его, усмѣхались ему, протягивали ему ручки. Нѣмку-няньку онъ распроситъ непремѣнно сколько ребенку годковъ или мѣсяцевъ, расхвалитъ его, похвалитъ косвенно и няньку, чѣмъ ей польститъ. Однимъ словомъ, это въ немъ въ родѣ страсти. Онъ всегда былъ въ особенномъ восторгѣ, когда каждое утро на водахъ, въ аллеяхъ, среди публики, вдрухъ показывались цѣлыми толпами дѣти, идущіе въ школу, одѣтые, прибранные, съ бутербродами въ рукахъ и съ ранчиками за плечами. Надо признаться, что дѣйствительно эти толпы дѣтей были хороши, особенно четырехъ, пяти, шестилѣтнія, т. е. самыя маленькія.

— Tel que vous me voyez, я сегодня купилъ двѣ дудки, сообщилъ онъ мнѣ въ одно утро, съ чрезвычайно довольнымъ видомъ, — не этимъ, не школьникамъ—эти большіе, и я только что вчера имѣлъ удовольствіе познакомиться съ ихнимъ школьнымъ учителемъ: самый достойнѣйшій человѣкъ, какой только можетъ быть. Нѣтъ, это были два пузана, два брата, одинъ трехъ, а другой двухъ лѣтъ. Трехлѣтній водитъ двухлѣтняго, много ума-то у обоихъ; и оба остановились у палатки съ игрушками, разинувъ рты, въ этомъ глупомъ и прелестномъ дѣтскомъ восхищеніи, котораго прелестнѣе ничего въ мірѣ не выдумаешь. Торговка, нѣмка хитрая, сейчасъ смекнула какъ я смотрю—и мигомъ всучила имъ по дудкѣ: я долженъ былъ заплатить двѣ марки-съ. Восторгъ неописанный, ходятъ и дудятъ. Это было часъ тому, но я сейчасъ опять туда навѣдался — все дудятъ. Я вамъ какъ-то говорилъ, указывая на здѣшнее общество, что пока лучше его ничего еще не можетъ дать міръ. Я совралъ, а вы мнѣ повѣрили, не отрекайтесь, повѣрили. Напротивъ, вотъ гдѣ лучшее, вотъ гдѣ совершенство: эти толпы этихъ эмскихъ дѣтей, съ бутербродами въ рукахъ и съ ранчиками за плечами, идущихъ въ школы... Чтоже, солнце, Таунусъ, дѣти, смѣхъ дѣтей, бутерброды и изящная толпа всѣхъ милордовъ и маркизовъ въ мірѣ, любующаяся на этихъ дѣтей, — все вмѣстѣ это прелестно. Вы замѣтили, что толпа на нихъ каждый разъ любуется: это, все-таки, въ ней признаки вкуса и — порывъ серьезности. Но Эмсъ глупъ, Эмсъ не можетъ быть не глупъ, а потому онъ еще продолжаетъ родить дѣтей, но Парижъ — Парижъ ужь пріостановился.

— Какъ пріостановился?

— Въ Парижѣ есть такая огромная промышленность подъ названіемъ Articles de Paris, которая, вмѣстѣ съ шелкомъ, французскимъ виномъ и фруктами, помогла выплатить пять милліардовъ контрибуціи. Парижъ слишкомъ чтитъ эту промышленность и занимается ею до того, что забываетъ производить дѣтей. А за Парижемъ и вся Франція. Ежегодно министръ торжественно докладываетъ палатамъ о томъ, что „la population reste stationnaire“. Ребятишки, видите-ли, не рождаются, а и рождаются—такъ не стоятъ; за то, прибавляетъ министръ съ похвальбой, „старики у насъ стоятъ, старики, дескать, во Франціи долговѣчны. А по моему, хоть бы они передохли, старые ...., которыми Франція начиняетъ свои палаты. Есть чему радоваться—ихъ долговѣчности; песку, что-ли, сыплется мало?

— Я васъ, все-таки, не понимаю. Къ чему тутъ Articles de Paris?

— А дѣло просто. Впрочемъ, вы сами романистъ, а стало быть, можетъ и знаете одного безтолковѣйшаго и очень талантливаго французскаго писателя и идеалиста старой школы, Александра-Дюма-фиса? Но за этимъ Александромъ Дюма есть нѣсколько хорошихъ, такъ сказать, движеній. Онъ требуетъ, чтобъ французская женщина родила. Мало того: онъ прямо возвѣстилъ всѣмъ извѣстный секретъ, что женщины во Франціи, изъ достаточной буржуазіи, всѣ сплошь, родятъ подвое дѣтей; какъ-то такъ ухитряются съ своими мужьями, чтобъ родить только двухъ—и ни больше, ни меньше. Двухъ родятъ и забастуютъ. И всѣ уже такъ, и не хотятъ родить больше,—секретъ распространяется съ удивительною быстротою. Потомство уже получается и съ двумя, и, кромѣ того, имѣнія на двухъ останется больше, чѣмъ на шестерыхъ, это разъ. Ну, а во-вторыхъ, сама женщина сохраняется дольше: красота дольше тянется, здоровье, на выѣзды больше времени выгадывается, на наряды, на танцы. Ну, а насчетъ родительской любви,—нравственной стороны, то есть, вопроса, — такъ двухъ, дескать, еще больше любишь, чѣмъ шестерыхъ, а шестеро-то нашалятъ еще, пожалуй, надоѣдятъ, разобьютъ, возись съ ними!... по башмакамъ только однимъ сосчитать на нихъ, такъ сколько досады выйдетъ и т. д., и т. д. Но не въ томъ дѣло, что Дюма сердится, а въ томъ, что прямо рѣшился заявить о существованіи секрета: двухъ, дескать—и ни больше, ни меньше, да еще съ мужьями продолжаютъ жить брачно въ свое удовольствіе, словомъ, все спасено. Мальтусъ, столь боявшійся увеличенія населенія въ мірѣ, и не предположилъ бы даже въ фантазіи вотъ этакихъ средствъ. Что-жь, все это слишкомъ соблазнительно. Во Франціи, какъ извѣстно, страшное количество собственниковъ, буржуазіи городской и буржуазіи земельной: для нихъ это находка. Это ихъ изобрѣтеніе. Но находка перешагнетъ и за предѣлы Франціи. Пройдетъ еще какихъ-нибудь четверть вѣка и увидите, что даже глупый Эмсъ поумнѣетъ. Берлинъ, говорятъ, страшно ужъ поумнѣлъ въ этомъ же смыслѣ. Но хоть и уменьшаются дѣти, но все же министръ во Франціи не замѣтилъ бы этой разницы, если-бъ обошлось лишь одной буржуазіей, т. е., достаточнымъ классомъ и еслибъ не было въ этомъ дѣлѣ другаго конца. Другой конецъ—пролетаріи, восемь, десять, а пожалуй и всѣ двѣнадцать миліоновъ пролетаріевъ, людей некрещеныхъ и невѣнчанныхъ, живущихъ, вмѣсто брака, въ „разумныхъ ассоціаціяхъ", для „избѣжанія тираніи". Эти прямо вышвыриваютъ дѣтей на улицы. Родятся Гавроши, мрутъ, не стоятъ; а устоятъ, такъ наполняютъ воспитательные дома и тюрьмы для малолѣтнихъ преступниковъ. У Zola, такъ называемаго у насъ реалиста, есть одно очень мѣткое изображеніе современнаго французскаго рабочаго брака, то есть, брачнаго сожитія, въ романѣ его Le ventre de Paris. И замѣтьте: Гавроши ужъ не французы, но замѣчательнѣе всего, что и эти сверху, вотъ—которые родятся собственниками, подвое и въ секретѣ,—тоже вѣдь не французы. По крайней мѣрѣ я осмѣливаюсь утверждать это, такъ что два конца и двѣ противуположности сходятся. Вотъ ужь и первый результатъ: Франція начинаетъ переставать быть Франціей. (Ну возможно ли сказать, чтобъ эти 10 милліоновъ считали Францію за отече-

ство!) Я знаю, найдутся, что скажутъ, тѣмъ лучше: уничтожатся французы,— останутся люди. Но, вѣдь, люди-ли? Люди-то, положимъ, но это будущіе дикіе, которые проглотятъ Европу. Изъ нихъ изготовляется исподволь, но твердо и неуклонно, будущая безчувственная мразь. Что поколѣніе вырождается физически, безсилѣетъ, пакостится, помоему, нѣтъ уже никакого сомнѣнія. Ну, а физика тащитъ за собой и нравственность. Это плоды царства буржуазіи. Помоему, вся причина—земля, т. е. почва и современное распредѣленіе почвы въ собственность. Я вамъ это, такъ и быть, объясню.

IV.

Земля и дѣти.

— Земля все, продолжалъ мой парадоксалистъ. Я землю отъ дѣтей не розню и это у меня какъ-то само собой выходитъ. Впрочемъ, я вамъ этого развивать не хочу, поймете и такъ, коли призадумаетесь. У милліоновъ нищихъ земли нѣтъ, во Франціи особенно, гдѣ слишкомъ ужь, и безъ того, малоземельно,—вотъ имъ и негдѣ родить дѣтей, они и принуждены родить въ подвалахъ, и не дѣтей, а Гаврошей, изъ которыхъ половина не можетъ назвать своего отца, а еще половина такъ, можетъ, и матери. Дѣти должны родиться на землѣ, а не на мостовой. Не знаю, не знаю, какъ это поправится, но знаю, что пока тамъ негдѣ родить дѣтей. Помоему, работай на фабрикѣ: фабрика тоже дѣло законное и родится всегда подлѣ воздѣланной уже земли: въ томъ ея и законъ. Но пусть каждый фабричный работникъ знаетъ, что у него гдѣ-то тамъ есть Садъ, подъ золотымъ солнцемъ и виноградниками, собственный, или, вѣрнѣе, общинный садъ, и что въ этомъ саду живетъ и его жена, славная баба, не съ мостовой, которая любитъ его и ждетъ, а съ женой—его дѣти, которыя играютъ въ лошадки и всѣ знаютъ своего отца. Que diable, всякій порядочный и здоровый мальчишка родится вмѣстѣ съ лошадкой, это всякій порядочный отецъ долженъ знать, если хочетъ быть счастливъ. Вотъ онъ туда и будетъ заработанныя деньги носить, а не пропивать въ кабакѣ съ самкой, найденной на мостовой, И хоть садъ этотъ и не могъ-бы, въ крайнемъ случаѣ, (во Франціи, напримѣръ, гдѣ такъ мало земли) прокормить его вмѣстѣ съ семьей, такъ что и не обошлось-бы безъ фабрики, но пусть онъ знаетъ, по крайней мѣрѣ, что тамъ его дѣти съ землей ростутъ, съ деревьями, съ перепелками, которыхъ ловятъ, учатся въ школѣ, а школа въ полѣ, и что самъ онъ, наработавшись на своемъ вѣку, все-таки, придетъ туда отдохнуть а потомъ и умереть. А, вѣдь, кто знаетъ,—можетъ и совсѣмъ прокормить достанетъ, да и фабрикъ-то можетъ нечего бояться, можетъ—и фабрика-то середи сада устроится. Однимъ словомъ, я не знаю какъ это все будетъ, но это сбудется, садъ будетъ. Помяните мое слово хоть черезъ сто лѣтъ, и вспомните, что я вамъ объ этомъ въ Эмсѣ, въ искусственномъ саду и среди искусственныхъ людей, толковалъ. Если хотите всю мою мысль, то, помоему дѣти, настоящіе то есть дѣти, то есть дѣти людей, должны родиться на землѣ, а не на мостовой. Можно жить потомъ на мостовой, но родиться и *всходить* нація, въ огромномъ боль-

шинствѣ своемъ, должна на землѣ, на почвѣ, на которой хлѣбъ и деревья растутъ. А европейскіе пролетаріи теперь всѣ—сплошь мостовая. Въ саду-же дѣтки будутъ выскакивать прямо изъ земли, какъ Адамы, а не поступать девяти лѣтъ, когда еще играть хочется, на фабрики, ломая тамъ спинную кость надъ станкомъ, тупя умъ передъ подлой машиной, которой молится буржуа, утомляя и губя воображеніе передъ безчисленными рядами рожковъ газа, а нравственность—фабричнымъ развратомъ, котораго не зналъ Содомъ. И это мальчики и это дѣвочки десяти лѣтъ! Если я вижу гдѣ зерно или идею будущаго—такъ это у насъ, въ Россіи. Почему такъ? А потому, что у насъ есть и по сихъ поръ уцѣлѣлъ въ народѣ одинъ принципъ и именно тотъ, что земля для него *все*, и что онъ все выводитъ изъ земли и отъ земли, и это даже въ огромномъ еще большинствѣ. Но главное въ томъ, что это-то и есть нормальный законъ человѣческій. Въ землѣ, въ почвѣ есть нѣчто сакраментальное. Если хотите переродить человѣчество къ лучшему, почти что изъ звѣрей подѣлать людей, то надѣлите ихъ землею — и достигнете цѣли. По крайней мѣрѣ у насъ земля и община. Помоему порядокъ въ землѣ и изъ земли и это вездѣ, во всемъ человѣчествѣ. Весь порядокъ въ каждой странѣ, — политическій, гражданскій, всякій — всегда связанъ съ почвой и съ характеромъ землевладѣнія въ странѣ. Въ какомъ характерѣ сложилось землевладѣніе, въ такомъ характерѣ сложилось и все остальное. Я, вѣдь, никого и ничего не виню: тутъ всемірная исторія,—и мы понимаемъ. Помоему, мы такъ еще дешево отъ крѣпостнаго права откупились, благодаря *согласію* земли. Вотъ на это-то согласіе я бью и во всемъ остальномъ. Это согласіе,—вѣдь это опять одно изъ народныхъ началъ, вотъ, тѣхъ самыхъ, которыя въ насъ до сихъ поръ еще Потугины отрицаютъ. Ну-съ, а всѣ эти желѣзныя дороги наши, наши новые всѣ эти банки, ассоціаціи, кредиты—все это, помоему, пока только лишь тлѣнъ, я изъ желѣзныхъ дорогъ нашихъ однѣ только стратегическія признаю. Это только биржевая игра, жидъ встрепенулся. Вы смѣетесь, вы несогласны, пусть; а вотъ я только что читалъ одни мемуары одного русскаго помѣщика, писанные имъ въ срединѣ столѣтія—и желавшаго, въ двадцатыхъ годахъ еще, отпустить своихъ мужичковъ на волю. Тогда это было рѣдкою новостью. Между прочимъ, заѣхавъ въ деревню, онъ завелъ въ ней школу и началъ учить крестьянскихъ дѣтей хоровому церковному пѣнію. Сосѣдъ помѣщикъ, завернувъ къ нему и послушавъ хоръ, сказалъ: „это вы хорошо придумали; вотъ вы теперь ихъ обучите и навѣрно найдете покупщика на весь хоръ. Это любятъ, вамъ хорошія деньги за хоръ дадутъ.“ Значитъ, когда еще можно было продавать „на своз“ хоры малыхъ ребятишекъ отъ отцовъ и матерей, то, стало быть, отпускъ на волю крестьянъ былъ еще мудреной диковиной въ русской землѣ. Вотъ онъ и сталъ мужичкамъ говорить объ этой диковинкѣ; тѣ выслушали, задивились, перепугались, долго межъ собой переговаривались, вотъ и приходятъ къ нему: „Ну, а земля?“—„А земля моя; вамъ избы, усадьбы, а землю вы мнѣ ежегодно убирайте изъ полу“.—Тѣ почесали го-

ловы: „Нѣтъ, ужь лучше постарому: мы ваши, а земля наша“. Конечно, это удивило помѣщика: дикій, дескать, народъ; свободы даже не хотятъ въ нравственномъ паденіи своемъ, свободы—сего перваго блага людей и т. д., и т. д. Впослѣдствіи эта поговорка, или, вѣрнѣе, формула: „мы ваши, а земля наша“—стала всѣмъ извѣстною и никого уже не дивила. Но, однако-же, важнѣе всего: откудова могло появиться такое „неестественное и ни на что непохожее“ пониманіе всемірной исторіи, если только сравнить съ Европой? И, замѣтьте, именно въ это-то время и свирѣпствовала у насъ наиболѣе война между нашими умниками о томъ: „есть или нѣтъ у насъ, въ самомъ дѣлѣ, какія-то тамъ народныя начала, которыя-бы стоили вниманія людей образованныхъ?“ „Нѣтъ-съ, позвольте: значитъ, русскій человѣкъ съ самаго начала и никогда не могъ и представить себя безъ земли. Ужь когда свободы безъ земли не хотѣлъ принять, значитъ, земля у него прежде всего, въ основаніи всего, земля—все, а ужь изъ земли у него и все остальное, то есть, и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и дѣтишки, и порядокъ, и церковь—однимъ словомъ, все, что есть драгоцѣннаго. Вотъ изъ-за формулы-то этой онъ и такую вещь, какъ община, удержалъ...

V.

Оригинальное для Россіи лѣто.

На другой день я сказалъ моему чудаку:—А вотъ вы все объ дѣтяхъ толкуете, а я только что прочелъ въ курзалѣ, въ русскихъ газетахъ, около которыхъ, замѣчу вамъ, всѣ здѣшніе русскіе теперь толпятся—прочелъ въ одной корреспонденціи объ одной матери, Болгаркѣ, тамъ у нихъ въ Болгаріи, гдѣ цѣлыми уѣздами истреблялись люди. Она старуха, уцѣлѣла въ одной деревнѣ и бродитъ, обезумѣвшая, по своему пепелищу. Когда же ее начинаютъ расспрашивать какъ было дѣло, то она не говоритъ обыкновенными словами, а тотчасъ прикладываетъ правую руку къ щекѣ и начинаетъ пѣть, и напѣвомъ разсказываетъ, въ импровизированныхъ стихахъ, о томъ, какъ у ней были домъ и семья, былъ мужъ, были дѣти, шестеро дѣтей, а у дѣтокъ, у старшихъ, были тоже дѣточки, маленькіе внуки ея. И пришли мучители и сожгли у стѣны ея старика, перерѣзали соколовъ ея дѣтей, изнасиловали малую дѣвочку, увели съ собой другую, красавицу, а младенчикамъ вспороли всѣмъ ятаганами животики, а потомъ зажгли домъ и пошвыряли ихъ всѣхъ въ лютое пламя, и все это она видѣла и крики дѣточекъ слышала.

— Да, я тоже читалъ, отвѣтилъ мой чудакъ, — замѣчательно, замѣчательно. Главное, въ стихахъ. А у насъ, наша русская критика хоть и хвалила иногда стишки, но всегда, однако, наклоннѣе была полагать, что они болѣе для баловства устроены. Любопытно прослѣдить натуральный эпосъ въ его, такъ сказать, стихійномъ зачатіи. Вопросъ искусства.

— Ну, полноте, не притворяйтесь. Впрочемъ, я замѣтилъ, вы не очень-то любите разговаривать о восточномъ вопросѣ.

— Нѣтъ, я тоже пожертвовалъ. Я, если хотите, дѣйствительно кое-что не жалую въ восточномъ вопросѣ.

— Что именно?

— Ну, хоть любвеобильность.

— И, полноте, я увѣренъ...

— Знаю, знаю, не договаривайте, и вы совершенно правы. Ктому же, я пожертвовалъ въ самомъ даже началѣ. Видите-ли, восточный вопросъ, дѣйствительно, былъ у насъ до сихъ поръ, такъ сказать, лишь вопросомъ любви и выходилъ отъ славянофиловъ. Дѣйствительно на любвеобильности многіе выѣхали, особенно прошлой зимой съ герцеговинцами; составилось даже нѣсколько любвеобильныхъ карьеръ. Замѣтьте, я вѣдь ничего не говорю; ктому же, любвеобильность сама въ себѣ вещь превосходнѣйшая, но вѣдь можно и заѣздить клячу,—вотъ, вотъ этого-то я и боялся еще съ весны, а потому и не вѣрилъ. Потомъ я и лѣтомъ даже еще здѣсь боялся, чтобъ съ насъ все это братство вдругъ какъ нибудь не соскочило. Но теперь,—теперь даже ужь и я не боюсь; да и русская ужь кровь пролита, а пролитая кровь важная вещь, соединительная вещь!

— А неужели вы въ самомъ дѣлѣ думали, что братство наше соскочитъ?

— Грѣшный человѣкъ, полагалъ. Да какъ и не предположить. Но теперь ужь не предполагаю. Видите ли, даже здѣсь въ Эмсѣ, въ десяти верстахъ отъ Рейна, получались извѣстія изъ самаго, такъ сказать, Бѣлграда. Являлись путешественники, которые сами слышали какъ въ Бѣлградѣ винятъ Россію. Съ другой стороны, я самъ читалъ въ „Temps“ и въ „Debats“, какъ въ Бѣлградѣ, послѣ того какъ прорвались въ Сербію турки, кричали: „Долой Черняева!“ Другіе же корреспонденты и другіе очевидцы увѣряютъ, напротивъ, что все это вздоръ, и что сербы только и дѣлаютъ, что обожаютъ Россію и ждутъ всего отъ Черняева. Знаете: я и тѣмъ, и другимъ извѣстіямъ вѣрю. И тѣ и другіе крики были навѣрно, да и не могли не быть: нація молодая, солдатовъ нѣтъ, воевать не умѣютъ, великодушія пропасть, дѣловитости никакой. Черняевъ тамъ принужденъ былъ армію создавать, а вѣдь они, я увѣренъ, въ огромномъ большинствѣ, не могутъ понять какая это задача армію создать въ такой срокъ и при такихъ обстоятельствахъ; потомъ поймутъ, но тогда ужь наступитъ всемірная исторія. Кромѣ того, я увѣренъ, что даже изъ самыхъ крѣпкихъ и, такъ сказать, министерскихъ ихнихъ головъ найдутся такія, которыя убѣждены, что Россія спитъ и видитъ, какъ бы ихъ въ свою власть захватить и ими безмѣрно усилиться политически. Ну, такъ вотъ я и боялся, чтобъ на наше русское братолюбіе все это не подѣйствовало холодной водой. Но оказалось напротивъ,—до того напротивъ, что для многихъ даже и русскихъ неожиданно. Вся земля русская вдругъ заговорила и вдругъ свое главное слово сказала. Солдатъ, купецъ, профессоръ, старушка Божія — всѣ въ одно слово. И ни одного звука, замѣтьте, объ захватѣ, а вотъ, дескать: „на православное дѣло“. Да и не то, что гроши на православное дѣло, а хоть сейчасъ сами готовы нести свои головы. И опять-таки, замѣтьте, что эти два слова: „на православное дѣло“—это чрезвычайно, чрезвычайно важная политическая формула и теперь, и въ будущемъ. Даже можно такъ сказать, что это формула нашего будущаго. А то, что объ „захватѣ“ ни откуда ни звука, то это ужасно оригинально. Европа никакъ и ни за что не могла

бы повѣрить тому, потому что сама бы дѣйствовала не иначе, какъ съ захватомъ, а потому ее даже и винить нельзя за ея крикъ противъ насъ, въ строгомъ смыслѣ, знаете ли вы это? Однимъ словомъ, въ этотъ разъ началось наше окончательное столкновеніе съ Европой и... развѣ оно могло начаться иначе, какъ съ недоумѣнія? Для Европы Россія—недоумѣніе, и всякое дѣйствіе ея—недоумѣніе, и такъ будетъ до самаго конца. Да, давно уже не заявляла себя такъ земля русская, такъ сознательно и согласно, и, кромѣ того мы дѣйствительно вѣдь родныхъ и братьевъ нашли и ужъ это не высокій лишь слогъ. И ужъ не черезъ славянскій лишь комитетъ, а прямо, такъ-таки, всей землей нашли. Вотъ это для меня и неожиданно, вотъ этому-то я бы никакъ не повѣрилъ. Согласію-то этому нашему, всеобщему и столь, такъ сказать, *внезапному*, трудно бы было повѣрить, еслибъ даже кто и предсказывалъ. А, межъ тѣмъ, совершившееся совершилось. Вы вотъ про мать-болгарку несчастную разсказали, а я знаю, что и другая мать объявилась нынѣшнимъ лѣтомъ: Мать-Россія новыхъ родныхъ дѣтокъ нашла и раздался ея великій жалобный голосъ объ нихъ. И именно дѣтокъ, и именно материнскій великій плачъ, и опять-таки политическое великое указаніе въ будущемъ, замѣтьте это себѣ: „мать ихъ, а не госпожа!“ И хоть бы даже и случилось такъ, что новыя дѣтки, не понимая дѣла,—на одну минутку, впрочемъ,—возроптали бы на нее: нечего ей этого слушать и на это глядѣть, а продолжать благотворить съ безконечнымъ и терпѣливымъ материнствомъ, какъ и должна поступить всякая истинная мать. Нынѣшнее лѣто, знаете ли вы, что нынѣшнее лѣто въ нашей исторіи запишется? И сколько недоумѣній русскихъ разомъ разъяснилось, на сколько вопросовъ русскихъ разомъ отвѣтъ полученъ! Для сознанія русскаго это лѣто было почти эпохой.

Post-Scriptum.

„Русскій народъ бываетъ иногда ужасно *неправдоподобенъ*“—словцо это удалось мнѣ услышать тоже нынѣшнимъ лѣтомъ и, опять-таки конечно потому, что и для произнесшаго это словцо многое, случившееся нынѣшнимъ лѣтомъ, было дѣломъ неожиданнымъ, а, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ „неправдоподобнымъ“. Но что же, однако, случилось такого новаго, и не лежало ли, напротивъ, все, что вышло наружу, давно уже и даже всегда въ сердцѣ народа русскаго?

Поднялась, во-первыхъ, народная идея и сказалось народное чувство: чувство—безкорыстной любви къ несчастнымъ и угнетеннымъ братьямъ своимъ, а идея — „Православное дѣло“. И дѣйствительно, уже въ этомъ одномъ сказалось нѣчто какъ бы и неожиданное. Неожиданнаго (впрочемъ, далеко не для всѣхъ) было то, что народъ не забылъ свою великую идею, свое „Православное дѣло“—не забылъ въ теченіе двухвѣковаго рабства, мрачнаго невѣжества, а въ послѣднее вре-

мя—гнуснаго разврата, матерьялизма, жидовства и сивухи. Во-вторыхъ, неожиданнымъ было то, что съ народной идеей, съ „Православнымъ дѣломъ“—соединились вдругъ почти всѣ оттѣнки мнѣній самой высшей интеллигенціи русскаго общества, — вотъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ считали мы уже совсѣмъ оторвавшимися отъ народа. Замѣтьте приэтомъ необычайное у насъ одушевленіе и единодушіе почти всей нашей печати... Старушка Божія подаетъ свою копѣечку на славянъ и прибавляетъ: „на Православное дѣло“. Журналистъ подхватываетъ это словцо и передаетъ его въ газетѣ съ благоговеніемъ истиннымъ и вы видите, что онъ самъ всѣмъ сердцемъ своимъ за тоже самое „Православное дѣло“: вы это чувствуете читая статью. Даже, можетъ быть, и ничему не вѣрующіе поняли теперь у насъ, наконецъ, что значитъ въ сущности, для русскаго народа его Православіе и „Православное дѣло?“ Они поняли, что это вовсе не какая нибудь лишь обрядная церковность, а съ другой стороны, вовсе не какой нибудь fanatisme religieux (какъ уже и начинаютъ выражаться объ этомъ всеобщемъ теперешнемъ движеніи русскомъ въ Европѣ), а что это именно есть прогрессъ человѣческій и все очеловѣченіе человѣческое, такъ именно понимаемое русскимъ народомъ, ведущимъ все отъ Христа, воплощающимъ все будущее свое во Христѣ и во Христовой истинѣ и немогущимъ и представить себя безъ Христа. Либералы, отрицатели, скептики, равно какъ и проповѣдники соціальныхъ идей—всѣ вдругъ оказываются горячими русскими патріотами, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ. Что-жь, они, стало быть, ими и были; но можемъ ли мы утверждать, что доселѣ мы про это знали, и не раздавалось ли до сихъ поръ, напротивъ, чрезвычайно много горькихъ взаимныхъ упрековъ, оказавшихся теперь во многомъ напрасными? Русскихъ, истинныхъ русскихъ, оказалось у насъ вдругъ несравненно болѣе, чѣмъ полагали до сихъ поръ многіе, тоже истинные русскіе. Что-же соединило этихъ людей воедино, или, вѣрнѣе — что указало имъ, что они, во всемъ главномъ и существенномъ, и прежде не разъединялись? Но въ томъ-то и дѣло, что Славянская идея, въ высшемъ смыслѣ ея, перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдругъ, вслѣдствіе напора обстоятельствъ, въ самое сердце русскаго общества, высказалась отчетливо въ общемъ сознаніи, а въ *живомъ* чувствѣ совпала съ движеніемъ народнымъ. Но что же такое эта „Славянская идея въ высшемъ смыслѣ ея“? Всѣмъ стало ясно, что это такое: это, прежде всего, т. е., прежде всякихъ толкованій историческихъ, политическихъ и проч.—есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьевъ, и чувство добровольнаго долга сильнѣйшему изъ славянскихъ племенъ заступиться за слабаго, съ тѣмъ, чтобъ, уровнявъ его съ собою въ свободѣ и политической независимости, тѣмъ самымъ основать впредь великое всеславянское единеніе во имя Христовой истины, т. е., на пользу, любовь и службу всему человѣчеству, на защиту всѣхъ слабыхъ и угнетенныхъ въ мірѣ. И это вовсе не теорія, напротивъ, въ самомъ теперешнемъ движеніи русскомъ, братскомъ и безкорыстномъ, до сознательной готовности пожертвовать даже самыми важнѣй-

шими своими интересами, даже хотя-бы миромъ съ Европой,—это обозначилось уже какъ фактъ, а въ дальнѣйшемъ,—всеединеніе славянъ развѣ можетъ произойти съ иною цѣлью, какъ на защиту слабыхъ и на служеніе человѣчеству? Это уже потому такъ должно быть, что славянскія племена, въ большинствѣ своемъ, сами воспитались и развились лишь страданіемъ. Мы вотъ написали выше, что дивимся, какъ русскій народъ не забылъ, въ крѣпостномъ рабствѣ, въ невѣжествѣ и въ угнетеніи, своего великаго „Православнаго дѣла", своей великой православной обязанности, не озвѣрѣлъ окончательно и не сталъ, напротивъ, мрачнымъ замкнувшимся эгоистомъ, заботящимся лишь объ одной себственной выгодѣ? Но, вѣроятно, таково именно свойство его какъ славянина, то есть,—подыматься духомъ въ страданіи, укрѣпляться политически въ угнетеніи и, среди рабства и униженія, соединяться взаимно въ любви и въ Христовой истинѣ.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ, Царь Небесный
Исходилъ, благословляя!

Вотъ потому-то, что народъ русскій самъ былъ угнетенъ и перенесъ многовѣковую крестную ношу,—потому-то онъ и не забылъ своего „Православнаго дѣла" и страдающихъ братьевъ своихъ, и поднялся духомъ и сердцемъ, съ совершенной готовностью помочь всячески угнетеннымъ. Вотъ это-то и поняла высшая интеллигенція наша и всѣмъ сердцемъ своимъ примкнула къ желанію народа, а примкнувъ, вдругъ, всецѣло, ощутила себя въ единеніи съ нимъ. Движеніе, охватившее всѣхъ было великодушное и гуманное. Всякая высшая и единящая мысль, и всякое вѣрное единящее всѣхъ чувство — есть величайшее счастье въ жизни націй. Это счастье посѣтило насъ. Мы не могли не ощутить всецѣло нашего умножившагося согласія, разъясненія многихъ прежнихъ недоумѣній, усилившагося самосознанія нашего. Обнаружилась вдругъ, ясно сознаваемая обществомъ и народомъ, политическая мысль. Чуткая Европа тотчасъ же это разглядѣла и слѣдитъ теперь за русскимъ движеніемъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ. Сознательная политическая мысль въ нашемъ народѣ — для нея совершенная неожиданность. Она предчувствуетъ нѣчто новое, съ чѣмъ надо считаться; въ ея уваженіи мы выросли. Самые слухи и толки о политическомъ и соціальномъ разложеніи русскаго общества, какъ національности, давно уже крѣпившіеся въ Европѣ, несомнѣнно должны получить теперь, въ глазахъ ея, сильное опроверженіе: оказалось, что, когда надо, русскіе умѣютъ и соединяться. Да и самыя разлагающія силы наши,—буде она существованію таковыхъ продолжаетъ вѣрить, естественно должны теперь, въ ея убѣжденіи, принять сами собою другое направленіе и другой исходъ. Да, много взглядовъ съ этой эпохи должно впредь измѣниться. Однимъ словомъ, это всеобщее и согласное русское движеніе свидѣтельствуетъ уже и о зрѣлости національной въ нѣкоторой значительной даже степени и не можетъ не вызывать къ себѣ уваженія.

Русскіе офицеры ѣдутъ въ Сербію и слагаютъ тамъ свои головы. Движеніе русскихъ офицеровъ и отставныхъ русскихъ солдатъ въ армію Черняева все время возрастало и продолжаетъ воз-

растать прогрессивно. Могутъ сказать: „это потерянные люди, которымъ дома было нечего дѣлать, поѣхавшіе, чтобъ куда-нибудь поѣхать, карьеристы и авантюристы". Но, кромѣ того, что (по многимъ и точнымъ даннымъ) эти „авантюристы" не получили никакихъ денежныхъ выгодъ, а въ большинствѣ даже едва доѣхали, кромѣ того, нѣкоторые изъ нихъ, еще бывшіе на службѣ, несомнѣнно должны были проиграть по службѣ своимъ, хотя бы и временнымъ, выходомъ въ отставку. Но—кто бы они ни были, что, однако, мы слышимъ и читаемъ объ нихъ? Они умираютъ въ сраженіяхъ десятками и выполняютъ свое дѣло геройски; на нихъ уже начинаетъ твердо опираться юная армія возставшихъ славянъ, созданная Черняевымъ. Они славятъ русское имя въ Европѣ и кровью своею единятъ насъ съ братьями. Эта геройски пролитая ихъ кровь не забудется и зачтется. Нѣтъ, это не авантюристы: они начинаютъ новую эпоху сознательно. Это піонеры русской политической идеи, русскихъ желаній и русской воли, заявленныхъ ими передъ Европою.

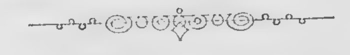
Обозначилась и еще одна русская личность, обозначилась строго, спокойно и даже величаво,—это генералъ Черняевъ. Военныя дѣйствія его шли доселѣ съ перемѣннымъ счастьемъ, но въ цѣломъ — до сихъ поръ пока еще съ очевиднымъ перевѣсомъ въ его сторону. Онъ создалъ въ Сербіи армію, онъ выказалъ строгій, твердый, неуклонный характеръ. Кромѣ того, отправляясь въ Сербію, онъ рисковалъ всей своей военной славой, уже пріобрѣтенной въ Россіи, а стало быть, и своимъ будущимъ. Въ Сербіи, какъ обозначилось лишь недавно, онъ согласился принять начальство лишь надъ отдѣльнымъ отрядомъ и лишь недавно только былъ утвержденъ въ званіи главнокомандующаго. Армія, съ которою онъ выступилъ, состояла изъ милиціи, изъ новобранцевъ, никогда не видавшихъ ружья, изъ мирныхъ гражданъ—прямо отъ сохи. Рискъ былъ чрезвычайный, успѣхъ сомнительный: это была воистину жертва для великой цѣли. Создавъ армію, обучивъ ее, устроивъ и направивъ по возможности, генералъ Черняевъ сталъ оперировать тверже, смѣлѣе. Ему удалось одержать весьма значительную побѣду. Въ послѣднее время онъ долженъ былъ отступить передъ напоромъ втрое сильнѣйшаго непріятеля. Но онъ отступилъ сохранивъ армію, неразбитый, сильный, вовремя, и занялъ крѣпкую позицію, которую не осмѣлились аттаковать „побѣдители". Если судить по настоящему, генералъ Черняевъ едва только лишь начинаетъ свои главныя дѣйствія. Армія его, впрочемъ, не можетъ уже болѣе ждать ни откуда поддержки, тогда какъ непріятельская можетъ чрезвычайно еще возрости въ силахъ. Ктому же, политическія соображенія сербскаго правительства могутъ сильно помѣшать ему довести свое дѣло до конца. Тѣмъ не менѣе, это лицо уже обозначилось твердо и ясно: военный талантъ его безспоренъ, а характеромъ своимъ и высокимъ порывомъ души онъ, безъ сомнѣнія, стоитъ на высотѣ русскихъ стремленій и цѣлей. Но объ генералѣ Черняевѣ еще вся рѣчь впереди. Замѣчательно, что съ отъѣзда своего въ Сербію, онъ въ Россіи пріобрѣлъ чрезвычайную популярность, его имя стало народнымъ. И не мудрено: Россія понимаетъ, что онъ началъ и повелъ

дѣло, совпадающее съ самыми лучшими и сердечными ея желаніями,—и поступкомъ своимъ заявилъ ея желанія Европѣ. Что бы ни вышло потомъ, онъ можетъ уже гордиться своимъ дѣломъ, а Россія не забудетъ его и будетъ любить его.

Ѳ. Достоевскій.







Дозволено цензурою. Спб. 2 сентября. 1876. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

СЕНТЯБРЬ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Piccola bestia.

Лѣтъ семь тому назадъ мнѣ случилось провести все лѣто, вплоть до сентября, во Флоренціи. По мнѣнію итальянцевъ, Флоренція—лѣтомъ самый жаркій, а зимою самый холодный городъ во всей Италіи. Лѣто въ Неаполѣ они считаютъ несравненно болѣе сноснымъ, чѣмъ во Флоренціи. И вотъ, разъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ моей квартирѣ, которую я нанималъ отъ хозяевъ, случился переполохъ,—ко мнѣ вдругъ ворвались, съ криками, двѣ служанки, съ хозяйкой во главѣ: видѣли, какъ сейчасъ только въ мою комнату вбѣжала изъ корридора piccola bestia, и ее надо было сыскать и истребить во что бы то ни стало. Piccola bestia—это тарантулъ. И вотъ, пустились искать подъ стульями, подъ столами, по всѣмъ угламъ, въ мебели, начали выметать изъ подъ шкаповъ, принялись топать ногами, чтобъ испугать его и тѣмъ выманить; наконецъ бросились въ спальню, начали искать подъ кроватью, въ кровати, въ бѣльѣ и... не нашли. Его сыскали лишь на другой день поутру, когда выметали комнату, и ужъ конечно сейчасъ же казнили, но за то передъ этимъ ночь мнѣ все-таки пришлось провести въ моей постелѣ съ чрезвычайно непріятнымъ сознаніемъ, что въ комнатѣ, вмѣстѣ со мною, ночуетъ и piccola bestia. Укушеніе тарантула, говорятъ, рѣдко бываетъ смертельно, хотя я и зналъ уже одинъ случай, въ мое время въ Семипалатинскѣ, ровно пятнадцать лѣтъ до Флоренціи, когда отъ укушенія тарантула умеръ одинъ линейскій казакъ, несмотря на леченіе. Большею же частію отдѣлываются горячкой, или просто лихорадочными припадками, а въ Италіи, гдѣ столько лекарей, можетъ быть и еще легче

обходится дѣло; не знаю, я не медикъ, а, все-таки, ночевать было жутко. Сначала я отгонялъ мысль, даже смѣялся, припомнилъ и прочелъ наизустъ, засыпая, нравоучительную басню Кузьмы Пруткова: „Кондукторъ и тарантулъ" (верхъ совершенства въ своемъ родѣ), потомъ заснулъ. Но сны были рѣшительно нехорошіе. Тарантулъ не снился вовсе, но снилось что-то другое, пренепріятное, тяжелое, кошмарное, съ частыми пробужденіями, и только поутру, когда встало солнце, я заснулъ лучше. Этотъ маленькій старый анекдотъ знаете почему мнѣ теперь припомнился? По поводу Восточнаго вопроса!... Впрочемъ, я самъ даже не удивляюсь: вѣдь чего-чего не пишутъ и не говорятъ теперь по поводу Восточнаго вопроса!

Мнѣ кажется вотъ что: съ Восточнымъ вопросомъ забѣжала въ Европу какая-то piccola bestia и мѣшаетъ успокоиться всѣмъ добрымъ людямъ, всѣмъ любящимъ миръ, человѣчество, процвѣтаніе его, всѣмъ,—жаждущимъ той свѣтлой минуты, въ которую кончится, наконецъ-то, *хоть эта* первоначальная, грубая рознь народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, если вдуматься, то иногда *кажется*, что съ окончательнымъ разрѣшеніемъ Восточнаго вопроса, кончится и всякая прочая политическая рознь въ Европѣ, что въ этой формулѣ: Восточный вопросъ—заключаются, и можетъ быть себѣ невѣдомо, и всѣ остальные политическіе вопросы, недоумѣнія и предразсудки Европы. Однимъ словомъ, наступило бы нѣчто очень новое, а для Россіи такъ совсѣмъ другой фазисъ, ибо слишкомъ ясно ужъ теперь, что лишь съ окончательнымъ разрѣшеніемъ этого вопроса Россія могла бы, наконецъ, поладить съ Европой въ первый разъ въ своей жизни, и наконецъ-то, стать ей понятной. И вотъ, всему-то этому счастью и мѣшаетъ какая-то piccola bestia. Она и всегда была, но съ Восточнымъ вопросомъ она уже забѣгаетъ въ самыя комнаты. Всѣ ждутъ, всѣ безпокоятся, надъ всѣми какой-то кошмаръ, всѣ видятъ дурные сны. Кто же или что же такое эта piccola bestia, которая производитъ такую сумятицу,—это невозможно опредѣлить, потому что наступаетъ какое-то общее безуміе. Всякій представляетъ се себѣ посвоему и никто не понимаетъ другъ друга. И, однако, всѣ какъ будто уже укушены. Укушеніе это производитъ немедленно самые чрезвычайные припадки: всѣ въ Европѣ сейчасъ же какъ будто перестаютъ понимать другъ друга, какъ при Вавилонской башнѣ; даже всякій про себя перестаетъ понимать, чего хочетъ. Въ одномъ лишь всѣ соединяются: всѣ тотчасъ указываютъ на Россію, всякій увѣренъ, что вредный гадъ каждый разъ выбѣгаетъ оттуда. А между тѣмъ въ одной Россіи лишь все свѣтло и ясно, кромѣ, разумѣется, великой скорби о восточныхъ славянскихъ братьяхъ ея—скорби, однако-же, освѣщающей душу и возвышающей сердце. Въ Россіи съ Восточнымъ вопросомъ каждый разъ происходитъ нѣчто совершенно обратное, чѣмъ въ Европѣ: всѣ тотчасъ же начинаютъ понимать другъ друга яснѣе, всякій вѣрно чувствуетъ, чего хочетъ, и всѣ чувствуютъ, что согласны другъ съ другомъ; послѣдній мужикъ понимаетъ, чего надо ему желать, точно также какъ и самый образованный человѣкъ. Всѣхъ немедленно единитъ прекрасное и великодушное чувство безкорыстной и великодушной помощи рас-

пинаемымъ на крестѣ своимъ братьямъ. Но Европа не вѣритъ этому, не вѣритъ ни благородству Россіи, ни ея безкорыстію. Вотъ особенно въ этомъ-то „безкорыстіи“ и вся неизвѣстность, весь соблазнъ, все главное, сбивающее съ толку обстоятельство, всѣмъ противное, всѣмъ ненавистное обстоятельство, а потому ему никто и не хочитъ вѣрить, всѣхъ какъ-то тянетъ ему не вѣрить. Не будь „безкорыстія“—дѣло мигомъ стало бы въ десять разъ проще и понятнѣе для Европы, а съ безкорыстіемъ—тьма, неизвѣстность, загадка, тайна! О, въ Европѣ укушенные! И ужь конечно вся эта тайна заключена, по понятію укушенныхъ, въ одной Россіи, которая никому-де однако, ничего не хочетъ открыть, а идетъ къ какой-то своей цѣли, твердо, неустанно, всѣхъ обманывая, коварно и тихомолкомъ. Двѣсти уже лѣтъ живетъ Европа съ Россіей, насильно заставившей принять себя въ европейскій союзъ народовъ, въ цивилизацію; но Европа всегда косилась на нее, предчувствуя недоброе, какъ на роковую загадку, Богъ знаетъ откуда явившуюся и которую надо, однако-же, разрѣшить во что-бы то ни стало. И вотъ, каждый разъ, именно съ Восточнымъ вопросомъ, эта неизвѣстность, это недоумѣніе Европы насчетъ Россіи усиливается до болѣзни, а, между тѣмъ, ничего не разрѣшается: „Кто-же и что-же это, наконецъ, такое и когда мы это, наконецъ, узнаемъ? Кто они, эти русскіе? Азіяты, татары? хорошо, кабы такъ, по крайней мѣрѣ, дѣло стало-бы ясно; но нѣтъ; то-то и есть, что нѣтъ, то-то и есть, что про себя мы должны сознаться, что нѣтъ. А, между тѣмъ, они такъ съ нами не схожи... И что такое это единеніе славянъ? На что оно, съ какими цѣлями? Что скажетъ, что можетъ сказать намъ новаго это опасное объединеніе“?—Кончаютъ тѣмъ, что, разрѣшаютъ на свой аршинъ, попрежнему, повсегдашнему: „Захватъ, дескать, означаетъ, завоеваніе, безчестность, коварство, будущее истребленіе цивилизаціи, объединившаяся орда монгольская, татары“!...

И, однако-же, даже самая ненависть къ Россіи не въ силахъ соединить вполнѣ укушенныхъ: каждый разъ, съ Восточнымъ вопросомъ вся Европа изъ видимаго цѣлаго, тотчасъ же и слишкомъ ужь явно, начинаетъ распадаться на свои личные, отдѣльно—національные эгоизмы. Все тутъ выходитъ изъ ложной идеи, что кто-то хочетъ что-то захватить и заграбить: „такъ вотъ бы и мнѣ; а то всѣ тащутъ, а мнѣ ничего!“ Такъ что всякій разъ, съ появленіемъ на сценѣ этого роковаго вопроса, разбаливаются и начинаютъ нарывать и всѣ прежнія застарѣлыя политическія распри и боли Европы. А потому всѣмъ естественно хочется затушить вопросъ, хоть на время; главное—затушить въ Россіи, какъ нибудь отвернуть отъ него Россію, какъ-нибудь заговорить, заколдовать, запугать ее.

И вотъ, виконтъ Биконсфильдъ, урожденный израиль (né d'Israeli), въ рѣчи своей на одномъ банкетѣ, вдругъ открываетъ Европѣ одну чрезвычайную тайну: всѣ эти русскіе, съ Черняевымъ во главѣ, бросившіеся въ Турцію спасать славянъ, — все это лишь русскіе соціалисты, коммунисты и коммунары,—однимъ словомъ, все, что было разрушительныхъ элементовъ въ Россіи и которыми, будто-бы, начинена Россія. „Мнѣ-то вы можете повѣрить, вѣдь я Биконсфильдъ, премьеръ, какъ называютъ меня въ рус-

скихъ газетахъ, для приданья статьямъ ихъ важности; я первый министръ, у меня секретные документы, стало быть, знаю лучше чѣмъ вы, я очень многое знаю"—вотъ что просвѣчиваетъ въ каждой фразѣ этого Биконсфильда. Я увѣренъ, что онъ самъ себѣ выдумалъ и сочинилъ эту альбомную фамилію, напоминающую нашихъ Ленскихъ и Греминыхъ, когда выпрашивалъ себѣ дворянство у королевы; вѣдь онъ романистъ. Кстати, когда я, нѣсколько строкъ выше, писалъ о таинственной piccola bestia, мнѣ вдругъ подумалось: ну что, если читатель вообразитъ, что я хочу въ этой аллегоріи изобразить виконта Биконсфильда? Но увѣряю, что нѣтъ: piccola bestia—это только идея, а не лицо, да и слишкомъ много было-бы чести господину Биконсфильду, хотя надо признаться, что на piccola bestia онъ очень похожъ. Провозгласивъ въ своей рѣчи, что Сербія, объявивъ войну Турціи, сдѣлала поступокъ безчестный и что война, которую ведетъ теперь Сербія, есть война безчестная, и плюнувъ, такимъ образомъ почти прямо въ лицо всему русскому движенію, всему русскому одушевленію, жертвамъ, желаніямъ, мольбамъ, которыя не могли же быть ему неизвѣстны—этотъ израиль, этотъ новый въ Англіи судья чести, продолжаетъ такъ (я передаю не буквально):

„Россія, конечно, рада была сбыть всѣ эти разрушительные свои элементы въ Сербію, хотя упустила изъ вида, что они тамъ сплотятся, сростутся, сговорятся, получатъ организацію, доростутъ до силы... „Эту новую, грозящую силу надо замѣтить Европѣ" напираетъ Биконсфильдъ, грозя англійскимъ фермерамъ будущимъ соціализмомъ Россіи и Востока. „Замѣтятъ и въ Россіи эту мою инсинуаціонную фразу о соціализмѣ"—тутъ же думаетъ онъ, конечно, про себя,—„надо и Россію пугнуть".

Паукъ, паукъ, piccola bestia; дѣйствительно, ужасно похожъ; дѣйствительно маленькая мохнатая bestia! И вѣдь какъ шибко бѣгаетъ! Вѣдь это избіеніе болгаръ—вѣдь это онъ допустилъ, куда—самъ и сочинилъ; вѣдь онъ романистъ и это его chef-d'oeuvre. А вѣдь ему семдесятъ лѣтъ, вѣдь скоро въ землю—и самъ это знаетъ. И вѣдь какъ обрадовался, должно быть, своему виконтству; непремѣнно всю жизнь мечталъ о немъ, когда еще романы писалъ. Во что эти люди вѣруютъ, какъ они засыпаютъ ночью, какіе имъ сны снятся, что дѣлаютъ они наединѣ съ своею душою? О, души ихъ навѣрно полны изящнаго!... Сами они кушаютъ ежедневно такіе прелестные обѣды, въ обществѣ такихъ тонкихъ и остроумныхъ собесѣдниковъ, по вечерамъ ихъ ласкаютъ въ самомъ изящнѣйшемъ и въ самомъ высокомъ обществѣ такія прелестныя леди,—о, жизнь ихъ такъ благообразна, пищевареніе ихъ удивительное, сны легки, какъ у младенцевъ. Недавно я читалъ, что баши-бузуки распяли на крестахъ двухъ священниковъ,—и тѣ померли черезъ сутки, въ мукахъ, превосходящихъ всякое воображеніе. Биконсфильдъ хоть и отрицалъ вначалѣ въ парламентѣ всякія муки, даже самыя маленькія, но ужь, конечно, про себя все это знаетъ, даже и объ этихъ двухъ крестахъ, „вѣдь, у него документы". Безо всякаго сомнѣнія, онъ отгоняетъ отъ себя эти пустыя, дрянныя и даже грязныя, неприличныя картины; но эти два черные, скорченные на крестахъ трупа, могутъ, вѣдь, вдругъ вскочить въ голову, въ самое

неожиданное время, ну, напримѣръ, когда Биконсфильдъ, въ своей богатой спальнѣ, готовится отойти ко сну, съ ясной улыбкой припоминая только что проведенный блестящій вечеръ, балъ, и всѣ эти прелестныя остроумныя вещи, которыя онъ сказалъ тому-то или той-то.

— Что же, подумаетъ Биконсфильдъ, эти черные трупы на этихъ крестахъ... гм... оно, конечно... А впрочемъ, „государство не частное лицо; ему нельзя изъ чувствительности жертвовать своими интересами, тѣмъ болѣе, что въ политическихъ дѣлахъ самое великодушіе никогда не бываетъ безкорыстное“. „Удивительно, какія прекрасныя бываютъ изрѣченія, думаетъ Биконсфильдъ, — „освѣжающія даже, и главное, такъ складно. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь государство... А я лучше, однако же, лягу... Гм. Ну, и что же такое эти два священника? Попа? Поихнему это попы, les popes. Вольно же было подвертываться; ну, спрятались бы тамъ куда нибудь... подъ диванъ... Mais, avec votre permission, messieurs les deux crucifiés, вы мнѣ нестерпимо надоѣли съ вашимъ глупымъ приключеніемъ et je vous souhaites la bonne nuit à tous les deux“.

И Биконсфильдъ засыпаетъ, сладко, нѣжно. Ему все снится, что онъ виконтъ, а кругомъ него розы и ландыши и прелестнѣйшія леди. Вотъ онъ говоритъ прелестнѣйшую рѣчь: какія bonmots! всѣ апплодируютъ, вотъ онъ только что раздавилъ коалицію...

И вотъ всѣ эти наши капитаны и маіоры, старые севастопольцы и кавказцы, въ своихъ измятыхъ, ветхихъ сюртучкахъ, съ бѣлымъ крестикомъ въ петличкѣ (такъ многихъ изъ нихъ описывали)—все это соціалисты! Выпьютъ-то изъ нихъ иные, конечно; мы про это слышали, слабъ на это служивый человѣкъ, но вѣдь это вовсе не соціализмъ. За то посмотрите, какъ онъ умретъ въ сраженіи, какимъ щеголемъ, какимъ героемъ, впереди своего батальона, славя русское имя, и примѣромъ своимъ даже трусовъ-новобранцевъ преобразуя въ героевъ! Такъ это соціалистъ повашему? Ну, а эти два юноши, которыхъ привела обоихъ за руки мать (былъ, вѣдь, и этотъ случай)—это коммунары? А этотъ старый воинъ съ семью сыновьями, — ну, неужели ему сжечь Тюльери хочется? Эти старые солдатики, эти казаки съ Дона, эти партіи русскихъ, прибывающія съ санитарными отрядами и съ походными церквами, — неужели они спятъ и видятъ, какъ бы разстрѣлять архіепископа? Эти Кирѣевы, эти Раевскіе, — все это разрушительные элементы наши, которыхъ должна трепетать Европа? А Черняевъ, этотъ наивнѣйшій изъ героевъ, и въ Россіи бывшій издатель „Русскаго Міра“ — онъ-то и есть предводитель русскаго соціализма? Тьфу, какъ неправдоподобно! Если-бъ Биконсфильдъ зналъ, какъ это порусски выйдетъ нескладно и... стыдно, то, можетъ быть, не рѣшился бы ввернуть въ свою рѣчь такое глупое мѣсто.

II.

Слова, слова, слова!

Нѣсколько мнѣній, нашихъ и европейскихъ, о разрѣшеніи Восточнаго вопроса, рѣшительно удивительны. Кстати, въ газетномъ мірѣ есть и у насъ какъ-бы укушенные. О, не буду перебирать всѣхъ моихъ впечатлѣній, устану. Одна „административная авто-

номія“ способна устроить у васъ параличъ въ мозгу. Видите-ли, если сдѣлать такъ, чтобы дать Болгаріи, Герцеговинѣ, Босніи одинаковыя права съ населеніемъ мусульманскимъ, и тутъже найти способъ, какъ-бы эти права обезпечить,—„то мы рѣшительно не видимъ, почему-бы не кончиться Восточному вопросу“ и т. д., и т. д. Мнѣніе это, какъ извѣстно, пользуется особымъ авторитетомъ въ Европѣ. Однимъ словомъ, представляютъ такую комбинацію, осуществить которую труднѣе, чѣмъ вновь создать всю Европу, или отдѣлить воду отъ земли, или все что угодно, а между тѣмъ думаютъ, что дѣло рѣшили, и спокойны, и довольны. Нѣтъ-съ, Россія согласилась на это лишь *въ принципѣ*, а за исполненіемъ хотѣла сама присмотрѣть, и *посвоему*, и ужь конечно не дала-бы вамъ погрѣть руки, г.г. фразеры. „Дать автономію? Найти комбинацію?“ — да вѣдь какъ-же это сдѣлать, кто можетъ это дать и сдѣлать? Кто станетъ слушаться и кто заставитъ слушаться? Наконецъ, кто управляетъ Турціей, какія партіи и силы? Есть-ли даже въ Константинополѣ, который все-же *образованнѣе*, чѣмъ остальные турки, хоть единый турокъ, который въ самомъ дѣлѣ, по внутреннему убѣжденію своему, могъ-бы наконецъ признать христіанскую райю до того себѣ равноправною, чтобъ могло выйти изъ этой „автономіи“ хоть что нибудь въ самомъ дѣлѣ? Я говорю: „хоть единый человѣкъ“... А если такъ, если нѣтъ даже единаго, то какъ вести съ такимъ народомъ переговоры и договоры?—„Устроить надзоръ, найти комбинацію“—возражаютъ путеводители. А путе-ка найдите комбинацію! Есть вопросы, имѣющіе уже такое свойство въ себѣ, что ихъ никакъ нельзя разрѣшить именно такъ, какъ непремѣнно тянетъ всѣхъ разрѣшить ихъ въ данный моментъ. Гордіевъ узелъ нельзя было распутать пальцами, а между тѣмъ всѣ ломали голову, какъ-бы его распутать именно пальцами; но пришелъ Александръ—и разсѣкъ узелъ мечомъ, тѣмъ и разрѣшилъ загадку.

Но вотъ еще, напримѣръ, одно газетное мнѣніе; впрочемъ, не одно газетное: это старинное, дипломатическое мнѣніе, а также мнѣніе множества ученыхъ, профессоровъ, фельетонистовъ, публицистовъ, романистовъ, западниковъ, славянофиловъ и проч., и проч., именно: что Константинополь, въ концѣ концовъ, будетъ никому не принадлежать, что это будетъ нѣчто въ родѣ вольнаго города, международнаго, однимъ словомъ, въ родѣ какого-то „общаго мѣста“. Охранять-же его будетъ европейское равновѣсіе и т. д. Однмъ словомъ, вмѣсто простаго, прямаго и яснаго рѣшенія, единственно возможнаго, является какая-то сложная и неестественная ученая комбинація. Но спросить только: что такое европейское равновѣсіе? Равновѣсіе это предполагалось до сихъ поръ между нѣсколькими наиболѣе могучими европейскими державами,—ну, пятью напримѣръ, равнаго вѣса (то есть, предполагалось такъ сказать изъ деликатности что они равнаго вѣса). И вотъ, пять волковъ разлягутся кругомъ, а въ срединѣ ихъ лакомый кусокъ (Константинополь) и всѣ пятеро только и дѣлаютъ, что оберегаютъ одинъ отъ другаго добычу. И это называется шедэвромъ, мейстерштюкомъ разрѣшенія вопроса! Но разрѣшаетъ-ли это хоть что-нибудь? Ужь одно то, что все ос-

новано на первобытной нелѣпицѣ, на фактѣ фантастическомъ и никогда не существовавшемъ, на фактѣ даже ненатуральномъ—на равновѣсіи. Существовало-ли когда-нибудь политическое равновѣсіе на свѣтѣ въ самомъ дѣлѣ? Положительно нѣтъ! Это только хитрая формула, созданная въ свое время хитрыми людьми, чтобъ надувать простячковъ. Россія хоть и не простячокъ, но честный человѣкъ, а потому всѣхъ чаще, кажется, вѣрила въ ненарушимость истинъ и законовъ этого равновѣсія, и много разъ искренно сама исполняла ихъ, и служила имъ охранительницей. Въ этомъ смыслѣ Россію Европа чрезвычайно нагло эксплуатировала. За то, изъ остальныхъ равновѣсящихъ, кажется, никто не думалъ объ этихъ равновѣсныхъ законахъ серьезно, хотя довремени и исполнялъ формалистику, но лишь довремени: когда, по разсчетамъ, выдавался успѣхъ—всякій нарушалъ это равновѣсіе, ни объ чемъ не заботясь. Комичнѣе всего то, что всегда сходило съ рукъ и всегда тотчасъ-же наступало опять „равновѣсіе". Когда-же случалось и Россіи,—не нарушить что-нибудь, а лишь чуть-чуть подумать о своемъ интересѣ,—то тотчасъ-же всѣ остальныя равновѣсія соединялись въ одно и двигались на Россію: „нарушаешь-де равновѣсіе". Ну, вотъ то-же самое будетъ и при международномъ Константинополѣ: будутъ лежать пять волковъ, скаля другъ на друга зубы, и каждый про себя изобрѣтая комбинацію: какъ-бы соединиться съ сосѣдями и какъ-бы, истребивъ остальныхъ волковъ, повыгоднѣе раздѣлить кусокъ. Неужто это есть разрѣшеніе? Между тѣмъ, между волками—охранителями происходятъ тоже своего рода новыя комбинаціи: вдругъ одинъ какой-нибудь изъ пяти волковъ, да еще самый сѣрый, въ одинъ день, въ одинъ часъ, какимъ-нибудь такимъ несчастнымъ для него случаемъ, обращается изъ волка въ крошечную комнатную собаченку, даже совсѣмъ ужь и не лающую. Вотъ ужь и потрясеніе въ равновѣсіи! Мало того, можетъ случиться въ будущемъ Европы, что изъ пяти равновѣсныхъ силъ могутъ образоваться просто на просто только двѣ, и тогда,—гдѣ тогда ваша комбинація, господа мудрецы?... Кстати, я-бы осмѣлился выговорить одну аксіому: „никогда не будетъ такого момента въ Европѣ, такого въ ней политическаго состоянія вещей, чтобы Константинополь *не былъ чьимъ-нибудь*, т. е. не принадлежалъ-бы кому-нибудь". Вотъ эта аксіома и мнѣ кажется—не возможно, чтобъ было иначе. Если-же позволите мнѣ пошутить, то вѣрнѣе всего развѣ то, что въ самую послѣднюю и рѣшительную минуту, Константинополь вдругъ захватятъ англичане, какъ захватили они Гибралтаръ, Мальту и пр. И именно тогда, когда державы будутъ все еще думать о равновѣсіи. Именно эти самые англичане, съ такимъ материнскимъ участіемъ оберегающіе теперь неприкосновенность Турціи, пророчествующіе ей возможность великой будущности, цивилизаціи, вѣрящіе въ ея живыя начала,—именно они-то, когда увидятъ, что дѣло дошло до порога, именно они-то и скушаютъ султана и Константинополь. Это такъ въ ихъ характерѣ, въ ихъ направленіи, такъ сходно съ ихъ всегдашнею наглою дерзостью, съ ихъ насиліемъ, съ ихъ ехидностью! Удержатся-ли въ Константинополѣ, какъ въ Гибралтарѣ,

это другой вопросъ! Все это, конечно, теперь только шутка, я и выдаю какъ за шутку, но не худо-бы, однако, эту шутку запомнить: ужасно похожа на правду...

III.

Комбинаціи и комбинаціи.

Итакъ, въ рѣшеніе Восточнаго вопроса допускаются всѣ комбинаціи, кромѣ самой ясной, самой здравой, самой простой и естественной. Даже такъ можно сказать: чѣмъ неестественнѣе предполагается разрѣшеніе, тѣмъ скорѣе и схватится за него общественное и общее мнѣніе. Вотъ, напримѣръ, еще одна „неестественность": предполагается, что „если-бы Россія заявила вслухъ о своемъ безкорыстіи на всю Европу, то дѣло было-бы разомъ разрѣшено и покончено". Но—блаженъ кто вѣруетъ! Да если-бъ Россія не только объявила, а и доказала-бы даже, de facto, свое безкорыстіе, то это, можетъ быть, еще пуще смутило-бы Европу. Ну, что-жь такое, что мы ничего не возьмемъ себѣ, „облагодѣтельствуемъ" и уйдемъ назадъ, ничѣмъ не попользовавшись, а только лишь доказавъ Европѣ наше безкорыстіе. Да Европѣ это тѣмъ даже хуже: „Чѣмъ безкорыстнѣе ты ихъ облагодѣтельствовала, тѣмъ пуще доказала имъ, что не посягаешь на ихъ независимость; тѣмъ довѣрчивѣе, тѣмъ преданнѣе станутъ они къ тебѣ,—все равно какъ за солнце будутъ впредь почитать тебя, за верхъ, за зенитъ, за Имперію. И что-жь, что они будутъ автономны, а не твоими подданными: за то, въ душѣ признаютъ себя твоими подданными, безсознательно даже признавать будутъ, невольно". Вотъ эта-то неминуемость нравственнаго пріобщенія славянъ къ Россіи, рано-ли, поздно-ли, эта такъ сказать, естественность, законность этого ужаснаго для Европы факта и составляетъ кошмаръ ея, ея главныя опасенія въ будущемъ. Съ ея стороны только силы и комбинаціи, а съ нашей стороны—законъ природы, естественность, родственность, правда; за кѣмъ-же, стало быть, будущее славянскихъ земель?

А, между тѣмъ, есть именно въ Европѣ одна комбинація, основанная на совершенно противуположномъ началѣ и до того *вѣроятная,* что можетъ быть будетъ имѣть даже будущность. Эта новая комбинація тоже англійскаго издѣлія; это—такъ сказать, поправка всѣхъ ошибокъ и промаховъ торійской партіи. Основана она на томъ, чтобъ немедленно облагодѣтельствовать славянъ самой Англіей, но съ тѣмъ, однако, чтобъ подѣлать изъ нихъ, навѣки вѣчные, враговъ и ненавистниковъ Россіи. Предполагается отказаться, наконецъ, отъ турокъ, уничтожить турокъ, какъ людей отпѣтыхъ и ни на что неспособныхъ и изъ всѣхъ христіанскихъ народовъ Балканскаго полуострова составить союзъ съ центромъ въ Константинополѣ. Освобожденные и благодарные славяне естественно потянутся къ Англіи, какъ къ своей спасительницѣ и освободительницѣ, а она „откроетъ тогда имъ глаза на Россію": „Вотъ, дескать, вашъ злѣйшій врагъ; она, подъ видомъ заботъ о васъ, спитъ и видитъ, какъ-бы васъ проглотить и лишить васъ неминуемой, славной политической будущности вашей". Такимъ образомъ, когда славяне увѣрятся въ коварствѣ Рос-

сіи, то составятъ тотчасъ-же новый и сильнѣйшій оплотъ противъ нея и— „не видать тогда Россіи Константинополя, не пустятъ они ее туда никогда!“

Хитрѣе и, на первый взглядъ, мѣтче трудно что и придумать. Главное— такъ просто и основано на существующемъ фактѣ. Про фактъ этотъ уже я заговаривалъ прежде, вскользь. Состоитъ онъ въ томъ, что въ части славянской интеллигенціи, въ нѣкоторыхъ высшихъ представителяхъ и предводителяхъ славянъ, существуетъ дѣйствительно затаенная недовѣрчивость къ цѣлямъ Россіи, а потому даже враждебность къ Россіи и русскимъ. О, я не про народъ говорю, не про массу. Для народовъ славянскихъ, для сербовъ, для черногорцевъ—Россія все еще солнце, все еще надежда, все еще другъ, мать и покровительница ихъ, будущая освободительница! Но интеллигенція славянская—дѣло другое. Разумѣется, я говорю не про всю интеллигенцію; я не осмѣлюсь и не позволю себѣ сказать про всѣхъ; „но *хоть далеко не всѣ*, но, однако-же, даже изъ самыхъ министерскихъ ихнихъ головъ“ (какъ выразился я въ августовскомъ моемъ „Дневникѣ“) найдутся такія, которымъ только и мерещится, что Россія коварна, спитъ и видитъ, какъ-бы ихъ отвоевать и проглотить“. Нечего скрывать намъ отъ самихъ себя, что насъ, русскихъ, очень даже многіе изъ образованныхъ славянъ, можетъ быть, даже и вовсе не любятъ. Они, напримѣръ, все еще считаютъ насъ, сравнительно съ собой, необразованными, чуть не варварами. Они далеко не очень интересуются нашими успѣхами гражданской жизни, нашимъ внутреннимъ устройствомъ, нашими реформами, нашей литературой. Развѣ ужь очень ученые изъ нихъ знаютъ про Пушкина, но и изъ знающихъ врядъли найдется ужь очень много такихъ, которые согласятся признать его за великаго славянскаго генія. Очень многіе изъ образованныхъ чеховъ увѣрены, напримѣръ, что у нихъ было уже сорокъ такихъ поэтовъ, какъ Пушкинъ. Кромѣ того, всѣ эти славянскія отдѣльности, въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ теперь, — политически самолюбивы и раздражительны, какъ націи неопытныя и жизни незнающія. Между такими англійская комбинація могла-бы имѣть успѣхъ, если-бъ могла пойти въ ходъ. И трудно представить, почему-бы ей не пойти, если-бъ, съ побѣдою въ Англіи виговъ, дошла и до нея очередь. А, между тѣмъ, сколько въ ней искусственности, неестественности, невозможности, лжи!

Во-первыхъ, какъ соединить такія несходныя разнородности Балканскаго полуострова, да еще съ центромъ въ Константинополѣ? Тутъ Греки, Славяне, Румыны. Чей будетъ Константинополь? Общій. Вотъ и рознь и свара, хоть у грековъ съ славянами на первый случай (если предположить даже, что славяне будутъ всѣ въ согласіи). Скажутъ: можно поставить главу, основать имперію,—такъ, кажется и предполагается въ мечтахъ проэкта. Но кто же императоромъ, — славянинъ, грекъ, ужь не изъ Габсбургскаго ли дома? Во всякомъ случаѣ, тотчасъ-же начнутся дуализмы, бифуркаціи. Главное, греческій и славянскій элементы не соединимы: оба элемента эти съ огромными, совсѣмъ несоизмѣримыми и фальшивыми мечтами, каждый о предстоящей ему собственной славной политической будущности. Нѣтъ, Англія, если ужь разъ-бы захотѣла рѣ-

шиться оставить турокъ, то устроитъ все это прочнѣе. Вотъ тутъ-то, мнѣ кажется, и могла бы произойти та комбинація, которую я, выше, назвалъ шуткой, т. е. Англія сама проглотитъ Константинополь „для блага, дескать, славянъ“. „Я изъ васъ, славяне, составлю на Сѣверѣ союзъ и оплотъ противъ сѣвернаго колосса, чтобъ не пустить его въ Константинополь, потому что—разъ онъ захватитъ Константинополь, то захватитъ и всѣхъ васъ. Тогда и не будетъ у васъ никакой славной политической будущности. Не безпокойтесь и вы, греки, Константинополь вашъ; я именно хочу, чтобъ онъ былъ вашъ, а для того и занимаю его. Я только, чтобъ его Россіи не дать. Славяне его съ Сѣвера защитятъ, а я съ моря—и никого не пустимъ. Я же только временно постою въ Константинополѣ, пока вы укрѣпитесь и пока изъ васъ составится уже твердая и зрѣлая союзная имперія. А до тѣхъ поръ я ваша руководительница и оборона. Мало ли гдѣ я ни стояла, у меня и Гибралтаръ, и Мальта; воротила же я Іоническіе острова“...

Однимъ словомъ, если это издѣлье виговъ могло бы получить ходъ, то, повторяю, трудно сомнѣваться въ успѣхѣ, но конечно лишь на время. Мало того, это время могло бы, пожалуй, протянуться и на много лѣтъ, но... тѣмъ неминуемѣе все это и сокрушится, когда придетъ къ тому натуральный предѣлъ, и ужъ тогда-то—крушеніе будетъ окончательное, потому что вся эта комбинація основана лишь на клеветѣ и на неестественности.

Ложь въ томъ, что оклеветана Росія. Никакой туманъ не устоитъ противъ лучей правды. Поймутъ когда нибудь даже и народы славянскіе всю правду русскаго безкорыстія, а къ тому времени восполнится и духовное ихъ единеніе съ нами. Вѣдь, дѣятельное единеніе наше съ славянами началось чрезвычайно недавно, но теперь—теперь оно уже никогда не остановится и все будетъ продолжаться болѣе и болѣе. Славяне увѣрятся, наконецъ, если-бъ состоялась даже всевозможная клевета, въ русской родственной любви къ нимъ. На нихъ подѣйствуетъ неотразимое обаяніе великаго и мощнаго русскаго духа, какъ начала имъ родственнаго. Они почувствуютъ, что нельзя имъ развиться духовно въ мелкихъ объединеніяхъ, сварахъ и завистяхъ, а лишь всецѣло, всеславянски. Огромность и могущество русскаго единенія не будутъ уже смущать и пугать ихъ, а, напротивъ, привлекутъ ихъ неотразимо, какъ къ центру, какъ къ началу. Единство вѣры тоже послужитъ чрезвычайною связью. Русская вѣра, русское православіе есть все, что только русскій народъ считаетъ за свою святыню; въ ней его идеалы, вся правда и истина жизни. А славянскіе народы—чѣмъ и единились, чѣмъ и жили, какъ не вѣрой своей, во времена страданій своихъ подъ мусульманскимъ четырехвѣковымъ игомъ? Они столько за нее вынесли мученій, что она ужь этимъ однимъ должна быть имъ дорога. Наконецъ, за Славянъ пролита уже русская кровь, а кровь не забывается никогда. Хитрые люди все это просмотрѣли. Возможность оклеветать славянамъ Россію ободряетъ ихъ успѣхомъ и вѣрой въ крѣпость успѣха. Но такой успѣхъ не вѣковѣченъ. Временно же, повторяю, онъ могъ-бы осуществиться. Комбинація эта рѣшительно можетъ получить ходъ, если

восторжествуютъ виги и это надо бы имѣть въ виду. Англичане рѣшатся на нее просто чтобъ предупредить Россію, когда прійдетъ крайній срокъ: „сами, дескать, съумѣемъ облагодѣтельствовать".

Кстати, о пролитой крови. А что, если наши добровольцы, хоть и безъ объявленія Россіей войны, разобьютъ, наконецъ, турокъ и освободятъ славянъ? Русскихъ добровольцевъ, какъ слышно, столько прибываетъ изъ Россіи, а пожертвованія до того идутъ непрерывно, что, подконецъ, если такъ продолжится, у Черняева, можетъ быть, и впрямь составится цѣлая армія русскихъ. Во всякомъ случаѣ, Европа и ея дипломаты были бы очень удивлены такимъ результатомъ: „Если ужь одни добровольцы ихъ одолѣли турокъ, что-жь было бы, если-бъ вся Россія ополчилась?" Безъ такого разсужденія не обошлось бы въ Европѣ.

Дай Богъ успѣха русскимъ добровольцамъ; а слышно, русскихъ офицеровъ убиваютъ опять въ битвахъ десятками. Милые!

Нелишнее сдѣлать и еще одно маленькое замѣчаньице, и, помоему, довольно настоятельное. Въ нашихъ газетахъ, по мѣрѣ наплыва русскихъ добровольцевъ въ Сербію и многочисленныхъ геройскихъ смертей ихъ въ сраженіяхъ, открыта недавно еще новая рубрика пожертвованій: „*Въ пользу семействъ русскихъ людей, павшихъ на войнѣ съ турками, за освобожденіе балканскихъ славянъ*" — и пожертвованія начали стекаться. Въ „Голосѣ" уже собрано на эту рубрику до трехъ тысячь рублей, и чѣмъ больше будутъ жертвовать, тѣмъ, конечно, будетъ лучше. Несовсѣмъ хорошо только то, что, помоему, эта формула пожертвованій — составлена не въ достаточной полнотѣ. Вспоможенія собираются лишь для семействъ русскихъ людей, *павшихъ* на войнѣ и т. д. А для семействъ искалѣченныхъ? Неужели этимъ ничего не достанется? А вѣдь этимъ семействамъ можетъ быть труднѣе, чѣмъ павшихъ. Павшій ужь палъ и его оплакиваютъ, а этотъ воротился калѣкой, безъ ногъ, безъ рукъ, или такъ израненый, что здоровье его постоянно будетъ требовать съ этой поры и усиленнаго ухода и врачебной помощи. Кромѣ того, хоть и искалѣченный, а, все-таки, онъ ѣстъ и пьетъ, стало быть, прибавился въ бѣдномъ семействѣ лишній ротъ. Кромѣ того, мнѣ кажется, въ этой рубрикѣ есть и еще одна весьма ошибочная неопредѣленность: „*Въ пользу семействъ русскихъ людей, павшихъ*" и т. д. Но, вѣдь, есть семейства достаточныя или мало нуждающіяся, есть и совсѣмъ бѣдныя, очень нуждающіяся. Если всѣмъ раздавать, то мало останется совсѣмъ уже бѣднымъ; а потому, мнѣ кажется, всю эту рубрику можно бы было передѣлать хоть такъ: „*Въ пользу нуждающихся семействъ русскихъ людей, павшихъ или искалѣченныхъ въ войнѣ съ турками, за освобожденіе балканскихъ славянъ*". Впрочемъ, я выставляю лишь идею; а если удастся кому нибудь формулировать и еще точнѣе, то тѣмъ, конечно, лучше. Желательно бы только, чтобъ эта рубрика пожертвованій наполнялась быстрѣе и обильнѣе. Она чрезвычайно полезна, совершенно необходима и можетъ имѣть большое нравственное вліяніе на сражающихся за русскую идею великодушныхъ добровольцевъ нашихъ.

—

IV.

Халаты и мыло.

Между сужденіями о Восточномъ вопросѣ, я встрѣтилъ одинъ уже совершенный курьезъ. Какъ-то разъ, недавно, въ заграничной прессѣ появилась странная вещь: Въ горячихъ почти фантастическихъ представленіяхъ принялись воображать, что станется со всѣмъ міромъ, если уничтожить Турцію совсѣмъ и выдвинуть ее обратно въ Азію. Выходило, что будетъ бѣда, страшное потрясеніе. Предсказывали даже, что въ Азіи, гдѣ нибудь въ Аравіи, явится новый калифатъ, воскреснетъ вновь фанатизмъ и мусульманскій міръ низринется опять на Европу. Болѣе глубокіе мыслители ограничивались лишь мнѣніемъ, что взять-де и выселить этакъ всю націю изъ Европы въ Азію—вещь невозможная и вообще немыслимая. Когда я читалъ все это, мнѣ почему-то было очень удивительно; но я все еще не догадывался въ чемъ дѣло. И вдругъ понялъ, что всѣ эти дипломаты-мечтатели и въ самомъ дѣлѣ ставятъ вопросъ въ буквальномъ смыслѣ, то есть, что, какъ будто, дѣло идетъ и въ самомъ дѣлѣ о томъ, чтобъ, уничтоживъ Турецкую имперію политически, дѣйствительно, буквально, вещественно взять и перевезти всѣхъ турокъ куда нибудь туда, въ Азію. Какъ могло зародиться такое понятіе—рѣшительно не понимаю; по крайней мѣрѣ, на банкетахъ и митингахъ этимъ несомнѣнно стращали народъ: будетъ-де страшное потрясеніе, бѣда. Между тѣмъ, мнѣ кажется, ровно ничего не могло бы быть и рѣшительно ни одного таки турка не пришлось бы переселить въ Азію. У насъ въ Россіи уже разъ случилось нѣчто въ этомъ же родѣ. Когда кончилась татарская Орда, усилилось вдругъ Казанское царство, и дотого наконецъ, что одно время даже трудно бы было предсказать: за кѣмъ останется русская земля,—за христіанствомъ или мусульманствомъ? Это царство владычествовало надъ тогдашнимъ Востокомъ Россіи, сносилось съ Астраханью, держало въ рукахъ Волгу, а съ боку Россіи объявился у него великолѣпный союзникъ, ханъ Крымской орды, страшный разбойникъ и грабитель, отъ котораго много досталось Москвѣ. Дѣло было настоятельное—и молодой царь Иванъ Васильевичъ, тогда еще не Грозный, рѣшилъ кончить съ этимъ тогдашнимъ Восточнымъ вопросомъ и взять Казань.

Осада была ужасная,—и Карамзинъ описалъ ее потомъ чрезвычайно красноречиво. Казанцы защищались какъ отчаянные, превосходно, упорно, устойчиво, выносливо. Но вотъ взорвали подкопы и пустили толпы на приступъ,—взяли Казань! Что-жь, какъ поступилъ царь Иванъ Васильевичъ, войдя въ Казань? Истребилъ ли ея жителей поголовно, какъ потомъ въ Великомъ Новгородѣ, чтобъ и впредь не мѣшали? Переселилъ ли казанцевъ куда нибудь въ степь, въ Азію? Ничуть; даже ни одного татарченка не выселилъ, все осталось попрежнему, и геройскіе, столь опасные прежде казанцы, присмирѣли навѣки. Произошло же это самымъ простымъ и сообразнымъ образомъ: только что овладѣли городомъ, какъ тотчасъ же и внесли въ него икону Божьей Матери и отслужили въ Казани молебенъ, въ первый разъ съ ея основанія. Затѣмъ заложили православный храмъ, отобрали тщательно оружіе у жителей, поставили русское пра-

вительство, а царя Казанскаго вывезли куда слѣдовало,—вотъ и все; и все это совершилось въ одинъ даже день. Немного спустя—и казанцы начали намъ продавать халаты, еще немного—стали продавать и мыло. (Я думаю, что это произошло именно въ такомъ порядкѣ, т. е. сперва халаты, а потомъ ужь мыло). Тѣмъ дѣло и кончилось. Точь въ точь и точно также дѣло кончилось бы и въ Турціи, если-бъ пришла благая мысль уничтожить, наконецъ, этотъ калифатъ политически.

Во-первыхъ, тотчасъ же бы отслужили молебенъ въ Святой Софіи; затѣмъ патріархъ освятилъ бы вновь Софію; изъ Москвы, я думаю въ тотъ же день подоспѣлъ бы колоколъ, султана бы вывезли куда слѣдуетъ,—и тѣмъ все бы и кончилось. Правда, есть у турокъ одинъ законъ, почти что догматъ корана, именно: что одинъ только мусульманинъ можетъ и долженъ носить оружіе, а райя нѣтъ. Въ послѣднее время стали позволять они и райѣ имѣть оружіе, но за большую лишь пошлину, такъ что и новый доходъ государственный выдумали—и носящихъ оружіе вышло, все-таки, сравнительно чрезвычайно мало. Ну, такъ вотъ развѣ этотъ только одинъ законъ можно бы было въ самый первый день, т. е. въ день перваго молебна въ Святой Софіи, измѣнить обратно, въ томъ смыслѣ, что только райя можетъ и долженъ носить оружіе, а мусульманинъ ни за что и даже за пошлину. Ну, вотъ и все обезпеченіе тишины—и увѣряю, что больше ровно ничего и не надо. Прошло бы немного — и турки тотчасъ же принялись бы намъ продавать халаты, а еще немного—и мыло, и можетъ быть даже лучше казанскаго. Что же до земледѣлія, до табачнаго и винограднаго производствъ, то всѣ эти части, при новыхъ порядкахъ и новыхъ законахъ, поднялись бы, думаю, съ такой быстротой, съ такимъ успѣхомъ, что ужь конечно, мало по малу, выплатили бы наконецъ даже и неоплатные долги прошлаго турецкаго государства Европѣ. Однимъ словомъ, ровно ничего бы не вышло, кромѣ самаго хорошаго и самаго подходящаго, ни самомалѣйшаго потрясенія, и, повторяю, ни единаго даже турчонка не пришлось бы выселить изъ Европы...

И на Востокѣ ничего бы не произошло. Калифатъ-то, пожалуй, гдѣ нибудь и объявился бы, гдѣ нибудь въ азіятской степи, въ пескахъ; но, чтобъ низринуться на Европу, въ нашъ вѣкъ потребно столько денегъ, столько орудій новаго образца, столько ружей, заряжающихся съ казенной части, столько обоза, столько предварительныхъ фабрикъ и заводовъ, что не только мусульманскій фанатизмъ, но даже самый англійскій фанатизмъ не въ состояніи былъ бы ничѣмъ помочь новому калифату. Однимъ словомъ, рѣшительно ничего не будетъ, кромѣ хорошаго. И дай бы Богъ поскорѣе это хорошее, а то, вѣдь, такъ много дурнаго!

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Застарѣлые люди.

„Всякая высшая и единящая мысль и всякое вѣрное единящее всѣхъ чувство — есть величайшее счастье въ жизни націй. Это счастье посѣтило насъ. Мы не могли не ощутить всецѣло нашего умножившагося согласія, разъясненія многихъ прежнихъ недоумѣній, усилившагося самосознанія нашего“.

Вотъ что высказалъ я въ заключительной статьѣ прошлаго августовскаго моего „Дневника“,—и вѣрую, что не ошибся. Вѣрное единящее чувство въ жизни націй — есть дѣйствительно счастье. Если въ чемъ я и ошибся, такъ это въ томъ, развѣ, что, можетъ быть, нѣсколько преувеличилъ степень нашего „умножившагося согласія и самосознанія“. Но и въ этомъ я еще не готовъ уступить. Кто любитъ Россію, у того давно уже болѣло сердце за то разъединеніе высшихъ слоевъ русскихъ людей съ низшими, съ народомъ и съ народною жизнью, которое, какъ существующій фактъ, не подвержено теперь ничьему сомнѣнію. Вотъ это-то разъединеніе отчасти поддалось и ослабѣло, по моему взгляду, съ настоящимъ всерусскимъ движеніемъ нынѣшняго года поповоду славянскаго дѣла. Конечно, возможности нѣтъ представить себѣ, чтобъ разрывъ нашъ съ народомъ былъ-бы уже совершенно покончепъ и излеченъ. Онъ продолжается и будетъ долго еще продолжаться, но такія историческія минуты, какъ пережитыя нами въ нынѣшнемъ году, безъ сомнѣнія способствуютъ и „умножившемуся согласію, и разъясненію недоумѣній“,—однимъ словомъ, способствуютъ нашему болѣе ясному пониманію народа и русской жизни—съ одной стороны, а съ другой—болѣе близкому знакомству и самаго народа съ странными, какъ-бы чужими людьми для него, какъ будто и не русскими,—съ „господами“, какъ называетъ онъ насъ и доселѣ.

Надо признаться, что народъ и теперь, во всемъ этомъ общерусскомъ движеніи этого года, выказалъ себя съ болѣе здравой, точной и ясной стороны, чѣмъ многіе изъ интеллигентнаго нашего класса. У народа высказалось чувство прямое, простое и сильное, воззрѣніе твердое и—главное, съ удивительною общностью и согласіемъ. Тамъ даже и спора не возникало о томъ: „за что именно помогать славянамъ? Надо-ли помогать? Кому лучше и больше помогать, а кому не помогать совсѣмъ? Не испортимъ-ли мы какимъ нибудь случаемъ нашей нравственности и не повредимъ-ли нашему гражданскому развитію тѣмъ, что слишкомъ ужь будемъ помогать? Съ кѣмъ, наконецъ, намъ воевать, да и нужно-ли воевать?“ и пр., и пр. Однимъ словомъ, тысяча недоумѣній, которые посѣтили, однако-же, нашу интеллигенцію. Особенно въ иныхъ отдѣленіяхъ нашей высшей интеллигенціи, именно тамъ, гдѣ на народъ до сихъ поръ смотрятъ еще свысока, презирая его съ высоты европейскаго образованія (иногда совсѣмъ мнимаго), тамъ, въ этихъ выс-

шихъ „отдѣльностяхъ“, обнаружилось довольно чрезвычайныхъ диссонансовъ, нетвердость взгляда, странное непониманіе иногда самыхъ простыхъ вещей, почти смѣшное колебаніе въ томъ, что дѣлать и чего не дѣлать, и пр., и пр. „Помогать или не помогать славянамъ? А если помогать, то за что именно помогать—и за что будетъ нравственнѣе и красивѣе помогать: за то или за это?“ Всѣ эти черты, иногда до странности поражавшія, проявились дѣйствительно, слышались въ разговорахъ, выказались въ фактахъ, отразились въ литературѣ. Но ни одной статьи въ этомъ родѣ не читалъ я удивительнѣе статьи „Вѣстника Европы“, за сентябрь мѣсяцъ сего года, въ отдѣлѣ „Внутренняго обозрѣнія“. Статья именно трактуетъ о настоящемъ текущемъ русскомъ движеніи, поповоду братской помощи угнетеннымъ славянамъ, и тщится бросить на этотъ предметъ взглядъ какъ можно глубокомысленнѣе. Это мѣсто статьи, касающееся русскаго народа и общества невелико—четыре или пять страничекъ, а потому я и позволю себѣ прослѣдить эти странички, такъ сказать, попорядку, разумѣется, не все выписывая. Помоему, эти странички чрезвычайно любопытны и составляютъ, такъ сказать, въ своемъ родѣ документъ. Цѣль моего поступка опредѣлится сама собой въ концѣ этой предпринятой мною работы, такъ что, я думаю даже и не надо будетъ выводить особаго нравоученія.

Впрочемъ, въ видѣ самаго краткаго предувѣдомленія замѣчу лишь то, что авторъ статьи принадлежитъ, какъ это слишкомъ ясно, къ тому устарѣвшему теоретическому западничеству, которое, четверть вѣка тому назадъ, составляло въ нашемъ обществѣ, такъ сказать, зенитъ интеллигентныхъ силъ нашихъ; теперь же дотого устарѣло, что въ чистомъ, первобытномъ своемъ состояніи встрѣчается въ видѣ большой уже рѣдкости. Это, такъ сказать, обломки, послѣдніе Могикане теоретическаго, оторвавшагося отъ народа и жизни, русскаго европейничанья, которое, хотя и имѣло, въ свою очередь, когда-то, свою необходимую причинность существованія, тѣмъ не менѣе, оставило по себѣ, мимо однако же и своего рода пользы, чрезвычайно много самаго вреднаго, предразсудочнаго вздора, продолжающаго вредить и до сихъ поръ. Главная историческая польза этихъ людей была отрицательная и состояла въ крайности ихъ выводовъ и окончательныхъ приговоровъ, (ибо были они столь надменны, что приговаривали не иначе, какъ окончательно), въ тѣхъ послѣднихъ столпахъ, до которыхъ доходили они въ изступленныхъ своихъ теоріяхъ. Эта крайность невольно способствовала отрезвленію умовъ и повороту къ народу, къ соединенію съ народомъ. Теперь, послѣ всей этой четверти вѣка и послѣ множества новыхъ, прежде неслыханныхъ фактовъ, добытыхъ уже практическимъ изученіемъ русской жизни,—эти „послѣдніе Могикане“ старыхъ теорій невольно представляются въ комическомъ видѣ, несмотря даже на ихъ усиленно почтенную осанку. Главная же смѣшная черта ихъ въ томъ, что они все еще продолжаютъ считать себя молодыми и единственными хранителями и, такъ сказать, „носителями указаній“ тѣхъ путей, по которымъ слѣдовало бы, по ихъ мнѣнію, идти настоящей русской жизни. Но отъ жизни этой они дотого уже отстали, что рѣшительно перестаютъ узнавать ее; а потому и живутъ въ совершенно фантастическомъ мірѣ.

Вотъ почему чрезвычайно любопытно и назидательно, въ минуту какого нибудь сильнаго общественнаго одушевленія, прослѣдить, до какой степени этотъ теоретическій европеизмъ фальшиво разъединился съ народомъ и обществомъ, до какой степени взгляды его и рѣшенія, въ иную чрезвычайную минуту общественной жизни хотя и попрежнему надменны и высокомѣрны, въ сущности — слабы, шатки, темны и ошибочны, сравнительно съ ясными, простыми, твердыми и непоколебимыми выводами народнаго чувства и разума. Но обратимся, однако, къ статьѣ.

Надо, впрочемъ, отдать справедливость автору статьи; онъ признаетъ, то есть, соглашается признать и народное, и общественное движеніе въ пользу славянъ, признаетъ его даже достаточно искреннимъ. Конечно, еще бы онъ не призналъ его!... но, все же для такого застарѣлаго „европейца", какъ нашъ авторъ, это заслуга немалая. А, между тѣмъ, онъ все какъ бы чѣмъ-то недоволенъ, ему почему-то не нравится, что это движеніе началось. Правда, онъ прямо не высказывается, что недоволенъ тѣмъ что движеніе началось, но за то брюзжитъ и придирается къ подробностямъ. Мнѣ кажется, Грановскій, одинъ изъ самыхъ чистѣйшихъ и первоначальныхъ представителей теоретическаго западничества нашего, тоже писавшій въ свое время о Восточномъ вопросѣ и о тогдашнемъ, впрочемъ лишь нѣсколько подобномъ настоящему, народномъ движеніи въ войну 54—56 годовъ (см. мою статью о Грановскомъ въ августовскомъ моемъ „Дневникѣ")— Грановскій, говорю я, мнѣ кажется, былъ бы тоже недоволенъ нашимъ теперешнимъ народнымъ движеніемъ, и ужь, конечно, предпочелъ бы видѣть скорѣе народъ нашъ по прежнему въ видѣ неподвижной косной массы, чѣмъ проявляющимся въ такихъ отчасти даже неразвитыхъ и, такъ сказать, первобытныхъ формахъ, не подходящихъ къ нашему европейскому вѣку. И, вообще, всѣ эти прежніе старые теоретики, хоть и любили народъ (хотя, впрочемъ, намъ это не очень извѣстно), но любили его до того лишь въ теоріи, то есть, до того въ тѣхъ мечтательныхъ представленіяхъ и формахъ, въ которыхъ желали бы его видѣть, что въ сущности, какъ бы даже и не любили его вовсе. Впрочемъ, въ оправданіе ихъ, надо признаться, что они никогда и не знали народа вовсе, да и не находили нужнымъ знать его и съ нимъ знаться. Они не то что *извращали факты*, а просто не понимали ихъ совсѣмъ, такъ что много, слишкомъ много разъ чистѣйшее золото народнаго духа, смысла и глубокаго, чистѣйшаго чувства причислялось ими прямо къ пошлости, невѣжеству и тупому народному русскому безсмыслію. Проявись народъ передъ ними чуть-чуть не въ тѣхъ видахъ и образахъ, въ которыхъ имъ правилось, (большею частью, въ видѣ французской парижской черни) и они, можетъ отказались бы отъ него вовсе. „Прежде всего надо устранить всякую мысль что война эта священная", восклицаетъ Грановскій въ своей брошюрѣ о Восточномъ вопросѣ,—„нынѣ де на Крестовый походъ никого не подымешь, не тотъ вѣкъ нынче, никто не двинется на освобожденіе гроба Господня" и т. д. и т. д. Точь въ точь и теоретикъ „Вѣстника Европы": ему тоже не нравятся рубрики, онъ придирается къ нимъ. Ему очень не нравится напримѣръ, что народъ нашъ

и общество жертвуютъ не подъ той рубрикой какъ бы ему хотѣлось. Онъ хочетъ взгляда болѣе такъ сказать подходящаго къ нашему вѣку, болѣе просвѣщеннаго. Но мы опять отступили въ сторону.

Пропускаемъ начало этого мѣста статьи о русскомъ движенiи въ пользу славянъ—начало очень характерное въ своемъ родѣ, но мы не можемъ останавливаться на каждой строчкѣ. Вотъ что говоритъ авторъ далѣе.

II.

Кифо-Мокiевщина.

„Нельзя, впрочемъ, отрицать, что среди многочисленныхъ заявленiй, появлявшихся по этому дѣлу въ нашихъ газетахъ, были нѣкоторыя странныя и безтактныя; не говоря уже о тѣхъ, въ которыхъ виднѣлось желанiе слишкомъ выставить свою личность, такъ какъ это не важно, мы должны указать на тѣ, въ которыхъ обнаруживался сыскъ почасти чувствъ русскихъ гражданъ невеликоруссовъ. Эта нехорошая привычка, къ сожалѣнiю, все еще не оставила насъ, а, по самой сущности дѣла, о которомъ говорилось, требовалась особая осторожность въ отношенiи всѣхъ нацiональностей, входящихъ въ общую русскую народность. Замѣтимъ еще, что вообще движенiю въ пользу славянъ не слѣдуетъ придавать слишкомъ вѣроисповѣдный характеръ, безпрестанно упоминая о „нашихъ единовѣрцахъ“. Для возбужденiя русскаго общества къ оказанiю славянамъ помощи, совершенно достаточны тѣ мотивы, которые могутъ соединять всѣхъ русскихъ гражданъ—и излишни тѣ мотивы, которые могутъ разъединять ихъ. Если мы будемъ объяснять себѣ наше сочувствiе къ славянамъ, главнымъ образомъ, тѣмъ, что они наши единовѣрцы, то какъ же мы должны будемъ относиться къ тѣмъ изъ нашихъ мусульманъ, которые стали бы собирать пожертвованiя въ пользу турокъ или заявили бы желанiе ѣхать въ турецкую армiю... Безпокойство, обнаружившееся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кавказа, должно напомнить намъ, что православный великоруссъ живетъ въ семьѣ, что онъ не единственный, хотя и старшiй сынъ Россiи“.

Довольно было бы и одного этого мѣста, чтобъ указать, до какого разрыва съ общественнымъ смысломъ и до какой праздной „Кифо-мокiевщины“ можетъ договориться въ наше время застарѣлый въ своемъ упорствѣ теоретическiй европеизмъ иного прежняго „носителя указанiй“. Авторъ задаетъ намъ и его самого мучатъ вопросы, удивляющiе своею придуманностью и дѣланностью, самою фантастическою теоретичностью и, главное, совершенною ихъ безцѣльностью. „Если-де мы будемъ жертвовать изъ единовѣрiя, то какъ же мы будемъ относиться къ тѣмъ изъ нашихъ мусульманъ, которые стали бы собирать пожертвованiя въ пользу турокъ или заявили бы желанiе ѣхать въ турецкую армiю?“ Ну, возможенъ ли тутъ какой-нибудь вопросъ и возможно ли тутъ хоть какое-нибудь колебанiе въ отвѣтѣ? Всякiй простой, неизломаный русскiй человѣкъ тотчасъ же дастъ вамъ самый точный отвѣтъ. Да и не одинъ русскiй человѣкъ, а и всякiй европеецъ, всякiй сѣверо-американецъ вамъ дастъ на это самый ясный отвѣтъ; развѣ, только, что европеецъ оглядитъ васъ, прежде отвѣта, съ крайнимъ удивленiемъ. Замѣтимъ, кстати и вообще, что наше русское западничество, т. е., европейничанье, укрѣпляясь на русской землѣ, принимаетъ, мало по малу, и весьма часто далеко не европейскiй оттѣнокъ, такъ что иную европейскую идею, занесенную къ намъ иными „хранителями указанiй“, иногда даже и узнать нельзя вовсе—до того измѣнится она, перемалываясь въ русскихъ теорiяхъ и въ приложенiи къ русской жизни, которую, вдобавокъ, теоре-

тикъ не знаетъ вовсе, да и знать ее не находитъ нужнымъ. „Какъ будемъ мы, видите-ли, относиться къ тѣмъ изъ нашихъ мусульманъ, которые“ и т. д. Да очень просто: во-первыхъ, если ужь мы будемъ въ войнѣ съ турками, а наши татары, напримѣръ, начнутъ помогать туркамъ деньгами или пойдутъ въ ихъ ряды, то еще прежде того какъ отнесется къ нимъ общество, само правительство, думаю, отнесется къ нимъ, какъ къ государственнымъ измѣнникамъ, и ужь, конечно, съумѣетъ ихъ остановить вовремя. Во-вторыхъ, если война еще не будетъ объявлена, а турки начнутъ рѣзать славянъ, которымъ всѣ русскіе равно сочувствуютъ, то, въ случаѣ, если начались-бы пожертвованія, деньгами или людьми, русскихъ мусульманъ въ пользу турокъ,—неужели вы думаете, что кто-нибудь изъ русскихъ могъ-бы отнестись къ такому факту безъ оскорбленнаго чувства и безъ негодованія?... Повашему, вся бѣда въ вѣроисповѣдномъ характерѣ пожертвованій, т. е., если ужь русскій сталъ помогать славянину, *какъ единовѣрцу*, то какъ-же можетъ онъ, не нарушая гражданской равноправности и справедливости, запретить такое-же пожертвованіе и русскому татарину въ пользу единовѣрца своего—турка? Напротивъ, очень можетъ и имѣетъ на то самое полное право, потому что русскій, помогая славянину противъ турокъ, даже и въ мысли не имѣетъ стать врагомъ татарина и пойти на него войной, тогда какъ татаринъ, помогая туркѣ, разрываетъ съ Россіей, становится измѣнникомъ Россіи, и становясь въ ряды турокъ, идетъ прямо на нее войной. Кромѣ того, вѣдь если я, русскій, пожертвую въ пользу славянина, воюющаго съ туркомъ, хотя-бы даже и изъ единовѣрія, то, вѣдь, побѣды ему желаю надъ туркомъ вовсе не потому, что тотъ мусульманинъ, а потому лишь что тотъ рѣжетъ славянина, тогда какъ татаринъ, переходя къ туркѣ, можетъ это сдѣлать единственно лишь изъ той причины, что я христіанинъ и что, будто-бы, хочу истребить мусульманство, тогда какъ я вовсе не хочу истреблять мусульманства, а лишь единовѣрца своего защитить... Помогая славянину, я не только не нападаю на вѣру татарина, по мнѣ и до мусульманства-то самого турки нѣтъ дѣла: оставайся онъ мусульманиномъ, сколько хочетъ, лишь-бы славянъ не трогалъ. Тутъ скажутъ, пожалуй: „Если ты помогаешь единовѣрцу противъ турокъ, то ужь тѣмъ самымъ и идешь противъ русскаго татарина и противъ вѣры его, потому что у нихъ шаріатъ, а султанъ есть калифъ всѣхъ мусульманъ. Райя-же, уже по самому корану не можетъ быть свободенъ и не можетъ быть равноправенъ мусульманину; помогая-же ему стать равноправнымъ, русскій тѣмъ самымъ, въ глазахъ всякаго мусульманина, идетъ уже не на турокъ, а и на все мусульманство“. Но, въ такомъ случаѣ, зачинщикъ религіозной войны уже татаринъ, а не я, и, согласитесь, что это уже совсѣмъ другаго рода возраженіе и что тутъ ужь никакими хитростями и никакими рубриками не поможешь... Вы, вотъ, думаете, что вся бѣда отъ единовѣрія, и что если-бъ я скрылъ отъ татарина, что помогаю славянину, какъ единовѣрцу, а, напротивъ, выставилъ-бы на видъ, что помогаю славянину подъ какою-нибудь другою рубрикой, ну, напримѣръ, изъ-за того, что тотъ угнетенъ туркой, лишенъ свободы—„сего перваго блага людей“, то татаринъ мнѣ и повѣритъ? Напротивъ,

смѣю васъ завѣрить, что въ глазахъ какого-бы то ни было мусульманина, помогать райѣ противъ мусульманъ, подъ какимъ-бы то ни было предлогомъ — есть совершенно все одно, какъ-бы я пошолъ помогать райѣ за вѣру. Неужели вы этого не знали? А, между тѣмъ, вы именно пишите: „Для возбужденія русскаго общества къ оказанію славянамъ помощи совершенно достаточны тѣ мотивы, которые могутъ соединять всѣхъ русскихъ гражданъ и излишни тѣ мотивы, которые могутъ разъединять ихъ"... Это вы написали именно про единовѣріе, какъ про разъединяющій мотивъ, и про русскихъ мусульманъ—и тутъ-же сейчасъ это и разъяснили. Вы предлагаете „борьбу за свободу", какъ лучшій и высшій предлогъ или „мотивъ", какъ вы выражаетесь, для русскихъ пожертвованій въ пользу славянъ, и, повидимому, совершенно убѣждены, что „борьба славянъ за свободу" очень понравится татарину и въ высшей степени его успокоитъ. Но, опять-таки, увѣряю васъ, что для русскаго мусульманина, если ужъ онъ такой, что рѣшится пойти помогать туркамъ—всѣ мотивы равны, и что, подъ какой-бы рубрикой ни началась война, въ его глазахъ она, все-таки, будетъ религіозная. Но вѣдь русскій не виноватъ, что татаринъ такъ понимаетъ...

III.

Продолженіе предъидущаго.

Мнѣ даже очень досадно, что я долженъ былъ такъ распространиться. Если-бъ возможна была когда нибудь война Франціи съ Турціей и приэтомъ заволновались-бы принадлежащіе Франціи мусульмане, алжирскіе арабы, то неужели вы думаете, что французы не усмирили бы ихъ тотчасъ же самымъ энергическимъ образомъ? И стали бы они деликатничать и позорно прятать свои лучшіе и благороднѣйшіе „мотивы", изъ опасенія, чтобъ мусульмане ихъ какъ-нибудь не обидѣлись и не оскорбились! Вы пишете самымъ величавымъ образомъ правоученіе для всей Россіи: „Безпокойство, обнаружившееся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Кавказа (NB кстати, сами, стало быть, заявляете, что безпокойство было), должно напомнить намъ, что православный великоруссъ живетъ въ семьѣ, что онъ не единственный, хотя и старшій сынъ Россіи". Положимъ, что это величаво сказано, но что-жъ, однако, великоруссу-то дѣлать въ томъ случаѣ, если-бъ, дѣйствительно, кавказцы заволновались? Чѣмъ виноватъ этотъ старшій сынъ въ семьѣ, что мусульманинъ-кавказецъ, этотъ младшій сынъ въ семьѣ, такъ воспріимчивъ насчетъ своей вѣры и съ такими понятіями, что, идя противъ турокъ, старшій сынъ идетъ уже и противъ него и всего мусульманства?... Вы тревожитесь, чтобы „старшій братъ въ семьѣ" (великоруссъ) не оскорбилъ какъ нибудь сердца младшаго брата (татарина или кавказца). Какая, въ самомъ дѣлѣ, гуманная и полная просвѣщеннаго взгляда тревога! Вы напираете на то, что православный великоруссъ не „единственный, хотя и старшій—сынъ Россіи". Позвольте, что-жъ это такое? Русская земля принадлежитъ русскимъ, *однимъ* русскимъ, и есть земля русская и *ни клочка въ ней нѣтъ татарской земли*. Татары, бывшіе мучители земли русской, на этой землѣ пришлецы. Но, усмиривъ ихъ, отвоевавъ у нихъ назадъ свою землю и завоевавъ ихъ самихъ, рус-

скіе не отомстили татарину за двухвѣковое мучительство, не унизили его, подобно какъ мусульманинъ-турка измучилъ и унизилъ райю, ничѣмъ и прежде его не обидѣвшаго,—а, напротивъ, далъ ему съ собой такое полное гражданское равноправіе, котораго вы, можетъ быть, не встрѣтите въ самыхъ цивилизованныхъ земляхъ столь просвѣщеннаго, повашему, Запада. Даже, можетъ быть, русскій мусульманинъ пользовался иногда и высшими льготами противъ самого русскаго, противъ самого владѣтеля и хозяина русской земли... Вѣру татарина никогда тоже не унижалъ русскій, никогда не притѣснялъ и не гналъ, и—повѣрьте, что нигдѣ на Западѣ и даже въ цѣломъ мірѣ не найдете вы такой широкой, такой гуманной вѣротерпимости, какъ въ душѣ настоящаго русскаго человѣка. Повѣрьте тоже, что скорѣй ужь татаринъ любитъ сторониться отъ русскаго (именно, вслѣдствіе своего мусульманства), а не русскій отъ татарина. Въ этомъ всякій васъ увѣритъ, кто жилъ подлѣ татаръ. Тѣмъ не менѣе, хозяинъ земли русской — есть одинъ лишь Русскій (великоруссъ, малоруссъ, бѣлоруссъ—это все одно)—и такъ будетъ навсегда, и ужь если православному русскому придетъ нужда воевать съ мусульманами-турками, то вѣрьте, что никогда русскій не позволитъ кому бы то ни было сказать себѣ на своей землѣ Veto! Деликатничать же съ татарами до такой степени, что бояться смѣть обнаружить передъ ними самыя великодушныя и невольныя чувства, вовсе никому не обидныя — чувства сострадания къ измученному славянину, хотя бы какъ и къ единовѣрцу,—кромѣ того, всячески прятать отъ татарина все то, что составляетъ назначеніе, будущность и, главное, задачу русскаго,—вѣдь, это есть требованіе смѣшное и унизительное для русскаго... Чѣмъ я оскорбляю татарина, что сочувствую моей вѣрѣ и единовѣрцамъ, чѣмъ гоню его вѣру? И чѣмъ я виноватъ, что, въ его понятіяхъ, всякая наша война съ турками принимаетъ непремѣнно характеръ вѣроисповѣдный? Не можетъ же русскій измѣнить основныя понятія всего мусульманства. Вы говорите: „ну, такъ деликатничай, секретничай, старайся не оскорбить“... Но, позвольте, если ужь онъ такъ чувствителенъ, то вѣдь онъ, пожалуй, можетъ вдругъ оскорбиться и тѣмъ, что на той же улицѣ, гдѣ стоитъ его мечеть, стоитъ и наша православная церковь,—такъ ужь не снести ли ее съ мѣста, чтобы онъ не оскорбился? Вѣдь не бѣжать же русскому изъ своей земли? Не залѣзть же куда-нибудь подъ столъ, чтобъ было не слышно и не видно, изъ за того, что въ русской землѣ младшій братъ—татаринъ живетъ!...

Вы что-то заговорили про „*сыскъ*“. „Мы должны-де указать на тѣ (статьи въ русскихъ газетахъ), въ которыхъ обнаружился *сыскъ* по части чувствъ русскихъ гражданъ невеликоруссовъ. Эта нехорошая привычка, къ сожалѣнію, все еще не оставила насъ, а, по самой сущности дѣла, о которомъ говорилось, требовалась особая осторожность въ отношеніи всѣхъ національностей, входящихъ въ общую русскую народность“. Какая-же это наша привычка? Смѣю васъ увѣрить, что это лишь фальшивая нота стараго теоретическаго либеральничанья, не умѣющаго и приложить-то съ толкомъ вывезенной изъ Европы либеральной идеи. Нѣтъ-съ, не намъ съ вами учить народъ вѣротерпимости или читать

ему лекціи о свободѣ совѣсти. Въ этомъ отношеніи онъ и васъ, и всю Европу поучитъ. Впрочемъ, вы говорите о газетахъ, о русской журналистикѣ. Такъ что-жь это за сыскъ? И какую *нашу привычку*, столь укоренившуюся, вы такъ оплакиваете? Привычку сыска въ нашей литературѣ? Но это тоже фантазія теоретическаго либерализма, неоправдывающаяся дѣйствительностью. Увѣряю васъ, что у насъ никогда и ни на кого не доносили въ литературѣ ни за вѣру, ни даже за какія-нибудь мѣстно-патріотическія чувства. Если-же и были когда-нибудь частные случаи, то они дотого уединенны и исключительны, что грѣшно и стыдно возводить ихъ въ общее правило: „дескать, привычка эта все еще насъ не оставила“. Да и что такое доносъ или сыскъ? Есть факты, про которые ужь нельзя не говорить. Не знаю, про какія статьи вы говорите и на что намекаете. Помню, читалъ я кое-что про волненія начинавшагося фанатизма на Кавказѣ; такъ вѣдь вы и сами сейчасъ-же написали объ этихъ волненіяхъ въ смыслѣ *дѣйствительно совершившагося факта*. Заѣзжали тоже, говорятъ, изъ Турціи, проповѣдники фанатизма и въ Крымъ; но были-ли эти волненія въ самомъ дѣлѣ, или вовсе не были, я, въ настоящемъ случаѣ, разбирать не буду, да, по правдѣ, и самъ не знаю навѣрно. Я только спрошу васъ: неужели-же, если-бъ какая-нибудь изъ газетъ сообщила про подобный слухъ или уже фактъ, такъ ужь это могло-бы назваться „сыскомъ почасти чувствъ нашихъ иновѣрцевъ?“ Ну, положимъ, что эти факты волненій случились-бы дѣйствительно, какъ-же объ нихъ умолчать, да еще газетѣ, которая и вообще на томъ стоитъ, чтобъ извѣщать о фактахъ? Вѣдь она тѣмъ предупреждаетъ опасность. Вѣдь если молчать и дать развиться дѣлу, то есть фанатизму, то вѣдь пострадаютъ и фанатики, и тѣ изъ русскихъ, которые живутъ подлѣ нихъ. Вотъ если газета *умышленно* приведетъ фальшивые факты, чтобъ *донести* правительству и возбудить преслѣдованія, то тогда, конечно, былъ-бы сыскъ и доносъ, но вѣдь если факты вѣрны, то объ нихъ молчать, что-ли? Да и кто гналъ у насъ когда инородцевъ за ихъ вѣру и даже за ихъ иныя „вѣроисповѣдныя чувства“, или даже просто за чувства, хотя-бы и въ самомъ широкомъ смыслѣ слова? Напротивъ, на этотъ счетъ у насъ почти всегда бывало даже и очень слабенько, совсѣмъ, напримѣръ, не такъ, какъ въ иныхъ просвѣщеннѣйшихъ государствахъ Европы. Что же до вѣроисповѣдныхъ чувствъ, то у насъ и раскольниковъ-то ужь теперь почти никто не гонитъ, а не то что инородцевъ, и если было въ послѣднее время нѣсколько рѣдкихъ, совсѣмъ единичныхъ, случаевъ преслѣдованія штундистовъ, то эти случаи тотчасъ-же и рѣзко осуждались всей нашей прессой. Кстати, ужь не согласиться-ли намъ съ иными германскими газетами, обвинявшими насъ и обвиняющими даже теперь, въ томъ, что мы терзаемъ и преслѣдуемъ нашихъ остзейскихъ нѣмцевъ—за ихъ вѣру и *чувства*!... Очень, очень жаль, что вы не указали статьи и не привели факта, чтобъ ужь было точно извѣстно про какіе именно сыски вы говорите. Надо знать и понимать употребленіе словъ и не шутить такими словами какъ „сыскъ“.

Главное, вамъ не нравится эта рубрика: „единовѣріе“. Помогай, дескать, изъ другихъ мотивовъ, а не изъ еди-

повѣрія. Но ужь, вопервыхъ, то, что это „мотивъ" не сочиненный, не подысканный, а самъ явившійся, самъ сказавшійся и сказавшійся всѣми разомъ. Это мотивъ историческій и *исторія* эта тянется до сихъ поръ. „*Не надо*-де движенію въ пользу славянъ придавать вѣроисповѣдный характеръ, безпрерывно упоминая о „нашихъ единовѣрцахъ"—пишете вы. Но что же дѣлать съ исторіей и съ живой жизнью: надо или не надо придавать, а оно само собою такъ выходитъ. Сообразите: турокъ рѣжетъ славянина за то, что тотъ, будучи христіаниномъ, райемъ, осмѣливается домогаться съ нимъ равноправія. Перейди болгаринъ въ магаметанство—и турокъ тотчасъ же перестанетъ мучить его, напротивъ, тотчасъ же признаетъ его за своего,—такъ по Корану. Слѣдственно, если Болгаре терпятъ такія лютыя муки, то ужь, конечно, за свое христіанство, это ясно какъ день. Такъ какже тутъ русскому, жертвуя на славянина, избѣжать „вопроса вѣроисповѣдности"? Да русскому и въ голову не придетъ избѣгать! Да и кромѣ исторической и текущей необходимости, русскій человѣкъ ничего не знаетъ выше христіанства, да и представить не можетъ. Онъ всю землю свою, всю общность, всю Россію назвалъ христіанствомъ, „крестьянствомъ". Вникните въ Православіе: это вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего въ одну изъ тѣхъ основныхъ живыхъ силъ, безъ которыхъ не живутъ націи. Въ русскомъ христіанствѣ, понастоящему, даже и мистицизма нѣтъ вовсе, въ немъ одно человѣколюбіе, одинъ Христовъ образъ,—по крайней мѣрѣ, это главное. Въ Европѣ давно уже и по праву смотрятъ на клерикализмъ и церковность съ опасеніемъ: тамъ они, особенно въ иныхъ мѣстахъ, мѣшаютъ теченію живой жизни, всякому преуспѣянію жизни, и ужь, конечно, мѣшаютъ самой религіи. Но похоже ли наше тихое, смиренное православіе на предразсудочный, мрачный, заговорный, пронырливый и жестокій клерикализмъ Европы? Какъ же можетъ оно не быть близкимъ народу? Народныя стремленія создаются всѣмъ народомъ, а не сочиняются въ редакціяхъ журналовъ: „Надо, иль не надо" а будетъ такъ какъ есть въ самомъ дѣлѣ. Вы пишите напримѣръ, далѣе: „Благородное дѣло свободы увидало въ рядахъ своихъ защитниковъ—русскихъ людей. Уже съ этой точки зрѣнія, еще болѣе возвышенной, чѣмъ сочувствіе по единовѣрію и даже единству племени, дѣло славянъ—священное дѣло". Ваша правда, это очень высокій мотивъ, но вѣдь что, однакоже, говоритъ мотивъ единовѣрія? Единовѣріе тутъ именно означаетъ несчастнаго, измученнаго, распятаго на крестѣ и за угнетеніе котораго я возстаю и негодую. Это значитъ: „положи животъ свой за угнетеннаго, за ближняго, выше нѣтъ подвига"—вотъ что говоритъ мотивъ единовѣрія! Кромѣ того, я осмѣлюсь замѣтить, впрочемъ лишь вообще, что искать „рубрикъ" для добрыхъ дѣлъ опасно. Если я, напримѣръ, помогаю славянину, какъ единовѣрцу, то, вѣдь это вовсе не рубрика, это только обозначеніе его историческаго положенія въ данный моментъ: „онъ единовѣрецъ, стало быть—христіанинъ, и за это угнетенъ и мучимъ". Но если я скажу, что помогаю изъ-за „благороднаго дѣла свободы", то тѣмъ самымъ, какъ бы выставляю причину моей помощи.

А ужь если искать причину помощи, то Черногорцы, напримѣръ, и Герцеговинцы, выказавшіе всѣхъ больше благороднаго исканія свободы, выйдутъ и всѣхъ достойнѣе помощи; сербы ужь немного поменьше, а болгары и болгарки даже вѣдь совсѣмъ и не подымались за свободу, развѣ гдѣнибудь вначалѣ, по горамъ, ничтожными кучками. Они просто выли, когда ихъ маленькимъ ребятишкамъ мучители отрѣзывали въ каждые пять минутъ по пальчику, чтобъ продлить ихъ мученія въ глазахъ отцовъ и матерей, а тѣ и не защищались, а лишь цѣловали, воня и терзаясь, какъ бы въ безуміи, ноги мучителямъ, чтобъ они перестали мучить и отдали имъ назадъ бѣдныхъ дѣточекъ. Ну, такъ вѣдь этимъ, пожалуй, пришлось бы всѣхъ меньше помочь, потому что они всего только страдали, а не возвысились до благороднаго дѣла свободы — „сего перваго блага людей". Положимъ, вы такъ дрянно не помыслите, но сознайтесь, что, вводя причины и „мотивы" для человѣколюбія, почти всегда доходишь до нѣсколько подобныхъ разсужденій и выводовъ. Лучше всего— помогать просто потому, что человѣкъ несчастенъ. Помощь единовѣрцу это именно и означаетъ; повторяю вамъ, у насъ слово „единовѣрецъ" вовсе не клерикальная рубрика, а лишь историческое обозначеніе. Повѣрьте, что и „единовѣріе" слишкомъ любитъ и цѣнитъ благородное и великое дѣло свободы, мало того: умѣетъ и съумѣетъ умереть за него всегда, когда надо будетъ. А теперь я только противъ неправильнаго приложенія европейскихъ идей къ русской дѣйствительности...

IV.

Страхи и опасенія.

Всего забавнѣе то, что почтенный теоретикъ прозрѣваетъ въ современномъ увлеченіи въ пользу славянъ серьозную для насъ опасность и изо всѣхъ силъ спѣшитъ предупредить насъ. Онъ думаетъ, что мы, въ минуту самообольщенія, выдадимъ себѣ „аттестатъ зрѣлости" и полѣземъ спать на печку. Вотъ что онъ пишетъ:

...„Въ этомъ смыслѣ опасны всѣ часто читаемыя нами, поповоду жертвъ въ пользу славянъ, разсужденія на тэму: „факты эти обнаруживаютъ въ русскомъ обществѣ отрадное оживленіе, они доказываютъ, что русское общество дозрѣло до"..... и т. д. Склонность любоваться собою въ зеркало поповоду международныхъ вопросовъ и заявленій сочувствія національностямъ, а затѣмъ засыпать сномъ труженика, исполнившаго свой долгъ, въ насъ такъ велика, что всѣ подобныя разсужденія, хотя вѣрныя до извѣстной степени, положительно опасны. Вѣдь мы уже торжествовали свою готовность къ жертвамъ при началѣ крымской войны, праздновали свою общественную зрѣлость поповоду депешъ нашего канцлера въ 1863 году и поповоду сочувственной встрѣчи, оказанной у насъ офицерамъ сѣвероамериканскаго броненосца, и поповоду сбора въ пользу кандіотовъ, и поповоду овацій славянскимъ литераторамъ въ Петербургѣ и Москвѣ. Прочтите, что писалось въ то время газетами, и убѣдитесь, что иныя фразы нынѣ буквально повторяются... Спросимъ себя, что вышло изъ всѣхъ тѣхъ „зрѣлостей", которыя мы поочередно праздновали, и подвинули ли насъ

впередъ тѣ моменты, въ которые мы ихъ праздновали?... Но мы должны помнить, что, слѣдуя влеченію, мы не вправѣ еще претендовать на выдачу намъ „аттестата зрѣлости"...

Во-первыхъ, тутъ все, съ перваго до послѣдняго слова, невѣрно дѣйствительности. „Склонность-де засыпать сномъ труженика, исполнившаго свой долгъ, въ насъ такъ велика" и т. д. Эта „склонность къ засыпанію" есть одно изъ самыхъ предразсудочныхъ и невѣрныхъ обвиненій устарѣлаго теоретизма, очень любившаго много болтать и ничего не дѣлать, именно всегда лежавшаго на печкѣ и читавшаго правоученія съ печки и именно, въ самоупоеніи своей красотой, безпрерывно заглядывавшаго на себя въ зеркало. Это предразсудочное, а теперь до невѣроятности оказенившееся обвиненіе зародилось именно тогда, когда русскій человѣкъ, если и лежалъ на печи или только и дѣлалъ, что игралъ въ карты, то единственно потому, что ему и не давали ничего дѣлать, не пускали его дѣлать, запрещали ему дѣлать. Но, чуть лишь у насъ раздвинулись заборы, то русскій человѣкъ тотчасъ-же обнаружилъ скорѣе лихорадочное безпокойство и нетерпѣніе въ стремленіи къ дѣлу, и даже неустанность въ дѣлѣ, чѣмъ желаніе лѣзть на печку. Если-же и до сихъ поръ не совсѣмъ ладится дѣло, такъ вѣдь это вовсе не потому, что оно не дѣлается, а потому, что при двухсотлѣтней отвычкѣ отъ всякаго дѣла, нельзя такъ сразу пріобрѣсть способность понимать дѣло, вѣрно подходить къ нему и съумѣть за него взяться. Вамъ-бы только наставленія читать и бранить русскаго человѣка, по старой памяти. Я говорю это старымъ теоретикамъ, никогда не удостоивавшимъ, съ высоты своего величія, вникнуть въ русскую жизнь и хоть что-нибудь изучить въ ней, ну, хоть чтобы провѣрить и поправить свои предразсудочные взгляды старинныхъ давнишнихъ годовъ.

Но опасеніе вполнѣ достойное Кифы Мокіевича—это объ „аттестатѣ зрѣлости". Дескать, выдадимъ себѣ аттестатъ зрѣлости, да и успокоимся, и заснемъ. Напротивъ, это лишь старый теоретизмъ, столь давно уже выдавшій себѣ аттестатъ зрѣлости, наклоненъ къ самоупоенію, къ чтенію наставленій и къ сладкой полудремотѣ, а такія молодыя, прекрасныя, единящія движенія всѣмъ обществомъ, какъ въ нынѣшнемъ году, способны лишь побудить къ дальнѣйшему преуспѣянію и совершенствованію. Такіе моменты оставляютъ лишь благотворный слѣдъ. И откуда только вы могли вывесть, что русское общество такъ склонно къ самокрасованію и къ смотрѣнію на себя въ зеркало? Всѣ факты тому противорѣчатъ. Напротивъ, это самое недовѣрчивое къ себѣ, самое самобичующее общество въ цѣломъ мірѣ!... Мы не только славянамъ сочувствовали, мы и крестьянъ освободили, а посмотрите, былъ-ли когда въ исторіи русскаго народа болѣе скептическій, болѣе самопровѣряющій себя моментъ, какъ въ эти послѣдніе двадцать лѣтъ русской жизни? Въ недовѣріи къ себѣ мы доходили, въ эти годы, до болѣзненныхъ крайностей, до непозволительной насмѣшки надъ собою, до незаслуженнаго презрѣнія къ себѣ и ужь слишкомъ, слишкомъ далеки были отъ самоупоенія нашими совершенствами. Вы говорите, что мы и критянамъ сочувствовали, и броненосецъ встрѣчали, и каждый разъ писали о своей зрѣлости и что ничего невышло изъ этой

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

ОКТЯБРЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ"

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 20 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ" М. П. Надѣина, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ", Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева и др., въ Казани у Дубровина, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Апосова, въ Тамбовѣ: у Зотова,

въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Беренштама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Θедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Простое, но мудреное дѣло.

Пятнадцатаго октября рѣшилось въ судѣ дѣло той мачихи, которая, помните, полгода назадъ, въ маѣ мѣсяцѣ, выбросила изъ окошка, изъ четвертаго этажа, свою маленькую падчерицу, шести лѣтъ, и еще ребенокъ какимъ-то чудомъ остался цѣлъ и здоровъ. Эта мачиха, крестьянка Екатерина Корнилова, двадцати лѣтъ, была за вдовцомъ, который съ нею, по показаніямъ ея, ссорился, не пускалъ ее въ гости къ роднымъ, да и родныхъ ея не принималъ къ себѣ, попрекалъ ее покойной женой своей и тѣмъ, что при той хозяйство у него шло лучше, и т. д., и т. д., словомъ, „довелъ ее до того, что она перестала любить его", и чтобъ отмстить ему, вздумала выкинуть его дочь отъ той прежней жены, которою онъ попрекалъ ее, за окошко, что и исполнила. Однимъ словомъ, исторія, — кромѣ чудеснаго спасенія ребенка, — повидимому представляется довольно простою и ясною исторіей. Съ этой точки, то есть съ точки „простоты", взглянулъ на дѣло и судъ, и тоже самымъ простѣйшимъ образомъ присудилъ Екатерину Корнилову, „имѣвшую при совершеніи преступленія болѣе семнадцати лѣтъ и менѣе двадцати, сослать въ каторжныя работы на два года и восемь мѣсяцевъ, а по окончаніи работъ сослать въ Сибирь навсегда".

И, однако, несмотря на всю простоту и ясность, остается тутъ какъ бы нѣчто и несовсѣмъ разъяснившееся. Подсудимая (довольно пріятная лицомъ женщина) судилась въ послѣднемъ періодѣ беременности, такъ что въ зало засѣданія суда, на всякій случай, была приглашена и акушерка. Еще въ маѣ, когда случилось это преступленіе (и когда, стало быть, подсудимая была на четвертомъ мѣсяцѣ беременности), я записалъ въ моемъ майскомъ „Дневникѣ" (впрочемъ, мелькомъ и мимоходомъ, разсматривая рутинность и казенщину пріемовъ нашей „адвокатуры") слѣдующія слова: „Вотъ это-то и возмутительно... тогда какъ, дѣйствительно, поступокъ этого изверга-мачихи *слишкомъ ужъ страненъ* и, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ долженъ потребовать тонкаго и глубокаго разбора, который могъ бы даже послужить къ облегченію преступницы". Вотъ что я написалъ тогда. Теперь прослѣдите по фактамъ. Вопервыхъ, подсудимая сама признала себя виновною, и это

сейчасъ послѣ совершенія преступленія, сама же и донесла на себя. Она разсказала тогда же, въ участкѣ, что еще наканунѣ думала покончить съ падчерицей, которую возненавидѣла изъ злобы на мужа, но наканунѣ вечеромъ помѣшало присутствіе мужа. На другой же день, когда тотъ ушелъ на работу, она отворила окно, составила на одну сторону подоконника горшки съ цвѣтами и велѣла дѣвочкѣ влѣзть на подоконникъ и посмотрѣть внизъ, въ окошко. Дѣвочка, разумѣется, полѣзла, можетъ быть даже съ охотою, думая и Богъ знаетъ что подъ окномъ увидѣть; но какъ только влѣзла, стала на колѣни и заглянула, опершись руками, въ окно, то мачиха приподняла ее сзади за ножки и та бултыхнулась въ пространство. Преступница, поглядѣвъ внизъ на слетѣвшаго ребенка (такъ сама разсказываетъ), затворила окошко, одѣлась, заперла комнату и отправилась въ участокъ—доложить о случившемся. Вотъ факты, кажется, чего бы проще, а, между тѣмъ, сколько тутъ фантастическаго, не правда ли? Нашихъ присяжныхъ обвиняли до сихъ поръ, и даже нерѣдко, за иныя, дѣйствительно уже фантастическія, оправданія подсудимыхъ. Иногда возмущалось даже нравственное чувство самыхъ, такъ сказать, постороннихъ людей. Мы понимали что можно жалѣть преступника, но нельзя-же зло называть добромъ въ такомъ важномъ и великомъ дѣлѣ, какъ судъ; между тѣмъ, бывали оправданія почти что въ этомъ родѣ, т. е. зло *почти* что признавалось добромъ, по крайней мѣрѣ, очень немного не доставало къ тому. Являлась или ложная сентиментальность, или непониманіе самаго принципа суда, непониманіе того, что въ судѣ первое дѣло, первый принципъ дѣла состоитъ въ томъ, чтобы зло было опредѣлено по возможности, по возможности указано и названо зломъ всенародно. А тамъ, потомъ, смягченіе участи преступника, забота объ исправленіи его и т. д. и т. д.,—это все уже другіе вопросы, весьма глубокіе, огромные, но совершенно различные отъ дѣла судебнаго, а относящіеся совсѣмъ къ другимъ отдѣламъ жизни общества—отдѣламъ, надо сознаться, еще далеко не опредѣлившимся и даже совсѣмъ у насъ не формулированнымъ, такъ что по этимъ отдѣламъ общественной дѣятельности, можетъ быть, еще и перваго аза не произнесено. А пока въ судахъ нашихъ эти обѣ *разныя идеи* смѣшиваются и выходитъ иногда Богъ знаетъ что. Выходитъ, что преступленіе какъ бы не признается преступленіемъ вовсе; обществу, напротивъ, какъ-бы возвѣщается, да еще судомъ же, что совсѣмъ, дескать, и нѣтъ преступленія, что преступленіе, видите ли, есть только болѣзнь, происходящая отъ ненормальнаго состоянія общества, — мысль до геніальности вѣрная *въ иныхъ* частныхъ примѣненіяхъ и въ извѣстныхъ разрядахъ явленій, но совершенно ошибочная въ примѣненіи къ цѣлому и общему, ибо тутъ есть нѣкоторая черта, которую невозможно переступить, иначе пришлось бы совершенно обезличить человѣка, отнять у него всякую самость и жизнь, приравнять его къ пушинкѣ, зависящей отъ перваго вѣтра, однимъ словомъ, возвѣстить какъ бы какую-то новую природу человѣка, теперь только что открытую какой-то новой наукой. Между тѣмъ, этой науки еще нѣтъ и даже не начиналось. Такъ что всѣ эти милостивые приговоры суда присяжныхъ, въ которыхъ иногда ясно доказанное и подкрѣпленное полнымъ сознаніемъ

преступника преступленіе, отрицалось прямо: „не виновенъ, не дѣлалъ, не убивалъ“,—всѣ эти милостивые приговоры (кромѣ рѣдкихъ случаевъ, когда они были дѣйствительно у мѣста и безошибочны) удивляли народъ, а въ обществѣ возбуждали насмѣшку и недоумѣніе. И что-жь, вотъ теперь, какъ только я прочелъ о рѣшеніи судьбы крестьянки Корниловой (въ каторгу на два года и восемь мѣсяцевъ), мнѣ вдругъ пришло въ голову: вотъ бы имъ теперь-то оправдать ее,—вотъ бы теперь сказать: „не было преступленія, не убивала, не вышвыривала изъ окошка“. Впрочемъ, не буду пускаться въ какія-нибудь отвлеченности или въ чувства, чтобъ развить мою мысль. Мнѣ *просто* кажется, что тутъ былъ даже какъ бы наизаконнѣйшій поводъ оправдать подсудимую,—а именно,—ея беременность.

Всѣмъ извѣстно, что женщина во время беременности (да еще первымъ ребенкомъ) бываетъ весьма часто даже подвержена инымъ страннымъ вліяніямъ и впечатлѣніямъ, которымъ странно и фантастично подчиняется ея духъ. Эти вліянія принимаютъ иногда,—хотя, впрочемъ, въ рѣдкихъ случаяхъ,—чрезвычайныя, ненормальныя, почти нелѣпыя формы. Но что въ томъ, что это рѣдко случается (т. е. слишкомъ ужь чрезвычайныя-то явленія)—въ настоящемъ случаѣ слишкомъ довольно и того соображенія для рѣшающихъ судьбу человѣка, что они случаются и даже только могутъ случаться. Докторъ Никитинъ, изслѣдовавшій преступницу (уже послѣ преступленія), заявилъ, что, по его мнѣнію, Корнилова совершила свое преступленіе *сознательно*, хотя можно допустить раздраженіе и аффектъ. Но, вопервыхъ, что можетъ означать тутъ слово: *сознательно?* Безсознательно рѣдко что-нибудь дѣлается людьми, развѣ въ лунатизмѣ, въ бреду, въ бѣлой горячкѣ. Развѣ не знаетъ, даже хоть и медицина, что можно совершить нѣчто и совершенно сознательно, а, между тѣмъ, невмѣняемо. Да, вотъ, хоть бы взять сумашедшихъ: большинство ихъ безумныхъ поступковъ происходитъ совершенно сознательно и они ихъ помнятъ; мало того, дадутъ вамъ въ нихъ отчетъ, будутъ ихъ защищать передъ вами, будутъ изъ-за нихъ съ вами спорить, и, иногда, такъ логично, что, пожалуй и вы станете въ тупикъ. Я, конечно, не медикъ, но я, напримѣръ, запомнилъ, какъ разсказывали, еще въ дѣтствѣ моемъ, про одну даму въ Москвѣ, которая, каждый разъ, когда бывала беременна и въ извѣстные періоды беременности, получала необычайную, неудержимую страсть къ воровству. Она воровала вещи и деньги у знакомыхъ, къ которымъ ѣздила въ гости, у гостей, которые къ ней ѣздили, даже въ лавкахъ и магазинахъ, куда заѣзжала что-нибудь купить. Потомъ эти краденыя вещи возвращались ея домашними по принадлежности. Между тѣмъ, это была дама слишкомъ не бѣдная, образованная, хорошаго круга; по прошествіи этихъ нѣсколькихъ дней странной страсти, ей и въ голову бы не могло придти воровать. Всѣми рѣшено было тогда, не исключая и медицины, что это лишь временный аффектъ беременности. Между тѣмъ, ужь конечно, она воровала сознательно и вполнѣ давая себѣ въ этомъ отчетъ. Сознаніе сохранялось вполнѣ, но лишь передъ влеченіемъ она не могла устоять. Надо полагать, что медицинская наука врядъ ли можетъ сказать и до сихъ поръ, въ подобныхъ явленіяхъ, что-нибудь въ точности, т. е. насчетъ

духовной стороны этихъ явленій: по какимъ именно законамъ происходятъ въ душѣ человѣческой такіе переломы, такія подчиненія и вліянія, такія сумашествія безъ сумашествія, и что собственно тутъ можетъ значить и какую играетъ роль сознаніе? Довольно того, что возможность вліяній и чрезвычайныхъ подчиненій, во время беременности женщинъ, кажется неоспорима... И что въ томъ, повторяю, что слишкомъ чрезвычайныя вліянія эти слишкомъ рѣдко и встрѣчаются: для совѣсти судящаго достаточно, въ такихъ случаяхъ, лишь соображенія, что они все же могутъ случиться. Положимъ, скажутъ: не пошла же она воровать, какъ та дама, или не выдумала же чего-нибудь необыкновеннаго, а, напротивъ, сдѣлала все, именно какъ разъ *относящееся къ дѣлу*, т. е. просто отомстила ненавистному мужу убійствомъ его дочери отъ той прежней жены его, которою ее попрекали. Но, воля ваша: хоть тутъ и понятно, но все же *не просто;* хоть тутъ и логично, но согласитесь, что—не будь она беременна, можетъ быть этой логики и не произошло бы вовсе. Произошло бы, напримѣръ, вотъ что: оставшись одна съ падчерицей, прибитая мужемъ, въ злобѣ на него, она бы подумала въ горькомъ раздраженіи, про себя: „Вотъ бы вышвырнуть эту дѣвчонку, ему на зло, за окошко",—подумала бы, *да и не сдѣлала.* Согрѣшила бы мысленно, а не дѣломъ. А теперь, въ беременномъ состояніи, *взяла да и сдѣлала.* И въ томъ, и въ другомъ случаѣ логика была та же, но разница-то большая.

По крайней мѣрѣ присяжные, если-бъ оправдали подсудимую, могли бы на что-нибудь опереться: „хоть и рѣдко-де бываютъ такіе болѣзненные аффекты, но, вѣдь, все же, бываютъ; ну, такъ что, если и въ настоящемъ случаѣ былъ аффектъ беременности?" Вотъ соображеніе. По крайней мѣрѣ, въ этомъ случаѣ милосердіе было бы всѣмъ понятно и не возбуждало бы шатанія мысли. И что въ томъ, что могла выйти ошибка: лучше ужь ошибка въ милосердіи, чѣмъ въ казни, тѣмъ болѣе, что тутъ и провѣрить-то никакъ невозможно. Преступница первая же считаетъ себя виновною; она сознается сейчасъ же послѣ преступленія, созналась и черезъ полгода на судѣ. Такъ и въ Сибирь можетъ быть пойдетъ, по совѣсти и глубоко въ душѣ считая себя виновною; такъ и умретъ, можетъ быть каясь въ послѣдній часъ и считая себя душегубкой; и вдомекъ ей не придетъ, да и никому на свѣтѣ, о какомъ-то болѣзненномъ аффектѣ, бывающемъ въ беременномъ состояніи, а онъ-то, можетъ быть, и былъ всему причиной, и не будь она беременна, ничего бы и не вышло... Нѣтъ, изъ двухъ ошибокъ ужь лучше бы выбрать ошибку милосердія. Спать было бы лучше потомъ... А, впрочемъ, что-жь я: занятому человѣку не о спаньѣ думать; у занятаго человѣка сто такихъ дѣлъ и спитъ онъ крѣпко, когда доврется до постели усталый. Это у празднаго человѣка, у котораго въ цѣлый годъ одно такое дѣло случится, или два, — это у того бываетъ много времени думать. Такому, пожалуй, и начнетъ мерещиться, отъ нечего дѣлать. Однимъ словомъ, праздность есть мать всѣхъ пороковъ.

А кстати, тутъ вѣдь сидѣла акушерка и—посмотрите: осудивъ преступницу, осудили вмѣстѣ съ нею и ея младенца, еще не родившагося,—не правда ли, какъ это странно? Положимъ, что неправда; но согласитесь, что какъ

будто очень похоже на правду, да еще самую полную. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь вотъ ужъ онъ, еще прежде рожденія своего, осужденъ въ Сибирь вслѣдъ за матерью, которая его вскормить должна. Если же онъ пойдетъ съ матерью, то отца лишится; если же обернется какъ нибудь дѣло такъ, что оставитъ его у себя отецъ (не знаю, можетъ ли онъ теперь это сдѣлать), то лишится матери... Однимъ словомъ, еще до рожденія лишенъ семьи, это вопервыхъ, а потомъ онъ выростетъ, узнаетъ все про мать и будетъ... А впрочемъ, мало-ли что будетъ, лучше смотрѣть на дѣло *просто*. Просто посмотрѣть—и исчезнутъ всѣ фантасмагоріи. Такъ и надо въ жизни. Я даже такъ думаю, что всѣ этакія вещи, съ виду столь необыкновенныя, на дѣлѣ всегда обдѣлываются самымъ обыкновеннымъ и до неприличія прозаическимъ образомъ. Въ самомъ дѣлѣ, посмотрите: этотъ Корниловъ теперь опять вдовецъ — вѣдь онъ тоже теперь свободенъ, бракъ его расторгнутъ ссылкой въ Сибирь его жены; и вотъ его жена—не жена, родитъ ему надняхъ сына (потому что разродиться-то ей ужъ навѣрно дадутъ до дороги), и пока она будетъ больна, въ острожной больницѣ, или тамъ, куда ее на это время положатъ, Корниловъ, бьюсь объ закладъ въ этомъ, будетъ ее навѣщать самымъ прозаическимъ образомъ и, знаете, вѣдь почемъ знать, можетъ быть съ этой же дѣвчонкой, за окошко вылетѣвшей, и будутъ они сходиться и говорить все объ дѣлахъ самыхъ простыхъ и насущныхъ, объ какомъ нибудь тамъ мизерномъ холстѣ, объ теплыхъ сапогахъ и валенкахъ ей въ дорогу. Почемъ знать, можетъ быть самымъ задушевнымъ образомъ сойдутся теперь, когда ихъ развели, а прежде ссорились. И не попрекнутъ, можетъ быть, другъ друга даже и словомъ, а развѣ такъ только поохаютъ на судьбу, другъ дружку и себя жалѣючи. Эта же вылетѣвшая изъ окна дѣвчонка, повторяю, навѣрно будетъ бѣгать отъ отца каждый день на побѣгушкахъ „къ мамонькѣ“, калачи ей носить: „Вотъ, дескать, мамонька, тятенька вамъ чаю съ сахаромъ еще прислали, а завтра сами зайдутъ“. Самое трагическое будетъ то, что завоютъ, можетъ быть, въ голосъ, когда будутъ прощаться на желѣзной дорогѣ, въ послѣднюю минуту, между вторымъ и третьимъ звонкомъ; завоетъ тутъ же и дѣвчонка, разинувъ ротъ до ушей, на нихъ глядя, а они навѣрно поклонятся оба, каждый въ свою очередь, другъ другу въ ноги: „прости, дескать, матушка Катерина Прокофьевна, не помяни лихомъ; а та ему: прости и ты меня, батюшка, Василій Ивановичъ (или тамъ какъ его), виновата я передъ тобой, вина моя великая...“ А тутъ еще грудной младенчикъ заголоситъ, который ужъ навѣрно тутъ же будетъ находиться—возьметъ ли она его съ собой или у отца оставитъ. Однимъ словомъ, съ нашимъ народомъ никогда поэмы не выйдетъ, не правда ли? Это самый прозаическій народъ въ мірѣ, такъ что почти даже стыдно за него въ этомъ отношеніи становится. Ну, то ли, напримѣръ, вышло бы въ Европѣ: какія страсти, какія мщенія и при какомъ достоинствѣ! Ну, попробуйте описать это дѣло въ повѣсти, черту за чертой, начиная съ молодой жены у вдовца до швырка у окна, до той минуты, когда она поглядѣла въ окошко: расшибся ли ребенокъ,—и тотчасъ въ часть пошла; до той минуты, какъ сидѣла на судѣ съ акушеркой, и вотъ

до этихъ послѣднихъ проводиновъ и поклоновъ, и... и представьте, вѣдь я хотѣлъ написать „и ужъ, конечно, ничего не выйдетъ“, а между тѣмъ вѣдь оно, можетъ, вышло бы лучше всѣхъ нашихъ поэмъ и романовъ съ героями „съ раздвоенною жизнью и высшимъ прозрѣніемъ“. Даже, знаете, вѣдь я просто не понимаю, чего это смотрятъ наши романисты: вѣдь, вотъ бы имъ сюжетъ, вотъ бы описать черту за чертой одну правду истинную! А, впрочемъ что-жь я, забылъ старое правило: не въ предметѣ дѣло, а въ глазѣ: есть глазъ—и предметъ найдется, нѣтъ у васъ глаза, слѣпы вы,—и ни въ какомъ предметѣ ничего не отыщете. О, глазъ дѣло важное: что на иной глазъ поэма, то на другой — куча...

А неужели нельзя теперь смягчить какъ нибудь этотъ приговоръ Корниловой? Неужели никакъ нельзя? Право, тутъ могла быть ошибка... Ну, такъ вотъ и мерещится что ошибка!

II.

Нѣсколько замѣтокъ о простотѣ и упрощенности.

Теперь о другомъ. Теперь бы мнѣ хотѣлось заявить кое-что на счетъ простоты вообще. Мнѣ припомнился одинъ маленькій и старинный со мной анекдотъ. Лѣтъ тринадцать тому назадъ, въ самое „смутное“ время наше, на иной взглядъ, и въ самое „прямолинейное“—на другой, разъ, зимой, вечеромъ, я зашелъ въ одну библіотеку для чтенія, въ Мѣщанской (тогда еще) улицѣ, по сосѣдству отъ меня: я надумалъ тогда одну критическую статью и мнѣ понадобился одинъ романъ Тэккерея для выписки изъ него. Въ библіотекѣ меня встрѣтила одна барышня (тогдашняя барышня). Я спросилъ романъ; она выслушала меня съ строгимъ видомъ:

— Мы такого вздора не держимъ, отрѣзала она мнѣ съ невыразимымъ презрѣніемъ, котораго, ей-Богу, я не заслуживалъ.

Я, конечно, не удивился и понялъ въ чемъ дѣло. Тогда много было подобныхъ явленій и они какъ-то вдругъ тогда начались, съ восторгомъ и внезапностью. Идея попала на улицу и приняла самый уличный видъ. Вотъ тогда-то страшно доставалось Пушкину и вознесены были „сапоги“. Однако, я, все-таки, попытался поговорить:

— Неужели вы считаете и Тэккерея вздоромъ? спросилъ я, принимая самый смиренный видъ.

— Къ стыду вашему относится что вы это спрашиваете. Нынче прежнее время прошло, нынче разумный спросъ...

Съ тѣмъ я и ушелъ, оставивъ барышню чрезвычайно довольною прочитаннымъ мнѣ урокомъ. Но простота взгляда поразила меня ужасно, и именно тогда я задумался о *простотѣ* вообще и объ нашей русской стремительности къ обобщенію, въ частности. Эта удовлетворимость наша простѣйшимъ, малымъ и ничтожнымъ, по меньшей мѣрѣ поразительна. Мнѣ скажутъ на это, что случай этотъ маленькій и вздорный, что барышня была неразвитая дурочка и, главное, необразованная, что и вспоминать анекдота не стоило, и что барышнѣ, напримѣръ, ничего не стоило представить себѣ, что вотъ до нея всѣ и вся Россія были дураки, а вотъ теперь вдругъ явились все умники и она въ томъ числѣ. Я это все самъ знаю, знаю тоже, что эта барышня навѣрно только это и умѣла сказать,

т. е. объ „разумномъ спросѣ“ и объ Тэккереѣ, да и то съ чужаго голоса, и это по лицу ея было видно, но все же анекдотъ этотъ остался у меня съ тѣхъ поръ въ умѣ, какъ сравненіе, какъ апологъ, даже почти какъ эмблема. Вникните въ теперешнія сужденія, вникните въ теперешній „разумный спросъ“ и въ теперешніе приговоры, и не только объ Тэккереѣ, но и обо всемъ народѣ русскомъ: какая иногда *простота*! Какая прямолинейность, какая скорая удовлетворимость мелкимъ и ничтожнымъ на слово, какая всеобщая стремительность поскорѣе успокоиться, произнести приговоръ, чтобъ ужь не заботиться больше и—повѣрьте, это чрезвычайно еще долго у насъ простоитъ. Посмотрите: всѣ теперь вѣрятъ въ искренность и дѣйствительность народнаго движенія въ этомъ году, а между тѣмъ даже вѣра ужъ не удовлетворяетъ, требуется еще чего нибудь попроще. При мнѣ разсказывалъ одинъ изъ членовъ одной коммиссіи, что онъ получилъ довольно много писемъ съ такими, напримѣръ, вопросами: „Для чего тутъ непремѣнно славяне? Для чего мы помогаемъ славянамъ, какъ славянамъ? И если-бъ въ такомъ положеніи были скандинавы, то будемъ ли мы точно также помогать имъ, какъ и славянамъ!“ Однимъ словомъ, для чего эта рубрика славянъ (помните заботы о рубрикѣ единовѣрія въ „Вѣстникѣ Европы“, о которыхъ я говорилъ въ прошломъ „Дневникѣ“ моемъ). Казалось бы, на первый взглядъ, что тутъ вовсе не простота, не стремленіе упростить, а, напротивъ, въ вопросахъ этихъ слышится безпокойство; но простота въ этомъ случаѣ заключается именно въ желаніи добиться до nihil'я и до tabula rasa, — значитъ, тоже въ своемъ родѣ успокоиться. Ибо, что проще и что успокоительнѣе нуля? Замѣтьте тоже, что въ этихъ вопросахъ опять хоть и косвенно заслышался „разумный спросъ“ и „къ стыду вашему относится“.

Сомнѣнія нѣтъ, что есть очень многіе изъ самыхъ интеллигентныхъ и такъ сказать высшихъ людей нашихъ, которымъ это народное, тихое и смиренное, но твердое и сильное слово въ высшей степени не понравилось—и не потому, что не поняли они его, а напротивъ потому, что слишкомъ поняли, до того, что оно ихъ нѣсколько даже и пріозадачило. По крайней мѣрѣ, несомнѣнно начинаются теперь признаки сильной реакціи. Я не про тѣ невинные голоса говорю, которые еще и прежде послышались, въ видѣ невольнаго брюзжанія и несогласія изъ за излюбленныхъ старыхъ принциповъ на старыя темы, напримѣръ, на ту, что „не надо-де ужъ такъ очень спѣшить и увлекаться такимъ дѣломъ, все же вѣдь грубымъ и не просвѣщеннымъ, какъ помощь славянамъ какъ славянамъ, потому, что они какіе-то тамъ наши „братья“ и пр. и пр. Нѣтъ, я не про этихъ разумно-либеральныхъ старичковъ говорю, пережевывающихъ старыя фразы, а про настоящую реакцію народному движенію, которая, по всѣмъ признакамъ, очень скоро подыметъ голову. Вотъ эта-то реакція естественно и невольно примыкаетъ къ тѣмъ господамъ, которые, давно уже упростивъ свой взглядъ на Россію до послѣднихъ предѣловъ ясности, готовы сказать: „Взять бы дескать да и запретить все явленіе, чтобы все лежало въ косномъ порядкѣ попрежнему“. И представьте, вѣдь этимъ упростителямъ вовсе не по фантастичности своей не пра-

вится это „явленіе“, т. е. въ томъ напримѣръ смыслѣ, что вотъ такая до сихъ поръ косная безтолковая простота осмѣлилась вдругъ заговорить, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ нѣчто сознательное и живое. Такой смыслъ былъ бы понятенъ: просто обидно стало, вотъ и всего. Напротивъ, не понравилось имъ все это явленіе именно за то, что изъ фантастическаго стало оно вдругъ всѣмъ понятно: „какъ смѣло оно стать вдругъ всѣмъ понятнымъ, какъ смѣло получить такой упрощенный и разумный видъ“? Вотъ это-то негодованіе, какъ я сказалъ уже, встрѣтило поддержку себѣ и въ интеллигентныхъ старичкахъ нашихъ, всѣми силами старающихся „упростить“ и низвести „явленіе“ съ разумнаго на что-то стихійное, первоначальное, хоть и добродушное, но все же невѣжественное и могущее повредить. Однимъ словомъ, реакція изъ всѣхъ силъ и всѣми путями стремится прежде всего къ упрощенію... А между тѣмъ отъ этой чрезмѣрной упрощенности возрѣній на иныя явленія иногда вѣдь проигрывается собственное дѣло. Въ иныхъ случаяхъ простота вредитъ самимъ упростителямъ. Простота не мѣняется, простота „прямолинейна“, и сверхъ того—высокомѣрна. Простота врагъ анализа. Очень часто кончается вѣдь тѣмъ, что въ простотѣ своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе, такъ что происходитъ уже обратное, т. е. вашъ же взглядъ, изъ простаго самъ собою и невольно переходитъ въ фантастическій. Это именно происходитъ у насъ отъ взаимной, долгой и все болѣе и болѣе возростающей оторванности одной Россіи отъ другой. Наша оторванность именно и началась съ *простоты взгляда одной Россіи на другую.* Началась она ужасно давно, какъ извѣстно, еще въ Петровское время, когда выработалось впервые необычайное упрощеніе взглядовъ высшей Россіи на Россію народную, и съ тѣхъ поръ, отъ поколѣнія къ поколѣнію, взглядъ этотъ только и дѣлалъ у насъ, что упрощался.

III.

Два самоубійства.

Недавно какъ-то мнѣ случилось говорить съ однимъ изъ нашихъ писателей (большимъ художникомъ) о комизмѣ въ жизни, о трудности опредѣлить явленіе, назвать его настоящимъ словомъ. Я именно замѣтилъ ему передъ этимъ, что я, чуть не сорокъ лѣтъ знающій „Горе отъ ума“, только въ этомъ году понялъ какъ слѣдуетъ одинъ изъ самыхъ яркихъ типовъ этой комедіи, Молчалина, и понялъ именно когда онъ же, т. е. этотъ самый писатель, съ которымъ я говорилъ, разъяснилъ мнѣ Молчалина, вдругъ выведя его въ одномъ изъ своихъ сатирическихъ очерковъ. (Объ Молчалинѣ я еще когда нибудь поговорю, тема знатная).

— А знаете ли вы, вдругъ сказалъ мнѣ мой собесѣдникъ, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отмѣтили въ художественномъ произведеніи,—никогда вы не сравняетесь съ дѣйствительностью. Что бы вы ни изобразили—все выйдетъ слабѣе, чѣмъ въ дѣйствительности. Вы вотъ думаете, что достигли въ произведеніи самаго комическаго въ извѣстномъ явленіи жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Дѣйствитель-

ность тотчасъ-же представитъ вамъ въ этомъ-же родѣ такой фазисъ, какой вы и еще и не предлагали и превышающій все, что могло создать ваше собственное наблюденіе и воображеніе!...

Это я зналъ еще съ 46-го года, когда началъ писать, а можетъ быть и раньше,—и фактъ этотъ не разъ поражалъ меня и ставилъ меня въ недоумѣніе о полезности искусства при такомъ видимомъ его безсиліи. Дѣйствительно, прослѣдите иной, даже вовсе и не такой яркій на первый взглядъ фактъ дѣйствительной жизни—и если только вы въ силахъ и имѣете глазъ, то найдете въ немъ глубину, какой нѣтъ у Шекспира. Но вѣдь въ томъ-то и весь вопросъ: *на чей глазъ и кто въ силахъ?* Вѣдь не только чтобъ создавать и писать художественныя произведенія, но и чтобъ только примѣтить фактъ, нужно тоже въ своемъ родѣ художника. Для инаго наблюдателя всѣ явленія жизни проходятъ въ самой трогательной простотѣ, и до того понятны, что и думать не о чемъ, смотрѣть даже не на что и не стоитъ. Другаго же наблюдателя тѣ-же самыя явленія до того иной разъ озаботятъ, что (случается даже и нерѣдко)—не въ силахъ наконецъ ихъ обобщить и упростить, вытянуть въ прямую линію и на томъ успокоиться,—онъ прибѣгаетъ къ другаго рода упрощенію и, *просто за просто* сажаетъ себѣ пулю въ лобъ, чтобъ погасить свой измученный умъ вмѣстѣ со всѣми вопросами разомъ. Это только двѣ противуположности, но между ними помѣщается весь наличный смыслъ человѣческій. По разумѣется, никогда намъ не исчерпать всего явленія, не добраться до конца и начала его. Намъ знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то по наглядкѣ, а концы и начала—это все еще пока для человѣка фантастическое.

Кстати, одинъ изъ уважаемыхъ моихъ корреспондентовъ сообщилъ мнѣ еще лѣтомъ объ одномъ странномъ и неразгаданномъ самоубійствѣ, и я все хотѣлъ говорить о немъ. Въ этомъ самоубійствѣ все, и снаружи и внутри—загадка. Эту загадку я, по свойству человѣческой природы, конечно, постарался какъ нибудь разгадать, чтобъ на чемъ нибудь „остановиться и успокоиться“. Самоубійца—молодая дѣвушка лѣтъ двадцати трехъ или четырехъ не больше, дочь одного слишкомъ извѣстнаго русскаго эмигранта, и родившаяся заграницей, русская по крови, но почти уже совсѣмъ не русская по воспитанію. Въ газетахъ кажется смутно упоминалось о ней въ свое время, но очень любопытны подробности: „Она намочила вату хлороформомъ, обвязала себѣ этимъ лицо и легла на кровать... Такъ и умерла. Передъ смертью написала слѣдующую записку:

Je m'en vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas qu'on se rassemble pour fêter ma ressurection avec du Cliquot. Si cela reussit, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout à fait morte, puisqu'il est tres desagreable de se réveiller dans un cercueuil sous terre. Ce n'est pas chique“!

То есть порусски:

Предпринимаю длинное путешествіе. Если самоубійство не удастся, то пусть соберутся всѣ отпраздновать мое воскресеніе изъ мертвыхъ съ бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтобъ схоронили меня вполнѣ убѣдясь, что я мертвая, потому что совсѣмъ непріятно проснуться въ гро-

бу подъ землею. *Очень даже не шикарно выйдетъ!*

Въ этомъ гадкомъ, грубомъ пикѣ, помоему, слышится вызовъ, можетъ быть негодованіе, злоба,—но на что же? Просто грубыя натуры истребляютъ себя самоубійствомъ лишь отъ матеріальной, видимой, внѣшней причины, а по тону записки видно, что у нея не могло быть такой причины. На что же могло быть негодованіе?... на простоту представляющагося, на безсодержательность жизни? Это тѣ, слишкомъ извѣстные, судьи и отрицатели жизни, негодующіе на „глупость" появленія человѣка на землѣ, на безтолковую случайность этого появленія, на тиранію косной причины, съ которою нельзя помириться? Тутъ слышится душа именно возмутившаяся противъ „прямолинейности" явленій, не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей въ домѣ отца еще съ дѣтства. И безобразнѣе всего то, что вѣдь она конечно умерла безъ всякаго отчетливаго сомнѣнія. Сознательнаго сомнѣнія, такъ называемыхъ вопросовъ, вѣроятнѣе всего, не было въ душѣ ея; всему она, чему научена была съ дѣтства, вѣрила прямо, на слово, и это вѣрнѣе всего. Значитъ, просто умерла отъ „холоднаго мрака и скуки", съ страданіемъ, такъ сказать, животнымъ и безотчетнымъ, просто стало душно жить, въ родѣ того, какъ бы воздуху не достало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно, и безотчетно потребовала чего-нибудь болѣе сложнаго....

Съ мѣсяцъ тому назадъ, во всѣхъ петербургскихъ газетахъ появилось нѣсколько коротенькихъ строчекъ мелкимъ шрифтомъ объ одномъ петербургскомъ самоубійствѣ: выбросилась изъ окна, изъ четвертаго этажа, одна бѣдная молодая дѣвушка, швея,—„потому что никакъ не могла пріискать себѣ для пропитанія работы. Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, *держа въ рукахъ образъ*. Этотъ образъ въ рукахъ—странная и неслыханная еще въ самоубійствѣ черта! Это ужь какое-то кроткое, смиренное самоубійство. Тутъ даже, видимо не было никакого ропота или попрека: просто—стало нельзя жить, „Богъ не захотѣлъ" и—умерла, помолившись. Обо иныхъ вещахъ, какъ онѣ съ виду ни *просты*, долго не перестается думать, какъ-то мерещится, и даже точно вы въ нихъ виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучаетъ мысль. Вотъ эта-то смерть и напомнила мнѣ о сообщенномъ мнѣ еще лѣтомъ самоубійствѣ дочери Эмигранта. Но какія, однакоже, два разныя созданія, точно обѣ съ двухъ разныхъ планетъ! И какія двѣ разныя смерти! А которая изъ этихъ душъ больше мучилась на землѣ, если только приличенъ и позволителенъ такой праздный вопросъ?

IV.

Приговоръ.

Кстати, вотъ одно разсужденіе одного самоубійцы *отъ скуки*, разумѣется матерьялиста.

„...Въ самомъ дѣлѣ: какое право имѣла эта природа производить меня на свѣтъ, вслѣдствіе какихъ-то тамъ своихъ вѣчныхъ законовъ? Я созданъ съ сознаніемъ и эту природу *созналь:* какое право она имѣла производить меня, безъ моей воли на то, сознающаго? Сознающаго, стало быть, страдающаго, но я не хочу страдать—ибо для чего бы я согласился страдать?

Природа, чрезъ сознаніе мое, возвѣщаетъ мнѣ о какой-то гармоніи въ цѣломъ. Человѣческое сознаніе надѣлало изъ этого возвѣщенія религій. Она говоритъ мнѣ, что я,—хоть и знаю вполнѣ, что въ „гармоніи цѣлаго“ участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ея вовсе что она такое значитъ,—но что я все-таки долженъ подчиниться этому возвѣщенію, долженъ смириться, принять страданіе въ виду гармоніи въ цѣломъ и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то ужъ разумѣется, я скорѣе пожелаю быть счастливымъ лишь въ то мгновеніе пока *я* существую, а до цѣлаго и его гармоніи мнѣ ровно нѣтъ никакого дѣла послѣ того какъ *я* уничтожусь—останется ли это цѣлое съ гармоніей на свѣтѣ послѣ меня, или уничтожится сейчасъ же вмѣстѣ со мною. И для чего бы я долженъ былъ такъ заботиться о его сохраненіи послѣ меня,—вотъ вопросъ? Пусть ужъ лучше я былъ бы созданъ какъ всѣ животныя, т. е. живущимъ, но не сознающимъ себя разумно; сознаніе же мое есть именно не гармонія, а напротивъ дисгармонія, потому что я съ нимъ несчастливъ. Посмотрите, кто счастливъ на свѣтѣ и какіе люди *соглашаются* жить? Какъ разъ тѣ, которые похожи на животныхъ и ближе подходятъ подъ ихъ типъ по малому развитію ихъ сознанія. Они соглашаются жить охотно, но именно подъ условіемъ жить какъ животныя, то есть ѣсть, пить спать, устраивать гнѣздо и выводить дѣтей. Ѣсть, пить и спать, по человѣческому значитъ наживаться и грабить, а устраивать гнѣздо значитъ по преимуществу грабить. Возразятъ мнѣ, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнѣздо на основаніяхъ разумныхъ, на научно вѣрныхъ соціальныхъ началахъ, а не грабежомъ какъ было донынѣ. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараній устроиться въ обществѣ людей правильно, разумно и нравственно—праведно? На это ужъ конечно никто не сможетъ мнѣ дать отвѣта. Все, что мнѣ могли бы отвѣтить это: „чтобъ получить наслажденіе“. Да, еслибъ я былъ цвѣтокъ или корова, я бы и получилъ наслажденіе. Но, задавая, какъ теперь, себѣ безпрерывно вопросы, я не могу быть счастливъ, даже и при самомъ высшемъ и *непосредственномъ* счастьи любви къ ближнему и любви ко мнѣ человѣчества, ибо знаю, что завтра же все это будетъ уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человѣчество—обратимся въ ничто, въ прежній хаосъ. А подъ такимъ условіемъ я ни за что не могу принять никакого счастья,—не отъ нежеланія согласиться принять его, не отъ упрямства какого изъ-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастливъ подъ условіемъ грозящаго завтра нуля. Это—чувство, это непосредственное чувство и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умеръ, а только человѣчество оставалось бы вмѣсто меня вѣчно, тогда можетъ быть я все же былъ бы утѣшенъ. Но вѣдь планета наша невѣчна и человѣчеству срокъ—такой же мигъ какъ и мнѣ. И какъ бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на землѣ человѣчество,—все это тоже приравняется завтра къ тому же нулю. И хоть это почему-то тамъ и необходимо, по какимъ-то тамъ всесильнымъ, вѣчнымъ и мертвымъ законамъ природы, но повѣрьте, что въ этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуваженіе къ человѣчеству,

глубоко мнѣ оскорбительное, и тѣмъ болѣе невыносимое, что тутъ нѣтъ никого виноватаго.

И, наконецъ, еслибъ даже предположить эту сказку объ устроенномъ, наконецъ-то, на землѣ человѣкѣ на разумныхъ и научныхъ основаніяхъ— возможною и повѣрить ей, повѣрить грядущему, наконецъ-то, счастью людей,—то ужь одна мысль о томъ, что природѣ необходимо было, по какимъ-то тамъ коснымъ законамъ ея, истязать человѣка тысячелѣтія, прежде чѣмъ довести его этого счастья, одна мысль объ этомъ уже невыносимо возмутительна, Теперь прибавьте къ тому, что той же природѣ, допустившей человѣка наконецъ-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра въ нуль, не смотря на все страданіе, которымъ заплатило человѣчество за это счастье, и главное нисколько не скрывая этого отъ меня и моего сознанья, какъ скрыла она отъ коровы,—то невольно приходитъ въ голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: „ну что, если человѣкъ былъ пущенъ на землю въ видѣ какой-то наглой пробы, чтобъ только посмотрѣть: уживется-ли подобное существо на землѣ или нѣтъ"? Грусть этой мысли, главное—въ томъ, что опять-таки нѣтъ виноватаго, никто пробы не дѣлалъ, некого проклясть, а просто все произошло по мертвымъ законамъ природы, мнѣ совсѣмъ непонятнымъ, съ которыми сознанію моему никакъ нельзя согласиться. Ergo:

Такъ какъ на вопросы мои о счастьи я черезъ мое же сознаніе получаю отъ природы лишь отвѣтъ, что могу быть счастливъ не иначе, какъ въ гармоніи цѣлаго, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не въ силахъ —

Такъ какъ природа не только не признаетъ за мной права спрашивать у нея отчета, но даже и не отвѣчаетъ мнѣ вовсе—и не потому что не хочетъ, а потому что и не можетъ отвѣтить —

Такъ какъ я убѣдился, что природа, чтобъ отвѣчать мнѣ на мои вопросы предназначила мнѣ (безсознательно) *меня же самого*, и отвѣчаетъ мнѣ моимъ же сознаніемъ (потому что я самъ это все говорю себѣ) —

— Такъ какъ, наконецъ, при такомъ порядкѣ, я принимаю на себя въ одно и тоже время роль истца и отвѣтчика, подсудимаго и судьи и нахожу эту комедію, со стороны природы, совершенно глупою, а переносить эту комедію, съ моей стороны, считаю даже унизительнымъ —

То, въ моемъ несомнѣнномъ качествѣ истца и отвѣтчика, судьи и подсудимаго, я присуждаю эту природу, которая такъ безцеремонно и нагло произвела меня на страданіе — вмѣстѣ со мною къ уничтоженію... А такъ какъ природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно отъ скуки сносить тиранію, въ которой нѣтъ виноватаго".

N. N.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Новый фазисъ Восточнаго вопроса.

Восточный вопросъ вступилъ въ свой второй періодъ, а первый кончился,—но не разбитіемъ, будто бы, Черняева. Этакъ и Суворовъ былъ разбитъ въ Швейцаріи, такъ какъ принужденъ же былъ отступить: но развѣ мы можемъ согласиться, что Суворовъ былъ разбитъ? Не виноватъ онъ былъ, что повелъ русскій народъ во Францію при невозможныхъ обстоятельствахъ. Съ Суворовымъ Черняева мы и не сравниваемъ, а хотимъ только сказать, что есть же обстоятельства, при которыхъ и Суворовы отступаютъ. Правда, теперь въ Петербургѣ иные будущіе полководцы наши громко критикуютъ военныя дѣйствія Черняева, а политики завопили, что онъ именно тѣмъ и виноватъ, что повелъ славянъ и русскій народъ въ бой „при невозможныхъ обстоятельствахъ". Но всѣ эти будущіе полководцы наши пока еще въ Черняевскихъ тискахъ не бывали; это все военные—пока еще штатскіе, и хотятъ порохъ выдумать его не нюхавши; а что до политиковъ, то вспомнили бы они легенду о Суворовской ямѣ въ Швейцаріи, которую онъ велѣлъ выкопать, вскочилъ въ нее и велѣлъ солдатикамъ его засыпать землей „коли ужь не хотятъ его слушаться и идти за нимъ". Солдатики-то расплакались и его изъ ямы вытащили и пошли за нимъ; ну, а изъ ямы, которую выкопала Черняеву въ Сербіи интрига, видно вытащитъ Черняева весь народъ русскій. Вы забыли, господа, что Черняевъ народный герой, и не вамъ его похоронить въ ямѣ.

Восточный вопросъ вступилъ во второй періодъ свой по громовому слову Царя, отозвавшемуся въ сердцахъ всѣхъ русскихъ людей—благословеніемъ, а въ сердцахъ всѣхъ враговъ Россіи—страхомъ. Порта приникла и приняла ультиматумъ, но что теперь далѣе будетъ—болѣе чѣмъ когда нибудь неизвѣстно. Говорятъ о конференціи въ Константинополѣ (или гдѣ бы тамъ ни было, вѣдь не все ли равно), о съѣздѣ дипломатовъ. Стало быть опять дипломатія, къ радости ея обожателей!

И вотъ послѣ громоваго слова Россіи опять начнетъ чваниться передъ нами Европейская пресса. Вѣдь даже венгерцы писали и печатали про насъ, почти еще за день до ультиматума, что мы ихъ боимся, а потому и виляемъ передъ ними и не смѣемъ объявить нашу волю. Опять будутъ интриговать и указывать намъ Англичане которые опять будутъ воображать, что ихъ такъ боятся. Даже Франція какая нибудь и та съ гордымъ и напыщеннымъ видомъ заявитъ на конференціи свое слово и „чего она хочетъ или не хочетъ", тогда какъ—что намъ Франція и на кой намъ знать чего она тамъ у себя хочетъ или не хочетъ? Теперь не пятьдесятъ третій годъ, и никогда можетъ быть не было момента для Россіи, въ который враги ея были бы для нея безвредиѣе. Но пусть, пусть опять во-

царится дипломатія, къ утѣшенію нашихъ петербургскихъ ея любителей. Но Болгарія, Славяне, что станется съ ними въ эти два мѣсяца, вотъ вопросъ? тутъ вѣдь дѣло насущное, которое не ждетъ ни минуты. Что станется съ ними въ эти два мѣсяца? Опять, можетъ быть, потечетъ болгарская кровь! Вѣдь, надобно же будетъ Портѣ доказать своимъ софтамъ, что не изъ трусости приняла она ультиматумъ; вотъ и поплатится Болгарія: „знать, не боимся дескать русскихъ, коли рѣжемъ болгаръ въ самую конференцію". Ну, что сдѣлаемъ мы въ такомъ случаѣ, который такъ возможенъ? Заявимъ тутъ же на конференціи наше негодованіе? Но Порта тотчасъ же отопрется отъ избіенія, свалитъ все на самихъ болгаръ, пожалуй еще приметъ благородно обиженный видъ и поспѣшно назначитъ слѣдственную коммиссію: „Вотъ дескать, господа представители Европы, сами видите какъ меня обижаетъ и какъ придирается ко мнѣ Россія"! А болгаръ, между тѣмъ, будутъ все рѣзать да рѣзать, а Европейская пресса такъ, пожалуй, опять поддержитъ баши-бузуковъ, скажетъ, что Россія придирается изъ честолюбія, нарочно интригуетъ противъ конференціи и хочетъ войны, и... И очень можетъ быть, что Европа опять предложитъ миръ еще хуже войны—миръ усиленно-вооруженный, миръ съ безпокойствомъ, и волненіемъ народовъ, съ мрачными ожиданіями, и это, пожалуй, на цѣлый еще годъ! Цѣлый годъ опять неизвѣстности!... Ну, а черезъ годъ-то ужь конечно, послѣ такого мира, опять начнется война. Надо славянамъ мира, да только не этакого. Да и вовсе не миръ теперь нуженъ, а просто конецъ.

А противъ Черняева раздались таки голоса, и это только еще первые застрѣльщики. Но подождите дальше, хоръ усилится и окрѣпнетъ. Главное тутъ не въ Черняевѣ, тутъ реакція противъ всего движенія этого года. „Петербургская Газета" въ превосходной статьѣ своей, отвѣчая на нападки противъ Черняева, предсказала „Биржевымъ Вѣдомостямъ", что тѣ потеряютъ подписчиковъ и что публика отъ нихъ отвернется, но—врядъ-ли это теперь уже сбудется: есть очень, очень многіе теперь люди, которымъ „Биржевыя Вѣдомости" прямо попали въ тонъ. Это тѣ самые люди, у которыхъ чрезвычайно много накопилось желчи за этотъ годъ, люди злые и раздраженные и которые называютъ себя людьми порядка по преимуществу. Для нихъ все движеніе этого года—одинъ лишь безпорядокъ, а Черняевъ лишь безстыдникъ: дескать, генералъ-лейтенантъ, а какъ какой-нибудь Кондотьери полетѣлъ въ приключенія. Но это люди порядка, такъ сказать, бюрократическаго, а есть и другаго рода любители порядка, люди высшей интеллигенціи, смотрящіе съ болью въ сердцѣ, что столько силъ уходитъ на такое средневѣковое такъ сказать дѣло, тогда какъ, напримѣръ, „школы" и т. д. и т. д. Нападающіе на Черняева кричатъ, что даромъ пролилась русская кровь *безъ выгоды для Россіи.* „Новое Время" прекрасно отвѣтило о выгодѣ и о томъ, что значитъ выгода, отвѣтило прямо и уже откровенными словами, не устыдясь *идеализма* словъ, чего такъ всѣ стыдятся. Мнѣ еще въ іюнѣ мѣсяцѣ, еще въ началѣ движенія, случилось написать въ „Дневникѣ" о томъ: что такое въ этомъ случаѣ выгода Россіи? Такой высокій организмъ, какъ Россія,

долженъ сіять и огромнымъ духовнымъ значеніемъ. Выгода Россіи не въ захватѣ славянскихъ провинцій, а въ искренней и горячей заботѣ о нихъ и покровительствѣ имъ, въ братскомъ единствѣ съ ними и въ сообщеніи имъ духа и взгляда нашего на возсоединеніе Славянскаго міра. Одной матеріальной выгодой, однимъ „хлѣбомъ"— такой высокій организмъ какъ Россія не можетъ удовлетвориться. И это не идеалъ и не фразы: отвѣтъ на то— весь русскій народъ и все движеніе его въ этомъ году. Движеніе почти безпримѣрное въ другихъ народахъ по своему самоотверженію и безкорыстію, по благоговѣйной религіозной жаждѣ *пострадать за правое дѣло.* Такой народъ не можетъ внушать опасенія за порядокъ, это не народъ безпорядка, а народъ твердаго воззрѣнія и уже ничѣмъ непоколебимыхъ правилъ, народъ — любитель жертвъ и ищущій правды и знающій гдѣ она, народъ кроткій, но сильный, честный и чистый сердцемъ, какъ одинъ изъ высокихъ идеаловъ его—богатырь Илья-Муромецъ, чтимый имъ за святаго. Сердце Хранителя такого народа должно радоваться на такой народъ, — и оно радуется, и народъ про то знаетъ! Нѣтъ, тутъ не было безпорядка. ...

II.

Черняевъ.

Черняева даже и защитники его теперь уже считаютъ *не геніемъ*, а лишь доблестнымъ и храбрымъ генераломъ. Но одно уже то, что въ славянскомъ дѣлѣ онъ сталъ во главѣ всего движенія—было уже геніальнымъ прозрѣніемъ; достигать же такихъ задачъ дается лишь геніальнымъ силамъ. Славянское дѣло, во что бы то ни стало, должно было, наконецъ, *начаться*, т. е., перейти въ свой дѣятельный фазисъ; а безъ Черняева оно бы не получило такого развитія. Скажутъ, что въ томъ и бѣда, что онъ подтолкнулъ его, раздулъ его до такихъ размѣровъ, что въ томъ вина его, и что началъ онъ его несвоевременно. Не великая славянская задача не могла быть не поднята и право не знаю можно-ли еще спорить о ея своевременности. Но если ужь началось славянское дѣло, то кто же какъ не Россія должна была стать во главѣ его, въ томъ назначеніи Россіи—и это понялъ Черняевъ и поднялъ знамя Россіи. Рѣшиться на это, шагнуть этотъ шагъ,—нѣтъ, нѣтъ, это не могъ бы сдѣлать человѣкъ безъ особенной силы.

Скажутъ, что все это изъ честолюбія, что онъ—искатель приключеній, искалъ отличиться. Но честолюбцы въ такихъ случаяхъ любятъ болѣе бить на вѣрную, а если и рискуютъ, то все же до извѣстняго предѣла: при обстоятельствахъ грозящихъ уже вѣрной неудачей они немедленно оставляютъ дѣло. Вѣрную неудачу *немедленнаго* военнаго успѣха, съ одними сербами и безъ помощи русскихъ, давно уже, конечно, предвидѣлъ Черняевъ: теперь ужь слишкомъ многое стало извѣстно, слишкомъ ужь достаточно разъяснено въ этой исторіи, чтобъ сомнѣваться въ этомъ. Но оставить дѣло онъ не могъ, ибо дѣло это не исчерпывается однимъ лишь *немедленнымъ* военнымъ успѣхомъ: въ немъ будущее и Россіи и славянскихъ земель. Надежда же его даже и на немедленную помощь Россіи во всякомъ случаѣ не была ошибкою, ибо Россія

произнесла же, наконецъ, свое великое рѣшающее слово. Еслибъ это слово было сказано хоть немного раньше, то Черняевъ ни въ чемъ бы не ошибся. О, многіе на мѣстѣ Черняева не захотѣли бы ждать такъ долго,—вотъ именно честолюбцы и карьеристы. Я увѣренъ, что многіе изъ его критиковъ не выдержали бы и половины того, что онъ вынесъ. Но Черняевъ служилъ огромному дѣлу, а не одному своему честолюбію, и предпочелъ скорѣе пожертвовать всѣмъ,—и судьбой, и славой своей, и карьерой, можетъ быть даже жизнью, но не оставить дѣла. Это именно потому, что онъ работалъ для чести и *выгоды* Россіи и сознавалъ это. Ибо дѣло славянское есть дѣло русское и должно быть рѣшено *окончательно* лишь одной Россіей и по идеѣ русской. Остался онъ тоже и для добровольцевъ русскихъ, которые всѣ стеклись къ нему, подъ его знамя, стеклись за идею какъ къ представителю идеи. Не могъ же онъ ихъ покинуть однихъ, и, ужь конечно, въ этомъ тоже есть великодушіе. Сколько, опять-таки, изъ критиковъ его, на его мѣстѣ бросили бы все и вся, — и идею и Россію и добровольцевъ, сколько ихъ тамъ ни есть! Вѣдь надо же говорить правду....

Критикуютъ Черняева и съ военной стороны. Но, во первыхъ, и опять-таки, эти военные въ Черняевскихъ тискахъ не были, а во вторыхъ, все же то, что уже сдѣлалъ Черняевъ „при невозможныхъ обстоятельствахъ“—не смогъ бы, можетъ быть, сдѣлать никто изъ его критиковъ. Эти „невозможныя обстоятельства“, столь вліявшія на военныя обстоятельства, тоже принадлежатъ исторіи; но главныя черты ихъ уже и теперь извѣстны и дотого характерны, что ихъ нельзя пройти мимо даже и съ стратегической точки зрѣнія. Если только правда, что интрига противъ Черняева дошла до того, что высшіе чиновники страны, въ мнительной ненависти къ подозрительному имъ русскому генералу, оставляли важнѣйшія просьбы и требованія его для арміи, въ самые критическіе моменты, *безъ отвѣта* и даже наканунѣ послѣднихъ и рѣшающихъ битвъ оставляли его безъ артиллерійскихъ снарядовъ, — то возможна-ли будетъ правильная критика военныхъ дѣйствій безъ разъясненія этого пункта? Всѣ эти интриги и все это раздраженіе даже безпримѣрны: этотъ подозрительный имъ генералъ былъ все же предводитель ихъ войска и защищалъ входъ въ Сербію—и вотъ, изъ досады и ненависти, они жертвуютъ всѣмъ,—и войскомъ, и даже отечествомъ, только чтобъ уничтожить непріятнаго имъ человѣка. По крайней мѣрѣ такъ по весьма точнымъ свѣдѣніямъ. Про несомнѣнно бывшую интригу свидѣтельствуютъ всѣ корреспонденты и всѣ газеты въ Европѣ; началась она и шла въ Бѣлградѣ все время, съ самаго прибытія Черняева въ Сербію. Интригѣ этой помогали весьма англичане изъ политики, помогали иные и русскіе,—эти ужь неизвѣстно изъ чего. Очень можетъ быть, что Черняевъ чѣмъ-нибудь оскорбилъ вначалѣ самолюбіе сербскихъ чиновниковъ. Но все же главная причина ихъ мнительнаго и неутолимаго раздраженія противъ него была безъ сомнѣнія та же, объ которой мнѣ уже случилось говорить прежде, т. е., предвзятая идея очень многихъ сербовъ, что если и освобождены будутъ русскими славяне, то лишь на пользу одной Россіи, и что Россія ихъ захватитъ и лишитъ „столь

славной и несомнѣнной ихъ политической будущности". Войну Турціи они, какъ извѣстно, рѣшились объявить и до пріѣзда Черняева, именно мечтая о томъ, что ставъ во главѣ славянскаго движенія и одолѣвъ султана, преобразятся въ славянское союзное нѣсколько милліонное сербское королевство „съ столь славною будущностью". Большая и властная у себя партія сербовъ только объ этомъ и мечтала. Однимъ словомъ, это были мечтатели очень похожіе на маленькихъ семилѣтнихъ дѣтей, которые надѣваютъ игрушечные эполеты и воображаютъ себя уже генералами. Черняевъ же и добровольцы естественно должны были испугать *партію* „вслѣдъ за ними грядущимъ захватомъ Россіи". И ужь безъ сомнѣнія теперь у нихъ, послѣ недавнихъ военныхъ несчастій, начнутся и начались уже пререканія усиленныя. Всѣ эти мечтатели, про себя, а можетъ и вслухъ, начнутъ теперь бранить русскихъ и утверждать, что черезъ русскихъ-то все несчастье и вышло... Но пройдетъ немного,—и явится спасительная реакція; ибо всѣ эти, мнительные теперь сербы, все же вѣдь горячіе патріоты. Они вспомнятъ о русскихъ убитыхъ, положившихъ свой животъ за ихъ землю. Русскіе уйдутъ, но великая идея останется. Великій духъ русскій оставитъ слѣды свои въ ихъ душахъ—и изъ русской крови, за нихъ пролитой, выроститъ и ихъ доблесть. Вѣдь убѣдятся же они когда-нибудь, что помощь русская была безкорыстная, и что никто изъ русскихъ, убитыхъ за нихъ, и не думалъ ихъ захватывать!

Но все это не должно насъ разъединять съ славянами. Есть двѣ Сербіи:—Сербія верхняя, горячая и неопытная, еще не жившая и не дѣйствовавшая, но за то страстно мечтающая о будущемъ, и уже съ партіями и съ интригами, которыя доходятъ иногда до такихъ предѣловъ (опять-таки вслѣдствіе горячей неопытности), что не встрѣтишь подобнаго ни въ одной изъ долго жившихъ, безмѣрно большихъ и самостоятельныхъ чѣмъ Сербія, націй. Но рядомъ съ этою верхнею Сербіей, столь спѣшащей жить политически, есть Сербія народная, считающая лишь русскихъ своими спасителями и братьями, а Царя русскаго—за солнце свое, любящая русскихъ и вѣрящая имъ. Невозможно выразиться лучше, какъ сдѣлали это о томъ же предметѣ „Московскія Вѣдомости", безспорно лучшая наша политическая газета. Вотъ ея слова:

Мы увѣрены, что чувства русскаго народа къ Сербіи не измѣнятся вслѣдствіе успѣха враждебной обѣимъ сторонамъ интриги... Сербы княжества—народъ земледѣльческій, мирный, успѣвшій въ теченіе долгаго мира забыть свои воинственныя преданія и не успѣвшій, взамѣнъ ихъ, выработать твердаго народнаго сознанія, связующаго всякую историческую націю. Наконецъ, сербы княжества не могутъ и народомъ называться: это лишь отрывокъ народа, не имѣющій органическаго значенія. Но мы не можемъ забыть, что сербы восторженно и единодушно встали на помощь своимъ единокровнымъ братьямъ, злодѣйски мучимымъ... Русскій народъ не оставитъ сербовъ въ эту грозную для нихъ минуту, и кровь русскихъ людей показала, какъ чисто было ихъ участіе, какъ геройски безкорыстна была ихъ жертва, и какъ безсмысленны вражескіе навѣты что Россія хочетъ извлечь для себя какія-то выгоды изъ положенія Сербіи. Да послужитъ-же память доблестныхъ русскихъ людей — павшихъ за Сербію, звеномъ братской любви двухъ народовъ, столь близкихъ по крови и вѣрѣ.

Въ заключеніе скажу: пусть мы, русскіе, въ это лѣто потерпѣли, кромѣ всѣхъ *безпокойствъ* (?), матеріальные даже убытки и уже истратили,

можетъ быть, десятки милліоновъ, пошедшихъ, однако, на устройство и подъемъ нашего войска (что, конечно, тоже и хорошо), но ужь одно то, что движеніемъ этого года опредѣлились наши *лучшіе люди*,—ужь одно это есть такой результатъ, который ни съ чѣмъ не сравнится. О, еслибъ всѣ-то народы, даже самые высшіе и интеллигентные въ Европѣ, знали твердо и согласно условились кого считать своими настоящими лучшими людьми,—тотъ-ли видъ имѣла бы Европа и Европейское человѣчество?

III.

Лучшіе люди.

Лучшіе люди,—эта тема стоитъ того, чтобъ сказать о ней нѣсколько словъ. Это тѣ люди, безъ которыхъ не живетъ и не стоитъ никакое общество и никакая нація, при самомъ даже широкомъ равенствѣ правъ. *Лучшіе люди* бываютъ естественно двухъ родовъ: 1, передъ которыми и самъ народъ и сама нація добровольно и свободно склоняютъ себя, чтя ихъ истинную доблесть, и 2) передъ которыми всѣ или очень многіе, изъ народа или націи, преклоняютъ себя по нѣкоторому, такъ сказать уже принужденію и если и считаютъ ихъ „лучшими людьми", то уже нѣсколько условно, а не то чтобы вполнѣ въ самомъ дѣлѣ. На существованіе этого „условнаго" разряда лучшихъ людей, такъ сказать официально признанныхъ лучшими для высшихъ цѣлей порядка и твердости управленія,—роптать нельзя: ибо происходятъ этого сорта „лучшіе люди" по закону историческому и существовали доселѣ во всѣхъ націяхъ и государствахъ съ начала міра, такъ что никакое даже общество не могло устроиться и связать себя въ цѣлое безъ нѣкотораго въ этомъ родѣ добровольнаго надъ собою насилія. Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо кого нибудь и что нибудь уважать непремѣнно, и, главное, всѣмъ обществомъ, а не то чтобы каждому какъ онъ хочетъ про себя. Такъ какъ лучшіе люди перваго разряда, т. е. истинно доблестные и передъ которыми всѣ, или величайшее большинство націи преклоняются сердечно и несомнѣнно—отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчасъ трудно опредѣлимы, отличаются странностями и своеобразностью, а снаружи такъ и весьма нерѣдко имѣютъ нѣсколько даже неприличный видъ, то взамѣнъ ихъ и устанавливаются лучшіе люди уже *условно*, въ видѣ такъ сказать касты лучшихъ людей, подъ оффиціальнымъ покровительствомъ: „Вотъ, дескать, сихъ уважайте". Если же при этомъ эти „условные" и дѣйствительно совпадаютъ съ лучшими людьми перваго разряда, (потому что не всѣ же и въ первомъ разрядѣ имѣютъ неприличный видъ) и тоже истинно доблестны, то цѣль не только вполнѣ, но и вдвойнѣ достигается. Таковыми лучшими людьми были у насъ съ изначала княжеская дружина, потомъ бояре, священство (но лишь высшее), даже иные именитые купцы,—но послѣднихъ бывало весьма немного. Надо замѣтить, что эти лучшіе люди, и у насъ и вездѣ, т. е. и въ Европѣ, всегда вырабатывали себѣ подконецъ довольно стройный кодексъ правилъ доблести и чести, и хоть этотъ кодексъ въ цѣломъ всегда бывалъ конечно довольно условенъ, и съ идеалами народными иногда даже сильно разнился, но въ нѣкоторыхъ пунктахъ и онъ бывалъ до-

вольно высокъ. „Лучшій“ человѣкъ обязательно долженъ былъ умереть, напримѣръ, за отечество, если жертва эта отъ него требовалась, и онъ умиралъ дѣйствительно по долгу чести, „потому-де поруха роду моему будетъ большая“,—и ужь конечно все-таки это было несравненно лучше чѣмъ право на безчестье, при которомъ человѣкъ бросаетъ все и всѣхъ въ минуту опасности и бѣжитъ прятаться: „пропадай, дескать, все на свѣтѣ, былъ бы я и животы мои цѣлы“. Такъ велось у насъ весьма долго, и надо замѣтить еще разъ, что у насъ, въ Россіи, эти условные лучшіе люди, очень и очень часто, и очень во многомъ сходились въ своихъ идеалахъ съ лучшими людьми безусловными, т. е. народными. Ну, конечно, не во всемъ и даже далеко, но по крайней мѣрѣ смѣло можно сказать, что несравненно больше было тогда нравственнаго сближенія между русскими боярами и русскимъ народомъ, чѣмъ въ Европѣ почти повсемѣстно въ тоже самое время между побѣдителями тиранами—рыцарями и побѣжденными рабами—народомъ.

Но вдругъ въ организаціи нашихъ лучшихъ людей явилась и у насъ нѣкоторая радикальная даже перемѣна: Лучшіе люди, всѣ, по Государеву указу, разсортированы были на четырнадцать разрядовъ, одинъ другаго выше, въ видѣ какъ бы лѣстницы, подъ именемъ классовъ, такъ что получилось ровно четырнадцать разрядовъ человѣческой доблести съ нѣмецкими именами. Измѣненіе это въ дальнѣйшемъ развитіи своемъ отчасти и не достигло первоначальной цѣли съ которою было устроено, ибо прежніе „лучшіе люди“ тотчасъ же сами заняли и наполнили всѣ эти четырнадцать новыхъ разрядовъ, и вмѣсто бояръ стали только называться дворянствомъ, но отчасти измѣненіе это и достигло цѣли, потому что оно, даже и очень сильно, раздвинуло старый заборъ. Явился приливъ новыхъ силъ снизу общества, по нашей терминологіи демократическихъ уже силъ,—и особенно изъ семинаристовъ. Приливъ этотъ привнесъ много живительнаго и плодотворнаго въ отдѣлъ лучшихъ людей, ибо явились люди со способностями и съ новыми воззрѣніями, съ образованіемъ еще неслыханнымъ по тогдашнему времени, хотя въ тоже время и чрезвычайно презиравшіе свое прежнее происхожденіе и съ жадностью спѣшившіе преобразиться, посредствомъ чиновъ, поскорѣе въ чистокровныхъ дворянъ. Надо замѣтить, что кромѣ семинаристовъ, изъ народа и изъ купцовъ напримѣръ, лишь весьма немногіе пробились въ разрядъ „лучшихъ людей“, и дворянство продолжало стоять во главѣ націи. Разрядъ этотъ былъ весьма сильно организованъ, и тогда какъ деньги, собственность, золотой мѣшокъ уже царили во всей Европѣ и считались тамъ уже отъ искренняго сердца всѣмъ, что есть доблестнаго, всѣмъ, что есть лучшаго въ людяхъ и между людьми, у насъ въ Россіи,—и это на памяти еще нашей, генералъ, напримѣръ, до того цѣнился, что и самый богатый купецъ считалъ за великую честь залучить его къ себѣ на обѣдъ. Еще недавно я читалъ одинъ анекдотъ, которому бы не повѣрилъ, еслибъ не зналъ, что онъ совершенная правда, про одну петербургскую даму, изъ верхнеклассснаго круга, которая всенародно согнала въ одномъ концертѣ одну десяти-милліонную купчиху съ креселъ и заняла ея мѣсто, да еще выбранила ее публич-

но—и это всего какихъ нибудь тридцать лѣтъ назадъ! Впрочемъ надо сказать и то, что эти „лучшіе“ люди, столь окрѣпнувъ на своемъ мѣстѣ, усвоили себѣ и нѣсколько весьма даже хорошихъ правилъ, напримѣръ, почти *обязательность* для себя хоть какого нибудь образованія, такъ что вся эта каста лучшихъ людей была въ тоже время и по преимуществу образованнымъ въ Россіи сословіемъ, хранителемъ и носителемъ русскаго просвѣщенія, каково бы тамъ оно ни было. Нечего ужь и говорить, что оно было тоже и единственнымъ хранителемъ и носителемъ правилъ чести, но уже совершенно по европейскому шаблону, такъ что буква и форма правилъ совершенно осилили подконецъ искренность содержанія: чести было много, ну, а честныхъ людей подконецъ-то стало ужь и не такъ много. Въ этотъ періодъ и особенно въ концѣ его, сословіе „лучшихъ“ очень уже отдалилось отъ народа въ своихъ идеалахъ „лучшаго человѣка“, такъ что надъ всѣми почти народными представленіями о „лучшемъ“ даже вслухъ смѣялось. Но вдругъ произошелъ одинъ изъ самыхъ колоссальныхъ переворотовъ, которые когда либо переживала Россія: уничтожилось крѣпостное право и произошла глубокая перемѣна во всемъ. Правда, всѣ четырнадцать классовъ остались какъ были, но „лучшіе люди“, какъ будто поколебались. Вдругъ какъ бы утратилось прежнее обаяніе въ массѣ общества, какъ будто измѣнились въ чемъ-то взгляды на „лучшее“. Правда, измѣнились частію и не къ лучшему; мало того, началось что-то до крайности уже сбивчивое и неопредѣленное въ пониманіи лучшаго; тѣмъ не менѣе, прежній взглядъ уже не удовлетворялъ, такъ что очень у многихъ начался въ сознаніи чрезвычайно серьезный вопросъ: кого же теперь считать будутъ *лучшими*, и, главное, откуда ихъ ждать, гдѣ взять, кто возьметъ на себя провозгласить ихъ лучшими и на какихъ основаніяхъ? И надобно-ль кому нибудь это брать на себя? Извѣстны ли, наконецъ, хоть новыя основанія-то эти и кто повѣритъ, что они именно тѣ самыя, на которыхъ надо столь многое вновь воздвигнуть“? Право, эти вопросы начались-было уже очень у многихъ...

IV.

О томъ же.

Все дѣло заключалось въ томъ, что отъ прежнихъ „лучшихъ людей“ какъ бы удалилось покровительство авторитета, какъ бы уничтожилась ихъ оффиціальность. Такимъ образомъ, на первый случай, хоть то утѣшало, что прежняя кастовая форма „лучшихъ людей“, если и не разрушилась окончательно, то по крайней мѣрѣ сильно подалась и раздвинулась, такъ что всякій изъ нихъ, еслибъ пожелалъ удержать за собой прежнее значеніе, то, волей неволей, изъ „условныхъ лучшихъ людей“ долженъ былъ перейти въ натуральные. Являлась прекрасная надежда, что „натуральные-то“ и займутъ такимъ образомъ, мало по малу, всѣ мѣста прежнихъ „лучшихъ“. Но какъ это совершится,—разумѣется, оставалось загадкою. Для многихъ, впрочемъ весьма почтенныхъ людей, но горячихъ и либеральныхъ, тутъ не было никакой загадки. У нихъ все было уже рѣшено какъ по писанному, а иные такъ даже думали, что уже все достигнуто и что „нату-

ральный“ человѣкъ, если и не сталъ еще на первое мѣсто сегодня, то завтра, только лишь чуть-чуть разсвѣтетъ, непремѣнно и станетъ... Между тѣмъ, болѣе задумчивые люди не переставали задавать вопросы на прежнюю тему: „да кто они, натуральные-то? знаетъ ли кто нибудь какъ они теперь называются? Не потерянъ ли напротивъ у насъ ихъ идеалъ окончательно? Гдѣ теперь общепризнанный „лучшій человѣкъ“? Что и кого чтить всѣмъ обществомъ и кому подражать“?

Все это можетъ быть и не раздавалось буквально въ этихъ выраженіяхъ и именно въ формѣ этихъ вопросовъ, но несомнѣнно однако-же, что все это „волненіе“ пережилось нашимъ обществомъ въ той или другой формѣ. Люди пламенные и восторженные кричали скептикамъ, что „новый человѣкъ“ есть, найденъ, опредѣленъ, данъ. Рѣшили наконецъ, что этотъ новый и „лучшій“ человѣкъ есть просто человѣкъ просвѣщенный, „человѣкъ“ науки и *безъ прежнихъ предразсудковъ*. Мнѣніе это не могло однако быть принято очень многими по самому простому соображенію: что человѣкъ образованный—не всегда человѣкъ честный, и что наука еще не гарантируетъ въ человѣкѣ доблести. Въ эту минуту общей шатости и неопредѣленности иные попробовали предложить: не обратиться-ли, дескать, къ народу или къ народнымъ началамъ? Но ужь одно слово „народныя начала“ ужасно многимъ было давно уже противно и ненавистно; притомъ же и народъ, по освобожденіи своемъ, какъ-то не особенно поспѣшилъ заявить себя съ своей доблестной стороны, такъ что искать въ немъ разрѣшенія такихъ вопросовъ было уже сомнительно. Напротивъ, доходили слухи о безпорядочности, распущенности, страшной сивухѣ, неудающемся самоуправленіи, о кулакахъ и міроѣдахъ занимающихъ мѣсто прежнихъ помѣщиковъ и наконецъ—о жидѣ. „Умнѣйшіе“ даже писатели, провозгласили, что кулакъ и міроѣдъ въ народѣ царствуютъ, да и вдобавокъ самъ народъ принимаетъ ихъ за настоящихъ „лучшихъ“ людей своихъ. Явилось наконецъ даже одно, совершенно либеральное въ высшемъ смыслѣ, воззрѣніе, что народъ нашъ даже и *не можетъ быть* теперь компетентенъ въ созданіи идеала лучшаго человѣка, да и не то что самъ компетентенъ, а и участвовать въ этомъ подвигѣ даже не въ силахъ, что его нужно самого обучить сперва грамотѣ, образить его, развить его, настроить школъ и проч. и проч. Надо признаться, что очень многіе изъ скептиковъ стали втупикъ и не знали, что на это отвѣтить...

А между тѣмъ находила новая гроза, наступала новая бѣда,—„золотой мѣшокъ“! На мѣсто прежнихъ „условныхъ“ лучшихъ людей являлась новая *условность*, которая почти вдругъ, получила у насъ страшное значеніе. О, конечно, золотой мѣшокъ былъ и прежде: онъ всегда существовалъ въ видѣ прежняго купца-милліонера; но никогда еще не возносился онъ на такое мѣсто и съ такимъ значеніемъ, какъ въ послѣднее наше время. Прежній купецъ нашъ, несмотря на ту роль, которую уже повсемѣстно игралъ въ Европѣ милліонъ и капиталъ,—имѣлъ у насъ, говоря сравнительно, довольно не высокое мѣсто въ общественной іерархіи. Надо правду сказать—онъ и не стоилъ большаго. Оговорюсь впередъ:—я говорю лишь про богатыхъ купцовъ; большинство же ихъ, не развратившееся еще богатствомъ, жило

въ видѣ типовъ Островскаго и, можетъ быть, было очень многихъ не хуже, если только говорить сравнительно, а низшее и самое многочисленное купечество—такъ даже почти вполнѣ совпадало съ народомъ. Но чѣмъ болѣе богатѣлъ прежній купецъ, тѣмъ становился хуже. Въ сущности это былъ тотъ же мужикъ, но лишь развращенный. Прежніе купцы-милліонеры раздѣлялись на два разряда,—на тѣхъ, которые продолжали носить бороду несмотря на свой милліонъ, и въ огромныхъ собственныхъ домахъ своихъ, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного посвински, и нравственно и физически. Самое еще лучшее что въ нихъ было—это ихъ любовь къ колоколамъ и къ голосистымъ діаконамъ. Но, несмотря на эту любовь, они уже нравственно совсѣмъ разрывали съ народомъ. Трудно представить себѣ что нибудь менѣе сходящееся нравственно, какъ народъ и иной милліонеръ-фабрикантъ. Овсянниковъ, когда его везли недавно въ Сибирь черезъ Казань, вышвыривалъ, говорятъ, ногами подаянныя копѣйки, которыя ему наивно кидалъ народъ въ экипажъ: это уже послѣдняя степень нравственной разорванности съ народомъ, полная потеря самаго малѣйшаго понимапія народнаго смысла и духа. И никогда народъ не бывалъ въ такой кабалѣ какъ на фабрикахъ у иныхъ изъ этихъ господъ! Другой разрядъ милліонеровъ-купцовъ отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолѣпной европейской обстановкой домовъ ихъ, воспитаніемъ дочерей на французскомъ и англійскомъ языкахъ съ фортепіанами, нерѣдко орденомъ за большія пожертвованія, нестерпимымъ чванствомъ надъ всѣмъ, что его пониже, презрѣніемъ къ обыкновенному „обѣденному“ генералу и въ тоже время самою низкою приниженностью передъ высшимъ сановникомъ, особенно если случалось, иногда Богъ знаетъ какими происками и стараніями, залучить такого къ себѣ на балъ или обѣдъ, разумѣется, для него же и устроенный. Эти старанія дать обѣдъ особѣ обращались въ программу жизни. Это жаждалось: почти вѣдь для того и жилъ милліонеръ на свѣтѣ. Само собою, что этотъ прежній богачъ-купецъ молился своему милліону какъ Богу: милліонъ былъ въ глазахъ его все, милліонъ вытащилъ его изъ ничтожества, далъ ему все значеніе. Въ грубой душѣ этого „развращеннаго мужика“ (такъ какъ онъ продолжалъ быть имъ, несмотря на всѣ свои фраки) никогда не могло зародиться ни одной мысли и ни одного чувства, которыя хотя бы на мгновеніе возвысили его въ сознаніи надъ собственнымъ милліономъ. Само собою, несмотря на наружный лоскъ, вся семья такого купца выростала безо всякаго образованія. Милліонъ не только не способствовалъ образованію, но напротивъ бывалъ въ этомъ случаѣ главною причиною невѣжества: станетъ сынъ такого милліонщика учиться въ университетѣ, когда и безо всякаго ученья можно все получить, тѣмъ болѣе, что всѣ эти милліонщики, достигая милліона, весьма часто заручались правами дворянскими. Кромѣ разврата съ самыхъ юныхъ лѣтъ и самыхъ извращенныхъ понятій о мірѣ, отечествѣ, чести, долгѣ, богатство ничего не вносило въ души этого юношества, плотояднаго и наглаго. А извращенность міросозерцанія была чудовищная, ибо надо всѣмъ стояло убѣжденіе, преобразившееся для него въ аксіому: „Деньгами все куплю, вся-

кую почесть, всякую доблесть, всякаго подкуплю и отъ всего откуплюсь". Трудно представить сухость сердца юношей, возроставшихъ въ этихъ богатыхъ домахъ. Изъ чванства и чтобы не отстать отъ другихъ, такой милліонеръ пожалуй и жертвовалъ иногда огромныя суммы на отечество, въ случаѣ, напримѣръ, опасности (хотя случай такой былъ лишь разъ въ двѣнадцатомъ году)—но пожертвованія онъ дѣлалъ въ виду наградъ, и всегда готовъ былъ, въ каждую остальную минуту своего существованія, соединиться хоть съ первымъ жидомъ, чтобы предать всѣхъ и все, если того требовалъ его барышъ; патріотизма, чувства гражданскаго почти не бываетъ въ этихъ сердцахъ.

О, разумѣется, я говорю про нашъ русскій торговый милліонъ лишь въ значеніи касты. Исключенія же бываютъ вездѣ и всегда. Можно указать и у насъ на купцовъ, отличавшихся европейскимъ образованіемъ и доблестными гражданскими подвигами; но изъ милліонеровъ ихъ все-таки было крайне немного, даже всѣ наперечетъ; каста не теряетъ свой характеръ отъ исключеній.

И вотъ, прежнія рамки прежняго купца вдругъ страшно раздвигаются въ наше время. Съ нимъ вдругъ родится европейскій спекулянтъ, на Руси еще прежде невѣдомый, и биржевой игрокъ. Современному купцу уже не надо залучать къ себѣ на обѣдъ „особу" и давать ей балы; онъ уже родится и братается съ особой на биржѣ, въ акціонерномъ собраніи, въ устроенномъ вмѣстѣ съ особой банкѣ; онъ уже теперь самъ лицо, самъ особа. Главное, онъ вдругъ увидалъ себя рѣшительно на одномъ изъ самыхъ высшихъ мѣстъ въ обществѣ, на томъ самомъ, которое во всей Европѣ давно уже, и оффиціально и искренно, отведено милліону, и—ужь разумѣется не усумнился самъ въ себѣ что онъ и впрямь достоинъ этого мѣста. Однимъ словомъ, онъ все болѣе и болѣе убѣждается теперь самъ, отъ самаго чистаго сердца, что онъ то и есть теперь „лучшій" человѣкъ на землѣ взамѣнъ даже всѣхъ бывшихъ прежде него. Но грозящая бѣда не въ томъ, что онъ думаетъ такія глупости, а въ томъ, что и другіе (и уже очень многіе), кажется, начинаютъ точно также думать. Мѣшокъ у *страшнаго* большинства несомнѣнно считается теперь за все лучшее. Противъ этого опасенія конечно заспорятъ. Но вѣдь фактическое теперешнее преклоненіе предъ мѣшкомъ у насъ не только уже безспорно, но, по внезапнымъ размѣрамъ своимъ, и безпримѣрно. Повторю еще: силу мѣшка понимали всѣ у насъ и прежде, но никогда еще доселѣ въ Россіи не считали мѣшокъ за высшее что есть на землѣ. Въ оффиціальной же разсортировкѣ русскихъ людей, прежній купеческій мѣшокъ даже чиновника не могъ пересѣсть въ общественной іерархіи. А теперь даже и прежняя іерархія, безъ всякаго даже принужденія со стороны, какъ будто сама собою готова отодвинуться на второй планъ передъ столь любезнымъ и прекраснымъ новымъ „условіемъ" лучшаго человѣка, „столь долго и столь ошибочно не входившаго въ настоящія права свои". Теперешній биржевикъ нанимаетъ для услугъ своихъ литераторовъ, около него увивается адвокатъ: „эта юная школа изворотливости ума и засушенія сердца, школа извращенія всякаго здраваго чувства по мѣрѣ надобности, школа всевозможныхъ посягновеній, безстрашныхъ

и безнаказанныхъ, постоянно и неустанно, по мѣрѣ спроса и требованія"—эта юная школа сильно уже попала въ тонъ современному биржевику и запѣла ему хвалебную пѣснь. О, не подумайте, что я намекаю на „дѣло Струсберга": адвокаты, провозгласившіе въ этомъ дѣлѣ своихъ „попавшихся" кліентовъ идеалами людей, пропѣвшіе имъ гимнъ какъ „лучшимъ людямъ всей Москвы" (именно въ этомъ родѣ)—лишь дали маху. Они показали, что сами-то они,—не только люди безъ малѣйшихъ серьезныхъ убѣжденій, но даже безъ всякой выдержки и безъ чувства мѣры, и если и играютъ у насъ роли „европейскихъ талантовъ", то единственно на безрыбьи. Въ самомъ дѣлѣ, они, какъ дипломаты, запросили сколь возможно больше, чтобъ добиться наибольшаго minimum'a: „не только правы—святы"! Говорятъ, въ публикѣ раздалось даже однажды шиканье. Но адвокатъ, прежде всего не дипломатъ; сравненіе это невѣрно въ самой сущности. Вѣрнѣе, гораздо вѣрнѣе было бы, указавъ на кліента, спросить поевангельски: „Господа присяжные, кто изъ васъ безъ грѣха"? О, я не противъ приговора говорю: приговоръ правъ—и я преклоняюсь; онъ долженъ былъ быть произнесенъ хотя бы надъ однимъ только банкомъ. Именно дѣло было такого характера, что осудить „общественною совѣстью" этотъ „попавшійся" несчастный московскій ссудный банкъ,—значило тутъ же осудить и всѣ наши банки, и всю биржу, и всѣхъ биржевиковъ, хотя бы тѣ еще не попались, да вѣдь не все ли равно? Кто безъ грѣха, безъ того же самаго грѣха, ну-тка, по совѣсти? Кто-то ужь напечаталъ, что наказали ихъ слабо. Оговорюсь, я не на Ляндау указываю: этотъ виноватъ дѣйствительно въ чемъ-то необыкновенномъ, а я и разбирать-то этого не хочу, но Данила Шумахеръ, приговоренный „за мошенничество", ей Богу наказанъ ужасно. Взглянемъ въ сердца свои: многіе ли изъ насъ не сдѣлали бы того же самаго? Вслухъ не надо признаваться, а такъ про себя бы только это подумать. Но да здравствуетъ юстиція, мы ихъ все-таки упекли! „Вотъ, дескать, вамъ за наше биржевое и развращенное время, вотъ вамъ за то, что мы всѣ эгоисты, за то, что мы всѣ такихъ подлыхъ матеріальныхъ понятій о счастьи въ жизни и о ея наслажденіяхъ, за наше сухое и предательское чувство самосохраненія"! Нѣтъ, осудить хоть одинъ банкъ полезно за наши собственные грѣхи...

Но, Боже, куда я забрался? Неужели и я пишу „о дѣлѣ Струсберга"? Довольно, и поспѣшу сократить. Я вѣдь говорилъ про „лучшаго человѣка" и хотѣлъ лишь вывесть, что идеалъ настоящаго лучшаго человѣка, даже „натуральнаго", сильно уже грозилъ у насъ помутиться. Старое разбилось и износилось, новое еще летало въ фантазіяхъ, а въ дѣйствительности и въ очахъ нашихъ появилось нѣчто отвратительное съ неслыханнымъ еще на Руси развитіемъ". Обаяніе, которое придано было этой новой силѣ, золотому мѣшку, начинало зарождать даже страхъ въ иныхъ сердцахъ, слишкомъ мнительныхъ, хотя бы за народъ, напримѣръ. О, мы, верхнее общество, положимъ хоть и могли бы соблазниться новымъ идоломъ, но все же не пропали бы безслѣдно: не даромъ двѣсти лѣтъ сіялъ надъ нами свѣточъ образованія. Мы во всеоружіи просвѣщенія, мы можемъ отразить чудовище. Въ минуту самаго грязнаго биржеваго разврата упекли же мы вотъ хоть бы

ссудный московскій банкъ! Но народъ, стомилліонный народъ нашъ, эта „косная, развратная, безчувственная масса", и въ которую уже прорвался жидъ — что онъ противупоставитъ идущему на него чудовищу матеріализма въ видѣ золотаго мѣшка? Свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку? Мы боялись, что онъ сразу падетъ передъ выростающимъ въ силѣ золотымъ мѣшкомъ, и что не пройдетъ поколѣнія, какъ закрѣпостится ему весь хуже прежняго. И нетолько силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что онъ-то и скажетъ прежде всѣхъ: „Вотъ гдѣ главное, вотъ она гдѣ сила, вотъ гдѣ спокой, вотъ гдѣ счастье! Сему поклонюсь и за симъ пойду". Вотъ чего можно было очень и очень опасаться, по крайней мѣрѣ на долгое время. Многіе задумывались,—и вдругъ...

—

Но что *вдругъ* случилось нынѣшнимъ лѣтомъ, о томъ рѣчь я оставлю до будущаго „Дневника". Мнѣ хочется поговорить объ этомъ уже безъ „юмора", а отъ всего сердца и *попроще*. Что случилось нынѣшнимъ лѣтомъ, то— до того умилительно и радостно, что даже невѣроятно. Невѣроятно, потому что мы уже махали рукой на этотъ народъ и признавали его грубо-некомпетентнымъ сказать свое слово о томъ: каковъ долженъ быть русскій „лучшій человѣкъ". Мы думали, что весь организмъ этого народа уже зараженъ матеріяльнымъ и духовнымъ развратомъ; мы думали, что народъ уже забылъ свои духовныя начала, не уберегъ ихъ въ сердцѣ своемъ; въ нуждѣ, въ развратѣ потерялъ или исказилъ свои идеалы. И вдругъ, вся эта „единообразная и косная масса" (т. е. на взглядъ иныхъ нашихъ умниковъ, конечно), разлегшаяся въ стомилліонномъ составѣ своемъ на многихъ тысячахъ верстъ, неслышно и бездыханно, въ вѣчномъ зачатіи и въ вѣчномъ признанномъ безсиліи что нибудь сказать или сдѣлать, въ видѣ чего-то вѣчно стихійнаго и послушнаго—вдругъ вся эта Россія просыпается, встаетъ и смиренно но твердо выговариваетъ всенародно прекрасное свое слово... Мало того, русскіе люди берутъ свои посохи и идутъ сотенными толпами, провожаемые тысячами людей, въ какой-то новый крестовый походъ (именно такъ и называютъ уже это движеніе; это англичане первые сравнили это русское движеніе наше съ Крестовымъ походомъ) — въ Сербію, за какихъ-то братьевъ, потому что прослышали, что тѣ тамъ замучены и угнетены. Отецъ, старикъ - солдатъ, чѣмъ бы жить на спокоѣ, вдругъ ополчается и идетъ пѣшкомъ, спрашивая дорогу, за тысячи верстъ, подраться съ туркомъ за братію, и съ собою ведетъ девятилѣтнюю дочку (это фактъ): „дочку найдутся изъ христіанъ, что поберегутъ пока я хожу", отвѣчаетъ онъ на вопросы, „а ужь я пойду, послужу дѣлу Божію". И идетъ... И этакіе примѣры — тысячами! Ну, скажи кто заранѣе, еще зимой напримѣръ, что это у насъ случится, и мы не повѣрили бы,—не повѣрили бы этому „крестовому походу", въявь начавшемуся (но далеко еще не завершившемуся). Даже и теперь, хоть и въявь видишь, но невольно спрашиваешь себя въ иную минуту: „да какже оно могло случиться, какже могло совершиться такое неожиданное никѣмъ дѣло? Заявлено вслухъ землей Русской все, что чтитъ она и чему вѣ-

руетъ, указано ею то, что она считаетъ „лучшимъ“ и какихъ людей почитаетъ „лучшими“. Вотъ о томъ: „какіе это люди и какіе обозначились идеалы“— я и отлагаю до слѣдующаго „Дневника“. Въ сущности, эти идеалы, эти „лучшіе люди“ ясны и видны съ перваго взгляда: „лучшій человѣкъ“ по представленію народному — это тотъ, который не преклонился передъ матеріальнымъ соблазномъ, тотъ, который ищетъ неустанно работы на дѣло Божіе, любитъ правду и, когда надо, встаетъ служить ей, бросая домъ и семью и жертвуя жизнію. Мнѣ именно хотѣлось бы вывесть почему мы, образованные, можемъ смѣло и твердо теперь надѣяться, что не только не утерянъ у насъ на Руси образъ „лучшаго человѣка“, но напротивъ возсіялъ свѣтлѣе чѣмъ когда-нибудь, и податель его, хранитель и носитель его, есть именно теперь простой народъ Русскій, котораго мы, въ просвѣщенномъ высокомѣріи нашемъ, а вмѣстѣ и въ простодушномъ невѣдѣніи нашемъ, считали столь „некомпетентнымъ“. Мнѣ-бы хотѣлось особенно вывесть, какимъ образомъ запросы и требованія нашей „образованности“ могли бы и теперь даже, въ вопросѣ о „лучшемъ человѣкѣ“, сойтись вполнѣ съ указаніемъ народнымъ, несмотря даже на столь явно наивныя и простодушныя формы, въ которыхъ народъ „лучшаго человѣка“ указываетъ. Важна не форма, а содержаніе (хотя и форма прекрасная). Содержаніе же неоспоримо. Вотъ почему мы можемъ въ радости предаться новой надеждѣ: слишкомъ очистился горизонтъ нашъ, слишкомъ ярко всходитъ новое солнце наше... И если-бъ только возможно было, чтобъ мы всѣ согласились и сошлись съ народомъ въ пониманіи: „кого отселѣ считать человѣкомъ „лучшимъ“, то съ нынѣшняго лѣта можетъ быть зачался бы новый періодъ исторіи русской.

Ѳ. Достоевскій.

—

P. S. Въ нынѣшній номеръ, по недосмотру, вкралось нѣсколько корректурныхъ ошибокъ. Вотъ двѣ, самыя грубыя: на стр. 264, на 11-й строкѣ 2-го столбца напечатано: *Не великая славянская задача...* надо читать: *Но великая славянская задача...* Та же страница, тотъ же столбецъ, 17-я строка: *въ томъ назначеніи Россіи*, надо читать: *въ томъ назначеніе Россіи.*

11-й, ноябрьскій, выпускъ выйдетъ 30 ноября.

Дозволено цензурою. Спб. 30 октября. 1876. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

НОЯБРЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго
„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“
НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 20 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногородныхъ“ М. П. Надѣина, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева и др., въ Казани у Дубровина, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Апосова, въ Тамбовѣ: у Зотова,

въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Беренштама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться **исключительно къ автору** по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Өедору Михайловичу Достоевскому.**

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

КРОТКАЯ.

ФАНТАСТИЧЕСКІЙ РАЗСКАЗЪ.

Отъ Автора.

Я прошу извиненія у моихъ читателей, что на сей разъ, вмѣсто „Дневника“ въ обычной его формѣ, даю лишь повѣсть. Но я дѣйствительно занятъ былъ этой повѣстью бо́льшую часть мѣсяца. Во всякомъ случаѣ прошу снизхожденія читателей.

Теперь о самомъ разсказѣ. Я озаглавилъ его „фантастическимъ“, тогда какъ считаю его самъ въ высшей степени реальнымъ. Но фантастическое тутъ есть дѣйствительно, и именно въ самой формѣ разсказа, что и нахожу нужнымъ пояснить предварительно.

Дѣло въ томъ, что это не разсказъ и не записки. Представьте себѣ мужа, у котораго лежитъ на столѣ жена, самоубійца, нѣсколько часовъ передъ тѣмъ выбросившаяся изъ окошка. Онъ въ смятеніи и еще не успѣлъ собрать своихъ мыслей. Онъ ходитъ по своимъ комнатамъ и старается осмыслить случившееся, „собрать свои мысли въ точку“. Притомъ это закоренѣлый ипохондрикъ, изъ тѣхъ что говорятъ сами съ собою. Вотъ онъ и говоритъ самъ съ собой, разсказываетъ дѣло, *уясняетъ* себѣ его. Не смотря на кажущуюся послѣдовательность рѣчи, онъ нѣсколько разъ противурѣчитъ себѣ, и въ логикѣ и въ чувствахъ. Онъ и оправдываетъ себя, и обвиняетъ ее, и пускается въ постороннія разъясненія: тутъ и грубость мысли и сердца, тутъ и глубокое чувство. Мало по малу онъ дѣйствительно *уясняетъ* себѣ дѣло и собираетъ „мысли въ точку“. Рядъ вызванныхъ имъ воспоминаній неотразимо приводитъ его наконецъ къ *правдѣ*; правда неотразимо возвышаетъ его умъ и сердце. Къ концу даже тонъ разсказа измѣняется сравнительно съ безпорядочнымъ началомъ его. Истина открывается несчастному довольно ясно и опредѣлительно, по крайней мѣрѣ для него самого.

Вотъ тема. Конечно процессъ разсказа продолжается нѣсколько часовъ, съ урывками и перемѣжками, и въ формѣ сбивчивой: то онъ говоритъ самъ себѣ, то обращается какъ бы къ невидимому слушателю, къ какому-то

судьѣ. Да такъ всегда и бываетъ въ дѣйствительности. Еслибъ могъ подслушать его и все записать за нимъ стенографъ, то вышло-бы нѣсколько шаршавѣе, необдѣланнѣе, чѣмъ представлено у меня, но, сколько мнѣ кажется, психологическій порядокъ можетъ быть и остался бы тотъ-же самый. Вотъ это предположеніе о записавшемъ все стенографѣ (послѣ котораго я обдѣлалъ-бы записанное) и есть то, что я называю въ этомъ разсказѣ фантастическимъ. Но отчасти подобное уже не разъ допускалось въ искусствѣ: Викторъ Гюго, напримѣръ, въ своемъ шедёврѣ: „Послѣдній день приговореннаго къ смертной казни“, употребилъ почти такой же пріемъ, и хоть и не вывелъ стенографа, но допустилъ еще большую неправдоподобность предположивъ, что приговоренный къ казни можетъ (и имѣетъ время) вести записки не только въ послѣдній день свой, но даже въ послѣдній часъ и, буквально, въ послѣднюю минуту. Но не допусти онъ этой фантазіи, не существовало бы и самаго произведенія,—самаго реальнѣйшаго и самаго правдивѣйшаго произведенія изъ всѣхъ имъ написанныхъ.

I.

Кто былъ я и кто была она.

... Вотъ пока она здѣсь,—еще все хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесутъ завтра и—какже я останусь одинъ? Она теперь въ залѣ на столѣ, составили два ломберныхъ, а гробъ будетъ завтра, бѣлый, бѣлый гроденапль, а впрочемъ не про то... Я все хожу и хочу себѣ уяснить это. Вотъ уже шесть часовъ какъ я хочу уяснить и все не соберу въ точку мыслей. Дѣло въ томъ, что я все хожу, хожу, хожу... Это вотъ какъ было. Я просто разскажу по порядку. (Порядокъ!) Господа, я далеко не литераторъ, и вы это видите, да и пусть, а разскажу какъ самъ понимаю. Въ томъ-то и весь ужасъ мой, что я все понимаю!

Это если хотите знать, т. е., если съ самаго начала брать, то она, просто за просто, приходила ко мнѣ тогда закладывать вещи, чтобъ оплатить публикацію въ „Голосѣ“ о томъ, что вотъ дескать такъ и такъ, гувернантка, согласна и въ отъѣздъ, и уроки давать на дому, и пр. и пр. Это было въ самомъ началѣ и я конечно не различалъ ее отъ другихъ: приходитъ какъ всѣ, ну и прочее. А потомъ сталъ различать. Была она такая тоненькая, бѣлокуренькая, средне-высокаго роста, со мной всегда мѣшковата, какъ будто конфузилась (я думаю и со всѣми чужими была такая же, а я разумѣется ей былъ все равно что тотъ, что другой, т. е., если брать какъ не закладчика, а какъ человѣка). Только что получала деньги, тотчасъ же повертывалась и уходила. И все молча. Другія такъ спорятъ, просятъ, торгуются чтобъ больше дали; эта нѣтъ, что дадутъ... Мнѣ кажется я все путаюсь... Да; меня прежде всего поразили ея вещи: серебряныя позолоченыя сережечки, дрянненькій медальончикъ,—вещи въ двугривенный. Она и сама знала, что цѣна имъ гривенникъ, но я по лицу видѣлъ что онѣ для нея драгоцѣнность,—и дѣйствительно это все что оставалось у ней отъ папаши и мамаши, послѣ узналъ. Разъ только я позволилъ себѣ усмѣхнуться на ея вещи. То есть, видите-ли, я этого себѣ никогда не позволяю, у меня съ

публикой тонъ джентльменскій: мало словъ, вѣжливо и строго. „Строго, строго и строго". Но она вдругъ позволила себѣ принести остатки (т. е. буквально) старой заячьей куцавейки,—и я не удержался и вдругъ сказалъ ей что-то, въ родѣ какъ бы остроты. Батюшки, какъ вспыхнула! Глаза у ней голубые, большіе, задумчивые, но—какъ загорѣлись! Но ни слова не выронила, взяла свои „остатки" и—вышла. Тутъ-то я и замѣтилъ ее въ первый разъ *особенно* и подумалъ что-то о ней въ этомъ родѣ, т. е. именно что-то въ особенномъ родѣ. Да: помню и еще впечатлѣніе, то есть, если хотите, самое главное впечатлѣніе, синтезъ всего: именно что ужасно молода, такъ молода, что точно четырнадцать лѣтъ. А межъ тѣмъ ей тогда ужъ было безъ трехъ мѣсяцевъ шестнадцать. А впрочемъ я не то хотѣлъ сказать, вовсе не въ томъ былъ синтезъ. На завтра опять пришла. Я узналъ потомъ что она у Добронравова и у Мозера съ этой куцавейкой была, но тѣ кромѣ золота—ничего не принимаютъ и говорить не стали. Я же у ней принялъ однажды камей (такъ дрянненькій)—и, осмысливъ, потомъ удивился: я кромѣ золота и серебра тоже ничего не принимаю, а ей допустилъ камей. Это вторая мысль объ ней тогда была, это я помню.

Въ этотъ разъ, т. е. отъ Мозера она принесла сигарный янтарный мундштукъ—вещица такъ себѣ, любительская, но у насъ опять-таки ничего не стоющая, потому что мы только золото. Такъ какъ она приходила уже послѣ вчерашняго *бунта*, то я встрѣтилъ ее строго. Строгость у меня—это сухость. Однако же, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказалъ какъ бы съ нѣкоторымъ раздраженіемъ: „я вѣдь это только *для васъ*, а такую вещь у васъ Мозеръ не приметъ". Слово: *для васъ* я особенно подчеркнулъ, и именно въ *нѣкоторомъ смыслѣ*. Золъ былъ. Она опять вспыхнула выслушавъ это: *для васъ*, но смолчала, не бросила денегъ, приняла,—то-то бѣдность! А какъ вспыхнула! Я понялъ что уколол. А когда она уже вышла, вдругъ спросилъ себя: такъ неужели же это торжество надъ ней стоитъ двухъ рублей? Хе, хе, хе! Помню, что задалъ именно этотъ вопросъ два раза: „стоитъ-ли? стоитъ-ли?" И смѣясь разрѣшилъ его про себя въ утвердительномъ смыслѣ. Очень ужъ я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я съ умысломъ, съ намѣреніемъ; я ее испытать хотѣлъ, потому что у меня вдругъ забродили нѣкоторыя на ея счетъ мысли. Это была третья *особенная* моя мысль объ ней.

... Ну, вотъ съ тѣхъ поръ все и началось. Разумѣется, я тотчасъ же постарался разузнать всѣ обстоятельства стороной и ждалъ ея прихода съ особеннымъ нетерпѣніемъ. Я вѣдь предчувствовалъ что она скоро придетъ. Когда пришла, я вступилъ въ любезный разговоръ съ необычайною вѣжливостью. Я вѣдь недурно воспитанъ и имѣю манеры. Гм. Тутъ-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткіе не долго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но отъ разговора увернуться никакъ не умѣютъ: отвѣчаютъ скупо, но отвѣчаютъ, и чѣмъ дальше, тѣмъ больше, только сами не уставайте если вамъ надо. Разумѣется, она тогда мнѣ сама ничего не объяснила. Это потомъ уже про „Голосъ" и про все я узналъ. Она тогда изъ послѣднихъ силъ публиковалась, сначала, разумѣется, занос-

чиво: „дескать, гувернантка, согласна въ отъѣздъ, и условія присылать въ пакетахъ", а потомъ: „согласна на все, и учить, и въ компаньонки, и за хозяйствомъ смотрѣть, и за больной ходить, и шить умѣю, и т. д. и т. д., все извѣстное! Разумѣется, все это прибавлялось къ публикаціи въ разные пріемы, а подконецъ, когда къ отчаянію подошло, такъ даже и „безъ жалованья, изъ хлѣба". Нѣтъ, не нашла мѣста! Я рѣшился ее тогда въ послѣдній разъ испытать: вдругъ беру сегодняшній „Голосъ" и показываю ей объявленіе: „Молодая особа, круглая сирота, ищетъ мѣста гувернантки къ малолѣтнимъ дѣтямъ, преимущественно у пожилаго вдовца. Можетъ облегчить въ хозяйствѣ".

— Вотъ видите, эта сегодня утромъ публиковалась, а къ вечеру навѣрно мѣсто нашла. Вотъ какъ надо публиковаться!

Опять вспыхнула, опять глаза загорѣлись, повернулась и тотчасъ ушла. Мнѣ очень понравилось. Впрочемъ, я былъ тогда уже во всемъ увѣренъ и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станетъ. А у ней и мундштуки уже вышли. Такъ и есть, на третій день приходитъ, такая блѣдненькая, взволнованная, — я понялъ что у ней что-то вышло дома, и дѣйствительно вышло. Сейчасъ объясню что вышло, но теперь хочу лишь припомнить какъ я вдругъ ей тогда шику задалъ и выросъ въ ея глазахъ. Такое у меня вдругъ явилось намѣреніе. Дѣло въ томъ, что она принесла этотъ образъ (рѣшилась принести)... Ахъ, слушайте! слушайте! Вотъ теперь уже началось, а то я все путался... Дѣло въ томъ, что я теперь все это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я все хочу въ точку мысли собрать и—не могу, а вотъ эти черточки, черточки...

Образъ Богородицы. Богородица съ младенцемъ, домашній, семейный, старинный, риза серебряная золоченая—стоитъ—ну, рублей шесть стоитъ. Вижу, дорогъ ей образъ, закладываетъ весь образъ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образъ унесите; а то образъ все-таки какъ-то того.

— А развѣ вамъ запрещено?

— Нѣтъ, не то что запрещено, а такъ можетъ быть вамъ самимъ...

— Ну, снимите.

— Знаете что̀, я не буду снимать, а поставлю вонъ туда въ кіотъ,—сказалъ я подумавъ,—съ другими образами, подъ лампадкой (у меня всегда, какъ открылъ кассу, лампадка горѣла), и просто за просто возьмите десять рублей.

— Мнѣ не надо десяти, дайте мнѣ пять, я непремѣнно выкуплю.

— А десять не хотите? Образъ стоитъ,—прибавилъ я, замѣтивъ, что опять глазки сверкнули. Она смолчала. Я вынесъ ей пять рублей.

— Не презирайте никого, я самъ былъ въ этихъ тискахъ, да еще похуже-съ, и если теперь вы видите меня за такимъ занятіемъ... то вѣдь это, послѣ всего, что я вынесъ...

— Вы мстите обществу? Да? перебила она меня вдругъ съ довольно ѣдкой насмѣшкой, въ которой было, впрочемъ, много невиннаго (т. е. общаго, потому что меня она рѣшительно тогда отъ другихъ не отличала, такъ что почти безобидно сказала), Ага! подумалъ я, вотъ ты какая, характеръ объявляется, новаго направленія.

— Видите, замѣтилъ я тотчасъ же полушутливо, полутаинственно: „Я—я

есмь часть той части цѣлаго, которая хочетъ дѣлать зло, а творитъ добро"...

Она быстро и съ большимъ любопытствомъ, въ которомъ, впрочемъ, было много дѣтскаго, посмотрѣла на меня:

— Постойте... Что это за мысль? Откуда это? Я гдѣ-то слышала...

— Не ломайте головы, въ этихъ выраженіяхъ Мефистофель рекомендуется Фаусту. Фауста читали?

— Не... невнимательно.

— Т. е., не читали вовсе. Надо прочесть. А впрочемъ я вижу опять на вашихъ губахъ насмѣшливую складку. Пожалуста не предположите во мнѣ такъ мало вкуса, что я, чтобы закрасить мою роль закладчика, захотѣлъ отрекомендоваться вамъ Мефистофелемъ. Закладчикъ закладчикомъ и останется. Знаемъ-съ.

— Вы какой-то странный... Я вовсе не хотѣла вамъ сказать что нибудь такое...

Ей хотѣлось сказать: Я не ожидала что вы человѣкъ образованный, но она не сказала, за то я зналъ, что она это подумала; ужасно я угодилъ ей.

— Видите, замѣтилъ я, на всякомъ поприщѣ можно дѣлать хорошее. Я конечно не про себя, я кромѣ дурнаго, положимъ, ничего не дѣлаю, но...

— Конечно можно дѣлать и на всякомъ мѣстѣ хорошее, сказала она, быстрымъ и проникнутымъ взглядомъ смотря на меня. „Именно на всякомъ мѣстѣ" вдругъ прибавила она. О, я помню, я всѣ эти мгновенія помню! И еще хочу прибавить, что когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочетъ сказать что нибудь такое умное и проникнутое, то вдругъ слишкомъ искренно и наивно покажетъ лицомъ, что: „вотъ дескать я говорю тебѣ теперь умное и проникнутое"—и не то чтобъ изъ тщеславія, какъ нашъ братъ, а такъ и видишь, что она сама ужасно цѣнитъ все это, и вѣруетъ, и уважаетъ, и думаетъ что и вы все это точно также какъ она уважаете. О, искренность! Вотъ тѣмъ-то и побѣждаютъ. А въ ней какъ было прелестно!

Помню, ничего не забылъ! Когда она вышла, я разомъ порѣшилъ. Въ тотъ же день я пошелъ на послѣдніе поиски и узналъ объ ней всю остальную, уже текущую подноготную; прежнюю подноготную я зналъ уже всю отъ Лукерьи, которая тогда служила у нихъ и которую я уже нѣсколько дней тому подкупилъ. Эта подноготная была такъ ужасна, что я и не понимаю какъ еще можно было смѣяться, какъ она давеча, и любопытствовать о словахъ Мефистофеля, сама будучи подъ такимъ ужасомъ. Но—молодежь! Именно это подумалъ тогда объ ней съ гордостью и съ радостью, потому что тутъ вѣдь и великодушіе: дескать хоть и на краю гибели, а великія слова Гете сіяютъ. Молодость всегда хоть капельку и хоть въ кривую сторону да великодушна. То есть я вѣдь про нее, про нее одну. И главное я тогда смотрѣлъ ужъ на нее какъ на *мою*, и не сомнѣвался въ моемъ могуществѣ. Знаете, пресладострастная это мысль, когда ужъ не сомнѣваешся-то.

Но что со мной. Если я такъ буду то когда я соберу все въ точку? Скорѣй, скорѣй—дѣло совсѣмъ не въ томъ, о Боже!

II.

Брачное предложеніе.

„Подноготную", которую я узналъ объ ней, объясню въ одномъ словѣ: отецъ и мать померли, давно уже, три

года передъ тѣмъ, а осталась она у безпорядочныхъ тетокъ. То есть ихъ мало назвать безпорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человѣкъ дѣтей, малъ-мала меньше, другая въ дѣвкахъ, старая, скверная. Обѣ скверныя. Отецъ ея былъ чиновникъ, но изъ писарей, и всего лишь личный дворянинъ—однимъ словомъ: все мнѣ на руку. Я являлся какъ бы изъ высшаго міра: все же отставной штабсъ-капитанъ блестящаго полка, родовой дворянинъ, независимъ и проч., а что касса ссудъ, то тетки на это только съ уваженіемъ могли смотрѣть. У тетокъ три года была въ рабствѣ, но все-таки гдѣ-то экзаменъ выдержала,—успѣла выдержать, урвалась выдержать, изъ-подъ поденной безжалостной работы,—а это значило же что нибудь въ стремленіи къ высшему и благородному съ ея стороны! Я вѣдь для чего хотѣлъ жениться? А впрочемъ обо мнѣ наплевать, это потомъ... И въ этомъ ли дѣло!—Дѣтей теткиныхъ учила, бѣлье шила, а подконецъ не только бѣлье, а, съ ея грудью, и полы мыла. Попросту онѣ даже ее били, попрекали кускомъ. Кончили тѣмъ что намѣревались продать. Тьфу! опускаю грязь подробностей. Потомъ она мнѣ все подробно передала. Все это наблюдалъ цѣлый годъ сосѣдній толстый лавочникъ, но не простой лавочникъ, а съ двумя бакалейными. Онъ ужь двухъ женъ усахарилъ и искалъ третью, вотъ и наглядѣлъ ее: „тихая, дескать, росла въ бѣдности, а я для сиротъ женюсь". Дѣйствительно у него были сироты. Присватался, сталъ сговариваться съ тетками, ктому же—пятьдесятъ лѣтъ ему; она въ ужасѣ. Вотъ тутъ-то и зачастила ко мнѣ для публикацій въ „Голосѣ". Наконецъ, стала просить тетокъ чтобъ только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заѣли: „Сами не знаемъ что жрать и безъ лишняго рта". Я ужь это все зналъ, а въ тотъ день послѣ утрешняго и порѣшилъ. Тогда вечеромъ пріѣхалъ купецъ, привезъ изъ лавки фунтъ конфетъ въ полтинникъ; она съ нимъ сидитъ, а я вызвалъ изъ кухни Лукерью и велѣлъ сходить къ ней шепнуть, что я у воротъ и желаю ей что-то сказать въ самомъ неотложномъ видѣ. Я собою остался доволенъ. И вообще я весь тотъ день былъ ужасно доволенъ.

Тутъ же у воротъ, ей, изумленной уже тѣмъ, что я ее вызвалъ, при Лукерьѣ, я объяснилъ, что сочту за счастье и за честь... Вовторыхъ: чтобъ не удивлялась моей манерѣ и что у воротъ: „человѣкъ дескать прямой и изучилъ обстоятельства дѣла". И я не вралъ, что прямой. Ну, наплевать. Говорилъ же я не только прилично, т. е. выказавъ человѣка съ воспитаніемъ, но и оригинально, а это главное. Чтожъ, развѣ въ этомъ грѣшно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я долженъ говорить pro и contra, и говорю. Я и послѣ вспоминалъ про то съ наслажденіемъ, хоть это и глупо: я прямо объявилъ тогда, безъ всякаго смущенія, что вопервыхъ не особенно талантливъ, не особенно уменъ, можетъ быть даже не особенно добръ, довольно дешевый эгоистъ (я помню это выраженіе, я его дорогой идя тогда сочинилъ и остался доволенъ) и что очень, очень можетъ быть заключаю въ себѣ много непріятнаго и въ другихъ отношеніяхъ. Все это сказано было съ особеннаго рода гордостью,—извѣстно какъ это говорится. Конечно я имѣлъ настолько вкуса, что, объявивъ благородно мои недостатки, не пустился объявлять о достоинствахъ:

„но дескать взамѣнъ того имѣю то-то, то-то и это-то“. Я видѣлъ, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчилъ ничего, мало того, видя что боится нарочно усилилъ: прямо сказалъ, что сыта будетъ, ну а нарядовъ, театровъ, баловъ—этого ничего не будетъ, развѣ впослѣдствіи, когда цѣли достигну. Этотъ строгій тонъ рѣшительно увлекалъ меня. Я прибавилъ, и тоже какъ можно вскользь, что если я и взялъ такое занятіе, т. е. держу эту кассу, то имѣю одну лишь цѣль, есть дескать такое одно обстоятельство... Но вѣдь я имѣлъ право такъ говорить: я дѣйствительно имѣлъ такую цѣль и такое обстоятельство. Постойте господа, я всю жизнь ненавидѣлъ эту кассу ссудъ первый, но вѣдь въ сущности, хоть и смѣшно говорить самому себѣ таинственными фразами, а я вѣдь „мстилъ же обществу“, дѣйствительно, дѣйствительно, дѣйствительно! Такъ что острота ея утромъ на счетъ того, что я „мщу“, была несправедлива. Т. е. видите ли, скажи я ей прямо словами: „Да, я мщу обществу“, и она бы расхохоталась какъ давеча утромъ, и вышло бы въ самомъ дѣлѣ смѣшно. Ну, а косвеннымъ намекомъ, пустивъ таинственную фразу оказалось, что можно подкупить воображеніе. Къ тому же я тогда уже ничего не боялся: я вѣдь зналъ, что толстый лавочникъ во всякомъ случаѣ ей гаже меня и что я, стоя у воротъ, являюсь освободителемъ. Понималъ же вѣдь я это. О, подлости человѣкъ особенно хорошо понимаетъ! Но подлости ли? Какъ вѣдь тутъ судить человѣка? Развѣ не любилъ я ее даже тогда уже?

Постойте: разумѣется я ей о благодѣяніи тогда ни полслова; напротивъ, о напротивъ: „это *я* дескать остаюсь облагодѣтельствованъ, а не *вы*“. Такъ что я это даже словами выразилъ, не удержался, и вышло можетъ быть глупо, потому что замѣтилъ бѣглую складку въ лицѣ. Но въ цѣломъ рѣшительно выигралъ. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припомню и послѣднее свинство: я стоялъ, а въ головѣ шевелилось: ты высокъ, строенъ, воспитанъ и — и наконецъ, говоря безъ фанфаронства, ты не дуренъ собой. Вотъ что играло въ моемъ умѣ. Разумѣется, она, тутъ же у воротъ, сказала мнѣ *да*. Но... но я долженъ прибавить: она тутъ же у воротъ долго думала, прежде чѣмъ сказала *да*. Такъ задумалась, такъ задумалась, что я уже спросилъ было: „ну что-жъ?“—и даже не удержался, съ этакимъ шикомъ спросилъ: „ну что же-съ?“ — съ словоерсомъ.

— Подождите, я думаю.

И такое у ней было серьезное личико, такое—что ужь тогда бы я могъ прочесть! А я-то обижался: „неужели, думаю, она между мной и купцомъ выбираетъ?“ О, тогда я еще не понималъ! Я ничего, ничего еще тогда не понималъ! До сегодня не понималъ! Помню, Лукерья выбѣжала за мною вслѣдъ, когда я уже уходилъ, остановила на дорогѣ и сказала впопыхахъ: „Богъ вамъ заплатитъ, сударь, что нашу барышню милую берете, только вы ей это не говорите, она гордая“.

Ну, гордая! Я, дескать, самъ люблю горденькихъ. Гордыя особенно хороши когда... ну когда ужъ не сомнѣваешься въ своемъ надъ ними могуществѣ, а? О низкій, неловкій человѣкъ! О какъ я былъ доволенъ! Знаете, вѣдь у ней, когда она тогда у воротъ стояла, задумавшись, чтобъ сказать мнѣ да, а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая

мысль: „Если ужъ несчастье и тамъ и тутъ, такъ не лучше ли прямо самое худшее выбрать, т. е. толстаго лавочника, пусть поскорѣй убьетъ пьяный до смерти!“ А? Какъ вы думаете, могла быть такая мысль?

Да и теперь не понимаю, и теперь ничего не понимаю! Я сейчасъ только что сказалъ, что она могла имѣть эту мысль: что изъ двухъ несчастій выбрать худшее, т. е. купца? А кто былъ для нея тогда хуже—я, аль купецъ? Купецъ или закладчикъ, цитующій Гете? Это еще вопросъ! Какой вопросъ? И этого не понимаешь: отвѣтъ на столѣ лежитъ, а ты говоришь, вопросъ! Да и наплевать на меня! Не во мнѣ совсѣмъ дѣло... А кстати, что для меня теперь — во мнѣ или не во мнѣ дѣло? Вотъ этого такъ ужь совсѣмъ рѣшить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болитъ...

III.

Благороднѣйшій изъ людей, но самъ же и не вѣрю.

Не заснулъ. Да и гдѣ-жь, стучитъ какой-то пульсъ въ головѣ. Хочется все это усвоить, всю эту грязь. О, грязь! О, изъ какой грязи я тогда ее вытащилъ! Вѣдь должна же она была это понимать, оцѣнить мой поступокъ! Нравились мнѣ тоже разныя мысли, напримѣръ, что мнѣ сорокъ одинъ, а ей только что шестнадцать. Это меня плѣняло, это ощущеніе неравенства, очень сладостно это, очень сладостно.

Я, напримѣръ, хотѣлъ сдѣлать свадьбу a l'anglaise, т. е. рѣшительно вдвоемъ, при двухъ развѣ свидѣтеляхъ, изъ коихъ одна Лукерья, и потомъ тотчасъ въ вагонъ, напримѣръ хоть въ Москву (тамъ у меня кстати же случилось дѣло) въ гостиницу, недѣли на двѣ. Она воспротивилась, она не позволила, и я принужденъ былъ ѣздить къ теткамъ съ почтеніемъ, какъ къ родственницамъ отъ которыхъ беру ее. Я уступилъ, и теткамъ оказано было надлежащее. Я даже подарилъ этимъ тварямъ по сту рублей и еще обѣщалъ, ей разумѣется про то не сказавши, чтобы не огорчить ее низостью обстановки. Тетки тотчасъ же стали шолковыя. Былъ споръ и о приданомъ: у ней ничего не было, почти буквально, но она ничего и не хотѣла. Мнѣ однако же удалось доказать ей, что совсѣмъ ничего — нельзя, и приданое сдѣлалъ я, потому что кто же бы ей что сдѣлалъ? Ну, да наплевать обо мнѣ. Разныя мои идеи однакоже я ей всетаки успѣлъ тогда передать, чтобы знала по крайней мѣрѣ. Поспѣшилъ даже можетъ быть. Главное, она съ самаго начала, какъ ни крѣпилась, а бросилась ко мнѣ съ любовью, встрѣчала, когда я пріѣзжалъ по вечерамъ, съ восторгомъ, разсказывала своимъ лепетомъ (очаровательнымъ лепетомъ невинности!) все свое дѣтство, младенчество, про родительскій домъ, про отца и мать. Но я все это упоеніе тутъ же обдалъ сразу холодной водой. Вотъ въ томъ то и была моя идея. На восторги я отвѣчалъ молчаніемъ, благосклоннымъ конечно... но все же она быстро увидала, что [illegible] разница и что я — загадка. А я гла[illegible]ное и билъ на загадку! Вѣдь для того, чтобы загадать загадку, я можетъ быть и всю эту глупость сдѣлалъ! Вопервыхъ, строгость, — такъ подъ строгостью и въ домъ ее ввелъ. Однимъ словомъ, тогда, ходя и будучи доволенъ, я создалъ цѣлую систему. О, безъ всякой натуги сама собой вылилась. Да и нельзя было иначе, я долженъ былъ создать эту

систему по неотразимому обстоятельству,—чтожъ я въ самомъ дѣлѣ клевещу то на себя! Система была истинная. Нѣтъ, послушайте, если ужь судить человѣка, то судить зная дѣло... Слушайте:

Какъ бы это начать, потому что это очень трудно. Когда начнешь оправдываться—вотъ и трудно. Видите-ли: молодежь презираетъ, напримѣръ, деньги,—я тотчасъ же налегъ на деньги; я наперъ на деньги. И такъ налегъ, что она все больше и больше начала умолкать. Раскрывала большіе глаза, слушала, смотрѣла и умолкала. Видите-ли: молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста, но мало терпимости, чуть что не такъ и презрѣніе. А я хотѣлъ широкости, я хотѣлъ привить широкость прямо къ сердцу, привить къ сердечному взгляду, не такъ-ли? Возьму пошлый примѣръ: какъ бы я, напримѣръ, объяснилъ мою кассу ссудъ такому характеру? Разумѣется я не прямо заговорилъ, иначе вышло бы что я прошу прощенія за кассу ссудъ, а я такъ сказать дѣйствовалъ гордостью, говорилъ почти молча. А я мастеръ молча говорить, я всю жизнь мою проговорилъ молча, и прожилъ самъ съ собою цѣлыя трагедіи молча. О, вѣдь и я же былъ несчастливъ! Я былъ выброшенъ всѣми, выброшенъ и забытъ, и никто-то, никто-то этого не знаетъ! И вдругъ эта шестнадцати-лѣтняя нахватала обо мнѣ потомъ подробностей, отъ подлыхъ людей, и думала что все знаетъ, а сокровенное, между тѣмъ, оставалось лишь въ груди этого человѣка! Я все молчалъ, и особенно, особенно съ ней молчалъ, до самаго вчерашняго дня,—почему молчалъ? А какъ гордый человѣкъ. Я хотѣлъ, чтобъ она узнала сама, безъ меня, но уже не по разсказамъ подлецовъ, а чтобы *сама догадалась* объ этомъ человѣкѣ и постигла его! Принимая ее въ домъ свой, я хотѣлъ полнаго уваженія. Я хотѣлъ, чтобъ она стояла предо мной въ мольбѣ за мои страданія—и я стоилъ того. О, я всегда былъ гордъ, я всегда хотѣлъ или всего или ничего! Вотъ именно потому что я не половинщикъ въ счастьи, а всего захотѣлъ—именно потому я и вынужденъ былъ такъ поступить тогда: „дескать, сама догадайся и оцѣни"! Потому что, согласитесь, вѣдь еслибъ я самъ началъ ей объяснять и подсказывать, вилять и уваженія просить, — такъ вѣдь я все равно, что просилъ бы милостыни... А впрочемъ... а впрочемъ что-жь я объ этомъ говорю!

Глупо, глупо, глупо и глупо! Я прямо и безжалостно (и я напираю на то, что безжалостно) объяснилъ ей тогда, въ двухъ словахъ, что великодушіе молодежи прелестно, но — гроша не стоитъ. Почему не стоитъ? Потому, что дешево ей достается, получилось не живши, все это, такъ сказать, „первыя впечатлѣнія бытія", а вотъ посмотримъ-ка васъ на трудѣ! Дешевое великодушіе всегда легко, и даже отдать жизнь—и это дешево, потому что тутъ только кровь кипитъ и силъ избытковъ, красоты страстно хочется! Нѣтъ, возьмите-ка подвигъ великодушія трудный, тихій, неслышный, безъ блеску, съ клеветой, гдѣ много жертвы и ни капли славы,—гдѣ вы, сіяющій человѣкъ, предъ всѣми выставлены подлецомъ, тогда какъ вы честнѣе всѣхъ людей на землѣ,—нутка попробуйте-ка этотъ подвигъ, нѣтъ-съ, откажетесь! А я,—я только всю жизнь и дѣлалъ, что носилъ этотъ подвигъ. Сначала спорила, ухъ какъ, а потомъ начала примолкать, совсѣмъ даже,

только глаза ужасно открывала слушая, большіе, большіе такіе глаза, внимательные. И... и кромѣ того, я вдругъ увидалъ улыбку, недовѣрчивую, молчаливую, нехорошую. Вотъ съ этой-то улыбкой я и ввелъ ее въ мой домъ. Правда и то, что ей ужъ некуда было идти...

IV.

Все планы и планы.

Кто у насъ тогда первый началъ? Никто. Само началось съ перваго шага. Я сказалъ, что я ввелъ ее въ домъ подъ строгостью, однако съ перваго же шага смягчилъ. Еще невѣстѣ ей было объяснено что она займется пріемомъ закладовъ и выдачей денегъ и она вѣдь тогда ничего не сказала, (это замѣтьте). Мало того, — принялась за дѣло даже съ усердіемъ. Ну, конечно, квартира, мебель — все осталось попрежнему. Квартира — двѣ комнаты; одна—большая зала, гдѣ отгорожена и касса, а другая тоже большая, наша комната, общая, тутъ и спальня. Мебель у меня скудная; даже у тетокъ была лучше. Кіотъ мой съ лампадкой, это въ залѣ, гдѣ касса; у меня же въ комнатѣ мой шкафъ и въ немъ нѣсколько книгъ, и укладка, ключи у меня; ну, тамъ постель, столы, стулья. Еще невѣстѣ сказалъ, что на наше содержаніе, то есть на пищу, мнѣ, ей и Лукерьѣ, которую я переманилъ, опредѣляется въ день рубль и не больше: „Мнѣ дескать нужно тридцать тысячь въ три года, а иначе денегъ не наживешь“. Она не препятствовала, но я самъ возвысилъ содержаніе на тридцать копѣекъ. Тоже и театръ. Я сказалъ невѣстѣ, что не будетъ театра и однакожъ положилъ разъ въ мѣсяцъ театру быть, и прилично, въ креслахъ. Ходили вмѣстѣ, были три раза, смотрѣли „Погоню за счастьемъ“ и „Птицы пѣвчія“ кажется (О, наплевать, наплевать!). Молча ходили и молча возвращались. Почему, почему мы съ самаго начала принялись молчать? Сначала вѣдь ссоръ не было, а тоже молчаніе. Она все какъ-то, помню, тогда изъ-подтишка на меня глядѣла; я какъ замѣтилъ это и усилилъ молчаніе. Правда, это я на молчаніе наперъ, а не она. Съ ея стороны разъ или два были порывы, бросалась обнимать меня; но такъ какъ порывы были болѣзненные, истерическіе, а мнѣ надо было твердаго счастья, съ уваженіемъ отъ нея, то я принялъ холодно. Да и правъ былъ: каждый разъ послѣ порывовъ на другой день была ссора.

То есть ссоръ не было, опять-таки, но было молчаніе и—и все больше и больше дерзкій видъ съ ея стороны. „Бунтъ и независимость“ — вотъ что было, только она не умѣла. Да, это кроткое лицо становилось все дерзче и дерзче. Вѣрите-ли, я ей становился поганъ, я вѣдь изучилъ это. А въ томъ, что она выходила порывами изъ себя, въ этомъ не было сомнѣнія. Ну какъ, напримѣръ, выйдя изъ такой грязи и нищеты, послѣ мытья-то половъ, начать вдругъ фыркать на нашу бѣдность! Видите-съ: была не бѣдность, а была экономія, а въ чемъ надо—такъ и роскошь, въ бѣльѣ, напримѣръ, въ чистотѣ. Я всегда и прежде мечталъ, что чистота въ мужѣ прельщаетъ жену. Впрочемъ она не на бѣдность, а на мое, будто-бы, скаредство въ экономіи: „цѣли дескать имѣетъ, твердый характеръ показываетъ“. Отъ театра вдругъ сама отказалась. И все пуще и пуще насмѣш-

ливая складка... а я усиливаю молчаніе, а я усиливаю молчаніе.

Не оправдываться-же? Тутъ главное эта касса ссудъ. Позвольте-съ: я зналъ что женщина, да еще шестнадцати лѣтъ, не можетъ не подчиниться мужчинѣ вполнѣ. Въ женщинахъ нѣтъ оригинальности, это—это аксіома, даже и теперь, даже и теперь для меня аксіома! Чтожъ такое, что тамъ въ залѣ лежитъ: истина есть истина, и тутъ самъ Милль ничего не подѣлаетъ! А женщина любящая, о, женщина любящая, — даже пороки, даже злодѣйства любимаго существа обоготворитъ. Онъ самъ не подъищетъ своимъ злодѣйствамъ такихъ оправданій, какія она ему найдетъ. Это великодушно, но не оригинально. Женщинъ погубила одна лишь неоригинальность. И чтожъ, повторяю, что вы мнѣ указываете тамъ на столѣ? Да развѣ это оригинально что тамъ на столѣ? О—о!

Слушайте: въ любви ея я былъ тогда увѣренъ. Вѣдь бросалась же она ко мнѣ и тогда на шею. Любила значитъ, вѣрнѣе—желала любить. Да, вотъ такъ это и было: желала любить, искала любить. А главное вѣдь въ томъ, что тутъ и злодѣйствъ никакихъ такихъ не было, которымъ бы ей пришлось подыскивать оправданія. Вы говорите: закладчикъ, и всѣ говорятъ. А чтожъ что закладчикъ? Значитъ есть же причины, коли великодушнѣйшій изъ людей сталъ закладчикомъ. Видите, господа, есть идеи... т. е. видите, если иную идею произнести, выговорить словами, то выйдетъ ужасно глупо. Выйдетъ стыдно самому. А почему? Ни почему. Потому, что мы всѣ дрянь и правды не выносимъ, или ужъ я не знаю. Я сказалъ сейчасъ „великодушнѣйшій изъ людей“. Это смѣшно, а между тѣмъ вѣдь это такъ и было. Вѣдь это правда, т. е. самая, самая правденская правда! Да, я *имѣлъ право* захотѣть себя тогда обезпечить и открыть эту кассу: „Вы отвергли меня, вы, люди то есть, вы прогнали меня съ презрительнымъ молчаніемъ. На мой страстный порывъ къ вамъ вы отвѣтили мнѣ обидой на всю мою жизнь. Теперь я стало быть въ правѣ былъ оградиться отъ васъ стѣной, собрать эти тридцать тысячь рублей и окончить жизнь гдѣ-нибудь въ Крыму, на Южномъ берегу въ горахъ и виноградникахъ, въ своемъ имѣніи, купленномъ на эти тридцать тысячь, а главное вдали отъ всѣхъ васъ, но безъ злобы на васъ, съ идеаломъ въ душѣ, съ любимой у сердца женщиной, съ семьей если Богъ пошлетъ и — помогая окрестнымъ поселянамъ“. Разумѣется, хорошо что я это самъ теперь про себя говорю, а то что могло быть глупѣе, еслибъ я тогда ей это вслухъ расписалъ? Вотъ почему и гордое молчаніе, вотъ почему и сидѣли молча. Потому, что-жь бы она поняла? Шестнадцать-то лѣтъ, первая-то молодость,—да что могла она понять изъ моихъ оправданій, изъ моихъ страданій? Тутъ прямолинейность, незнаніе жизни, юныя дешовыя убѣжденія, слѣпота куриная „прекрасныхъ сердецъ“, а главное тутъ—касса ссудъ и—баста, (а развѣ я былъ злодѣй въ кассѣ ссудъ, развѣ не видѣла она, какъ я поступалъ и бралъ-ли я лишнее?)! О, какъ ужасна правда на землѣ! Эта прелесть, эта кроткая, это небо—она была тиранъ, нестерпимый тиранъ души моей и мучитель! Вѣдь я наклевещу на себя если этого не скажу! Вы думаете я ее не любилъ? Кто можетъ сказать что я ее не любилъ? Видите-ли: тутъ иронія, тутъ вышла злая иронія судьбы и природы!

Мы прокляты, жизнь людей проклята вообще! (моя въ частности!). Я вѣдь понимаю же теперь, что я въ чемъ-то тутъ ошибся! Тутъ что-то вышло не такъ. Все было ясно, планъ мой былъ ясенъ какъ небо: „Суровъ, гордъ и въ нравственныхъ утѣшеніяхъ ни въ чьихъ не нуждается, страдаетъ молча". Такъ оно и было, не лгалъ, не лгалъ! „Увидитъ потомъ сама, что тутъ было великодушіе, но только она не съумѣла замѣтить—и какъ догадается объ этомъ когда-нибудь, то оцѣнитъ вдесятеро и падетъ въ прахъ сложа въ мольбѣ руки". Вотъ планъ. Но тутъ я что-то забылъ или упустилъ изъ виду. Не съумѣлъ я что-то тутъ сдѣлать. Но довольно, довольно. И у кого теперь прощенія просить? Кончено такъ кончено. Смѣлѣй человѣкъ, и будь гордъ! Не ты виноватъ!...

Чтожъ, я скажу правду, я не побоюсь стать предъ правдой лицомъ къ лицу: *она* виновата, *она* виновата!...

V.

Кроткая бунтуетъ.

Ссоры начались съ того, что она вдругъ вздумала выдавать деньги посвоему, цѣнить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тэму въ споръ. Я не согласился. Но тутъ подвернулась эта капитанша.

Пришла старуха капитанша съ медальономъ — покойнаго мужа подарокъ, ну, извѣстно, сувениръ. Я выдалъ тридцать рублей. Принялась жалобно ныть, просить чтобъ сохранили вещь,—разумѣется сохранимъ. Ну, однимъ словомъ, вдругъ черезъ пять дней приходитъ обмѣнять на браслетъ, который не стоилъ и восьми рублей; я разумѣется отказалъ. Должно быть она тогда же угадала что нибудь по глазамъ жены, но только она пришла безъ меня и та обмѣняла ей медальонъ.

Узнавъ въ тотъ же день, я заговорилъ кротко, но твердо и резонно. Она сидѣла на постели, смотрѣла въ землю, щелкая правымъ носкомъ по коврику (ея жестъ); дурная улыбка стояла на ея губахъ. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявилъ спокойно, что деньги *мои*, что я имѣю право смотрѣть на жизнь *моими* глазами, и—что когда я приглашалъ ее къ себѣ въ домъ, то вѣдь ничего не скрылъ отъ нея.

Она вдругъ вскочила, вдругъ вся затряслась и—что бы вы думали—вдругъ затопала на меня ногами; это былъ звѣрь, это былъ припадокъ, это былъ звѣрь въ припадкѣ. Я оцѣпенѣлъ отъ изумленія; такой выходки я никогда не ожидалъ. Но не потерялся, я даже не сдѣлалъ движенія, и опять, прежнимъ спокойнымъ голосомъ прямо объявилъ, что съ сихъ поръ лишаю ее участія въ моихъ занятіяхъ. Она захохотала мнѣ въ лицо и вышла изъ квартиры.

Дѣло въ томъ, что выходить изъ квартиры она не имѣла права. Безъ меня никуда, таковъ былъ уговоръ еще въ невѣстахъ. Къ вечеру она воротилась; я ни слова.

На завтра тоже съ утра ушла, на послѣ завтра опять. Я заперъ кассу и направился къ теткамъ. Съ ними я съ самой свадьбы прервалъ—ни ихъ къ себѣ, ни сами къ нимъ. Теперь оказалось, что она у нихъ не была. Выслушали меня съ любопытствомъ и мнѣ же насмѣялись въ глаза: „Такъ вамъ, говорятъ, и надо". Но я и ждалъ ихъ смѣха. Тутъ же, младшую

тетку, дѣвицу, за сто рублей подкупилъ и двадцать пять далъ впередъ. Черезъ два дня она приходитъ ко мнѣ: „Тутъ, говоритъ, офицеръ, Ефимовичъ, поручикъ, бывшій вашъ прежній товарищъ въ полку, замѣшанъ". Я былъ очень изумленъ. Этотъ Ефимовичъ болѣе всего зла мнѣ нанесъ въ полку, а съ мѣсяцъ назадъ, разъ и другой, будучи безстыденъ, зашелъ въ кассу подъ видомъ закладовъ, и, помню, съ женой тогда началъ смѣяться. Я тогда же подошелъ и сказалъ ему, чтобъ онъ не осмѣливался ко мнѣ приходить, вспомня наши отношенія; но и мысли объ чемъ нибудь такомъ у меня въ головѣ не было, а такъ просто подумалъ что нахалъ. Теперь же вдругъ тетка сообщаетъ, что съ нимъ у ней уже назначено свиданіе и что всѣмъ дѣломъ орудуетъ одна прежняя знакомая тетокъ, Юлія Самсоновна, вдова, да еще полковница,—„къ ней-то дескать ваша супруга и ходитъ теперь".

Эту картину я сокращу. Всего мнѣ стоило это дѣло рублей до трехсотъ, но въ двое сутокъ устроено было такъ, что я буду стоять въ сосѣдней комнатѣ, за притворенными дверями, и слышать первый rendez-vous наединѣ моей жены съ Ефимовичемъ. Въ ожиданіи же, наканунѣ, произошла у меня съ ней одна краткая, но слишкомъ знаменательная для меня сцена.

Воротилась она передъ вечеромъ, сѣла на постель, смотритъ на меня насмѣшливо и ножкой бьетъ о коврикъ. Мнѣ вдругъ, смотря на нее, влетѣла тогда въ голову идея, что весь этотъ послѣдній мѣсяцъ, или лучше двѣ послѣднія передъ симъ недѣли, она была совсѣмъ не въ своемъ характерѣ, можно даже сказать—въ обратномъ характерѣ: являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать безстыдное, но безпорядочное и само ищущее смятенія. Напрашивающееся на смятеніе. Кротость однако же мѣшала. Когда этакая забуйствуетъ, то хотя бы и перескочила мѣру, а все видно, что она сама себя только ломитъ, сама себя подгоняетъ, и что съ цѣломудріемъ и стыдомъ своимъ ей самой, первой, справиться невозможно. Оттого-то этакія и выскакиваютъ порой слишкомъ ужь не въ мѣрку, такъ что не вѣришь собственному наблюдающему уму. Привычная же къ разврату душа напротивъ всегда смягчитъ, сдѣлаетъ гаже, но въ видѣ порядка и приличія, который надъ вами же имѣетъ претензію превосходствовать.

— А правда, что васъ изъ полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили? вдругъ спросила она, съ дубу сорвавъ, и глаза ея засверкали.

— Правда; меня, по приговору офицеровъ, попросили изъ полка удалиться, хотя впрочемъ я самъ уже передъ тѣмъ подалъ въ отставку.

— Выгнали какъ труса?

— Да, они присудили какъ труса. Но я отказался отъ дуэли не какъ трусъ, а потому что не захотѣлъ подчиниться ихъ тираническому приговору и вызывать на дуэль когда не находилъ самъ обиды. Знайте,—не удержался я тутъ,—что возстать дѣйствіемъ противъ такой тираніи, и принять всѣ послѣдствія, значило выказать гораздо болѣе мужества, чѣмъ въ какой хотите дуэли.

Я не сдержался, я этой фразой какъ бы пустился въ оправданіе себя; а ей только этого и надо было, этого новаго моего униженія. Она злобно разсмѣялась.

— А правда, что вы три года потомъ по улицамъ въ Петербургѣ какъ

бродяга ходили и по гривеннику просили, и подъ билліярдами ночевали?

— Я и на Сѣнной въ домѣ Вяземскаго почевывалъ. Да, правда; въ моей жизни было потомъ, послѣ полка, много позора и паденія, но не нравственнаго паденія, потому что я самъ же, первый, ненавидѣлъ мои поступки даже тогда. Это было лишь паденіе воли моей и ума и было вызвано лишь отчаяніемъ моего положенія. Но это прошло...

— О, теперь вы лицо—финансистъ!

То есть это намекъ на кассу ссудъ. Но я уже успѣлъ сдержать себя. Я видѣлъ, что она жаждетъ унизительныхъ для меня объясненій и—не далъ ихъ. Кстати же позвонилъ закладчикъ и я вышелъ къ нему въ залу. Послѣ, уже черезъ часъ, когда она вдругъ одѣлась чтобъ выдти, остановилась предо мной и сказала:

— Вы однакожъ мнѣ объ этомъ ничего не сказали до свадьбы?

Я не отвѣтилъ и она ушла.

И такъ, на завтра, я стоялъ въ этой комнатѣ за дверями и слушалъ какъ рѣшалась судьба моя, а въ карманѣ моемъ былъ револьверъ. Она была пріодѣта, сидѣла за столомъ, а Ефимовичъ передъ нею ломался. И что-жь: вышло то (я къ чести моей говорю это), вышло точь-въ-точь то, что я предчувствовалъ и предполагалъ, хоть и не сознавая что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно-ли выражаюсь.

Вотъ что вышло. Я слушалъ цѣлый часъ и цѣлый часъ присутствовалъ при поединкѣ женщины, благороднѣйшей и возвышенной, съ свѣтской, развратной, тупой тварью, съ пресмыкающеюся душой. И откуда, думалъ я, пораженный, откуда эта наивная, эта кроткая, эта малословесная знаетъ все это? Остроумнѣйшій авторъ великосвѣтской комедіи не могъ бы создать этой сцены насмѣшекъ, наивнѣйшаго хохота и святаго презрѣнія добродѣтели къ пороку. И сколько было блеска въ ея словахъ и маленькихъ словечкахъ; какая острота въ быстрыхъ отвѣтахъ, какая правда въ ея осужденіи. И въ тоже время столько дѣвическаго почти простодушія. Она смѣялась ему въ глаза надъ его объясненіями въ любви, надъ его жестами, надъ его предложеніями. Пріѣхавъ съ грубымъ приступомъ къ дѣлу и не предполагая сопротивленія, онъ вдругъ такъ и осѣлъ. Сначала я бы могъ подумать, что тутъ у ней просто кокетство — „кокетство хоть и развратнаго, по остроумнаго существа, чтобъ дороже себя выставить“. Но нѣтъ, правда засіяла какъ солнце и сомнѣваться было нельзя. Изъ ненависти только ко мнѣ, напускной и порывистой, она, неопытная, могла рѣшиться затѣять это свиданіе, но какъ дошло до дѣла — то у ней тотчасъ открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чѣмъ бы то ни было, но, рѣшившись на такую грязь, не вынесло безпорядка. И ее-ли, безгрѣшную и чистую, имѣющую идеалъ, могъ прельстить Ефимовичъ или кто хотите изъ этихъ великосвѣтскихъ тварей? Напротивъ, онъ возбудилъ лишь смѣхъ. Вся правда поднялась изъ ея души и негодованіе вызвало изъ сердца сарказмъ. Повторяю, этотъ шутъ подконецъ совсѣмъ осовѣлъ и сидѣлъ нахмурившись, едва отвѣчая, такъ что я даже сталъ бояться чтобъ не рискнулъ оскорбить ее изъ низкаго мщенія. И опять повторяю: къ чести моей, эту сцену я выслушалъ почти безъ изумленія. Я какъ будто встрѣтилъ одно знакомое. Я какъ будто шелъ за тѣмъ,

чтобъ это встрѣтить. Я шелъ ничему не вѣря, никакому обвиненію, хотя и взялъ револьверъ въ карманъ,—вотъ правда! И могъ развѣ я вообразить ее другою? Изъ за чего-жь я любилъ, изъ за чего-жь я цѣнилъ ее, изъ за чего-жь женился на ней? О, конечно, я слишкомъ убѣдился въ томъ, сколь она меня тогда ненавидѣла, но убѣдился и въ томъ, сколь она непорочна. Я прекратилъ сцену вдругъ, отворивъ двери. Ефимовичъ вскочилъ, я взялъ ее за руку и пригласилъ со мной выдти. Ефимовичъ нашелся и вдругъ звонко и раскатисто расхохотался:

— О, противъ священныхъ супружескихъ правъ я не возражаю, уводите, уводите! И знаете, крикнулъ онъ мнѣ вслѣдъ, хоть съ вами и нельзя драться порядочному человѣку, но, изъ уваженія къ вашей дамѣ, я къ вашимъ услугамъ... Если вы, впрочемъ, сами рискнете...

— Слышите! остановилъ я ее на секунду на порогѣ.

Затѣмъ всю дорогу до дома ни слова. Я велъ ее за руку и она не сопротивлялась. Напротивъ, она была ужасно поражена, но только до дома. Придя домой, она сѣла на стулъ и уперлась въ меня взглядомъ. Она была чрезвычайно блѣдна; губы хоть и сложились тотчасъ же въ насмѣшку, но смотрѣла она уже съ торжественнымъ и суровымъ вызовомъ и кажется серьозно убѣждена была, въ первыя минуты, что я убью ее изъ револьвера. Но я молча вынулъ револьверъ изъ кармана и положилъ на столъ. Она смотрѣла на меня и на револьверъ. (Замѣтьте: револьверъ этотъ былъ ей уже знакомъ. Заведенъ онъ былъ у меня и заряженъ съ самаго открытія кассы. Открывая кассу, я порѣшилъ не держать ни огромныхъ собакъ, ни сильнаго лакея, какъ, напримѣръ, держитъ Мозеръ. У меня посѣтителямъ отворяетъ кухарка. Но занимающимся нашимъ ремесломъ невозможно лишить себя, на всякій случай, самозащиты и я завелъ заряженный револьверъ. Она, въ первые дни, какъ вошла ко мнѣ въ домъ, очень интересовалась этимъ револьверомъ, распрашивала и я объяснилъ даже ей устройство и систему, кромѣ того, убѣдилъ разъ выстрѣлить въ цѣль. Замѣтьте все это). Не обращая вниманія на ея испуганный взглядъ, я, полураздѣтый, легъ на постель. Я былъ очень обезсиленъ; было уже около одинадцати часовъ. Она продолжала сидѣть на томъ же мѣстѣ, не шевелясь, еще около часа, затѣмъ потушила свѣчу и легла, тоже одѣтая, у стѣны, на диванѣ. Въ первый разъ не легла со мной,—это тоже замѣтьте...

VI.

Страшное воспоминаніе.

Теперь это страшное воспоминаніе...

Я проснулся утромъ, я думаю, въ восьмомъ часу и въ комнатѣ было уже почти совсѣмъ свѣтло. Я проснулся разомъ съ полнымъ сознаніемъ и вдругъ открылъ глаза. Она стояла у стола и держала въ рукахъ револьверъ. Она не видѣла, что я проснулся и гляжу. И вдругъ я вижу, что она стала надвигаться ко мнѣ съ револьверомъ въ рукахъ. Я быстро закрылъ глаза и притворился крѣпко спящимъ.

Она дошла до постели и стала надо мной. Я слышалъ все; хоть и настала мертвая тишина, но я слышалъ эту тишину. Тутъ произошло одно судорожное движеніе—и я вдругъ, неудержимо, открылъ глаза противъ воли.

Она смотрѣла прямо на меня, мнѣ въ глаза, и револьверъ уже былъ у моего виска. Глаза наши встрѣтились. Но мы глядѣли другъ на друга не болѣе мгновенія. Я съ силой закрылъ глаза опять, и въ тоже мгновеніе рѣшилъ изо всей силы моей души, что болѣе уже не шевельнусь и не открою глазъ, что бы ни ожидало меня.

Въ самомъ дѣлѣ, бываетъ, что и глубоко спящій человѣкъ вдругъ открываетъ глаза, даже приподымаетъ на секунду голову и оглядываетъ комнату, затѣмъ, черезъ мгновеніе, безъ сознанія кладетъ опять голову на подушку и засыпаетъ ничего не помня. Когда я, встрѣтившись съ ея взглядомъ и ощутивъ револьверъ у виска, вдругъ закрылъ опять глаза и не шевельнулся, какъ глубоко спящій,—она рѣшительно могла предположить, что я въ самомъ дѣлѣ сплю и что ничего не видалъ, тѣмъ болѣе, что совсѣмъ невѣроятно, увидавъ то, что я увидѣлъ, закрыть въ *такое* мгновеніе опять глаза.

Да, невѣроятно. Но она все-таки могла угадать и правду, — это-то и блеснуло въ умѣ моемъ вдругъ, все въ тоже мгновеніе. О, какой вихрь мыслей, ощущеній, пронесся менѣе чѣмъ въ мгновеніе въ умѣ моемъ, и да здраствуетъ электричество человѣческой мысли! Въ такомъ случаѣ, (почувствовалось мнѣ), если она угадала правду и знаетъ, что я не сплю, то я уже раздавилъ ее моею готовностью принять смерть и у ней теперь можетъ дрогнуть рука. Прежняя рѣшимость можетъ разбиться о новое чрезвычайное впечатлѣніе. Говорятъ, что стоящіе на высотѣ какъ-бы тянутся сами книзу, въ бездну. Я думаю много самоубійствъ и убійствъ совершилось потому только, что револьверъ уже былъ взятъ въ руки. Тутъ тоже бездна, тутъ покатость въ сорокъ пять градусовъ, о которую нельзя не скользнуть, и васъ что-то вызываетъ непобѣдимо спустить курокъ. Но сознаніе что я все видѣлъ, все знаю и жду отъ нея смерти молча—могло удержать ее на покатости.

Тишина продолжалась и вдругъ я ощутилъ у виска, у волосъ моихъ, холодное прикосновеніе желѣза. Вы спросите: твердо ли я надѣялся что спасусь? Отвѣчу вамъ какъ передъ Богомъ: не имѣлъ никакой надежды, кромѣ развѣ одного шанса изъ ста. Для чего же принималъ смерть? А я спрошу: на что мнѣ была жизнь послѣ револьвера, поднятаго на меня обожаемымъ мною существомъ? Кромѣ того, я зналъ всей силой моего существа, что между нами, въ это самое мгновеніе, идетъ борьба, страшный поединокъ на жизнь и смерть, поединокъ вотъ того самаго вчерашняго труса, выгнаннаго за трусость товарищами. Я зналъ это и она это знала, если только угадала правду, что я не сплю.

Можетъ быть этого и не было, можетъ быть я этого и не мыслилъ тогда, но это все же должно было быть, хоть безъ мысли, потому что я только и дѣлалъ, что объ этомъ думалъ потомъ, каждый часъ моей жизни.

Но вы зададите опять вопросъ: зачѣмъ же ея не спасъ отъ злодѣйства? О, я тысячу разъ задавалъ себѣ потомъ этотъ вопросъ—каждый разъ когда, съ холодомъ въ спинѣ, припоминалъ ту секунду. Но душа моя была тогда въ мрачномъ отчаяніи: я погибалъ, я самъ погибалъ, такъ кого-жъ бы я могъ спасти? И почемъ вы знаете, хотѣлъ ли бы еще я тогда кого спасти? Почемъ знать что я тогда могъ чувствовать?

Сознаніе однако-жъ кипѣло; секунды шли, тишина была мертвая; она все стояла надо мной,—и вдругъ я вздрогнулъ отъ надежды! Я быстро открылъ глаза. Ея уже не было въ комнатѣ. Я всталъ съ постели: я побѣдилъ,—и она была навѣки побѣждена!

Я вышелъ къ самовару. Самоваръ подавался у насъ всегда въ первой комнатѣ и чай разливала всегда она. Я сѣлъ къ столу молча и принялъ отъ нея стаканъ чая. Минутъ черезъ пять я на нее взглянулъ. Она была страшно блѣдна, еще блѣднѣе вчерашняго, и смотрѣла на меня. И вдругъ—и вдругъ, видя что я смотрю на нее, она блѣдно усмѣхнулась блѣдными губами, съ робкимъ вопросомъ въ глазахъ. „Стало быть все еще сомнѣвается и спрашиваетъ себя: знаетъ онъ иль не знаетъ, видѣлъ онъ иль не видѣлъ?" Я равнодушно отвелъ глаза. Послѣ чая заперъ кассу, пошелъ на рынокъ и купилъ желѣзную кровать и ширмы. Возвратясь домой, я велѣлъ поставить кровать въ залѣ, а ширмами огородить ее. Это была кровать для нея, но я ей не сказалъ ни слова. И безъ словъ поняла, черезъ эту кровать, что я „все видѣлъ и все знаю", и что сомнѣній уже болѣе нѣтъ. На ночь я оставилъ револьверъ какъ всегда на столѣ. Ночью она молча легла въ эту новую свою постель: бракъ былъ расторгнутъ, „побѣждена но не прощена". Ночью съ нею сдѣлался бредъ, а на утро горячка. Она пролежала шесть недѣль.



ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Сонъ гордости.

Лукерья сейчасъ объявила, что жить у меня не станетъ и, какъ похоронятъ барыню,—сойдетъ. Молился на колѣняхъ пять минутъ, а хотѣлъ молиться часъ, но все думаю—думаю, и все больныя мысли, и больная голова,—чего жъ тутъ молиться—одинъ грѣхъ! Странно тоже что мнѣ спать не хочется: въ большомъ, въ слишкомъ большомъ горѣ, послѣ первыхъ сильнѣйшихъ взрывовъ, всегда спать хочется. Приговоренные къ смертной казни чрезвычайно, говорятъ, крѣпко спятъ въ послѣднюю ночь. Да такъ и надо, это по природѣ, а то силы бы не вынесли... Я легъ на диванъ, но не заснулъ...

—

...Шесть недѣль болѣзни мы ходили тогда за ней день и ночь,—я, Лукерья и ученая сидѣлка изъ больницы, которую я нанялъ. Денегъ я не жалѣлъ, и мнѣ даже хотѣлось на нее тратить. Доктора я позвалъ Шредера и платилъ ему по десяти рублей за визитъ. Когда она пришла въ сознаніе я сталъ меньше являться на глаза. А впрочемъ чтожь я описываю. Когда она встала совсѣмъ, то тихо и молча сѣла въ моей комнатѣ за особымъ столомъ, который я тоже купилъ для нея

въ это время... Да, это правда, мы совершенно молчали; то есть мы начали даже потомъ говорить, но—все обычное. Я конечно нарочно не распространялся, но я очень хорошо замѣтилъ, что и она какъ бы рада была не сказать лишняго слова. Мнѣ показалось это совершенно естественнымъ съ ея стороны: „Она слишкомъ потрясена и слишкомъ побѣждена, думалъ я, и ужъ конечно ей надо дать позабыть и привыкнуть". Такимъ образомъ мы и молчали, но я каждую минуту приготовлялся про себя къ будущему. Я думалъ что и она тоже, и для меня было страшно занимательно угадывать: объ чемъ именно она теперь про себя думаетъ?

Еще скажу: О, конечно никто не вѣдаетъ сколько я вынесъ, стеная надъ ней въ ея болѣзни. Но я стеналъ про себя, и стоны давилъ въ груди даже отъ Лукерьи. Я не могъ представить, предположить даже не могъ, чтобъ она умерла не узнавъ всего. Когда же она вышла изъ опасности и здоровье стало возвращаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. Мало того, я рѣшилъ *отложить наше будущее* какъ можно на долгое время, а оставить пока все въ настоящемъ видѣ. Да, тогда случилось со мной нѣчто странное и особенное, иначе не умѣю назвать: я восторжествовалъ и одного сознанія о томъ оказалось совершенно для меня довольно. Вотъ такъ и прошла вся зима. О, я былъ доволенъ, какъ никогда не бывалъ, и это всю зиму.

Видите: въ моей жизни было одно страшное внѣшнее обстоятельство, которое до тѣхъ поръ, т. е. до самой катастрофы съ женой, каждый день и каждый часъ давило меня, а именно—потеря репутаціи и тотъ выходъ изъ полка. Въ двухъ словахъ: была тираническая несправедливость противъ меня. Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характеръ, и можетъ быть за смѣшной характеръ, хотя часто бываетъ вѣдь такъ, что возвышенное для васъ, сокровенное и чтимое вами, въ тоже время смѣшитъ почему-то толпу вашихъ товарищей. О, меня не любили никогда даже въ школѣ. Меня всегда и вездѣ не любили. Меня и Лукерья не можетъ любить. Случай же въ полку былъ хоть и слѣдствіемъ нелюбви ко мнѣ, но безъ сомнѣнія носилъ случайный характеръ. Я къ тому это, что нѣтъ ничего обиднѣе и несноснѣе какъ погибнуть отъ случая, который могъ быть и не быть, отъ несчастнаго скопленія обстоятельствъ, которыя могли пройти мимо какъ облака. Для интеллигентнаго существа унизительно. Случай былъ слѣдующій:

Въ антрактѣ, въ театрѣ, я вышелъ въ буфетъ. Гусаръ А—въ, вдругъ войдя, громко при всѣхъ бывшихъ тутъ офицерахъ и публикѣ, заговорилъ съ двумя своими же гусарами, объ томъ, что въ корридорѣ капитанъ нашего полка Безумцевъ сейчасъ только надѣлалъ скандалу „и кажется пьяный". Разговоръ не завязался, да и была ошибка, потому что капитанъ Безумцевъ пьянъ не былъ и скандалъ былъ собственно не скандалъ. Гусары заговорили о другомъ, тѣмъ и кончилось, но на завтра анекдотъ проникъ въ нашъ полкъ и тотчасъ же у насъ заговорили, что въ буфетѣ изъ нашего полка былъ только я одинъ, и когда гусаръ А—въ дерзко отнесся о капитанѣ Безумцевѣ, то я не подошелъ къ А—ву и не остановилъ его замѣчаніемъ. Но съ какой же бы стати? Если онъ имѣлъ зубъ на Безумцева, то дѣло это было ихъ личное и мнѣ чегожъ ввязываться? Между тѣмъ офицеры на-

чали находить, что дѣло было не личное, а касалось и полка, а такъ какъ офицеровъ нашего полка тутъ былъ только я, то тѣмъ и доказалъ всѣмъ бывшимъ въ буфетѣ офицерамъ и публикѣ, что въ полку нашемъ могутъ быть офицеры не столь щекотливые на счетъ чести своей и полка. Я не могъ согласиться съ такимъ опредѣленіемъ. Мнѣ дали знать, что я могу еще все поправить, если даже и теперь, хотя и поздно, захочу формально объясниться съ А—мъ. Я этого не захотѣлъ и такъ какъ былъ раздраженъ, то отказался съ гордостью. Затѣмъ тотчасъ же подалъ въ отставку, —вотъ вся исторія. Я вышелъ гордый, но разбитый духомъ. Я упалъ волей и умомъ. Тутъ какъ разъ подошло что сестринъ мужъ въ Москвѣ промоталъ наше маленькое состояніе и мою въ немъ часть, крошечную часть, но я остался безъ гроша на улицѣ. Я бы могъ взять частную службу, но я не взялъ: послѣ блестящаго мундира я не могъ пойти куда нибудь на желѣзную дорогу. И такъ — стыдъ такъ стыдъ, позоръ такъ позоръ, паденіе такъ паденіе и чѣмъ хуже тѣмъ лучше, — вотъ что я выбралъ. Тутъ три года мрачныхъ воспоминаній и даже домъ Вяземскаго. Полтора года назадъ умерла въ Москвѣ богатая старуха моя крестная мать и неожиданно, въ числѣ прочихъ, оставила и мнѣ по завѣщанію три тысячи. Я подумалъ, и тогда же рѣшилъ судьбу свою. Я рѣшился на кассу ссудъ, не прося у людей прощенія: деньги, затѣмъ уголъ и—новая жизнь вдали отъ прежнихъ воспоминаній, вотъ планъ. Тѣмъ не менѣе, мрачное прошлое и на вѣки испорченная репутація моей чести томили меня каждый часъ, каждую минуту. Но тутъ я женился. Случайно или нѣтъ — не знаю. Но вводя ее въ домъ, я думалъ что ввожу друга, мнѣ же слишкомъ былъ надобенъ другъ. Но я видѣлъ ясно, что друга надо было приготовить, додѣлать, и даже побѣдить. И могъ-ли я что нибудь объяснить такъ сразу этой шестнадцатилѣтней и предубѣжденной? Напримѣръ, какъ могъ бы я, безъ случайной помощи происшедшей страшной катастрофы съ револьверомъ, увѣрить ее что я не трусъ, и что меня обвинили въ полку какъ труса несправедливо? Но катастрофа подоспѣла кстати. Выдержавъ револьверъ, я отмстилъ всему моему мрачному прошедшему. И хоть никто про то не узналъ, но узнала *она*, а это было все для меня, потому что она сама была все для меня, вся надежда моего будущаго въ мечтахъ моихъ! Она была единственнымъ человѣкомъ котораго я готовилъ себѣ, а другаго и не надобыло,— и вотъ она все узнала; она узнала по крайней мѣрѣ, что несправедливо поспѣшила присоединиться къ врагамъ моимъ. Эта мысль восхищала меня. Въ глазахъ ея я уже не могъ быть подлецомъ, а развѣ лишь страннымъ человѣкомъ, но и эта мысль теперь, послѣ всего что произошло, мнѣ вовсе не такъ не нравилась: странность не порокъ, напротивъ иногда завлекаетъ женскій характеръ. Однимъ словомъ, я нарочно отдалилъ развязку: того, что произошло было слишкомъ пока довольно для моего спокойствія и заключало слишкомъ много картинъ и матерьяла для мечтаній моихъ. Въ томъ-то и скверность что я мечтатель: съ меня хватило матерьяла, а объ ней я думалъ что *подождетъ*.

Такъ прошла вся зима, въ какомъ то ожиданіи чего-то. Я любилъ глядѣть на нее украдкой, когда она сидитъ бывало за своимъ столикомъ. Она

занималась работой, бѣльемъ, а по вечерамъ иногда читала книги, которыя брала изъ моего шкафа. Выборъ книгъ въ шкафѣ тоже долженъ былъ свидѣтельствовать въ мою пользу. Не выходила она почти никуда. Передъ сумерками, послѣ обѣда, я выводилъ ее каждый день гулять и мы дѣлали моціонъ, но не совершенно молча какъ прежде. Я именно старался дѣлать видъ, что мы не молчимъ и говоримъ согласно, но, какъ я сказалъ уже, сами мы оба такъ дѣлали, что не распространялись. Я дѣлалъ нарочно, а ей, думалъ я, необходимо „дать время". Конечно странно, что мнѣ ни разу, почти до конца зимы, не пришло въ голову, что я вотъ изъ-подтишка люблю смотрѣть на нее, а ни одного то ея взгляда за всю зиму я не поймалъ на себѣ! Я думалъ, что въ ней это робость. Къ тому же она имѣла видъ такой робкой кротости, такого безсилія послѣ болѣзни. Нѣтъ, лучше выжди и—„и она вдругъ сама подойдетъ къ тебѣ..."

Эта мысль восхищала меня неотразимо. Прибавлю одно, иногда я какъ будто нарочно разжигалъ себя самого и дѣйствительно доводилъ свой духъ и умъ до того, что какъ будто впадалъ на нее въ обиду. И такъ продолжалось по нѣскольку времени. Но ненависть моя никогда не могла созрѣть и укрѣпиться въ душѣ моей. Да и самъ я чувствовалъ, что какъ будто это только игра. Да и тогда, хоть и разорвалъ я бракъ—купивъ кровать и ширмы, но никогда, никогда не могъ я видѣть въ ней преступницу. И не потому, что судилъ о преступленіи ея легкомысленно, а потому, что имѣлъ смыслъ совершенно простить ее, съ самаго перваго дня, еще прежде даже чѣмъ купилъ кровать. Однимъ словомъ это странность съ моей стороны, ибо я нравственно строгъ. Напротивъ, въ моихъ глазахъ она была такъ побѣждена, была такъ унижена, такъ раздавлена, что я мучительно жалѣлъ ее иногда, хотя мнѣ, при всемъ этомъ рѣшительно нравилась иногда идея объ ея униженіи. Идея этого неравенства нашего нравилась...

Мнѣ случилось въ эту зиму нарочно сдѣлать нѣсколько добрыхъ поступковъ. Я простилъ два долга, я далъ одной бѣдной женщинѣ безъ всякаго заклада. И женѣ я не сказалъ про это, и вовсе не для того чтобы она узнала сдѣлалъ; но женщина сама пришла благодарить и чуть не на колѣняхъ. Такимъ образомъ огласилось; мнѣ показалось, что про женщину она дѣйствительно узнала съ удовольствіемъ.

Но надвигалась весна, былъ уже апрѣль въ половинѣ, выпули двойныя рамы и солнце стало яркими пучками освѣщать наши молчаливыя комнаты. Но пелена висѣла передо мною и слѣпила мой умъ. Роковая, страшная пелена! Какъ это случилось что все это вдругъ упало съ глазъ и я вдругъ прозрѣлъ и все понялъ. Случай ли это былъ, день ли пришелъ такой срочный, солнечный ли лучъ зажегъ въ отупѣвшемъ умѣ моемъ мысль и догадку? Нѣтъ, не мысль и не догадка были тутъ, а тутъ вдругъ заиграла одна жилка, замертвѣвшая было жилка, затряслась и ожила, и озарила всю отупѣвшую мою душу и бѣсовскую гордость мою. Я тогда точно вскочилъ вдругъ съ мѣста. Да и случилось оно вдругъ и внезапно. Это случилось передъ вечеромъ, часовъ въ пять послѣ обѣда...

—

II.

Пелена вдругъ упала.

Два слова прежде того. Еще за мѣсяцъ я замѣтилъ въ ней странную задумчивость, не то что молчаніе, а уже задумчивость. Это тоже я замѣтилъ вдругъ. Она тогда сидѣла за работой, наклонивъ голову къ шитью и не видала, что я гляжу на нее. И вдругъ меня тутъ же поразило, что она такая стала тоненькая, худенькая, лицо блѣдненькое, губы побѣлѣли,— меня все это, въ цѣломъ, вмѣстѣ съ задумчивостью, чрезвычайно и разомъ фраппировало. Я уже и прежде слышалъ маленькій сухой кашель, по ночамъ особенно. Я тотчасъ всталъ и отправился просить ко мнѣ Шредера, ей ничего не сказавши.

Шредеръ прибылъ на другой день. Она была очень удивлена и смотрѣла то на Шредера, то на меня.

— Да я здорова, сказала она, неопредѣленно усмѣхнувшись.

Шредеръ ее не очень осматривалъ (эти медики бываютъ иногда свысока небрежны), а только сказалъ мнѣ въ другой комнатѣ, что это осталось послѣ болѣзни и что съ весной не дурно куда нибудь съѣздить къ морю, или, если нельзя, то просто переселиться на дачу. Однимъ словомъ, ничего не сказалъ, кромѣ того, что есть слабость или тамъ что-то. Когда Шредеръ вышелъ, она вдругъ сказала мнѣ опять, ужасно серьезно смотря на меня:

— Я совсѣмъ, совсѣмъ здорова.

Но сказавши тутъ же вдругъ покраснѣла, видимо отъ стыда. Видимо это былъ стыдъ. О, теперь я понимаю: ей было стыдно, что я еще *мужъ ея*, забочусь объ ней все еще будто бы настоящій мужъ. Но тогда я не понялъ и краску приписалъ смиренію. (Пелена!)

И вотъ, мѣсяцъ послѣ того, въ пятомъ часу, въ апрѣлѣ, въ яркій солнечный день я сидѣлъ у кассы и велъ разсчетъ. Вдругъ слышу, что она, въ нашей комнатѣ, за своимъ столомъ, за работой, тихо-тихо... запѣла. Эта новость произвела на меня потрясающее впечатлѣніе, да и до сихъ поръ я не понимаю его. До тѣхъ поръ я почти никогда не слыхалъ ее поющую, развѣ въ самые первые дни, когда ввелъ ее въ домъ и когда еще могли рѣзвиться, стрѣляя въ цѣль изъ револьвера. Тогда еще голосъ ея былъ довольно сильный, звонкій, хотя не вѣрный но ужасно пріятный, и здоровый. Теперь же пѣсенка была такая слабенькая,—о, не то, чтобы заунывная (это былъ какой-то романсъ), но какъ будто бы въ голосѣ было что-то надтреснутое, сломанное, какъ будто голосокъ не могъ справиться, какъ будто сама пѣсенка была больная. Она пѣла вполголоса и вдругъ, поднявшись, голосъ оборвался,—такой бѣдненькій голосокъ, такъ онъ оборвался жалко; она откашлялась и опять тихо-тихо, чуть-чуть, запѣла...

Моимъ волненьямъ засмѣются, но никогда никто не пойметъ, почему я заволновался! Нѣтъ мнѣ еще не было ее жаль, а это было что-то совсѣмъ еще другое. Сначала, по крайней мѣрѣ въ первыя минуты, явилось вдругъ недоумѣніе и страшное удивленіе, страшное и странное, болѣзненное и почти что мстительное: „поетъ и при мнѣ! *Забыла она про меня, что-ли?*“

Весь потрясенный, я оставался на мѣстѣ, потомъ вдругъ всталъ, взялъ шляпу и вышелъ какъ бы не соображая. По крайней мѣрѣ не знаю за-

чѣмъ и куда. Лукерья стала подавать пальто.

— Она поетъ? сказалъ я Лукерьѣ невольно. Та не понимала и смотрѣла на меня, продолжая не понимать; впрочемъ я былъ дѣйствительно непонятенъ.

— Это она въ первый разъ поетъ?

— Нѣтъ безъ васъ иногда поетъ, отвѣтила Лукерья.

Я помню все. Я сошелъ лѣстницу, вышелъ на улицу и пошелъ было куда попало. Я прошелъ до угла и сталъ смотрѣть куда-то. Тутъ проходили, меня толкали, я не чувствовалъ. Я подозвалъ извощика и нанялъ было его къ Полицейскому мосту, не знаю зачѣмъ. Но потомъ вдругъ бросилъ и далъ ему двугривенный:

— Это за то, что тебя потревожилъ, сказалъ я безсмысленно смѣясь ему, но въ сердцѣ вдругъ начался какой-то восторгъ.

Я поворотилъ домой учащая шагъ. Надтреснутая, бѣдненькая, порвавшаяся нотка вдругъ опять зазвенѣла въ душѣ моей. Мнѣ духъ захватывало. Падала, падала съ глазъ пелена! Коль запѣла при мнѣ, такъ про меня позабыла,—вотъ что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Но восторгъ сіялъ въ душѣ моей и пересиливалъ страхъ.

О иронія судьбы! Вѣдь ничего другаго не было и быть не могло въ моей душѣ, всю зиму, кромѣ этого же восторга, но я самъ-то гдѣ былъ всю зиму? былъ ли я-то при моей душѣ? Я взбѣжалъ по лѣстницѣ очень спѣша, не знаю робко ли я вошелъ. Помню только, что весь полъ какъ-бы волновался и я какъ-бы плылъ по рѣкѣ. Я вошелъ въ комнату, она сидѣла на прежнемъ мѣстѣ, шила, наклонивъ голову, но уже не пѣла. Бѣгло и нелюбопытно глянула было на меня, но не взглядъ это былъ, а такъ только жестъ, обычный и равнодушный, когда въ комнату входитъ кто нибудь.

Я прямо подошелъ и сѣлъ подлѣ на стулъ, вплоть, какъ помѣшанный. Она быстро на меня посмотрѣла, какъ-бы испугавшись: я взялъ ее за руку и не помню что сказалъ ей, т. е. хотѣлъ сказать, потому что я даже и не могъ говорить правильно. Голосъ мой срывался и не слушался. Да я и не зналъ что сказать, а только задыхался.

— Поговоримъ... знаешь... скажи что-нибудь! — вдругъ пролепеталъ я что-то глупое, — о, до ума-ли было? Она опять вздрогнула и отшатнулась въ сильномъ испугѣ, глядя на мое лицо, но вдругъ,—*строгое удивленіе* выразилось въ глазахъ ея. Да, удивленіе и *строгое*. Она смотрѣла на меня большими глазами. Эта строгость, это строгое удивленіе разомъ такъ и размозжили меня: „Такъ тебѣ еще любви? любви?“—какъ будто спросилось вдругъ въ этомъ удивленіи, хоть она и молчала. Но я все прочелъ, все. Все во мнѣ сотряслось и я такъ и рухнулъ къ ногамъ ея. Да, я свалился ей въ ноги. Она быстро вскочила, но я съ чрезвычайною силою удержалъ ее за обѣ руки.

И я понималъ вполнѣ мое отчаяніе о, понималъ! Но вѣрите-ли, восторгъ кипѣлъ въ моемъ сердцѣ до того неудержимо, что я думалъ что я умру. Я цѣловалъ ея ноги въ упоеніи и въ счастьи. Да, въ счастьи, безмѣрномъ и безконечномъ, и это при пониманіи-то всего безвыходнаго моего отчаянія! Я плакалъ, говорилъ что-то, но не могъ говорить. Испугъ и удивленіе смѣнились въ ней вдругъ какою-то озабоченною мыслью, чрезвычайнымъ вопросомъ и она странно смотрѣла на меня, дико

даже, она хотѣла что-то поскорѣе понять и улыбнулась. Ей было страшно стыдно что я цалую ея ноги и она отнимала ихъ, но я тутъ же цаловалъ то мѣсто на полу гдѣ стояла ея нога. Она видѣла это и стала вдругъ смѣяться отъ стыда, (знаете это когда смѣются отъ стыда). Наступала истерика, я это видѣлъ, руки ея вздрагивали,—я объ этомъ не думалъ и все бормоталъ ей, что я ее люблю, что я не встану, „дай мнѣ цаловать твое платье... такъ всю жизнь на тебя молиться"... Не знаю, не помню,—и вдругъ она зарыдала и затряслась; наступилъ страшный припадокъ истерики. Я испугалъ ее.

Я перенесъ ее на постель. Когда прошелъ припадокъ, то присѣвъ на постели, она, съ страшно-убитымъ видомъ, схватила мои руки и просила меня успокоиться: „Полноте, не мучьте себя, успокойтесь!" и опять начинала плакать. Весь этотъ вечеръ я не отходилъ отъ нея. Я все ей говорилъ что повезу ее въ Булонь купаться въ морѣ, теперь, сейчасъ, черезъ двѣ недѣли, что у ней такой надтреснутый голосокъ, я слышалъ давеча, что я закрою кассу, продамъ Добронравову, что начнется все новое, а главное въ Булонь, въ Булонь! Она слушала и все боялась. Все больше и больше боялась. Но главное для меня было не въ томъ, а въ томъ что мнѣ все болѣе и неудержимѣе хотѣлось опять лежать у ея ногъ, и опять цаловать, цаловать землю, на которой стоятъ ея ноги и молиться ей и—„больше я ничего, ничего не спрошу у тебя", повторялъ я поминутно, — „не отвѣчай мнѣ ничего, не замѣчай меня вовсе, и только дай изъ угла смотрѣть на тебя, обрати меня въ свою вещь, въ собачонку"... Она плакала.

— *А я думала что вы меня оставите такъ,*—вдругъ вырвалось у ней невольно,—такъ невольно что можетъ быть она совсѣмъ и не замѣтила какъ сказала, а между тѣмъ— о, это было самое главное, самое роковое ея слово и самое понятное для меня въ тотъ вечеръ, и какъ будто меня полоснуло отъ него ножомъ по сердцу! Все оно объяснило мнѣ, все, но пока она была подлѣ, передъ моими глазами, я неудержимо надѣялся и былъ страшно счастливъ. О, я страшно утомилъ ее въ тотъ вечеръ, и понималъ это, но безпрерывно думалъ что все сейчасъ же передѣлаю, Наконецъ, къ ночи, она совсѣмъ обезсилѣла, я уговорилъ ее заснуть и она заснула тотчасъ, крѣпко. Я ждалъ бреда, бредъ былъ, но самый легкій. Я вставалъ ночью почти поминутно, тихонько въ туфляхъ приходилъ смотрѣть на нее. Я ломалъ руки надъ ней, смотря на это больное существо на этой бѣдной коечкѣ, желѣзной кроваткѣ, которую я ей купилъ тогда за три рубля. Я становился на колѣни, но не смѣлъ цаловать ея ногъ у спящей (безъ ея-то воли!) Я становился молиться Богу, но вскакивалъ опять. Лукерья присматривалась ко мнѣ и все выходила изъ кухни. Я вышелъ къ ней и сказалъ чтобы она ложилась и что завтра начнется „совсѣмъ другое".

И я въ это слѣпо, безумно, ужасно вѣрилъ. О восторгъ, восторгъ заливалъ меня! Я ждалъ только завтрашняго дня. Главное, я не вѣрилъ никакой бѣдѣ, не смотря на симптомы. Смыслъ еще не возвратился весь, не смотря на упавшую пелену и долго, долго не возвращался, — о, до сегодня, до самаго сегодня!! Да и какъ, какъ онъ могъ тогда возвратиться: вѣдь она тогда была еще жива, вѣдь она была тутъ же передо мной, а я

передъ ней: „Она завтра проснется, и я ей все это скажу, и она все увидитъ“. Вотъ мое тогдашнее разсужденіе, просто и ясно потому и восторгъ! Главное тутъ эта поѣздка въ Булонь. Я почему то все думалъ, что Булонь—это все, что въ Булони что то заключается окончательное. „Въ Булонь, въ Булонь“!... Я съ безуміемъ ждалъ утра.

III.

Слишкомъ понимаю.

А вѣдь это было всего только нѣсколько дней назадъ, пять дней; всего только пять дней, въ прошлый вторникъ! Нѣтъ, нѣтъ, еще бы только немного времени, только бы капельку подождала и—и я бы развѣялъ мракъ!—Да развѣ она не успокоилась? Она на другой же день слушала меня уже съ улыбкою, не смотря на замѣшательство... Главное, все это время, всѣ пять дней, въ ней было замѣшательство, или стыдъ. Боялась тоже, очень боялась. Я не спорю, я не буду противорѣчить, подобно безумному: страхъ былъ, но вѣдь какже было ей не бояться? Вѣдь мы такъ давно стали другъ другу чужды, такъ отучились одинъ отъ другаго, и вдругъ все это... Но я не смотрѣлъ на ея страхъ, сіяло новое!... Правда, несомнѣнная правда что я сдѣлалъ ошибку. И даже было можетъ быть много ошибокъ. Я и какъ проснулись на другой день, еще съ утра (это въ среду было) тотчасъ вдругъ сдѣлалъ ошибку: я вдругъ сдѣлалъ ее моимъ другомъ. Я поспѣшилъ, слишкомъ, слишкомъ, но исповѣдь была нужна, необходима—куда, болѣе чѣмъ исповѣдь! Я не скрылъ даже того что и отъ себя всю жизнь скрывалъ. Я прямо высказалъ, что цѣлую зиму только и дѣлалъ что увѣренъ былъ въ ея любви. Я ей разъяснилъ что касса ссудъ была лишь паденіемъ моей воли и ума, личная идея самобичеванія и самовосхваленія. Я ей объяснилъ что я тогда въ буфетѣ дѣйствительно струсилъ, отъ моего характера, отъ мнительности: поразила обстановка, буфетъ поразилъ; поразило-то: какъ это я вдругъ выйду, и не выйдетъ-ли глупо? Струсилъ не дуэли, а того что выйдетъ глупо... А потомъ ужъ не хотѣлъ сознаться и мучилъ всѣхъ, и ее за то мучилъ, и на ней затѣмъ и женился чтобы ее за то мучить. Вообще я говорилъ большею частью какъ въ горячкѣ. Она сама брала меня за руки и просила перестать: „Вы преувеличиваете... вы себя мучаете“ — и опять начинались слезы, опять чуть не припадки! Она все просила чтобы я ничего этого не говорилъ и не вспоминалъ.

Я не смотрѣлъ на просьбы, или мало смотрѣлъ: весна, Булонь! Тамъ солнце, тамъ новое наше солнце, я только это и говорилъ! Я заперъ кассу, дѣла передалъ Добронравову. Я предложилъ ей вдругъ раздать все бѣднымъ, кромѣ основныхъ трехъ тысячъ, полученныхъ отъ крестной матери, на которыя и съѣздили бы въ Булонь, а потомъ воротимся и начнемъ новую трудовую жизнь. Такъ и положили, потому что она ничего не сказала... она только улыбнулась. И кажется болѣе изъ деликатности улыбнулась, чтобы меня не огорчить. Я видѣлъ вѣдь что я ей въ тягость, не думайте что я былъ такъ глупъ и такой эгоистъ что этого не видѣлъ. Я все видѣлъ, все до послѣдней черты, видѣлъ и зналъ лучше всѣхъ; все мое отчаяніе стояло на виду!

Я ей все про меня и про нее разсказывалъ. И про Лукерью. Я говорилъ что я плакалъ... О, я вѣдь и перемѣнялъ разговоръ, я тоже старался отнюдь не напоминать про нѣкоторыя вещи. И даже вѣдь она оживилась, разъ или два, вѣдь я помню, помню! Зачѣмъ вы говорите, что я смотрѣлъ и ничего не видѣлъ? И еслибы только *это* не случилось, то все бы воскресло. Вѣдь разсказывала же она мнѣ еще третьяго дня, когда разговоръ зашелъ о чтеніи, и о томъ что она въ эту зиму прочитала — вѣдь разсказывала же она и смѣялась, когда припомнила эту сцену Жиль-Блаза съ архіепископомъ Гренадскимъ. И какимъ дѣтскимъ смѣхомъ, милымъ, точно какъ прежде въ невѣстахъ (мигъ! мигъ!); какъ я былъ радъ! Меня это ужасно поразило, впрочемъ, про архіепископа: вѣдь нашла же она стало быть столько спокойствія духа и счастья чтобы смѣяться шедевру когда сидѣла зимой. Стало быть уже вполнѣ начала успокоиваться, вполнѣ начала уже вѣрить что я оставлю ее *такъ*. „Я думала что вы меня оставите *такъ*“—вотъ вѣдь что она произнесла тогда во вторникъ! О, десятилѣтней дѣвочки мысль! И вѣдь вѣрила, вѣрила что и въ самомъ дѣлѣ все останется *такъ*: она за своимъ столомъ, а я за своимъ, и такъ мы оба, до шестидесяти лѣтъ. И вдругъ — я тутъ подхожу, мужъ, и мужу надо любви! О недоразумѣніе, о слѣпота моя!

Ошибка тоже была что я на нее смотрѣлъ съ восторгомъ; надо было скрѣпиться, а то восторгъ пугалъ. Но вѣдь и скрѣпился же я, я не цаловалъ уже болѣе ея ногъ. Я ни разу не показалъ виду что... ну что я мужъ,—о, и въ умѣ моемъ этого не было, я только молился! Но вѣдь нельзя же было совсѣмъ молчать, вѣдь нельзя же было не говорить вовсе! Я ей вдругъ высказалъ что наслаждаюсь ея разговоромъ и что считаю ее несравненно, несравненно образованнѣе и развитѣе меня. Она очень покраснѣла и конфузясь сказала что я преувеличиваю. Тутъ я, съ дуру-то, не сдержавшись, разсказалъ въ какомъ я былъ восторгѣ когда, стоя тогда за дверью, слушалъ ея поединокъ, поединокъ невинности съ той тварью, и какъ наслаждался ея умомъ, блескомъ остроумія и при такомъ дѣтскомъ простодушіи. Она какъ бы вся вздрогнула, пролепетала было опять что я преувеличиваю, но вдругъ все лицо ея омрачилось, она закрылась руками и зарыдала... Тутъ ужъ и я не выдержалъ: опять упалъ передъ нею, опять сталъ цѣловать ея ноги и опять кончилось припадкомъ, также какъ во вторникъ. Это было вчера вечеромъ, а на утро...

На утро?! Безумецъ, да вѣдь это утро было сегодня, еще давеча, только давеча!

Слушайте и вникните: вѣдь когда мы сошлись давеча у самовара (это послѣ вчерашняго-то припадка), то она даже сама поразила меня своимъ спокойствіемъ, вотъ вѣдь что было! А я-то всю ночь трепеталъ отъ страху за вчерашнее. Но вдругъ она подходитъ ко мнѣ, становится сама передо мной и сложивъ руки (давеча, давеча!) начала говорить мнѣ, что она— преступница, что она это знаетъ, что преступленіе ее мучило всю зиму, мучаетъ и теперь... что она слишкомъ цѣнитъ мое великодушіе... „я буду вашей вѣрной женой, я васъ буду уважать...“ Тутъ я вскочилъ и какъ безумный обнялъ ее! Я цѣловалъ ее, цѣловалъ ея лицо, въ губы, какъ

мужъ, въ первый разъ послѣ долгой разлуки. И зачѣмъ только я давеча ушелъ, всего только на два часа... наши заграничные паспорты... О Боже! Только бы пять минутъ, пять минутъ раньше воротиться?... А тутъ эта толпа въ нашихъ воротахъ, эти взгляды на меня... о Господи!

Лукерья говоритъ (о, я теперь Лукерью ни за что не отпущу, она все знаетъ, она всю зиму была, она мнѣ все разсказывать будетъ) она говоритъ, что когда я вышелъ изъ дому, и всего-то минутъ за двадцать какихъ нибудь до моего прихода,—она вдругъ вошла къ барынѣ въ нашу комнату, что-то спросить, не помню, и увидала что образъ ея (тотъ самый образъ Богородицы) у ней вынутъ, стоитъ передъ нею на столѣ, а барыня какъ будто сейчасъ только передъ нимъ молилась.—Что вы барыня?—„Ничего, Лукерья, ступай". „Постой, Лукерья". подошла къ ней и поцѣловала ее. —Счастливы вы, говорю, барыня?— „Да, Лукерья".—Давно, барыня, слѣдовало бы барину къ вамъ придти прощенія попросить... Слава Богу что вы помирились.—„Хорошо, говоритъ, Лукерья, уйди Лукерья", и улыбнулась этакъ, да странно такъ. Такъ странно что Лукерья вдругъ черезъ десять минутъ воротилась посмотрѣть на нее: „Стоитъ она у стѣны, у самаго окна, руку приложила къ стѣнѣ, а къ рукѣ прижала голову, стоитъ этакъ и думаетъ. И такъ глубоко задумавшись стоитъ, что и не слыхала какъ я стою и смотрю на нее изъ той комнаты. Вижу я какъ будто она улыбается, стоитъ, думаетъ и улыбается. Посмотрѣла я на нее, повернулась тихонько, вышла, а сама про себя думаю, только вдругъ слышу отворили окошко. Я тотчасъ пошла сказать что „свѣжо, барыня, не простудились бы вы", и вдругъ вижу, она стала на окно и ужь вся стоитъ, во весь ростъ, въ отворенномъ окнѣ, ко мнѣ спиной, въ рукахъ образъ держитъ. Сердце у меня тутъ же упало, кричу: „барыня барыня!" Она услышала, двинулась было повернуться ко мнѣ, да не повернулась, а шагнула, образъ прижала къ груди и—бросилась изъ окошка!"

Я только помню, что когда я въ ворота вошелъ она была еще теплая. Главное, они всѣ глядятъ на меня. Сначала кричали, а тутъ вдругъ замолчали и вдругъ всѣ передо мной разступаются и... и она лежитъ съ образомъ. Я помню, какъ во мракѣ, что я подошелъ молча и долго глядѣлъ. И всѣ обступили и что-то говорятъ мнѣ. Лукерья тутъ была, а я не видалъ. Говоритъ что говорила со мной. Помню только того мѣщанина: онъ все кричалъ мнѣ что „съ горстку крови изо рта вышло, съ горстку, съ горстку!" и указывалъ мнѣ на кровь тутъ же на камнѣ. Я кажется тронулъ кровь пальцемъ, запачкалъ палецъ, гляжу на палецъ, (это помню), а онъ мнѣ все: „съ горстку, съ горстку!"

— Да что такое съ горстку? завопилъ я, говорятъ, изо всей силы, поднялъ руки и бросился на него...

О дико, дико! Недоразумѣніе! Неправдоподобіе! Невозможность!

IV.

Всего только пять минутъ опоздалъ.

А развѣ нѣтъ? Развѣ это правдоподобно? Развѣ можно сказать что это возможно? Для чего, зачѣмъ умерла эта женщина?

О повѣрьте, понимаю; но для чего она умерла—все-таки вопросъ. Испуга-

лась любви моей, спросила себя серіозно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, знаю, нечего голову ломать: обѣщаній слишкомъ много надавала, испугалась что сдержать нельзя, — ясно. Тутъ есть нѣсколько обстоятельствъ совершенно ужасныхъ.

Потому что для чего она умерла? все-таки вопросъ стоитъ. Вопросъ стучитъ, у меня въ мозгу стучитъ. Я бы и оставилъ ее только *такъ*, еслибъ ей захотѣлось чтобъ осталось *такъ*. Она тому не повѣрила, вотъ что! Нѣтъ— нѣтъ, я вру, вовсе не это. Просто потому что со мной надо было честно, любить такъ всецѣло любить, а не такъ какъ любила бы купца. А такъ какъ она была слишкомъ цѣломудренна, слишкомъ чиста, чтобъ согласиться на такую любовь какой надо купцу, то и не захотѣла меня обманывать. Не захотѣла обманывать полулюбовью подъ видомъ любви, или четверть любовью. Честны ужь очень, вотъ что-съ! Широкость сердца-то хотѣлъ тогда привить, помните? Странная мысль.

Ужасно любопытно: уважала ли она меня? Я не знаю, презирала ли она меня или нѣтъ? Не думаю чтобъ презирала. Странно ужасно: почему мнѣ ни разу не пришло въ голову, во всю зиму, что она меня презираетъ? Я въ высшей степени былъ увѣренъ въ противномъ до самой той минуты, когда она поглядѣла на меня тогда съ *строгимъ удивленіемъ*. Съ *строгимъ*, именно. Тутъ-то я сразу и понялъ что она презираетъ меня. Понялъ безвозвратно, на вѣки! Ахъ пусть, пусть презирала бы, хоть всю жизнь, но — пусть бы она жила, жила! Давеча еще ходила, говорила. Совсѣмъ не понимаю какъ она бросилась изъ окошка! И какъ бы могъ я предположить даже за пять минутъ? Я позвалъ Лукерью. Я теперь Лукерью ни за что не отпущу, ни за что!

О, намъ еще можно было сговориться. Мы только страшно отвыкли въ зиму другъ отъ друга, но развѣ нельзя было опять пріучиться? Почему, почему мы бы не могли сойтиться и начать опять новую жизнь? Я великодушенъ, она тоже — вотъ и точка соединенія! Еще бы нѣсколько словъ, два дня не больше, и она бы все поняла.

Главное, обидно то что все это случай,—простой, варварскій, косный случай. Вотъ обида! Пять минутъ, всего, всего только пять минутъ опоздалъ! Приди я за пять минутъ—и мгновеніе пронеслось бы мимо какъ облако, и ей бы никогда потомъ не пришло въ голову. И кончилось бы тѣмъ что она бы все поняла. А теперь опять пустыя комнаты, опять я одинъ. Вонъ маятникъ стучитъ, ему дѣла нѣтъ, ему ничего не жаль. Нѣтъ никого — вотъ бѣда!

Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте: вамъ смѣшно что я жалуюсь на случай и на пять минутъ? Но вѣдь тутъ очевидность. Разсудите одно: она даже записки не оставила что вотъ дескать „не вините никого въ моей смерти“, какъ всѣ оставляютъ. Неужто она не могла разсудить что могутъ потревожить даже Лукерью: „одна дескать съ ней была, такъ ты и толкнула ее“. По крайней мѣрѣ, затаскали бы безъ вины, еслибы только на дворѣ четверо человѣкъ не видали изъ окошекъ изъ флигеля и со двора, какъ стояла съ образомъ въ рукахъ и сама кинулась. Но вѣдь и это тоже случай что люди стояли и видѣли. Нѣтъ, все это — мгновеніе, одно лишь безотчетное мгновеніе. Внезапность и фантазія! Чтожь

такое что передъ образомъ молилась? Это не значитъ что передъ смертью. Все мгновеніе продолжалось можетъ быть всего только какихъ нибудь десять минутъ, все рѣшеніе — именно когда у стѣны стояла, прислонившись головой къ рукѣ и улыбалась. Влетѣла въ голову мысль, закружилась и—и не могла устоять передъ нею.

Тутъ явное недоразумѣніе, какъ хотите. Со мной еще можно бы жить. А что если малокровіе? Просто отъ малокровія, отъ истощенія жизненной энергіи? Устала она въ зиму, вотъ что...

Опоздалъ!!!

Какая она тоненькая въ гробу, какъ заострился носикъ! Рѣсницы лежатъ стрѣлками. И вѣдь какъ упала — ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта „горстка крови". Дессертная ложка то-есть. Внутреннее сотрясеніе. Странная мысль: еслибы можно было не хоронить? Потому что если ее унесутъ, то... о, нѣтъ, унести почти невозможно! О, я вѣдь знаю что ее должны унести, я не безумный, и не брежу вовсе, напротивъ никогда еще такъ умъ не сіялъ, — по какже такъ опять никого въ домѣ, опять двѣ комнаты, и опять я одинъ съ закладами. Бредъ, бредъ, вотъ гдѣ бредъ! Измучилъ я ее вотъ что!

Что мнѣ теперь ваши законы? Къ чему мнѣ ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вѣра? Пусть судитъ меня вашъ судья, пусть приведутъ меня въ судъ, въ вашъ гласный судъ, и я скажу что я не признаю ничего. Судья крикнетъ: „Молчите, офицеръ!" А я закричу ему: гдѣ у тебя теперь такая сила чтобы я послушался? Зачѣмъ мрачная косность разбила то что всего дороже? Зачѣмъ же мнѣ теперь ваши законы?" Я отдѣляюсь". О, мнѣ все равно!

Слѣпая, слѣпая! Мертвая, не слышитъ! Не знаешь ты какимъ бы раемъ я оградилъ тебя. Рай былъ у меня въ душѣ, я бы насадилъ его кругомъ тебя! Ну, ты бы меня не любила,—и пусть, ну что же? Все и было бы *такъ*, все бы и оставалось *такъ*. Разсказывала бы только мнѣ какъ другу,—вотъ бы и радовались и смѣялись радостно глядя другъ другу въ глаза. Такъ бы и жили. И еслибъ и другаго полюбила,—ну и пусть, пусть! Ты бы шла съ нимъ и смѣялась, а я бы смотрѣлъ съ другой стороны улицы... О пусть все, только пусть бы она открыла хоть разъ глаза! На одно мгновеніе, только на одно! взглянула бы на меня, вотъ какъ давеча, когда стояла передо мной и давала клятву что будетъ вѣрной женой! О, въ одномъ бы взглядѣ все поняла!

Косность! О, природа! Люди на землѣ одни—вотъ бѣда! „Есть ли въ полѣ живъ человѣкъ"?—кричитъ русскій богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорятъ солнце живитъ вселенную. Взойдетъ солнце и—посмотрите на него, развѣ оно не мертвецъ? Все мертво и всюду мертвецы. Одни только люди а кругомъ нихъ молчаніе—вотъ земля! „Люди любите другъ друга"—кто это сказалъ? чей это завѣтъ? Стучитъ маятникъ безчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ея стоятъ у кроватки, точно ждутъ ее... Нѣтъ, серьозно, когда ее завтра унесутъ, чтожъ я буду?

Ѳ. Достоевскій.

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛIОТЕКА.

ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

I. ПЕРВЫЕ ВЫПУСКИ

„ЗЕМЛЯ И ЕЯ НАРОДЫ“

СОЧИНЕНIЕ ФРИД. Ф. ГЕЛЬВАЛЬДА.

Переводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей дѣйствительнаго члена Императорскаго Географическаго общества С. Н. Глазенапъ.

Сочиненіе это представитъ роскошно иллюстрированное изданіе изъ 170 печатныхъ или болѣе листовъ, 50 большихъ рисунковъ и 300 иллюстрацій, исполненныхъ въ Штуттгартѣ. Всѣхъ выпусковъ будетъ приблизительно 55 по 40 коп. каждый.

Подписная цѣна на все сочиненіе 17 р. 50 к.; съ доставкою на домъ въ С.-Петербургѣ 19 р.; съ пересылкою 20 руб.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ редакціи журнала „ДѢТСКІЙ САДЪ“, Галерная, № 46—7, въ Гостинномъ дворѣ, въ книжномъ магазинѣ Я. А. Исакова № 24 для „Иногородныхъ“ Невскій, № 44. У Фену въ Соляномъ Городкѣ и книжныхъ магазинахъ Мамонтова, въ С.-Петербургѣ, Невскій просп. № 46, а въ Москвѣ, Кузнецкій мостъ, д. Фирсанова.

Допускается разсрочка: при подпискѣ вносится 5 руб.; при полученіи 10-го выпуска—5 р.; а остальная сумма при полученіи 20-го выпуска. Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ Редакцію журнала „ДѢТСКІЙ САДЪ“.

II. УОЛЭССЪ

„ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОДБОРЪ“.

Переводъ подъ редакціею профессора Зоологіи Н. П. ВАГНЕРА.

Съ портретомъ автора, политипажами и нѣсколькими раскрашенными таблицами бабочекъ. Цѣна 3 руб. 75 коп.

ДѢТСКIЯ КНИГИ.

III. На память о ЖОРЖЪ-ЗАНДЪ.

„ГОВОРЯЩІЙ ДУБЪ“ и „ГРИБУЛЬ“,

съ портретомъ и біографіей автора и роскошными иллюстраціями художника Н. А. Богданова, исполненными Г. Регульскимъ въ Варшавѣ. Цѣна въ папкѣ 2 р., въ роскошномъ переплетѣ—2 р. 50 к.

IV. А. ДОДЭ

„РАЗСКАЗЫ“.

Съ портретомъ и біографіей автора и роскошными иллюстраціями художника Н. А. Богданова, исполненными Г. Регульскимъ въ Варшавѣ. Цѣна въ папкѣ 2 р.; въ роскошномъ переплетѣ 2 р. 50 к.

12-й, декабрьскій, выпускъ выйдетъ 31 декабря.

Дозволено цензурою. Спб. 1 декабря 1876. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ.

1876.

ДЕКАБРЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на ежемѣсячное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго

„ДНЕВНИКЪ ПИСАТЕЛЯ“

НА 1877 ГОДЪ.

(ДВѢНАДЦАТЬ ВЫПУСКОВЪ ВЪ ГОДЪ).

Каждый выпускъ будетъ заключать въ себѣ отъ полутора до двухъ листовъ убористаго шрифта, въ форматѣ еженедѣльныхъ газетъ нашихъ.

Каждый выпускъ будетъ выходить въ послѣднее число каждаго мѣсяца и продаваться отдѣльно во всѣхъ книжныхъ магазинахъ по 25 копѣекъ. Желающіе подписаться на все годовое изданіе впередъ пользуются уступкою и платятъ лишь два рубля (безъ доставки и пересылки), а съ пересылкою или доставкою на домъ два рубля пятьдесятъ копѣекъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ: Въ книжномъ магазинѣ Л. А. Исакова (гостиный дворъ № 24) и въ книжномъ „Магазинѣ для иногороднихъ“, Невскій пр., № 44.

Въ Москвѣ: въ „Центральномъ книжномъ магазинѣ“, Никольская, д. Славянскаго Базара,

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА выпусковъ производится во всѣхъ книжныхъ магазинахъ Петербурга, въ Москвѣ: у Салаева, Живарева, Кашкина, Мамонтова, Васильева и др., въ Казани у Дубровина, въ Кіевѣ у Гинтера и Малецкаго, въ Южно-русскомъ Книжномъ Магазинѣ, у Оглоблина (Литова) и у Корейво, въ Одессѣ: у Распопова и Бѣлаго, въ Харьковѣ у Геевскаго и Куколевскаго, въ Воронежѣ и Тулѣ: у Аносова, въ Тамбовѣ: у Зотова,

въ Перми: у Наумова, въ Смоленскѣ: у Лаврова, въ Тифлисѣ: у Беренштама, въ Черниговѣ: у Данюшевскаго, въ Варшавѣ: у Истомина.

Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться исключительно къ автору по слѣдующему адресу: **С.-Петербургъ, Греческій проспектъ, подлѣ Греческой Церкви, домъ Струбинскаго, кв. № 6, Ѳедору Михайловичу Достоевскому.**



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Опять о простомъ но мудреномъ дѣлѣ.

Ровно два мѣсяца назадъ, въ октябрьскомъ „Дневникѣ" моемъ я сдѣлалъ замѣтку объ одной несчастной преступницѣ, Катеринѣ Прокофьевой Корниловой, — той самой мачихѣ, которая въ маѣ мѣсяцѣ, въ злобѣ на мужа, выбросила изъ окна свою шестилѣтнюю падчерицу. Дѣло это особенно извѣстно тѣмъ, что эта маленькая дѣвочка, падчерица, выброшенная изъ окна четвертаго этажа, не ушиблась, не повредила себѣ ничего и теперь жива и здорова. Не буду припоминать мою октябрьскую статью въ подробности, можетъ быть читатели ее не забыли. Напомню лишь о цѣли моей статьи: мнѣ сразу показалось все это дѣло слишкомъ необыкновеннымъ, и я тотчасъ же убѣдился, что на него нельзя смотрѣть *слишкомъ просто*. Несчастная преступница была беременна, была раздражена попреками мужа, тосковала. Но не то, т. е. не желаніе отмстить попрекавшему и огорчавшему ее мужу было причиною преступленія, а „аффектъ беременности". По моему мнѣнію, она переживала въ то время нѣсколько дней или недѣль того особаго, весьма неизслѣдованнаго, но неоспоримо существующаго состоянія иныхъ беременныхъ женщинъ, когда въ душѣ беременной женщины происходятъ странные переломы, странныя подчиненія и вліянія, сумасшествія безъ сумасшествія, и которыя могутъ иногда доходить до слишкомъ сильныхъ уродливостей. Я представилъ примѣръ, извѣстный мнѣ еще съ дѣтства, одной дамы въ Москвѣ, которая каждый разъ въ извѣстный періодъ своей беременности, впадала въ странное желаніе и подчинялась странной прихоти—воровству. Между тѣмъ эта дама ѣздила въ каретѣ и совсѣмъ не нуждалась въ тѣхъ вещахъ, которыя похищала, но ужь конечно воровала сознательно и вполнѣ давая себѣ въ этомъ отчетъ. Сознаніе сохранялось вполнѣ, но лишь передъ страннымъ влеченіемъ своимъ она не могла устоять. Вотъ что я писалъ два мѣсяца назадъ и, признаюсь, писалъ съ самою отдаленною и безнадежною цѣлью: нельзя-ли хоть какъ-нибудь и чѣмъ-нибудь помочь и облегчить участь несчастной, не смотря на страшный приговоръ уже произнесенный надъ нею. Въ статьѣ моей я не могъ удержаться и не высказать, что если наши присяжные выносили столько разъ совершенно оправдательные приговоры,

преимущественно женщинамъ, не смотря на полное ихъ сознаніе въ совершеніи преступленія и на очевидныя доказательства этого преступленія, вполнѣ выясненнаго судомъ,—то, какъ казалось мнѣ, можно бы было оправдать и Корнилову. (Какъ разъ нѣсколько дней спустя послѣ приговора надъ несчастной беременной Корниловой, осужденной въ каторжную работу и въ Сибирь на вѣки, была совершенно оправдана одна престранная преступница—убійца, Кирилова). Впрочемъ, выпишу, что я написалъ тогда:

„По крайней мѣрѣ присяжные, еслибъ оправдали подсудимую, могли бы на что-нибудь опереться: „хоть и рѣдко-де бываютъ такіе болѣзненные аффекты, но вѣдь все же бываютъ; ну, что, если и въ настоящемъ случаѣ былъ аффектъ беременности?" Вотъ соображеніе. По крайней мѣрѣ, въ этомъ случаѣ милосердіе было бы всѣмъ понятно и не возбуждало бы шатанія мысли. И что въ томъ, что могла выйти ошибка: лучше ужъ ошибка въ милосердіи, чѣмъ въ казни, тѣмъ болѣе, что тутъ и провѣрить-то никакъ невозможно. Преступница первая-же считаетъ себя виновною; она сознается сейчасъ же послѣ преступленія, созналась и черезъ полгода на судѣ. Такъ и въ Сибирь можетъ быть пойдетъ, по совѣсти и глубоко въ душѣ считая себя виновною; такъ и умретъ, можетъ быть, каясь въ послѣдній часъ и считая себя душегубкой; и вдомекъ ей не придетъ, да и никому на свѣтѣ, о какомъ-то болѣзненномъ аффектѣ, бывающемъ въ беременномъ состояніи, а онъ-то, можетъ быть, и былъ всему причиной, и не будь она беременна, ничего бы и не вышло... Нѣтъ, изъ двухъ ошибокъ ужъ лучше бы выбрать ошибку милосердія".

Написавъ все это тогда, я, увлеченный моей идеей, размечтался и прибавилъ въ статьѣ моей, что вотъ эта бѣдная двадцатилѣтняя преступница, которая надняхъ должна родить въ тюрьмѣ, можетъ быть уже сошлась опять съ своимъ мужемъ. Можетъ быть мужъ (теперь свободный и имѣющій право вновь жениться) ходитъ къ ней въ тюрьму, въ ожиданіи отсылки ея въ каторгу, и оба вмѣстѣ плачутъ и горюютъ. Можетъ быть и потерпѣвшая дѣвочка ходитъ къ „мамонькѣ", забывши все и отъ всей души къ ней ласкаясь. Нарисовалъ даже сцену ихъ прощанія на желѣзной дорогѣ. Все эти „мечты" мои вылились тогда у меня подъ перо не для эффекта и не для картинъ, а мнѣ просто почувствовалась жизненная правда, состоящая тутъ въ томъ, что оба они, и мужъ и жена, хотя и считаютъ,—онъ ее, а она себя—несомнѣнно преступницей, но на дѣлѣ *не могли* не простить другъ друга, не помириться опять, — и не по христіанскому только чувству, а именно по невольному инстинктивному ощущенію, что совершонное преступленіе, въ ихъ простыхъ глазахъ столь явное и несомнѣнное,—въ сущности *можетъ быть вовсе не преступленіе*, а что-то такое странно случившееся, странно совершившееся, какъ бы не по своей волѣ, какъ бы Божіимъ опредѣленіемъ за грѣхи ихъ обоихъ...

Закончивъ тогдашнюю статью и выдавъ №, я, подъ впечатлѣніемъ того что самъ намечталъ, рѣшилъ постараться изъ всѣхъ силъ повидать Корнилову, пока еще она въ острогѣ. Сознаюсь, что мнѣ очень любопытно было провѣрить: угадалъ-ли я вправду что-нибудь въ томъ, что написалъ о Корниловой и о чемъ потомъ размечтался? Какъ разъ случилось одно весьма благопріятное обстоятельство, доставившее мнѣ скорую возможность посѣтить Корнилову и съ ней познакомиться. И вотъ я даже самъ былъ удивленъ: представьте себѣ, что изъ мечтаній моихъ по крайней мѣрѣ три четверти оказались истиною: я угадалъ такъ, какъ будто самъ былъ при

томъ. Мужъ дѣйствительно приходилъ и приходитъ, дѣйствительно оба плачутъ, горюютъ другъ надъ другомъ, прощаются и прощаютъ. „Дѣвочка пришла бы"—сказала мнѣ сама Корнилова,—но она теперь въ какой-то школѣ, въ закрытомъ заведеніи. Я жалѣю что не могу передать всего, что узналъ изъ жизни этого разрушеннаго семейства, а тутъ есть черты весьма даже любопытныя, ну конечно можетъ быть въ своемъ родѣ. О, разумѣется, я кое въ чемъ и ошибся, но не въ существенномъ: Корниловъ напримѣръ хоть и крестьянинъ, но ходитъ въ нѣмецкомъ платьѣ, гораздо моложе чѣмъ я предполагалъ о немъ, служитъ черпальщикомъ въ экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ и получаетъ довольно значительное для крестьянина помѣсячное жалованье, стало быть гораздо богаче, чѣмъ я предполагалъ въ мечтахъ моихъ. Она же—швея, была швеей и даже и теперь, въ острогѣ, занимается швейной работой по заказу и достаетъ тоже деньги порядочныя. Однимъ словомъ, дѣло идетъ не совсѣмъ „о холстѣ и валенкахъ ей въ дорогу и о чаѣ съ сахаромъ", а тонъ нѣсколько повыше. Когда я пришелъ въ первый разъ, она уже нѣсколько дней какъ родила, и не сына, а дочь, и проч. и проч. Несходства мелкія, но въ главномъ, въ сущности ошибки никакой.

Она была тогда, на время родовъ, въ особомъ помѣщеніи и сидѣла одна; въ углу, рядомъ на кровати лежала новорожденная, которую наканунѣ лишь окрестили. Ребенокъ, какъ я взошелъ, слабо вскрикнулъ съ тѣмъ особымъ маленькимъ трескомъ въ голосѣ, какой бываетъ у всѣхъ новорожденныхъ. Кстати, эта тюрьма почему-то даже и тюрьмой не называется, а „домомъ предварительнаго содержанія преступниковъ". Въ ней впрочемъ содержится очень много преступниковъ, особенно по инымъ весьма любопытнымъ отдѣламъ преступленій и о которыхъ, когда придетъ время, можетъ быть я и поговорю. Но прибавлю кстати, что я вынесъ весьма утѣшительное впечатлѣніе, по крайней мѣрѣ въ этомъ женскомъ отдѣленіи тюрьмы, видя несомнѣнную гуманность отношеній надзирательницъ къ преступницамъ. Потомъ я былъ и въ другихъ камерахъ, напримѣръ въ той, гдѣ были соединены преступницы, имѣющія грудныхъ дѣтей. Я самъ видѣлъ заботы, внимательность, уходъ за ними этихъ почтенныхъ ближайшихъ ихъ начальницъ. И хоть не очень долго наблюдалъ, но есть же такія черты, такія слова, такіе поступки и движенія, которыя разомъ сказываютъ о многомъ. Съ Корниловой я пробылъ въ первый разъ минутъ двадцать: это миловидная, очень молодая женщина, съ взглядомъ интелигентнымъ, но очень даже простодушная. Сначала, минуты двѣ, она была нѣсколько удивлена моимъ приходомъ, но быстро повѣрила что видитъ подлѣ себя *своего*, ей сочувствующаго, какимъ я и отрекомендовался ей при входѣ, и стала со мной совсѣмъ откровенна. Она не изъ очень разговорчивыхъ и не изъ очень находчивыхъ въ разговорѣ, но то что говоритъ, то говоритъ твердо и ясно, видимо правдиво и — всегда ласково, но безъ всякой услащенности, безъ всякой искательности. Она говорила со мной не то что какъ съ ровнымъ, а почти какъ съ своимъ. Тогда еще, вѣроятно подъ вліяніемъ очень недавнихъ родовъ и воспоминанія о произнесенномъ, тоже столь недавно, надъ нею приговорѣ (въ самые послѣдніе дни беременно-

сти), она была нѣсколько возбуждена и даже заплакала, вспомнивъ объ одномъ показаніи, сдѣланномъ противъ нея въ судѣ, о выговоренныхъ будто бы ею какихъ-то словахъ сейчасъ въ день преступленія и которыхъ она, будто-бы, никогда не говорила. Она очень горевала о несправедливости этого показанія, но поразило меня то, что говорила она вовсе не желчно и всего лишь воскликнула: „значитъ ужъ такая была судьба"! Когда я тутъ же заговорилъ объ ея новорожденной дочкѣ, она тотчасъ же стала улыбаться: „Вчера дескать окрестили". — Какже зовутъ?—„А какъ меня, Катериной". Эта улыбка приговоренной въ каторгу матери на своего ребенка, родившагося въ острогѣ сейчасъ послѣ приговора, которымъ осужденъ и онъ, еще не бывшій тогда и на свѣтѣ, вмѣстѣ съ матерью,—эта улыбка произвела во мнѣ странное и тяжелое ощущеніе. Когда я сталъ ее расспрашивать осторожно о ея преступленіи, то тонъ ея отвѣтовъ тотчасъ же мнѣ чрезвычайно понравился. Она отвѣчала на все прямо и ясно, нисколько не уклончиво, такъ что я сейчасъ увидалъ, что никакихъ особенныхъ предосторожностей тутъ не надо. Она вполнѣ сознавалась что она преступница во всемъ въ чемъ ее обвинили. Сразу поразило меня тоже, что про мужа своего (въ злобѣ на котораго и выбросила въ окно дѣвочку) она не только не сказала мнѣ чего нибудь злобнаго, хоть капельку обвинительнаго, но даже было совсѣмъ напротивъ. — Да какже все это сдѣлалось? — и она прямо разсказала какъ сдѣлалось: „Пожелала злое, только совсѣмъ ужъ тутъ не моя какъ бы воля была, а чья-то чужая". Помню, она прибавила (на мой вопросъ) что хоть и пошла сейчасъ въ участокъ заявить о случившемся, но „идти въ участокъ совсѣмъ не хотѣла, а какъ-то такъ сама пришла туда, не знаю зачѣмъ, и все на себя показала".

—

Я еще наканунѣ посѣщенія узналъ, что защитникъ ея, господинъ Л. подалъ приговоръ на кассацію; стало быть все же оставалась нѣкоторая, хотя и слабая надежда. Но у меня, кромѣ того, была еще въ головѣ и нѣкоторая другая надежда, о которой я впрочемъ теперь умолчу, но о которой тогда же, подъ конецъ моего посѣщенія, ей сообщилъ. Она выслушала меня безъ большой вѣры въ успѣхъ моихъ мечтаній, но расположенію моему къ ней повѣрила отъ всей души и тутъ же меня поблагодарила. На мой вопросъ: не могу ли я ей въ чемъ нибудь сейчасъ быть полезнымъ, она, тотчасъ же догадавшись объ чемъ я заговариваю, отвѣтила мнѣ что ни въ чемъ не нуждается, что деньги у ней есть и работа есть. Но въ этихъ словахъ не прозвучало ни малѣйшей обидчивости, такъ что еслибъ у ней не было денегъ, то она, можетъ быть, вовсе не отказалась бы принять отъ меня небольшое вспоможеніе.

Раза два я потомъ опять заходилъ къ ней. Между прочимъ, я нарочно заговорилъ однажды объ совершенномъ оправданіи убійцы Кириловой, происшедшемъ всего только нѣсколько дней спустя послѣ обвинительнаго приговора надъ ней, Корниловой,—но не замѣтилъ въ ней ни малѣйшей зависти или ропота. Положительно, она наклонна думать о себѣ какъ о чрезвычайной преступницѣ. Присматриваясь къ ней ближе я невольно замѣтилъ, что въ основѣ этого, довольно любопытнаго женскаго характера лежитъ много ровности, по-

рядка, и, что особенно заинтересовало меня — веселости. Тѣмъ не менѣе ее видимо мучаютъ воспоминанія: она съ глубокимъ искреннимъ горемъ сожалѣетъ о томъ, что была строга къ ребенку, „не взлюбила его", била его, слушая безпрерывные попреки мужа покойной женой и, какъ я догадался, видимо ревнуя его къ этой покойной женѣ. Ее замѣтно смущаетъ между прочимъ мысль, что мужъ ея теперь свободенъ, и даже можетъ жениться, и она съ большимъ удовольствіемъ передала мнѣ однажды, тотчасъ же какъ я пришелъ къ ней, что недавно приходилъ къ ней мужъ и самъ ей сказалъ, что „до того-ли ему теперь чтобы объ женитьбѣ думать!"—значитъ именно она сама, и первая, заговорила съ нимъ объ этомъ, подумалъ я. Повторю опять, она вполнѣ понимаетъ, что послѣ приговора, надъ нею произнесеннаго, ея мужъ совсѣмъ ужь ей не мужъ и что бракъ ихъ расторгнутъ. Дѣйствительно у нихъ происходятъ стало быть прелюбопытные свиданія и разговоры подумалось мнѣ тутъ-же.

Въ эти посѣщенія мнѣ случилось говорить объ ней съ нѣсколькими надзирательницами острога и съ г-жей А. П. Б.—помощницей смотрительницы острога. Я подивился той видимой симпатіи, которую въ нихъ во всѣхъ возбудила къ себѣ Корнилова. Г-жа А. П. Б. сообщила мнѣ, между прочимъ, одно любопытное свое наблюденіе, а именно: когда вступила къ нимъ въ острогъ Корнилова (вскорѣ послѣ преступленія), то это было совсѣмъ какъ бы другое существо, грубое, невѣжливое, злое, скорое на злые отвѣты. Но не прошло двухъ—трехъ недѣль какъ она совсѣмъ и какъ-то вдругъ измѣнилась: явилось существо доброе, простодушное, кроткое „и вотъ такъ и до сихъ поръ". Сообщеніе это показалось мнѣ весьма подходящимъ къ *дѣлу*. Но бѣда была въ томъ, что *дѣло*-то было уже рѣшено и подписано и приговоръ произнесенъ. И вотъ на дняхъ меня извѣстили, что приговоръ суда, поданный на кассацію—кассированъ (вслѣдствіе нарушенія 693 ст. угол. суд.) и поступитъ вновь на разсмотрѣніе другаго отдѣленія суда съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей. Такимъ образомъ, теперь въ настоящую минуту Корнилова опять подсудимая, не каторжная, и опять законная жена своего мужа, а онъ ей законный мужъ! Стало быть опять для нея засіяла надежда. Дай Богъ, чтобъ эту молодую душу, столь много уже перенесшую, не сломило окончательно новымъ обвинительнымъ приговоромъ. Тяжело переносить такія потрясенія душѣ человѣческой: похоже на то какъ бы приговореннаго къ разстрѣлянію вдругъ отвязать отъ столба, подать ему надежду, снять повязку съ его глазъ, показать ему вновь солнце и,—черезъ пять минутъ вдругъ опять повести его привязывать къ столбу. Въ самомъ дѣлѣ, неужели такъ-таки не будетъ дано ни малѣйшаго вниманія обстоятельству беременности подсудимой во время совершенія злодѣянія? Важнѣйшая часть обвиненія состоитъ разумѣется въ томъ, что все же она совершила преступленіе *сознательно*; но опять таки — что̀ и какую роль играетъ въ этомъ случаѣ сознаніе? Сознаніе могло сохраниться вполнѣ, но противъ сумасшедшаго, извращеннаго болѣзненнымъ афектомъ желанія своего устоять она не могла, не смотря на самое яркое сознаніе. Неужели это кажется столь невозможнымъ? Не будь она беременна, она, въ моментъ своего злобнаго раздраженія, подумала бы можетъ быть такъ: „скверная дѣв-

чонка, выбросить бы ее за окно, чтобъ онъ не попрекалъ меня каждый часъ ея матерью", подумала бы и не сдѣлала бы; а въ беременномъ состояніи—*не устояла* и сдѣлала. Развѣ это не могло такъ именно случиться? И что въ томъ, что она сама показываетъ на себя что еще наканунѣ хотѣла выбросить изъ окна ребенка, да мужъ помѣшалъ? Все же это преступное намѣреніе, такъ логически и твердо задуманное и такъ методически (съ перестановкой горшковъ съ цвѣтами и проч.) на другое утро выполненное—ни въ какомъ случаѣ нельзя отнести къ обыкновенному расчетливому злодѣйству: тутъ именно случилось нѣчто неестественное, ненормальное. Подумайте объ одномъ: выбросивъ дѣвочку и заглянувъ въ окно посмотрѣть какъ она упала (дѣвочка въ первую минуту была безъ чувствъ и ее изъ окна конечно можно было почесть за убитую), убійца закрываетъ окно, одѣвается и—идетъ въ участокъ, гдѣ все на себя показываетъ. Но для чего ей показывать на себя, еслибъ она задумала злодѣяніе твердо и спокойно, и съ хладнокровнымъ расчетомъ? Кто, гдѣ свидѣтели, что это она выбросила ребенка, а не самъ ребенокъ выпалъ по неосторожности? Да она и воротившагося мужа могла бы тотчасъ же увѣрить въ томъ, что ребенокъ самъ выпалъ, а она ни въ чемъ не виновата, (такъ что мужу бы отмстила, а себя оправдала). Да еслибъ она даже убѣдилась тогда же, выглянувъ въ окно, что ребенокъ не расшибся, а напротивъ живъ и можетъ, стало быть, потомъ дать на нее показаніе,—то и тутъ она могла бы ничего не бояться: что могло бы значить въ глазахъ судебнаго слѣдствія показаніе шестилѣтней дѣвочки о томъ, что ее приподняли сзади за ноги и выбросили въ окно? Да всякій экспертъ-докторъ могъ бы тутъ подтвердить, что ей именно могло показаться (то есть еслибъ даже она и сама упала) въ минуту потери равновѣсія и паденія, что кто-то какъ бы схватилъ ее сзади за ножки и толкнулъ внизъ. Но если такъ, то для чего же преступница сама тотчасъ же отправилась на себя показывать? Отвѣтятъ конечно: „была въ отчаяніи, хотѣла покончить съ собой такъ или этакъ". Дѣйствительно, другаго объясненія и пріискать нельзя, но ужь одно это объясненіе показываетъ въ какомъ душевномъ напряженіи и разстройствѣ была эта *беременная*. Любопытны ея собственныя слова: „я въ участокъ идти не хотѣла, а такъ какъ-то сама пришла". Значитъ дѣйствовала какъ въ бреду, „*не своей какъ бы волей*", не смотря на полное сознаніе.

Съ другой стороны свидѣтельство г-жи А. П. Б. тоже страшно много поясняетъ: „это было совсѣмъ другое существо, грубое, злое, и вдругъ черезъ двѣ-три недѣли совсѣмъ измѣнившееся: явилось существо кроткое, тихое, ласковое". Почему же такъ? А вотъ именно кончился извѣстный болѣзненный періодъ беременности, — періодъ больной воли и „сумасшествія безъ сумасшествія", съ нимъ прошелъ болѣзненный аффектъ и—явилось существо другое.

Вотъ что: еще разъ вновь осудятъ ее въ каторгу, вновь ее, столь уже пораженную и столь вынесшую, поразятъ и раздавятъ *вторымъ* приговоромъ и, двадцатилѣтнюю, еще почти не начавшую жить, съ груднымъ младенцемъ на рукахъ ринутъ въ каторгу и—что же выйдетъ? Много вынесетъ она изъ каторги? Не ожесточится ли душа, не развратится ли, не озлобится

ли на вѣки? Кого когда исправила каторга? И главное,—все это при совершенно неразъясненномъ и не опровергнутомъ сомнѣніи о болѣзненномъ аффектѣ тогдашняго беременнаго ея состоянія. Опять повторю какъ два мѣсяца назадъ: „лучше ужь ошибиться въ милосердіи чѣмъ въ казни". Оправдайте несчастную и авось не погибнетъ юная душа, у которой можетъ быть столь много еще впереди жизни и столь много добрыхъ для нея зачатковъ. Въ каторгѣ же навѣрно все погибнетъ, ибо развратится душа, а теперь напротивъ страшный урокъ, уже вынесенный ею, убережетъ ее можетъ быть на всю жизнь отъ худаго дѣла; а главное можетъ быть сильно поможетъ развернуться и созрѣть тѣмъ сѣменамъ и зачаткамъ хорошаго, которыя видимо и несомнѣнно заключены въ этой юной душѣ. И еслибы даже сердце ея было дѣйствительно черствое и злое, то милосердіе смягчило бы его навѣрно. Но увѣряю васъ, что оно далеко не черствое и не злое и что объ этомъ не я одинъ свидѣтельствую. Неужели-жъ нельзя оправдать, *рискнуть* оправдать?

II.

Запоздавшее нравоученіе.

Этотъ октябрьскій № моего „Дневника" надѣлалъ мнѣ и кромѣ того хлопотъ, въ своемъ родѣ конечно. Тамъ есть коротенькая статья: „Приговоръ", оставившая во мнѣ самомъ нѣкотораго рода сомнѣніе. Этотъ „Приговоръ" есть исповѣдь самоубійцы, послѣднее слово самоубійцы, записанное имъ самимъ для оправданія и, можетъ быть, для *назиданія*, передъ самымъ револьверомъ. Нѣкоторые изъ тѣхъ друзей моихъ, мнѣніемъ которыхъ я дорожу наиболѣе, отнеслись къ статейкѣ этой даже съ похвалой, но тоже подтвердили мои сомнѣнія. Похвалили они то, что дѣйствительно какъ бы найдена формула этого рода самоубійцъ, ясно выражающая ихъ сущность, но они усомнились: понятна ли будетъ цѣль статьи для всѣхъ и каждаго изъ читателей? Не произведетъ ли напротивъ она на кого нибудь совершенно обратнаго впечатлѣнія? Мало того: иные, вотъ тѣ самые, которымъ уже начинали мерещиться еще до того револьверъ или петля, — не соблазнятся ли даже ею, по прочтеніи ея, и не утвердятся ли еще болѣе въ своихъ несчастныхъ намѣреніяхъ? Однимъ словомъ, высказаны были сомнѣнія точь въ точь тѣ же самыя, которыя во мнѣ самомъ уже зародились. Въ результатѣ выводъ: что надо бы было прямо и просто, въ концѣ статьи, разъяснить ясными словами, отъ автора, цѣль съ которою она написана, и даже прямо приписать правоученіе.

Я съ этимъ согласился; да я и самъ, когда еще писалъ статью, чувствовалъ, что правоученіе необходимо; но мнѣ какъ-то совѣстно стало тогда приписать его. Мнѣ показалось стыдно предположить, даже въ самомъ простодушномъ изъ читателей, столько простоты, чтобы онъ самъ не догадался о *подкладкѣ* статьи и цѣли ея, о правоученіи ея. Для меня самого эта цѣль была столь ясна, что я невольно предполагалъ ее столь же ясною и для всякаго. Оказалось что я ошибся.

Справедливо замѣчаніе, сдѣланное однимъ писателемъ еще нѣсколько лѣтъ тому назадъ, что признаваться въ непониманіи нѣкотораго рода вещей считалось прежде за стыдъ, потому что прямо свидѣтельствовало о

тупости признающагося, о невѣжествѣ его, о скудномъ развитіи его ума и сердца, о слабости умственныхъ способностей. Теперь же, напротивъ, весьма часто фраза: „я не понимаю этого“ выговаривается почти съ гордостью, по меньшей мѣрѣ съ важностью. Человѣкъ тотчасъ же какъ бы ставится этой фразой на пьедесталъ въ глазахъ слушателей и, что еще комичнѣе, въ своихъ собственныхъ, ни мало не стыдясь при этомъ дешевизны пріобрѣтеннаго пьедестала. Нынѣ слова: „Я ничего не понимаю въ Рафаэлѣ“ или: „Я нарочно прочелъ всего Шекспира и признаюсь ровно ничего не нашелъ въ немъ особеннаго“—слова эти нынѣ могутъ быть даже приняты не только за признакъ глубокаго ума, но даже за что-то доблестное, почти за нравственный подвигъ. Да Шекспиръ-ли одинъ, Рафаэль-ли одинъ подвержены теперь такому суду и сомнѣнію?

Это замѣчаніе о гордыхъ невѣждахъ, которое я передалъ здѣсь своими словами, довольно вѣрно. Дѣйствительно гордость невѣждъ началась непомѣрная. Люди мало развитые и тупые ни сколько не стыдятся этихъ несчастныхъ своихъ качествъ, а напротивъ какъ то такъ сдѣлалось, что это то имъ и „духу придаетъ“. Замѣчалъ я то же не рѣдко, что въ литературѣ и въ частной жизни наступали великія обособленія и исчезала многосторонность знанія: люди, до пѣны у рта оспаривавшіе своихъ противниковъ, по десятку лѣтъ не читали иногда ни строчки изъ написаннаго ихъ противниками: „Я дескать не тѣхъ убѣжденій и не стану читать глупостей“. Подлинно, на грошъ амуниціи, а на рубль амбиціи.—Такая крайняя односторонность и замкнутость, обособленность и нетерпимость явились лишь въ наше время, т. е. въ послѣдніе двадцать лѣтъ преимущественно. Явилась при этомъ у очень многихъ какая-то беззастѣнчивая смѣлость: люди познаній ничтожныхъ смѣялись и даже въ глаза людямъ въ десять разъ ихъ болѣе знающимъ и понимающимъ. Но хуже всего, что чѣмъ дальше, тѣмъ больше воцаряется „прямолинейность“: стало напримѣръ замѣтно теряться чутье къ примѣненію, къ иносказанію, къ аллегоріи. Замѣтно перестали (вообще говоря) понимать шутку, юморъ, а ужь это, по замѣчанію одного германскаго мыслителя,—одинъ изъ самыхъ яркихъ признаковъ умственнаго и нравственнаго пониженія эпохи. Напротивъ, народились мрачныя тупицы, лбы нахмурились и заострились,—и все прямо и прямо, все въ прямой линіи и въ одну точку. Думаете что я лишь про молодыхъ и про либераловъ говорю? Увѣряю васъ, что и про старичковъ и про консерваторовъ. Какъ бы въ подражаніе молодымъ (теперь уже впрочемъ сѣдымъ) еще двадцать лѣтъ тому появились странные прямолинейные консерваторы, раздраженные старички, и ужь ровно ничего не понимавшіе въ текущихъ дѣлахъ, въ новыхъ людяхъ и въ молодомъ поколѣніи. Прямолинейность ихъ, если хотите, даже иногда была жостче, жесточе и тупѣе прямолинейности „новыхъ людей“. О, весьма можетъ быть, что все это у нихъ отъ избытка хорошихъ желаній и отъ великодушнаго, но огорченнаго чувства новѣйшими безразсудствами; но все же они иногда слѣпѣе даже новѣйшихъ прямолинейниковъ. А впрочемъ, мнѣ кажется я самъ, осуждая прямолинейность, слишкомъ уже заѣхалъ въ сторону.

Только что появилась моя статья, и на письмахъ и лично посыпались мнѣ

запросы: что дескать значитъ вашъ „Приговоръ“? Что вы хотите этимъ сказать и неужели вы самоубійство оправдываете? Иные же, показалось мнѣ, были чему то даже рады. И вотъ на дняхъ присылаетъ мнѣ одинъ авторъ, г. Энпе, свою статейку, учтиво ругательную, напечатанную имъ въ Москвѣ въ еженедѣльномъ журналѣ „Развлеченіе“. Я „Развлеченія“ не получаю и не думаю, чтобъ мнѣ прислалъ этотъ № издатель его, а потому приписываю эту присылку любезности самого автора статьи. Онъ мою статью осуждаетъ и смѣется надъ ней:

„Получилъ я октябрьскій выпускъ „Дневника писателя“, прочиталъ и задумался: много хорошихъ вещей въ этомъ выпускѣ, но много и *странныхъ*. Выскажемъ наше недоумѣніе въ самой сжатой формѣ. Зачѣмъ было, напримѣръ, помѣщать въ этомъ выпускѣ „разсужденіе“ одного самоубійцы отъ скуки? Положительно не понимаю зачѣмъ? Это *разсужденіе*, если можно такъ назвать бредъ полусумасшедшаго человѣка, давно извѣстно; разумѣется нѣсколько перефразированное, *всѣмъ тѣмъ, кому о томъ знать и вѣдать надлежитъ*, а потому появленіе его *въ наше время*, въ дневникѣ такого писателя, какъ Ѳ. М. Достоевскій, служитъ смѣшнымъ и жалкимъ анахронизмомъ. Теперь вѣкъ *чугунныхъ понятій*, вѣкъ положительныхъ мнѣній, вѣкъ, держащій знамя: „жить во что бы то ни стало!...“ Разумѣется, какъ во всемъ и вездѣ—есть исключенія, есть самоубійства *съ разсужденіемъ* и *безъ разсужденія*, но на это пошлое геройство нынче никто не обращаетъ никакого вниманія: ужь очень оно, это геройство-то, глупо! Было время, когда самоубійство, особенно *съ разсужденіемъ* возводилось на степень величайшаго „сознанія“—только неизвѣстно *чего*? —и героизма, тоже неизвѣстно въ чемъ состоящаго, но это *гнилое* время прошло и прошло безвозвратно,—и слава Богу, жалѣть нечего.

Каждый самоубійца, умирающій съ разсужденіемъ, подобнымъ тому, которое напечатано въ дневникѣ г. Достоевскаго, не заслуживаетъ никакого сожалѣнія; это грубый эгоистъ, честолюбецъ и самый вредный членъ человѣческаго общества. Онъ даже не можетъ сдѣлать своего глупаго дѣла безъ того, чтобы объ немъ не говорили; онъ даже и тутъ не выдерживаетъ своей роли, своего напускнаго характера; онъ пишетъ *разсужденіе*, хотя бы легко могъ умереть безъ всякаго разсужденія...

О, Фальстафы жизни! Ходульные рыцари!..

Прочитавъ это я впалъ даже въ уныніе. Господи, да неужели много такихъ у меня читателей и неужели г. Энпе, утверждающій что мой самоубійца не заслуживаетъ никакого сожалѣнія, серьезно подумалъ, что я выставилъ его ему на „сожалѣніе?“ Конечно, единичное мнѣніе г. Энпе было бы не такъ важно. Но дѣло въ томъ, что въ настоящемъ случаѣ г. Энпе несомнѣнно выражаетъ собою цѣлый типъ, цѣлую коллекцію такихъ же какъ онъ господъ Энпе, типъ даже отчасти похожій на тотъ беззастѣнчивый типъ, о которомъ я только что говорилъ выше, беззастѣнчивый и прямолинейный,—типъ, ну вотъ тѣхъ самыхъ „чугунныхъ понятій“, о которыхъ самъ же г. Энпе говоритъ въ сдѣланной мною выпискѣ изъ его статьи. Это подозрѣніе о цѣлой коллекціи, ей Богу даже страшно. Конечно, я можетъ быть слишкомъ принимаю къ сердцу. Но однако прямо скажу: не смотря на такую мою воспріимчивость я и коллекціи не сталъ бы отвѣчать, и вовсе не отъ пренебреженія къ ней,—(почему же не поговорить съ людьми?)—а просто потому что мало въ № мѣста. И такъ, если отвѣчаю теперь, и жертвую мѣстомъ, то отвѣчаю, такъ сказать, на свои собственныя сомнѣнія и, такъ сказать, себѣ самому. Вижу, что къ октябрьской статейкѣ моей надо неотложно приставить правоученіе, разъяснить и даже разжевать цѣль ея. По крайней мѣрѣ совѣсть моя будетъ спокойна, вотъ что.

III.

Голословныя утвержденія.

Статья моя „Приговоръ“ касается основной и самой высшей идеи человѣческаго бытія—необходимости и неизбѣжности убѣжденія въ безсмертіи души человѣческой. Подкладка этой исповѣди погибающаго „отъ логическаго самоубійства“ человѣка — это необходимость тутъ же, сейчасъ же вывода: что безъ вѣры въ свою душу и въ ея безсмертіе бытіе человѣка неестественно, немыслимо и невыносимо. И вотъ мнѣ показалось, что я ясно выразилъ формулу логическаго самоубійцы, нашелъ ее. Вѣры въ безсмертіе для него не существуетъ, онъ это объясняетъ въ самомъ началѣ. Мало по малу, мыслью о своей безцѣльности и ненавистью къ безгласію окружающей косности, онъ доходитъ до неминуемаго убѣжденія въ совершенной нелѣпости существованія человѣческаго на землѣ. Для него становится ясно какъ солнце, что *согласиться* жить могутъ лишь тѣ изъ людей, которые похожи на низшихъ животныхъ и ближе подходятъ подъ ихъ типъ по малому развитію своего сознанія и по силѣ развитія чисто плотскихъ потребностей. Они соглашаются жить именно какъ животныя, то есть, чтобы „ѣсть, пить, спать, устраивать гнѣздо и выводить дѣтей“. О, жрать, да спать, да гадить, да сидѣть на мягкомъ—еще слишкомъ долго будетъ привлекать человѣка къ землѣ, но не въ высшихъ типахъ его. Между тѣмъ, высшіе типы вѣдь царятъ на землѣ и, всегда царили, и кончалось всегда тѣмъ, что за ними шли, когда восполнялся срокъ, милліоны людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль (безъ которыхъ не можетъ жить человѣчество) весьма часто произносятъ въ первый разъ люди бѣдные, незамѣтные, не имѣющіе никакого значенія, и даже весьма часто гонимые, умирающіе въ гоненіи и въ неизвѣстности. Но мысль, но произнесенное ими слово не умираютъ и никогда не исчезаютъ безслѣдно, никогда не могутъ исчезнуть лишь бы только разъ были произнесены,—и это даже поразительно въ человѣчествѣ. Въ слѣдующемъ же поколѣніи или черезъ два-три десятка лѣтъ мысль генія уже охватываетъ все и всѣхъ, увлекаетъ все и всѣхъ, — и выходитъ, что торжествуютъ не милліоны людей и не матеріальныя силы, повидимому столь страшныя и незыблемыя, не деньги, не мечь, не могущество, а незамѣтная въ началѣ мысль, и часто какого-нибудь, повидимому, ничтожнѣйшаго изъ людей. Г-нъ Энпе пишетъ, что появленіе такой исповѣди у меня въ „Дневникѣ“ „служитъ“—(кому, чему служитъ?) — „смѣшнымъ и жалкимъ анахронизмомъ“... ибо нынѣ „вѣкъ чугунныхъ понятій, вѣкъ положительныхъ мнѣній, вѣкъ, держащій знамя: жить во что бы то ни стало“!... (Такъ, такъ! вотъ потому-то, вѣроятно, такъ и усилились въ наше время самоубійства въ классѣ интелигентномъ). Увѣряю почтеннаго г. Энпе и подобныхъ ему, что этотъ „чугунъ“ обращается, когда приходитъ срокъ, въ пухъ передъ иной идеей, сколь бы ни казалась она ничтожною въ началѣ господамъ „чугунныхъ понятій“. Для меня же лично, одно изъ самыхъ ужасныхъ опасеній за наше будущее, и даже за ближайшее будущее, состоитъ именно въ томъ, что, на мой взглядъ, въ весьма уже, въ слишкомъ уже большой части ни-

телигентнаго слоя русскаго, по какому-то особому, странному... ну, хоть, предопредѣленію, все болѣе и болѣе и съ чрезвычайною прогрессивною быстротою, укореняется совершенное невѣріе въ свою душу и въ ея безсмертіе. И мало того, что это невѣріе укореняется убѣжденіемъ (убѣжденій у насъ еще очень мало въ чемъ бы то ни было), но укореняется и повсемѣстнымъ, страннымъ какимъ-то индиферентизмомъ къ этой высшей идеѣ человѣческаго существованія, — индиферентизмомъ, иногда даже насмѣшливымъ, Богъ знаетъ откуда и по какимъ законамъ у насъ водворяющимся и не къ одной этой идеѣ, а и ко всему, что жизненно, къ правдѣ жизни, ко всему что даетъ и питаетъ жизнь, даетъ ей здоровье, уничтожаетъ разложеніе и зловоніе. Этотъ индеферентизмъ есть, въ наше время, даже почти русская особенность сравнительно хотя бы съ другими европейскими націями. Онъ давно уже проникъ и въ русское интелигентное семейство и уже почти-что разрушилъ его. Безъ высшей идеи не можетъ существовать ни человѣкъ, ни нація. А высшая идея на землѣ *лишь одна* и именно—идея о безсмертіи души человѣческой, ибо всѣ остальныя „высшія" идеи жизни, которыми можетъ быть живъ человѣкъ, *лишь изъ нея одной вытекаютъ*. Въ этомъ могутъ со мной спорить (то есть объ этомъ именно единствѣ источника всего высшаго на землѣ), но я пока въ споръ не вступаю и идею мою выставляю лишь голословно. Разомъ не объяснишь, а исподоволь будетъ лучше. Впереди еще будетъ время.

Мой самоубійца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубійства, а не индиферентный и не чугунный человѣкъ. Онъ дѣйствительно страдаетъ и мучается и ужъ кажется я это выразилъ ясно. Для него слишкомъ очевидно, что ему жить нельзя и—онъ слишкомъ знаетъ, что правъ и что опровергнуть его невозможно. Передъ нимъ неотразимо стоятъ самые высшіе, самые первые вопросы: „для чего жить когда уже онъ созналъ, что по животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человѣка? И что можетъ въ такомъ случаѣ удержать его на землѣ?" На вопросы эти разрѣшенія онъ получить не можетъ и знаетъ это, ибо хотя и созналъ, что есть, какъ онъ выражается, „гармонія цѣлаго", но я то, говоритъ онъ, „ея не понимаю, понять никогда не въ силахъ, а что не буду въ ней самъ участвовать, то это ужъ необходимо и само собою выходитъ". Вотъ эта-то ясность и докончила его. Въ чемъ же бѣда, въ чемъ онъ ошибся? Бѣда единственно лишь въ потерѣ вѣры въ безсмертіе.

Но онъ самъ горячо ищетъ (т. е. искалъ пока жилъ и искалъ съ страданіемъ) примиренія; онъ хотѣлъ найти его въ „любви къ человѣчеству": „Не я, такъ человѣчество можетъ быть счастливо и когда нибудь достигнетъ гармоніи. Эта мысль могла бы удержать меня на землѣ", проговаривается онъ. И ужъ конечно это великодушная мысль, великодушная и страдальческая. Но неотразимое убѣжденіе въ томъ, что жизнь человѣчества въ сущности такой же мигъ какъ и его собственная, и что на завтра же, по достиженіи „гармоніи" (если только вѣрить, что мечта эта достижима) человѣчество обратится въ тотъ же *нуль* какъ и онъ, силою косныхъ законовъ природы, да еще послѣ стольких страданій, вынесенныхъ въ достиженіи этой мечты—эта мысль воз-

мущаетъ его духъ окончательно, именно изъ за любви къ человѣчеству возмущаетъ, оскорбляетъ его за все человѣчество и—по закону отраженія идей—убиваетъ въ немъ даже самую любовь къ человѣчеству. Такъ точно видали не разъ, какъ, въ семьѣ умирающей съ голоду, отецъ или мать, подконецъ, когда страданія дѣтей ихъ становились невыносимыми, начинали ненавидѣть этихъ, столь любимыхъ ими доселѣ дѣтей, именно за *невыносимость* страданій ихъ. Мало того, я утверждаю, что сознаніе своего совершеннаго безсилія помочь, или принести хоть какую нибудь пользу или облегченіе страдающему человѣчеству, въ тоже время при полномъ вашемъ убѣжденіи въ этомъ страданіи человѣчества—можетъ даже *обратить въ сердцѣ вашемъ любовь къ человѣчеству въ ненависть къ нему*. Господа чугунныхъ идей конечно не повѣрятъ тому, да и не поймутъ этого вовсе: для нихъ любовь къ человѣчеству и счастье его—все это такъ дешево, все такъ удобно устроено, такъ давно дано и написано, что и думать объ этомъ не стоитъ. Но я намѣренъ насмѣшить ихъ окончательно: я объявляю (опять-таки *пока* бездоказательно) что любовь къ человѣчеству—даже совсѣмъ немыслима, непонятна и *совсѣмъ невозможна безъ совмѣстной вѣры въ безсмертіе души человѣческой.* Тѣ же, которые, отнявъ у человѣка вѣру въ его безсмертіе, хотятъ замѣнить эту вѣру, въ смыслѣ высшей цѣли жизни, „Любовью къ человѣчеству“, тѣ, говорю я, подымаютъ руки на самихъ же себя; ибо вмѣсто любви къ человѣчеству насаждаютъ въ сердцѣ, потерявшаго вѣру, лишь зародышъ ненависти къ человѣчеству. Пусть пожмутъ плечами на такое утвержденіе мое мудрецы чугунныхъ идей. Но мысль эта мудренѣе ихъ мудрости и я несомнѣнно вѣрую, что она станетъ когда нибудь въ человѣчествѣ аксіомой. Хотя опять таки я и это выставляю пока лишь голословно.

Я даже утверждаю и осмѣливаюсь высказать, что любовь къ человѣчеству *вообще*—есть, *какъ идея*, одна изъ самыхъ непостижимыхъ идей для человѣческаго ума. Именно какъ идея. Ее можетъ оправдать лишь одно чувство. Но чувство то возможно именно лишь при совмѣстномъ убѣжденіи въ безсмертіи души человѣческой. (И опять голословно).

Въ результатѣ ясно, что самоубійство, при потерѣ идеи о безсмертіи, становится совершенною и неизбѣжною даже необходимостью для всякаго человѣка, чуть - чуть поднявшагося въ своемъ развитіи надъ скотами. Напротивъ, безсмертіе, обѣщая вѣчную жизнь, тѣмъ крѣпче связываетъ человѣка съ землей. Тутъ казалось бы даже противорѣчіе: если жизни такъ много, т. е. кромѣ земной и безсмертная, то для чего бы такъ дорожить земною то жизнью? А выходитъ именно напротивъ, ибо только съ вѣрой въ свое безсмертіе человѣкъ постигаетъ всю разумную цѣль свою на землѣ. Безъ убѣжденія же въ своемъ безсмертіи, связи человѣка съ землей порываются, становятся тоньше, гнилѣе, а потеря высшаго смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь въ видѣ самой безсознательной тоски), несомнѣнно ведетъ за собою самоубійство. Отсюда обратно и правоученіе моей октябрьской статьи: „Если убѣжденіе въ безсмертіи такъ необходимо для бытія человѣческаго, то стало быть оно и есть нормальное состояніе человѣчества, а коли такъ, то и самое без-

смертіе души человѣческой *существуетъ несомнѣнно*". Словомъ, идея о безсмертіи—это сама жизнь, живая жизнь, ея окончательная формула и главный источникъ истины и правильнаго сознанія для человѣчества. Вотъ цѣль статьи и я полагалъ, что ее невольно уяснитъ себѣ всякій, прочитавшій ее.

IV.

Кое что о молодежи.

Кстати ужь. Мнѣ пожалуй укажутъ, что въ нашъ вѣкъ убиваютъ себя люди и никогда не занимавшіеся никакими высшими вопросами; тѣмъ не менѣе убиваютъ себя загадочно, безо всякой видимой причины. Мы дѣйствительно видимъ очень много (а обиліе это опять-таки своего рода загадка) самоубійствъ, странныхъ и загадочныхъ, сдѣланныхъ вовсе не по нуждѣ, не по обидѣ, безъ всякихъ видимыхъ къ тому причинъ, вовсе не вслѣдствіе матеріальныхъ недостатковъ, оскорбленной любви, ревности, болѣзни, ипохондріи или сумасшествія, а такъ, Богъ знаетъ изъ-за чего совершившихся. Такіе случаи въ нашъ вѣкъ составляютъ большій соблазнъ и такъ какъ совершенно невозможно въ нихъ отрицать эпидемію, то обращаются для многихъ въ самый безпокойный вопросъ. Всѣ эти самоубійства я конечно объяснять не возьмусь, да и разумѣется не могу *), но зато я несомнѣнно убѣжденъ, что въ большинствѣ, въ цѣломъ, прямо или косвенно, эти самоубійцы покончили съ собой изъ за одной и той же духовной болѣзни—отъ отсутствія высшей идеи существованія въ душѣ ихъ. Въ этомъ смыслѣ нашъ индеферентизмъ, какъ современная русская болѣзнь, заѣлъ всѣ души. Право, у насъ теперь иной даже молится и въ церковь ходитъ, а въ безсмертіе своей души не вѣритъ; т. е. не то что не вѣритъ, а просто объ этомъ совсѣмъ никогда не думаетъ. И однако это вовсе иногда не чугунный, не скотскаго, не низшаго типа человѣкъ. А межъ тѣмъ лишь изъ этой одной вѣры, какъ уже и говорилъ я выше, выходитъ весь высшій смыслъ и значеніе жизни, выходитъ желаніе и охота жить. О, повторяю, есть много охотниковъ жить безъ всякихъ идей и безъ всякаго высшаго смысла жизни, жить просто животною жизнью, въ смыслѣ низшаго типа; но есть, и даже слишкомъ ужь многіе, и, что всего любопытнѣе съ виду можетъ быть и чрезвычайно грубыя и порочныя натуры, а между тѣмъ природа ихъ, можетъ быть имъ самимъ невѣдомо, давно уже тоскуетъ по высшимъ цѣлямъ и значенію жизни. Эти ужь не успокоются на любви къ ѣдѣ, на любви къ кулебякамъ, къ красивымъ рысакамъ, къ разврату, къ чинамъ, къ чиновной власти, къ поклоненію подчиненныхъ, къ швейцарамъ у дверей домовъ ихъ. Этакій застрѣлится именно съ виду *не изъ чего*, а между тѣмъ непремѣнно отъ тоски, хотя и безсознательной, по высшему смыслу жизни не найденному имъ нигдѣ. А иной изъ такихъ вдобавокъ застрѣлится, предварительно выкинувъ какую-нибудь скандальную мерзость, скверность, чудовищность. О, глядя на многихъ изъ этакихъ, разумѣется трудно повѣрить, чтобъ они покончили съ собою изъ „за тоски по высшимъ цѣлямъ жизни": „Да они ни объ

*) Я получаю очень много писемъ съ изложеніемъ фактовъ самоубійствъ и съ вопросами: какъ и что я объ этихъ самоубійствахъ думаю и чѣмъ ихъ объясняю?

какихъ цѣляхъ совсѣмъ и не думали они ни объ чемъ такомъ, никогда и не говорили, а только дѣлали „пакости"—вотъ всеобщій голосъ! Но пусть не заботились и дѣлали пакости: высшая тоска эта—знаете ли вы твердо какими сложными путями, въ жизни общества, передается иногда иной душѣ и заражаетъ ее? Идеи летаютъ въ воздухѣ, но непремѣнно по законамъ; идеи живутъ и распространяются по законамъ слишкомъ трудно для насъ уловимымъ; идеи заразительны, и знаете ли вы, что въ общемъ настроеніи жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, можетъ вдругъ передаться почти малограмотному существу, грубому и ни объ чемъ никогда не заботившемуся, и вдругъ заразить его душу своимъ вліяніемъ? Укажутъ мнѣ пожалуй опять, что въ нашъ вѣкъ умерщвляютъ себя даже дѣти, или такая юная молодежь, которая и не испытала еще жизни. А у меня именно есть таинственное убѣжденіе, что молодежь то наша и страдаетъ и тоскуетъ у насъ отъ отсутствія высшихъ цѣлей жизни. Въ семьяхъ нашихъ объ высшихъ цѣляхъ жизни почти и не упоминается, а объ идеѣ о безсмертіи не только ужъ вовсе не думаютъ, но даже, слишкомъ нерѣдко относятся къ ней сатирически и это при дѣтяхъ, съ самаго ихъ дѣтства, да еще пожалуй съ нарочнымъ назиданіемъ.

„Да семейства у насъ вовсе нѣтъ"—замѣтилъ мнѣ недавно, возражая мнѣ, одинъ изъ нашихъ талантливѣйшихъ писателей. Что-же, это вѣдь отчасти и правда: при нашемъ всеобщемъ индиферентизмѣ къ высшимъ цѣлямъ жизни, конечно можетъ быть уже и расшаталась наша семья въ извѣстныхъ слояхъ націи. Ясно по крайней мѣрѣ до наглядности то, что наше юное поколѣніе обречено само отыскивать себѣ идеалы и высшій смыслъ жизни. Но это-то отъединеніе ихъ, это-то оставленіе на собственныя силы и ужасно. Это вопросъ слишкомъ, слишкомъ значительный въ теперешній моментъ, въ теперешній мигъ нашей жизни. Наша молодежь такъ поставлена, что рѣшительно нигдѣ не находитъ никакихъ указаній на высшій смыслъ жизни. Отъ нашихъ умныхъ людей и вообще отъ руководителей своихъ, она можетъ заимствовать, въ наше время, повторяю это, скорѣе лишь взглядъ сатирическій, но уже ничего *положительнаго*—т. е. во что вѣрить, что уважать, обожать, къ чему стремиться—а все это такъ нужно, такъ необходимо молодежи, всего этого она жаждетъ и жаждала всегда, во всѣ вѣка и вездѣ! А еслибы и смогли и въ силахъ еще были ей передать что-нибудь изъ правильныхъ указаній въ семьѣ или въ школѣ, то опять-таки и въ семьѣ и въ школѣ, (конечно, не безъ нѣкоторыхъ исключеній), слишкомъ ужъ стали къ этому индеферентны за множествомъ иныхъ, болѣе практическихъ и современно-интересныхъ задачъ и цѣлей. Молодежь шестого декабря на Казанской площади — безъ сомнѣнія лишь „настеганное стадо" въ рукахъ какихъ-то хитрыхъ мошенниковъ, судя по крайней мѣрѣ *по фактамъ*, указаннымъ „Московскими Вѣдомостями"; что выйдетъ и что окажется изъ этого дѣла—я далѣе ничего не знаю. Безъ сомнѣнія тутъ дурь, злостная и безнравственная, обезьянья подражательность съ чужаго голоса, но все же ихъ могли собрать лишь увѣривъ, что они собраны во имя чего-то высшаго и прекраснаго, во имя какого-то удиви-

тельнаго самопожертвованія для величайшихъ цѣлей. Пусть даже это „исканіе своего идеала“ слишкомъ въ немногихъ изъ нихъ, но эти немногіе царятъ надъ остальными и ведутъ ихъ за собою,—это-то уже ясно. Что-же, кто виноватъ теперь что ихъ идеалъ такъ уродливъ? Ужъ конечно и сами они, но вѣдь и не одни они. О, безъ сомнѣнія, даже и теперешняя окружающая ихъ дѣйствительность могла бы спасти ихъ отъ ихъ уродливой оторванности отъ всего насущнаго и реальнаго, отъ ихъ грубѣйшаго непониманія самыхъ простыхъ вещей; но въ томъ-то и дѣло что наступили, значитъ, такіе сроки, что оторванность отъ почвы и отъ народной правды въ нашемъ юнѣйшемъ поколѣніи должна уже удивить и ужаснуть даже самихъ „отцовъ“ ихъ, столь давно уже отъ всего русскаго оторвавшихся и доживающихъ свой вѣкъ въ блаженномъ спокойствіи высшихъ критиковъ земли русской. Ну вотъ и урокъ,—урокъ и семьѣ и школѣ и блаженно-убѣжденнѣйшимъ критикамъ: сами же они теперь не узнаютъ *своихъ послѣдствій* и отъ нихъ отрекаются, но... но вѣдь и ихъ-то, „отцовъ“-то, развѣ можно, опять-таки винить *окончательно*? Сами-то они не суть-ли продукты и слѣдствія какихъ-то особыхъ роковыхъ законовъ и предопредѣленій, которые стоятъ надъ всѣмъ интелигентнымъ слоемъ русскаго общества уже чуть ли не два вѣка сряду, почти вплоть до великихъ реформъ нынѣшняго царствованія? Нѣтъ, видно двухсотлѣтняя оторванность отъ почвы и отъ *всякаго дѣла* не спускаются даромъ. Винить недостаточно, надо искать и лекарствъ. По моему еще есть лекарства: они въ народѣ, въ святыняхъ его и въ нашемъ соединеніи съ нимъ. Но... но объ этомъ еще послѣ. Я и „Дневникъ“ предпринималъ отчасти для того, чтобъ объ этихъ лекарствахъ говорить на сколько силъ достанетъ.

V.

О самоубійствѣ и о высокомѣріи.

Но надо кончить съ г. Энне. Съ нимъ случилось то, что бываетъ со многими изъ его „типа“: для нихъ что ясно и что слишкомъ скоро они могутъ понять, то и глупо. Ясность они гораздо наклоннѣе презирать, чѣмъ хвалить. Другое дѣло что-нибудь съ завиткомъ и съ туманомъ: „А, мы этого не понимаемъ, значитъ тутъ глубина“.

Онъ говоритъ что „разсужденіе“ моего самоубійцы есть лишь „бредъ полусумасшедшаго человѣка“ и „*давно извѣстно*“. Я очень наклоненъ думать что „разсужденіе“ это стало ему „извѣстнымъ“ лишь по прочтеніи моей статьи. Что же касается до „бреда полусумасшедшаго“ то этотъ бредъ (извѣстно-ли это г-ну Энне и всей ихъ коллекціи?)—этотъ бредъ, т. е. выводъ необходимости самоубійства, есть для многихъ, даже для слишкомъ уже многихъ въ Европѣ,—какъ бы послѣднее слово науки. Я въ краткихъ словахъ выразилъ это „послѣднее слово науки“ ясно и популярно, но единственно чтобъ его опровергнуть,—и не разсужденіемъ, не логикой, ибо логикой оно неопровержимо, (и я вызываю не только г. Энне, но и кого угодно опровергнуть логически этотъ „бредъ сумасшедшаго“) — но вѣрой, выводомъ необходимости вѣры въ безсмертіе души человѣческой, выводомъ убѣжденія, что вѣра эта есть единственный источникъ живой жизни на землѣ,—жиз-

ни, здоровья, здоровыхъ идей и здоровыхъ выводовъ и заключеній...

А въ заключеніе нѣчто совсѣмъ ужь комическое. Въ томъ же октябрьскомъ № я сообщилъ о самоубійствѣ дочери эмигранта: „она намочила вату хлороформомъ, обвязала себѣ этимъ лицо и легла на кровать. Такъ и умерла. Предъ смертью написала записку: „предпринимаю длинное путешествіе. Если самоубійство не удастся, то пусть соберутся всѣ отпраздновать мое воскресенье изъ мертвыхъ съ бокалами клико. А если удастся, то я прошу только, чтобъ схоронили меня, вполнѣ убѣдясь, что я мертвая, потому что совсѣмъ непріятно проснуться въ гробу подъ землею. Очень даже не шикарно выйдетъ“.

Г-нъ Энпе высокомѣрно разсердился на эту „пустенькую“ самоубійцу и заключилъ, что поступокъ ея „никакого вниманія не заслуживаетъ“. Разсердился и на меня за мой „наивный до крайности“ воорось о томъ, которая изъ двухъ самоубійцъ больше мучилась на землѣ? Но тутъ вышло нѣчто смѣшное. Онъ вдругъ прибавилъ: „смѣю думать, что человѣкъ, желающій *привѣтствовать* свое возвращеніе къ жизни съ бокалами шампанскаго въ рукахъ „ — (разумѣется въ рукахъ) — „ не много *мучился* въ этой жизни — когда опять, съ такимъ торжествомъ вступаетъ въ нее, ни чуть не измѣняя ея условій — и даже не думая о нихъ“...

Какая смѣшная мысль и какое смѣшное соображеніе! Тутъ, главное, соблазнило его шампанское: „кто пьетъ шампанское, тотъ стало быть не можетъ мучиться“. Да вѣдь еслибъ она такъ любила шампанское, то осталась бы жить, чтобъ пить его, а вѣдь она написала про шампанское передъ смертью, т. е. передъ серьезною смертью, слишкомъ хорошо зная, что навѣрно умретъ. Шансу очнуться опять она не могла очень вѣрить, да и не представлялъ онъ ей ничего отраднаго, потому что очнуться опять значило для нея, конечно, очнуться для новаго самоубійства. Шампанское стало быть тутъ ни при чемъ, т. е. вовсе не для того, чтобъ пить его — и неужели это разъяснять надо? Написала же она о шампанскомъ изъ желанія сдѣлать, умирая, какой нибудь вывертъ померзче и погрязнѣе. Потому-то и выбрала шампанское, что грязнѣе и мерзче этой картины питія его при своемъ „воскресеніи изъ мертвыхъ“ не нашла другой. Нужно же ей было написать это для того, чтобъ оскорбить этой грязью все, что она оставляла на землѣ, проклясть землю и земную жизнь свою, плюнуть на нее и заявить этотъ плевокъ къ свѣдѣнію тѣхъ близкихъ ей, которыхъ она покидала. Изъ-за чего же такая злоба въ этой семнадцатилѣтней дѣвочкѣ? (NB. Ей было семнадцать лѣтъ, а не двадцать, я ошибся въ моей статьѣ и меня потомъ поправили знавшіе это дѣло лучше). И на кого злоба? Ее никто не обижалъ, она ни въ чемъ не нуждалась, она умерла, повидимому, тоже совсѣмъ безъ причины. Но именно эта-то записка, именно то, что она такъ *интересовалась* въ такой часъ сдѣлать такой грязный и злобный вывертъ (что очевидно) именно это и наводитъ на мысль, что жизнь ея была безмѣрно чище этого грязнаго выверта и что злоба, что безмѣрное озлобленіе этого выверта — и свидѣтельствуетъ, напротивъ, о страдальческомъ мучительномъ настроеніи ея духа, о ея отчаяніи въ послѣднюю минуту жизни. Еслибъ она умерла отъ какой ни-

будь апатичной скуки, не зная за чѣмъ, то не сдѣлала бы этого выверта. Къ такому состоянію духа надо относиться человѣколюбивѣе. Страданіе тутъ очевидное и умерла она непремѣнно отъ духовной тоски и много мучившись. Чѣмъ она успѣла такъ измучиться въ 17 лѣтъ? Но въ этомъ-то и страшный вопросъ вѣка. Я выразилъ предположеніе, что умерла она отъ тоски (слишкомъ ранней тоски) и безцѣльности жизни—лишь вслѣдствіе своего извращеннаго теоріей воспитанія въ родительскомъ домѣ, воспитанія съ ошибочнымъ понятіемъ о высшемъ смыслѣ и цѣляхъ жизни, съ намѣреннымъ истребленіемъ въ душѣ ея всякой вѣры въ ея безсмертіе. Пусть это лишь мое предположеніе, но вѣдь не для того же, въ самомъ дѣлѣ, умерла она, чтобъ оставить лишь послѣ себя подлую записку—на удивленіе, какъ кажется и предполагаетъ г. Энпе? „Никто же плоть свою возненавиде". Истребленіе себя есть вещь серьезная, несмотря на какой бы тамъ ни было шикъ, а эпидемическое истребленіе себя, возрастающее въ интелигентныхъ классахъ, есть слишкомъ серьезная вещь, стоящая неустаннаго наблюденія и изученія. Года полтора назадъ мнѣ показывалъ одинъ высокоталантливый и компетентный въ нашемъ судебномъ вѣдомствѣ человѣкъ пачку собранныхъ имъ писемъ и записокъ самоубійцъ, собственноручныхъ, писанныхъ ими передъ самою смертію, то есть за пять минутъ до смерти. Помню двѣ строчки одной пятнадцатилѣтней дѣвочки, помню тоже каракули карандашемъ, писанныя въ ѣхавшей каретѣ, въ которой тутъ же и застрѣлился самоубійца, не доѣхавъ куда везли его. Я думаю, еслибъ даже и г. Энпе переглядѣлъ эту интереснѣйшую пачку, то и въ его душѣ, можетъ быть, совершился бы нѣкоторый переворотъ и въ спокойное сердце его проникло бы смятеніе. Но не знаю. Во всякомъ случаѣ къ этимъ фактамъ надо относиться человѣколюбивѣе, и отнюдь не такъ высокомѣрно. Въ фактахъ этихъ можетъ быть мы и сами всѣ виноваты и никакой чугунъ не спасетъ насъ потомъ отъ бѣдственныхъ послѣдствій нашего спокойствія и высокомѣрія, когда исполнятся сроки и придетъ время этихъ послѣдствій.

Но довольно. Я не одному г. Энпе, а многимъ господамъ Энпе отвѣтилъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Анекдотъ изъ дѣтской жизни.

Разскажу чтобъ не забыть.

Живутъ на краю Петербурга, и даже подальше чѣмъ на краю, одна мать съ двѣнадцатилѣтней дочкой. Семья не богатая, но мать имѣетъ занятіе и добываетъ средства трудомъ, а дочка посѣщаетъ въ Петербургѣ школу, и каждый разъ когда уѣзжаетъ въ школу или возвращается изъ школы домой, — ѣздитъ въ общественной каретѣ, отправляющейся отъ Гостинаго двора до того мѣста, гдѣ онѣ

живутъ и обратно по нѣскольку разъ въ день, въ извѣстные сроки.

И вотъ однажды, недавно, мѣсяца два назадъ, какъ разъ когда у насъ вдругъ и такъ быстро установилась зима и начался первопутъ съ цѣлой недѣлей тихихъ, свѣтлыхъ дней, въ два-три градуса морозу—однажды вечеромъ мать, смотря на дочку сказала ей: „Саша, я вижу ты никакихъ уроковъ не твердишь, вотъ столько уже вечеровъ замѣчаю. Знаешь-ли ты уроки-то?

— Ахъ, мамочка, не безпокойся, я все приготовила; на всю даже недѣлю впередъ приготовила.

— Хорошо коли такъ.

На завтра отправилась Саша въ школу, а въ шестомъ часу кондукторъ общественной кареты, въ которой должна была воротиться Саша, соскочивъ мимоѣздомъ у ихъ воротъ, подалъ „мамочкѣ“ отъ нея записку слѣдующаго содержанія:

„Милая мамочка, я всю недѣлю была очень дурной дѣвочкой. Я получила три нуля и все тебя обманывала. Воротиться мнѣ къ тебѣ стыдно и я ужъ больше къ тебѣ не вернусь. Прощай милая мамочка, прости меня, твоя Саша“.

Можно представить, что сталось съ матерью. Разумѣется тотчасъ же хотѣла бросить занятія и летѣть въ городъ разыскивать Сашу хоть по какимъ-нибудь слѣдамъ. Но гдѣ? Какъ? Случился тутъ одинъ близкій знакомый, принявшій горячее участіе и вызвавшійся тотчасъ же отправиться въ Петербургъ и тамъ, справившись въ школѣ, искать и искать, по всѣмъ знакомымъ и хоть цѣлую ночь. Главное, представившееся соображеніе, что Саша можетъ воротиться тѣмъ временемъ сама, раскаявшись въ прежнемъ рѣшеніи, и если матери дома не застанетъ, то пожалуй опять уйдетъ,— заставило мать остаться и довѣриться горячему участію добраго человѣка. Въ случаѣ же если Саша не отыщется къ утру положили чѣмъ свѣтъ заявить полиціи. Оставшись дома мать провела нѣсколько тяжелыхъ часовъ и я ихъ не описываю, такъ какъ можно и такъ понять.

И вотъ, разсказываетъ мать, уже около десяти часовъ вдругъ слышу знакомые, маленькіе скорые шаги во дворѣ по снѣгу и потомъ по лѣсенкѣ. Отворяется дверь и—вотъ Саша.

— Мамочка, ахъ, мамочка, какъ я рада что пришла къ тебѣ, ахъ!

Сложила руки передъ собой ладошками, потомъ закрыла себѣ ими лицо и сѣла на кровать. Такая усталая, измученная. Ну, тутъ разумѣется первыя восклицанія, первые вопросы; мать осторожна, упрекать пока не смѣетъ.

— Ахъ мамочка, какъ только я вчера тебѣ солгала про уроки, такъ вчера же и рѣшилась: въ школу больше не ходить и къ тебѣ не возвращаться; потому что какъ-же я въ школу ходить не буду, а тебя каждый день буду обманывать что хожу?

— Да какъ-же ты съ собой-то быть хотѣла? Коль не въ школѣ и не у меня, такъ гдѣ-же?

— А я думала что на улицѣ. Какъ день, я бы все по улицамъ ходила. Шубка на мнѣ теплая, а прозябну—въ Пассажъ зайду; а вмѣсто обѣда каждый день по булкѣ покупать, ну а пить такъ какъ ужь нибудь, теперь снѣгъ. Одной булки мнѣ довольно. У меня 15 копѣекъ, по три копѣйки на булку, вотъ и пять дней.

— А тамъ?

— А тамъ не знаю, дальше я не подумала.

— Ну, а ночевать-то, ночевать-то гдѣ?

— А ночевать, я это обдумала. Какъ ужь темно и какъ ужь поздно я думала всякій день ходить на желѣзную дорогу, туда дальше, за воксалъ, гдѣ никого ужь нѣтъ, и гдѣ ужасно много вагоновъ стоитъ. Влѣзть въ какой нибудь этотъ вагонъ, который ужь видно что не пойдетъ, и ночевать до утра. Я и пошла. И далеко зашла, туда за воксалъ, и никого тамъ нѣтъ, и вижу совсѣмъ въ сторонѣ вагоны стоятъ и совсѣмъ не такіе въ которыхъ всѣ ѣздятъ. Вотъ думаю, влѣзу въ какой нибудь этотъ вагонъ и никто не увидитъ. Только я начала влѣзать, а вдругъ сторожъ мнѣ и закричалъ:

— Куда лѣзешь? Въ этихъ вагонахъ мертвыхъ возятъ.

Услышала я это, соскочила, а онъ ужъ вижу ко мнѣ подходитъ: „Вамъ чего, говоритъ, здѣсь надо?“ Я отъ него бѣжать, бѣжать, онъ что-то закричалъ, только я убѣжала. Иду я, такъ испугалась. Воротилась на улицы, хожу и вдругъ вижу домъ, большой домъ, каменный, строится, еще только кирпичный, стеколъ дверей нѣтъ и забиты досками, а кругомъ заборъ. Вотъ, думаю, еслибъ пройти какъ нибудь туда въ домъ, то тамъ вѣдь никто не увидитъ, темно. Зашла я съ переулка и сыскала такое мѣсто, что хоть и заколочено досками, а можно пролѣзть. Я и пролѣзла, прямо какъ въ яму, тамъ еще земля; я пошла ощупью по стѣнѣ въ уголъ, а въ углу доски, кирпичи. Вотъ, думаю, тутъ и ночую на доскахъ. Такъ и легла. Только вдругъ слышу точно кто тихо очень говоритъ. Я приподнялась, а въ самомъ углу слышу говорятъ, тихо, и точно на меня оттуда глаза смотрятъ. Тутъ я ужь очень испугалась, побѣжала какъ разъ въ ту самую дверь опять на улицу, а они меня слышу зовутъ. Успѣла выскочить. А я-то думала что домъ пустой.

Тутъ какъ вышла я опять, то очень вдругъ устала. Такъ устала, такъ устала. Иду по улицамъ, народъ ходитъ, который часъ не знаю. Вышла я на Невскій проспектъ, иду около Гостинаго и совсѣмъ плачу. „Вотъ думаю, прошелъ-бы какой добрый человѣкъ, пожалѣлъ-бы бѣдную дѣвочку, которой ночевать негдѣ. Я ужь призналась бы ему, а онъ бы мнѣ сказалъ: пойдемте къ намъ ночевать“. Думаю я все объ этомъ, иду и—вдругъ гляжу, стоитъ нашъ дилижансъ и послѣдній разъ сюда отправляться хочетъ, а я-то думала что онъ уже давно ушелъ. „Ахъ, думаю, поѣду къ мамѣ!“ Сѣла я, и такъ теперь мамочка рада что къ тебѣ воротилась! Никогда я тебя больше обманывать не буду и учиться буду хорошо, ахъ мамочка! ахъ мамочка!

Спрашиваю ее, разсказываетъ мать дальше: Саша, да неужель ты все это сама выдумала—и въ школу чтобъ не ходить и на улицѣ жить?

— Видишь мамочка, тутъ я давно уже познакомилась съ одной дѣвочкой, такая же какъ и я, только она въ другую школу ходитъ. Только вѣришь-ли, она никогда почти не ходитъ, а дома всѣмъ говоритъ каждый день что ходитъ. А мнѣ она сказала, что учиться ей скучно, а на улицѣ очень весело. „Я, говоритъ, какъ выйду изъ дому, все хожу, все хожу, а въ школу вотъ ужь двѣ недѣли не показывалась, въ окна въ магазины смотрю, въ пассажѣ хожу, булку съѣмъ—до самого вечера какъ домой идти“. Я какъ узнала про это отъ нея, тогда-же поду-

мала: „вотъ-бы мнѣ также", и стало мнѣ скучно въ школѣ. Только я и намѣренія не имѣла до самого вчерашняго дня, а вчера какъ солгала тебѣ и рѣшилась"...

Анекдотъ этотъ — правда. Теперь ужь разумѣется матерью приняты мѣры. Когда мнѣ разсказали его, я подумалъ что очень не лишнее напечатать его въ „Дневникѣ". Мнѣ позволили, конечно съ полнымъ incognito. Мнѣ разумѣется возразятъ сейчасъ-же: „Единичный случай, и просто потому что дѣвочка очень глупа". Но я знаю навѣрно, что дѣвочка очень не глупа. Знаю тоже, что въ этихъ юныхъ душахъ, уже вышедшихъ изъ перваго дѣтства, но еще далеко не дозрѣвшихъ до какой-нибудь хоть самой первоначальной возмужалости, могутъ порою зарождаться удивительныя фантастическія представленія, мечты и рѣшенія. Этотъ возрастъ (двѣнадцати или тринадцатилѣтній) необычайно интересенъ, въ дѣвочкѣ еще больше чѣмъ въ мальчикѣ. Кстати о мальчикахъ: помните вы года четыре назадъ напечатанное въ газетахъ извѣстіе о томъ, какъ изъ одной гимназіи бѣжали три чрезвычайно юные гимназиста въ Америку и что ихъ поймали уже довольно далеко отъ ихъ города, а вмѣстѣ захватили и бывшій съ ними пистолетъ. Вообще и прежде, поколѣніе или два назадъ, въ головахъ этого очень юнаго народа тоже могли бродить мечты и фантазіи, совершенно такъ же какъ у теперешнихъ, но теперешній юный народъ какъ-то рѣшительнѣе и гораздо короче на сомнѣнія и размышленія. Прежніе, надумавъ проэктъ (ну хоть бѣжать въ Венецію, начитавшись о Венеціи въ повѣстяхъ Гофмана и Жоржъ Занда,—я зналъ одного такого)—все же проэктовъ своихъ не исполняли и много что повѣряли ихъ подъ клятвою какому нибудь товарищу, а теперешніе надумаютъ да и выполнятъ. Впрочемъ, прежнихъ связывало и чувство ихъ долга, ощущеніе обязанности,—къ отцамъ, къ матерямъ, къ извѣстнымъ вѣрованіямъ и принципамъ. Нынче же, безспорно, связи эти и ощущенія стали нѣсколько слабѣе. Меньше удержу и внѣшняго и внутренняго, въ себѣ самомъ заключающагося. Отъ того можетъ быть одностороннѣе и голова работаетъ, и ужь разумѣется все это отъ чего нибудь.

А главное, это вовсе не единичные случаи, происходящіе отъ глупости. Повторяю, этотъ чрезвычайно интересный возрастъ вполнѣ нуждается въ особенномъ вниманіи столь занятыхъ у насъ педагогіей педагоговъ и столь занятыхъ теперь „дѣлами" и не дѣлами родителей. И какъ легко можетъ все это случиться, т. е. все самое ужасное, да еще съ кѣмъ: съ нашими родными дѣтьми! Подумать только о томъ мѣстѣ, въ этомъ разсказѣ матери, когда дѣвочка *„вдругъ устала,* идетъ и плачетъ и мечтаетъ что встрѣтится добрый человѣкъ, сжалится что бѣдной дѣвочкѣ негдѣ ночевать и пригласитъ ее съ собою". Подумать что вѣдь это желаніе ея, свидѣтельствующее о ея столь младенческой невинности и незрѣлости, такъ легко могло тутъ-же сбыться и что у насъ вездѣ, и на улицѣ и въ богатѣйшихъ домахъ, такъ и кишитъ вотъ именно этими „добрыми человѣчками!" Ну, а потомъ, на утро? Или прорубь, или *стыдъ признаться,* а за стыдомъ признаться и грядущая способность, все затаивъ про себя, *съ воспоминаніемъ ужиться,* а потомъ объ немъ задуматься уже съ другой точки зрѣнія,

и все думать и думать, но уже съ чрезвычайнымъ разнообразіемъ представленій, и все это мало по малу и само собой; ну а подъ конецъ—пожалуй и желаніе повторить случай, а за тѣмъ и все остальное. И это съ двѣнадцати-то лѣтъ! И все шито—крыто. Вѣдь шито—крыто въ полномъ смыслѣ слова! А эта другая дѣвочка, которая вмѣсто школы въ магазины заглядываетъ и въ пассажъ заходитъ, и нашу дѣвочку научила? Я прежде слыхивалъ въ этомъ родѣ про мальчиковъ, которымъ учиться скучно, а *бродяжить* весело. (NB. Бродяжничество есть привычка, болѣзненная и отчасти наша національная, одно изъ различій нашихъ съ Европой,—привычка обращающаяся потомъ въ болѣзненную страсть и весьма нерѣдко зараждающаяся съ самаго дѣтства. Объ этой національной страсти нашей я потомъ непремѣнно поговорю). Но вотъ стало быть возможны и *бродячія* дѣвочки. И положимъ тутъ полная пока *невинность;* но будь невинна какъ самое первобытное существо въ раю, а все не избѣгнетъ „познанія добра и зла", ну хоть съ краюшку, хоть въ воображеніи только, мечтательно. Улица вѣдь такая бойкая школа. А главное, повторяю еще и еще: тутъ—этотъ интереснѣйшій возрастъ, возрастъ, вполнѣ еще сохранившій самую младенческую, трогательную невинность и незрѣлость съ одной стороны, а съ другой—уже пріобрѣвшій скорую до жадности способность воспріятія и быстраго ознакомленія съ такими идеями и представленіями, о которыхъ, по убѣжденію чрезвычайно многихъ родителей и педагоговъ, этотъ возрастъ даже и представить себѣ будто-бы ничего еще не можетъ. Это-то вотъ раздвоеніе, эти-то двѣ, столь несходныя половины юнаго существа, въ своемъ соединеніи представляютъ чрезвычайно много опаснаго и критическаго въ жизни этихъ юныхъ существъ.

II.

Разъясненіе объ участіи моемъ въ изданіи будущаго журнала „Свѣтъ".

Въ „Дневникѣ Писателя" (и опять въ томъ-же октябрьскомъ №)—было мною помѣщено объявленіе объ изданіи въ 1877 году новаго журнала „Свѣтъ" профессоромъ Н. П. Вагнеромъ. И вотъ, только что появилось это объявленіе, какъ стали меня разспрашивать о будущемъ журналѣ и о будущемъ моемъ въ немъ участіи. Я отвѣчалъ всѣмъ кому могъ отвѣтить, что въ журналѣ „Свѣтъ" я, по приглашенію Н. П. Вагнера, обѣщалъ помѣстить лишь разсказъ и что въ этомъ и будетъ состоять *все* мое въ немъ участіе. Но теперь вижу необходимость оговорить это даже печатно, ибо съ вопросами не перестаютъ; я получаю каждый день письма отъ моихъ читателей и ясно вижу изъ этихъ писемъ, что читатели мои почему-то вдругъ убѣдились что участіе мое въ журналѣ „Свѣтъ" будетъ несравненно обширнѣе, чѣмъ упомянуто о немъ въ объявленіи профессора Вагнера, т. е. что я почти *перехожу* въ „Свѣтъ", начинаю новую дѣятельность, расширяю прежнюю, и что если я и не соучастникъ въ изданіи или редактированіи будущаго журнала, то уже непремѣнно участникъ въ его идеѣ, въ замыслѣ, въ планѣ и проч. и проч.

На это и заявляю теперь, что въ будущемъ 1877 году буду издавать лишь „Дневникъ Писателя" и что

„Дневнику“ и будетъ принадлежать, по примѣру прошлаго года, *вся* моя авторская дѣятельность. Что же до новаго изданія „Свѣтъ“, то ни въ замыслѣ, ни въ планѣ, ни въ соредактированіи его не участвую. Даже самая идея будущаго журнала мнѣ еще совсѣмъ неизвѣстна и я жду появленія его перваго № чтобъ въ первый разъ съ нею познакомиться. Полагаю что особую близость мою къ журналу „Свѣтъ“ вывели изъ того лишь, что въ „Дневникѣ Писателя“ напечатано было о немъ самое первое объявленіе, а потомъ, какъ-то такъ почему-то случилось, что это объявленіе довольно долгое время не повторялось ни въ одной газетѣ. Во всякомъ случаѣ обѣщать дать разсказъ въ другое изданіе еще не значитъ бросить свое и перейти въ то изданіе, а искреннѣйшее мое желаніе успѣха предпріятію уважаемаго Н. П. Вагнера основано всего лишь только на личной моей надеждѣ и даже на убѣжденіи встрѣтить въ его журналѣ нѣчто новое, оригинальное и полезное,—но далѣе и подробнѣе я ничего о журналѣ „Свѣтъ“ не знаю. Изданіе это мнѣ чужое и пока столькоже мнѣ извѣстное, сколько и всякому, прочитавшему о немъ газетное объявленіе.

III.

На какой теперь точкѣ дѣло.

Годъ кончился, а этимъ двѣнадцатымъ выпускомъ заканчивается первый годъ изданія „Дневника Писателя“. Отъ читателей моихъ я встрѣтилъ весьма лестное мнѣ сочувствіе, а между тѣмъ и сотой доли не сказалъ того, что намѣревался высказать, а изъ высказаннаго, вижу теперь, многое не съумѣлъ выразить ясно съ перваго разу и даже бывалъ понятъ превратно, въ чемъ конечно виню наиболѣе себя. Но хоть и мало успѣлъ сказать, а все же надѣюсь, что читатели мои уже и изъ высказаннаго въ этомъ году поймутъ характеръ и направленіе „Дневника“ въ будущемъ году. Главная цѣль „Дневника“ пока состояла въ томъ, чтобы по возможности разъяснять идею о нашей національной духовной самостоятельности и указывать ее, по возможности, въ текущихъ представляющихся фактахъ. Въ этомъ смыслѣ, напримѣръ, „Дневникъ“ довольно много говорилъ о нашемъ внезапномъ національномъ и народномъ движеніи нынѣшняго года въ такъ называемомъ „Славянскомъ дѣлѣ“. Выскажемъ впередъ: „Дневникъ“ не претендуетъ представлять ежемѣсячно политическія статьи; но онъ всегда будетъ стараться отыскать и указать, по возможности, нашу національную и народную точку зрѣнія и въ текущихъ политическихъ событіяхъ. Напримѣръ, изъ нашихъ статей о „Славянскомъ движеніи“ нынѣшняго года, читатели можетъ быть уже уяснили себѣ, что „Дневникъ“ желалъ лишь выяснить сущность и значеніе этого движенія собственно и, главное, относительно насъ, русскихъ; указать, что дѣло для насъ состоитъ не въ одномъ Славизмѣ и не въ политической лишь постановкѣ вопроса въ современномъ смыслѣ его. Славизмъ, т. е. единеніе всѣхъ Славянъ съ народомъ Русскимъ и между собою, и политическая сторона Вопроса, т. е. вопросы о границахъ, окраинахъ, моряхъ и проливахъ, о Константинополѣ и пр. и пр.,—все это вопросы, хотя безъ сомнѣнія самой первостепенной важности для Россіи и будущихъ судебъ ея, но не ими

лишь исчерпывается сущность Восточнаго вопроса для насъ, т. е. въ смыслѣ разрѣшенія его въ народномъ духѣ нашемъ. Въ этомъ смыслѣ эти первостепенной важности вопросы отступаютъ уже на второй планъ. Ибо главная сущность всего дѣла, по народному пониманію, заключается несомнѣнно и всецѣло лишь въ судьбахъ Восточнаго Христіанства, т. е. Православія. Народъ нашъ не знаетъ ни Сербовъ, ни Болгаръ; онъ помогаетъ, и грошами своими и добровольцами, не Славянамъ и не для Славизма, а прослышалъ лишь о томъ, что страдаютъ Православные Христіане, братья наши, за вѣру Христову отъ Турокъ, отъ „безбожныхъ Агарянъ"; вотъ почему, и единственно поэтому, обнаружилось все движеніе народное этого года. Въ судьбахъ настоящихъ и въ судьбахъ будущихъ Православнаго Христіанства,—въ томъ заключена вся идея народа Русскаго, въ томъ его служеніе Христу и жажда подвига за Христа. Жажда эта истинная, великая и не переставаемая въ народѣ нашемъ съ древнѣйшихъ временъ, непрестанная, можетъ быть, никогда и,—это чрезвычайно важный фактъ въ характеристикѣ народа нашего и государства нашего. Московскіе Старообрядцы снарядили и пожертвовали отъ себя цѣлый (и превосходный) санитарный отрядъ и послали его въ Сербію; и однако они отлично знали, что сербы не старообрядцы, а такіе же какъ и мы, съ которыми они въ дѣлѣ вѣры не сообщаются. Тутъ высказалась именно идея о дальнѣйшихъ, окончательныхъ судьбахъ православнаго христіанства, хотя бы и въ отдаленныхъ временахъ и срокахъ и надежда будущаго единенія всѣхъ восточныхъ христіанъ воедино; и, помогая христіанамъ противъ турокъ, притѣснителей христіанства, они стало-быть сочли сербовъ такими же настоящими христіанами какъ и сами, не смотря на временныя различія, и даже хотя-бы только въ будущемъ. Въ этомъ смыслѣ пожертвованіе это имѣетъ даже историческое значеніе, наводитъ на отрадныя мысли и подтверждаетъ отчасти наше указаніе о томъ, что въ судьбахъ христіанства и заключается вся цѣль народа русскаго, хотя бы даже и разъединеннаго временно иными фиктивными различіями въ вѣроисповѣданіи. Въ народѣ безспорно сложилось и укрѣпилось даже такое понятіе, что вся Россія для того только и живетъ, чтобы служить Христу и оберегать отъ невѣрныхъ *все* вселенское Православіе. Если не прямо выскажетъ вамъ эту мысль всякій изъ народа, то я утверждаю, что выскажутъ ее вполнѣ сознательно уже весьма многіе изъ народа, а эти очень многіе имѣютъ безспорно вліяніе и на весь остальной народъ. Такъ что прямо можно сказать, что эта мысль уже во всемъ народѣ нашемъ почти *сознательная*, а не то что таится лишь въ чувствѣ народномъ. Итакъ въ этомъ лишь единомъ смыслѣ Восточный вопросъ и доступенъ народу Русскому. Вотъ главный фактъ.

Но если такъ, то взглядъ на Восточный вопросъ долженъ принять несравненно болѣе опредѣленный видъ и для всѣхъ насъ. Россія сильна народомъ своимъ и духомъ его, а не то что лишь образованіемъ, напримѣръ, своимъ, богатствами, просвѣщеніемъ и проч., какъ въ нѣкоторыхъ государствахъ Европы, ставшихъ, за дряхлостью и потерею живой національной идеи, совсѣмъ искуственными и какъ бы даже не натуральными. Думаю, что такъ еще долго будетъ. Но если на-

родъ понимаетъ славянскій и вообще Восточный вопросъ лишь въ значеніи судебъ Православія, то отсюда ясно, что дѣло это уже не случайное, не временное, и не внѣшнее лишь политическое, а касается самой сущности русскаго народа, стало быть вѣчное и всегдашнее до самаго конечнаго своего разрѣшенія. Россія уже не можетъ отказаться отъ движенія своего на Востокъ въ этомъ смыслѣи не можетъ измѣнить его цѣли, ибо она отказалась бы тогда отъ самой себя. И если временно, параллельно съ обстоятельстами, вопросъ этотъ и могъ, и несомнѣнно *долженъ* былъ принимать иногда направленіе иное, если даже и хотѣли и должны были мы уступать иногда обстоятельствамъ, сдерживать наши стремленія, то все же, въ цѣломъ, вопросъ этотъ, какъ сущность самой жизни народа Русскаго, непремѣнно долженъ достигнуть когда-нибудь необходимо главной цѣли сво- . т. е., соединенія всѣхъ православныхъ племенъ во Христѣ и въ братствѣ, и уже безъ различія Славянъ съ другими остальными православными народностями. Это единеніе можетъ быть даже вовсе не политическимъ. Собственно же славянскій, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, и политическій, въ тѣсномъ значеніи (т. е. моря, проливы, Константинополь и проч.) вопросы разрѣшатся при этомъ конечно сами собою въ томъ смыслѣ, въ которомъ они будутъ наименѣе противурѣчить рѣшенію главной и основной задачи. Такимъ образомъ, повторяемъ съ этой народной точки весь этотъ Вопросъ принимаетъ видъ незыблемый и всегдашній.

Въ этомъ отношеніи Европа, не совсѣмъ понимая наши національные идеалы, т. е., мѣряя ихъ на свой аршинъ и приписывая намъ лишь жажду захвата, насилія, покоренія земель, — въ тоже время очень хорошо понимаетъ насущный смыслъ дѣла.

Не въ томъ для нея вовсе дѣло, что мы теперь не захватимъ земель и обѣщаемся ничего не завоевывать: для нея гораздо важнѣе то, что мы, все еще попрежнему и по всегдашнему, неуклонны въ своемъ намѣреніи помогать славянамъ и никогда отъ этой помощи не намѣрены отказаться. Если же и теперь это совершится и мы славянамъ поможемъ, то мы, въ глазахъ Европы, приложимъ-де новый камень къ той крѣпости, которую постепенно воздвигаемъ на Востокѣ, какъ убѣждена вся Европа,—противъ нея. Ибо, помогая славянамъ, мы тѣмъ самымъ продолжаемъ укоренять и укрѣплять вѣру въ славянахъ въ Россію и въ ея могущество, и все болѣе и болѣе пріучаемъ ихъ смотрѣть на Россію какъ на ихъ солнце, какъ на центръ всего славянства и даже всего Востока. А это укрѣпленіе идеи стóитъ въ глазахъ Европы завоеваній, не смотря даже на всѣ уступки, которыя готова сдѣлать Россія, честно и вѣрно, для успокоенія Европы. Европа слишкомъ хорошо понимаетъ, что въ этомъ *насажденіи идеи* и заключается пока вся главная сущность дѣла, а не въ однихъ только вещественныхъ пріобрѣтеніяхъ на Балканскомъ полуостровѣ. Понимаетъ тоже Европа, что и русская политика великолѣпно сознаетъ про всю эту сущность своей задачи. А если такъ, то какже не бояться ей, Европѣ? Вотъ почему Европа всѣми средствами желала бы взять себѣ въ опеку славянъ, такъ сказать похитить ихъ у насъ и буде возможно, возстановить ихъ на вѣки противъ Россіи и русскихъ. Вотъ почему она бы и желала, чтобъ Парижскій трактатъ

продолжался сколь возможно долѣе; вотъ откуда происходятъ тоже и всѣ эти проекты о бельгійцахъ, о европейской жандармеріи и пр., и пр. О, все только бы не русскіе, только бы какъ нибудь отдалить Россію отъ взоровъ и помышленій славянъ, изгладить ее даже изъ ихъ памяти! И вотъ на какой теперь точкѣ дѣло.

IV.

Словечко объ „ободнявшемъ Петрѣ".

Въ послѣднее время многіе говорили о томъ, что въ интелигентныхъ слояхъ нашихъ, послѣ лѣтнихъ восторговъ, явилось охлажденіе, невѣріе, цинизмъ и даже озлобленіе. Кромѣ нѣкоторыхъ, весьма серьезныхъ нелюбителей славянскаго движенія нашего, всѣхъ остальныхъ, мнѣ кажется, можно бы подвести подъ двѣ общія рубрики. Первая рубрика—это такъ сказать *жидовствующіе*. Тутъ стучатъ про вредъ войны въ отношеніи экономическомъ, пугаютъ крахами банковъ, паденіемъ курсовъ, застоемъ торговли, даже нашимъ военнымъ безсиліемъ не только передъ Европой, но и передъ турками, забывая, что турецкій баши-бузукъ, мучитель безоружныхъ и беззащитныхъ, отрѣзыватель мертвыхъ головъ, по русской пословицѣ—„молодецъ противъ овецъ, а противъ молодца и самъ овца", что навѣрно и окажется. Чего же собственно хотятъ жидовствующіе? Отвѣтъ ясенъ: во-первыхъ, и главное, имъ помѣшали сидѣть на мягкомъ; но не вдаваясь въ эту нравственную сторону дѣла, замѣчаемъ во-вторыхъ: чрезвычайную ничтожность историческаго и національнаго пониманія въ предстоящей задачѣ. Дѣло прямо понимается ими какъ-бы за мимолетный какой-то капризикъ, который можно прекратить когда угодно: „порѣзвились, дескать, и довольно, а теперь-бы и опять за дѣла" — биржевыя разумѣется.

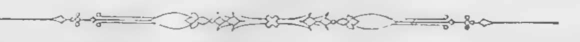
Вторая рубрика это—*европействующіе*, застарѣлое наше европейничаніе. Съ этой стороны раздаются до сихъ поръ вопросы самые „радикальные": „Къ чему славяне и зачѣмъ намъ любить славянъ? Зачѣмъ намъ за нихъ воевать? Не повредимъ ли, гоняясь за безполезнымъ, собственному развитію, школамъ? Гоняясь за національностью, не повредимъ-ли общечеловѣчности? Не вызовемъ-ли наконецъ у насъ религіозный фанатизмъ"? И проч. и проч. Словомъ вопросы хоть и радикальные, но страшно какъ давно износившіеся. Тутъ главное,—давнишній, старинный, старческій и историческій уже испугъ нашъ передъ дерзкой мыслью о возможности русской самостоятельности. Прежде, когда-то, все это были либералы и прогрессисты и таковыми почитались; но историческое ихъ время прошло и теперь трудно представить себѣ что-нибудь ихъ ретрограднѣе. Между тѣмъ, въ блаженномъ застоѣ своемъ на идеяхъ сороковыхъ и тридцатыхъ годовъ, они все еще себя считаютъ передовыми. Прежде они считались демократами, теперь же нельзя себѣ представить болѣе брезгливыхъ аристократовъ въ отношеніи къ народу. Скажутъ, что они обличали въ нашемъ народѣ лишь темныя стороны; но дѣло въ томъ, что обличая темное, они осмѣяли и все свѣтлое, и даже такъ можно сказать, что въ свѣтломъ-то они и усмотрѣли темное. Не разглядѣли они тутъ что свѣтло что темно! И дѣйствительно, если разобрать всѣ воззрѣнія нашей европействующей ин-

теллигенціи, то ничего болѣе враждебнаго здоровому, правильному и самостоятельному развитію русскаго народа нельзя и придумать.

И все это въ самой полной сердечной невинности. О, вѣдь и они любятъ народъ, но... по своему. И что въ томъ, что все это у насъ когда нибудь соединится и разъяснится? Тѣмъ временемъ могутъ наступить великіе факты и застать наши интелигентныя силы въ расплохъ. Тогда не будетъ-ли поздно? Пословица говоритъ: „Лови Петра съ утра, а ободняетъ такъ провоняетъ“. Пословица рѣзкая и выражена не изящно, но—правдиво. Не случилось-бы и съ русскимъ европействующимъ человѣкомъ того-же, что съ ободнявшимъ Петромъ? Не ободнялъ-ли слишкомъ и онъ? Въ томъ-то и дѣло, что кажется уже начало что-то въ этомъ родѣ случаться...

А между тѣмъ, для меня почти аксіома, что всѣ наши русскія разъединенія и обособленія основались, съ самаго ихъ начала, на однихъ лишь недоумѣніяхъ и даже самыхъ грубѣйшихъ, и что въ нихъ нѣтъ ничего существеннаго. Горше всего то, что это еще долго не уяснится для всѣхъ и каждаго. И это тоже одна изъ самыхъ любопытнѣйшихъ нашихъ темъ.

Ѳ. Достоевскій.



1-й, январскій, выпускъ выйдетъ 31 января.

Дозволено цензурою. Спб. 29 декабря 1876. Типогр. кн. В. Оболенскаго, Николаевская, № 8.

